

РУССКИЙ МИР: учебники для высшей школы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО КУРСУ
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
РУССКОГО ЯЗЫКА»**

В. В. Колесов

**ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
РУССКОГО ЯЗЫКА**

*Учебник для высших учебных заведений
Российской Федерации*

Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербург
2010

УДК 811.161.1'36
ББК 81.2Рус-2-923
К60

Учебник подготовлен в рамках проекта
«Создание нового поколения учебников и учебных пособий
по русскому языку и литературе для высших учебных заведений РФ»

Колесов, В. В.

К60 Историческая грамматика русского языка : учебник для высших учебных заведений Российской Федерации / В. В. Колесов / Учебно-методический комплекс по курсу «Историческая грамматика русского языка». — СПб.: СПбГУ, 2010. — 512 с. — (Русский мир: учебники для высшей школы).

ISBN 978-5-8465-0975-7

Учебник посвящен описанию последовательной смены древнерусского (X–XII вв.), общерусского (XIII–XIV вв.) и старорусского (XV–XVII вв.) периодов в истории русского языка. С особым вниманием рассмотрены преобразования грамматических парадигм и категорий; указаны семантические причины их формирования и морфологические основания всех происходивших со временем фонемных изменений; описаны основные синтаксические явления языка в их связи с формированием русской ментальности. Подробно излагается фактический материал, почерпнутый из оригинальных текстов, комментируются средневековые идеи искусства слова.

Для студентов и аспирантов филологических факультетов высших учебных заведений Российской Федерации, а также для всех интересующихся русской историей и культурой.

УДК 811.161.1'36
ББК 81.2Рус-2-923



*Учебник создан за счет пожертвования
Фонда «Русский мир»*

ISBN 978-5-8465-0975-7

© В. В. Колесов, 2010
© Санкт-Петербургский государственный университет, 2010
© О. В. Руднева, оформление, 2010

ВВЕДЕНИЕ

1. Значение исторической грамматики

Общеобразовательное значение исторической грамматики русского языка заключается в подробном ознакомлении с изменением языковых форм и преобразованием грамматических категорий, определяемых внутрисистемным развитием языка и влиянием на этот процесс развивающихся форм сознания и мышления.

Если в русском языке, в отличие от исторически родственных европейских языков, отсутствуют артикли, в предложении действует свободный порядок слов, в качестве вспомогательного используется глагол *быть*, формально различаются все основные части речи и т. д., — необходимо определить, почему эти и десятки других особенностей русского языка развились и сохранились, отражая специфику ментальной (мыслительной) культуры народа. В общем потоке профессионального образования «Историческая грамматика русского языка» призвана установить систему национальных ценностей, произведенных народом в области «речемысли».

Теоретическое значение курса заключается в постоянном углублении знаний о структуре и функциях языка, данного в его изменениях. История языка, представленная как теория его развития, может быть прослежена на большом отрезке времени, и мы изучаем тысячелетнюю историю *древнерусского* — *старорусского* — *современного* русского языка в последовательном развертывании его категорий и форм.

Постоянное преобразование категорий языка и накопительное умножение языковых форм составляет закон прогресса в развитии человеческого знания, со-знания и по-знания. Сокращение числа гласных и увеличение числа согласных; устранение двойственного числа и максимальное разведение форм единственного и множественного числа; постепенное «угасание» категории среднего рода и максимальное разведение форм мужского и женского рода; упрощение типов склонения или грамматических форм глагола — в чем причины подобных изменений языка, отражающих важные представления человека о мире, небесах и о самом себе? Каковы условия этих изменений и конечная цель их?

На все эти вопросы отвечает история русского языка. Она описывает все аспекты и уровни исторически развивающегося языка, кроме лексики и словообразования, которые, в свою очередь, также дают материал для суждений о структурных и категориальных особенностях языка, в общем виде представленных как *грамматическая система* русского языка.

Термин «историческая грамматика» достался нам по наследству от тех времен научного изучения языка, когда лингвисты ставили перед собой задачу восстановить идеальный тип древнерусского языка. Сегодня термин отчасти устарел и используется по привычке как обозначение традиционного университетского курса, который преподается почти два века.

Последующие пояснения выявят и другие основания, согласно которым наш курс должен сохранять название «Историческая грамматика русского языка». *Историческая* — начиная с древности, *русского* — отталкиваясь от современного русского литературного языка, который сложился в результате описываемых здесь изменений. Грамматика предполагает изучение структурных единиц в их функциях, а термин «язык» указывает на системный характер как самого объекта, так и его изменений.

2. Изучение исторической грамматики

Изучение истории русского языка шло в соответствии с общими направлениями развития научного языкознания.

В начале XIX в. сравнительное изучение родственных языков соединили с историческим изучением классических текстов (А. Х. Востоков, 1781–1864), и к 1870-м гг. в России утвердился первый научный метод — *сравнительно-исторический* (А. А. Потебня, 1835–1891), основной целью которого было уяснение того, «как язык стал» — каким образом возникли те или иные звуки, формы, слова, т. е. преимущественно все, что связано с *формой* в языке и что можно сравнивать по сходству смысла и функции в речи. Сравнительно-исторический метод в качестве основной единицы языка открыл морфему, несущую в себе определенный смысл. Различные научные направления, действуя на основе этого метода, сделали много конкретных открытий, выявили и описали множество исторических фактов и изменений языка, которые чаще всего были представлены как самостоятельно ценные и независимые друг от друга. Например, первое полногласие открыл Востоков, второе — Потебня, третье — Шахматов; первую палатализацию описал Востоков, вторую — Потебня, третью — Бодуэн де Куртэнэ. Но в очень слабой степени эти явления исследовались как систем-

но близкие и зависимые от развивающегося языка славян. Особенно много сделали для накопления положительных фактов истории языка академики И. И. Срезневский (1812–1880), И. В. Ягич (1838–1923), А. И. Соболевский (1856–1929) и А. А. Шахматов (1864–1920), а также их ученики. Традиционный курс исторической грамматики сложился во многом благодаря их совместным трудам.

Уже ближайшие их последователи Л. Л. Васильев (1877–1921), Н. Н. Дурново (1876–1937), С. П. Обнорский (1888–1962) и другие стали соединять открытые и описанные, но представленные разрозненно факты исторической грамматики в мотивированные по определенным признакам группы, изучая их действие в связи друг с другом (например, историю фонемы ⟨ё⟩ в связи с фонемой ⟨о⟩, историю категории вида в связи с категорией времени и т. д.). Собираание фактов сменилось их истолкованием в системе соответствий (попытка определить «законы языка»). На основе таких исследований в 1920-е гг. русские филологи в России и в эмиграции (Н. С. Трубецкой, 1890–1938; Р. О. Якобсон, 1896–1982) приступили к исследованию исторических изменений русского языка с точки зрения *структурного метода*, для которого важно, «как язык у с т р о е н», т. е. каким образом и в какой последовательности структурируются те или иные минимальные единицы языка (теперь уже не только морфемы, но и фонемы, и различительные признаки — как фонемные, так и семантические). Особое развитие этот метод получил с середины XX в., когда появились работы по «исторической фонологии», «исторической морфологии», «исторической акцентологии» и даже «историческому синтаксису» русского языка. На основе этих описаний, отталкиваясь от них, стало развиваться изучение истории русского *литературного* языка (В. В. Виноградов, 1894–1969; Б. А. Ларин, 1893–1964; Л. П. Якубинский, 1892–1945) как такого, который вобрал в себя все существенные стороны «общерусского языка» в его развитии, представляя как инвариант «русской» языковой системы.

Но тем самым обозначился новый путь в изучении истории русского языка; теперь стало важным определить, «как язык р а б о т а е т», т. е. как система языка действует в природной и социальной среде. Развивается *функциональный метод* исследования русского языка в его преобразованиях, и особенно при изучении динамических тенденций современного русского литературного языка. С 1970-х гг. появляются работы, посвященные исторической стилистике, исторической диалектологии, истории литературных языков и т. д. Идея развития вносится в изучение современного языка.

Большой вклад в эти направления внесли отечественные лингвисты, среди которых Р. И. Аванесов, В. И. Борковский, К. В. Горшкова, Вал. Вас. Иванов, П. С. Кузнецов, В. М. Марков, Ф. П. Филин, Г. А. Хабургаев и др.

С конца XX в. историческое языкознание вошло в новый этап своего развития в отношении к методу, объекту и целям исследования. Сегодня в центре внимания ученых сохраняются все прежние достижения исторической науки, но основная задача заключается в том, чтобы за восстановленными формами языка, за его организованными структурами и за его постоянно воспроизводящими новые смыслы функциями прозреть носителя этого языка, его создателя — русского человека с присущими ему духовными и ментальными особенностями. Не языковая форма или структура языка каждая по отдельности изучается сегодня, а существенно важные для носителя языка *категории* языка и типы логических суждений; этот — *ментальный (когнитивный)* — метод позволяет собрать воедино все, что уже изучено и известно о происхождении, структуре и развитии важнейших форм и *категорий* языка. Одновременно обозначилось сближение «грамматики» с «лексикой» (грамматические изменения изучаются в определенных лексических группах — «грамматическая лексикология»), и уже невозможно говорить узко об исторической грамматике, потому что поле описания (материал) и размах описания объектов языка расширились; лучше говорить об *истории русского языка* вообще как об интеллектуально-образной силе народа, заложенной в категориях и формах родного языка.

Не «почему» и не «как», а «з а ч е м язык в о о б щ е» — вот вопрос, который в наши дни поставлен перед изучающим историю языка.

Первоначально изучение исторической грамматики велось по канонам заимствованных греческих и (с 1522 г.) латинских грамматик, не во всем полностью отражающих категории русского языка. Еще в XIX в. трудами Г. П. Павского (1787–1863), К. С. Аксакова (1817–1860), Н. П. Некрасова (1828–1913) была намечена линия развития русской грамматики с преимущественным вниманием к предикации, т. е. также к имени прилагательному и т. д. Образцы классических греческих и латинских грамматик стали наводящим средством в разработке собственной системы грамматических средств языка, что в наши дни привело к совпадению *п р е д м е т а* изучения (речи) с *о б ъ е к т о м* (категории языка).

За два столетия произошло невероятное усложнение как предмета описания, так и методов исследования, не говоря уже о целях изучения истории языка. Все они укрупнились, обобщили огромное число достоверно известных фактов и ныне предстают как основной содержательный фонд истории русского языка. Этим объясняется и сложность описания некоторых процессов, и недостаточность некоторых данных, и трудность их интерпретации, почему у разных ученых и возникают различные точки зрения на одни и те же изменения. Чтобы не усложнять изложение, мы не будем рассматривать эти точки зрения в полном виде; с ними можно ознакомиться по указанной к разделам книги литературе.

3. Предмет и объект исторической грамматики

Предметом описания исторической грамматики является *речь*, воплощенная в лингвистических *формах* и представленная в *тексте*. *Объектом* исследования становится *язык*, воплощенный в речевых формах и представленный своими содержательными *категориями*. И *речь*, и *язык* одинаково предъявлены каждый своим содержанием и формами его выражения.

Предметное поле описания дано как явленная сознанию *сущность*, тогда как объектом изучения (*язык*) является сама эта сущность, требующая истолкования. Выделенные в определении термины требуют объяснения.

Речь — конкретное говорение во времени, представленное в звучании или в тексте. *Язык* — абстрактное представление о системе знаков, отражающей мышление и служащей средством общения. *Объект* (от лат. *objectum* ‘предмет’) — существующее вне сознания, о б ъ е к т и в н о, явление внешнего мира; в отличие от этого предмет — явленное чувству и сознанию конкретное явление, представляющее тот же объект.

Речь — явление, *язык* — сущность этого явления. Термин *явление* — калька с греч. *φαινόμενον* ‘являющееся’ (феномен), это проявление сущности в доступных наблюдению формах. *Сущность* же главное внутреннее содержание, составляющее суть явления, например категории языка. В свою очередь, *категория* (от греч. *κατηγορία* ‘обвинение’) есть наиболее общее понятие, отражающее самые существенные свойства языка. Например, категория падежа образует строгую систему всех падежных *форм* в их речевом проявлении. *Форма* в таком случае (от лат. *forma* ‘наружный вид’) — это грамматическое средство выражения грамматической категории.

Описывая различные формы глагола, за многочисленными их речевыми вариантами мы объективируем (т. е. делаем явным) основные его категории, тем самым проникаем в существенную область языка, представляя развитие народной «речемысли» (*ментальности*). Изучая синтаксические конструкции в их развитии, мы сосредоточиваемся на выявлении основных их типов и в результате объективируем сущностные особенности (законы) совершенствования той же народной «речемысли».

Формы речи инертны и способны накапливаться в текстах. Категории же языка динамичны и постоянно преобразуются в соответствии с потребностями общества. Так, категория грамматического рода явлена уже в древности, но, как категория языка, она за последнее тысячелетие несколько раз изменяла свое содержание, функцию, стилистический ранг и даже смысл.

Выявлением таких преобразований языка и занимается историческая грамматика.

4. Периодизация истории русского языка

Периодизация строится по нескольким признакам, которые в своем совместном развитии совпадали по времени и обусловили как состояние языка, так и развитие общества. Множество признаков, определяющих друг друга и вместе с тем независимых, связаны с системой средневековых культурных ценностей: они символичны и строятся как замещающие друг друга в определенных условиях — своего рода принцип «матрешки» в метонимической смежности единиц и элементов языка.

Основные изменения языка мы рассмотрим до начала XVIII в., до времени, когда общие устремления системы языка уже совпали во всех местных говорах и во всех социальных слоях населения. Формирование литературного языка на национальной основе привело к качественным преобразованиям русского языка, с этого времени центростремительные процессы в сторону усреднения категорий и норм следует изучать в курсе «Современный русский литературный язык».

При сопоставлении нескольких признаков различения определяются основные этапы в развитии средневекового русского языка:

- древнерусский, с середины X до конца XIII в.;
- старорусский, с XIV до XVI в.;
- собственно великорусский (новорусский) язык, с XVII в.

С государственно-политической точки зрения эти три этапа соотносятся с развитием языка соответственно — в Древней Руси, в Московской Руси эпохи ее становления и в момент образования и развития «общерусского» (литературного) языка современного типа. Древняя Русь с центром в Киеве и (собираательно) с общевосточнославянской н а р о д н о с т ь ю — это восточные славяне, объединившие вокруг себя другие народности в деле построения государственности. Этнически завершение этого периода характеризуется выделением украинского (малорусского, т. е. коренного русского в центре его исторического бытования) народа с противопоставлением окраинным славянским этносам.

Основным христианским символом этого времени является София — Премудрость Божия, во славу которой ставились храмы во всех княжеских городах.

Основным христианским символом второго периода стала Живоначальная Троица; формируются важные начала собственно великорусского (т. е. «большого по составу») н а р о д а, а в конце периода на основе западнорусской части славянского населения образуется белорусский народ и формируется его язык, во многом совпадающий с великорусским. С конца XIV в. известны и основные особенности русских диалектов, как северных, так и южных, а с XVI в. в резуль-

тате их совмещения формируется среднерусская *койнэ* («средневеликорусские говоры»), после чего особенности северных русских говоров, развивавшиеся в направлении к самостоятельному, четвертому восточнославянскому языку (более близкому к украинскому, чем к великорусскому), были переработаны и сведены в общую систему «русского литературного языка». Формируется великорусская *н а ц и я*, впитавшая в свое этническое тело многие народные типы и культурные ценности, в том числе и присоединившихся или покоренных народов. Этническая чистота славянского народа исчезает в нации под напором новых социальных преобразований. Основным символом новой государственности становится чужеродный орел, возвративший двоичный принцип выделения признаков, но уже не самостоятельных и равных, а в их отношении к центру, левый и правый.

С точки зрения **религиозной** первый этап характеризуется ярко выраженным дуализмом веры: и язычество, и вновь принятое христианство сосуществуют, постепенно проникаясь присущими тому и другому культовыми чертами, взглядами и традициями. Как культ единящий и собирающий, христианство окрепло и усилилось в эпоху ига, когда оно сыграло важную роль в укреплении социальных структур и духовных основ общества. Если древнерусское христианство — евангельское (его называют еще «жизнерадостным» за его близость к Природе), то с XV в. на Руси развивается «монашеское» христианство с его аскетизмом, ригоризмом, истовым служением и личным подвижничеством во всем, что касается общественных обязанностей. В XV в. наблюдается то «повышение уровня святости» и умножение православных святых, о котором говорят историки церкви, показывая центростремительный рост государственности в связи с освобождением от гнета чужеземного ига. С XV в. широко развиваются расколы и ереси, а христианские иерархи отказываются от претензий на верховную власть в пользу светского государя. В основных своих проявлениях культ становится культурой уже великорусского содержания.

5. Принципы познания

Многие особенности самой системы языка подтверждают общий смысл происходивших изменений, например в последовательности развития модальных предикатов: сначала как пассивного *быти*, затем как активного *хотеть* и, наконец, как деятельностного *знать*, — в полном соответствии с изменениями говорения (*дискурса*): «молчание» большинства в древнерусском — монолог избранных в старорусском — диалог в Новое время.

Каждый из трех этапов развития языка различается особым **отношением к принципам познания**. Так, древнейший принцип квалификации объектов по их нечленимой цельности — *эквивалентный* (равноценный) — сохраняется в древнерусском, затем он заменяется на иерархически *градуальный* (по степеням признаков) в старорусский период и окончательно формируется как выразительно четкий *привативный* в Новое время. Равноценность двоицы в древнерусском представлена формально категорией двойственного числа, а реально — во всех культурных проявлениях: Борис и Глеб — святые, Киев и Новгород — столицы, левое и правое — принцип ориентации, добро и зло — этический принцип и т. д. Средневековье растягивает двоичные единства в цепочки взаимобратимых признаков (ср. триединство лиц Троицы), а затем возвращается к старому, двоичному противопоставлению, но теперь с обязательным выделением одного из парных объектов по признаку выделения (маркирован — отмечен по признаку различения). В древнерусском обиходе мужчина и женщина равноправны, выделяется каждый только ему присущими качествами; в Московской Руси между ними возможны градации по социально и физически важным признакам (см. «Домострой»), а в Новое время возникает проблема выделения отмеченного различительным признаком члена двоичной оппозиции: *мужчина* или *женщина*?

В изменениях языка смена принципов познания представлена очень ярко. В фонологии поначалу была дана четкая равноценность фонем, например ⟨е⟩ и ⟨о⟩, в которой первая выделялась рядом (передний), а вторая — огубленностью; в Средние века в результате изменений происходило насыщение гласных среднего подъема градуальным рядом фонем ⟨ê — е — ъ — ѣ — о — ô⟩, а в Новое время система осталась с привативным противопоставлением исходных фонем ⟨е⟩:⟨о⟩ с отмеченной признаком различения второй фонемой (лабиальность). Такие же преобразования заметны и в морфологии, и в синтаксисе. В области синтаксиса средневековая градуальность проявляется в обилии синонимичных союзов, соединяющих одни и те же сложные предложения, а в Новое время происходит обобщение определенных союзов для выражения известных отношений.

Самым важным различием между тремя периодами, имевшим большое значение для русского языка, было различие между *типами ментальности*, которое проявлялось в развитии глубинных категорий национального сознания (от лат. *mens, mentis* ‘ум, разум’).

Древнерусская *ментализация* (осмысление) способствовала овладению всеми ценностями христианской культуры, и русский язык получил множество выразительных слов и форм, способствовавших формированию общерусского языка. Все полученные путем заимствования символы средневековая *идеация* (обобщение) переработала

с точки зрения важных различительных признаков и тем самым привила христианскую идеологию к корню народной культуры. *Идентификация* (сопряжение) объема и содержания понятия, их согласование в словесном знаке привело к воссозданию в нем «идентифицирующего» действительность понятийного значения и тем самым закончило формирование лексического состава общерусского языка. Например, этический термин *съ(н)-вьс-ть* в процессе ментализации калькируется на основе греческого (в христианском значении) слова *συν-εἶδ-ός* по объему понятия (всякое совместное знание, известное всем), в процессе идеации вырабатывает существенный признак собственного — великорусского — понимания, т. е. определяет содержание понятия (в отличие от сознания, совесть — это духовное совместное знание), а с XVII в. уже предстает как законченное этическое понятие о чувстве личной ответственности за свои помыслы, слова и действия, данное в термине «совесть».

Ментализация как длительный и сложный процесс погружения языка в категории смысла формирует национальную ментальность, законченно отраженную в русском языке.

6. Идеология познания

Наука — это прежде всего метод (от греч. *μέθοδος* ‘путь познания’ в исследовании). Методология в широком смысле есть наука о методах, она представлена в трех направлениях: собственно методология, отвлеченно метод и конкретно методика исполнения работы. Все совместно они представляют идеологию познания — «учение об идеях».

Методология в узком смысле — это система коренных принципов открытия и представления теоретических положений в области познания, которыми в определенную эпоху направляется деятельность человека.

Метод — это способ познания и путь исследования существующих сторон научного предмета.

Методика — это совокупность приемов, необходимых для последовательного и доказательного изучения конкретных научных проблем.

Соотношения: *система* — *способ* — *приемы* и их признаки *коренные* — *существенные* — *конкретные* — показывают иерархию исследовательских приемов.

Методологическим обеспечением каждого из трех этапов развития русского языка явились: сначала философский *номинализм*, с XV в. — философский *реализм* (или *эссенциализм*), который стал основным содержанием великорусского мировосприятия, а в XVIII в. на короткое

время (эпоха Просвещения с западноевропейским влиянием) развивался философский *концептуализм*. Различие между этими направлениями средневековой мысли схематически можно показать на семантическом треугольнике, в котором взаимно соединяются представления о «вещи» (любом предмете), о связанном с нею понятии («идее»), о выражающем идею и указывающем на вещь «слове» (языка). Эта схема передает «смысл вещи» в трехмерном пространстве существования (объективно, *онтологически*), но познать такой смысл (*гносеологически*) можно лишь с помощью двоичного принципа: *логически* и *образно* с помощью соответственно левого и правого полушарий головного мозга. Таким образом, каждая из трех возможных позиций одновременно представляет собой как то, из чего человек исходит в своих суждениях, так и то, на что он при этом обращает особое внимание в соответствии с бифокальностью своего умственного зрения.

Тогда *н о м и н а л и з м* понимается как установка народного сознания, согласно которой в центре внимания находится *вещь в ее цельности* (из нее исходят), и потому соотношение слова и идеи (знака и значения) требуется подчинять согласованию не отдельных признаков вещи, а целостности вещей; для данной позиции важно не содержание понятия (признака различения), а объем понятия, т. е. то, что объединяет совокупности признаков вещи в вещь, а совокупности многих вещей в общее целое — мир. В практической деятельности для номиналиста важен опыт, практика действия и в целом «стихийный материализм». Такой была позиция Древней Руси.

Наоборот, для *р е а л и з м а* в этом смысле существенны именно признаки («Мы познаем только признаки», — говорил А. А. Потенбя), которые позволяют выделить как сходства вещей, так и различия между ними. Философский реализм исходит не из вещи, как номинализм, а из слова (Слово, Логос), видя в нем самую суть связей, существующих между вещью и идеей (понятием). Идея для реалиста столь же *существенно реальна* (*реальность* — действительность, *эссенция* — сущность), что и сама вещь. Такой стала философская позиция эпохи Московской Руси с XV в.

Древнерусский язык как самостоятельная часть общеславянского языка развивался главным образом в реальных своих признаках как *звучание устной речи*, представлен вещно и легкоопределим во всех своих вариантах. Последовательность звуков в речи всегда метонимична, как и их запись на пергаментном листе. Основной смысловой единицей также выступает не самостоятельное (словарное) слово, а целое сочетание из двух-трех слов, словесная формула, построенная на метонимической основе. Строение любой словоформы подчиняется тому же двоичному принципу: *основа* и *окончание* строго разграничены как самостоятельно важные элементы словоформы, входящей в состав словесной формулы. Таким образом, древнерусские

изменения являются преимущественно фонетическими изменениями форм, охватывают фонетику (в широком смысле).

В старорусский период звуковые изменения затухают, завершаясь в основных своих тенденциях, заложенных еще в праславянском языке. Но теперь это не изменение звуков в вещной реальности слога, это преобразование *признаков* звука согласно их сходству или различию в составе идеальной *морфемы*. Это преобразования грамматической формы, которые готовят в языке последующие, важные для системы языка категориальные изменения, прежде всего морфологические, а затем и синтаксические.

То, что весьма условно можно назвать *концептуализмом* XVIII в., есть момент соединения объема и содержания понятия, выработанных в слове на предыдущих этапах развития языка. Происходит это уже в автономном, выделенном из традиционных словесных формул слове, которое представляет собой идеальную совокупность словоформ, собранных по сходству корневой морфемы, а своими грамматическими частями (флексиями) обращено в сторону контекстов и тем самым формирует различные типы предложений. Через слово происходит воссоздание словесных знаков, подчиняющихся уже не образной (как в древнерусском) и не символической установке (как в старорусском), а установке на логически выверенное понятие как основную содержательную форму слова (сам термин *понятие* появляется только в начале XVIII в.). Таким образом, концептуалист исходит из готового, сложившегося в культуре понятия (идеи) и полагает, что *слова и вещи* в одинаковой мере реальны в своей вещной определенности как противопоставленные идеальности понятия.

7. Метод и методика

В отличие от методологии всеобщего характера, охватывающей все стороны человеческого действия, метод и методика определяют конкретную науку. Языкознание в своем развитии выработало ряд строгих научных методов и обеспечило себя самыми изощренными исследовательскими методиками.

Историческая грамматика использует сравнительно-исторический, структурный и функциональный методы исследования языка; когнитивная лингвистика еще только разрабатывает свой научный метод. Отчасти указанные методы несоединимы в практическом описании. Так, исследование грамматических категорий могло быть психологическим, логическим или социологическим в зависимости от того, каким методом пользуется исследователь — сравнительно-историческим, структурным или функциональным.

Имеется несколько основных методических положений, которые используются при изучении истории языка. Приведем их, на первое место курсивом вынося тот вариант, который принимается в нашем изложении.

С точки зрения **предмета описания и объекта исследования** принимаются во внимание следующие возможности.

1. *Словоформа в составе слова* — или словоформа в синтаксическом контексте как основной предмет изучения. В первом случае речь идет о категориальных свойствах парадигм (грамматически целого), во втором — прежде всего о форме, т. е. о частях целого, которые в результате произведенного исследования сводятся в системы идей самого исследователя.

2. *Морфологическая категория* — или формально только морфема как основная единица исследования; соотношение точек зрения здесь то же, что и в предыдущем случае: семантико-функциональный подход к морфологии в первом случае и чисто формальный во втором.

3. *Система языка в целом* — или факты случайного *употребления* грамматических *форм* в речи как основной объект исторической грамматики.

Как видно, представленные позиции не составляют резкой противоположности и могут быть совмещены в конкретном описании *фактов*, взятых в *развивающей их системе*. Материально данный предмет описания (речь в ее элементах) должен стать объектом исследования (язык в его сущностных признаках).

С точки зрения **привлекаемых к исследованию источников** выделяются следующие противопоставления.

1. *Только памятники письменности* — или памятники с привлечением данных *современных русских говоров* в их историческом развитии.

2. Как отражение *реальных изменений внешней истории народа* — или вне такого развития, представляя исторические факты автономно как особенности формальной структуры языка.

3. *В связи с содержательными формами языка*, явленными в семантике слова и в семантике грамматической категории («понятийной категории», *концепта*), — или не учитывая отношения к глубинно-смысловым категориям сознания.

С точки зрения **метода и методики описания** исторических фактов возможен следующий выбор предпочтений.

1. *Историческое исследование отдельных процессов изменения* — или описание специально выделенных периодов (статически как законченных «систем»).

2. С учетом основной *функции* той или иной *морфемы в определенный момент ее преобразования* — или пренебрегая этим свойством грамматической системы.

3. С учетом изменений, происходящих на других, смежных *уровнях языка*, — или исключая их из исследования ради «чистоты» морфологического или фонологического описания (в практическом исследовании это требование также редко соблюдается).

4. С учетом особенностей *средневековых* типов построения устного текста — или без учета его своеобразия.

С общесистемной точки зрения необходимо учитывать следующие возможности выбора.

1. Изучается ли *инвариант общей системы языка* — или его конкретные варианты, данные в речи, например как проявление диалектных систем вне «общерусской» тенденции развития.

2. Изучается ли *система языка в отношении к (литературной) норме* определенного времени — или без учета такого отношения.

3. Изучается ли та или иная категория языка в *стилистическом ряду* данных *форм* — или семантически нагруженные стилистические варианты текста не принимаются во внимание как факт истории языка.

Выделенные курсивом первые части обозначенных здесь предпочтений кажутся единственно продуктивными в историческом исследовании грамматических категорий. В разной степени полноты они и представлены в различных исследованиях по исторической грамматике русского языка.

Перечислением всех типологически важных элементов, необходимых для построения курса «Исторической грамматики русского языка», мы представили ту позицию, на основе которой будут излагаться исторические факты и даваться объяснения происходящим в истории языка изменениям.

8. Формирование русского языка

Становление русского языка в его вариантах, типах и стилях происходило постепенно. Об этом процессе писали многие историки языка, связывая его с образованием великорусского народа на северо-восточной окраине Древнекиевского государства. Этнической основой великорусского народа стали племена центральной лесной полосы Восточной Европы; за столетия они испытали многие перемещения, попутно ассимилируя другие, в том числе неславянские племена. Расхождения в языке между славянскими племенами в древности проявлялись в незначительной степени в лексике и в звучании слов — в фонетике.

Еще до того, в эпоху Киевской Руси, формирование древнерусской народности происходило путем направленного движения северо-западных славянских племен из псковско-новгородской области на юг

по Днепру (новгородские словене) и с юга по Днепру им навстречу (киевские русины); общим для них всех был «языкъ словеньскъ». Двоение культурных явлений навсегда сохранилось у восточных славян: постоянно две столицы, две «веры», два «языка», две культуры и т. д. На первом этапе собирания русских земель и племен происходила унификация генетически разнородных славянских диалектов, которые создали первоначальную систему языка древнерусской народности, войдя в единый государственный организм. «Единство языковых переживаний» (известная метафора, от которой трудно отказаться) стало отправной точкой этнического единения в те времена, когда словом *языкъ*, *языци* обозначали не только речь, но и народ, которому она принадлежала.

Таким образом, термин «русский язык» предполагает понятие о языке, который в последовательных своих изменениях соединял восточных славян во времени и в пространстве считая с середины XI в., когда начинаются собственно восточнославянские языковые изменения, и далее представлен в моментах его преобразования как *система*: древнерусский язык (восточнославянский диалект общеславянского языка) — великорусский язык эпохи Средневековья — современный русский язык.

9. Источники

Основным источником изучения истории языка является древнерусская рукопись и средневековый текст.

Текст — языковое выражение определенного смыслового содержания; *рукопись* — конкретное проявление текста в ее уникальной форме. Русских рукописей сохранилось довольно много, если считать поздние из них: с XI по XVIII в. их до двухсот тысяч, многие содержат по несколько текстов сразу, так что списков текстов самого разного содержания мы имеем более двух миллионов, одних только списков летописи около 1500. Большинство текстов и рукописей не изучены, множество рукописей даже не просмотрены, некоторые списки не сведены в общий текст и не изданы; новые находки поражают воображение еще и в наше время. Таким образом, материальная база исследования представлена солидно и вряд ли будет обработана в ближайшие десятилетия. Хотя это и составляет от силы пять процентов от всего, созданного восточными славянами за тысячу лет их писаной истории, тем не менее и сохранившееся представительно отражает разные этапы истории письма и языка.

Сложнее всего дело обстоит с древнерусскими рукописями, способными раскрыть древнейшие изменения. Старославянские рукописи,

которых не очень много, описаны полностью и теперь дают прекрасный исходный материал для суждений о древнеславянском литературном языке, но из 850 древнерусских рукописей XI–XIV вв. хорошо описанных оказывается около 200. Значительная часть раннего рукописного наследия представляет собой разрозненные листки, случайно сохранившиеся как бросовый материал. Так, от XI–XII вв. из 107 древнерусских рукописей 24 дошли до нас в виде обрывков, почти четверть этих рукописей — отдельные листки.

Древнейшие тексты, обычно изучаемые в курсе «История русского языка», представлены датированными рукописями, к числу которых относятся Остромирово Евангелие 1056–1057 гг., Изборники Святослава 1073 и 1076 гг., Лаврентьевский список летописи с текстом «Повести временных лет» 1377 г., а также важные по текстам древние рукописи: Новгородская I летопись по Синодальному списку конца XIII в., Успенский сборник с текстами житий и переводных «слов» XII–XIII вв., и в их числе самая древняя рукопись начала XI в. — Путятина минея из новгородского Софийского собора, которую, по преданию, в монашестве переписывал тысяцкий князя Владимира — Путята, огнем и мечом крестивший новгородцев.

Появление письменности в корне изменило формы существования и характер древнерусской языковой культуры. «Книжный язык» — «славянорусский язык», вобравший в себя много заимствований из греческой лексики и синтаксиса, вступил в конкуренцию с естественно развивавшимся разговорным языком славян в его устной форме; оба «языка» воздействовали друг на друга, отражая и общее устремление к развитию новой государственной культуры восточных славян. Во многом и современная *вербальная* (языковая, словесная) русская культура обязана синтезу идеально высокого стиля средневековой книжности и материально бытового разговорного.

Тем не менее с самого начала эти две стихии русского языка различались. Для устной речи важно *время* проговаривания, она развивается во временных пределах, ее единицы воспроизводятся во времени. Книжная речь расположена на пространстве листа: время тут застыло в со-стоянии, оформление листа в следовании его буквенных знаков было ритуально значимым, а сам стиль письма представлен как канонический *устав*. Все другие категории языка и письма воспринимались под знаком такого различения. Там, где пространство, — там и движение, движение руки писца или автора, в определенной последовательности начертаний; специалисты четко выделяют целые эпохи в зависимости от того, в какой последовательности движений переписчик воспроизводит начерки букв: *жс, к, ъ...* Писали все экономнее, упрощая и сокращая отдельные элементы письма — уже в угоду времени, и через систему *полуустава* развилось более похожее на современное письмо — *скоротись*. Письмена стали буквами. Бук-

вы расположены друг возле друга, и общий их ряд, все их количество видно одновременно, в метонимической смежности элементов, так что причинно-следственная цепь представляла глазу в ее законченности и цельности. Звуки же произносились, как бы напирая друг на друга, смешиваясь в речи, и не всегда было ясно, является ли произношение этого звука следствием предыдущего, или же его звучание определено последующим — возникали поправки, искажения речи, неясности произношения, т. е. не причина и следствие, а условие речи и ее непредсказуемый результат. В центре внимания не количество букв, данное глазу, а некое неопределенное качество звуков, данное слуху. Буквы аналитичны, в конкретности каждой даны отдельно; звуки синтетичны, а в слове они синкретичны по смыслу и роли в речи.

В историческом изучении языка создается трудность, состоящая в том, что естественное развитие разговорной речи нам приходится воссоздавать по письменным памятникам: «звуки» древнерусского языка изучаются по «буквам» текста, что требует особой осторожности в заключениях. Спасает положение то, что в действительности мы изучаем не историю звуков и грамматических форм, а историю фонем, т. е. смыслоразличительные единицы звукового уровня, как они функционировали в составе слов и морфем.

Для нас интересен смысл категорий, а не форма их представления.

Помогают **другие источники**: сравнение с родственными языками, типологические сопоставления с неродственными языками, сохранившиеся в русских говорах особенности языка и произношения.

Большую помощь оказывают заимствования из других языков, полученные русским языком в то или иное время. Благодаря этому оказывается возможным представить относительную хронологию тех или иных изменений. Например, названия фруктов и овощей, заимствованные из германских и кельтских языков до VIII в., относятся сплошь к типу склонения с основой на **ī*- (*моркы, смокы, тыкы* и т. д.), а это значит, что до того времени у славян различие по типам основ сохранялось твердо. Многие заимствования из скандинавских языков подтверждают особое отношение славянских говоров к третьей палатализации: в словах типа *кънязь, пенязь, склязь* ⟨з⟩ восходит к [g] в сочетании [ing], и т. д. Важным источником являются примеры *субституции*, т. е. замещения собственной фонемой фонемы в составе заимствованного слова. На этом основании мы можем говорить о качестве славянских звуков, например о том, что древнерусская фонема ⟨ѣ⟩ (передавалась буквой «ять») изменяла свое произношение, потому что в языках, заимствовавших древнерусские слова, она сначала передавалась как нижний [ä] или как долгий звук [ää], а затем как узкий [ie] или [ê].

10. Основные понятия, термины и определения

Для понимания исторических изменений языка необходимо уяснить некоторые научные термины. Укажем дополнительно к приведенным следующие.

Язык представляет собой с и с т е м у.

Термин «система» сегодня имеет множество толкований, толкования зависят от точки зрения ученого. Главным образом это идеальное представление о предметном мире, который во всех своих подробностях предстает как органическое целое. Греческое слово *συστήμα* значит ‘целое, составленное из частей’; система языка существует и изменяется объективно и тем отличается от н о р м ы, которая есть явленность системы языка в речи, познанная система («установленная сознанием мера отношений»). Система языка — совокупная множественность языковых единиц естественного языка, организованных в функциональное и стилистическое единство на основе связей и отношений по существенным смысловым признакам, которые способны породить новые смыслы, сохранять их в текстах и передавать в речи.

Системы языка в зависимости от характера могут быть синтагматическими (от греч. *σύνταγμα* ‘сочинение’), парадигматическими (от греч. *παράδειγμα* ‘подобие’) и функциональными (от лат. *functio* ‘исполнение’). Например, сочетание фонем друг с другом в конкретной словоформе образует *синтагматическую* систему фонем, показывая утрату того или иного признака в слабой позиции, ср. [пруда] : [пру-та], но в слабой позиции, где противопоставление отсутствует, [прут] в обоих случаях. Так выделяется *различительный* признак фонем (в данном случае признак голоса: звонкий-глухой), который определяет *маркированный* (отмеченный по данному признаку) член противопоставления.

Характер и количество различительных признаков определяют *парадигматическую* систему фонем на каждом этапе развития языка. Такая система может быть записана в виде таблицы, в которой линии соединения указывают различительные признаки:

⟨б — п⟩	—	⟨д — г⟩	—	⟨г — к⟩
⟨б’ — п’⟩	—	⟨д’ — г’⟩	—	⟨г’ — к’⟩

Двенадцать фонем противопоставлены по трем признакам: голоса (звонкие и глухие), палатализации (твердые и мягкие) и места образования (губные, зубные и заднеязычные).

Но фонема в синтагматической цепи смежности оказывается включенной в определенную *морфему* и употребляется в какой-то *слово-*

форме. Поскольку морфема есть минимально значимая единица языка, возникает вопрос о *функциональной* системе фонем, прежде всего об их функциональной ценности и глубине. *Ценность* фонем определяется их частотностью в системе, *глубина* их — количеством словоформ и морфем, в которых фонема может встречаться.

Соотношение парадигматических и синтагматических систем в грамматике проявляется противопоставлением морфологии (части речи) и синтаксиса (члены предложения). Здесь также может утрачиваться противопоставление в слабых позициях и выделяются существенные признаки различия в сильных.

Термин «категория» в современном значении в русской грамматической традиции впервые используется А. А. Потемной; его предшественники для обозначения грамматической категории употребляют еще термин «степень». *К а т е г о р и я* есть общее и даже всеобщее понятие о том же объекте, что и *п а р а д и г м а*, но это — максимально абстрактное понятие, наиболее близкое к идеальному в его абстрактности представлению, которое парадигма и замещает в сознании как общность явленных форм. Так, самостоятельные категории рода или числа имен представлены как замещение идеи предметности или счетной меры. Категория одновременно есть и образ парадигмы, и смысл понятия — это символ *концепта*, а концепт, в свою очередь, составляет основную единицу ментального содержания, которую сегодня изучают многие гуманитарные науки, не только языковедение. Категория — это совокупность содержательно однородных языковых единиц, объединенных общим признаком (категория рода, категория числа).

Исходной точкой развития любой категории, и грамматической прежде всего, является момент *начала*. В свернутом виде *начало* содержит в себе качество, которое должно развернуться в дальнейшем, так что *р а з в и т и е* оказывается движением заданных системой импульсов в определенном, ограниченном системой направлении. Трудно установить «законы» развития, но зато всегда заметны его «тенденции». *П р о ц е с с* объединяет начала и концы развития, обуславливая все этапы развертывания исходного начала. Процесс развития преобразует заданные качества, всегда определяясь условиями изменения. Процесс объективен, развитие составляет его оправдание и цель. Процесс и развитие соотносятся как явление и его сущность, и, в отличие от них, *и с т о р и е й* можно назвать момент осмысления и осознания соответствующего развития, данного в его процессе. Начало «развития» — и причина, и цель одновременно, но именно «история» устанавливает «законы» развития, определяя его внешние ограничения и возникающие под внешним влиянием отклонения.

И с т о р и я языка изучает *п р о ц е с с* *р а з в и т и я* категорий и форм конкретного языка — в нашем случае русского языка.

ФОНОЛОГИЯ

1. ИСХОДНАЯ СИСТЕМА ФОНЕМ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКОГО ДИАЛЕКТА В СОСТАВЕ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА

1.1. Основные принципы строения слога

К началу X в. наиболее полно выявились расхождения между северными и южными диалектами праславянского языка. Прежнее противопоставление Запад–Восток в связи с миграцией южных славян на Балканы после V в. по ряду языковых признаков сменилось противопоставлением южных диалектов северным. Утрата интонационных различий, разница в развитии носовых гласных, возникновение противопоставлений согласных по твердости–мягкости, расхождения в условиях и характере утраты редуцированных гласных — важнейшие отличия северной группы диалектов, которые позволяют говорить о том, что X в. является конечным этапом в развитии праславянского языка. В это время складываются условия для выделения отдельных славянских языков.

Общими функциональными закономерностями этого периода являлись закон открытого слога и закон слогового сингармонизма. Они сформировались в праславянский период, существенно изменив парадигматическую систему фонем; в частности, утрачены были дифтонги и дифтонгические сочетания, а у согласных возникла серия новых фонем.

По закону открытого слога (тенденция к обобщению открытого слога, к восходящей звучности слога) в праславянском языке возможны были только слоги, которые заканчивались гласным: *до/мь* — *до/ми/къ* — *до/мо/вь/ни/ча/ти* — *до/мо/вь/ь*. На этих примерах можно видеть, что закон открытого слога был фонетическим (касаясь фонетического слога) и, следовательно, очень часто вступал в противоречие с морфологическим членением слова. Морфологические, словообразовательные, даже лексические границы не совпада-

ли иногда с фонетическим членением речи «по слогам»; ср.: *дом-овън-ич-а-ти* — *до/мо/въ/ни/ча/ти*. Фонетический слог, претендуя на всеобщность и универсальность в языке, никак не соотносился с функционально важными единицами языка. Полугласные (глайды), прежде всего ⟨л, р⟩, могли закрывать слог (*съ/мьр/ти*, *дер/во*), но к концу праславянского периода и такие слоги стали восприниматься как исключение. Все отклонения от закономерности подвергались постепенным преобразованиям, известным по курсу старославянского языка. Самые поздние из них — те, которые дали расходящиеся результаты в различных славянских языках; например, изменение сочетаний типа **tbrt*, **tort* в **tbrьt*, **torot* иногда относят даже к IX в., т. е. ко времени, не очень удаленному от интересующей нас эпохи. Тенденция к распространению открытого слога становится законом, не имеющим исключений. Исключения сохраняются дольше всего на самой северной окраине славянского мира. Можно сказать, что превращение тенденции в не знающую исключений закономерность привело к полному разрушению принципа слогового строения речи. Этот принцип диахронический. Он обеспечил последовательное обогащение фонологической системы языка новыми фонемами, новыми признаками, новыми правилами позиционного варьирования и т. д. и в результате стал излишним — перестал способствовать развитию системы.

Закон слогового сингармонизма (тенденция к палатализации) является результатом действия предыдущей закономерности. Многочисленные изменения в пределах слога привели к тому, что в слоге стали возможны только одинаковые по качеству звуки: твердый согласный + гласный непереднего ряда ([та, по, ку]), нетвердый согласный + гласный переднего ряда ([ч'и, с'е, н'ъ]). Не совпадающие по качеству гласные и согласные в составе одного и того же слога преобразовывались. Твердые ⟨т, п, к⟩ в положении перед гласными переднего ряда смягчались; условно их называют полумягкими, имея в виду, что такие смягченные согласные не имели фонематического значения, не выступали в качестве самостоятельных «мягких» согласных фонем. В отличие от исконно мягких, которые были палатальными (мягкими), эти согласные являлись п а л а т а л и з о в а н н ы м и (смягченными). Самые поздние изменения этого типа происходили в VIII–IX вв., т. е. непосредственно перед выделением общевосточнославянского диалекта

В отличие от закона открытого слога, основного фонетического закона праславянского языка, звуковой сингармонизм определял как бы условие существования слога, он обеспечивал единство слога по большинству фонетических признаков входящих в его состав фонем. Основной смысл этой закономерности выявляется из следующего примера (разные формы слов *конь* и *конь*):

им. п. ед. ч.	<i>конь</i> [кон''-ь]	<i>конь</i> [кон-ъ]
местн. п. ед. ч.	<i>кони</i> [кон''-и]	<i>конь</i> [кон'-ѣ]
вин. п. мн. ч.	<i>конь</i> [кон''-ѣ]	<i>коны</i> [кон-ы]

Самые важные элементы слога, часть корня и окончание, не смешиваются друг с другом, всегда можно определить тип флексии, которая обслуживает данную парадигму, например ⟨ѣ⟩, перед которым может находиться и ⟨н⟩ палатальное (самостоятельная фонема), и ⟨н⟩ палатализованное (оттенок фонемы ⟨н⟩). Вместе с тем всегда строго соблюдается единство фонемы на стыке морфем; например, [кон''] во всех формах слова с ⟨н'⟩, а [кон] всегда с твердым ⟨н⟩. Закон слогового сингармонизма как бы подправлял закон открытого слога и вместе с тем предохранял некоторые фонемные признаки гласного или согласного от их взаимного слияния в слоге. Строго говоря, слоговой сингармонизм не стал законом, оставаясь на уровне тенденции, он сменился другими принципами сразу же после утраты закона открытого слога.

В праславянском языке, кроме условий, имелась еще форма существования слога. Было бы неясно, почему такое большое значение получил фонетический слог, если бы мы не учли просодических характеристик слога, потому что именно слог является их носителем. При этом количественные противопоставления (долгота–краткость) могли быть как у отдельных гласных, так и в отдельных слогах: фонематическое противопоставление долгих–кратких гласных столкнулось и с фонетической разницей между долгими и краткими слогами. Еще в праславянской языке количественные противопоставления гласных были утрачены в пользу слога, например: *лебадь* [le-będъ], *льзж* [lě-zǫ] дали [le-lě] вместо [lě-lě]. Однако такое расположение долгих и кратких слогов очень неустойчиво, оно никакого значения для системы не имеет. Долгий слог [lě] противопоставлен краткому слогу [le] не только потому, что в их составе находились соответственно долгий и краткий гласные. Эти слоги входили в состав словоформ с самым разным набором долгих и кратких слогов, которые к тому же могли чередоваться в различных словоформах одного слова и иметь разное ударение. Например, слог [lě] всегда находился под ударением, а слог [le] мог выступать то под ударением, то без ударения; слог [lě] никогда не сопровождался последующими долгими слогами, а слог [le] всегда находился в их окружении (при склонении и при образовании новых слов с помощью суффиксов). В аналогичном положении были слоги всех типов. Короче говоря, возникла необходимость связать долготу или краткость каждого слога с долготой или краткостью соседних слогов и вместе с тем выделить такой признак, который как-то мог бы объяснять фонетическую предпочтительность именно этого слога.

Таким признаком стал признак *и н т о н а ц и и*, потому что из всех просодических признаков только интонация может объединить своим действием два соседних слога, как бы прикрепляя их друг к другу: повышение (или понижение) интонации начинается (или завершается) на соседнем к подударному слоге. В результате произошло то, что историки праславянского языка называют переходом количественных различий гласных в качественные и что можно было бы считать третьей основной закономерностью праславянской фонологической системы. Поскольку количественные противопоставления слогов видоизменились в интонационные, теперь и долгота–краткость отдельных гласных фонем оказалась несущественной и сменилась противопоставлением гласных по качеству; в нашем примере на месте [le–lĕ] возникли слоги [le–lĕ] (<e> сохраняется, а <ĕ> = ъ возникает на месте долгого <ĕ>).

Закон открытого слога приводил к совпадению по качеству слогов, до того различавшихся: [lĕ–loi–lai–lāi] совпали бы в одном [lĕ] в связи с монофтонгизацией дифтонгов. Это могло разрушить многие важные противопоставления, например могли бы совпасть по форме корневые морфемы с разным значением. Этого не случилось благодаря образованию интонационных различий, которые накладывались на старые количественные противопоставления и усложняли синтагматическую систему. В таких условиях тенденция к открытому слогу по-прежнему могла продолжать действовать, поскольку на функциональном уровне она пока не сказывалась, не мешала целям общения, нейтрализовалась другими столь же общими закономерностями праславянского языка.

1.2. Состав гласных фонем

Функциональное единство слога в целом не препятствует парадигматическому выделению гласных в их отличии от согласных. В праславянском языке именно гласный являлся ведущим элементом слога, поскольку с гласным была связана основная характеристика слога (интонация) и поскольку гласный мог употребляться самостоятельно, например позиционно в начале слова (*огнь, утро*) и даже в качестве самостоятельного слова (ср. предлоги и союзы типа *a, o, y*). Согласный был связанным элементом слога: если качество гласных не зависело от качества соседних согласных, то согласные варьировали в зависимости от следующего гласного (ср.: [д] в словоформе [са́да] и [д´] в словоформе [са́д´ĕ]).

В начале X в. праславянская система гласных фонем включала 12 гласных. В обширном лексическом материале, дошедшем до нас,

можно выделить такие минимальные пары слов, которые отличаются друг от друга только одной гласной фонемой; ср.:

- 1) *сльъ* — *саль* (род. п. мн. ч. от *сало*) — *сель* — *силь* — *сьль* ‘посол’ — *сылъ* — *соулъ*: ⟨*ě-а-е-и-ь-ы-у*⟩
даль — *долъ* — *дль* — *дль*: ⟨*а-о-ě-ǫ*⟩
львь — *львь* — *лавъ* — *ловъ*: ⟨*ě-ь-а-о*⟩
мьхъ — *мьхъ* — *махъ* — *моухъ*: ⟨*ě-ь-а-у*⟩;
2) *стол[ъ]* — *стол[а]* — *стол[у]* — *стол[е]* — *стол[ě]* — *стол[и]* — *стол[ы]*: ⟨*ь-а-у-е-ě-и-ы*⟩
стон[а] — *стон[ы]* — *стон[ě]* — *стон[о]* — *стон[ǫ]* — *стон[у]* — *стон[ъ]*: ⟨*а-ы-ě-о-ǫ-у-ь*⟩

(⟨*ь, ę*⟩ могут встречаться только в «мягком» варианте склонения). Число сопоставлений, доказывающих различительную способность представленных гласных, можно было бы увеличить за счет не совсем подобных пар, например пар типа *соулица* ‘копье’ — *сжличь* ‘по направлению к’. Для установления фонем важно положение в одинаковых фонетических условиях, которое здесь соблюдается: гласные ⟨*у, ǫ*⟩ находятся после твердого перед палатализованным согласным.

Из многочисленных сопоставлений подобного рода можно сделать несколько выводов, важных для наших целей.

Во-первых, в случаях самой редкой оппозиции, например в парах ⟨*ě-о, ь-ь, и-ь*⟩, ряд противопоставлений мы можем дополнить наиболее распространенными фонемами ⟨*а, о, у*⟩. Напротив, имеются оппозиции, связанные с употреблением ⟨*а, о, у*⟩, которые не удастся расширить за счет сопоставлений с фонемами ⟨*ь, ь, ǫ, ę*⟩, иногда и ⟨*ě*⟩. Это значит, что ⟨*а, о, е, и, у, ы*⟩ являлись функционально сильными, очень употребительными фонемами; кроме того, они могут встречаться и без предшествующего согласного, т. е. не в составе слога. Фонемы ⟨*ǫ, ę, ь, ь, ь*⟩ — функционально слабые в системе праславянского языка. Функциональная слабость этих фонем объясняется и их редкостью. Фонема ⟨*ě*⟩ встречалась примерно в 240 корневых и в десятке флективных и суффиксальных морфем; ⟨*ę, ǫ*⟩ встречались еще реже (⟨*ę*⟩ обслуживала около 55, ⟨*ǫ*⟩ — около 75 корневых морфем). Только в 16 грамматических формах возможно появление носового гласного, причем, как правило, в конце слова — в фонетически самом слабом слоге. Различались по своей употребительности гласные и в потоке речи. Сравнение употребления гласных в одном и том же тексте по древнерусскому ОЕ 1056 показывает, что употребительность ⟨*ь, ь*⟩ постепенно уменьшается и одновременно образуется ряд низкочастотных фонем — как раз тех, которые впоследствии исчезли в системе русского вокализма; ср. убывающую последовательность

гласных ⟨и–а–е–о–ъ–ь–у–е–ѡ–ѣ–ы⟩, что соответственно в процентах составляет: 18–16–16–14,4–10–6,9–4,7–4,3–3,6–3,3–2,8 = 100%.

Во-вторых, между фонетически близкими фонемами число оппозиций максимально ограничено, а у некоторых фонем таких противопоставлений вообще никогда не было. Противопоставление ⟨ѡ–у⟩ или ⟨е–а⟩ отмечается только в нескольких корнях [из квазиомонимов ср.: *лжкъ* ‘оружие’ — *лоукъ* ‘овощ’, *лада* — *лада*, *падъ* — *падъ*, *радъ* — *радъ*] и в конечном слоге слова (ср. формы дат. п. ед. ч. имен мужского рода *рабоу* и вин. п. ед. ч. имен женского рода *робж*; но уже у глагольных форм такого противопоставления нет: *несж* — 1-е л. ед. ч. наст. вр.). Фонемы ⟨ъ–о, ь–е⟩ различали словоформы одного слова (например, *сель* — *село* или *конь* — *коне*), но никогда не охватывали противопоставлений в корневых морфемах. Напротив, ⟨ъ–ь, о–е⟩ противопоставлялись друг другу только в корневых морфемах (ср. в форме род. п. мн. ч. *дънь* — *дънь*: род п. мн. ч. от *дъно* и *дънь*), тогда как в конечном слоге слова они находились в дополнительном распределении, заменяли друг друга в зависимости от предыдущего согласного. Ср. следующие формы местоимений *тъ*, *сь* (с привлечением других вспомогательных форм):

после твердого ⟨т⟩:	<i>ти</i>	<i>ты</i>	<i>то</i>	<i>тъ</i>	<i>та</i>	<i>тоу</i>	<i>тъ</i>	<i>тѣ</i>	<i>тѣ</i>
после мягкого ⟨с⟩:	<i>си</i>	–	<i>се</i>	<i>сь</i>	–	(<i>сю</i>)	(<i>сь</i>)	<i>сѣ</i>	–
после твердого ⟨с⟩:	<i>си</i>	<i>сы</i>	(<i>се</i>)	(<i>сь</i>)	<i>са</i>	<i>соу</i>	(<i>сь</i>)	<i>сѣ</i>	<i>са</i>

Эту таблицу можно расширить за счет таких слогов, которые входили в состав какого-нибудь слова, но сами по себе отдельными словами не являлись (приведены в скобках). В фонетической транскрипции это соответствовало следующим возможным в праславянском языке сочетаниям «согласный + гласный»:

[т’и]	[ты]	[то]	[тъ]	[та]	[ту]	[т’ѣ]	[т’ѡ]	[т’ѣ]
[с’и]	–	[с’е]	[с’ь]	–	[с’у]	[с’ѣ]	[с’ѡ]	–
[си]	[сы]	[се]	[сь]	[са]	[су]	[сѣ]	[сѡ]	[сѣ]

Аналогичную картину дают флексии твердых и мягких основ, которые приведены выше; ср.: *конь* — *конь*, *жено* — *землѣ*, что также указывает на соотношение ⟨ъ–ь, о–е⟩ в пределах одной и той же грамматической формы.

По своему происхождению представленные имена существительные не одного исконного типа склонения: *конь* — из числа **й̑*-основ, *конь* — из числа **о*-основ, *жена* — из числа **ā*-основ, *земля* — из

числа **ē*-основ. После ряда изменений в праславянском языке эти основы стали осознаваться как варианты одного типа «мягкого» или «твёрдого», т. е. **o*- и **jo*-, также **ā*- и **jā*-основ. Гласные, составлявшие основу флексии, вступили в морфологическое чередование: р а з л и ч а я с ь ф о н е т и ч е с к и и представляя собой разные фонемы, морфологически они имели одно и то же значение. К этим двум парам гласных следует еще отнести ⟨и–ё⟩, поскольку они вступали в аналогичное отношение по общности морфологического значения; ср.: *конь* — *кони* (местн. п. ед. ч.), *жень* — *земли* (дат. п. ед. ч.). От чередования ⟨и/ё⟩ чередование ⟨о/е⟩ отличалось тем, что еще с праиндоевропейского периода представляло собой морфонологическое чередование, являясь результатом аблаута (т. е. чередования фонем, выступающего в морфологическом значении), который получил морфологическую функцию (ср. чередования в славянских глагольных корнях типа *веду* — *водиши*, *несу* — *носиши*). После сокращения ⟨й > ъ, ѣ > ъ) и редуцированные вступили в аблаутные чередования, т. е. по своей морфологической функции совпали с чередованием ⟨е/о⟩. Все славянские языки отражают результат сближения ⟨ъ, ь) с ⟨о, е⟩, поэтому можно предполагать его праславянское происхождение. Что же касается чередования ⟨и/ё⟩, то оно характерно не для всех славянских языков, и даже в одном каком-нибудь языке, например в древнерусском, наблюдается расхождение по диалектам. Аблаут с долгим по происхождению гласным вообще развился очень поздно, поэтому и оформление чередования ⟨и/ё⟩ в каждом славянском языке происходило самостоятельно. Впоследствии сама возможность вступать в морфологические чередования с той или иной фонемой определила направление в изменении утрачиваемой языком фонемы; ср. в древнерусском языке изменения ⟨ъ → е, ъ → о⟩, тогда как ⟨ё) совпадает либо с ⟨и), либо с ⟨е).

Таким образом, в древнерусской фонологической системе ⟨ъ, ь) и ⟨о, е) морфологически, в словоформах одного слова, не противопоставлены друг другу, но они противопоставлены всем прочим гласным фонемам системы; они выполняют не форморазличительную, а смысло-различительную функцию (могут различать значения разных слов).

Методом антонимического противопоставления терминов, представленных в средневековых грамматиках, можно определить те парные противопоставления, которые казались существенными древнему книжнику, а на этом основании и те признаки, на которых строилась вся система вокализма. Выясняется, что краткими были ⟨о, е, ъ, ь), долгота специально подчеркивается для передних ⟨а, о, у), для остальных гласных этот признак оказывается неважным, у ⟨ё) он связан с дифтонгоидностью. Как носовой гласный специально выделяется только ⟨ж). По подъему как наиболее узкие (верхние) выделяются ⟨у, и, ь), но в пару к ним в качестве неверхних показаны соот-

ветственно ⟨а, е, ъ⟩. Маркированный член оппозиции всегда дается в противопоставлении к немаркированному по данному признаку, вот почему в данной системе обозначений все неверхние гласные в дальнейших своих различиях не дифференцируются. В целом же попарные соотношения (противопоставление по подъему) представлены следующим образом: ⟨ы–и, а–о, о–у, ъ–ь, ē–е, ę–ò⟩.

Самым неопределенным по своим характеристикам является гласный ⟨е⟩ — он принципиально дан как *недостаточный* (*гласъ скуденъ*). Чтобы уточнить его количественную неопределенность, прибегали к толкованию графического варианта буквы *е*, именно *ε* — последняя является «гласом довольнымъ» ‘свободным, долгим’. По отношению к ⟨е⟩ все соседние гласные определяются как узкий ⟨и⟩, открытый ⟨а⟩, просторный ⟨у⟩, острый ⟨о⟩. Тем самым ⟨е⟩ выступает своеобразной фонематической точкой отсчета для всех прочих гласных; фонетической точкой отсчета для гласных является ⟨а⟩ — гласный, который максимально лишен всех фонетических характеристик в данной системе обозначений.

Основные признаки гласных фонем в исходной системе частично объясняются праславянскими изменениями вокализма, они изучались в курсе старославянского языка. Сравнительная грамматика славянских языков представляет следующие соответствия древнерусских фонем праиндоевропейским:

⟨ā⟩	{	⟨ā̄⟩	{	⟨ā̆⟩	{	⟨āu⟩	{	⟨i⟩	{	⟨ē̄⟩	{	⟨e⟩
⟨ā̄⟩	{	⟨ā̄̄⟩	{	⟨ā̄̆⟩	{	⟨ā̄ū⟩	{	⟨ei, ai⟩	{	⟨āi⟩	{	⟨jā̄⟩
⟨ы←ū̄⟩	{	⟨ь←ū̄̄⟩	{	⟨ь←ū̄̆⟩	{	⟨ь←ī̄⟩	{	⟨q←an⟩	{	⟨ę←en, am⟩	{	⟨ò←jān(t)s⟩

1.3. Система гласных фонем

Из этих сопоставлений вытекает следующее. Противопоставление по долготе-краткости является исконным, т. е. обязано своим происхождением совпадению долгих гласных с долгими и кратких с краткими. Исконно долгими были ⟨а, ы, и, ѓ, у⟩. Поскольку количественные противопоставления со временем утрачены (стали признаком слога, т. е. просодическим признаком), еще в праславянском языке могло произойти разложение фонологической долготы на фонетическую дифтонгоидность; исконно краткими были ⟨ā̄, е, ъ, ь⟩. Двойственными в отношении этого признака оказались носовые гласные: среди них были и долгие, и краткие по происхождению звуки. Однако с переходом признака количества на просодический уровень слога

все носовые гласные стали фонематически долгими, потому что все они образовались из дифтонгических сочетаний и имели две степени длительности. Как и на всех таких гласных, на них возникли интонационные различия. Это еще больше выделило носовые из числа всех прочих гласных: фонетически они могли быть долгими и краткими, в просодическом отношении — всегда долгими, по происхождению связаны с краткими, но в употреблении в праславянской системе — обязательно долгие.

Особых замечаний требует фонема ⟨ḡ⟩. Она возникла из определенных сочетаний ⟨ǣ⟩ с согласными и, подобно фонеме ⟨ẽ⟩, почти не встречалась в позиции начала слова. Произошло изменение ⟨*jō → ḡ⟩ с сохранением лабиализации, что указывает на то, что к моменту такого изменения ⟨õ⟩ и ⟨ḡ⟩ уже не были гласными одного и того же среднего подъема: ⟨õ⟩ перешло в число среднев верхних гласных.

Что же касается признака *к о л и ч е с т в а*, то он вряд ли был существенным для системы гласных в X в. Он и объединял бы самые разнородные по своим фонетическим основаниям факты: «сверхкраткий–дифтонг» (⟨ь–ы⟩), «долгий–сверхкраткий» (⟨и–ь⟩), «дифтонг–долгий» (⟨ы–у⟩), «долгий–краткий» (⟨ā–а⟩) и т. д. Фонетическая разнородность оказывается не подчиненной единому фонематическому принципу, следовательно, она несущественна на фонологическом уровне.

Признак *л а б и а л и з а ц и и* уже действует в праславянской системе. Этот признак вошел в систему после монофтонгизации дифтонгов [au, eu] и появления фонемы ⟨y⟩ (ou). Это вызвало перераспределение нового признака среди других передних гласных, и уже к X в. восточные славяне имели в системе вокализма лабиализованные ⟨y, o, õ, ḡ⟩. Распределение гласных в начале слова показывает, что в противопоставлении по лабиализованности маркированным был лабиализованный гласный. Только он возможен в абсолютном начале слова.

Признак *п о д ъ е м а*, по-видимому, еще не сформировался окончательно. Общие соображения о характере исходной системы указывают на две степени подъема: верхние–нижние. Верхние при заимствовании в другие языки обычно передаются гласными ⟨и, у⟩, нижние — ⟨а, е⟩. В названиях букв специально по подъему маркируются ⟨и, о, у, ь⟩, для всех прочих этот признак оказывается неважным. Действительно, по происхождению верхние и нижние гласные подразделяются на две группы: долгие и краткие. Условно выделяя четыре степени подъема, свойственные русскому языку в его диалектах вплоть до XX в., мы должны оговорить две различительные степени подъема (было бы лучше называть их иначе: различием по *н а п р я ж е н н о с т и*).

Признак *р я д а* остается важным для системы вокализма X в. Прошедшие до того изменения привели к образованию гласных среднего ряда, куда вошли все нелабиализованные передние гласные. Призна-

ки лабиализации и ряда уже не совмещались, как это было до монофтонгизации дифтонгов и как это случалось после утраты носовых гласных.

Для различения 12 гласных фонем необходимо и достаточно четырех различительных признаков; в позднем праславянском языке это были признаки напряженности, лабиализованности, тембра (различие по ряду) и ринезма (выделение носовых гласных).

Гласные	Передние		Непередние	
	лабиализованные	нелабиализованные	нелабиализованные	лабиализованные
Верхние		⟨и⟩	⟨ы⟩	⟨у⟩
Средневерхние	⟨ѡ⟩	⟨ь⟩	⟨ѣ⟩	
Средненижние		⟨е, ѣ⟩		⟨о, ѡ⟩
Нижние		⟨ѣ⟩	⟨а⟩	

В этой системе ближайшие фонемы противопоставлены по одному признаку, и этот признак — количество. Мы ожидали бы позиционного совпадения ⟨е⟩ с ⟨ѣ⟩, ⟨и⟩ с ⟨ь⟩, ⟨ы⟩ с ⟨ѣ⟩, потому что противопоставление по количеству перестает быть фонемным. Действительно, новгородские рукописи XI–XII вв. дают примеры смешения букв *e* с *ъ*, *и* с *ь*, *ы* с *ѣ*, но в конечном счете никаких смешений этих гласных не произошло, потому что образовалось противопоставление гласных по четырем степеням подъема.

Одним признаком отличались друг от друга и пары фонем ⟨ь–е, ѡ–ѡ, ѣ–ь, и–ы, ы–у, ы–а, ѣ–а⟩.

По двум признакам различались фонемы ⟨и–ѡ, е–ѣ, е–о, е–а, ѣ–а, о–а, ь–о⟩. Эти оппозиции были более сильными. Что же касается оппозиций с бóльшим числом различительных признаков, то они в истории русского языка не привели к нейтрализации в слабой позиции или к взаимному совпадению этих фонем; ср. оппозиции по трем признакам: ⟨ь–ѡ, ѣ–ѡ, ѣ–а, ѣ–о⟩, по четырем признакам: ⟨ѣ–ѡ⟩ и т. д.

1.4. Распределение гласных фонем

Для последующих изменений системы важны не только количество форм и слов, в которых встречаются те или иные фонемы, не только относительная частота употребления фонем в тексте, но и характер их позиционного распределения. В вокалической системе X в. накануне утраты носовых минимальное число гласных противопоставлялось в начале слова и в положении после палатальных.

В начале слова могли употребляться только ⟨о, о, у⟩: *ѣнь, оса, ось, жель, жда, жзы, оугь, оутро, оуха*. Если считать, что в *ѣдль* ‘всюду’ первый гласный передает фонему ⟨ō⟩, тогда и ⟨ō⟩ возможно в начале слова, потому что противопоставляется прочим гласным в данной (сильной для гласных фонем) позиции: *ѣдль* — *ждль* > ‘удочке’ — *оудль* (часть тела), т. е. [ōd·ĕ–ōd·ĕ–ud·ĕ]. На то, что это распределение объясняется всей системой вокализма, а вовсе не «происхождением» гласных, указывают соответствия древнерусскому ⟨у⟩ других индоевропейских языков: др.-рус. *оунь* [унь], лат. *juvenis*, лит. *jáunas*, ст.-сл. *юнь*; др.-рус. *оутро* [утро], лат. *aurora*, лит. *aušrá*, ст.-сл. *ютро*. Древнерусское ⟨у⟩ употребляется независимо от того, является ли оно исконным дифтонгом или восходит к сочетанию с начальным ⟨j⟩. Наоборот, в старо- и церковнославянских текстах находим только сочетания с начальным ⟨j⟩; поэтому в литературном языке возникли дублеты, первоначально имевшие стилистическое значение: *оужинь* — *юзь, Оульяна* — *Юлия, оуный* — *юноша, оуха* — *юшка*.

Гласные ⟨а, ѣ, е, и, ь⟩ в начале слова получали протетический ⟨j⟩, который отстранял начальный гласный от конечного гласного предшествующего слова: др.-рус. *язь*, ст.-сл. *азь*, болг. *аз* (диал. *jaz*), серб. *ja*, лит. *aš*, др.-инд. *ahám*. Только союз *a* в древнерусском языке сохранялся без йотации, что связано с его синтаксической функцией, во всех остальных случаях перед начальным ⟨а⟩ обязательно возникал протетический ⟨j⟩; появлялись стилистические варианты типа *ягня* — *агньць*. То же касается и *ь*: если в двух глагольных корнях, обычно употребляемых после приставки, и не произошло еще в праславянском языке изменения *ь* после ⟨j⟩ в ⟨а⟩ (как в *јѣд- > јад-* > [ад-]), т. е. возможно было употребление форм *ъхати, ѣсти* наряду с *ясти*, то в ранних рукописях и они обязательно пишутся с йотированным *ь* (ср.: *јьсти, јьхати* в И 73).

Йотация начальных ⟨ѣ, и, ь⟩ в древнерусском языке совпадала со старославянскими словами, т. е. давала примеры типа *языкъ, иго* ([jъго], ср.: лат. *jugum*) и т. д.

Все древнерусские рукописи XI–XII вв. последовательно различали два типа ⟨е⟩ в начале слова: всегда с начальным *к* писались падежные формы местоимений *и, иже* (*кго, кмоу* и др.), личные формы глагола *къмь* и *кълю*, а также слова *къда, къдинь, къже, кълико, къстьство*; с начальным *е* писались только заимствованные из греческого языка слова (типа *егунтъ*) и ряд славянских слов: *еда, едьва, езеро, еи, елень, ели, есе, етеръ, еще* ‘да’). Очень редко у некоторых писцов наблюдается предпочтение одного знака — либо только *к* (второй почерк И 73 и первый почерк АЕ 1092), либо только *е* (первые почерки М 95 и М 97). Последние явно ориентируются на орфографическую систему южнославянских оригиналов, потому что из старославянских

памятников только один более или менее последовательно различает *к* и *с*. Из этого можно заключить, что противопоставление *к*–*с* связано с какими-то особенностями в произношении начального ⟨е⟩.

Действительно, первая группа примеров включает в себя слова с обычным сочетанием ⟨j + e⟩: др.-рус. *късмь*, ср.: чеш.: *jset*, серб. *ĵesam*. Во второй группе — преимущественно слова, которые в древнерусском языке, как и в современных восточнославянских языках, произносились не с ⟨е⟩, а с начальным ⟨о⟩: рус. *озеро*, ст.-сл. *ezero*, польск. *jezioro*, болг. *езеро*, серб. *језеро*, др.-прус. *assarān*, лит. *ežeras*; рус. *осень*, ст.-сл. *есень*, польск. *jesień*, болг. *есен*, серб. *јесен*, др.-прус. *asanis*; рус. *осетръ*, ст.-сл. *есетръ*, польск. *jesiotr*, серб. *јесетра*, лит. *ašėtras*.

Расхождение между рус. *озеро* и ст.-сл. *езеро* объясняли различным образом, но единственно достоверное соответствие показывает, что начальное ⟨о⟩ во всех словах второй группы (*озеро*, *осень* и т. д.) восходит к индоевропейскому ⟨ā⟩ и, следовательно, ⟨о⟩ (⟨ā̃⟩) представляет собой исконный гласный в этих словах. Во всех диалектах праславянского языка (кроме восточнославянских) произошла межслоговая ассимиляция гласного ⟨ā̃ > e⟩, но фонетический характер этого гласного неизвестен. С одной стороны, на основании болгарского ⟨е⟩ предполагают лабиализованное [e] (Н. Н. Дурново), с другой стороны, прочие славянские языки указывают на наличие йотовой протезы перед этим «новым» ⟨е⟩. В словах типа *ежь*, *ель*, *есть* начальное ⟨е⟩ восходит к индоевропейскому ⟨e⟩ (ср.: лит. *ežys*, *ėglė*, *ėsti* с теми же значениями слов), и естественно, что в древнерусском языке перед этим начальным ⟨е⟩ развивался протетический ⟨j⟩.

Таким образом, древнерусские формы типа *озеро* могли конкурировать со старославянскими типа *езеро* в текстах на том же основании, что и *оунь* — *юнь* или *агна* — *агньць* (ср.: *единый* — *одиной* и наречие *одиною* — *единою* в И 76). Однако и в церковнославянских рукописях произношение по возможности передавалось соответствующими написаниями с *е*, а не с русским *о* в начале слова.

Как и в других случаях, вспомогательная лексика сохранила до нашего времени некоторые отклонения от общей фонетической закономерности; ср.: *это* из ⟨e + to⟩, где предполагают фрикативную протезу перед начальным ⟨е⟩, т. е. *he*. Впрочем, еще и до XVIII в. обычным было написание *ето*.

Гласные ⟨ъ, ы⟩ в начале слова получили протетическое ⟨u̯⟩: рус. *выдра*, серб. *вѣдра*, чеш. *vudra*, лит. *ūdra*, др.-инд. *udrāh*, греч. *ὕδρα* ‘гидра, водяной змей’; рус. *высок*, серб. *висок*, болг. *висок*, чеш. *vysoký*, греч. *ὑψί*, др.-в.-нем. *īf* ‘высокий’; рус. *воплъ*, *вопити* (др.-рус. *въплъ*, ср.: *возопити* < *възьпити* с корневыми *ъп* (**ŷp*), др.-перс. *ufeyēti* ‘он издает звук’); другие славянские языки либо не сохранили этого слова, либо по законам собственной фонетики изменили начальное сочетание с гласным: серб. *упити* (краткое ⟨y̯⟩ из исходного сочетания *въ-*). Таким

образом, еще в праславянском языке утрачивавшие лабиализованность ⟨ū, ū⟩ выделяли перед собой полугласный звук [ɥ], который после образования губно-зубного ⟨v < ɥ⟩ стал осознаваться как ⟨v⟩.

Приведенные выше изменения объясняют следующие образы. Согласно закону открытого слога, все слова должны были кончатся гласным, но если следующее слово начиналось с гласного же, образовывались зияния, неприемлемые для славянского произношения: оно не допускало двух гласных подряд. Так возникли вставочные согласные призвуки, первоначально, видимо, неопределенные по качеству ([j, ɥ, h]), но после фонологизации фонетически сходных с этими призвуками полугласных ([j, v]) они стали восприниматься как формы с начальным согласным. Следовательно, все подобные сочетания в начале слога возникли синтагматически на основе закона открытого слога.

Таким образом, для фонетической системы древнерусского языка характерны:

- нулевая протеза перед лабиализованными гласными ⟨y, o, ɔ, ɔ̃⟩;
- йотовая протеза перед нелабиализованными ⟨a, e, ě, e, i⟩, тогда как ⟨ъ, ь, ы⟩ в начале слова недопустимы, потому что во всех случаях они либо меняют свое качество (⟨jъ > ĩ⟩, то же касается и ⟨ě̃⟩), либо не вступают в свободное чередование с ⟨ъ, ы⟩ в заимствованных словах (ни в греческих, ни в старославянских заимствованиях также не было слов с начальными ⟨ъ, ы⟩). Этим подтверждается функциональная слабость фонем ⟨ъ, ь, ы⟩; они невозможны в абсолютно сильной позиции начала слога, где их качество не определялось бы качеством предшествующего согласного.

Отсутствие протетического согласного перед лабиализованным гласным доказывает важность признака лабиализованности. В древнерусском языке йотовая протеза противопоставлена нулевой протезе (≠) перед лабиализованным гласным. Поскольку ⟨j⟩ противопоставлен фонематическому нулю, он и сам представляет собой фонологически несущественную единицу. В фонетическом контексте ⟨j⟩ служит для обозначения гласных переднего ряда. Поэтому и в середине слова после исконно мягких согласных еще в праславянском языке произошло смещение гласных по ряду:

⟨*jē > jā⟩ — ср.: др.-рус. *падъ* < *ēd, *часъ* < *č̃ēs;

⟨*jā > 'ā⟩ — ср.: др.-рус. *морк*, лит. *mārios*;

⟨*jū > 'ĩ⟩ — ср.: др.-рус. *шити*, лит. *siūti*;

⟨*ju > 'ĩ⟩ — ср.: др.-рус. *уго*, лат. *jugum* (⟨*jūg > jьg⟩).

Последние три изменения отражают также делабиализацию гласных в положении после палатального: в соответствии с законом слогового сингармонизма признаки лабиальности и палатальности в

пределах одного слога были недопустимы. Это подтверждает синтагматический характер взаимного отталкивания признаков ряда и лабиализованности у гласных.

Особенно велика была позиционная дробность у носовых и редуцированных гласных. Даже если не принимать во внимание просодических различий между разными типами ⟨ъ, ь, ъ, ѣ, ѥ⟩, окажется, что эти гласные вступали в различные комбинаторные и позиционные отношения с другими фонемами и по-разному вели себя в составе словоформы и морфемы.

Можно следующим образом представить фонетическое распределение редуцированных в древнерусском языке:

Фонемы		Позиционные варианты	
		сильная позиция	слабая позиция
Комбинаторные варианты	свободные ⟨ъ, ь⟩	[t _̣ (ть) — <i>сънь</i> [t _̣ (ть) — <i>дьнь</i>	[(ть) т̣] — <i>дьнь</i> [t _̣ t _̣ ṭ] — <i>дьньсь</i> [ṭta] — <i>дьня</i>
	⟨ъ, ь⟩ перед ⟨r, l⟩	[ṭṛṭ] — <i>дьрнь</i> [ṭṛṭṛ] — <i>одьрьнь</i>	[ṭra] — <i>дьрати</i>
	⟨ъ, ь⟩ после ⟨r, l⟩	[tṛṭ] — <i>кръвь</i>	[tṛta] — <i>кръве</i>
	⟨ъ, ь⟩ перед ⟨j⟩	[taṭj̣] — <i>добрыи, костии</i>	[taṭja] — <i>п̣житиѣ, костикѣ</i>
	⟨ъ, ь⟩ после ⟨j⟩	[j̣ṭta] — <i>игла</i> [j̣g̣ta] — <i>игла</i>	[j̣ta] — <i>искра</i> [j̣skra], <i>имамь</i> [j̣maṭ]

Сильная позиция определяется положением редуцированного перед слабыми ⟨ъ, ь⟩, слабая — положением перед сильными ⟨ъ, ь⟩, которые в этой позиции функционально равны гласному полного образования. Иногда говорят о том, что сильной позицией являлось также положение ⟨ъ, ь⟩ под ударением независимо от гласного, который стоял за подударными ⟨ъ, ь⟩. Это не совсем верно, так как подударные ⟨ъ, ь⟩ обычно совпадают с сильной позицией редуцированного, следовательно, признак подударности является сопутствующим; ср.: [д̣нь], [д̣ньсь], [кр̣вь], [с̣нь], но [д̣ня], [кр̣вѣ]. Примеры, которые приводят в доказательство того, что под ударением находились сильные ⟨ъ, ь⟩, не показательны, поскольку современное ударение в словоформе не соответствует праславянскому (*дѣску*, но др.-рус. *дѣскѹ*). Счет слабых позиций с конечного слога к начальному объясняется последовательными оттяжками ударения с конечного слога на предшествующие слоги. Просодическая характеристика редуцированных важна сама по себе, и ее не следует смешивать с позиционным распределением этих гласных.

Из комбинаторных вариантов редуцированных особенно важны сочетания типа **tbrt*. Ученые по-разному объясняют характер этих сочетаний. В древнерусских рукописях они обозначались либо по образцу старославянских написаний (т. е. как **trьgь*, **trьga*), либо этимологически правильно (как **tbrgь*, **tbrga*). Только древнерусские рукописи XI в. дают еще два типа написаний, не известных старославянским оригиналам: с редуцированными по обе стороны плавного (как **tbrьgь*, **tbrьga*) или с надстрочным знаком на месте одного из редуцированных (типа **t'rbgь*, **tbr'gь*). Эти «русские» написания в рукописях XI в. составляют иногда большинство от употреблений сочетаний типа **tbrt* (ср.: ПМ XI — 7%, ОЕ 1056 — 37%, М 97 — 54%, М 96 — 91%, ЧП XI — 84%, АЕ 1092 — 98%). Таких написаний меньше в непосредственных копиях с южнославянских оригиналов (например, в И 73 двуровные написания встречаются только 51 раз), они уменьшаются к началу XII в. (в ЕК XII такие написания составляют лишь 5,4%), а затем до XIII в. сохраняются только в северных рукописях, иногда уже и в таких, которые отражают прояснившиеся сильные ⟨ъ, ь⟩ (МЕ 1215, ЖН 1219 и др.).

Фонетический характер редуцированных в написаниях типа *жьрътва*, *мьрътвь* подтверждается их последующим изменением во второе полногласие (параллельно общерусскому первому полногласию) и их относительной независимостью друг от друга, но влиянием со стороны последующего согласного. Ср. написания типа *жьръновахъ*, *мьрътвихъ*, *чьтвьрътое* в МЕ 1215; *дъръзновениш*, *мьрътвихъ*, *отвьръста* в ЖН 1219 с изменением ⟨ъ ≥ ь⟩ перед твердым зубным, подобно такому же изменению в словах *вьдова ≥ вьдова*, *дьска ≥ дьска* и др. Это показывает, что возникающие новые [ъ, ь] не имели фонематического значения и потому могли варьировать. Плавные ⟨л, р⟩ сохраняли свои фонематические свойства полугласного (глайда), выступая в двух позиционных вариантах, — этого требовал еще действующий закон открытого слога. В данном случае неважно, был ли сонант слоговым плавным, как считают одни ученые, или возле плавного возникал гласный призвук, как полагают другие.

Кроме фонетических и акцентологических условий употребления ⟨ъ, ь⟩, существовали еще морфологические причины, связывавшие активность редуцированных. Морфологически ⟨ъ, ь⟩ могли иметь одно и то же значение, выступая в некоторых морфемах как варианты (особенно часто как варианты флексий).

Другая причина связана с разнородностью собственно фонетических позиций. Соединяясь с другими фонемами в тексте, функционально одна и та же фонема является одновременно структурной единицей и словоформы, и морфемы, т. е. может находиться одновременно и в слабой, и в сильной позиции. Если сравнить ⟨ъ⟩ в морфемах *мьн(ъ)*, *мьних(а)*, *мьног(о)* и *мьх(а)*, окажется, что их функциональная

ценность неодинакова. В *мьх(а)* ⟨ъ⟩ важнее, так как он включается в цепочку словоформ этого слова с возможным появлением сильного ⟨ъ⟩ (ср.: *мьхъ*). В *мьн(ь)*, *мьних(а)*, *мьног(о)* редуцированный между сонантами ни при каких изменениях слова не будет чередоваться с сильным ⟨ъ⟩. В таких корнях ⟨ъ, ь⟩ являются слабыми не только в составе *с л о в о ф о р м*, но и в составе морфем *с л о в а*; с функциональной точки зрения они абсолютно слабые, морфологически изолированные. В данных сочетаниях фонем они не играют никакой морфологической роли; являясь фонетическими единицами, они не имеют морфологического значения. Поэтому в *изолированной* позиции скорее можно ожидать фонетического изменения, поскольку на какое-то время состав фонем выходит из-под регулирующего воздействия морфологических факторов. В древнерусском языке изолированная позиция гласных связана с постоянным отсутствием ударения на данном слоге, но особенно важно ее отличие от слабой для последующих изменений редуцированных. Это уменьшало различительные возможности редуцированных вообще, делало их менее самостоятельными по отношению к прочим гласным в системе вокализма.

Из других гласных наибольшую позиционную дробность имели носовые. Некоторые ученые вообще предполагали, что самостоятельных носовых гласных (типа современных французских носовых) у славян никогда не было, а было обычное сочетание типа ⟨о + м⟩.

Сложность в толковании носовых гласных определяется несоответствием между фонетическими и морфологическими их характеристиками. Согласно закону открытого слога, фонетическое членение давало [*па-с'ь-п-ти] и [*па-с'ь-поⁿ] (*начати* и *начьнѣ*), а не [*па-с'ь-п-оⁿ] — морфологическое членение. Таким образом, требуется соотнести [с'ьⁿ] (*ча*) и [с'ь] (также *ча*). Только о б щ н о с т ь м о р ф е м ы, т. е. собственно ф у н к ц и я фонемы, объединяет [ьⁿ] и [n] (или [eⁿ] и [ьп]), потому что фонетически первое из сочетаний входит в один слог ((*е*)), а второе — в два ((*е + п*)). Несовпадение слабой и изолированной позиции у редуцированных дало нам основание говорить о функционально слабых ⟨ъ, ь⟩. То же следует повторить и относительно носовых.

Фонематическая слабость носовых гласных определялась и тем, что они могли употребляться только после определенных согласных: ⟨*ѡ*⟩ после палатального, ⟨*е*⟩ после палатализованного и палатального, ⟨*о*⟩ после твердого. Первая фонема была ограничена по употреблению, встречалась в определенных окончаниях и морфологически дублировала ⟨*о*⟩; ср.: в вин. п. ед. ч. *ā*-основ: *горѣ*, *земльѣ*, (т. е. ⟨*о*, *ѡ*)), но в 1-м л. ед. ч. наст. вр. глаголов 3-го и 4-го классов: *знаѣ*, *хваѣ* ((*ѡ*)), в тв. п. ед. ч. *ā*-основ: *женѡѣ*, *тоѣ* (также только ⟨*ѡ*)). В 3-м л. мн. ч. наст. вр. глаголов 3-го класса: *знаѣтъ*, но у глаголов 4-го класса *хваѣтъ* (ср. в формах действительных причастий наст. вр.: *знаѣщѣ* — *знаѣ*, т. е. уже чередование ⟨*ѡ*⟩ не с ⟨*о*⟩, а с ⟨*е*⟩).

Неравноценность носовых гласных заключается в том, что фонема ⟨e⟩ выступала в составе словоформ, но в морфеме могла чередоваться с ⟨ō⟩. Фонема ⟨ō⟩ вообще была функционально ограничена флексиями, и только фонема ⟨o⟩ была сильной в общем ряду носовых гласных фонем.

1.5. Состав и распределение согласных фонем

При переходе от праславянской системы к древнерусской появилось множество типов варьирования согласных, в результате чего возникли и древнейшие расхождения по говорам.

Та фонема ⟨л'⟩, которая образовалась после губных из ⟨j⟩ в сочетаниях типа *ловлю, ломлю, люблю, терплю*, долгое время фонетически могла представлять собой именно ⟨j⟩, потому что ⟨л'⟩ и ⟨j⟩ одинаково являлись среднеязычными палатальными с общими прочими признаками; то же случилось и в сочетании ⟨л⟩ с последующим ⟨j⟩ (ср. *волѣа* ≥ *вол'а*). Уже в старославянском языке могла происходить утрата ⟨л'⟩, фонематически равного ⟨j⟩ (ср. написания типа *зема, корабь*); его нет и в тех славянских языках, которые, как болгарский, со временем фонологизировали ⟨j⟩ при отсутствии корреляции согласных по твердости–мягкости. В древнерусских рукописях утрата ⟨л'⟩ обнаруживается только в сочетании с ⟨в⟩ (т. е. фонетически [ц]). Ср.: *извьчеса* (рядом — *извьчеста*), *оумрьцьвь, суазвѣнлю* в ПМ XI; *оумрьцьваемь, оумрьцьвение* в М 95; *оумрьцвение* в ЯП XII и др. Некоторые колебания могли появляться в результате словообразовательного варьирования (ср. чередование *земльнь* — *земьнь* в М 95 и в других древних рукописях) и потому не отражают исконного фонетического изменения.

Характер изменения показывает, что ⟨в⟩ обладало большей слоговостью, чем ⟨л'⟩ (ибо сохранялось в сочетании [звл'], тогда как ⟨л'⟩ всегда начинает слог), и, в отличие от ⟨л'⟩, никогда не могло быть палатальным. В отличие от ⟨л'⟩, фонема ⟨л⟩ характеризовалась максимальной степенью лабиовелярности; на это указывают диалектные изменения позднего праславянского периода, например огубляющее воздействие ⟨л⟩ на соседний гласный в словах типа *вълкъ* (лит. *vilkas*), *молоко* < **melko* или изменение согласного в соседстве с ⟨л⟩, как пск. *егла* < **edla* 'ель' или *прочкли* < **pročtli*.

В праславянском языке в соответствии с тенденцией к открытому слогу произошло несколько значительных изменений, уменьшивших употребительность ⟨j⟩ в речи. Каждый [i] в конце слога после согласного утратился, приведя к возникновению новых монофтонгов, например в известных изменениях [eĭ > i, aĭ > ě] и т. д. Каждый ⟨j⟩ после

согласного в конце слога также изменился, что привело к образованию нескольких среднеязычных, вступивших в конкуренцию с ⟨j⟩ (ср. ⟨л + j ≥ л'⟩). Пока ⟨л', н'⟩ и др. входят в систему как среднеязычные, единственная фонема, для которой ее среднеязычное образование представляет, по существу, только один признак при отсутствии каких-либо других признаков, а именно ⟨j⟩, в данной системе не может быть самостоятельной фонемой.

Дефонологизация ⟨j⟩, т. е. низведение прежде самостоятельной фонемы на уровень фонетической наставки, сопровождалась аналогичными изменениями ⟨ц⟩. Дело в том, что в праславянском языке все полугласные имели морфологическое значение, некоторые даже по нескольку значений; ср.: ⟨м⟩ как суффикс причастия, ⟨р⟩ как именной суффикс, ⟨л, н⟩ — суффиксы имени и причастия. В отличие от них, ⟨j⟩ и ⟨ц⟩ сами по себе, без сопровождения гласных, ни в формо-, ни в словообразовательных процессах не участвовали, их фонематическая функция была ослабленной, они находились, следовательно, в изолированной позиции. У ⟨ц⟩ это положение было впоследствии ликвидировано (ср. форму причастия *давѣ*, в которой в результате перераспределения ⟨в⟩ осознается самостоятельным суффиксальным элементом), особенно после падения редуцированных. У ⟨j⟩ этого не случилось даже после утраты ⟨ь, ъ⟩, на что указывают русские рукописи XII–XIV вв.; ср.: *ваше державѣ, всѣ Палестинѣ, старъшиноу* в ЖС XIII (такие же пропуски конечного *и* в Пант. XII, ЖН 1219, Пр. 1383, в псковских, новгородских и московских рукописях XIV и даже XV вв.). Особенно показательны написания типа *възвъща* вместо *възвъщаи, оуботеса, разоумѣте* в форме повелительного наклонения. Именно здесь после падения редуцированных можно было бы ожидать «освобождения» ⟨j⟩ из фонетического контекста и использования его в качестве самостоятельной фонемы и одновременно морфемы ([в'ещ'а-јь]).

Несколько замечаний требует фонема ⟨р⟩. Как и ⟨л⟩, она является полугласной; ⟨р⟩ выделяется также неспособностью к употреблению в сочетаниях с фрикативными; например, сочетания [зр, ср] в древнерусских рукописях почти последовательно передаются как *здр, стр*; ср.: *въз-д-радовася, из-д-ризы, из-д-роуки* в М 96. Двух рядом стоящих «длительных» гласных не могло быть в фонетическом потоке, они разграничивались вставочными [д, т], вносящими в сочетании взрывной элемент. Наоборот, ⟨м, н⟩ в разрядке взрывными не нуждались, более того, они даже устраняли соседние им взрывные согласные, как это и требовалось по закону открытого слога; ср.: *горазнѣк < *gorazdněje, семь < *sedmь* уже в ОЕ 1056. Сочетаемостью со взрывными все прежние глайды оказываются разбитыми на три группы: ⟨ц, ĭ (j)⟩ — всегда полугласные, ⟨л, р⟩ — позиционно полугласные, ⟨м, н⟩ никогда полугласными не выступают.

Второе отличие ⟨p⟩ от прочих глайдов заключается в том, что древнерусские источники очень редко отражают палатальность «мягкого» ⟨p⟩ (ср. написания типа *вола*, *воня* при *моря* в рукописях XI–XII вв.). Можно думать, что вторичное смягчение ⟨p⟩ происходило не одновременно с фонологизацией мягкости у ⟨л, н⟩.

Общий смысл всех праславянских изменений фонем ⟨л, н, р⟩ в сочетании с ⟨j⟩ заключался в том, что возникло новое противопоставление среднеязычных ⟨л”, н”⟩ переднеязычным ⟨л, н⟩.

До конца XII в. нет надежных примеров смешения ⟨в⟩ с ⟨у⟩, которое указывало бы на изменение качества губно-губного [υ] в губно-зубной [в]. Таким образом, до падения редуцированных ⟨υ⟩ сохранял все качества сонанта. В древнерусской консонантной системе не было также фонемы ⟨ф⟩, хотя в книжном церковнославянском произношении некоторые заимствованные слова могли уже произноситься с ⟨ф⟩, на письме они передавались буквами *ф* («ферт») и *ϑ* («фита»); ср.: *фараонъ*, *фарисеи*, *философъ* в ГБ XI на месте греч. *φαραώ*, *φαρισαῖοι*, *φιλόσοφος*; *фимиямъ* в И 73 при греч. *θυμίαμα*; *афира* ‘кисель’ в ЯП XII при греч. *ἄθηρα* и др. Первоначально эти разные типы [ф] могли различаться и в славянском произношении, они даже обозначались на письме разными буквами, но затем обобщалось основное качество [f] — губной фрикативный глухой согласный, а не зубной его эквивалент [th]. По сравнению с ранним праславянским периодом, когда греческое [f] передавалось в заимствованных словах согласным [п] (ср.: рус. *пароусъ*, греч. *φᾶρος* — ‘полотно’), в овладении новой артикуляцией произошел несомненный сдвиг. Сам факт, что греческим разным фонемам в праславянском языке соответствует одна звуковая единица, показывает, что эта единица существенно важна для славянской системы и включает в себя признаки, которые в греческом входили в разные фонемы. Постепенно, от слова к слову, при заимствовании увеличивается число форм с новым фрикативным согласным, однако в систему фонемных противопоставлений [ф] еще не включается.

В сложном сочетании согласных на стыке морфем фонема ⟨г⟩ могла устраняться; ср. примеры в рукописях, написанных не на севере: *разньвавъшеся* в И 73; *бъство* в ОЕ 1056; и *разньвавъся изна* (*изъгна*) в ЖС XIII; отдельные примеры встречаются в АЕ 1092, 3 XII, ЖН 1219 и др. до XIV в. (*разньвается* в ПА 1307). Такие написания не доказывают еще изменения ⟨г > γ⟩, потому что и взрывной ⟨г⟩ мог устраняться в сложных консонантных группах.

До XIII в. нет надежных примеров произношения [γ] на месте взрывного ⟨г⟩. *Ана рѣина* в надписи 1068 г. передает французское произношение слова *regina* ‘королева’; *своего осподаря* в надписи на чаре (ок. 1151), как и написание *Βουλνη Πραχ* (название днепровского порога *Вольный прагъ*) в записи Константина Багрянородного (сер. X в.) могут передавать церковное или «славянское» произношение

этих форм. Фрикативное [ɣ], а затем и фарингальное [h] на месте ⟨г⟩ отражаются лишь с XIII в. в написаниях типа *г Киеву* или *х Киеву*, в смешениях типа *бехлыхъ* ‘беглых’ и *гощеши* ‘хощеши’ в южнорусских рукописях. Связано это было с характером морфонологического чередования, сохранившего свой древнеславянский тип; ср.: *блѣха* — *блѣшка* — *блѣси* с чередованием фрикативных ⟨х/ш/с⟩ в корневой морфеме, но *нога* — *ножька* — *нози* с пересечением взрывного ⟨г⟩ с фрикативными ⟨ж-з⟩ в одной и той же морфеме; отсюда и замещение взрывного на фрикативный с образованием устойчивого по способу образования ряда ⟨ɣ-ж-з⟩. В основной массе собственно русских говоров такое чередование не сохранилось, почему и не развились изменения фонемы ⟨г⟩. Но северо-восточные русские рукописи, например Лавр., начало такого изменения отражают.

Сложнее всего определить дифференциальные признаки в противопоставлении согласных ⟨д-т, з-с⟩ и т. д. Традиционное мнение о противопоставлении их как глухих звонким сомнительно.

Признак голоса не мог различать пары типа ⟨д-т⟩, потому что он уже участвовал в системе противопоставлений для выделения полугласных (глайдов). Кроме того, славянские звонкие согласные восходили к праиндоевропейским звонким двух типов — придыхательных и чистых, тогда как глухие соотносятся только с глухими. Если в раннем праславянском языке происходило совпадение ⟨bh, b > b⟩, ⟨dh, d > d⟩, ⟨gh, g > g⟩ и т. д., но соответствующие им глухие сохранялись без изменений, ясно, что в момент изменения маркированы были глухие ⟨р, т, к⟩ (потому что совмещение фонем возможно только по немаркированному признаку) и что в результате совмещения новые звонкие получили какую-то дополнительную фонетическую характеристику, связанную с придыханием.

Славянские языки сохранили следы древнейшего озвончения ⟨р, т, к⟩ перед следующим глайдом или гласным, иногда давая расходящееся произношение; ср.: рус. *дроздь* < **trosdos*; рус. *глухъ*, лит. *klusnùs* ‘попослушный’; рус. *блюць* и *плюць*; рус. *дробити*, лит. *trapùs* ‘ломкий’; рус. *тпенет*, чеш. диал. *drobit*, лит. *trepùmas* ‘ловкость’. Очень часто это происходило в сочетаниях ⟨sk, st⟩, изменяющихся в ⟨zg, zd⟩ на стыке некоторых морфем, сначала, может быть, только перед гласным или глайдом, ср. предлог *от* (из **ant*) и *од* (из наречия **an(e)d*) при греч. *ἀντί, ἄνευ*, что привело либо к распространению только *от-* (в древнерусском языке), либо к существованию обоих вариантов (в древнечешском языке). То же можно сказать о других предлогах, например: др.-сл. *из-*, лит. *iš*, лат. *ex* с глухим согласным. Ассимиляция по звонкости-глухости в древнеславянском языке показывает, что признак голоса был различительным для гласных и глайдов, тогда как у шумных согласных этот признак не имел значения, и они могли варьировать по признаку голоса.

Важно также, что в последовательном увеличении числа согласных фонем, начиная с балто-славянского периода, праславянский язык не получил ни одного взрывного согласного; обогащение системы консонантизма шло за счет щелевых, сначала глухих (<с, х>), затем звонких (<з>) и только после этого обязательно звонких и глухих совместно (например, <ж”, ш”>). Таким образом, щелевые первоначально не входили в корреляцию по звонкости–глухости, и позже это привело ко многим изменениям вследствие непарности фонемы <х> по данному признаку. Более того, они были безразличны к противопоставлению по признаку голоса, что вело к частым смешениям, например <з> и <с>.

Еще древнерусские рукописи широко представляют изменения типа *бесплътна* (И 73), но такое оглушение <з > с> не ограничивается позиционными ассимиляциями. Предлоги-приставки могли свободно закреплять один из возможных вариантов — с <з> или <с>. Например древнеславянское *из* (из балто-славянского *ис-*) от частого употребления перед глухими согласными в начале слова стало осознаваться как морфема *ис*, а это повлияло на сочетания приставки *съ-* с корнем таким образом, что и в приставке началось раннее устранение редуцированного (*смерть* вместо *съмерть*). Предлог *чрьсь* – *чересь*, наоборот, стал осознаваться с конечным <з> и в таком виде вошел в современный русский язык (*чрез* – *через*). В том случае, если корень начинался с гласного или сонанта, в самых ранних рукописях находим новый тип префикса, с «новым» <ъ>; ср.: *възлюбиль*, *изъ облака* и др. в ОЕ 1056. Позиция <з> не допускает здесь чередования <з/с>, и, хотя можно было бы ограничиться написанием типа *изоблака* (оно передает звонкость <з>), писцы предпочитают внести «неэтимологический» <ъ>, но не допустить столкновения гласного или глайда со звонким согласным.

В одном случае безразличное использование <з, с> не знает исключений в древнерусских рукописях — если сталкиваются два одинаковых согласных, то пишется только один; ср.: *бесъмертьна*, *расждати*, *расмотримъ* и др. в И 73, также *бесвоего* (сдвоенные согласные-геминаты всегда связаны с признаком напряженности).

Таким образом, щелевые в древнерусском языке избегают всяких сочетаний с гласными звуками, но весьма охотно вступают в комбинаторные отношения со звонкими согласными; ср.: *възлюбиль* — *бесплътна*, *расмотриль*. Ассимиляция возможна только по признаку, который для данной фонемы несуществен, но для вступающей с ней в комбинаторные отношения другой фонемы исключительно важен. Если учесть эту закономерность, окажется, что для <з, с> признак голоса важен, а признак звонкости (напряженности) — нет. Как щелевые согласные <з–с> противопоставлены друг другу признаком голоса (звонкий–глухой), так и взрывные <д–т> и др. вступают в

противопоставление по другому признаку, которые мы уже назвали признаком напряженности. Возможно, это различие объясняется тем, что по своему происхождению ⟨з–с⟩ связаны с противопоставлением по голосу, независимо от того, восходят они к праиндоевропейским ⟨к–д⟩ (*срьдьце, зрьно*) или образовались в результате фонологизации позиционного озвончения ⟨з < с⟩ (типа *мързькъ < *тръськъ*). Образование ряда щелевых несло с собой новый для шумных согласных признак голоса, тем более что среди глайдов щелевых не было.

Приняв все это во внимание, мы не выделяем оппозиций по напряженности и голосу (т. е. отдельно ⟨д–т⟩ и ⟨з–с⟩), поскольку для древнерусского языка с точки зрения общей системы эти признаки равнозначны по отношению друг к другу в противопоставлении ко всем прочим признакам согласных фонем.

1.6. Палатализации

С тем же изменением связаны расхождения по говорам в результате третьей палатализации заднеязычных согласных. И древнерусские рукописи, и современные северные говоры указывают на то, что в северных говорах процесс третьей палатализации не был завершен, и потому фонемы ⟨зʹ, сʹ, цʹ⟩ не вошли в консонантную систему древнего северного наречия.

Особенно четко отсутствие третьей палатализации отражено в лексике, мало подвергшейся аналогическим воздействиям со стороны литературного церковнославянского или инодиалектного произношения (служебные и бытовые слова, местные заимствования, имена собственные). Например, местоимение *вьсь* в древненовгородских рукописях передается с исконным ⟨х⟩; ср.: *вхего*, *вхемо* в Бер. гр. XII в., *вхыхъ* в Бер. гр. XIV в., *вхоу* в XI 192; *вхе поль* (*вьсь пльъ*) в Синод. и др. Не отражают палатализации конкретно-бытовые (или, наоборот, сакрально-языческие) слова, такие, как *польга* (ст.-сл. *польза*), *стьга* и *зга* (ст.-сл. *стьза*, ц.-сл. *стезя*), *яга* (ст.-сл. *язза*, *язя*), севернорусские заимствования из других языков типа *варягъ*, *къльбягъ*, *щъльягъ* (др.-ск. *varingr*, *kylfingr*; гот. *skillings*), которые в южных диалектах дали результат третьей палатализации, ср.: *скъльязь* в СЕ XII, в РК 1284 (переписанной с болгарского оригинала) и др., но др.-рус. *щъльягъ* в ПВЛ под 885, 964 г. Контаминация этих форм в АЕ 1092 в *стьгьязь* (*стьльязь* — *стьльягъ*) указывает на начавшееся распространение церковнославянского варианта и на севере; впоследствии это привело к смешению палатального ⟨зʹ⟩ с твердым ⟨з⟩ (ср. частые в русских рукописях XII–XIII в. колебания в написаниях *княза* — *князя*, *князю* — *князю*). Результат выравнивания форм мог расходиться

с тем, что стало обычным для литературного языка; например в новгородском БЗ XVI находим *польза, пользю, по стеза, стезамъ* (литер. *польза, но стезя*), но вместе с тем и отсутствие результатов второй палатализации заднеязычных: *Вакхе, Дъмькъ* в М 96; *на Волхевци* в Х 1192; *Борьке* в ДК 1270; *въ Онъгъ* в Уставе Владимира (XIV в.), в НК 1282; *двъ долгы* в Новг. гр. 1305 г., *ко Оуике, къ Коулотъкъ и Лоучьке, къ Лоукъ, от Дрочке, по великъ д(ни), у влѣдкъ*, в Бер. гр. XI–XII вв. Современные диалектные материалы показывают, что следов второй палатализации нет и в ряде корневых морфем, которые сохранились в своих конкретных, иногда этнографических значениях и потому остались в стороне от нивелирующего воздействия литературных форм; ср.: диал. *кѣвка* ‘шпулька’, *кедилка* ‘цедилка’, *кежь* ‘процеженный раствор овса’, *кеп* ‘било’, также *кет*, *квел* < *квъл* (так же и в диалектном произношении: *квитки, кивцы*) и русские литературные их соответствия — *цвѣль, цвѣть, цѣвка, цѣдра, цѣжь, цѣпь*.

Имеется, по крайней мере, одна фонетическая позиция, в которой уже древнейшие русские рукописи отражают отсутствие второй палатализации: в положении после ⟨з, с⟩ перед ⟨и, ё⟩; ср.: *пасхъ* в ОЕ 1056, ЮЕ 1120; *въ влѣскъи дѣи, золобъ женъскъ* в И 73; *крѣтъянскѣи ѣри* в М 95; *воскъ* в ГБ XI; *дѣскъ* в ЖК XI; *миръскѣи* в ЯП XII; *розгъ* в С 1156; *нѣсъскѣи, члѣсъскѣи* в ГЕ 1144; *въ миръскъи* в ЕК XII; *въ арменъскъи* (там же и другие написания), *въ Пинъскъ, въ чьрньчьскъмъ* в УС XII; *пѣрчьскъи* в З XII; *плтьскъи* в ХА XII; *скитъскѣи* в ЖС XIII и др., также и в корне слова, хотя примеры сохранились от более позднего времени (ранние списки этих текстов утрачены): *раскъпалася* в Гр. ок. 1350 г., *проскъпомъ* в Лавр.; *оскъпомъ, оскъпищу* ‘древко копя’ в Ип. 1425; *роскъвело* в Пал. 1494 (ср. в Сл. плк. Иг.: *еста начала половецкую землю мечи цвѣлвити*). Сочетание с предшествующим зубным препятствовало последовательному изменению ⟨г, к, х⟩ перед передними ⟨ё, и⟩, не давая развиться свистящим [з”, с”, ц”]. В XII в. игумен Даниил в своем *Хождении ст* употреблял лишь в заимствованной лексике (*въ градъ Кесариистъмъ, о горъ Ливанъстѣи* и др.), но для знакомых славянских слов он использует *ск* (*латышьскъмъ, роускъи*). Этот пример подчеркивает постоянное взаимное отталкивание «русского» и «нерусского» лексического материала и связанное с этим различное фонетическое оформление славянских и заимствованных слов.

Из примеров ясно, что у восточных славян (может быть, не на всей территории) возникли условия, препятствовавшие последовательному завершению второй палатализации заднеязычных.

Отсутствие последовательной «свистящей» палатализации привело к тому, что в новгородских рукописях уже с XI в. устраняются и результаты первой палатализации, особенно если они имели место в морфологически проверяемой позиции. Выразительны примеры

церковных текстов, в которых подобное «обратное» выравнивание распространялось даже на заимствованные слова, причем в архаической (звательной) форме; ср.: *архистратиге*, *архистратиже*, *Куриаке* при *архистратигь*, *Куриакь*, *Куриакь* в М 95; *Вакхе*, но *Тараши* (им. п. ед. ч. *Тарахъ*) в М 96. Такое выравнивание вполне закономерно: если рефлексы второй и третьей палатализации не объединены в общем противопоставлении к прочим вариантам морфологического чередования, то нет, собственно, и самого чередования, во всяком случае, оно оказывается не нагруженным морфологически.

Изменения согласных под влиянием [j] и передних гласных в древнерусском языке привели к следующим общим результатам (цифры обозначают тип палатализации заднеязычных согласных):

	I	II	III	
([r + j]) } ([k + j]) }	[ч'']	— [ц']	— [ц'']	— [к]
([x + j]) —	[ш'']	— [с']	— [с'']	— [x]
([r + j]) } ([d + j]) }	[ж'']	— [з']	— [з'']	— [r]

Во всех славянских языках к X в. завершилась первая палатализация заднеязычных, в результате чего возникло противопоставление шипящих заднеязычным; ср.: *кара* — *чара*, *гарь* — *жарь* (на месте *kāra* — *kēra*, *gāri* — *gēri*). К этому же времени аффрикаты [д'ж', д'з'] изменились уже во фрикативные [ж'', з''], и в системе сохранились только глухие аффрикаты.

Вторую и третью палатализации объединяет то, что в результате изменения в праславянском языке образовался ряд свистящих согласных различного качества. Фонетически после второй палатализации появились смягченные [з', с', ц'], а после третьей — мягкие (палатальные) согласные [з'', с'', ц'']. В старославянских рукописях результат изменения ⟨г⟩ по второй палатализации обозначен буквой «зело» (*Съло*, *Свъзда*), а по третьей — буквой «земля» (*кънлзъ*, *польза*).

Важно также отметить несовпадение условий второй и третьей палатализации: вторая связана с воздействием гласных ⟨и, ё⟩; третья никогда не происходила после ⟨ё⟩, а после ⟨и⟩ происходила очень непоследовательно, и притом только в определенных суффиксах. Ср., например, колебания типа *голубика* — *голубица*, которые распространились со временем только в тех славянских языках, в которых не образовалось противопоставления согласных по твердости–мягкости (в сербском языке и в северных русских говорах). Ср. также суффикс *-иг(а)*, в котором подобного изменения вообще не было (*выжига*, *взига*), дифференциацию суффиксов *-ник(ъ)/-ниц(а)*, которые восходят

к одному и тому же сочетанию с *ik-, и т. д. Столь же непоследовательным оказалось изменение в сочетаниях типа *tʁk- (*зьрцало* — *зьркало*, *мьрцати* — *мьркати*); для древнерусского языка характерны именно вторые формы. Следовательно, на севере, где очень рано сформировалось второе полногласие (*зьръкало*, *мьръкати*), третья палатализация действительно не имела места, ибо в положении после ⟨ь (i)⟩ мы ожидали бы ее рефлексов.

Все изложенные факты заставляют сделать вывод, что северные древнерусские говоры отличались от южных тем, что они не изменяли заднеязычных согласных по третьей палатализации.

С фонологической точки зрения отношение третьей палатализации ко второй такое же, как и отношение изменения ⟨ē > а⟩ после палатальных к первой палатализации. Первая и вторая палатализации представляют собой чисто фонетические изменения, приспособление артикуляции согласного к следующему гласному в условиях действия слогового сингармонизма. Такое приспособление артикуляции не приводило к возникновению новых фонем, оно вызывало только варьирование оттенков уже имеющихся в системе фонем. После второй палатализации соотношение между *рука* — *руць* остается неизменным, [к] и [ц'] — по-прежнему оттенки одной фонемы, отличающейся от фонемы ⟨ч'⟩. Но последняя и не вступает во внутриморфемные чередования; она обслуживает, может быть, и ту же морфему, но в других парадигмах или изолированных словоформах (ср.: *вьручити*, *ручька*, *ручьной*), а также звательную форму в словах типа *отче*, *старче*, которые утратили чередование ⟨к/ц/ч⟩ (*старьць* — *старьче*).

Третья палатализация — это процесс фонологизации нового ряда свистящих фонем, увеличения их функциональной ценности и образования фонологически сильных позиций для противопоставления исходным фонемам ⟨г, к, х⟩. После третьей палатализации ⟨з'', с'', ц''⟩ становятся возможными перед непредними гласными, тем самым противопоставляясь фонемам ⟨г, к, х⟩; ср.: *кънязя* — *кънязю*, *кънига* — *кънигоу* (т. е. [з''а–га], [з''у–гу]). С фонологической точки зрения неважно, предшествует ли третья палатализация второй или нет, важно только, насколько широко процесс морфологического выравнивания, связанный с действием третьей палатализации, охватил все словоформы, категории слов и морфемы. Действие третьей палатализации подтверждает диахроническую закономерность, согласно которой выравниванию по аналогии подлежит только новая фонема с новым признаком, но не вариант фонемы.

Отношением к третьей палатализации в конечном счете объясняются все расхождения в характере консонантизма древнерусских говоров.

Между [ц'] и [з', с'] имелось существенное различие. Полумягкие [з', с'], возникавшие по второй палатализации, соотносились не толь-

ко с ⟨х, г⟩ (по происхождению), но и с ⟨з, с⟩ (фонетически). Двойная соотнесенность фрикативных ⟨з, с⟩ обеспечивала большую свободу их проявления, их некоторую отстраненность от ⟨х, г⟩, особенно на стыках морфем; ср.: *нога* — *нози*, *сльза* — *сльзы* (т. е. [га–з’и], [за–зы]). Наоборот, не испытывавшим третьей палатализации, единственно соотносимым с [ц’] элементом системы оказалась другая аффриката — [ч’]. Таким образом, в северных говорах возникло совмещение двух аффрикат в одну — образовалось ч о к а н ь е, т. е. произношение (и широко распространенное в новгородских рукописях XI в. написание) типа *личе*, *лича*, *личоу* при *ликъ* — *лика* (но не *лице* — *лича*) наряду с *чего*, *чара* и др. Ни в одной позиции и ни в одной морфеме [ч’] и [ц’] не противопоставлялись друг другу, и это способствовало их объединению в общем противопоставлении к ⟨к⟩, т. е. той фонеме, оттенками которой они были в прошлом. Однако ⟨к⟩ — взрывной согласный, тогда как признак аффрикатности требовал более четкого противопоставления [ч’] и [ц’] фонеме ⟨к⟩.

Сложнее определить фонемный статус тех сочетаний, которые возникли на месте праславянских **skj*, **zgj*, **stj*, **zdj* и **sk*, **zg* перед гласными переднего ряда. В традиционных текстах они передавались буквами *щ* (*шт*) и *жд*: *ищъж*, *иштъж*, *щюка*, *дрождия*, *дъждь*. Однако за этими буквами скрывалось уже собственно восточнославянское произношение, особенно на севере: с XI в. новгородские рукописи те же сочетания передают буквами *ш*, *жг*. В качестве примера приведем данные М XI: *беишльныхъ*, *добролюшье дѣша*, *ишю медуу*, *кланюшша*, *пштанюшю*, *полашиса*, *пошению* ‘пощение’, *просвьшша*, *свашиене*, *соушьству* и др.; также в М 95, М 97 и др. В тех же рукописях встречаются написание типа *въжгелаете*, *дъжжъ*, *ижженье*, *пръжжлешши*, *прижжогень*, *рожжъ*. Такие примеры есть только в древних северных рукописях до XIII в. (лексикализованные написание отдельных слов типа *дъжжъ* отмечены и позже), при этом выходят за пределы исходных сочетаний типа **sk*, **st*, **zg*, **zd*. Ср.: *ражжизаемъ* и *ражжагаеми* с [жж’] на стыке двух морфем *раз-жизаем* в М 96. В южных рукописях на месте таких сочетаний употребляется обычно *жд*; ср.: *иждегоу*, *ижденоуть*, *раждешти* в И 73. Позже эти последние и стали приметой церковнославянского языка русской редакции; ср. обычное для поздних рукописей смешение: *ижденуть* — *ижженоуть* — *ижжноуть*, *рождье* — *рожье* и т. д. в ГЕ 1357.

На стыке морфем могли соединяться и глухие согласные; см. многочисленные примеры такого типа: *ишрьтога*, *ищезе*, *ишрьва*, *ишцшти* в М 95; *беицадь* ‘бездетный’ в ЮЕ 1120; *беицадь* в И 73; *въщюто*, *въщюдимься* в УС XII и др. Сочетание [з+ч] передается буквой *щ*, отражая результат полной ассимиляции глухой аффрикате, с вероятным произношением [ш’ч’]. Известно несколько случаев с написанием *щ* на месте [з+ш], но все они сомнительны: *ищъдьше* в ОЕ 1056; *ищъдыи*,

ицьль в ТС XII; также *рацибе* в М 96 (последнее может быть случайной опiskeй), а *ицьли* в Лавр., *ицьло* в Гр. 1284 г., *ицьло*, *роцло* в Ип. 1425 и др. показывают устойчивость передачи именно данного слова.

К середине XII в. эта закономерность утрачена, в результате чего возникают колебания типа *бечиноу* — *бецина*, *бечисльнии* — *бецисла*, *бечьстие* — *бещьстие*, *ичрьва* — *ищрьва* в ЕК XII. Двойкие написания (утрата префиксального <с> и ассимиляция его в <ш>) показывают, что у писца нет представления о наличии <с> во всех таких словах. До XII в. возможность проведения морфологической границы «внутри» сочетания согласных мешает признать сочетание отдельной фонематической единицей. Если [ш'ч'] разделено морфологической границей и оба согласных входят в разные морфемы, следовательно, разные части сочетания не могут составлять одну фонему (аффрикату). Остается признать, что в древнерусском языке [ш'ч'] и [ж'д'ж'] представляли собой сочетание двух фонем.

1.7. Система согласных фонем

После всех изменений балто-славянского и праславянского языков к концу праславянского периода образовалась следующая система согласных фонем:

Губные		Язычные			
		передние	средние		задние
			неаффрикаты	аффрикаты	
Шумные	<б>, <п>	<д>, <т> <з>, <с>	<з'>, <с'> <ж'>, <ш'>	<ц'> <ш'ч'>, <ч'>, <ж'дж'>	<г, к> <х> (<γ>)
Глайды	<м> <ц>	<н> <р> <л>	<н'> <р'> <л'>		

В полном наборе можно было бы ожидать, таким образом, 25 согласных фонем, однако на самом деле ни в одном праславянском диалекте такая полная система не была представлена. Отличие консонантной системы от системы вокализма заключалось в возможности иметь диалектные варианты в составе и распределении фонем: поскольку в праславянском языке основным элементом слога являлся гласный (и его признаки), то свободное варьирование фонем допускалось только у согласных. Наиболее древние диалектные особенности праславянского языка связаны именно с согласными.

Как и в случае с гласными, здесь также можно установить активные типы противопоставлений, важные для системы фонемы и фонемы, функционально ограниченные. Ср. следующий ряд словоформ с выделением согласного в сильной позиции — перед ⟨у⟩: *боудь, поудь, (на)гоубь, доухь, зоудь, жоукъ (жюкь), коуть, лоубь, моуть, ноуть, роудь, соудь* ‘сосуд’, *тоукъ, хоудь, чоудь (чюдь), шоуть (шють), щюдь, лють, рють, нюхь*, которые противопоставлены согласным ⟨б, п, г, д, з, ж’’, к, л, м, н, р, с, т, х, ч’’, ш’’, ш’ч’’, л’’, р’’, н’’⟩. Из 25 согласных фонем 20 представлены в нашем ряду, остальные не только в начале слова, но и вообще в начале корневой морфемы и слова встречались очень редко. Таким образом, ⟨ц, з’’, с’’, ц’’) и аффриката ⟨ж’дж’’) являлись функционально слабыми фонемами.

Различительные признаки этих фонем очень трудно определить именно потому, что впоследствии консонантизм в корне изменил фонемные признаки. Довольно точно выделяя исходный состав согласных фонем, мы не всегда точно выделяем их систему. В этом смысле важны косвенные данные.

Данные древних грамматических сочинений и фонетики заимствований позволяют установить различие между: 1) сонантами и несонантами; 2) взрывными и невзрывными; 3) аффрикатами и неаффрикатами; 4) среднеязычными и несреднеязычными; 5) звонкими и незвонкими (у фрикативных) и напряженными и ненапряженными (у взрывных согласных).

По существу, пяти дифференциальных признаков достаточно для противопоставления 25 согласных фонем, однако в нашем перечне необходимо произвести некоторые уточнения. Признаки 2 и 3 могли зависеть друг от друга — в обоих случаях это различие по способу образования согласного. Однако аффрикаты в древнеславянской системе представляли собой новый тип согласного. Признак 4 следовало бы детализировать за счет противопоставления среднеязычных губным, переднеязычным и заднеязычным — это противопоставление по месту образования согласного. Следовало бы различать и другие признаки согласных: носовой (⟨м, н, н’’) — неносовой (все остальные), лабиовелярный (губные и заднеязычные) — нелабиовелярный (все остальные) и т. д. Однако эти признаки не были фонемными в позднем праславянском языке, они пересекались с аналогичными признаками у гласных (носовые, лабиализованные), с которыми согласные могли встречаться в пределах одного слога.

Все рассмотренные факты древнерусского языка дают дополнительный материал для суждения о фонемных признаках согласных.

В качестве фонемных признаков могли выступать: место образования (губной — переднеязычный — среднеязычный — заднеязычный), способ образования (щелевой — аффриката — взрывной), наличие голоса (глайд — шумный), что осложнялось не оформленным

еще противопоставлением глухих звонким (у щелевых) и старым противопоставлением напряженных ненапряженным (у взрывных). Некоторые признаки по-прежнему дублируют друг друга, другие двузначны, но самый большой недостаток системы заключается в чрезвычайной дробности различительных признаков, каждый из которых обслуживает лишь определенную группу согласных, так что последние представляют собой как бы автономные элементы системы. Многие признаки согласных оказываются совмещенными с аналогичными признаками у гласных: признаком голоса глайды совпадают с гласными, но последние выделяются и просодически, тогда как глайды не имеют противопоставлений по долготе-краткости или интонации. Признаки ряда и лабиовелярности также сопряжены и одинаково отражаются у гласных и согласных.

Напряженность артикуляции, связанная с реализацией верхних гласных, особенно в определенных положениях (например, перед ⟨j⟩), в известном смысле соотносится с некоторыми противопоставлениями у согласных, не вступавших в оппозицию по ряду, т. е. не имевших среднеязычных эквивалентов (как ⟨д-т⟩).

Единственный признак, автономный только для гласных, признак подъема, на самом деле еще только возникает на основе разложения праславянских оппозиций по количеству, еще неустойчив в своих проявлениях, синтагматичен, т. е. определяется в сочетаниях с другими фонемами.

Таким образом, роль и значение слога в древнерусском языке очень важны, и нам необходимо рассмотреть основные просодические признаки этой системы.

1.8. Просодические признаки исходной системы

Во всех диалектах праславянского языка произошли следующие просодические изменения: 1) возникла новоакутовая (нововосходящая) интонация; 2) произошло фонетическое и позиционное сокращение долгот; 3) утратился межслоговой ⟨j⟩ и произошло стяжение гласных в зиянии.

Еще до утраты носовых гласных, но после возникновения полногласия произошла оттяжка ударения на предыдущий слог со слабых ⟨ъ, ь⟩ и со срединных нисходящедолгих слогов. Например: **bord'u* > *bórdь* (род. п. мн. ч.), ср.: укр. *борід*, рус. диал. *борôд*, серб. *брàдà*, в суффиксальном имени типа *ž'en'iskij*, откуда рус. *жéнский*, серб. *жèнский*. Ср. аналогичные изменения в полных прилагательных, ясные из сравнения их с исходной краткой формой: *кóротко* — *кóроткий* (что восходит к **kórtьko* и **kórtьkьjь*) с таким же чередова-

нием разноударных полногласных форм (*орó* восходит к новоакутовой, *óро* — к нисходящей интонации), *сóрок* — *сорóчка* (<**sorč'ьka*), *березу́* — *берёг*, также *конь* < **kon'ь*, *стол* < **stol'ь*) (ср. рус. диал. [к^уо^{н'}], [ст^уо^л] и единогласные показания южнославянских языков). То же в корневых редуцированных: *óбла* < **ob'ьla*, *óсмь* < **osm'ь*, *óсна* < **os'ьra*); русские диалекты отражают уже новоакутовую интонацию в *óбла*, *óсмь*, *óсна* так же, как и ранний литературный язык, в котором произошло выделение признака лабиовелярности и образовались формы *вобла*, *восемь*, *восна*. Аналогичная перетяжка ударения происходила с нисходящедолгих слогов, которые находились перед конечным редуцированным, ср. форму местн. п. мн. ч. имен мужского рода типа **dvor'ěxъ* ≥ **dvórěxъ*, **stol'ěxъ* ≥ *stólěxъ*, откуда в древнерусском языке до XVII в. устойчивое ударение *двóръхъ*, *стóльхъ* с рефлексом новоакута в *двóръхъ*, *стóльхъ*, рус. диал. *двуорах*, *стуолах*. Нет ни одного славянского языка, который не отражал бы новоакутовой интонации; вместе с тем все непосредственные последствия этого изменения в славянских языках различаются. Вот почему образование новоакутовой интонации следует считать последним праславянским изменением, приведшим к завершению тенденции к просодическому единству слога. Образование новоакута привело к межслоговому объединению словоформы по просодическим признакам.

Принципиальное отличие новоакута от старых интонаций заключалось в следующем. Старые интонации — восходящая (акут) и нисходящая (циркумфлексивная) — действовали в пределах двух соседних слогов. Перед акутом ударение повышалось начиная с предшествующего слога (поэтому оно не могло переноситься на предыдущий слог): **nā'brata*. Перед циркумфлексом оно понижалось начиная с предшествующего слога (поэтому могло перетягиваться на него): **nā lēsŭ* дало **na lēsŭ* (*на лес*). Это были чисто музыкальные тоны, действовавшие в пределах отдельных сл о в о ф о р м, т. е. имевшие особый ритмический рисунок в каждой форме парадигмы. Все словоформы не объединены еще общим просодическим признаком в цельное слово.

Из этих первоначальных принципов тона вырастает новоакутовая интонация. Ударение переходит на предшествующий слог, который понижается по тону перед следующими ударными (ь, ъ); так, **stol'ь* дало **stól'ь*. И новоакут возникает в отдельной словоформе, например: **stól'ь* (им. п. ед. ч.) — **stól'ь* (род. п. мн. ч.) — **stólěxъ* (местн. п. мн. ч.), в суффиксальном прилагательном **stólъnъjь* и т. д. Но, рождаясь на старых мелодических основаниях, эта интонация одновременно получает свойства, которых не было у акута и циркумфлекса: новоакутовая интонация возникает не только на долгих, но и на кратких слогах (раньше краткие слоги не имели различия по интонации); она всегда связана с ударением и не меняет своего места (чем похожа на акут), но в пределах парадигмы она может чередоваться с форма-

ми, в которых новоакутовая интонация не образовалась (чем похожа на циркумфлекс). Функциональное отличие новоакута заключается в том, что он совмещал в себе сразу два признака: ударение и восходящий тон, оба средства выделения, важные в устной речи, тогда как прежние интонации существовали сами по себе и определяли место ударения в сл о в о ф о р м е. Из всех типов интонации только новоакутовая со временем вызвала выравнивание по аналогии всех (или большинства) форм парадигмы по общему ударению; ср. рус. диал. *кѡнь* — *кѡня* — *кѡню* и т. д. на месте прасл. **kon''ъ* — **kon''a* — **kon''u* с новоакутом в форме им. п. ед. ч., род. и местн. п. мн. ч., которые распространили сильное ударение на остальные формы парадигмы. Последовательно такое выравнивание произошло в суффиксальных образованиях; например, **stol'bnъ* > **stol'bnъ*, **stol'bnа* > **stol'bnа* дали о б щ е е у д а р е н и е с л о в а **stol'bnъ* еще до появления полной формы прилагательного. Таким образом, только новоакут выходит за пределы конкретной словоформы и, являясь интонацией, одновременно выступает регулирующим средством в с е й п а р а д и г м ы к а к с л о в е с н о е ударение. Ясны функциональные преимущества этого просодического элемента. Впоследствии во всех славянских языках именно новоакутовая интонация определяла просодические изменения, являясь маркированным признаком в просодии. В связи с этим произошел окончательный отрыв интонации от количества, поскольку интонационные различия стали возможными и на долгом, и на кратком слоге. Пересечение старых интонаций с новой привело к изменениям в различных славянских языках. В южных языках (кроме болгарского) различие в интонации осталось, но произошло выравнивание по этому признаку (по аналогии с новоакутовой возникла еще новоциркумфлексивная интонация); в западных языках образовалось противопоставление по количеству (долгота–краткость); у восточных славян основным просодическим признаком стало словесное ударение.

Это изменило некоторые признаки гласных фонем и преобразовало позиционное их варьирование, например после возникновения новоакутовой интонации (ъ, ь), эту интонацию и вызвавшие, не вступают ни в какие просодические противопоставления: они не противопоставлены ни по количеству (всегда краткие), ни по тону (всегда восходящий под ударением), ни по ударению (подударные (ъ, ь) всегда с новоакутом, а безударные (ъ, ь) всегда без интонации). Это единственная пара гласных, не имеющих значения в слоговой структуре словоформы, а следовательно, и слова. С этого момента они «просто гласные», «гласные для гласности», не имеющие никаких просодических признаков. Они и становятся собственно р е д у ц и р о в а н н ы м и, «иррациональными», «глухими» не потому, что были фонетически короче прочих кратких гласных, а потому, что никакие

просодические признаки не имели для них значения. Старые противопоставления гласных по долготе–краткости окончательно ушли из языка, поскольку фонетически долгим теперь мог быть лишь гласный под новоакутовым ударением. Старое противопоставление гласных по долготе–краткости сменилось противопоставлением по четырем степеням подъема, поскольку прежние количественные оппозиции ⟨ū–i, ī–ī, ā–a, ē–e⟩ и т. д. сменились качественными в противопоставлениях по подъему ⟨ы–ъ, и–ь, а–о, ё–е⟩.

В связи с этим произошло позиционное сокращение исконных долгот, которое также отражено всеми славянскими языками. Все долгие гласные сократились: в абсолютном конце слова независимо от ударения; в любом подударном слоге, кроме новоакутового; в любом безударном слоге, кроме первого предупредительного.

Описанное распределение показывает зависимость просодических признаков от длительности слова и его морфемного состава. Постепенное увеличение числа слогов, составлявших цельность словоформы, потребовало новых средств для скрепления слогов в устной речи. Ритмический рисунок слова обогащался новыми признаками, в известной мере избыточными, поэтому в древнерусском языке непосредственно перед утратой редуцированных гласных сложное сочетание количественных и акцентных признаков стало входить в противоречие с новой структурой сложного (суффиксально-префиксального) слова. Это можно показать на реконструкции одной из «попевок» Бояна в «Слове о полку Игореве»: *ни хыытру́ ни горáзду / ни пы́ытьцю горáзду / суудá божия́ не мишнѹти.*

Так образовалась сложная иерархия позиций, в которых та или иная фонема могла выполнять свою морфологическую функцию.

И з о л и р о в а н н а я позиция возникла в конце слова, где не было противопоставления по количеству и по тону, а гласные могли различаться только ударением; у д а р е н и е же — признак слова (а не словоформы).

С л а б а я позиция образовалась в предупредительных (и в предконечных у трехсложных словоформ) слогах, в которых не было противопоставления ни по тону, ни по ударению, а только по к о л и ч е с т в у; долгота и краткость составляют признак слога (а не слова).

Под ударением в неконечных слогах образовалась просодически с л ь н а я позиция гласных, так как тон здесь совмещен с количеством и всегда находится под ударением. В границах слова и словоформы происходило выравнивание ударения, которое все больше получало морфологические функции, утрачивая прежнее фонетическое значение.

Одновременно с этим происходило и стяжение соседних гласных как следствие утраты междугласного [i] (особенно последовательно в западнославянских языках). У восточных славян этот процесс не

развился, потому что междугласное ⟨i̯⟩ в примерах типа *добраја, ногојѡ* уже стало протетическим ⟨j̯⟩, не имевшим фонетического значения. Поэтому у восточных славян стяжение гласных ограничено несколькими чисто морфологическими позициями: в суффиксе имперфекта не было междугласного [i̯], поэтому стяжение осуществлялось простым устранением одного гласного; ср.: *несѣахъ > нес.ахъ, слышааше > слышаше* — это так называемые русские формы имперфекта, которые встречаются в рукописях с конца XI в. В парадигме склонения полных прилагательных типа *добракѡ — доброуѡмоу [j̯]* не выполнял никакой морфологической функции, поскольку в результате переразложения основ после корня (**dobr-*) шли окончания, т. е. *акѡ — оуѡмоу* в качестве одной морфемы. Как нефонемная единица [j̯] сокращался, но только в связи с межслоговой ассимиляцией гласных, т. е. уже после изменений *акѡ > апаго, оуемоу > оуюмоу* флексия окончательного упростилась в *-аго, -уму* и т. д. Стяжение через междугласный [j̯] подтверждается рядом суффиксальных имен, например отглагольными *соудишце, стоило, хаило* (совр. *судище, стойло, хайло*).

Все рассмотренные просодические изменения не происходили одновременно, а накладывались друг на друга по мере образования. Результаты их относятся не только к фонологической системе середины X в., которую мы здесь реконструировали как исходную систему древнерусского языка, но характерны и для фонологической системы вплоть до конца XI в.

Просодические изменения, происходившие согласованно и одновременно в слоге, в словоформе и в слове, связывали все фонемные изменения и направляли их действие. Например, древнейшее чередование гласных ⟨e–o⟩ типа *веду — водит* обусловило все последующие изменения гласных среднего подъема. Именно просодические признаки сформировали единство слога и обусловили строение слога как материальной единицы речи; они же формировали семантически все более сложные уровни языка — от фонемы до слова. Просодические признаки создавали грамматическую парадигму из разбросанных в контекстах словоформ и обеспечили устойчивость их существования в условиях устной речи. Таким образом, усиление системности языка происходило за счет специализации тех или иных различительных фонетических признаков.

Образование новоакутовой интонации привело к возможности межслового объединения по просодическим признакам и создало сложную систему позиционного варьирования гласных. Реальным межслоговое взаимодействие гласных стало только после серии последующих изменений вокализма, однако значение просодических преобразований весьма велико: впервые в системе появились возможности позиционного варьирования гласных, а это всегда предшествует их фонемным преобразованиям.

2. ЗАВЕРШЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ ПРАСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В ДРЕВНЕРУССКОМ (середи́на X — коне́ц XI в.)

2.1. Завершение тенденции к открытому слогу. Русское полногласие

На месте праславянских сочетаний типа **gordь*, **ъrxь* образовалось восточнославянское полногласие, т. е. формы *город*, *верѣх*. Исходным моментом изменения являлась тенденция к открытому слогу, в результате чего закрытые глайдом слоги должны были дать либо слоговые плавные (для **ъrxь*), либо дополнительную гласность после плавного (**go/rǝ/dь*). Все славянские языки изменили исходное сочетание типа **tort*, но изменили его по-разному. Следовательно, это изменение началось в праславянском языке, но завершилось уже в отдельных славянских языках. У восточных славян это должно было случиться в древнерусский период, ибо русский, белорусский и украинский языки одинаково отражают полногласие. Однако этот процесс не мог завершиться до падения редуцированных, потому что до середины XII в. появление ⟨о, е⟩ разрушало бы просодическую структуру речи включением гласного, не несущего интонационных и количественных характеристик. Только ⟨ь, ь⟩, не участвовавшие в просодических оппозициях, могли войти в фонетический текст, не разрушая его синтагматической структуры. Таким образом, в соответствии с тенденцией к открытому слогу полугласные ⟨ь, ь⟩ появлялись на месте полугласных ⟨j, r̥⟩ и рядом с ними (**go/rь/dь*), не нарушая тенденции к просодическому единству слога. Поскольку в результате такого преобразования в синтагматической структуре не осталось закрытых слогов, можно сказать, что диахроническая тенденция к открытому слогу стала синхроническим законом открытого слога, что создало условия для образования слоговых единиц — силлабем (*syllaba* — слог).

Однако разложение полугласных ⟨j, r̥⟩ в закрытом слоге на ⟨ль, рь⟩ связано не только с разрушением глайдов по ряду признаков. «Разложение» слога стало возможным после сокращения долгот, потому что разложение долготы на составляющие ее моры (один долгий слог типа *oī* в **gor̥/dь* раскладывается на две краткости: *or̥b*) происходило после утраты количественных противопоставлений, т. е. после сокращения акутовой и циркумфлексовой долгот в противопоставлении к новоакутовой долготе. Среди 350 примеров первого полногласия, отраженных в русских рукописях XI–XII вв. (самые ранние в ОЕ 1056 *Володимира*, *Новгородь*, *перегноувь*), почти нет достоверных случаев полногласия в долготном (новоакутованном) корне. И только в конце XII в. мы находим формы: *загорожено* в Выг. XII; *огородъникъ* в УС XII (один такой пример имеется в ГБ XI, но в тексте поздней приписки); *здоровиѣ* в НК 1282; *възворочалса* в МЕ 1215. В XIII в. отражение полногласия становится нормой (в Лавр. более 400 раз, в Ип. 1425 более 300 раз переданы полногласные русские формы).

Последовательность фонетических изменений, связанных с полногласием, можно установить на основе косвенных фактов.

В украинском языке после XII в. гласные ⟨о, е⟩ удлинились перед слогом с исчезавшим редуцированным: *конь* > *kōn'* > *kuon'* > *kuin'* > *kin'*. Такого удлинения нет в формах с полногласием (*гóрод*, *морóз*), хотя под новоакутовым ударением подобное изменение возможно (ср.: формы род. п. мн. ч. *воріт*, *корів*, в суффиксальных *корівка*, *сторінка*). Это значит, что в момент удлинения кратких ⟨о, е⟩ в современных полногласных формах не было еще гласных полного образования ⟨о, е⟩, на их месте находились ⟨ь, ь⟩. Появление ⟨i ← ô⟩ связано с обычным изменением ⟨ô⟩ в украинском языке. Фонологическая разница между *goróxa* и *góróda* все время сохраняется, как сохранялась она и в древнерусском языке: во втором случае возможно чередование морфемы **gorəd* с сильной формой типа **ogor̥dъnikъ* или вообще отсутствие ударения (**'na gorəd*), а в первом — ударение всегда на второй море (**gor'axa*, **gor'axъ*). Тип **gor'axъ* дал полногласные формы, потому что второй гласный оказывался подударным, а первый (исконное ⟨о⟩) был морфологически изолированным. В русском литературном языке неполногласные формы могут быть только в словах с исконным нисходящим ударением: *власть*, *враг*, *злато*, *млад*, *сласть*, *смад*, *срам*, *страж*, *страна*, но никогда — в словах с восходящим ударением: *береза*, *болото*, *ворона*, *горох*, *дорога*, *корова*, *мороз*, *порог*, *солома*, *сорока*, *холоп* и др. В некоторых сложных сочетаниях согласных полногласие дало отличный от обычного фонетический результат, и всегда только в корнях с нисходящей интонацией. Так, в сочетании ⟨л⟩ с носовыми ⟨м, н⟩ образовалось сочетание *олы* вместо *оло*: *гóлымя* 'открытое море', *пóлымя*, *пóлынья*, *шóлымя* и др., но *полóн*, *солóма*, *шолóм* — при восходящей интонации корневого слога.

Следовательно, развивавшееся полногласие в этих словах отклонилось от нормы еще в древнерусском языке, когда расхождение в интонации было существенным и имелось различие между **gólme* и **poln*, т. е. **gólme* давало **gólame* без полного уподобления подударному гласному. При наличии в сочетании двух глайдов второй гласный элемент вообще мог не проявиться или оказаться несущественным, поскольку в описываемую эпоху глайды фонетически были еще равны редуцированным; в результате до нас дошли примеры несостоявшегося полногласия: *борнóволок*, *горностáй*, *скорлунá* < **skorolupa* и др. с нисходящим тоном на корневом слоге. Новоакутовые слоги вступили в процесс тогда, когда уже наметился основной тип выравнивания гласных в новых полногласных сочетаниях. Только в XVIII в. в поэзии была сделана попытка «облагородить» русские формы *болото*, *мороз*, *порог* и т. п. искусственным созданием церковнославянизмов типа *блато*, *мраз*, *праг*, но в литературном языке эти слова не привились, как не привились и диалектно-разговорные *бóлого*, *бóрошно*, *вóрог*, *сóром* и другие полногласные формы с нисходящим ударением. Архаический тип русского языка, его литературная норма сохранили (с некоторыми отступлениями) исходное, древнерусское распределение полногласных и неполногласных форм, сложившееся к XIV в. Так же распределяется полногласная и неполногласная лексика в произведениях фольклора — в былинах (но не в песнях, появившихся позже). Специальные стилистические и семантические исследования этой лексики показали, что к концу XIV в. среди русских писателей, редакторов старых текстов и писцов возникла тенденция соотносить русизмы и славянизмы в общем контексте изменяющегося литературного языка. Однако и тут семантическое и стилистическое варьирование допускалось только у слов типа *гóрод* (с исходной нисходящей интонацией); ср.: *город* ‘посад’ — *град* ‘крепость’, *голова* ‘часть тела’ — *глава* ‘заголовок’, *волость* ‘административная единица’ — *власть* ‘права’ и т. д. Все подобные изменения позволяют уточнить соотношение типа *гóродь* и *горóхъ*: в первом существовало длительное колебание между *горьдъ* и *гъродъ*, что и вызвало чередование *город* — *град*, во втором довольно рано распространилось русское полногласие.

В ранних русских рукописях различные стадии формирования полногласия выразительно представлены передачей (о, е) только на месте одного из корневых гласных, именно подударного (имеется в виду древнерусское ударение, как его можно реконструировать). Ср. для типа *город*: *пор°сяте* в И 73; *вроты*, *злотъникъ*, *оброншиася*, *плониша*, *повлечи* в СП XI; также *сковродъ*, *сковродопечьъ* в ЕК XII; *злото* в надписи 1068 г.; *тлоци* ‘тоloch’ в МЕ 1117, ЮЕ 1120; *Всье-вольдъ* в УС XII; *изъкоръстьня* в Лавр. (под 945 г. в тексте, составленном в XI в.); *Вълодимира* в РК 1284; *сердъ* в М 96; *сердоу* в ЧС XII;

по сердь в МЕ 1215; *обротившеся* в ЯП XII и др. Причем после XIII в. такого рода примеры часто встречаются в записях и приписках к церковным рукописям, отражая, безусловно, личное произношение писцов. Особенно последовательно передается неполногласие в формах, утративших этимологическую связь с производящим словом, например в слове *чловѣкъ* (здесь нет полногласия) в новгородских рукописях до XIV в. (*че/ловѣчьскы* только при переносе в МХIV). В качестве полногласного стало восприниматься любое следование гласных по обе стороны плавного (ср. *плокаахоу* в ЮЕ 1120 на месте *по-локати* с русской огласовкой корня *локати*). Корень *сѣребр-* также был вовлечен в общий ряд фонетических обобщений, связанных с формированием полногласия (ср. *серебро* в И 73, ПА XI и др.). Корневые морфемы, не утратившие этимологических связей с производящим словом, впоследствии выключались из этого процесса, утратив при этом изолированный ⟨ъ⟩; ср. написание *золоба* в ряде рукописей XI в. (из *зѣлоба*, впоследствии *злоба*). Сочетание **dělna* по общему правилу лабиализации возле *l* дало русское диалектное *долонь* (укр. *долоня*) при литературном *ладонь* наряду со славянизмом *длань*.

Особенно сложно складывалась судьба префиксальных корней, которые вообще могли утрачивать всякие связи с просодическими характеристиками как постоянно безударные; ср.: *пѣредь* — *перѣдъ*, *чѣресъ* — *черѣсъ* в древнерусских источниках, откуда уже в УС XII *черосъ* и *чересъ*. Уже в древности прошедшая нефонетически замена *ь* на *e* в словах типа *врѣдъ*, *врѣмя*, *дрѣво*, *жрѣбий*, *жрѣбья*, *повлечи*, *прѣдъ*, *среда*, *чрево*, *чрезъ* и т. п. косвенно указывает на развитие полногласия (*врѣдѣдъ*, *верѣмя* и т. д.), а переход ⟨e → o⟩ в примерах типа *завлѣк*, *повлѣк* подтверждает, что это случилось достаточно давно (⟨e⟩ из ⟨ê⟩ не переходит в ⟨o⟩). Только одно слово *плнѣнь* ‘пленение’ последовательно писалось с «ятем» до XV в., поскольку отличалось от русского *полонь* ‘пленные’. В Сл. плк. Иг. однокоренные слова употребляются с полногласием в глагольных формах и с неполногласием в именных, что подтверждает стилистическую избирательность в использовании вариантов — имена, выражавшие символы, в отличие от глаголов, воспринимались как слова высокого стиля. Подобные колебания указывают на то важное значение, которое имели в окончательном выборе состава фонем в полногласно-неполногласной морфеме грамматические и семантические характеристики каждого отдельного слова.

Древнейшие русские заимствования в финские языки все касаются слов с подвижным ударением; ср.: рус. *долото*, карел. *taltta*; рус. *полотно*, фин. *palttina*; рус. *толокно*, карел. *takkuna*, фин. диал. *talakkuna*; рус. *торока*, фин. *tarakka*; рус. *веретено*, фин. диал. *värätinän*, карел. *värät'ina*; рус. *беремя*, фин. *pärähmä*. Они не могли быть заимствованы в праславянский период, а некоторые из них уже отражают

и русское полногласие. Наоборот, слово *соломля* ‘пролив’ заимствовано из фин. *salmi* и в данной форме употреблялось до начала XVI в. (последнее употребление в 1505 г.), затем использовалось то же слово, но в новом заимствовании — *салма*. Следовательно, первое полногласие как фонематическое явление окончательно оформилось в русском языке в XV в. Нижнюю границу этого изменения можно установить по записям Константина Багрянородного: названия древнерусских городов *Новгородъ* и *Вышеградъ* он передает как *Νεμογαράδας* и *Βούσεγραδε*, т. е. как **gārd* и **grād* в зависимости от ударения в слове.

Таким образом, примерно с X до XV в. фонетически оформлялось и постепенно лексикализовалось явление, известное под общим названием русского полногласия. Последовательность изменений может быть представлена следующим образом:

1) **tort* → **torət*: в украинском языке XII в. эта стадия еще актуальна, она же соотносится и с заимствованиями X–XII вв.;

2) **torət* → **torot* в зависимости от характера долготы — восходящей или нисходящей; эта стадия представлена в древнерусских источниках XI — начала XII в., в Смол. гр. 1229 г., сохранилась в северо-западной просодической системе конца XIV в.;

3) **torot/*torət* → **torot* по общему правилу выравнивания корня как следствие падения редуцированных. Окончательное оформление фонетического полногласия следует отнести к XIII в.

Одновременно развивается и второе полногласие, но и оно окончательно сформировалось только после падения редуцированных, став диалектным явлением.

Сочетания **or-*, **ol-* могли находиться в абсолютном начале слова, выступая в сильной для гласных позиции: **ort-*, **olt-*.

Сильная позиция предполагает возможность противопоставления, и, действительно, уже в праславянском языке обозначились различия в зависимости от интонации корневого слога: с восходящей (акутовой) в **ořt-*, **ořt-* и нисходящей (циркумфлексовой) в **ōrt-*, **ōlt-*. Зависимость слогов от различия в интонации доказывает особую древность их изменений. Историки языка полагают, что такие изменения начались еще до преобразований в группах типа **tort*, с конца VIII в. н. э.

Структурное отличие данных слогов от сочетаний типа **tort* состоит в невозможности получить дополнительную гласность в виде неморфологизованного призвука [э] и тем самым создать необходимый открытый слог. Как очень раннее изменение, происходившее до развития письменности и потому не закрепленное в нормативном варианте, это преобразование сохраняло различия между северными и южными праславянскими говорами; на юге могли даже сохраняться архаические сочетания типа старославянских *альдии* (и *ладии*) или *алькати* при *лакати* (слог открывается посредством [ъ=э]). На севере

различия в проявлениях закона открытого слога зависели только от интонации: при восходящей **ořdl-* > *рало*; **ořn-* > *лань* в сочетании с *ра-*, *ла-*, при нисходящей **ořst-* > *рость*; **ořk-* > *локоть* в сочетании с *ро-*, *ло-*.

Таким образом у восточных славян образовались фонетически последовательные формы *робь*, *рость*, *лодья*, *локоть*, приставочное *роз-* и т. д. при *рало*, *рамень*, *рамена*, *лань*, *лакати*, *ратай* и пр.

В некоторых случаях образовались отклонения, своим появлением обязанные фонетическим или лексическим выравниваниям. Из сочетания **ořkati* образовались как *лакати*, *лачу* ‘жаждать’ (и *лакомый*), так и *алкати*, *алчу* ‘жаждать — желать’.

Стилистические расхождения коснулись и этой группы лексики, причем в качестве архаических стали восприниматься формы с *ра-*, *ла-*. Не исключено, что поэтому даже исконные формы с начальными *ра-*, *ла-* со временем исчезали как архаические, заменяясь другими словами близкого значения (к указанным выше — *плуг*, *опушка*, *плечи*, *олень*, *хлебатъ*, *воин*). Например, в связи с особым распространением славнизма *рабь божий* в древнерусской юридической формуле стало использоваться другое слово — *роба* и *холопъ*; все разговорные формы подвергались подравниванию под русское произношение (ср. *робенькъ* > *ребёнок*, *лодья* > *лодка*) или соотносились со смыслом церковнославянского слова (*рабь* > *работа* ‘рабство, неволя’; *работникъ* ‘невольник, слуга’).

2.2. Упрощение системы гласных фонем. Утрата ринезма

Важной структурной особенностью носовых гласных была их синтагматическая неустойчивость. Являясь по происхождению и долгими, и краткими, фонологически они были всегда долгими. Это доказывается тем, что интонационные различия на носовых возникали, следовательно, в праславянском языке они были долгими. Они неустойчивы и потому, что появились из разных сочетаний гласных с ⟨м, н⟩ и образовали морфологические чередования с различными в структурном отношении морфемами. По своему происхождению носовые были передними и непредними, средними и средневерхними, лабиализованными и нелабиализованными — всего шесть вариантов, которые образовывали три самостоятельные фонемные единицы — ⟨*ę*, *ǫ*, *ǫ̇*⟩.

При уяснении причин утраты носовых гласных следует иметь в виду некоторые структурные особенности систем, вызвавших их устранение.

Структурная причина утраты носовых заключается в том, что в позднем праславянском языке разрушалось противопоставление гласных по количеству и происходило формирование различительного признака по подъему: верхний — неверхний, куда входили только долгие по происхождению гласные, и средний, где оказались и краткие, и долгие. Долгие ⟨ \bar{q} , $\bar{\dot{q}}$, \bar{e} ⟩ должны были либо сократиться и тогда остаться среди средних, либо, сохранив свою долготу, перейти в верхний или нижний ряд. У восточных славян произошло второе.

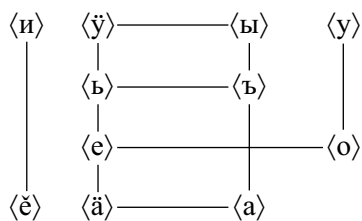
Процесс утраты носовых гласных был достаточно сложным и длительным. Необходимо различать утрату носовости (дифференциальный признак *ринезма*) и утрату носовых *гласных*; различные попытки устранить носовой признак еще не приводили к утрате всех носовых фонем как фонемных единиц. Сначала изменяется различительный признак (ринезм) — его устранение представляет собой парадигматическое изменение, всегда сопровождаемое выходом из системы хотя бы одной фонемы. Изменению ⟨ $q \rightarrow \dot{q} \rightarrow u$ ⟩ и обязано изменение системы. Утрата различительного признака приводит к постепенному устранению носового произношения у остальных носовых, которые остались в системе, потому что были еще другие признаки, связывавшие их с системой гласных и после утраты признака ринезма. Само изменение ⟨ $\bar{q} \rightarrow u$ ⟩ произошло только потому, что ⟨ \bar{q} ⟩ и ⟨ \bar{u} ⟩ различались единственно признаком ринезма, и его устранение привело к совпадению двух фонем. Только один «фонематический шаг» разделял эти фонемы, этот «шаг» был сделан — и система в целом лишилась признака ринезма. Однако фонема ⟨ e ⟩ от соседних фонем, например от ⟨ a ⟩, отличалась не только ринезмом, но и рядом. Если в древнерусском языке происходило понижение артикуляции ⟨ e ⟩, т. е. последовательность изменений была ⟨ $e \rightarrow \ddot{a} \rightarrow \grave{a}$ ⟩, то ⟨ \grave{a} ⟩ все-таки по-прежнему противопоставлена ⟨ a ⟩ как передняя фонема непередней. Точно так же и преобразования ⟨ $\dot{q} \rightarrow \dot{q} \rightarrow \dot{u}$ ⟩ дают фонему, противопоставленную ⟨ u ⟩ признаком ряда: передний, а не задний. Новое противопоставление ⟨ $\ddot{y}-y$ ⟩ = ⟨ $\ddot{a}-a$ ⟩ очень слабое; но оно существует, пока признак ряда является в системе различительным.

Таким образом, на месте фонем ⟨ q , \dot{q} , e ⟩ система сохранила только ⟨ \ddot{y} , \ddot{a} ⟩ с новым набором различительных признаков. Утрата ринезма происходила одновременно у всех носовых гласных, но полное устранение бывших носовых фонем не одновременный процесс.

В самых ранних древнерусских рукописях находим определенные указания на то, что утрата ринезма произошла до начала XI в. (так, много в рукописях примеров смешения букв *ou* и *ж*, *а* и *а*). Распределение носовых и неносовых гласных часто связано с орфографической традицией. Например, в НЛ XI все носовые употребляются верно, в ОЕ 1056 более 500 смещений «юсов» с другими буквами, а в М 97 ж употреблен всего 41 раз (*а* — 2247 раз), *ж* — два раза в испорчен-

ном тексте. С начала XII в. русские рукописи не употребляют *ж* и *ѣ*, тогда как различие букв *ѧ* и *ѧ* начинают использовать в новых целях. Самые ранние восточнославянские рукописи, переписанные с западнославянских и западноболгарских глаголических оригиналов, дают противоречивую информацию о стадиях утраты носовых гласных в произношении. В новгородской ПМ XI замена *ж* на *оу* или *ѧ* на *ѧ* определяется окружающими согласными, а в ГБ XI — в зависимости от долготы или краткости слога (как и в некоторых среднеболгарских текстах). Точных сведений об этом получить не удастся, поскольку синтагматические изменения фонем в письменном тексте всегда передаются непоследовательно.

Результатом изменения явилась новая парадигматическая система гласных:



Деназализацию носовых гласных у восточных славян можно датировать довольно точно. В записях Константина Багрянородного восточнославянские слова с носовым ⟨*o*⟩ передаются буквами *ou* (*βερούτσι* = *вѣрѣци* ‘кипящий’), с носовым ⟨*e*⟩ — буквой *α* (*νεάσιτ* = *неасыть* ‘пеликан’), однако в безударном слоге сохраняется носовое ⟨*e*⟩ (передается сочетанием *εν*: *Σφεντοσθλάβος* = *Святославъ*). Древнейшие славянские заимствования из греческого, скандинавских языков или финские заимствования из языка восточных славян отражают наличие носового гласного. Ср.: др.-рус. *сждъ* и фин. *sun-tia* ‘наказывать’, эст. *sund* ‘судья’, др.-рус. *соудъ* < др.-сев. *Sund* ‘залив’; оба примера показывают, что в эпоху заимствования ⟨*o*⟩ = *un*. В конце IX в. через южнорусские степи прошли кочевники угры, которые заимствовали восточнославянские слова еще с носовыми гласными: венг. *galamb* < др.-рус. *голѣбъ*; венг. *rënd* < др.-рус. *рѣдъ* и др. Самоназвание народа восточные славяне переняли как *ж҃ры* < (*v*)*engr-*. Наоборот, в древнейших заимствованиях из восточнославянских говоров в литовский славянские гласные ⟨*ä*, *e*, *ja*⟩ передаются уже одним и тем же *ė*: лит. *čėsas* ‘время, пора’, др.-рус. *часть*; лит. *prėslas* ‘прясло’, рус. *прасло*; др.-рус. *прѡвѣленіе*, лит. *pra-jėvas* ‘чудесное явление, чудо’ и т. д. Ко времени этих контактов (после X в.) ⟨*ä*⟩ и ⟨*e*⟩ восточными славянами не различаются, совпадая с ⟨*ja*⟩.

Важное значение имеют наблюдения над передачей скандинавских имен в русской летописи, особенно в договорах с греками. В ПВЛ (в договорах 907 и 911 гг.) скандинавские имена, имеющие в своем составе сочетание типа [on, un], дают еще рефлекс носового гласного, т. е. в более поздних дошедших до нас списках этих текстов передаются через *ou, u*: *Асмоудъ* < *Asmundi* ([асмодъ] или [асму^ндь]), *Боуды* < *Bondi* ([бу^нды]), *Веремоудъ* < *Vermundr* ([вермодъ] или [верму^ндръ]) и т. д. В договоре 944 г. транскрипция и транслитерация этих имен другие: *Амоуньдъ* > *Amundi* ([амуньдъ]), *Инъгварь* < *Ingjahr* ([инъгварь]), *Инъгельдъ* < *Ingjaldr* ([инъгельдъ]) и т. д. Действие закона открытого слога еще продолжается, поэтому сложные сочетания согласных разрезаются вставочными редуцированными ⟨ъ, ь⟩ после ⟨н⟩, но сами сочетания [un, in] уже никогда не передаются рефлексом носового гласного, видимо, потому, что к середине X в. носовых уже нет. В текстах (в том числе и восходящих к X в.) появляются написания греческих слов типа *Аньдрѣа* > *Ἀνδρέας*; *кинѣсь, кинѣсь* < *κῆνος* ‘налог’; *пентикостии* < *πεντηκόστη* ‘пятидесятница’; *сканьдѣль* < *σχάνδαλον* ‘ловушка’; *скульпнь* (в И 73 также *скумень*) < *σκύμνος* ‘львенок’ и др. (во всех случаях со вставочным редуцированным: это новое средство избежать закрытого слога, появившегося после утраты носовых).

Таким образом, к середине X в. дефонологизация носовых гласных у восточных славян завершилась. На основе косвенных данных то же время изменения носовых указывается для чешского, словацкого и лужицких языков.

В образовавшейся системе гласных фонем наиболее серьезным моментом является столкновение фонетически сходных гласных нижнего подъема, т. е. ⟨ě–ă–a⟩, которые в фонетической транскрипции следует представить как [‘ä–ă–a]. Совпадению фонем ⟨ä–ă⟩ грозила утрата ринезма, а это нарушило бы очень важные морфологические противопоставления, в том числе и во флексах. Поэтому на синтагматическом уровне сразу же начались новые преобразования.

Обнаружено, что в древнерусских рукописях до середины XII в. буква *а* обозначала ⟨ä⟩, не смягчавшее предыдущего согласного и в соответствии с прежней фонемой ⟨ę⟩ (*садоу*), и на месте общеславянского ⟨ä⟩ (*прямо*), и на месте ⟨a⟩ после свистящего (*кѣназа*), и на месте сочетаний [ja, je] после сонорных ⟨p, џ⟩ (*боура*; после ⟨л, н⟩ пишется *а*: *вола*). Все эти написания указывают на смешение ⟨ě–ę–a⟩ в определенных фонетических условиях до того, как произошло обобщение ⟨ě < ē⟩ и ⟨ě < ai⟩ в одну фонему, но после утраты ринезма носовыми гласными. Смешение ⟨ě⟩ и ⟨ę⟩ в зависимости от предшествующего согласного могло произойти лишь после изменения ⟨ę ≥ ä⟩, когда произошло совпадение «двух ⟨ä⟩» — из ⟨ě⟩ и из ⟨ę⟩.

Чтобы этого не случилось, в синтагматической системе древнерусского языка в сочетаниях фонем друг с другом выработался следующий принцип: перед ⟨ä ← е⟩ не мог быть мягкий (среднеязычный) согласный, а перед ⟨ä ← ё⟩ — мог, так как ъ восходит не только к ⟨ē⟩, но и к дифтонгу [ai]. В результате в древнерусском языке происходит последовательное перераспределение гласных ⟨ё⟩ и ⟨е⟩ (т. е. [ǣ] и [ǣ̃]) по позициям в зависимости от предшествующего согласного: А) после палатального всякое [ǣ̃] из ⟨е⟩ заменяется фонемой ⟨ё⟩; Б) после непалатального всякое [ǣ̃] из ⟨е⟩ обязательно заменяется фонемой ⟨ä⟩. Происходит это в разных грамматических классах слов, существенно важных для системы.

А. В формах род. п. ед. ч. **ja*-основ, им.-вин. п. мн. ч. тех же основ, вин. п. мн. ч. **jo*-основ, которые всегда имели палатальную основу, флексия [jε] заменилась на ⟨ё⟩ (в рукописях — *ѣ* на *ь*), т. е. на месте ст.-сл. *земля*, *конѣ* появляются др.-рус. *земль*, *конь* (ср.: *неделѣ* в АЕ 1092; *воь*, *ключь* в ГЕ 1144 и др.; в русских рукописях обычно с XII в.).

Б. В суффиксе имперфекта с характерным для древнерусского языка изменением типа *несѣхъ* > *несѣхъ* одновременно отражены и стяжение, и фонематическая твердость ⟨с⟩, поскольку после него употребляются не *ь*, *ѣ*, а *ѣ* — гласная буква, передававшая непалатальность предшествующего согласного. В старославянском языке возможно еще колебание между употреблением *ь* и *ѣ* в некоторых изолированных корнях и суффиксах, а в древнерусском происходит уже унификация за счет *ѣ* (после непалатальных губных, заднеязычных, а также ⟨р⟩): ст.-сл. *камѣнь*, *камѣнь*, др.-рус. *камѣнь*; ст.-сл. *пламѣнь*, *пламѣнь*, др.-рус. *пламѣнь*; ст.-сл. *помѣнѣти*, *помѣнѣти*, др.-рус. *помѣнѣти*; ст.-сл. *прѣмо*, *сѣмо*, др.-рус. *прѣмо*, *сѣмо*. Такая замена никогда не происходит в корнях (ср.: рус. *няня*, польск. *niąnia* и болг. *нени*, серб. *нѣна*, также корни типа *дрѣмати*, *сѣмиѣ*, *тѣма* и др.) и в тех продуктивных суффиксах, которые содержали носовой согласный (причастия типа *одѣнь*, существительные типа *младѣньць*, местоимения типа *тѣмь* и др.). Это показывает, что синтагматическое распределение гласных происходило преимущественно на стыке морфем (имеет морфологические основания и служит морфологическим целям) и только в изолированной позиции (где нет чередования палатального согласного с непалатальным или наоборот). Таковы естественные пределы колебаний в первоначальном варьировании ⟨ä–ǣ̃⟩, которые были поставлены парадигматической системой фонем. Наиболее выразительно они проявляются в самых ранних русских рукописях (например, в ПМ XI), следовательно, по времени очень близки к изменениям носовых гласных и являются прямым следствием такого изменения.

Таким образом, в результате утраты носовых произошло функциональное перераспределение гласных нижнего подъема в зависимости от предшествующего согласного, а именно:

		звучат	пишутся
после палатальных	(ä < ä < a)	[ʼä-ǣ-a]	[ʁ-A-a]
после непалатальных	(ä > ä > a)		

Как и ⟨и⟩ и по той же причине (противопоставлен к ⟨ÿ < ð⟩), ⟨ë⟩ становится гласной фонемой, которая с этих пор вызывает особую мягкость предшествующего согласного, порождая вторую степень мягкости. Однако, несмотря на важность, это противопоставление было чисто синтагматическим, на некоторое время «спасало» фонемные противопоставления в сочетаниях фонем и потребовало новых изменений в самой системе фонем.

2.3. Завершение тенденции к слововому сингармонизму. Вторичное смягчение полумягких согласных

Вторичное смягчение полумягких согласных, т. е. непалатальных, смягчаемых в положении перед гласным переднего ряда (*сѣдѣ* [с'ѣд'ѣ]), с фонематической точки зрения представляет собой фонологизацию признака мягкости, т. е. распространение этого признака и на веллярные согласные. Этот процесс охватывает вторую половину XI в.

Обычным обозначением исконно мягкого (палатального) согласного в древнеславянских рукописях является йотация следующего за ним гласного: *вона, дръвѣкъ, помышляти* (т. е. [н'а, л'е, л'а]), в отличие от *леци, лагоу, ѡгна* (т. е. [л'е, л'а, н'а]) и т. д. В самых древних русских рукописях, к числу которых относится и ПМ XI, это единственный способ обозначения палатального, который вынесен из церковнославянской письменной традиции и почти точно соответствует исконным фонетическим отношениям — противопоставление палатального веллярному, например ⟨л'–л⟩ в одной и той же позиции. В этой системе ⟨л'', н''⟩ — среднеязычные, образовавшиеся из сочетания ⟨л, н⟩ с [j], который и переводил эти сонанты в средний ряд. Преимущественно только йотацией фонемы ⟨л'', н''⟩ обозначены в ОЕ 1056, И 73 (здесь 45 раз йотируется даже ѣ — большая редкость в древнерусских рукописях), М 96, М 97, ЖК XI, ЕП XI, ДЕ 1164, Мстисл. гр. ок. 1130 г. и др., что отражает скорее традицию письма, чем произношение писцов.

Несколько позже появляются и другие обозначения. Из числа наиболее распространенных следует указать надстрочный знак *каморы*, который ставился в промежутке между согласным и гласным: *въ ѿемь*. Такое обозначение спорадически встречается уже в ГБ XI с интерес-

ной дифференциацией по отношению к традиционному обозначению: палатальные согласные по-прежнему обозначаются йотацией следующего гласного, изредка и каморой, в то время как согласные вторичного смягчения обозначаются только каморой: *гнѣвь*, *по винѣ*, *стѣнѣ*, *огнь*, *огня* (но и *огнѣмь*).

В более поздних рукописях либо нет специального обозначения палатальности (в И 76, ЮЕ 1120, С 1156 и др., особенно в северных рукописях), либо оно проведено спорадически (как в З XII, где всего три раза показана палатальность согласного). Самой важной особенностью рукописей конца XI — начала XII в. является широкое распространение графических средств выражения мягкости согласных. В АЕ 1092 появляется и новое для русских рукописей обозначение (в переписанном из болгарского оригинала ГБ XI оно использовано только раз) — посредством черточки (крюка) справа от буквы (н^с); в МД XI палатальные обозначены точками, а палатализованные — йотацией гласного. Несколько раз крюки, перенесенные из оригиналов, использованы в ОЕ 1056, И 73 (в последнем 53 раза). Зато в рукописях XII в. этот способ становится основным в передаче палатальных, он последовательно использован в МЕ 1117, Выг. XII, УС XII, а также в рукописях конца XI — начала XII в., таких, как ЧП XI, СП XI. В начале XII в. много южнорусских рукописей со смешением крюка и йотации (ПА XI, ГЕ 1144, ХА XII). Палатальные обозначаются с помощью крюка, причем не только ⟨л^с, н^с⟩, но и ⟨р^с⟩ (*ѣр^са*, *вечер^са* в АЕ 1092), ⟨ж^сд^с⟩ (*вѣжд^сѣлахъ*, *дѣжд^сь*, *непод^свижиное*, *пригвожд^сѣны* в Выг. XI, *жажд^сеть*, *ижд^сѣноу* в МЕ 1117); согласные вторичного смягчения обозначаются либо крюком, либо йотацией (*икон^сь*, *испльн^сѣны*, *плкнѣти* в Выг. XII).

Обычно не обозначался как мягкий ⟨р^с⟩. В ОЕ 1056 форма *мор^с* (род. п. ед. ч.) обычнее, чем ожидаемая *мор^а*, здесь нет также йотации ⟨р^с⟩: только *боура*, *боуроу*, *горе*, *гороушьноу*, *море*, *цароу* и др. Много примеров своеобразного отвердения ⟨р^с⟩ в И 73, АЕ 1092 и др., что, может быть, связано с влиянием оригиналов, потому что восточно-болгарские рукописи XI в. отражают то же явление.

Обозначение мягкости смягченных согласных проникает в русские рукописи с конца XI в., если не считать нескольких случаев в И 73, может быть, и подвергшихся сильному воздействию южнославянской орфографии таких рукописей, как ПА XI, ГБ XI, где написаний типа *ткбе* довольно много.

В основном изменение графических обозначений палатальности в древнерусских рукописях идет в следующей последовательности: до середины XI в. — йотация, с середины XI в. до начала XII в. одновременно с йотацией развивается употребление каморы, с конца XI в. и до конца XII в. обычным средством выражения палатальности становится крюк. При этом на первом этапе в качестве мягких могут

передаваться смягченные [л', н', р', з', с']; на втором этапе положение существенно не меняется (встречаются рукописи, отражающие его, например GE 1144), но с конца XI в. количество смягченных, передаваемых как мягкие, увеличивается (в АЕ 1092 — 54 раза), а к середине XII в. это изменение фактически охватывает все типы согласных.

Выбор знака для обозначения палатальности не случаен. До середины XI в. устойчивая ориентация на йотацию связана с распределением гласных в начале слова. Графические сочетания типа *к, ѡ, ѡ* обозначали не сочетание [j] с гласным, а передний нелабиализованный гласный, [j] нефонематичен, и, следовательно, в написаниях типа *дрьвлк* буква *к* обозначает не только мягкость ⟨л⟩, но и отсутствие лабиализации у ⟨е⟩. Исконно мягкие шипящие и ⟨ц'⟩ в этой позиции не обозначались знаком *к*. Там, где чередование с лабиализованным и не могло возникнуть (например, перед *ь*), там обычно нет и йотации. Палатальность ⟨л'', н''⟩ существует сама по себе, не зависимо от следующего гласного, и не нуждается в обозначениях. Связанное с фонетическими изменениями появление каморы, а затем крюка явилось переверотом в графике. Теперь знак смягчения стал возможен перед любым нелабиализованным гласным, т. е. также и перед ⟨ѣ, и, ь⟩. Даже графически этот знак оторвался от гласного элемента слога и теперь обозначал не определенное качество гласного, а какую-то особенность всего слога в целом, напоминая функцию титла; ср. *нынѣ* [нын'ѣ] как *ѣ ѣ*. Камора действительно связана с обозначением мягкости целого слога, а не одного ⟨н''⟩.

Введение крюка, в свою очередь, указывает на то, что обозначение мягкости согласного снова изменяется: следует передать именно мягкость или твердость слога, независимо от качества следующего гласного. Варианты самих гласных букв становятся ненужными и постепенно меняют свое назначение (*ѡ—ѡ*).

Таким образом, в соотношениях

$$\left. \begin{array}{l} \{ [лу] \} \\ \{ [л''у] \} \end{array} \right\} \text{ (I)} \quad \left. \begin{array}{l} [ду] \\ \text{и} \\ [д'е] \end{array} \right\} \text{ (II), но} \quad \left. \begin{array}{l} [ку] \\ [кы] \end{array} \right\} \text{ (III)}$$

начинается преобразование «разных степеней мягкости». В соотношении I возникло противоречие между фонетическим сходством (мягкость и полумягкость после изменений ⟨j⟩ мало чем отличались друг от друга) и фонематическим различием (противопоставление палатального ⟨л''⟩ непалатальному ⟨л—л'⟩), полумягких [л, н, р, з, с] — мягким [л'', н'', р'', з'', с'']. Сходство в функции способствовало совмещению мягких и полумягких согласных в одну фонемную единицу, произошло преобразование

$$\left\{ \begin{array}{l} [\text{лу}] \\ [\text{л}''\text{у}] \\ [\text{л}'\text{е}] \end{array} \right\} \text{ в } \left\{ \begin{array}{l} [\text{лу}] \\ [\text{л}'\text{у}], \\ [\text{л}'\text{е}] \end{array} \right\}, \quad \text{но} \quad \left\{ \begin{array}{l} [\text{ду}] \\ [\text{д}'\text{е}] \end{array} \right\} \quad \text{и} \quad \left\{ \begin{array}{l} [\text{ку}] \\ [\text{кы}] \end{array} \right\}$$

еще сохранились некоторое время как непалатальные.

Объективным критерием выделения корреляции по твердости–мягкости из прежней палатальной зоны образования становится поведение заднеязычных и губных согласных, которым практически очень трудно получить смягчение. Поэтому в тех русских говорах, в которых губные и заднеязычные не вступают еще в корреляцию по твердости–мягкости, по-прежнему сохраняется исходный палатальный ряд, поскольку заднеязычные и губные не могут образовать среднеязычного ряда.

Совпадение [л''] и [л'] и т. д. в древнерусских рукописях отражается в смешении букв, указывающих именно на отверждение палатальных. Так, в И 73 представлены 116 форм типа *до недѣла, землоу, на ноу* 'на нее', *от чрева матера, оухыштравъ, прѣмышлаи, твора, авлать*.

Особенно показательны данные об отверждении ⟨р'⟩. Кроме ОЕ 1056 (см. выше), то же находим в АЕ 1092 (*упокритъ — оупокрити, приобращеть, рокота, рызы, сътвороу*), в Выг. XII (*градоуца*) и т. д. — р на месте ⟨р'⟩ встречается уже и перед ⟨и, е⟩, хотя в этой позиции мягкость ⟨р⟩ сохранялась дольше, чем перед другими гласными. Впоследствии число рукописей с подобными написаниями увеличивается.

Наоборот, новгородские рукописи второй половины XI в. и XII в. указывают на совпадение ⟨л, л'⟩, ⟨н, н'⟩ в палатальном варианте (*лючами, лючь* в М 95), такие примеры встречаются вплоть до XIV в.: *аньны* 'Анны', *въ противную весь* 'в противоположную деревню', *маньноу, оусню* 'усну' в Ев. С.

Все эти факты отражают разное направление диалектного выравнивания в двух типах сонорных: из «трех л и н» (т. е. [л–л'–л''] и [н–н'–н'']) и «двух р» ([р–р']) у восточных славян отмечено два возможных типа изменения — отверждение только ⟨р⟩ и развитие противопоставления ⟨л'–л⟩, ⟨н'–н⟩ (где [л'', н''] сохранили палатальность) — или распространение нового фонемного признака и тем самым сохранение всех трех сонантов в корреляции по твердости–мягкости (т. е. [р–р'] = [л–л'] = [н–н']).

Таким образом, вторичное смягчение есть не фонетическое увеличение степени мягкости полумягких (смягченных) согласных, а фонологизация уже существующей в слоге фонетической мягкости. Это происходило вследствие указанных морфологических причин не у всех согласных одновременно.

Вторичное смягчение впоследствии определило целый ряд вокалических изменений: ⟨ä → a, ʸ → y, e → o, ě → e⟩ или ⟨ě → и⟩. Совпадение всех этих условий в одной системе может указывать, происходила ли когда-то в исходной системе данного говора фонологизация мягкости согласных или такого изменения не было (оно не завершилось последовательно), если различные степени мягкости согласных по-прежнему сохраняются в говоре.

После завершения вторичного смягчения соотношение фонемных признаков в силлабеме видоизменилось. Нужно было обозначать и мягкость согласных, и противопоставление гласных по лабиализованности. Единого знака для выражения этих прямо противоположных характеристик слога древнерусским писцам найти не удалось, может быть, потому, что они не прибегали к использованию надстрочных знаков (это позволяет думать, что никакими просодическими признаками новый тип смягчения уже не обладал). Во всей цепочке графических переходов, отмеченных в древнерусских рукописях, в жертву приносится обозначение гласных по ряду: передний–непередний.

Самое важное заключается в том, что уже в древнерусском языке до падения редуцированных основным признаком стала лабиализованность у гласных и палатализованность (связанная с признаком ряда) у согласных. Еще в силлабеме согласный и гласный в пределах слога как бы перераспределили свои признаки. Прежде всего это происходило в положении после шипящего, потому что в этой позиции [a] ← ⟨a⟩ и [ä] ← ⟨e⟩ никак друг другу не противопоставлялись; например, в *жажа* ‘жажда’ оба слога после вторичного смягчения согласных оказывались фонетически схожими ([жʰäжʰä]) и приводили к нейтрализации противопоставления ⟨ä–a⟩ в этой позиции.

2.4. Развитие межслового сингармонизма

Смещение некоторых фонемных признаков в сторону согласного элемента слога, вызванное вторичным смягчением согласных, привело к частичному уподоблению гласных, находившихся в соседних слогах. Особенно это касается ⟨ь, ь⟩, которые не были противопоставлены друг другу фонематически и потому легко могли вступать в чередование.

Примеров смешения ⟨ь, ь⟩ в древнерусских рукописях очень много. Ср. написания типа *бьчела* в ОЕ 1056, М 95, ГБ XI, GE 1144, ЖН 1219, но закономерное *бьчела* в И 73, ПА XI, АЕ 1092 и *бьчелинь* в И 73; *вьдова* и производные в ОЕ 1056, И 73, АЕ 1092 всегда с ⟨ь⟩, хотя в старославянском здесь был ⟨ь⟩ (ср. *вьдова* в ГБ XI при др.-инд. *vidhávā*, лат. *vidua*); *вьселеная* во всех рукописях XI в. представлено

в написании *вьселеня* (ОЕ 1056, И 73, ПА XI и др.); также *вьчера* в ОЕ 1056, И 73, но странное *вьчера* в МЕ 1117, ЕК XII; *доньдеже* в ОЕ 1056, АЕ 1092, но *доньдеже* в М 95, ЕК XII, ЕП XII и др.; *довлььти* в И 73 и новое написание *довлььти* в ЕК XII; *зьдание* в ОЕ 1056, М 96, ГБ XI, ПА XI, МЕ 1117; *бозьдань* в М 95 и закономерное *зьдание* в И 73, ГБ XI (т. е. в рукописях, переписанных с восточноболгарских оригиналов). Только косвенным образом мы можем удостовериться в том, что в приведенных корневых морфемах когда-то действительно имело место чередование ⟨ъ/ь⟩, например, на основе того, что в современном литературном языке сохранилось слово *зодчий* (с *о < ь* на месте *зьдъчии*), а в древнерусских рукописях встречается написание типа *ведовица*, показывающее, что еще долго эта морфема сохраняла исконный ⟨ъ > е⟩.

Другие чередования ⟨ъ/ь⟩ проверяются современным произношением. Ср. изменение ⟨ъ > ь⟩: *бьдрь* закономерно во всех рукописях, но в ГБ XI перед мягким слогом *бьждрек*, *бьждра*, в У 1047 *дьбрь*, но в УСХII находим уже сходную с современной форму *дьбрь* (> *дебрь*; ср. бел. *добрь*, в некоторых списках русской летописи *Добрянскъ*, а не *Дебрянскъ*); *мьдлость* в ГБ XI и др., но *мьдлыть* в И 76, *мьдльна* в ОЕ 1056 — здесь уже совпадение с совр. рус. *медлить*, *медленный*; др.-рус. *рьдъти*, *рьдрий* уже в И 73 дают написание *рьдрь*, впоследствии рус. *редрый* ‘рыжий, красный’, ср. и рус. *редька* < *рьдька* (при исконном *рьдькы*, *рьдькъве*); исконная форма *сьсъю* в ПА XI во всех древнерусских рукописях пишется как *сьсъца* (ОЕ 1056, М 96, СП XI и др.). Возможно и изменение ⟨ъ > ъ⟩; например, исконное *възьрь* дало современную форму *взор*, следовательно, имело промежуточную форму *възьрь*; по следовательному древнерусское написание *безднье* ‘бездна’ соотносится с совр. рус. *донце* (т. е. *дъньце* < *дъньце*), *дъска* на месте исконного *дъска* (ср. лат. *discus* с ⟨i⟩), но в Лавр. (под 1209 г.) еще *дъска*, *на дъскахъ* как архаизм, не сохраненный впоследствии языком. В заимствованиях из финских языков в ПВЛ, ПП 1406 и др. обычно произношение *корста*, *короста* (‘гроб’; фин. *kirstu* — ‘ящик’), но севернорусские говоры сохраняют это слово в форме *кёрста* ‘могила’, некоторые рукописи XIII в. также дают написания *керста*, *керстица*; ср. *пъстри* в И 76, ГБ XI и др. (рус. *пестрый*), но *пъстро* в Ип. 1425, *пострецы* в Гр. 1534. Чередованием форм *скърбь* — *скърбь* в древних рукописях различались соответственно новгородские и украинские тексты, отсюда рус. *скорбь*, др.-укр. *скербь*, такое же колебание между северным *тръсти* в У 1047, *тръстию* в М 97 и южным *тръстиж* ОЕ 1056 и др., между *трохот* (< *тръхтъ* ‘кроха’) в северных списках XIII в. и *тръхтъ* в ГЕ 1144; исконное *стьгна* ‘площадь, улица’ отмечено во всех древнерусских источниках, но в У 1047 наблюдается чередование *стьгнахъ* — *стьгны* (последнее попало и в церковнославянский язык: *на стогнах града*). Написание

тънькъ из *тънькъ* (ср. лат. *tenuis*) проникло во все русские рукописи (только в ПА XI *тънькъ*, *тънькъ*); в древнерусском языке до XVII в. существовало чередование форм *тенко* — *тонко*, но в современном языке сохранилось *тонко*. После падения редуцированных выбор литературного варианта определялся уже нефонетическими причинами.

Из приведенных примеров видно, что смешение ⟨ъ ∞ ъ⟩ зависит от качества «сильного» соседнего слога: перед мягким слогом ⟨ъ⟩ сохраняется или ⟨ъ → ъ⟩, перед твердым, наоборот, ⟨ъ⟩ сохраняется, а ⟨ъ → ъ⟩. В рукописях конца XI — начала XII в. много примеров, фонетический характер которых мы никак не можем установить, поскольку соответствующее синтагматическое изменение было затемнено утратой редуцированных. Это написания типа *дъвь* — *дъва*, *зьри* — *възьрь*, *мьнь* — *мъною*. Принципиально они совпадают с теми, которые доступны проверке, и потому можно считать, что в древнерусском языке после вторичного смягчения согласных происходило смешение ⟨ъ ∞ ъ⟩ в зависимости от окружающих слогов.

В изолированной позиции редуцированные оказывались и в конце слова. Здесь смешение букв, обозначающих редуцированные, также отмечено очень рано, особенно после губных согласных.

В тв. п. ед. ч. имен мужского и среднего рода окончание *-ъмь/-омь* рано стало заменяться окончанием *-ъмь/-омь* и при этом смешивалось с окончанием формы дат. п. мн. ч. *-омь* (в ОЕ 1056 — около 44 раз вместе с новым окончанием *-мь* в местн. п. местоимений).

В многих рукописях XI в. смешиваются окончания тв. п. ед. ч. и дат. п. мн. ч.: после твердой основы (с [ъ/о]) *-мь* и *-мь* совпадают в *-мь*, после мягкой (с [ъ/е]) — в *-мь*; ср. в ПМ XI, И 73, ОЕ 1056, новгородских минеях XI в. (здесь важны и сочетания с прилагательным: *гласомь великомь*, но *камениемь трѣбьнымь*), в новгородских грамотах до XIV в., даже берестяных (надежные примеры — с конца XII в.: *с нимо*, *съ хѣтмь* и др.).

В форме местн. п. ед. ч. местоимений и прилагательных находим написания с *-мь* на месте *-мь*: *въ томь* в Бер. гр. начала XII в. Формы типа *семь рустьмь* сохранялись еще довольно долго, но тот факт, что впоследствии в русском языке форма *о сѣм* отразила изменение ⟨е⟩ в ⟨о⟩, показывает, что отверждение конечного [м] завершилось до XIII в.

В форме I-го л. ед. ч. наст. вр. атематических глаголов *-мь* перешло в *-мь* в то же время; ср.: *дамь*, *имамь*, *имаамь*, но *въмь*, *късмь*, *тамь* в ОЕ 1056; то же в ПМ XI и в других рукописях XI в.

В отдельных наречных формах отверждение конечного согласного отражается с середины XI в. Так, в ОЕ 1056 *отинждь* (и исконное *отинждь*), *правь*, *свободь*, но *оудобь*, ибо здесь сохраняется еще связь с формой *оудобькъ*. Впоследствии южнорусские рукописи предпочитают исконное мягкое окончание (*близь* в МЕ 1117), а северные в

церковных текстах дают колебания (*близь* и *близь* в ЕК XII), но в оригинальных текстах отражается результат отвердения (*близь*, *назадъ* в Синод., *одерень* в грамотах и др.). В дальнейшем последовательно отвердели только губные: *прав* < *правь* (< *правь*), *стрѣмиглави* > *стрѣмиглавь* (совр. *стремглав*) и т. д.

Произошло отвердение изолированных слогов в предложениях-приставках, например в *объ* < **obi*, *отъ* < **oti*. Колебания вариантов прослеживаются до середины XII в., затем этот процесс стал совмещаться с утратой редуцированных и позиционными ассимиляциями согласных. В ряде сочетаний эти приставки вообще могли употребляться без гласного. Тем не менее регулярную фонетическую замену ⟨ъ⟩ на ⟨ь⟩ находим опять-таки только в рукописях XI — начала XII в.: *объходить* (и *объходу*) в И 73; *объдържа* в И 76; *объдържаше* в ЮЕ 1120; *объдържитъ*, *объхождение* в ЕК XII.

Негубные согласные подвергались отвердению только в северных говорах, и притом несколько позже. Например, в окончании 3-го л. глаголов наст. вр. *-тъ* из *-тъ* отражается с XIII в.: *оубьютъ*, *придетъ* в Гр. 1257 г. (копия с грамоты 1189 г.), *гоститъ* в Гр. 1266 г., есть примеры в НК 1282 (в тексте Русской Правды), но нет в Синод.; в тексте ПВЛ эта замена не встречается в списке Лавр. (но часто в Суздальской летописи по этому же списку), в берестяных грамотах она появляется с конца XIII в. Северо-восточные тексты отражают *-тъ* с конца XIV в. в грамотах и (частично) в рукописях (колебания в ПЕ 1354, ГЕ 1357), западнорусские — с XVI в. Русские рукописи XI–XII вв. в этом отношении непоказательны, так как написания с *-тъ* в них могут быть перенесены из южнославянских оригиналов: в ГБ XI (первая половина рукописи) *-тъ* всего 102 раза, в остальных случаях — *-ть*.

Межслоговой сингармонизм распространился на все гласные изолированных слогов, хотя впоследствии не все такие слоги сохранили результат синтагматического уподобления. Изменение ⟨о → а⟩ до сих пор отражается в украинском языке (*багато*, *гаразд*, *гарячий*, *калява*, *качан*) и в русских говорах, даже окающих; некоторые слова закрепились с ⟨а⟩ и на письме: *баран*, *заря*, *калач*, *карман*, *каساتка*, *лапта*, *латша*, *стакан* и др. Такую же ассимиляцию изолированных гласных находим в новгородских рукописях с конца XI в.; ср. в М 95: *дравяныа*, *неопольвъшии огньмь*, *окавасте*, *повълъвающа*, *порьвънававъша*, *пробедѣ*, *прообразава*, *радити*, *разерениѣ*, *ширата* и др. Сюда же относятся случаи с изменением ⟨о → е, ъ → и⟩: *ребенокъ* < *робенькъ*, *теперь* < *топърво*, *вития* < *вътия*, *дивица* < *дъвица*, *мизинецъ* < *мъзиньць*, *свидѣтель* < *свъдѣтель*, *свирѣпъ* < *свърѣпъ*, *сидитъ* < *съдитъ*, *снигирь* < *сньгирь* и т. д.

Изменение происходило в таком корне, который находился по отношению к гласному в абсолютно слабой позиции (не проверяется

сильной позицией в вариациях корня), а впоследствии утратил семантические связи с производящим; ср. этимологическое соотношение слов *богат* — *бог*, *калач* — *коло*, *ребенок* — *роба* и т. д. (ср. также: *бъжшиши*, *смъшиши* и *бъгъ*, *смъхъ*, но *сидиши* < *съдиши*, *сидить* при редкости форм типа *съдь*). В конечных слогах происходило аналогичное изменение: ср. форму им.–вин. п. двойств. ч. *кольнь* > *кольни* и другие сходные формы.

Все приведенные выше формы объединяет то, что качество гласного в смежных слогах определяется с и л ь н ы м подударным гласным (обычно под новоакутом, но не обязательно), а в самом морфологически изолированном слоге происходит нейтрализация по тому признаку, которым два соседних гласных прежде отличались друг от друга, т. е. в приведенных примерах ⟨ё–и → и⟩, ⟨е–о → е⟩, ⟨а–о → а⟩, ⟨а–е → а⟩. Формирование русского полногласия также связано с этапом межслоговой сингармонизма гласных.

Особенно выразительно межслоговой сингармонизм прослеживается в тех словах, которые в конце XI — начале XII в. были для восточных славян новыми, только что заимствованными, не имевшими еще произносительной традиции. Например, в греческих заимствованиях изменявшийся по качеству гласный, как правило, всегда был морфологически изолированным; происходило уподобление слогов друг другу в зависимости от ударения, или два безударных слога подравнивались друг к другу, приводя к межслоговому сингармонизму: *Патрикъи* > *Патраки*, *Артемонъ* > *Артамонъ*, *Досифеи* > *Дософеи*, *Доментий* > *Дементий*, *Фотиния* > *Фетинья*, *Потатии* > *Пататий*, *Мелания* > *Маланья*. Древнерусские синодики сохранили множество примеров постепенного приспособления заимствованных слов, отражающих происходивший в это время процесс межслогового сингармонизма. Большинство результатов этого процесса осталось в русском языке до настоящего времени в качестве лексикализованного произношения.

Межслоговой сингармонизм привел к тому, что гласный в слоге стал восприниматься иногда просто как носитель слоговости, поскольку основные различительные признаки слога постепенно переносились на согласный.

Поскольку гласные и согласные в пределах слога получают свои особые различительные признаки и теперь противопоставлены друг другу как самостоятельные фонемы, то «промежуточные» между ними глайды и редуцированные должны были подвергнуться изменениям.

3. УТРАТА РЕДУЦИРОВАННЫХ ГЛАСНЫХ В ДРЕВНЕРУССКОМ ЯЗЫКЕ

3.1. Причины и предпосылки изменения

К началу XII в. функциональная ценность редуцированных становится весьма сомнительной. К этому времени окончательно сложилась необычная для гласных фонем позиционная дробность ⟨ъ, ь⟩, по существу приводившая к утрате фонемной общности ряда вариантов, например напряженные сильные [ѣ̆, ѣ̇] совпадают с [ы, и], в сочетании с плавными редуцированные и ⟨л, р⟩ по ряду признаков становятся в дополнительное распределение друг другу. После вторичного смягчения согласных и развития межслового сингармонизма утрачивается единственный признак, противопоставлявший фонемы ⟨ъ ∞ ь⟩, — признак ряда. Сближение ⟨ъ ∞ ь⟩, которое началось в древнерусском языке (в отличие от других славянских языков того же времени), было приостановлено утратой изолированных редуцированных. Всем прочим гласным фонемам редуцированные противопоставлены неясным признаком, относительно которого у ученых нет единого мнения. Скорее всего, это были средневерхние гласные, потому что на первом этапе изменения ⟨ъ, ь⟩ нейтрализовались не только в оппозиции к ⟨о, е⟩, но и в противопоставлении к ⟨и, у, ы⟩ — верный признак того, что нейтрализация по общему признаку подъема происходила по отношению и к верхним, и к средним гласным. В истории русского языка средневерхний подъем для гласных всегда являлся критическим положением в парадигматической системе; гласные этого подъема изменялись, совпадая с гласными среднего подъема. Длительное сохранение напряженных [ѣ̆, ѣ̇] объясняется именно тем, что они не были средневерхними. В просодическом отношении редуцированные были абсолютно слабыми, не вступали ни в какие противопоставления и с фонематической точки зрения являлись редуцированными.

Кроме того, частотность сильных и слабых позиций у ⟨ъ, ь⟩ отличалась от равномерного распределения по позициям у всех прочих гласных.

Слабые редуцированные встречались в несколько раз чаще сильных, но и сильные позиции редуцированных, по существу, несопоставимы с сильными позициями остальных гласных: последние могут находиться под новоакутовой долготой (абсолютно сильная позиция), а ⟨ъ, ь⟩ в этом положении не противопоставлены редуцированным под другим ударением.

По закону открытого слога все возникавшие синтагматически закрытые слоги разрежались вставочным гласным (ср. примеры типа *Амунъдъ* и древнерусское полногласие). В рукописях XI–XII вв. (И 73, И 76, ГБ XI, ПМ XI и др.) находим много примеров вставочных [ъ, ь] в словах типа *альчень, вихърь, Евъгу, Егупть, закълати, Маръка, Павль, седьмь, сълоуга, храбъра, хълъба* и т. д. очень часто. На то, что такие «новые» [ъ, ь] не являются прихотью писцов, указывает последующее совпадение «новых» [ъ, ь] в сильной позиции с ⟨о, е⟩; ср.: *земль > земля, могълъ > моголь* (в ТЕ XIII), *Егупть > Египет* и т. д.

Естественно, что вновь возникающая гласность закрытого слога идентифицировалась с самыми неопределенными в фонематическом отношении гласными ⟨ъ, ь⟩. «Новые» [ъ, ь] отличались от исконных своей постоянной безударностью и отсутствием всяких противопоставлений по ряду или подъему. Их качественное отличие друг от друга определялось характером окружающих слогов; ср. *сълоуга* — *земль*, хотя предпочтение оказывалось наиболее неопределенному по качеству [ъ] — в произношении [э]. Древнерусскому писцу важно было показать гласность неопределенного качества, поэтому он мог использовать также надстрочные знаки «'» (ерок, паерок, ертица) или паузной точки «>», вполне заменяющие ⟨ъ, ь⟩, поскольку разница в качестве самого редуцированного не имела значения. Например, в ПМ XI паерок употреблен 1282 раза, в АЕ 1092 точка в той же функции использована 466 раз. Но в ранних древнерусских рукописях или в рукописях с устойчивой старославянской графической традицией (ОЕ 1056, И 73, ГБ XI, М 97) паерок стоит только над исконными ⟨ъ, ь⟩ и никогда на месте «новых» [ъ, ь] (последние здесь и редки), что подтверждает собственно древнерусский характер описываемой особенности передачи «новых» [ъ, ь]. Все эти неопределенные признаки «новых» [ъ, ь] стали признаками и исконных ⟨ъ, ь⟩ после вторичного смягчения полумягких согласных. Таким образом, м о р ф о л о г и ч е с к и различающиеся, но ф о н е т и ч е с к и сходные гласные совпали по своим признакам и после XII в. развивались в одном направлении.

Все это показывает, что ⟨ъ, ь⟩ постепенно утрачивали свою морфологическую нагруженность, превращаясь в неопределенные по фонетическим и фонематическим признакам звуки. Обилие «новых» [ъ, ь], никогда не имевших морфологического значения, окончательно нейтрализовало употребление исконных ⟨ъ, ь⟩, а в некоторых позициях они вообще оказались излишними.

3.2. Утрата слабых редуцированных

Утрата ⟨ъ, ь⟩ начинается с их устранения в морфологически изолированной позиции, где они не имели никакого морфологического значения, — в предударных корневых слогах и в абсолютном конце слова. Процесс начался рано, до вторичного смягчения согласных, но затем на время приостановился в связи с начавшимся вторичным смягчением и перераспределением фонемных признаков между ⟨ъ⟩ и ⟨ь⟩; два столь важных синтагматических преобразования не могли проходить одновременно, иначе бы нарушилась фонетическая структура словоформ.

По рукописям видно, как постепенно увеличивалось число корней, способных последовательно опускать ⟨ъ, ь⟩: от 2–3 в начале XI в. (ПМ XI, ОЕ 1056), 10–12 в конце XI в. (АЕ 1092, М 95, М 96, М 97, ПА XI) до 20–30 в конце XII в. (ЕК XII, УС XII, МЕ 1215). Одновременно с этим увеличивалось количество пропусков изолированных: в ПМ XI (начало XI в.) их почти нет, в М 95 их около 30, в МЕ 1215 на 795 пропусков [ъ, ь] приходится всего 521 случай их сохранения, в М XII они 586 раз опускаются и 143 раза сохраняются.

Общий список корневых морфем, содержавших изолированные ⟨ъ, ь⟩, дать невозможно, так как это зависит от содержания памятника; из наиболее частых укажем: *бъчела, въдова, въноукъ, въторои, въсь, въчера, гъноути, дъва, донъдеже, зъло, къдъ, кънига, кънязь, къто, мьнихъ, мьнь, мьньти, мьногъ, пьсати, пьтица, пьшеница, рьтуть, съдъ, тъгда, тъкмо, чьти, чьто*. В случае *въсь* и *зьло* можно было бы предполагать слабую позицию (ср.: *вьсь, зьль*), однако для древнерусского языка это не так. До XIV в. рукописи сохраняют написание *вьсь* (им. п.) (и *все*: в новгородских рукописях *все полкъ, все Псковъ, все градъ*), сильную форму местоимения и восстанавливают либо со слоговым ⟨в̆⟩, либо с прояснением конечного ⟨ъ⟩ под ударением, т. е. с изменением в ⟨е⟩. Это местоимение благодаря своим просодическим свойствам имело фонетически неустойчивое ударение, а фонологически не имело его вовсе, потому что такие слова все были служебными словами, не маркированными по ударению. С корнем *зьл-* положение может быть таким же, да и вообще форма *зьль* (род. п. мн. ч.) очень редка, а само слово *зьло* не по всем русским рукописям XI в. утрачивает корневой ⟨ъ⟩.

Поскольку устранение изолированных ⟨ъ, ь⟩ являлось чисто фонетическим процессом, то и последовательность звуковых сочетаний, типов корней, в которых ⟨ъ, ь⟩ сокращались или, напротив, длительно сохранялись, определяется чисто фонетически. В. М. Марков показал, что утрата ⟨ъ, ь⟩ прежде всего происходила в таких сочетаниях согласных, которые одновременно с тем могли вызывать появление

«новых» ⟨ъ, ь⟩, ср.: *книгы* в ПМ XI и «новый» [ъ] в *претъкънеши* в АЕ 1092; *много* в ПМ XI и *мънась* ‘древняя монета’ в заимствовании из греческого; *дъвь* в ПМ XI и *дъвиження* в ДЕ 1164 и др. Именно воздействие «новых» [ъ, ь] приводило к ранним устраниниям и слабым ⟨ъ, ь⟩. Например, в сочетании **търът* один из редуцированных имел морфологическое значение, а другой, возникший в результате второго полногласия, — нет (ср. *търънь* < **търън*); на письме он мог изображаться, но мог и опускаться, поскольку морфологически был п о д в и ж н ы м элементом корня. Поэтому в сочетаниях типа **рън* происходило устранение ⟨ъ⟩ и в слабой (не только изолированной) позиции, поскольку эта позиция была «нарушена» действием «нового» [ъ]; ср. в М 95 опущение ⟨ъ⟩ только в сочетаниях типа *върно*, *мирноѡ*, *правовърно*, даже *творче*, *творчь* из *върно* и т. д. Те же примеры встречаются до XII в., ср. в Мин. XII, где пропуск ⟨ъ⟩ в суффиксе (511 раз) обусловлен сочетаниями типа *върный*, *мирно*, *умный* и др., тогда как прочие сочетания сохраняются (3424 раза).

Позиционно «разрушительная» роль «новых» [ъ, ь] здесь несомненна, фонетическая последовательность изменения заключается в неуклонном распространении «новых» [ъ, ь] в соответствии с законом открытого слога, который, таким образом, изменял функциональную ценность фонем ⟨ъ, ь⟩. Замечено, что в приписках писцов изолированные ⟨ъ, ь⟩ сохранялись дольше, чем в переписываемом ими тексте, — до середины XII в. Общее фонематическое сохранение ⟨ъ, ь⟩ в системе поддерживало исконные ⟨ъ, ь⟩ во всех прочих положениях, и в произношении они еще должны были присутствовать из-за действия закона открытого слога.

Однако имелись и особые фонетические условия, способствовавшие сохранению изолированных ⟨ъ, ь⟩. Дольше всего обозначение гласности сохранялось в положении после ⟨в⟩ (= *w*); так, в ГБ XI наиболее устойчивы корневые морфемы *въдов-*, *въноук-*, *въс-*, *вътор-*, *въчер-*, *ковъчег-*; слово *въселеная* впоследствии дает даже вариант *оуселеная*; *въсь* в рукописях XII в. (в отличие от более ранних) стремится к стабилизации с обязательным ⟨ъ⟩ (в Мин. XII 143 раза сохраняются изолированные ⟨ъ, ь⟩, в том числе 110 раз в корне *въсь-*). В конце XIII — начале XIV в. изолированные ⟨ъ, ь⟩ сохраняются в таких сочетаниях согласных, из которых первый был взрывным и мог бы утратиться в результате устранения гласности; ср.: *дъжг-*, *Дъньпър-*, *дъск-*, *дъч-* в Синод.; *бър-*, *дър-*, *пър-*, *объц-*, *тъм-*, *тъсн-*, *тъщ-* в Выг. XII.

В с л а б ы х позициях фонетическая утрата ⟨ъ, ь⟩ постепенно подготавливалась теми же условиями: принципиальная возможность соответствующего сочетания согласных в языке и спорадическое наполнение этого сочетания «новыми» [ъ, ь]. Например, сочетания *ск*, *см*, *сн*, *ст* возможны в системе, они входят в одну морфему (на-

пример, в суффиксы *-ьск*, *-ьств*), но по закону открытого слога могут разрежаться вставочными [ъ, ь]: *оушьмаре*, *письменьхъ*. Именно в таких сочетаниях функциональная ценность исконных ⟨ъ, ь⟩ сразу уменьшается, они также становятся подвижными элементами фонетического слова, не имеющими морфологического значения. Так появляются произношение и написание *скончати*, *смотреьти*, *смьрти*, *створити* (на месте *ськончати*, *сьмотрьти*, *сьмьрти*, *сьтворити*), в суффиксальных именах *десный*, *присно*, *ясно* (на месте *ясьно*) и т. п.

На стыке двух слов положение осложняется, если предлог оканчивается согласным (*без*, *въз*, *из* и др.): перед гласными и сочетаниями согласных эти согласные развивали дополнительную гласность, передавая ее «новым» [ъ]: ср. *безъ*, *изъ* и т. п. уже в ОЕ 1056, М 95, М 96, М 97, ГБ XI и др. Эта новая гласность могла давать и гласный полного образования: *безоосждениа*, *безо ђца*, *изообож* в ГБ XI; *изи истьльниа* в ПМ XI и др. Становилась возможной фонетическая ассимиляция ⟨ъ, ь⟩ следующим гласным. Межслоговой сингармонизм направлял слабые редуцированные в этом направлении, и с середины XI в. мы в изобилии встречаем написания типа *близокоу*, *водовы*, *золоба*, *кото*, *весемоу*, *възметъ*, *агница*, *виси*, *двирѣ*, *кърмичая*, *птициами*, *прелициаи*, *мылвы*, *чютоущихъ*, *павлюшоуса* и др. Примеры типа *безбожинья*, *различныхъ*, формы им. п. ед. ч. *въсакоземнь*, *чьсти*, *павлюшоуса* показывают, что в подобных написаниях отражается фонетическая ассимиляция слабых гласных сильным (а вовсе это не описка, как можно было бы думать на основании примеров *золоба* или *весемѣ*). Появление их совпадает со вторичным смягчением полумягких согласных и действием межслогового сингармонизма (середина XI — вторая половина XII в.). После падения редуцированных архаические формы с «прояснившимися» слабыми редуцированными сохранились в культовом языке (например, у старообрядцев) или в традиционном пении.

В фонематическом толковании процесса подобные случаи весьма важны. Они демонстрируют окончательную утрату редуцированными всех их фонематических признаков, их готовность к совмещению с другими гласными. Поскольку ⟨ъ, ь⟩ были средневерхними, оказалось возможным их смешение и с верхними (в рукописях с ⟨ы, у, и⟩), и со средними (⟨о, е⟩), но окончательное совпадение и с теми и с другими невозможно без разрушения сложных морфонологических отношений, сложившихся в древнерусском языке. Направление слияния определилось не фонетическим сходством ⟨ъ⟩ с ⟨у, ы, о⟩, а морфологической функцией ⟨ъ⟩ в системе. К середине XII в. и по парадигматическим, и по функциональным признакам ⟨ъ, ь⟩ были близки к ⟨о, е⟩. Например, они вступали с этими гласными в морфологические чередования, а в некоторых, особо важных морфемах даже

дублировали друг друга; ср. флексию тв. п. ед. ч., выражаемую двояко: *столомь* — *стольмь*, *лицемь* — *лицьмь*. Так же как и ⟨о-е⟩, ⟨ь-ь⟩, были слабо противопоставлены друг другу и могли выступать как варианты одной флексии в зависимости от твердости-мягкости предшествующего согласного. Последнее после вторичного смягчения полумягких было особенно важным. Все это постепенно подталкивало ⟨ь, ь⟩ к ⟨о, е⟩, так что к началу XII в. смещение слабых ⟨ь, ь⟩ с гласными верхнего подъема почти исчезает из рукописей, сохраняются только некоторые лексикализованные корни.

Нет ничего удивительного в том, что именно ⟨ь, ь⟩ (раньше, чем ⟨ъ, ѣ⟩) привели к совпадению с ⟨о, е⟩. Слабая позиция — это позиция нейтрализации фонологического противопоставления, именно в такой позиции выявляется направление последующего изменения фонемы. В данном случае нейтрализация

$$\left. \begin{array}{l} \langle ь \rangle \\ \langle о \rangle \end{array} \right\} \langle о \rangle \qquad \left. \begin{array}{l} \langle ь \rangle \\ \langle е \rangle \end{array} \right\} \langle е \rangle$$

показывает, что редуцированный гласный являлся маркированным членом оппозиции, поэтому именно он и исчезает в результате нейтрализации в слабой позиции.

На то, что утрата слабых редуцированных долго регулировалась морфонологически, указывают случаи длительного сохранения их вплоть до XIV в., а затем даже прояснение их в ряде морфем.

В сложных сочетаниях согласных слабые ⟨ь, ь⟩ утрачивались в зависимости от фонологической ситуации, складывавшейся в системе. Например, два взрывных рядом или взрывной в соседстве со щелевым сохраняли редуцированный вплоть до XIV в.: ср. корневые морфемы типа *бъве-*, *жъжъ-*, *къзн-*, *лъж-*, *тъщ-* и др. в ПА 1307 и других рукописях этого времени. То же происходило на стыке с суффиксом; ср.: *естьство*, *рожьство*, которые дали незакономерное ⟨е⟩ в современном литературном языке (*естество*, *рожество*); суффиксальный ⟨ь⟩ в *-ьск*, *-ьств* в северных говорах сохранялся до XIX в. То же имело место при начальном сонанте; ср.: *Мистислава*, *отместившея* в Ип. 1425; *Мистишинъ*, *въ мегновеньи ока* в Лавр.; *мегла*, *мезда* в других рукописях XIV в. Сильными были те редуцированные, которые имели особое грамматическое значение; например, односложные *нъ*, *тъ*, *сь* на фонетической стадии изменения приводили к образованию форм *но*, *то*, *се*; ср.: *то* в Лавр. (часто); *се же король* в Ип. 1425 и др. (в значениях 'тот' и 'сей').

Несомненно, столкнулись церковнославянские и русские формы произношения, с этого времени навсегда разграничив два языка. В таких словах, как *возопити*, *оуповати*, *бисера*, *вертепа*, *скрежета*

и др., поначалу происходили закономерные устранения слабых редуцированных, ср.: *возти* в Лавр.; *оупвание* в А 1220; *бисра*, *вертъны*, *скрежьста* в ЕС 1377. Но впоследствии церковнославянскими (а потому и литературными русскими) стали «полные» формы этих слов. Способствовала тому старая церковная традиция, согласно которой в подобных словах слабые ⟨ъ, ь⟩ прояснялись в большинстве русских рукописей еще в XI в.; ср.: *оупъвати* в ГБ XI, но *оуповати* в И 73, АЕ 1092, ДЕ 1164, ЖН 1219, УС XII и др. Благозвучие высокого стиля произношения воспрепятствовало фонетическому изменению и привело к стилистическому его регулированию.

3.3. Прояснение сильных редуцированных

Прояснение сильных ⟨ъ, ь⟩ начинается в морфологической позиции, которая не давала чередования их со слабыми ⟨ъ, ь⟩. Такая позиция образовалась в некоторых флексиях (тв. п. ед. ч. мужского рода *-ъмь*, *-ьмь* при чередовании с *-омь/-емь*; вин. п. ед. ч. женского рода *-ъвь*, ряда флексий мн. ч. **й-* и **й-*основ, например *-ъхъ*, *-ьхъ*, *-ьмь*) и суффиксах (*-ъв*, *-ък*, которые чередовались с суффиксами *-ов*, *-ок*). Некоторые церковнославянские корневые морфемы также представляли ⟨ъ, ь⟩ в абсолютно сильной позиции (*бъхъма*, *довъльнь*), но они непоказательны для собственно русских изменений, ибо ⟨о⟩ под влиянием южнославянских оригиналов могло проникнуть в русские рукописи и раньше XII в. Важнее корневые морфемы типа *тъм-ьн-*, *шьд-ьш-*, в которых по самой структуре основы ⟨ъ⟩ всегда находился в сильной позиции.

Формы со «вторым полногласием» также давали постоянно сильный редуцированный в корне, особенно если это было суффиксальное слово: *вьръвъка*, *дървьвня* при *вьръвъ*, *дървьвъ*, *дървьви* (оба редуцированных в корне одновременно оказывались сильными). Написания *ор*, *ер* (на месте *ър*, *ьр*) особенно показательны, потому что они не могли попасть из южнославянских оригиналов, а представляли собой собственно русское отражение общеславянского изменения. Тексты Выг. XII, ГЕ 1144, Е XII, БГ XII, Мин. XII, ЕК XII, а из северных рукописей (но реже) МЕ 1215, А 1220, УК XIII отражают именно этот этап прояснения ⟨ъ, ь⟩ — только в указанных положениях. Например, в первом почерке Е XII 250 раз отражен переход ⟨ъ, ь⟩ в ⟨о, е⟩, и все примеры касаются только абсолютно сильной позиции: *вьшедь*, *дълъмь*, *довольно*, *жерновъ*, *кротокъ*, *плоть*, *яремника* и др. В Выг. XII и БГ XII подавляющее число прояснившихся ⟨ъ, ь⟩ приходится на сочетание **търт* (в первой рукописи их около 80%, во второй около 90% от общего числа написаний с прояснившимися сильными ⟨ъ, ь⟩).

В ДЕ 1164, рукописи, наиболее полно отражающей прояснение сильных редуцированных, во всех указанных случаях почти последовательные написания с ⟨о, е⟩, тогда как для прочих положений с сильными ⟨ъ, ь⟩ возможны некоторые отступления (например, в предложениях и приставках). Новгородские рукописи только к концу XIII в. отражают этот этап изменения; в НЕ 1270 из 378 сочетаний типа **tъrt* 65 переданы с ⟨о⟩, 123 — с ⟨е⟩ в корне *шед-*, 88 — с ⟨е⟩ в суффиксах типа *-ьн*, *-ьц*, 3 — в суффиксе *-ък* и т. д.

Таким образом, наблюдается функциональная связанность слабой и постоянно сильной позиций; прояснение сильных ⟨ъ, ь⟩ вызывается утратой находившихся в следующем слоге слабых ⟨ъ, ь⟩. Морфологически это значит, что усиление сильных ⟨ъ, ь⟩ происходило не в слове (морфеме), а в словоформе; ср. в ЕК XII: *вещемь* < *вещьмь* (дат. п. мн. ч.), *чинохь* < *чинъхь*. Как падение слабых, так и прояснение сильных сначала является синтагматическим изменением и, следовательно, еще не означает утраты фонем ⟨ъ, ь⟩.

Постепенно утратив все фонемные признаки различия, они стали не фонемами и в связи со вторичным смягчением полумягких согласных, но фонематически же они еще существуют, потому что сильные ⟨ъ, ь⟩ не совпали пока с другими гласными в сильных позициях.

Фонетический характер прояснения ⟨ъ, ь⟩ подтверждается тем, что первоначально происходило фонетически закономерное прояснение только тех ⟨ъ, ь⟩, которые находились в слоге перед ⟨ъ, ь⟩. Например, в рукописях начала XIV в. (ПС XIV, ЛЕ XIV, ПА 1307, МП XIV), а в московских рукописях и позже (МЕ 1358) обычно изменение ⟨ъ, ь⟩ в пределах фонетического слова, т. е. *весь снемь* (= *сьньмь*), *воспи* (= *възъпи*), *вось въкъ* (= *въ съ въкъ*), *вотъ часть* (= *въ ть часть*), *во чти* (= *въ чьсти*), *злыкъ рабъ* (= *злыи ть рабъ*), *народось* (= *народь съ*), *работь* (= *рабъ ть*) и др., также только перед *и*, *оу*, *о* или перед сочетанием согласных, в составе которого находится редуцированный (во *мнозь*, *изо мнозь*, *надо мною* из прежних *въ мьнозь* и *из мьнозь*). В результате возникали расхождения между разными формами одного корня или даже одного слова; ср.: *правденъ* — *праведна*, *рпотъ* — *ропъщють* в ПЕ 1307; *воспи* — *взопиють* в ПС XIV; *снемь* — *сонмь* в Ип. 1425; также *жрецъ* в Лавр. — *жерцю* в Ип. 1425; *пришлецъ* в Пут. XIII — *зашелци* в Новг. гр. 1317 г.; *четчи* — *чтець* в Новг. гр. 1368 г.

Еще сложнее ситуация в сочетаниях типа **tъrt*. Фонетическая утрата слабых редуцированных приводила к образованию непронизносимых сочетаний согласных в ряде словоформ; ср.: *кви*, *крве*, *кври* в ПЕ 1307; *отъ крве*, *отъ кври* в Луцк. XIV; *дъври*, *къ дъвремь*, *при дъврехъ* в ГЕ 1266; *до дври* в СЕ 1340. В украинских говорах это привело к слоговости ⟨л, р⟩, а впоследствии дало сочетания типа *лы*, *ры*; ср.: *дрыва*, *таблыко* в ЖС XIII; *скрыжеть* в Луцк. XIV; *брыви*, *слызы*

в Галицк. гр. 1424 г. В русском языке эти сочетания изменились иначе: произошло обобщение сильных ⟨ъ, ь⟩ по всей парадигме, т. е. *двери* < *двьри* по аналогии с *дверь* < *двьрь*.

Расхождение между разными формами слова вызывало задержку слабых редуцированных в сложных сочетаниях согласных, особенно одинаковых согласных: *жьжение* ≥ *жежение* вместо ожидаемого *жжение*. Фонетическое изменение настолько разрушило важные морфологические связи слов и форм, что необходимо должно было возникнуть сдерживающее это распадение семантическое начало. Однако прежде закончились изменения, связанные с теми согласными, которые по своим фонетическим свойствам совпадали с ⟨ъ, ь⟩, т. е. с глайдами.

Глайды как особый класс фонем сохранялись в древнерусском языке до утраты редуцированных. Фонетическое ослабление ⟨ъ, ь⟩ на этот раз приводило их к действительной редукции, поэтому в о д н о м сл о г е с глайдом начиналась и редукция гласного полного образования — как реакция на прояснение сильных ⟨ъ, ь⟩ в слогах без глайдов.

Глайды раньше других согласных начинали вторичное смягчение полумягких, затем именно глайды в результате ослабления ⟨ъ, ь⟩ вошли с последними в синтагматические чередования (*дври*, *пимоу* вместо *двьри*, *примоу*), подготавливая фонологические условия последующей утраты ⟨ъ, ь⟩. Теперь мы видим, что первоначально и фонетическая редукция безударного гласного возникала в слогах с глайдом, представляя собой следствие падения слабых редуцированных. Все последовательные преобразования глайдов объясняются промежуточным их положением между гласными и согласными в исходной системе — это п о д в и ж н ы е элементы системы, и все касающиеся их изменения происходили поэтому в пределах слога, а не словоформы. Скопление глайдов в слоге легко могло нарушить естественный ход фонетического изменения [э]. Так, мы ожидали бы полногласия в словах: *борноволокъ* (слов. *branovlék*), рус. диал. *борноватъ*, *голдоба* (ср. *голодовка*), *горностай* (чеш. *hranostaj*, польск. *gronostaj*), *морзобой* ‘морзобойный хлеб’, укр. *морзоватий* ‘белоснежный’, *скорлуна* (ст.-сл. *скралоуна*, чеш. *škralooup*, др.-рус. *скоролоупла* в рукописи 1499 г.) и др. Сочетание нескольких глайдов в последовательностях типа **torən-*, **norət-* задерживало развитие полной гласности, необходимой для образования русского полногласия.

Все рассмотренные изменения связаны с разложением силлабемы как единой функциональной единицы. Это — снятие общих для слога различительных признаков и распределение их между гласным и согласным элементами слога. На первых этапах такого перераспределения роль плавных (позже глайдов вообще) оказывается очень существенной.

Утрата редуцированных завершается не прояснением ⟨ъ, ь⟩ в ⟨о, е⟩, как можно было бы думать, имея в виду совпадения ⟨ъ, ь⟩ с ⟨о, е⟩. Это чисто фонетический процесс, связанный с возместительным продлением слога перед утраченными (слабыми) ⟨ъ, ь⟩: [*сънь* ≥ *сънь* ≥ *сън* ≥ *сон*]. Фонетический характер продления заключается и в том, что слабый редуцированный предварительно должен был исчезнуть также и в звучании, только после этого возможно компенсаторное изменение звуков в пределах словоформы. Вот почему сначала исчезали слабые и только затем прояснились сильные редуцированные.

После вторичного смягчения полумягких и связанных с этим изменений синтагматическая система фонем оказалась «на перепутье». В дальнейшем должны были произойти собственно фонемные изменения, но характер сложившихся отношений предполагал двоякий выбор: фонемное выравнивание могло пойти по линии словоформ, следовательно, сохранения прежнего состава фонем в каждой словоформе. Это произошло в севернорусских говорах, которые отразили и фонетический этап утраты редуцированных, т. е. не привели к выравниванию форм типа *цка*, *цтя* при *доску*, *тесть* и не образовали морфологических чередований типа *лба* — *лобъ*, *льда* — *лѣдъ* на месте исконных ⟨о, е⟩ (*лобъ*, *ледъ*).

Но в возникшем противоречии между словоформой и словом фонема могла «победить» и как представитель морфемы. Это произошло в южнорусских говорах, и впоследствии именно эта система была положена в основу современного русского литературного языка. В этой системе прошло выравнивание типа *тесть* — *тестя* — *тестю* (из *тьсть* — *тьсти* — *тьсти*) по сильной позиции морфемы, образовалось морфологическое чередование типа *лоб* — *лба*. Появилась, следовательно, возможность варьирования в зависимости от разных форм слова; поскольку такое варьирование определялось словесным ударением, в основной массе русских говоров возникло позиционное чередование гласных, которые образуют так называемые пересекающиеся ряды чередований (гласный под ударением чередуется с подударным гласным).

Обычным было фонетическое изменение в последовательном ряду редуцированных многосложного слова с прояснением ⟨ъ, ь⟩: *Полтескъ* < *Пльтьтескъ* в Синод.; *изъ подьшьевъ* < *подьшьевъ* в Ип. 1425; также уже указанные *рпотъ* < *ръпътъ*, *снемъ* < *съньмъ*, *шевецъ* < *шьвьць*. Одновременно с тем образовывались и другие формы слова: *Плоцкъ*, *подошва*, *ропта* (как в ХА XII и *ропту* в Гр. 1496 г.), *съ сонмомъ* (ПА XI), *сонма* (Лавр. под 1169 г.), на *сонмъ* (Ип. 1425 под 1228 г.), *о шевць* (Зак. судн.) и т. д. Как правило, подобные чередования гласных в корне были совмещены с чередованием ударения в разных словоформах по типу: **ръпътъ* — **ръпътá*, **съньмъ* — **съньмá*,

**съпѣтътъ*, **съпѣтѣ*. Сильная позиция ⟨ъ, ь⟩ изменяла варьирование в парадигме в связи с изменением словесного ударения; ср.: *Полоцк* — *Полоцка* — *Полоцку*... по косвенным формам (с полногласием); *Смольньскъ* — *Смольньска* ≥ *Смоленск* — *Смоленска* также по косвенным формам, хотя и с ударением на суффиксе, т. е. *Смоленск* — *Смоленска*... Иначе в словах с ударением на конце и, следовательно, с ⟨ъ, ь⟩ под новоакутом: *швѣц* — *швѣца* — *швѣцу* и т. д. (по форме им. п. ед. ч.); в словах с колебанием ударения варьирование сохранялось до XIX в. (ср. в русской поэзии этого времени: *пришлѣц* — *пришлѣца*, но *пришлѣец* — *пришлѣльца*). Фонемный состав морфемы стабилизировался только при оформлении акцента — основной характеристики фонетического слова. В словах высокого слога, пришедших из церковнославянского языка, обычно ударение на первом слоге, следовательно, выравнивание шло по формам косвенных падежей: ср. *рѣпот* — *рѣпота*, *сѣнм* — *сѣнма*... с разным отношением к слабым ⟨ъ, ь⟩ — распространяется в сложных сочетаниях согласных (не *ропт*) и утрачивается в простых сочетаниях (не *сонем*).

Зависимость от ударения видна в односложных словоформах. Фонетический процесс разъединения словоформ многих слов (*коцтю*, *тъсть* — *аки ста* в Ип. 1425; *лесть* — *лсти*, *честь* — *чти* в Лавр.) еще сложнее у слов без сильных ⟨ъ, ь⟩, как *дска* в Лавр.; *дчи* в Уставе Владимира (по всем спискам); *на цахъ* в Гр. 1509 г. и т. д. Утрата редуцированного приводила к усложнению фонетического состава слова.

Чередования сохранились только в подвижных акцентных парадигмах, став важной характеристикой такой парадигмы; ср.: *день* — *дня* — *на день*, *сон* — *сна* — *сонной* и т. д., хотя исконно этот ряд имен в подвижный тип не входил (например, *сънѣ*), их акцентная подвижность вызвана сохранением морфологического чередования гласного полного образования с ⟨ъ, ь⟩. Регулирующее воздействие ударения на формирование нового типа сочетаний подчеркивает морфонологический характер самого чередования, поскольку к концу XIV в. единственным устойчивым морфологическим средством в русском языке оставалось словесное ударение.

Основные изменения редуцированных как в новгородско-псковских, так и в ростово-суздальских говорах завершаются к концу XIV в. К этому времени окончательно складывается современное диалектное членение русского языка, поэтому материал современных говоров становится прямым источником изучения исторических изменений в фонетике.

Когда началось регулирующее выравнивание «новых» ⟨о, е⟩ в пределах морфемы, когда «сильные» ⟨о, е⟩ из ⟨ъ, ь⟩ связали воедино серию словоформ и тем самым дали «новым» ⟨о, е⟩ то же морфологическое

значение, которое имели исконные ⟨о, е⟩, только тогда редуцированные окончательно утратили свой фонемный статус в системе.

Таким образом, ⟨о, е⟩ из ⟨ъ, ь⟩ совпали с исконными ⟨о, е⟩ по функции, стали оттенками фонем ⟨о, е⟩.

3.4. Изменение редуцированных в сочетании с полугласными

В древнеславянских текстах буквой *и* (*u*) обозначались ⟨i, i(j), (j)ь, ь(j)⟩, буквой *ы* — ⟨y, ь(j), y(j)⟩; *ы* встречается редко. Лишь в самом конце XI в. позиционное распределение между ⟨и–ь⟩ отражается в рукописях: до этого редкие написания типа *змяя*, *третьяго* в ОЕ 1056, И 73, И 76 можно объяснить влиянием южнославянских оригиналов. Сначала наиболее часты написания с *ъ* перед слогом, в котором содержится ⟨ju⟩ (*змяю*), с середины XII в. они стоят наравне с написанием *ье*, затем развиваются и написания *ья* (при возможном сохранении написаний *ие*, *ия*). Хотя сочетания *ии* встречаются наиболее часто, практически нет написаний типа *ьи*, напряженные редуцированные в положении перед ⟨и⟩ сохраняются вплоть до падения редуцированных. Видимо, в сочетании ⟨ѣји⟩ редуцированный еще был близок по своему качеству к ⟨j⟩ и к ⟨и⟩. Что же это за качество?

В этой позиции возникали более закрытые, напряженные, узкие варианты ⟨ъj, ьj⟩; составители славянской азбуки признавали их равными фонемам ⟨ы, и⟩ и не различали на письме. Исконные ⟨ы, и⟩ в положении перед ⟨j⟩ также совпадали с ⟨ъ, ь⟩; ср. [ш’ија] и [зм’ья], впоследствии одинаково давшие ⟨ѣ⟩ (*шия*, *змия*). Возникла нейтрализация противопоставления по признаку подъема:

$$\begin{aligned} \langle \text{ъj} \rangle &\geq \langle \text{ѣ} \rangle \leq \langle \text{ьj} \rangle \\ \langle \text{ьj} \rangle &\geq \langle \text{ѣ} \rangle \leq \langle \text{иj} \rangle. \end{aligned}$$

Маркированными членами были ⟨ы, и⟩, совпадавшие в слабой позиции с ⟨ъ, ь⟩, но только в кратком слоге, например под ударением: [м̄б̄jѣ] > [м̄б̄jѣ] (= *мью*). В предударном слоге долгота сохранялась (*бию* [б̄и’jѣ]), но в форме имперфекта [б̄иj’аш’ѣ] дало [б̄иjаш’ѣ]. Впоследствии во всех славянских языках первоначальное распределение по ударению отразилось на характере основы; ср. совр. рус. *мыть*, *бить*, но *мою*, *бью* (основы инфинитива и наст. вр. различаются составом фонем). Однако слабые, сократившиеся ⟨иj, ьj⟩ совпали с ⟨ъj, ьj⟩.

С конца XI в. в древнерусских рукописях именно ⟨ъj, иj⟩ передаются уже как ⟨ѣj, ѣj⟩: *оумъа* в ЮЕ 1120; *покръють* в М 97; *пыа* в ДЕ 1164, Е XII; *осъа* в ДЕ 1164; *бъаше*, *пыа* в Выг. XII; *мъа* в Пр. 1262;

стрѣма в ЖС XIII; *оумью*, *сумѣши* в Е XIV; *мѣшесл.* в Пант. 1317; то же сохраняется в архаических написаниях летописного текста и в поздних списках; ср.: *къ стрѣмь*, *пѣаньствомь*, *стрѣа*, *съахоу*, *съаюче* в Ип. 1425; *къ шью* в Синод.; *не мьющемоуса* в БЗ XVI и т. д.

Впоследствии ⟨ѣ, ѣ⟩ изменились так же, как и все сильные редуцированные, совпав в конце XIII в.

Напряженные ⟨ѣ, ѣ⟩ изменяются в ⟨о, е⟩ как в сильной (1), так и в слабой (2) позиции; ср.:

1) *бес треи кунь* в НК 1282 (в тексте Русской Правды); *трек* (род. п. мн. ч.) в Гр. 1268 г.; *которой городъ*, *старейшей братъ*, *сынъ меншеи* в Лавр.; *кнѣзь дѣцкои* в Синод. и др. с определенной дифференциацией: например в Дом. XVI в разговорных словах *-ои*, *-еи* (*подворейце*), а в церковных *-ьи*, *-ии* (*животворящи*);

2) *оружеѣмь* в Гр. 1263 г.; *чеки* в НК 1282 (Русская Правда); *оубектъ*, *пектъ*, *пеюще* в Е XVI; *строя* (*стрѣя*) в Лавр.; *божноу*, *любовею* в ЕС 1377; *деаковъ* в Гр. 1371 г.; в других рукописях XIII в. *братекъ*, *вещею*, *гнееть*, *Софеи* и др. В северо-восточных рукописях такие примеры появляются только с XIV в.; ср.: *винопеица* в ПЕ 1354, в двинских грамотах XV в. рядом могут быть *роучея* и *роучія*. В церковных текстах последовательно сохраняются старые написания типа *биють*, *пиемь*.

Таким образом, уже на фонетической стадии изменения ⟨ѣ, ѣ⟩ в ⟨о, е⟩ происходят независимо от позиции; к моменту изменения все сокращения слабых редуцированных завершились, и все сохраняющиеся к тому времени ⟨ѣ, ѣ⟩ являлись с и л ѣ н ы м и. Есть и другое доказательство длительного сохранения ⟨ѣ, ѣ⟩ — их употребление в конце слова.

Конечные ⟨ѣ, ѣ⟩ перед ⟨и⟩ (⟨ји, јь⟩) в определенных сочетаниях употребляются как ⟨ѣ, ѣ⟩ с середины XI до середины XIII в.; ср. написания типа *и въземеи и*, *изъсти и*, *моляхоути и*, *почътети и*, *попалы и*, *пришмы и*, *цѣловавыи и* и др. (на месте *изъсть и*, *попаль и*, где и ‘его’ [јь]) в И73, в южнорусских рукописях XII–XIII вв. (ДЕ 1164, ЖС XIII, Е 1283), в Смол. гр. 1229 г., в ПЕ XIII, в Муз. XII, в ЖН 1219, в ПЕ 1307. Пока в этой фонетической позиции возможно было появление ⟨ѣ, ѣ⟩, можно считать, что ⟨ѣ, ѣ⟩ реально еще отличались от ⟨о, е⟩ из ⟨ѣ, ѣ⟩. Еще в МЕ 1358 находим написание *злыють рабъ* < *злыи ть* (‘злой тот’), в котором конечное сочетание ⟨јь⟩ (буква *и*), попадая в сильное положение, ведет себя как прояснившийся ⟨ѣ⟩. Впоследствии изменилось отношение к местоимению *и* (= его), другие типы сочетаний предотвратили появление форм 1-го л. мн. ч. наст. вр. типа *пришмыи* (= страдательное причастие *пришмыи*). Лексико-грамматические выравнивания после XIV в. включили ⟨о, е⟩ из ⟨ѣ, ѣ⟩ в обычные для русского языка типы чередований, так что в современном языке мы имеем закономерные *пьет*, *шьет*, но *гобтя* и *гостея*, *швейя*, также *друзья*, *мужья*, но и *братья*, при обязательном сохранении гласного

в словах типа *змея, шея*. Как и в случае со свободным редуцированным, окончательное изменение ⟨ѣ, ѣ⟩ связано с их включением в морфологические ряды, а это случилось не ранее XV в. Рассмотрим ряд примеров, подтверждающих это.

В предлогах *въ, къ, съ* перед начальным ⟨и⟩ ⟨ь⟩ также оказывался напряженным, поэтому со второй половины XI в. имеем написания: *вы Иѣрѣмль, вы имени, вы искоусть* в И 73; *вы измѣдѣнник* М 95; *вы иноу, вы истинуоу* в М 97; *вы има, вы истинуоу* в АЕ 1092; *вы Исанивсѣмь* в ПА XI; *вы има, кы иномоу* в З XII; *выиноу* ‘вечно’ в ЕК XII; *вы иго* в УС XII; *вы изьскъ* в НК 1282. В XII в. в связи с падением редуцированных происходило «стяжение» сочетаний типа (ыи ≥ ы); объясняют это редукцией начальных нейотированных гласных. Ср.: *вынѣхъ* в ЕК XII; *выноую* в Смол. гр. 1229 г.; *выстобку* в Гр. ок. 1300 г.; *вылмерь* (= в Ильмень), *вынѣ законъ, сываномъ* в Лавр., хотя здесь сохранялись и старые формы перед ⟨ј⟩: *сыидевъ* в Лавр.; *отымуться* в Моск. гр. 1328 г. Перед нейотированным гласным написание с *ы* (*вынѣ*) передает уже утрату слабого ⟨ъ⟩ в предлоге и переход ⟨и⟩ после твердого согласного в ⟨ы⟩, но только в рукописях XIV в. и более поздних. На фонетической стадии утраты редуцированных напряженные в этой позиции прояснялись, как всякие напряженные, давая написание типа *воиноу* ‘вечно’ в УК XIII.

С XV в. в грамотах появляется довольно много написаний со смягчением согласного: *безь ихъ, ви ихъ, въ ихъ, къ ихъ, си ихъ, ви ивъ, ки иве*, что сохраняется до сих пор в ряде среднерусских говоров как произношение в *избе* [в’ изб’ ѣ], *об избе* [об’ изб’ ѣ], *от них* [ат’ их], *с ним* [с’ им], *с ними* [с’ имá]. Подобное смягчение происходило только перед йотированным ⟨и⟩ (из ⟨јь⟩), подобно тому, как оно происходит перед любым йотированным гласным. Ср.: *въ Ярославль* в Гр. 1392 г.; *въ ꙗколи, въ еловую* в новгородских грамотах XV в.; *ви ямчужное, си Егоръвской* в северных актах; в более поздних московских грамотах встречаются написания *выное, сыконъ, сыноземци*, но *въ ево*. Таким образом, последовательное выравнивание произношения, характерного для современного литературного языка, привело к формам как [выване], [выдее], [выных], так и [вызбе], [выйди]. Произошло перераспределение оттенков ⟨и–ы⟩ и фонологизация ⟨ј⟩, после этого словоформа *выване* противоречила морфеме *Иван-*, и потому происходит морфонологическое выравнивание словоформ. Завершилось оно довольно поздно. На личные местоимения оно так и не распространилось, точнее, направление выравнивания там было другим (ср.: *в него, с ним*). Любопытно, что церковнославянский язык перенял не древнерусское произношение *вынѣ* и др., фонетически сходное с церковнославянским же изменением напряженных типа *сѣдѣи*, а возникшее на фонетическом этапе падения редуцированных русское произношение *во имя, во иную, воистину*. Отчасти это связано с ударением

сочетаний, поскольку с подобным произношением связана нехарактерная для русского языка оттяжка ударения на предлог (ср. *во имя* во всех акцентованных русских рукописях с XIV в.).

Сочетание ⟨йь⟩ в любой позиции в древнерусских рукописях также передавалось буквой *и* (н): *игла, иго, игра, искра, искрь* ‘близкий’. В украинском языке сильное ⟨и⟩ сохранилось (*игла* < *jьgъla), а слабое утратилось (*гра* < *jьgra); в русском начальное сочетание ⟨йь⟩ сохранилось как *и* независимо от позиции, что доказывает его позднее изменение.

В середине слова положение сложнее. Фонетически здесь также употребляется ⟨и⟩ — и в корне, и в суффиксе (ср.: *гноинь* в ОЕ 1056), и даже в новой, древнерусской флексии тв. п. ед. ч. -ьмь; ср.: *гноимь* в ОЕ 1056, И 73, МЕ 1117, З XII; также *клеимь* в МЕ 1117; *сьлоучаимь* в И 73; *разбоимь* в З XII.

После вторичного смягчения согласных, особенно в связи с падением редуцированных, начался морфологический процесс вычленения морфем; старое совмещение части корня (⟨j⟩) и части суффикса (⟨ь⟩), например в [gnoj-ьп-ь], оказывалось неприемлемым. Но то, что для АЕ 1092 являлось только колебанием (здесь, наряду с *вѣзаѣмь, потаѣнъ, приѣмь*, находим *вѣзаимь* и др.), то для ДЕ 1164 и более поздних рукописей уже результат фонетического изменения сильного ⟨ь⟩: *галильѣскъ, гноѣнъ, достоѣнъ* (и *достоинъ*), *самарѣскъ* в ДЕ 1164; *можаескъ, переѣмъ, ѡецъ* в Синод. и НК 1282 — встречается даже в синтагматически обусловленных сочетаниях типа *долгыкъ поуть* в ПН 1296 (= *долгий съ*); *странныесъ* в ЕС 1377 (= *странный съ*), что косвенно подтверждает фонетический характер таких изменений. Подобным изменениям подвергается также исконное ⟨и⟩: ср. написания вроде *Троецкой* в грамоте XV в.; *воень* в Пут. XIII и т. д. Фонетическая стадия изменения сохранялась в украинском языке (ср.: *вѣзаѣмь, гноѣнъ, достоѣнъ, шюдѣскъ, наѣмникъ* в Е 1283), а московские рукописи долго сохраняли традиционные написания (ср.: *вѣзаимь, галильѣскъ, гноинъ, достоинъ, наимникъ, приимъ* в МЕ 1358), из которых неясно, сохраняют ли они и старое произношение форм или только следуют старой традиции письма. В разных по происхождению текстах возможны колебания: ср. *приемъ* и *наимъ* в МП XIV. В русских говорах обнаруживаются колебания, которые указывают на различные направления последующего морфонологического выравнивания. В русском литературном языке даже на письме долго отражались колебания между *е, и*: *взаем — взаимно, достоен — достоин, яец — яиц* и т. д. Объясняется это морфологическими связями с другими словами: *гноень* как *болень*, но *достоинъ* как *стоит*. Окончательное соотнесение с ⟨о⟩ или ⟨е⟩ здесь, как и во всех прочих преобразованиях ⟨ь, ъ⟩, определялось не фонетически, а морфонологически на том завершающем этапе утраты редуцированных, который происходил уже в XIV в.

«Второе полногласие» объясняется все теми же фонетическими условиями прояснения сильных. В сл о в о ф о р м а х *вьрхъ* — *вьрхъ* — *вьрхъ* сильными являлись соответственно *врхъ* — *врхъ*, но, поскольку оба редуцированных рядом с плавным входят в одну и ту же морфему, в последней создается абсолютно сильная позиция редуцированного, а с таких редуцированных началось прояснение ⟨ь, ь⟩. Сложность консонантных сочетаний, возникавших в результате этого, обусловила сохранение слабого редуцированного, и до XV в. мы встречаем в Е 1355, ГЕ 1357, Пут. XIII написания типа *отверъзоу* > *отверъзоу*, *почерьпала*, *теръплю*, *церъковь* и др. Произношение с мягким [р] сохранилось и в старомосковской норме (*верх* [в'ер'х], *первый* [п'ер'вый], *серп* [с'ер'п]), только перед зубным в древнерусском языке [р'] отвердел (*дерзкий* [д'ерск'ий]). В северных рукописях XII–XIII вв. отражается фонетический этап изменения, т. е. закономерные по характеру утраты ⟨ь, ь⟩: *стълонника* в С 1156; *търожску* в Синод.; *ч'ремное море* в ПС XIV; но также *столтъ* и *торгъ*; этот этап сохраняется и в топонимических названиях на новгородской территории (название речки *Вревка* < *вьрвька*). В дальнейшем происходило выравнивание словоформ со вторыми ⟨о, е⟩, т. е. тех корневых сочетаний, за которыми следовали ⟨ь, ь⟩: *стълонникъ* ≥ *столонникъ*, *търожску* ≥ *торожску*, в форме им. п. ед. ч. *вьрхъ*, *стълонъ* при *верха*, *столна* также дали *верѣхъ*, *столон*. Достоверные примеры современного севернорусского второго полногласия относятся к самому концу XIII в., но особенно много их в XIV и XV вв. (*бороть*, *верешъ*, *вьревки*).

Второе полногласие в суффиксальных образованиях было общим русским явлением, потому что в сочетании с ь-суффиксом второй редуцированный корня всегда оказывался сильным (ср.: *мълньи* — *мълньи* — *мълньи* и т. д.), почему даже восточные русские рукописи дают написания: *молониш*, *моланья*, *моланьямъ* (с отражением аканья) в ПС XIV, в суффиксальных *бервьно* (в Е 1362 *беревна*), *земле полозныя*, *коромъчи* в ПА 1307. Произношение слов *берёвнушко*, *верёвка*, *деревня*, *молонья*, *остолоп*, *посолонъ*, *сумеречный* (но *сумерки*), *тверёже*, *черёмуха* и др. сохранилось со вторым полногласием во всех русских говорах. Что же касается непроемных, они сохранили прежний состав фонем только в некоторых северных говорах.

3.5. Фонологические следствия утраты редуцированных

Таким образом, утрата редуцированных происходила не с к о л ь к о р а з. После образования новоакутовой интонации ⟨ь, ь⟩ утратили всякое просодическое значение и, следовательно, перестали исполнять

функции центра слога. После вторичного смягчения согласных в чередовании ⟨ъ/ь⟩ утратилось противопоставление по ряду, после этого фонемы ⟨ъ, ь⟩ неспособны были различать передний и передний слоги. Нейтрализация слабых редуцированных в связи с развитием межслогового сингармонизма привела к устранению оппозиций по подъему и к сближению ⟨ъ, ь⟩ с их морфологическими эквивалентами ⟨о, е⟩. Прояснение сильных ⟨ъ, ь⟩, обязанное морфонологическому выравниванию в словоформах, лишило их последних остатков самостоятельности, и ⟨ъ, ь⟩ полностью совпали с ⟨о, е⟩. Такие функционально важные фонемы, как редуцированные, не смогли бы исчезнуть без двух столетий последовательного «снятия» с них все новых и новых признаков, функциональных нагрузок и т. д. Каждое новое преобразование ⟨ъ, ь⟩ связано с основными динамическими процессами древнерусского языка и, в свою очередь, определяет эти процессы. Параллельно полугласным ⟨ъ, ь⟩ изменялись и полугласные глайды, постепенно переходившие в ряд согласных.

В парадигматической системе фонем устранились все промежуточные фонемные типы и создалось четкое противопоставление гласных согласным.

Утратой редуцированных закончился переходный период функционального единства слога по основным фонемным признакам, общим для гласных и согласных, поскольку согласные занимали теперь сильную позицию, свободную от воздействия последующего гласного; ср.:

I	пыль	быль		силь	лись	II
	пыль	быль		сьль	льсь	

Эти пары слов иллюстрируют изменение функциональной ценности составляющих словоформу фонем. После утраты редуцированных конечный ⟨л⟩ в верхнем ряду и конечный ⟨л'⟩ в нижнем ряду (I) зависят от последующих ⟨ъ, ь⟩, становятся различающими единицами фонемных противопоставлений по новому признаку «твердость–мягкость». Это, в свою очередь, приводит к перераспределению отношений внутри слога (II): если в древнерусском языке в парах *лис* [л'исъ] — *лыс* [лысь] функциональным центром словоформ являлся гласный (они различаются гласными ⟨и–ы⟩), а после вторичного смягчения согласных в противопоставлении [л'исъ] — [лысь] оба элемента слога одинаково важны, определяя друг друга в структуре слога, то в противопоставлении [л'ис] — [лыс] основным элементом слога остается уже независимый согласный ⟨л'–л⟩, потому что именно такое противопоставление возможно и в свободном употреблении на конце слова (*пыл* [пыл] — *пыль* [пыл']), тогда как противопоставление ⟨и–ы⟩ уже невозможно в свободном употреблении начала слова. Оппозиция ⟨и–ы⟩ может сохраняться, но может и утрачиваться: она избыточна

после падения редуцированных, когда признак ряда у гласных потерял свое значение. Происходит и парадигматическое сближение ряда гласных, отличавшихся прежде только признаком ряда (передний – передний):

$$\begin{array}{l} \langle \text{и} \rangle \rightarrow \langle \text{ы} \rangle \quad \langle \text{ÿ} \rangle \rightarrow \langle \text{у} \rangle \\ \langle \text{ê} \rangle \\ \langle \text{е} \rangle \longrightarrow \langle \text{о} \rangle \\ \langle \text{ä} \rangle \rightarrow \langle \text{а} \rangle \end{array}$$

На основе синтагматического варьирования в фонетическом контексте начинается попарное совпадение этих фонем после утраты редуцированных; система упрощается на пять гласных: утрачиваются ⟨ъ, ь⟩, совпадают ⟨ÿ⟩ с ⟨у⟩, ⟨ä⟩ с ⟨а⟩, ⟨и⟩ с ⟨ы⟩. В словоформах *лис* — *лыс*, *люди* — *луна*, *лягу* — *лагу* первые слоги различаются уже согласными ⟨л'–л⟩, тогда как соответствующие гласные становятся оттенками одной фонемы. После падения редуцированных окончательно складывается характерная для большинства русских говоров и ставшая литературной нормой лабиализация ⟨о, у⟩ (поскольку одновременно с тем этот признак становится неважным для согласных). По своим признакам фонема ⟨а⟩ еще дальше отходит от ⟨о⟩, теперь их различают два признака: подъема и лабиализованности.

Сложнее обстояло дело с ⟨о–е⟩; эти фонемы также сближаются под влиянием ⟨ъ, ь⟩, которые совпадают с ⟨о, е⟩, что ведет к неразличению по ряду. Однако эти гласные различались еще и лабиализованностью, как раз в это время получавшей у гласных особую силу.

Все описанные преобразования имели свои морфологические ограничения, связанные с тем, что фонема получает ценность в составе словоформы и морфемы. Но последовательность фонемных изменений определяла и изменение морфологической формы, например попарное совпадение первоначально различавшихся типов именных основ.

Волна позиционной утраты ⟨ъ, ь⟩ захватила и гласные полного образования, произошло сокращение до нуля гласных ⟨и, у, а⟩ и др. Достоверные примеры появляются с XIII в.: *стояшьте два мюрина* в ЖН 1219; *обратишь* в Выг. XII; *дашь* в Бер. гр. XIV в.; *съ ним* (мн. ч.) в МЕ 1215; *боудешь, емлешь, можешь* (на месте *можеши*), *повелишь* в НК 1282; *обидьте, оукрадь* (на месте *оукради*), *оставьте* и др. в ГЕ 1266; *сьмь* (вместо *сьмо*) в Пут. XIII; *какъ* < *како* в Гр. 1265 г.; *възяшь* (3-е л. мн. ч. аориста; на месте *възяша*), *выводишь, домов, ньтоуть* (на месте *ньтоути*), *послашь* (на месте *послаша*), *прочь* (и старое *проче*), новые формы наречий *особь, прямь, сторонь* и др. в Синод.; *ажь, ожь, якожь* (везде *жь* на месте *же*), *дашась* (*сь* < *ся*), *досадила мь* (= *ми*), *оуимала ть своя земля* (на месте *тя*) в Ип. 1425 и мн. др.

Современные говоры и литературный язык отражают подобное сокращение конечных гласных; ср.: *серьга* < *оусерьга* в начале слова, *стремглав* < *стръмглавъ* и *отнюдь* < *отиноудь* в середине слова, *мать* < *мати* и *дочь* < *дочи* в конце слова; также: *доколь* < *докольь*, *как* < *како*, *коль* < *коли*, *там* < *тамо*, *тут* < *туто*, *чтоб* < *чтобы*; в сравнительной степени *сильней* < *сильнее*, *скорей* < *скорѣе*; в форме тв. п. *молодой женой* < *молодою женою*, *чай* (в сочетании *я чай*) < *чаю* (от *чаяти*); наречия *долой* < *долови*, *домой* < *домови*; изолированные слова типа *авось* < *авосе*, *аж* < *аже*, *ан* < *ано*, *вон* < *воно*, *вот* < *въто*, *ин* < *ино*, *нет* < *нету*, в разговорных звательных формах типа *вань*, *дядь*, *мам*. Позже начинается распространение такой редукции на формы инфинитива и императива: *везти* ≥ *везть*, *нести* ≥ *несть*, также: *будь* ≤ *буди*, *знай* ≤ *знаи*, *ходь* ≤ *ходи*, но *бери*, *неси*. В угоду создавшейся тенденции даже исконное ударение на окончании в ряде случаев было перенесено на корень.

Редукция до нуля коснулась тех (главным образом конечных) гласных, которые оказались без ударения и морфологически не проверялись сильной позицией. Ситуация напоминает положение с изолированными редуцированными в первой половине XI в., с той только разницей, что «новые изолированные» фонемы находились в конечном слоге слова, не имевшем ни к а к и х п р о с о д и ч е с к и х в ы д е л и т е л е й. В *аже*, *мати*, *сидися* гласные ⟨е, и, а⟩ не выделялись ни интонацией, ни долготой, ни ударением и, следовательно, в фонетическом контексте не были выражены достаточно четко. Но они ничего и не значили, потому что не входили в морфологическую парадигму, не составляли замкнутого флективного ряда — вот почему они редуцировались: в говорах и в просторечии очень последовательно, в литературном языке — не всегда, поскольку с XVIII в. литературный язык приступил к лексико-стилистическому отбору вариантов, еще существовавших в народно-разговорной речи. В формах императива и инфинитива возобладали не русские варианты типа *везть*, *несть*, а церковнославянские *везти́*, *нести́*; не *водь*, *порть*, *ходь*, а *веди́*, *ходи́*, даже *порти* с безударной флексией. Колебание типов *положи́* — *положь* существует до настоящего времени, но к исходной фонетической ситуации оно уже не имеет отношения.

Фонетические изменения, связанные с преобразованием слоговых границ (ассимиляция согласных по звонкости–глухости, твердости–мягкости), начались с конца XIII в. и первоначально распространились только на отдельные сочетания. Но даже те упрощения сложных групп согласных, которые возникли в результате изменения слоговых границ, являлись относительно поздними. Новый составной суффикс *-чьн-* (*коньчьно* ≥ *конечно*) отражает упрощение *чьн* ≥ *ин*, но соответствующие примеры отмечены только в XV в. В начале слога и слова сочетания одинаковых по образованию согласных, возникших после утраты ⟨ь, ъ⟩, упрощаются также лишь в XV в.: *дьстокань* ≥ *стакан*,

дѣхорь ≥ *хорь*, *Дѣбраньскъ* ≥ *Брянск*, *пѣпърьць* ≥ *перец*, *пѣтазь* ≥ *тазь* и т. д.; ср.: *достокань* — *достокановымь* в Моск. гр. 1509 г.; *дѣхорь* в полоцкой Гр. 1498 г. и др.

Таким образом, морфологический характер самого процесса утраты редуцированных приводил на первых порах к сохранению морфемного единства на уровне словоформы, что дало большое число закрытых слогов. Возникло несоответствие между фонетическим (открытый слог) и морфологическим (открытый и закрытый слоги) типом членения.

Просодические признаки изменились очень существенно. Интонация стала фразовым признаком и начала использоваться для противопоставления разных типов словосочетаний. Количественные варианты получили свое значение в пределах словоформы.

Ударение же стало словесным, т. е. послужило морфонологическим средством соединения серии словоформ в единое слово. Характеристики ударения стали грамматическими или лексическими, утратился их первоначально фонетический характер; началась серия морфологических выравниваний, в которых ударению принадлежала особая роль. После XIV в. словесное ударение также выходит за пределы интересов фонетиста как грамматическое средство языка.

В результате всех этих преобразований интонации (в словосочетании), ударения (в слове) и количества (в словоформе) в русском языке XIII–XVII вв. постепенно оформляется новая система вокализма и консонантизма. Действие праславянских структурных закономерностей прекращается. Возникают закрытые слоги, которые могут вступать в чередование с открытыми слогами (*нес* — *не-си*). Закон слогового сингармонизма также прекращает свое действие, потому что после падения редуцированных качество гласного связывается уже не только с предыдущим, но и с последующим согласным, необязательно в пределах одного фонетического слога. Наконец, сложная просодическая система праславянского и древнерусского языков упростилась, приведя к особому развитию словесного ударения, а с этим связано окончательное освобождение гласных и согласных в пределах слога, фонемных и морфонемных единиц (ударения) и т. п.

Морфонологическая стадия, по существу, заканчивала это изменение, она регулировала новое функциональное распределение и определила новые связи фонем в чередованиях. Вот почему с фонологической точки зрения процесс утраты редуцированных в русских говорах закончился столь поздно.

Основные изменения в структуре языка, связанные с утратой ⟨ъ, ь⟩, можно было бы в двух словах определить так: совершенствование парадигматической системы фонем за счет прежней синтагматической системы; праславянский язык вокалического строя становится русским языком, для которого система согласных фонем важнее системы гласных.

4. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОГЛАСНЫХ ФОНЕМ

4.1. Корреляция согласных по твердости–мягкости

4.1.1. Фонологизация «мягкости»

После утраты редуцированных образовалась позиция различения твердых и мягких согласных независимо от следующего гласного: *вер* [в'êр] — *верь* [в'êр'], *дан* [дан] — *дань* [дан'], *мат* [мат] — *мать* [мат'], *пыл* [пыл] — *пыль* [пыл']. Это привело к важным последствиям.

Во-первых, окончательно совместились прежде различавшиеся признаки палатальности ([л' < *lj]) и палатализованности ([л' < *l'e]), став общим признаком в новой фонемной оппозиции. В результате любой согласный мог получить этот признак различения и, следовательно, включиться в коррелятивный ряд, построенный по признаку палатализованности. В говорах, развивших новую для русского языка оппозицию, происходило смещение среднеязычных <л'', н'', р'', з'', с''> в переднюю зону; в современном литературном языке эти согласные являются переднеязычными (л', н', р', з', с'), хотя и осложнены дополнительной йотовой артикуляцией. В связи с этим стало возможным возвращение в систему <j>.

Во-вторых, распространение признака палатализованности привело к еще большему отходу консонантной системы от системы вокализма. После падения редуцированных обычными типами сочетания согласного с гласным были следующие:

[т'е] — нелабиальный палатализованный [т'], нелабиализованный передний [е];

[то] — лабиальный непалатализованный [т], лабиализованный непредний [о] и т. д.

Таким образом, положение перед некоторыми гласными закрепило создавшееся в конце слова противопоставление согласных по твердости–мягкости, в таком случае и во всех прочих возможных в языке сочетаниях фонем «согласный + гласный» различительные признаки прежней слоговой признак «мягкости» закрепился за согласным, прежний слоговой признак «твердости» — за гласным. По общему закону исторической фонологии коррелятивные ряды гласных и согласных всегда строятся по максимально противоположным признакам, но признаки, более противоположные друг другу, чем палатализованность и лабиализованность, трудно себе представить. В русском языке образовалась корреляция согласных по твердости–мягкости и корреляция гласных по нелабиализованности–лабиализованности.

И парадигматически, и синтагматически слабой оказалась фонема ⟨ê⟩ — в средневерхнем ряду не было другой гласной фонемы, а перед ⟨ê⟩ согласные не противопоставлялись по твердости–мягкости. Слабой оказалась и фонема ⟨е⟩: парадигматически она противопоставлена фонеме ⟨о⟩ важным для системы признаком лабиализованности, но синтагматически отношение между ⟨о⟩ и ⟨е⟩ точно такое же, как и между ⟨и⟩ и ⟨ы⟩, ⟨а⟩ и ⟨ä⟩, которые стали оттенками одной фонемы. Все это обусловило последующие изменения фонем ⟨ê, е⟩, которые зависели от распределения слогов:

[т'е]	—	[т'ê]	—	[т'и]	—	[т'ÿ]	—	[т'ä]
[то]	—	#	—	[ты]	—	[ту]	—	[tä]

Позиция неразличения ⟨т⟩ и ⟨т'⟩ возможна только перед ⟨ê⟩ — здесь встречается только мягкий, постоянно мягкий, всегда мягкий согласный. Это структурное обстоятельство привело к тому, что именно перед ⟨ê⟩ и фонетически развивалась «наибольшая степень мягкости согласного».

4.1.2. Ассимиляция по мягкости–твердости

Ассимиляция согласных по твердости–мягкости довольно последовательно передается некоторыми рукописями с начала XIII в.

Невозможно привести весь материал, связанный с обозначением позиционной мягкости или твердости согласных; ограничимся только некоторыми примерами и укажем сочетания, представленные в больших по объему рукописях: ЖН 1219, ГЕ 1266, Пар. 1271, РК 1284, УК XIII, ПЕ 1307, ПА 1307, Лавр., МП XIV и Пут. XIII. Смягчение или отвердение согласного показано в этих рукописях либо написанием «новых» [ъ, ь], либо смешением букв, передающих этимологию

ческие ⟨ъ, ь⟩; ср.: *дъверь*, но *хърамъ* (на месте *двърь*, *храмъ*), также *правьдоу* < *правьдоу* или *надь падью* (*надь падью*).

Самой распространенной позицией смягчения является положение г у б н о г о перед ⟨л', н', р'⟩ независимо от того, восходит ли сонорный к палатальному или нет; здесь встречаются сочетания *бъли*, *бълю*, *въли*, *вълю*, *въля*, *мъли*, *мълю*, *мъля*, *пъле*, *пъли*, *пълю*, *пъля*; довольно редко *бъне*, *бъре*, *върь*, *пърь*, *пъри*. Особенно много последних примеров в ПА 1307: *пъ/ръже*; *пъ/риахъ* и др. В других рукописях с XIII в., в МП XIV, РК 1284 и др. смягчения губных даже перед [л'] (*l* epentheticum) нет. Следовательно, смягчение губных перед ⟨л'⟩ есть сохранение исконной мягкости такого сочетания, восходящей к праславянскому языку. С фонологизацией признака твердости–мягкости к концу XIII в. всякие следы смягчения губных исчезают (если в говоре губные не вступают в оппозицию по этому признаку, как в ПА 1307). Более того, именно губные особенно упорно передаются как отвердевшие независимо от следующего согласного; ср.: *гньвъливаго*, *даровъникъ*, *двъство*, *Евъгения*, *исправляють*, *отмъцають*, *правьдоу собърати* в РК 1284. Перед твердым согласным все источники указывают твердость губных, передавая это сочетаниями типа *бъра*, *бъроу*, *въста*, *мъмо*, *мъра* (смягчение ⟨ф⟩ зарегистрировано один раз: *къфърьмъ* в ПЕ 1307).

Наоборот, з у б н ы е последовательно смягчались перед любым мягким и отвердевали перед любым твердым согласным; ср. обозначения типа *здь*, *зьли*, *зьлю*, *сьли*, *сьти* и др., но *зда*, *съкы*, *сьлоу*, *сьно* для ⟨ц, т, з, с, н, р⟩. Такое смягчение происходило и перед ⟨ј⟩ (ср.: *надь падью* в УК XIII), на стыке слов (ср.: *подь сънь* в ПА 1307), на стыке морфем или в пределах одной морфемы (ср.: *праведъникъ* — *дъверемъ* в ПА 1307), при переносе на другую строку или в середине строки (ср.: *асъти* — *асъ/те* в ПА 1307). Ассимиляция по твердости–мягкости у зубных, и особенно перед зубными, носит абсолютный характер и, по-видимому, была фонетически обязательной. Даже новгородские источники, обычно не отражающие ассимиляции по твердости–мягкости, иногда передают с м я г ч е н и е з у б н о г о п е р е д п а л а т а л ь н ы м и ⟨л', н'⟩; ср.: *замеръзьли* в Бер. гр. XIII в. Смягчение ⟨ц⟩ отмечено один раз (*ць/вътьць* в ЖН 1219), впоследствии подобные примеры не встречаются; более того, ⟨ц⟩ в ассимиляции выступает как твердый (перед ним возможно только отверждение мягкого), из чего можно заключить, что отверждение ⟨ц⟩ происходило немного позже XIII в.

З а д н е я з ы ч н ы е ведут себя неоднозначно. С одной стороны, перед слогами *гъ*, *ги*, *ки*, *хи*, *хе* возможно смягчение зубных, но только ⟨н, р⟩, которые и сами по себе могли быть мягкими в подобных сочетаниях; ср. неопределенное по характеру *веръги*, которое можно транскрибировать и как [в'ер'г'и], особенно в рукописи XIII в. С другой стороны,

сами ⟨г, к, х⟩ в одних случаях обозначают смягчение, в других, наоборот, отвердение; ср. отражение определенной твердости ⟨г, к, х⟩: *двигъ/нися* — *хъ/рамъ, къровию* — *гърядоуще, лихъ/вы* — *изгъ/ниль, приникъ/нетъ* — *навикъ/ноути* в ЖН 1219 и ПА 1307. В РК 1284 возможны отклонения, вынесенные, может быть, из южнославянского оригинала, ср.: *нигъ/де, оукъ/ръпнть*, но *прокъ/лять, окъ/леветание*. Достоверных примеров позиционного смягчения заднеязычных нет до XV в.

Поскольку данные московских рукописей особенно важны, укажем на те закономерности позиционного смягчения, которые выявляются из московских грамот после XV в. Безусловно, сохраняется ассимиляция зубных (*двъсьте, Деменьтья, изъвещать*), в том числе и перед ⟨j⟩ (*въ ево обьзде, създоду*), но ассимиляции по твердости–мягкости у губных и заднеязычных еще нет и в рукописях XVII в. (много примеров типа *Акъсенъ, въместо, въсе, покупъки*), причем и ⟨ч'⟩ выступает в качестве твердого (*стряпъчей, съчетомъ* одинаково с результатом отвердения на стыке морфем). В Авв. позиционное смягчение также отражается только для зубных (позиционное отвердение распространяется и на ⟨р⟩: *горъко*). На основании этого можно полагать, что старомосковское произношение XVII в. не выработало свойственного ему впоследствии обязательного смягчения согласного перед следующим мягким.

Таким образом, лишь ⟨д, т, з, с, л, н, р⟩ могли оказаться в морфологическом сочетании, в котором возникала возможность в з а и м н о й ассимиляции и к твердому, и к мягкому н а с т ы к е м о р ф е м, т. е. в фонологической важной позиции. Губные и заднеязычные могли бы только смягчаться, но это не вызывалось необходимостью морфологического чередования. Смягчение этих согласных было морфологически несущественно, поэтому оно задерживалось и не проявлялось в текстах.

Не произошло оно и в силу парадигматических отношений в системе. Если, например, ⟨т–т'⟩ после утраты ⟨ъ, ь⟩ противопоставлены друг другу только по одному признаку (непалатализованный – палатализованный), в оппозициях у губных ⟨п–п'⟩ или заднеязычных ⟨к–к'⟩ сохранялись оба признака: лабиализованный – непалатализованный и нелабиализованный – палатализованный. Хотя признак лабиовеларности утратил свое фонематическое значение в системе противопоставлений, фонетически он все еще проявлялся в характере сочетаний. Чтобы войти в позиционные ассимиляции, губные и заднеязычные должны были нейтрализовать в слабой позиции не один признак (как зубные согласные), а два, что в одной и той же позиции затруднительно: позиция нейтрализации для каждого нового признака всегда является другой.

Раньше всего произошло отвердение конечного ⟨м'⟩ в ряде грамматических форм. В обозначении флексий тв. п. ед. ч. *-омь* и местн. п.

ед. ч. типа *тьмь* рукописи XII в. продолжают древнерусскую традицию: взаимное смещение форм тв. п. ед. ч. и дат. п. мн. ч. типа *столомь* — *столомь*, но в северо-восточных рукописях показано только *-мь* (ЖН 1219, Грамота Ивана Калиты 1328 г. и др.), в новгородских источниках изменение *-мь* > *-мь* прослеживается с начала XII в. (ср. в Бер. гр.: *въ томь, съ Лазькъмь, с нимо, съ хѣтмь*), пергаменные новгородские грамоты отражают это изменение с XIII в. (ср.: *даромь, томь* в Гр. 1269–1270 гг.; *въ коупцьскомь, огородомь* в ДК 1270; колебания в МЕ 1215). Даже в новгородских рукописях в обозначении этого явления до конца XIII в. отмечаются колебания в передаче конечного *-мь*: в Синод. 583 раза *-мь* и 47 раз *-мь* почти равномерно по всем почеркам (во втором больше всего *-мь* — 32 раза). Когда процесс отвердения конечного ⟨м'⟩ затронул северо-восточные говоры, там также наблюдалась зависимость отвердения от характера основы. Позиционные колебания *-мь* — *-мь* отражены, например, в ПЕ 1354, ГЕ 1357, Лавр., к XV в. и в этих говорах отвердение конечного ⟨м'⟩ было завершено; в Дом. XVI находим только *-мь*. В псковских рукописях результаты такого отвердения также отражены в конце XV в.

Отвердение конечного ⟨м'⟩ происходило быстрее, может быть, потому, что некоторые формы с ⟨м'⟩ были архаичными для языка; во всяком случае, уже ЕК XII отражает колебание *въмь* — *въмь, имамь* — *имамь*, а в Синод. и в Ип. 1425 написания с *-мь* обычны; в северо-восточных рукописях XIV в. этот процесс только начинается, но и тут возможна древнерусская дифференциация *имамь* при *въмь* (в зависимости от характера основы).

В суффиксальных морфемах губные проявляются по-разному. В Грамоте Ивана Даниловича 1389 г. отражено отвердение их (*изъ Боровьска, московьских, островьское*), а новгородские и двинские упорно сохраняют *ь*.

Наиболее доказательны примеры отвердения конечного губного в проверяемой позиции (ср.: *мовь* — *мови, семь* — *семи*): мягкость конечного согласного поддерживается морфологически, мягкостью согласного во всей парадигме склонения. Отвердение согласного в этой позиции доказывает фонематическую его твердость; только северные рукописи дают такие примеры: *кровь, любовь, мольвь та, семь, семьдесятъ, ттровь* (и изолированные *доловь*) в Ип. 1425; *любовь, церковь* в КН I Л; *мовь* в Н IV Л; *кровь* в ТН I Л; *кровь, любовь, морковь* в Дом. XVI. Таким образом, еще одна причина отсутствия позиционного смягчения губных заключается в том, что в большинстве говоров они были фонематически твердыми и потому не вступали в оппозицию по твердости–мягкости. Исключение составляли северо-восточные русские говоры, но здесь корреляция по этому признаку наблюдалась не ранее XV в.

Это связано с отсутствием слабых позиций, позиций неразличения ⟨м⟩ и ⟨м'⟩. Последовательность и четкость в противопоставлении зубных по твердости–мягкости определялись возможностью нейтрализации; ср.: *две* [д'в'е] и *два* [два] с зависимостью ⟨д⟩ от последующего согласного. Являясь по происхождению фонетической ассимиляцией, эта особенность реализации фонем закрепила функциональную ценность самого противопоставления. Для того чтобы то же случилось у губных, потребовалась серия предварительных изменений системного характера. Например, чтобы возникла ассимиляция *лапки* [лап'к'и] и *лапка* [лапка], необходимо было сначала получить мягкий заднеязычный согласный, что в древнерусском языке было принципиально невозможно. Такая возможность возникла позже.

4.1.3. Образование корреляции

Коррелятивная цепь возникла после падения редуцированных одновременно во всех восточнославянских языках, однако впоследствии она реализовывалась неодинаково.

Результатом образования коррелятивного ряда по признаку палатализации явились изменения согласных, прежде не имевших коррелятов по этому признаку. Система отношений

1	2	3	4	5	6
⟨л, н, р⟩	⟨д, т, з, с⟩	##	⟨г, к, х⟩	##	##
⟨л', н', р'⟩	⟨д', т', з', с'⟩	⟨ж', ш'⟩	###	⟨ц', ч'⟩	⟨ж̣', ш̣'⟩

дает несколько преобразований, связанных с наличием пустых клеток (#) и характера маркировки по данному признаку.

Фонологизация палатализованности изменила признаки палатальных ⟨л'', н'', р''⟩ и способствовала фонетическому изменению этих согласных. На севере сохранились ⟨л'', н''⟩, поэтому особая «полумягкость» [л, н] также осталась, давая, между прочим, общерусские варианты даже на словообразовательном уровне; ср. колебания типа *междугородный* — *междугородний* в прежнем суффиксе *-ьн-*. В остальных говорах и в литературном языке ⟨л, н⟩ повысили свою лабиовелярность, необходимую для более четкого противопоставления палатализованным ⟨л', н'⟩, отличаясь этим и от современных западноевропейских языков, и от северных русских говоров. Новый фонемный признак потребовал максимального отталкивания двух противопоставляемых согласных и на фонетическом уровне.

Палатальность ⟨р⟩ и в древнерусском языке не прослеживалась достаточно четко, может быть, потому, что палатальная артикуляция

у дрожащего давала своеобразную фрикативность. Поэтому после утраты редуцированных наметилось несколько возможных изменений. Фрикация была устранена во всех русских говорах (она реализовалась в польском ⟨ž⟩, чешском ⟨ř⟩ на месте ⟨pʷ⟩), но, так как именно мягкая фрикация передавала здесь признак палатальности, ее устранение привело к изменению ⟨pʷ > p⟩. С XV в. такое отвердение коснулось всех русских говоров, но в рукописях этот процесс отражается неравномерно. Особенно интенсивно он проходил на западе (псковские и смоленские рукописи XIV–XVI вв., материал которых подтверждается и современными говорами). Например в псковских рукописях отражено отвердение ⟨лʷ, нʷ⟩ и смешение ⟨pʷ, p⟩: *брань лютоу, ис Кольвана, исполноу это, конь* ‘конь’, *король, на осень, того дѣла* ‘для’ и др., но: *дочерь, невѣрѣя Рурику, устрапавъ и вечерю* (дат. п. ед. ч. *вечеру*), *побаряюще* и т. д. В первом случае — позиционное совпадение ⟨лʷ–л > л⟩, ⟨нʷ–н > н⟩, во втором — безусловная утрата ⟨pʷ⟩. В XV в. отвердение ⟨лʷ, нʷ⟩ в изолированной позиции отражают и более северные рукописи: *владычень, 10 городень* в КН I Л; *одерень, сажень* в двинских грамотах XV в.; *дѣдень, отень* в Ип. 1425 и т. д. Появляются многочисленные написания с пропуском ⟨ь⟩ после палатальных ⟨л, н⟩ перед велярными типа ⟨н, ш, г, к, х⟩: *болше, Ванка, (В)олга, волно, колоколна* (впоследствии дали варианты в суффиксальных; ср.: *безмужную, внишними, днешны* в БЗ XVI). Все эти написания указывают на позиционную утрату палатальности ⟨лʷ, нʷ⟩.

Результат рассмотренных отвердений сохранился в определенных фонетических условиях, особенно после губных и заднеязычных перед [j]. Совпадение этих двух условий (положение после лабиовелярных перед ⟨ы, и⟩) оказалось настолько важным, что и новые заимствования отражали подобное отверждение, ср. старое произношение *принц* [прынци]; в современном литературном языке остались слова с результатом изменения ⟨pʷ → p⟩: *грымза, крыж* ‘крест’, *крыло, крыльцо, крынка, прыткий, хрыч*; в просторечии и говорах: *брыка* ‘брюква’, *брычка, грыб, грыдня* ‘комната’, *грыня* ‘светелка’, *грым* ‘гром’, *капрызный, коврыжка, крыга* ‘плывущая льдина’, *крык, крычать, прытка* (< *притька* — ‘причина’), *рыга, скрыти, скрипка* и др. — во всех случаях ⟨ы ← и⟩. Впервые по памятникам зарегистрированы: *крыло* в Синод. под 1230 г.; *крынки* ‘источник, криница’ в списке Хождения Даниила; *крычать* в Сл. плк. Иг.; *крылце* в Моск. гр. 1589 г.; *вскрычат, крычаще, на скрыжалех* в БЗ XVI и т. д. Наоборот, после зубного согласного [ры > ри], ср. прасл. **truzna*, что передается как *трызна* в И 73, ПА XI, ГБ XI, затем переносится при переписывании и в поздние списки (Лавр.), но в современном русском языке передается как *тризна*. В сочетаниях с ⟨л, н⟩ надежных примеров такого изменения нет, здесь это всегда сопровождается изменением по мягкости, и притом после XV в.; ср.: **slīna, *slīzь*, которые в современном литературном

языке дали *слюна, слизь*; как исключение в древнерусском языке можно указать *блювотины* в З XII при обычном *блювотины* (возможна аналогия *блюю*). Таким образом, разграничиваются синтагматические свойства ⟨р'⟩, с одной стороны, и ⟨л'', н''⟩ — с другой. Их отверждение не происходило перед ⟨ê⟩, т. е. фактически перед ⟨j⟩ ([ê ≥ iê]). Впоследствии, после изменения ⟨ê → e⟩, позиционная мягкость ⟨р'⟩ смогла стать фонематической, и оппозиция ⟨р-р'⟩ пополнила коррелятивный ряд.

Как показано выше, взрывные зубные дали наиболее определенную и самую раннюю оппозицию по палатализованности, фрикативные ⟨з, с⟩ включались в эту корреляцию неравномерно по говорам. Если в центре русской территории это произошло довольно рано, на западе наметилось смешение с шипящими. Последние не имели парных по твердости согласных, поэтому в стремлении сохранить признак, остаться маркированными фонемами ⟨ж'', ш''⟩ вступили в варьирование с ⟨з'', с''⟩, с которыми они связаны и происхождением, и морфологическими чередованиями. Особенно интенсивно этот процесс отразили псковские рукописи XIV–XVI вв. (остатки его сохранились и в современных псковских говорах); но не только псковские, а вообще западнорусские: ср. ПА 1307, ПЕ 1307, ЛЕ 1409, Ип. 1425, некоторые смоленские источники. Древнейшие примеры смешения касаются только мягких (палатальных): ср. написания типа *горсее, множсехъ, поясъ* в А 1309; *зълание, мысцью, отверже очи, поносенье, примъшитися* и др. В XV в. з, с на месте ж, ш пишутся только перед твердыми согласными (*доздати, пусками, она присла, сла кровь*), а ж, ш на месте з, с — только для ⟨з'', с''⟩ перед мягкими согласными и перед гласными (см. выше). Таким образом, до отверждения шипящих указанное смешение букв могло иметь место и отражаться на письме. Однако уже ассимиляционное воздействие следующего твердого согласного приводило к безразличному смешению ⟨с⟩ и ⟨ш⟩ (ср.: *пуш''ка ≥ пус''ка ≥ пуска*), следовательно, к разрушению фонетических основ морфологического чередования; изменялись не ⟨ш'' ≥ ш⟩, а позиционно ⟨с' (из ш') ≥ с⟩. Связано это, несомненно, с фонологизацией мягкости устранением средненёбной артикуляции у ⟨з'', с''⟩.

Отверждение ш и п я щ и х ⟨ж'', ш''⟩ также обязано нивелирующему воздействию корреляции согласных по твердости–мягкости. Этот процесс проходил только в тех говорах, которые развили противопоставление согласных по данному признаку; мягкие (и полумягкие, т. е. фонематически несущественные) ⟨ж, ш⟩ до сих пор сохранились в говорах, в которых данный коррелятивный ряд не развился в законченную систему.

Фонологически оказывается, что при отсутствии противопоставления по системному признаку имеются фонемы, маркированные по этому признаку, т. е. ⟨ж', ш'⟩. Возможны два изменения: заполнение пустой клетки и образование оппозиции по данному признаку или

утрата признака палатальности у наличных фонем. Первое оказалось невозможным из-за отсутствия передненёбных веллярных наряду с передненёбными палатальными ⟨ж', ш'⟩. В западнорусских говорах в попытке выработать такое противопоставление фонемы ⟨ж'', ш''⟩ вторглись в сферу другой, только что создавшейся оппозиции; ср.: *носити* — *носка*, как [nos' — nos], *ношу* — *поношение*, как [noš' — poš''], с возможным переходом ⟨ш'' → с'⟩, что приводит к разрушению морфологических структур, важных для языка. Фонетическое сходство ⟨ш'', с''⟩ и система противопоставлений (у ⟨ш''⟩ нет парного твердого) толкали к совпадению ⟨ш''⟩ и ⟨с''⟩. В результате ⟨ж'', ш''⟩ утрачивают нерелевантный для них признак (шипящие отвердевают), ибо при отсутствии противопоставления по какому-то признаку соответствующая фонема обязательно должна быть не маркированной по этому признаку: он избыточен.

Об отвердении шипящих по рукописям можно судить на основании написания ⟨у, ы, ъ⟩ после ⟨ж, ш⟩ (на месте *шя, шю* и др.). Северные рукописи никак не отражают отвердения шипящих; оно не отражается и в московских рукописях до конца XIV в. (в ГЕ 1357, МЕ 1358, Лавр.; в последней, впрочем, есть *жылами*), но появляется в Гр. 1371 г. (*межы*), Гр. 1389 г. (*держыть, жывите, княжы, служыти, шышкина*). Более многочисленны примеры в северо-восточных грамотах XV–XVI вв., но в разных источниках процесс отвердения шипящих отражен различно. Некоторые рукописи показывают сохранение мягких ⟨ж', ш'⟩ перед передними гласными (также и в сочетаниях *жън, шън*) еще и в XVI в.; согласно другим, отвердению подлежали только ⟨ж'⟩, а ⟨ш'⟩ сохраняет свою мягкость до XVII в. Одновременное употребление таких написаний, как *жаждоу* — *жажсею* в БЗ XVI, показывает, что выравнивание по твердому типу склонения (что основано на отвердении шипящих) происходило не в одно время для русских и церковнославянских слов, но что само отвердение как фонетический процесс к этому времени уже завершилось (ср. в той же рукописи: *ещо, лицомъ, старицою, чюжо* и др.). В русском языке сохранилось много слов, которые не отражают перехода ⟨е > о⟩ в положении перед ⟨ш'⟩ (*головешка, дешево*, как и *горшечек*, доказывают мягкость ⟨ш', ч'⟩, по крайней мере, до XVI в.), но таких слов нет для ⟨ж⟩. Довольно много написаний с *жы, шы* появляется с XVII в.

При отсутствии противопоставления по признаку мягкости з а д н е я з ы ч н ы е могли бы сохранить исконную твердость, так как они не были маркированы по новому признаку. В большинстве русских говоров это и случилось. Однако после утраты ⟨ъ, ь⟩ стали возможны сочетания заднеязычных не только с ⟨ы⟩, но и с ⟨и⟩, отсутствие грамматической противопоставленности [ки–кы] и утрата признака ряда в противопоставлении гласных привели к осознанию этого сочетания как сочетания фонем ⟨к⟩ с ⟨и⟩. Поэтому и на письме старые сочетания

гы, кы, хы все чаще стали передавать как *ги, ки, хи*, ведь на письме обычно передается не фонетическое звучание, а фонематическое различие функционально важных единиц.

В северных говорах сочетания *ги, ки, хи* были возможны и в древнерусский период, поэтому, например, в берестяных грамотах написания с *гы, кы, хы* встречаются только в церковном тексте (ср.: *не моги, но пакы*). Писцы Синод. также предпочитают написания с *гы, кы, хы*, но всегда пишут *Киевъ*; даже в списках Русской Правды до XV в. последовательно выдерживаются архаические написания, хотя уже в древнейшем списке этого текста (в НК 1282) имеются и написания с *ги, ки*. В условиях фонематической безразличности сочетаний [кы–ки] сохраняется только стилистическое их разграничение в текстах разного жанра и содержания.

Заднеязычные входили также в морфонологические чередования типа *рука* — *руць*; они становились невозможными в связи с отвердением ⟨ц'⟩ в положении перед ⟨е⟩. Фонетическое чередование ⟨к–к'⟩ в сочетаниях с ⟨ы, и⟩ было использовано при морфонологических выравниваниях в основах слов; ср.: *рука* — *рукъ* = *рукы* — *руки*. В северных источниках никаких изменений, естественно, нет, в других говорах выравнивание основ отражается с XV в. (ср.: *въ великъ, полку, въ ляхъхъ* в Ип. 1425). К этому времени процесс смягчения заднеязычных должен был завершиться, иначе оставалось бы неясным, почему именно ⟨к⟩ может заменить ⟨ц⟩ в столь важном чередовании (может быть мягким перед ⟨е⟩ в отличие от отвердевшего ⟨ц⟩).

Первые примеры замен *гы, кы, хы* на *ги, ки, хи* обнаруживаются на юге в XII в.: *великии, киихъ* в ЮЕ 1120; *въскисе, никии, секира* в ДЕ 1164; на западе с XIII в.: *книгини, лихши, ризкии* в Гр. 1229 г.; на северо-востоке с XIV в. (ПЕ 1354, ГЕ 1357, МЕ 1358, Лавр.). Южно-русские (украинские) рукописи отражают смягчение ⟨к⟩, но не ⟨г, х⟩; видимо, качество согласных (фрикация) на первых порах препятствовало смягчению. В русских рукописях смягчение не происходило достаточно долго, если сочетание *кы* не вступало в морфологическое чередование с мягким слогом; ср.: *выискывати* — *искати* в Лавр.; *опухываше* — *опухати* в Пал. 1406.

Падение ⟨ь, ь⟩ привело также к изменению а ф ф р и к а т. Возникла новая позиция с ⟨ц⟩, например на стыке морфем: *двенадцать* [дв'енѧц'ат'], *садиться* [сад'иц'а] и др. Это были функционально важные и весьма частотные позиции, началось вытеснение ⟨ч'⟩ в некоторых позициях в северных говорах. Смещение ⟨ч'⟩ и ⟨ц'⟩ в рукописях до начала XII в. (М 95, М 96, М 97, С 1156, ЕК XII) сменяется обычным употреблением ⟨ц'⟩, что указывает на развитие современного севернорусского цоканья.

В основной массе русских говоров аффрикаты попадают под нивелирующее воздействие мягкостной корреляции. Поскольку аффри-

каты маркированы по данному признаку (они мягкие по происхождению), а твердых аффрикат в системе нет, в целях усиления их оппозиции происходит обобщение наиболее универсального для новой системы признака палатализованности. Прежнее противопоставление ⟨ц'–ч'⟩ по месту образования сменилось противопоставлением по твердости–мягкости. Естественным результатом этого явилось отвердение одного из коррелятов: зубного, а не нёбного. Новая оппозиция фонетически проявляется как противопоставление мягкого ⟨ч'⟩ твердому ⟨ц⟩. Если утрата маркировки у шипящих не привела к противопоставлению твердым и потому завершилась быстро, то у аффрикат необходимо было сначала устранить палатальность (как у ⟨л'», н'») и только затем длительным позиционным варьированием убрать палатализованность у ⟨ц'⟩ (как у ⟨ж', ш'»). В формировании оппозиции ⟨ц–ч'⟩ было, таким образом, два «фонологических шага», поэтому и само изменение завершилось лишь к XVI в.: в рукописях отвердение ⟨ц⟩ отмечается позже отвердения ⟨ж, ш⟩. Выше показано, что даже в новой орфографической норме, не говоря уж о произношении, ⟨ч'⟩ всегда мягкая, а ⟨ц⟩ всегда твердая аффриката: это наиболее важные фонемные признаки данных фонем в противопоставлении их друг другу. Именно поэтому в морфологических выравниваниях, которые всегда связаны с наиболее существенными фонемными признаками, ⟨ц⟩ ведет себя как твердый согласный (*отцов* как *столов*), а ⟨ч'⟩ — как мягкий (*мечей* как *костей*); ⟨ж, ш⟩ дают колебания по говорам (*ножов* — *ножей*), что объясняется избыточностью данного признака для ⟨ж, ш⟩.

Позже всего завершилось преобразование сочетаний [ш'ч', ж'дж'], которые и в древнерусском языке являлись фонологически неустойчивыми. Новая морфологическая граница слова, возникшая в результате утраты ⟨ъ, ь⟩, увеличила число возможных сочетаний, фонетически сходных с [ш'ч', ж'дж']; ср.: *везъ же* ≥ *вез же* [в'ож'-ж'е], *въз шьль* ≥ *взшел* [вош'-ш'бл]. Это определенно привело к окончательному распадению праславянских аффрикат на фонемные сочетания; только в некоторых корневых морфемах эти аффрикаты еще могли сохранять фонемный статус, но и они подвергались всем фонетическим упрощениям, характерным для данных сочетаний; ср.:

<i>рождение, дождь</i> —	⟨ž'g⟩	} [ž'd'ž']
<i>рож(ж)ение, дож(ж)</i> —	⟨ž'ž'⟩	
<i>рождение, дождь (доць)</i> —	⟨ž'č'⟩	
<i>рошетъ, шука</i> —	⟨š'j⟩	} [š'tš']
<i>роцетъ, щюка</i> —	⟨š'š'⟩	
<i>рошотъ, рошиотъ, шишка</i> —	⟨šš⟩	

Возможны разнообразные фонетические вариации в изменении этих аффрикат. Например, в Мудр. XVII написание *щ* вместо *ш* встре-

чается только при палатальных ⟨лʹ, нʹ⟩: *выщли, к бацни, прищли, промышляйте* (но *емлешь, ношъ, рекоша* и др.). Это, конечно, отражает позиционное смягчение ⟨ш ≥ шʹ⟩ ([шʹшʹ]). Если это верно, то возможно и обратное, т. е. позиционное отвердение [шʹшʹ] сначала в определенных условиях. В вологодском БЗ XVI более ста примеров смещения ⟨ш⟩ и ⟨щ⟩, передающих утрату смывки в соседстве со взрывным (*вотше* < *вотще*) и сохранение мягкости на стыке морфем (*вышща* вместо *вышша*, т. е. [вʹышʹшʹа]); ср. здесь и передачу <шʹ> на конце слова (*пустощь* вместо *пустошь*). В серпуховской Пч. 1623 характер замен показывает сохранение [шʹшʹ] в корне и ассимиляцию в [шʹчʹ] на стыке морфем, что проясняет причину первоначальных несовпадений этих фонетически сходных сочетаний.

С фонологической точки зрения задержка в изменении этих двух сочетаний объясняется необходимостью пройти три «фонологических шага»: сократиться за счет устранения взрывного элемента, произвести морфологическое деление на две фонемы и, наконец, войти в корреляцию по твердости–мягкости (последнее наблюдается с XVIII в.). В говорах этот процесс достиг конечной стадии развития, там отвердели оба сочетания (*дрожжи* [дрóжжи], *щуки* [шшúки]), а в литературном языке отвердели только звонкие ([дрóжжи], но [шʹчʹúкʹи] или [шʹшʹúкʹи]). Длительное сохранение мягкости у [шʹшʹ, жʹжʹ] поддерживалось той самой необходимостью включиться в корреляцию по мягкости, которой подчинена вся система консонантизма. Краткие шипящие противопоставлены долгим шипящим, как твердые мягким, — именно поэтому мягкость [шʹшʹ, жʹжʹ] сохранялась столь долго.

В результате всех описанных изменений в большинстве русских говоров к XVII в. окончательно сложился новый коррелятивный ряд:

⟨л⟩	⟨н⟩	⟨р⟩	⟨д⟩	⟨т⟩	⟨з⟩	⟨с⟩	⟨м⟩	⟨б⟩	⟨п⟩	⟨в⟩	⟨ф⟩
⟨лʹ⟩	⟨нʹ⟩	⟨рʹ⟩	⟨дʹ⟩	⟨тʹ⟩	⟨зʹ⟩	⟨сʹ⟩	⟨мʹ⟩	⟨бʹ⟩	⟨пʹ⟩	⟨вʹ⟩	⟨фʹ⟩
		⟨г⟩	⟨к⟩	⟨х⟩	⟨ц⟩	⟨ж⟩	⟨ш⟩	#			
		⟨гʹ⟩	⟨кʹ⟩	⟨хʹ⟩	⟨чʹ⟩	⟨жʹ⟩	⟨шʹ⟩	⟨ј⟩			

4.2. Корреляция согласных по звонкости–глухости

4.2.1. Фонетические ассимиляции

Самые древние примеры позиционного изменения связаны с сочетаниями, в составе которых прежде находились изолированные ⟨ъ, ь⟩. Написания *гдъ* < *къдъ*, *здъсь* < *съдъсь*, *здравъ* < *съдравъ*, *пчела* <

бъчела и др. появились сравнительно рано, хотя и не сразу как норма. Северные рукописи сохраняли первоначальное выравнивание согласных в границах словоформы и морфемы; ср.: *кть* в псковской части СЕ XII, *сторови*, *сторовъ* (в Синод. в XIII в. употреблено 10 раз, в XIV в. только *здоровы* или *съдрави*). Любопытно также сохранение рус. *пчела* при укр. *бджола* — впоследствии и в русском языке обычным стало озвончение. Написания типа *тчерь*, *тичьерь*, *тици* также обычны в рукописях до XV в., когда после стабилизации нового ударения смогли появиться акцентовки *дочь* < *дъчѣи*, *дѣчери* < *дъчѣре*. Таким образом, первой попыткой выйти из фонетического затруднения стало параллельное изменению [з > с] уподобление звонкого согласного глухому: в древнерусском языке префиксы типа *въз-*, *роз-* дали варианты *въс-*, *рос-* перед следующим глухим согласным, но префикс *с-* < *съ-* не озвончался перед следующим звонким в сочетаниях типа *съдамъ* > *здамъ* (примеры такого рода отмечены только с XIV в.). Результатом изменения всех морфологически изолированных звонких согласных также стало оглушение конечных звонких, отмечаемое с XIII в.: ср. наречие *отиноуть* < *отинждь* в Пс. 1296, Леств. 1334 и др., вплоть до XVI в. В заимствованных словах передать подобное оглушение согласных легче из-за отсутствия письменной традиции, поэтому раньше всего мы и встречаем примеры типа *калантъ* < *каландь* в НК 1282; германские имена *Берняртъ*, *Дезяртъ*, *Конратъ* в Смол. гр. 1229 г. Подобные заимствования интересны, потому что показывают, что не е н а п р я ж е н н ы й германский [d] русские в XIII в. передают г л у х и м [t]; это указывало бы на то, что у восточных славян к тому времени уже оформлялось противопоставление по звонкости–глухости.

Однако собственно позиционные изменения согласных, определяемые новым строением слога, начались после падения редуцированных, тогда все слоги без исключения должны были подвергнуться действию фонетической ассимиляции.

На всей территории Древней Руси с XIII в. отражается озвончение согласных в середине слова (считая и префикс); ср.: *въздрави*, *дважъды*, *зблюють*, *многожъды*, *свадьба* в УК XIII; *гдъ*, *негдъ* в ЖН 1219; *здравъ* в Пр. 1262; *здоровъ* в Бер. гр. XIII в.; *зде* в Гр. 1229 г.; *збора*, *збудетя*, *здъла*, *здрава* в ПЕ 1307. В приписках к рукописям ЮЕ 1120, ГЕ 1144, ДЕ 1164, Е 1283, ПЕ 1307 пишется *где*, и только писцы Лавр., Пр. 1383 в своих приписках употребляют новую форму *гдъ*.

Оглушение звонких в середине слова отражается позже, затрагивая только ⟨з⟩ (иногда и ⟨ж⟩); ср.: ГЕ 1357, МЕ 1358, Пр. 1383, ПС XIV, новгородские и двинские грамоты до конца XV в., где возможны написания *вездъ*, *збираю*, *згонъ*, *з горы*, *здравы* — и *дерьскьи*, *испють*, *оускьи*, *чернорисцю* (на месте *дерзкьи*, *изпють*, *оузъкьи*);

ср. также: *исторъшкоу* в Моск. гр. 1362–1374 гг.; *въ Торъшкоу* в Новг. гр. 1372 г.; *желъсковъ слободке* в Моск. гр. 1389 г. и т. д. Преобладающее смешение ⟨з, с⟩ как результат ассимиляции по звонкости-глухости только у ф р и к а т и в н ы х наблюдается и в более поздних рукописях. Возможно, что орфографически это связано с известной еще старославянским рукописям ассимиляцией [з ≥ с] перед глухим: *бес(с)мъха*. На этой основе создано своеобразное правило письма: написание *без цъны* и произношение *бес цъны* контактировались в орфографическом варианте *безс*; ср.: *безсмъха* (= *без мъха*) в ВЕ XVI; *безспорока*, *безсцъны*, *мерзско*, *обезсчестен* в Дом. XVI и др. Такие написания вошли в старопечатные московские книги XVII в.

В суффиксах *-ьск-*, *-ьств-* редуцированный фонетически сохранялся особенно долго, до XIV в., почему и ассимиляция согласных могла происходить здесь не ранее XV в.

Другие согласные вступают в ассимиляцию позже и не на всей территории; ср. о г л у ш е н и е в з р ы в н ы х: *в пятое на тчатъ лът* (= *на дцать*), *ишетше*, *шетше* в Е XIV; *воевотъство*, *в порупъ*, *дулътскихъ*, *паропци*, *повести* ‘повезти’ в Лавр. (фрикативные оглушаются чаще); *вопче* ‘вообще’, *сопча* ‘сообща’ в Гр. 1395 г. Новгородские берестяные грамоты до конца XIV в. отражают только ассимиляцию [з–с]: *з берестомъ*, *з братомъ*, *здъсе*, *здоровъ*, *з дядею*, *исполовнищу*. В берестяных грамотах с начала XV в. находим оглушение в середине слова: *во поткльтъть*, *лотку*, *на жерепцъть*, *со желеутковымъ*, также *бутъ тамо ся* вместо *буди тамо*, что не отражает оглушения согласного в данной позиции, поскольку речь идет об устранении изолированного ⟨и⟩.

В XV в. такие формы становятся обычными для всех типов согласных, но одновременно с тем появляются и примеры оглушения звонких на конце слова: *дожтъ*, *кунопъ* (= *кунобъ*), *сертъ* ‘серб’ в Ип. 1425; *мятешъ*, *ношь* ‘нож’, *Олекъ* в Н IV Л.

Изучая процесс в отдельном говоре, всегда можно установить известную последовательность: сначала происходит озвончение глухих перед звонкими, затем оглушение звонких перед глухими, в последнюю очередь — оглушение звонких на конце слова. Например в грамотах, написанных вблизи Волоколамска, оглушение и озвончение в середине слова отражается с XVI в., а оглушение звонких на конце слова — с конца XVII в. Северные рукописи вообще не указывают оглушения конечных звонких, и это согласуется с современными диалектными данными (позиция полузвонких согласных). Таким образом, оглушение конечных согласных происходило позже всего, и дело здесь не в том, что писец имел возможность «проверить» написание конечного *ж* в *ножь* косвенной формой слова (*ножа* — *ножу*). Напротив, в ряде случаев мы встречаем звонкий согласный на месте

исконного глухого, если такая замена диктуется общей системой грамматических отношений. Например, в изолированной позиции конца слова старые формы предлога *чрес*, *чересь* по типу других предлогов (*без*, *воз*, *из*, *роз*) нефонетически обобщают новый вариант *чрез*(ь), *через* (впервые *черезь* фиксируется в западнорусской Гр. 1341 г.). Предлог *поперегь* (на месте исконного *поперекь*) часто пишется в русских рукописях XVI–XVIII вв. (впервые отмечен в юго-западной Гр. 1340 г.), по-видимому, по ложной этимологии с *поперегнути*. Следовательно, когда-то такие формы грамматически важных слов были не только «письменными», но отражали процесс фонематической унификации грамматических форм после утраты редуцированных; возникла неопределенность в реализации ⟨з-с⟩, ⟨г-к⟩ в такой именно позиции.

В XVII–XVIII вв. в восточных русских говорах начинается широкое развитие корреляции согласных по звонкости–глухости, и на письме это находит принципиально другое отражение. Приведем примеры из бытовых документов той эпохи.

Грамоты, написанные в Москве, Чебоксарах, Арзамасе, по р. Оке, в опорной (сильной) позиции употребляют написания: *ветомости*, *гочет*, *долхо*, *з живодами*, *лѳток*, *отноконешина*, *отному*, *петуга* ‘петуха’, *полше недели*, *рободник*, у *Тмитрия*, *Чепоксары*, *шкоты* и *убытки* (= *шкоды*) и др.; в нефонетических проверяемых: *бадка* ‘бабка’, *вьдаеж ты* ‘ведаешь’, *водше* (= *воище*), *добудеж таких*, *забыд писанием*, *пожалуеж*, *изволиж напомнить*; в фонетических проверяемых: *дарок нет*, *лет государь на прудах* ‘лѳд’, *пунт был* ‘пуд’; в фонетических непроверяемых: *вет не твои* ‘ведь’, *не дашот Яро-славля*, *не забунт насъ* и др. Фонетические написания дают только оглушение, нефонетические — только озвончение. Возможность проверки сильной формой не имеет значения, поскольку и в опорной позиции встречается взаимное смешение глухого согласного со звонким. Ср. в московских грамотах XVII в.: *Глатков*, *исвоицики*, *катку*, *на правом поку*, *не снаеть*, *подьтъячей*, *по отну сторону*, *последне-ва*, *ретко*, *скаска*, *хваса* ‘кваса’, *шупку*; *двои судтки*, *дозшатое*, *под ызподом*, *полтора бирога*, *труд с огнем* ‘трут’. Непроверяемых написаний почти нет, и это лучше всего подтверждает независимость подобного рода ошибок от орфографических правил.

Отличие от севернорусских данных, в том числе и более ранних по времени, заключается в том, что московские говоры отражают уже результат позиционного оглушения звонких (*шупку* ≤ *шубьку*) и по-разному передают одно изменение — перераспределение гласности в границах нового консонантного сочетания. Первое соответствует современному литературному произношению, второе кажется странным, так как не соответствует ему. По всей вероятности, в этих написаниях отражается неопределенность в реализации сходных

согласных в то время, когда противопоставление согласных по звонкости–глухости еще окончательно не сформировалось, давало некоторые отклонения в речи.

4.2.2. Образование корреляции

Таким образом, после падения редуцированных с XIII в. происходило озвончение глухих согласных в середине слова на всей территории; оглушение в середине слова регистрируется с конца XIV в., в конце слов — с XV в. (широко — с XVI в.) и только в некоторых памятниках с конца XIV в. (Лавр.). В консонантном сочетании ассимилируется тот согласный, для которого признак различения был несущественным, следовательно, раннее озвончение глухих при отсутствии оглушения звонких отражает результат нейтрализации по признаку, важному только для глухих согласных; ср.:

избыти ≥ избыти
изпоустѣ ≥ испоустѣ
съблюеть ≥ зблюеть
съпоудѣ ≥ споудѣ,

но:

ръдѣко ≥ рѣдко
сватѣба ≥ свадьба

У фрикативных позиционное распределение в зависимости от следующего согласного завершилось рано, в заимная ассимиляция по звонкости–глухости показывает, что пары [з–с], (также [ж–ш, г–х]) противопоставлены по этому признаку еще до утраты редуцированных. У взрывных же происходит односторонняя нейтрализация в сторону звонкого; следовательно, противопоставление проходило по признаку, которым отмечен был глухой согласный (по напряженности). Как проявлялась эта нейтрализация фонетически, мы не знаем; возможно, что глухие фонетически были полувзрывными, по крайней мере, некоторое время. Через два столетия началась новая нейтрализация уже по общему с фрикативными согласными признаку: [д, т^д > т].

Оглушение звонкого в конце слова, в позиции, независимой от гласного, начинается после развития ассимиляции согласных по глухости, но по своему результату совпадает с такой ассимиляцией, в системе появляются все новые и новые позиции неразличения типов согласных по новому для системы признаку. В XVII в. отмечается общее стремление более или менее грамотных писцов к озвончению:

оно порицается, преследуется и устраняется как грубая ошибка, не связанная с произношением. Зато оглушение представлено многими примерами, некоторые написания становятся даже орфографической нормой (как в свое время стали нормой постоянно звонкие *здѣ, здоров*); ср.: *скаска, уско; вдругорят, веть, осетроф, слатко* и под., в том числе и *слатокъ* при *сладокъ* в Авв. Выравнивание в написании морфемы идет по слабой форме, с глухим согласным даже и в сильной позиции.

Из этого следуют два вывода, важных для реконструкции древнерусской исходной системы консонантизма.

Два этапа нейтрализации, сначала в пользу звонкого [д], затем в пользу глухого [т], теоретически следует связывать с противопоставлением по двум признакам. Следовательно, оппозиции [б–п = г–к = д–т] строились не как привативные (по одному признаку), а как эквиполентные (равнозначные) — по двум: в этом противопоставлении [т] был маркирован по признаку напряженности, а [д] — по признаку голоса. Фрикативные согласные, включившись в праславянскую систему, ввели в нее ряд шумных с единственным признаком противопоставления — признаком голоса. Вообще в древнерусском языке привативных оппозиций было мало, потому что мало, в сущности, было самих согласных фонем. Только падение редуцированных и увеличение количества согласных после вторичного смягчения создали условия для образования привативных оппозиций как типичных и в системном отношении самых четких противопоставлений фонем попарно. Как и в случае с корреляцией по мягкости, корреляция по голосу образовалась не сразу, а в результате постепенного распространения общего для максимального числа согласных различительного признака; это происходило на протяжении XIII–XIV вв. и к XV в. завершилось в большинстве русских говоров. Корреляция не реализовалась последовательно только там, где и корреляция согласных по твердости–мягкости не сформировалась последовательно.

Второй вывод и связан с этим обстоятельством: обе корреляции в русском языке развивались параллельно, более того, корреляция по твердости–мягкости не могла бы сформироваться столь последовательно, если бы одновременно с тем согласные не освободились от признака напряженности: артикуляционно-акустически он очень близок к признаку палатализованности, и фонетически они могли бы смешиваться.

С падением редуцированных возникла общая для всех согласных позиция, свободная от влияния последующего гласного или согласного, — в конце слова. Если в середине слова ассимиляции по твердости–мягкости и звонкости–глухости могли не совпадать позиционно, то в конце слова они пересекаются обязательно; ср.:

	I		II			
<i>топъ</i>	[п]	}	<i>лъзь</i>	[з]	}	
<i>топъ</i>	[п']		<i>лъзи</i>	[з']		
<i>голубъ</i>	[б']		<i>лъсь</i>	[с]		[с-с']
<i>лубъ</i>	[б]		<i>лъси</i>	[с']		

Как и в случае выбора между двумя признаками палатации или двумя признаками звонкости (голос или напряженность), перед синтагматической системой снова возникает проблема выбора: ориентироваться на признак твердости–мягкости, который к этому времени уже стал признаком корреляции, либо на признак напряженности в его исходном виде, потому что корреляция по звонкости–глухости в этот момент еще только складывалась.

В первом случае происходило оглушение конечного звонкого: [топ] — [топ'], но и [г'олуп'], [луп]. Признак, различающий [б–п], менее важен для системы, в которой противопоставление по твердости–мягкости развивалось еще до утраты редуцированных, поэтому происходит нейтрализация по признаку голоса. Во II столбце приведены примеры с гласными полного образования, которые тем не менее редуцировались или вообще утратились, подобно слабым ⟨ъ, ь⟩ (повелительная форма *лъзи* ≥ *лезь*), либо были заменены другими гласными во флексии (им. п. мн. ч. *лъси* ≥ *лъсы* или *лъса*). Последнее существовадно. Оказывается, именно в конце слова две маркировки по сходному признаку (и мягкий, и глухой в *лъси*) наименее допустимы, вплоть до того, что синтагматическая система стремится к устранению гласного полного образования, чтобы убрать и знак мягкости (заменить глухой [с] звонким [з] невозможно в положении перед гласным в *лъси*). Данный процесс характерен для большинства русских говоров, впоследствии и в русском литературном языке произошли морфологические выравнивания; например, развитие флексии *-а* в *лъса* связано с утратой маркировки по палатализованности в данной форме (*лъси* при *лъсь*).

Вторая возможность реализовалась в севернорусских говорах, там, где вторичное смягчение не было завершено и корреляция по палатализованности не завершилась как системный процесс. Еще и современные говоры показывают, что совмещение вариантов I типа дало пары [топ] — [топ] и [г'олуб] — [луб], особенно резко противопоставленные для заднеязычных и губных, поскольку эти согласные сохраняли также фонетическую лабиовелярность. Тем не менее в конечных слогах с гласными полного образования подобное изменение не происходило, более того, в этих говорах возникло влияние мягкого склонения на твердое (см. раздел «Морфология»). Некоторые современные среднерусские говоры отражают оба этапа изменения, давая совпа-

дение конечных согласных в глухом и твердом звуке (т. е. [топ] — [топ], [гóлуп] — [луп]). Но это результат очень позднего изменения: уже одно то, что происходит оно в среднерусских говорах, доказывает его вторичность (эти говоры совмещают в своей системе особенности северных и южных говоров). С исторической точки зрения это важно, потому что подтверждает сделанный выше вывод: сначала нейтрализация происходила только по одному смежному признаку, нейтрализация в одной позиции никогда в одно и то же время не охватывает более одного признака различия.

Ассимиляция по напряженности началась еще до падения редуцированных в слогах с изолированными ⟨ъ, ь⟩ (отражается в примерах типа *кть, пчела, сторови, тчерь*: сохраняется признак напряженности, но нейтрализуется признак голоса). Ассимиляция по палатализованности в таких случаях неизвестна, потому что ей предшествует этап межслоговой ассимиляции гласных, т. е. *бъчела ≥ бьчела* (отъ *бьчель съть* в ОЕ 1056); *бьчела* в древнерусском переводе (Выг. XII). Следовательно, на севере выбор синтагматического изменения впоследствии определился этой исходной системой распределения. Но во всех русских говорах корреляция по звонкости–глухости происходила позже преобразований согласных палатального ряда.

Кроме синтагматических, происходили также парадигматические изменения согласных, связанные с формированием новой корреляции. В систему вошла новая фонема ⟨ф⟩, которая видоизменила фонетическое качество парной ей фонемы ⟨в⟩; происходило дальнейшее преобразование глайдов, они включились в общий консонантный ряд, окончательно утратив все признаки полугласности.

Это определялось направлением выравнивания по звонкости–глухости; коль скоро эта корреляция образовалась, все большее число согласных включалось в этот системный ряд. Фонологизация признака голоса заключалась в том, что на месте прежних, материально (фонетически) близких противопоставлений по напряженности и голосу (⟨д–т⟩), по голосу (⟨з–с⟩), по вокальности и голосу (⟨г–н⟩), по вокальности (⟨н–р⟩) приходит единый по своим основаниям признак голоса (звонкость–глухость). В корреляцию

⟨б⟩	⟨б'⟩	⟨д⟩	⟨д'⟩	⟨з⟩	⟨з'⟩	⟨г⟩	⟨⟨г'⟩⟩	⟨ж⟩	⟨в⟩
⟨п⟩	⟨п'⟩	⟨т⟩	⟨т'⟩	⟨с⟩	⟨с'⟩	⟨к⟩	⟨⟨к'⟩⟩	⟨ш⟩	⟨⟨ф⟩⟩
⟨л⟩	⟨н⟩	⟨р⟩	⟨м⟩	⟨н⟩	⟨j⟩	⦿	⦿	⦿	⦿
⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⦿	⟨⟨х'⟩⟩	⟨х⟩	⟨ц⟩	⟨ч'⟩

разные говоры включали различные типы согласных. Поскольку эти процессы изучаются в курсе диалектологии, ограничимся только

указанием на то, что в говорах постепенно образуется противопоставление фонем ⟨j-xʰ⟩ или ⟨j-γʰ⟩, ⟨в-ф⟩ или ⟨в-x⟩, у аффрикат могут появляться звонкие пары ([ц-дз] или [чʰ-джʰ]), даже в литературном языке возможно факультативное оглушение звонких [л, м, н, р] (в конце слова после глухого: *вепрь* [вʰепрʰ], *вихрь* [вʰихрʰ] и т. д.), что доказывает их переход в разряд шумных. Только результатами своих чередований эти согласные напоминают о происхождении из глайдов; ср. различие звонких и глухих согласных перед ними: *пламя* — *благо*, *правый* — *бравый* и т. д. Такое различие восходит еще к тому времени, когда противопоставление согласных по напряженности происходило перед гласным, несмотря на глайд, который находился между шумным и гласным.

4.2.3. Пополнение системы

Общерусским является только образование оппозиции ⟨в-ф⟩ с включением в систему фонемы ⟨ф⟩.

Одностороннюю замену *въ-* на *оу-* перед согласными находим в западнорусских источниках с XIII в.; ср. Смол. гр. 1229 г., а также некоторые почерки тех рукописей, которые связаны с западнорусской традицией письма: *въ уторок*, но *оусръте*, *оусретоша* как результат смешения с приставкой *въ-* во втором почерке Синод.; *оудовица*, *оукушь* ‘вкушать’, *съоупрошається* в СЕ 1340; *оу словъхъ*, *оу строкахъ* (в записи) в Пант. 1317; *оувели*, *оу Тотъмь*, *уторникъ* в НК 1282. Новгородские и северо-восточные рукописи достоверных примеров такого смешения не дают, тогда как в псковских источниках оно очень часто, здесь появляется и *оувъ* на месте *въ* в положении перед гласным: *бьяше оув Орешка*, *оу града оув Опоки* в Пск. I лет.; *оув Ондръана оув Ондокъи*, *оув осоки*, *оув иных* в Н IV Л. Такие же примеры отмечены в грамотах. Их можно объяснить только тем, что полугласный ⟨в⟩ (⟨ц⟩) по своему качеству был близок к ⟨у⟩, и в некоторых фонетических условиях противопоставление их могло нейтрализоваться (утрата взрыва перед согласным). На то же качество ⟨ц⟩ указывают и некоторые двинские грамоты XV в., в которых хотя смешение префиксов *въ-* и *оу-* и является в з а и м н ы м, но обусловлено фонетически: *оу-* перед согласным, *въ-* перед гласным или сонантом; ср.: *в Обросима*, *в Ъванове*, *оу Бориса* и *в Ондръя*, *оу дву путинехъ оу глухомъ*, *у Феодора* и *в Ларивонова*. На почве смешения морфем *въ-* и *оу-* отражается позиционное распределение ⟨у-ц⟩, но полугласность ⟨ц⟩ еще сохраняется.

Выделение протетического [в] перед лабиализованными [о, ô, у] как косвенное доказательство состоявшегося изменения губно-губного в губно-зубной ⟨ц ≥ в⟩ характерно и для восточных рукописей;

ср.: *в вогнь, возми водръ, вотъ* ‘от’ в ПЕ 1354; *Вольга, ворду, вото* в Лавр.; *въ вогнь* в ЕС 1377, *въ ворду* в Грамоте Ивана Калиты 1328 г. К этому же времени относится и выделение [в] перед начальным [ѡ] в таких словах, как *вобла, вольха, восемь, вотчина*; ср.: *вотчинъ* в Гр. 1353 г.; *въ вудиль* в Гр. 1389 г.; *съ вольхъ* в Гр. 1540 г.

Имеются и другие указания на происходившее в XIII–XIV вв. изменение ⟨ѡ ≥ в⟩. Прежде всего это опущение [в] в положении перед [о, у]: *батьстоу, притательсто, стареишиньстукть*, также *прозвотурьста* в РК 1284. В Лавр. таких примеров более сорока: *възратися, (дань)нооу* ‘нову’, *жиоуть, жиоуще, зооуть, ожиюуть, по пилатооу (писанию), протиоу* и др. Сама возможность осознать традиционную букву *в* как эквивалент другого типа согласного, чем [в], произносимый перед гласным, показывает, что до этого буква *в* обозначала фонему ⟨ѡ⟩. Для передачи губно-зубного [в] на первых порах не было особого знака, приходилось находить способ передачи его, отсюда и смешения букв.

Определенность грамматической формы, в которой отражено то или иное изменение (орфографическая замена), не мешает признать его фонетическим, но только в непроверяемой грамматической флексии (изолированная позиция) оно действительно могло быть скорее всего замечено и передано на письме. Так и в современных говорах старые падежные формы *долови, домови* с не проверяемым косвенными формами составом фонем в исходе слова, став наречиями, поразному изменились на севере (редукция безударного гласного, т. е. *долов, домов*, или сохранение исходной формы) и на юге (после утраты редуцированных конечный гласный фонетически пересекается с [j], откуда современные *долой, домой*). Изменения ⟨ѡ ≥ в⟩ — это переход сонорного в шумный, с чем связано и изменение губной артикуляции в губно-зубную. В русском языке как остаток прежней сонорности ⟨ѡ⟩ сохранилось различие звонких и глухих согласных перед (в): *без вас — с вами*.

Действительно, ⟨ф⟩ входит только в те диалектные системы, которые осуществили переход ⟨ѡ ≥ в⟩. Первоначально основной функцией (ф) было заполнить ту клетку парадигматической системы, которая по образованию корреляции звонкие-глухие оставалась пустой (в пару к ⟨в⟩–⟨ѡ⟩). Эта клетка могла быть заполнена и фрикативным ⟨х⟩; ср. данные современных архаических говоров и рукописные источники XIV в.: *градъ Назарехъ* вместо *Назарефъ* из греч. *Ναζαρέθ* в Е 1307 (⟨х⟩ — ближайший эквивалент ⟨ф⟩, единственный фрикативный глухой, да к тому же и не противопоставленный по признаку звонкости–глухости в большинстве говоров). В древнерусском языке заимствованные из греческого имена женского рода входят в тип *ї-основ (*Роуфь, Юдифь*), а имена мужского рода в тип *о-основ (*Голиафь, Сифь*). Произошло такое распределение после падения редуцированных

(в рукописях до XIII в. происходит смешение *Иоудифа*, *Иоудифь* и т. п.). Но само морфологическое распределение одного и того же для греческого языка звука между твердыми и мягкими основами показывает, что в древнерусском языке ⟨ф–фʹ⟩ включались в новую оппозицию по твердости–мягкости, противопоставляясь в сильной для нее позиции: [сʹиф] — [руфʹ]. Длительность совмещения ⟨ц⟩ с ⟨ф⟩ объясняется тем, что сонант должен был выработать и оппозицию по твердости–мягкости, которой у него сначала не было.

Кроме грамматического, имеется еще лексический критерий фонологизации ⟨ф⟩. Целый ряд заимствованных слов становится фактом собственно русской лексики, если в произношении с ⟨ф⟩ они проникают в бытовую речь. Некоторые слова такого типа считаются даже лексическими русизмами в границах древнеславянского литературного языка: *фарь* ‘(породистый) конь’ из греч. *φάρης*; в Ип. 1425 (в текстах под 1150, 1219 гг.); *ферезь* ‘верхняя одежда’ из греч. *φορεσία* с XV в. до сих пор с ⟨ф⟩ представлено в северных говорах, в которых оппозиция ⟨в–ф⟩ еще не сформировалась (заимствование из других русских говоров); *фота* ‘покрывало’ из араб. *futa* ‘передник’ в «Хождении Афанасия Никитина...» также известно всем русским говорам из междиалектного «культурного» языка и т. д. Эти слова ассимилируются первоначально в галицко-волынских и ростово-суздальских говорах, а затем распространяются по всей Руси.

Таким образом, оппозиция ⟨ф–фʹ⟩ оказывала свое воздействие на изменения ⟨ц⟩ (новая оппозиция ⟨в–вʹ⟩) первоначально в северо-восточных говорах. Включение этих пар в общую оппозицию по звонкости–глухости завершается после XV в. Другие изменения фонем по данному фонемному признаку остались собственно диалектными, но и они происходили под внутренним давлением вновь сложившейся парадигматической системы.

Итак, охватывая все последствия падения редуцированных, мы можем сказать, что в результате этого изменения основной единицей речи вместо *слога* становится *словоформа* (определенная, все увеличивающаяся по длине набора слогов), а затем, после ряда описанных следствий самого падения редуцированных, путем последовательных выравниваний в парадигме было осознано единство *слова*. Последовательное усиление лексико-грамматического смысла фонетических единиц шло параллельно, чуть отставая, с изменением просодических качеств речи: переходом количественных признаков гласных в качественные в пределах слога, утратой интонационных различий в пределах словоформы и стабилизацией словесного (динамического) ударения в слове.

5. ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЛАСНЫХ ФОНЕМ

5.1. Изменение гласных ⟨е⟩ и ⟨о⟩

Изменение ⟨е ≥ о⟩ связано с параллельными изменениями ⟨ÿ ≥ у, ы ≥ и, ä ≥ а⟩ и происходило только в говорах с одной степенью мягкости согласных, т. е. в тех говорах, которые развивали противопоставление по твердости-мягкости. Однако и ранние древнерусские источники, и северные рукописи также отражают изменение ⟨е ≥ о⟩, хотя указанных типологических условий ни древнерусские, ни севернорусские говоры в Средние века не имели. Следует объяснить, почему за одними и теми же графическими обозначениями скрываются различные фонетические изменения.

Изменение ⟨е ≥ о⟩ задано всей суммой предшествующих фонемных преобразований. Морфологической причиной такого совпадения стало выравнивание парадигм, возникшее после вторичного смягчения согласных и падения редуцированных: ср. формы тв. п. ед. ч. *стольмь* — *коньмь* ≥ *столом* — *кон'ем* с общим морфологическим значением флексии (-ом/-ем), равным прочим членам падежной системы, т. е. равным ⟨а-’а⟩, ⟨у-’у⟩ в [столá] — [кон’á], [столу] — [кон’у] и т. д. Аналогична общность функции при фонетическом различии и в прочих грамматических формах (дат. п. мн. ч. *столом* — *кон'ем*, местн. п. мн. ч. *сынох* — *пут'ех*), также в суффиксах (*легоныко* — *синенько*, *логоватый* — *синеватый*, *сынов* — *отцев*, *широк* — *горек*), в некоторых случаях получая даже новое морфологическое значение. Так, в связи с формированием грамматической оппозиции женский род–неженский род происходит своеобразное перераспределение новых (возникших морфологически) беглых ⟨о, е⟩: в формах женского рода ⟨е⟩ (*башен*, *земель*, *капель*, *сосен* ⟨*сосон*⟩), в словах мужского рода ⟨о⟩ (*вихор*, *локоть*, *огонь*) с возможным колебанием в мужском роде (*ветер* — *ветор*). Новая система морфонологических чередований в принципе повторяет то, что было в праиндоевропейском, а затем и в

общеславянском языке; ср. чередование корневых ⟨о/е⟩ в *брести* — *бродити*, *вести* — *водити*, *нести* — *носити* с возможной нулевой ступенью чередования в *морь* — *мерети* — *мьроу*. Поэтому новые чередования типа *башен*, *огонь* с нулевой ступенью в *башня*, *огня* только накладывались на старый морфологический тип, никак не разрушая прежней системы.

В праславянском языке после палатальных согласных ⟨о⟩ изменялось в ⟨е⟩: *морк* < **mǝrĭǝ-s*. В древнерусских текстах встречается много греческих слов в славянской транскрипции; например, в сочинении «Речь тонкословия греческого» по списку XIII в. сочетание ⟨j⟩ или палатального с ⟨о⟩ передается единственно возможным у восточных славян до XIII в. ⟨е⟩; ср.: *Иваиефорос* < *ἔβαιοφόρος* ‘плод пальмовой ветви’, *Илиес* < *ἥλιος* ‘солнце’, *приети* < *προϊόνι* ‘прошедший’ и т. д. После палатального может быть только ⟨е⟩, всякое появление в этой позиции ⟨о ≥ е⟩ следует рассматривать как отражение какого-то морфологического изменения.

Еще до утраты ⟨ъ, ь⟩ возникло позиционное варьирование ⟨ъ–ь⟩, которое в связи с изменением ⟨ъ, ь⟩ в ⟨о, е⟩ естественно вошло в чередование ⟨о/е⟩; ср.: *зърѣти* — *възъръ* ≥ *зрѣти* — *възъръ* ≥ *зрю* — *взор* с чередованием ⟨#/о⟩, совершенно не соответствующим исконному чередованию в корневой морфеме. На фонетическом этапе падения редуцированных изменения ⟨е⟩ в предшествующем слоге происходили в зависимости от качества следующего редуцированного. В украинском языке (южнорусском) *е ≥ ъ* перед ⟨ъ⟩, но ⟨е ≥ о⟩ перед ⟨ъ⟩ (последнее по говорам отражается непоследовательно): *шѣсть* < *шесть*, но *шоль* < *шьль*. В севернорусских (новгородских) говорах то же касается ⟨ъ⟩ (отчасти и ⟨е⟩): *звьръти* < *звьрьи*, *творъць* < *творьць*, но *дноть* < *дньть* ‘тот день’, *яроть* < *яреть*. Так создается зависимость ⟨е ≥ о⟩ от следующего твердого согласного, поскольку позднее, с утратой ⟨ъ⟩ в сочетаниях типа *тъ*, произошло освобождение ⟨т⟩ от влияния последующего гласного. С конца XV в. никакой зависимости от характера исчезнувших ⟨ъ, ь⟩ мы не видим, изменение вступило в новую стадию: важен последующий согласный (твердый–нетвердый), а также ударение. Включение в процесс такого регулирующего все синтагматические изменения фактора, как ударение, показывает, что началась уже фонемная стадия изменения ⟨е ≥ о⟩.

Действительно, древнерусские источники хронологически делятся на три группы.

Древнейшие из них, до конца XIII в., отражают переход ⟨е ≥ о⟩ только после шипящих и ⟨ц⟩, независимо от ударения или следующего согласного; обычно это формы причастия или имени, в которых сочетания *же*, *ше* и т. д. встречаются часто: ср. написания типа *ащо*, *большомъ*, *въроующомоу*, *врачовъ*, *жо* ‘же’, *извольшомъ*, *княжо*,

крьщонь, съвьршонь, творящомоу, хотящомоу, шедшо в И 73, ХА XII, ЧС XII, Выг. XII, ЯП XII, РК 1284, ПЕ 1307, в грамотах до XIII в.

Четко обозначена замена ⟨е⟩ на ⟨о⟩ после палатальных. Это могло быть связано с отвердением шипящих и ⟨ц⟩, как и случилось в южнославянских говорах; в таком случае это влияние церковнославянского произношения. При таком толковании неясно, почему украинский язык, менее всего связанный с церковнославянским произношением, сохраняет именно эту стадию изменения ⟨е ≥ о⟩. В результате вторичного смягчения полумягких после палатальных утрачивалось противопоставление по ряду, а противопоставление по лабиализованности у гласных еще не оформилось парадигматически. Так, оказываются возможными написания жо < же (*ходящомоу* < *ходящему*) по типу *то, тому*. Никакого изменения ⟨е ≥ о⟩ на этом этапе еще нет, синтагматическое же изменение передается на письме непоследовательно и допускает варианты.

По существу, такое положение сохранялось до конца XIV в., потому что использовать букву *о* для обозначения ⟨о⟩ после мягкого согласного затруднительно: одновременно это указывало бы и на отвердение предшествующего согласного, как в *нобо* [н'ббо], чего на самом деле в произношении не было. Дольше всего это изменение сохранялось в северо-восточных говорах, в ростово-суздальских рукописях находим лишь написания *жонь, лжомь, одежою, рожное, шодь* (ПЕ 1354, ГЕ 1357, МЕ 1358, Лавр., грамоты XIV–XV вв.). Причина изменения ⟨е ≥ о⟩ в северо-восточных говорах была другая, чем в южных и западных говорах.

Вторая группа говоров сложилась на западе и севере, где в основном продолжала действовать древнерусская тенденция, с тем лишь отличием, что теперь переход ⟨е ≥ о⟩ распространился на любой с т а в ш и й палатальным согласный. Ср. в берестяных грамотах: *з беростомь, к номоу, нобо* 'небо'; с конца XIV в.: *зелоного, людомь, перостави, рубловь, Стопана, Терохь, украдони от ного, четворты, шестора*; одновременно с тем сохраняется передача старых сочетаний *жонку, цолобитье, цоловькь* и др. после шипящих и ⟨ц⟩; в рукописях: *дновь и дновь* в НК 1282; *промь* в Пр. 1356; *на сомь Поморьи, по сому* в Гр. 1392 г.; *за моромь, землюю, озоро, пузыровь, роубловь, с притеробы* в двинских грамотах XV в.; *берегоь, ворсть, выносль, Селивостра, четвортмоу* в Н IV Л; *дньоть* (= *днь ть*) в НЕ 1270. В псковских рукописях с конца XIV в. таких примеров особенно много: *берозозоль, дьло со, емоу возносьшюся, ловь* 'лев', *разорона* в Пр. 1383; *коворь, проносьше* в Ип. 1425 (но чаще старый тип: *пришодь, сторожовь* и т. д.). Иногда трудно объяснить написания типа *смеродь*: отражают ли они изменение ⟨е ≥ о⟩ или отвердение [р] ([см'ер'бд]).

В основной же массе русских говоров (третья группа), и в первую очередь в ростово-суздальских, с конца XV в. изменение $\langle e \geq o \rangle$ охватывает сочетания со всеми типами согласных; в курских, рязанских, калужских, тульских, нижегородских, костромских грамотах XVI–XVII вв. такое изменение отражается после любого парного по твердости–мягкости согласного. Фонологически это значит, что при образовании корреляции согласных по твердости–мягкости прежние признаки лабиовелярности у твердых согласных становились фонематически несущественными и переносились поэтому на предыдущий гласный в пределах того же слога. Фонетически же это значит, что задержка в изменении $\langle e \geq o \rangle$ в северо-восточных говорах связана с необходимостью сначала отработать противопоставление по твердости–мягкости, т. е. освободить признак лабиовелярности как вариантный, а затем создать фонетически закрытые слоги.

Кроме уже известных типов сочетаний, в которых возможно было изменение $\langle e \geq o \rangle$, появляются сочетания с шумными типа *бьот, додоржу, лебодов, тотке, Фодора*, но, как правило, не в глагольных формах типа *идошь* [ид'еш] (до сих пор сохраняется в ряде южнорусских говоров). Длительное время изменение $\langle e \geq o \rangle$ было синтагматическим: оно происходило обязательно перед твердым согласным, но не обязательно под ударением. Иное положение сложилось к концу XVI в., когда те грамматические формы, в которых возможно было изменение $\langle e \geq o \rangle$, вступили в чередование с другими грамматическими формами парадигмы, такого изменения не отразившими. Начался морфонологический этап изменения, особенно важный для исторической фонологии.

Теперь $\langle o \rangle$ могло перейти в $\langle e \rangle$ и перед мягким согласным, если этого требовало выравнивание фонемного состава морфемы в парадигме: не только [т'óтка], но и [т'ót'a] < [т'ét'a]. Утрачивается комбинаторная зависимость лабиализации гласного от следующего согласного. Вместе с тем устраняется лабиализация $\langle e \geq e \rangle$ в безударном слоге. То, что было возможно до XVI в. (*додоржу, лободов*), позже уже невозможно, так как *доржу* дало [д'аржу]. Важные в морфологическом отношении формы не могут допустить совпадения с другими формами парадигмы, происходит морфологическое перераспределение ударения, совмещенное с качественным изменением подударного гласного. Например, формы *селá* (род. п. ед. ч.) — *селá* (им.-вин. п. двойств. ч.) — *селá* (им. п. — вин. п. мн. ч.) давали бы одинаковую редукцию типа [с'илá] или [с'олá], что привело бы к совпадению грамматически важных форм. По продуктивной модели подвижных парадигм образуется новое противопоставление *селá* (род. п. ед. ч., им.-вин. п. двойств. ч.) — *сéла* (им.-вин. п. мн. ч.) при непременно сочетании с морфонологическим изменением $\langle e \geq o \rangle$ в подударном слоге, т. е. [с'елá] — [с'óла]. Морфонологический фактор (ударение), скреплявший расходящиеся падежные формы, был на-

столько силен, что захватил отчасти и морфемы с ⟨ê⟩ (ñ); ср. произношение *гнёзда* [гн'бзда], *звёзды* [зв'бзды], *сёдла* [с'бдла] на месте *гнѣзда, звѣзды, съдла* по типу *весна* — *вѣсны*. Некоторые исключения, вошедшие в русский литературный язык, объясняются разной стадией лексикализации той или иной формы. Например, *щокы* встречается еще в XVI в., но неясно, отражает ли это написание стадию комбинаторного изменения (перед *кы*) или уже связано с морфонологическим чередованием *весна* — *вѣсны* = *щека* — *щѣки*. Ср. еще произношение слов *щелка* (также и *щѣлка*), *щепка*, потому что существовала внешняя аналогия со словами *щель*, *щепь*; также *горшечек*, *мешечек* — старое литературное произношение, перед [ч'] без результатов морфонологического подравнивания под тип с суффиксом *-ок* (*мешок*). Позже всего происходило выравнивание глагольной парадигмы; ср. в формах *несу* [н'есу́] — *несешь* [н'ес'бш'] — *несет* [н'ес'бт'] — *несем* [н'ес'бм] — *несете* [н'ес'бт'е] — *несут* [н'есу́т]. Фонетические условия изменения возникли после падения редуцированных только в форме 1-го л. мн. ч., после XIII в. на севере и на северо-востоке также и в 3-м л. ед. ч. (*-тъ* ≥ *тъ*), несколько позже во 2-м л. ед. ч. — в связи с отвердением *-ши* ≥ *-шь* ≥ *-ш*, так что в форме 2-го л. мн. ч. никогда собственно и не возникло фонетических условий для изменения ⟨e ≥ o⟩. Современные говоры сохраняют разные стадии перехода ⟨e ≥ o⟩ в указанных формах парадигмы, и именно северные говоры особенно долго и последовательно сохраняют даже старую акцентовку этой формы у подвижных глаголов (*ведетѣ*, *говоритѣ*, *несетѣ*), но в конце концов в северо-восточных говорах (и в литературном языке) распространение ⟨o⟩ закончилось по всей парадигме в связи с морфологическим оттягиванием ударения на флексию и независимо от мягкости [т]: [н'ес'ѣт'е] ≥ [н'ес'бт'е]. Причина заключается в том, что все флексии спряжения имеют гласный с различительным признаком лабиализованности — очень важным признаком в говоре, развивающем противопоставление согласных по твердости–мягкости. Единственное исключение во 2-м л. мн. ч. подверглось выравниванию. Возникла позиционная зависимость лабиализованности от ударения. Эти два признака в функциональной системе настолько тесно сплетены, что ⟨e⟩ лабиализуется во всех подударных слогах независимо от следующего согласного. Например, в конце слова: *белье* [б'ел'йб], *тряпье* [тр'ап'йб] по типу *село*. Это заключительный этап в изменении ⟨e ≥ o⟩, потому что с этих пор [e/o] становится м о р ф о л о г и ч е с к и наполненным чередованием, важным для грамматической системы (*веду́* — *вёл*, как *веду́* — *вóдит*).

В некоторых случаях ожидаемое изменение в ⟨o⟩ не происходит: перед ⟨ц⟩ (*молодец*, *отец*), в сочетании **тырът* (*первый* < [п'ер'вый]), в заимствованиях из церковнославянского или из западноевропейских языков. Последнее подтверждает, что изменение ⟨e ≥ o⟩ было собст-

венно русским и потому не отразилось в заимствованной лексике; ср.: *напёрсток* [нап'брсток], *пёрст* [п'орст], но *перст*; *крёстный* [кр'бст-ный], *перекрёсток* [перекр'бсток], но *крест*; *нёбо* [н'ббо], но *небо*. Остальные типы исключений показывают, что фонетическая зависимость от следующего твердого согласного в изменении ⟨e ≥ o⟩ утрачена до XVI в. (отверждение ⟨ц⟩ к этому времени завершилось).

Кроме того, нет изменения в ⟨o⟩ у ⟨e⟩ из ⟨ê⟩ (*ъ*): ср. современное произношение *дядь* [д'ет], *льсь* [л'ес], *снъзь* [сн'ек]. Действительно, ⟨e, ê⟩ никогда позиционно не совпадали ни до, ни во время изменения ⟨e ≥ o⟩; после этого перед мягким согласным стало возможным только употребление ⟨ê⟩, потому что одновременно с тем перед твердым согласным ⟨e ≥ o⟩, т. е. [т'ет ≥ т'от], но [т'ет' ≥ т'эт'] (ср.: *щёлка* [ш'олка] — *щели* [ш'эл'и]), [т'эт ≥ т'эт], но и [т'эт' ≥ т'эт'] (ср.: *детка* [д'етка] — *дети* [д'эт'и]). Фонологически это значит, что в сильной позиции (перед твердым согласным) нет фонемы ⟨e⟩, она замещается фонемой ⟨o⟩ и на основе морфологических чередований, и на основе совмещения твердых парадигм с мягкими. Когда не только зависимость от следующего согласного, но и еще обязательное положение под ударением возникает как позиция различия в северо-восточных говорах, результат перехода ⟨e ≥ o⟩ охватывается всеми теми выравниваниями, которые мы рассмотрели выше.

Изменения ⟨e⟩ и в дальнейшем связаны с изменениями ⟨ê⟩, но сейчас нам важно оценить фонологический результат: между XIII и XVI вв. в системе вокализма большинства русских говоров не было фонемы ⟨e⟩, потому что сразу после падения редуцированных в противопоставлении ⟨e–o⟩ был утрачен признак ряда, а через два столетия возникла нейтрализация по другому признаку — лабиализованности. Она возникла в позиции, ставшей для северо-восточных говоров сильной: перед твердым согласным под ударением. Так как позиционное распределение определяет парадигматический набор фонем, мы и должны признать, что противопоставление ⟨e–o⟩ утрачено в большинстве говоров, кроме северных, где переход ⟨e ≥ o⟩ представлял собой еще чисто синтагматическое изменение в слабой позиции, а это никогда не приводит к устранению фонемы из системы.

5.2. Изменение гласных ⟨ê⟩ и ⟨ô⟩

5.2.1. История фонемы ⟨ê⟩

После утраты ринезма и изменения ⟨e ≥ ä⟩ в древнерусском языке происходило вторичное смягчение полумягких перед ⟨ä⟩ разного происхождения; образовались две степени мягкости согласных перед

передними гласными — с повышенной мягкостью согласных перед ⟨и, ê⟩. Такое качество согласных было временным, осуществлялось только в сочетании фонем и после утраты ⟨ъ, ь⟩ было устранено в тех говорах, которые развивали противопоставление согласных по твердости–мягкости. Известно также, что перегруженность нижнего ряда гласных [ʼä–ä–a] еще до утраты редуцированных привела к смещению ⟨ê⟩ ([ʼä] в фонетической записи) вверх, отчасти потому, что среди оттенков фонемы ⟨ê⟩ были узкие ⟨ë⟩ из [*ai̯, *ei̯], а отчасти и благодаря возникавшей позиционной йотации перед ⟨ë⟩: [ʼa], в отличие от [ʼä] (из ⟨e̯⟩) фонетически равно [i̯ä], что сближает ⟨ë⟩ с гласными среднего подъема. Все славянские языки, утратившие носовые гласные, одновременно изменили и признак различения у фонемы ⟨ë⟩: из нижней она становится средней или даже средневерхней по образованию ⟨ê⟩. Процесс «перехода» в новую степень подъема отражен в нейтрализациях, примеры которых сохранились в древнерусских рукописях.

В новгородских берестяных грамотах XI — начала XII в. њ обычно употребляется верно, с середины XII в. довольно часто на месте њ пишется е; грамоты, знающие исключительно е на месте њ, относятся ко времени не ранее XII в.; грамоты с заменой е на њ редки и относятся к XIV в.; большинство примеров њ ≥ е приходится на конечный открытый слог (*въ селе* вместо *въ селѣ*). Первые примеры с и на месте њ появляются со второй половины XIII в. (и сначала также в конечном открытом слоге: *въ сели*).

В южнорусских рукописях случаи перехода ⟨ê ≥ e⟩ незначительны, однако в И 73 е на месте њ употреблено 83 раза (несколько раз и вместо њ), имеются написания с е на месте њ в И 76, АЕ 1092, ГБ XI, их больше в рукописях XII–XIII вв., например в ДЕ 1164, УС XII, ЖС XIII, Е 1283. Ростово-суздальские и прочие (несеверные) русские говоры также до XVI в. сохраняют в своей вокалической системе фонему ⟨ê⟩. Только в смоленско-полоцких говорах сразу же после утраты ⟨ъ, ь⟩ в XIII в. происходит совпадение ⟨ê⟩ с ⟨e⟩ также и в сильных позициях, т. е. фонема ⟨ê⟩ устраняется из системы вокализма.

Историки языка многое сделали в изучении фонемы ⟨ê⟩. Были установлены примеры чисто графических смещений букв њ с е и њ с и, основанные либо на смещении морфем (например, *пришьдѣ* и *прѣшьдѣ*), либо на смещении русского и церковнославянского произношения отдельных слов (например, ц.-сл. *телеса*, *телесный*, но рус. *тѣла*, *тѣльный*; ц.-сл. *дрѣво*, *чрѣво*, но рус. *дерево*, *черев*). Для фонетических целей показательны только написания русских слов, форм, и притом в русских текстах. Основываясь на таких надежных материалах, мы и делаем вывод о том, что до конца XV в. фонема ⟨ê⟩ сохранялась во всех (кроме смоленско-полоцких) русских говорах, хотя и происходили некоторые изменения в составе различительных признаков этой фонемы в связи с общими преобразованиями системы фонем.

Первое из них уже указано: ⟨ë⟩ становится средневерхней фонемой ⟨ê⟩ и потому в слабых позициях вступает в нейтрализацию с ⟨e⟩. Самой частотной позицией употребления *ь* являлся конечный открытый слог слова и подударный слог без новоакута — в этих слогах в древнерусском языке не было противопоставления гласных по количеству, и потому сокращающаяся фонема ⟨ē ≥ ê⟩ могла совпадать с кратким ⟨e⟩ (поскольку обе фонемы были ненижние, нелабиализованные и передние). Это позиционное совпадение ⟨ê, e⟩ в ⟨e⟩ определяется еще структурными особенностями древнерусской системы, т. е. тем позиционным распределением просодических признаков, которые создались в результате образования новоакутовой интонации и позиционного сокращения долгот.

Как это обычно бывает в фонемном изменении, утрата количественных противопоставлений привела к необходимости качественного различия гласных. До падения редуцированных в сильной позиции (под новоакутовым ударением) различались ⟨ë⟩ и ⟨o⟩ (⟨e⟩ в этой позиции малочастотно). Фонематическая долгота в фонетическом отношении может быть представлена несколькими признаками, которые связаны с рассредоточением произносительной энергии во времени: с напряженностью, с дифтонгичностью, с верхним образованием. Вот почему утрата противопоставления по долготе–краткости привела к перестройке всех этих признаков длительности; прежние долгие фонемы смогли разложиться на фонетические дифтонги, но напряженность артикуляции, связанная с верхним образованием гласных, стала новым признаком для ⟨ē ≥ ê⟩, ⟨ō ≥ ô⟩. Результат совпадения ⟨ь, ь⟩ именно с ⟨o, e⟩, а не с ⟨ô, ê⟩ дополнительно подтверждает фонематичность новоакутового ударения до утраты редуцированных: ведь только для ⟨ь, ь⟩ и ⟨o, e⟩ (без новоакутового ударения) этот тон оказывался общим признаком, несущественным для всех четырех гласных, что и привело к совпадению их друг с другом. В системе противопоставлений это отразилось следующим образом:

$$\begin{array}{ccc}
 \langle \text{и} \rangle & \langle \text{у} \rangle & \\
 \langle \text{ê} \rangle & \langle \text{ô} \rangle & \\
 \langle \text{ь} \rangle \rightarrow \langle \text{e} \rangle & \langle \text{o} \rangle \leftarrow \langle \text{ь} \rangle & \\
 \underbrace{\hspace{1.5cm}} & & \\
 \langle \text{a} \rangle & &
 \end{array}$$

Поскольку ⟨ô, ê⟩ фонетически могли быть дифтонгами, позиционно они воплощаются в дифтонги, особенно после палатальных для *ь* и после лабиовелярных для ⟨ô⟩; ср.: *встьхъ* [фс'иэх], но *мôгъ* [мудок]. В зависимости от предшествующего согласного ⟨ê⟩ оказывается в новой фонетической ситуации, в корне меняющей позиционное распределение фонем (см. таблицу на с. 127). Кроме того, начинается

совмещение твердых и мягких вариантов склонения, а по отношению к ⟨ê-и⟩ здесь возникали чередования; ср.: *столь* [стол'иѣ] — *конь* [кѡн'и] (местн. п. ед. ч.) и *сто́лы* [сто́лы] — *ко́нь* [кѡн'иѣ] (вин. п. мн. ч.). Поскольку в морфологическом выравнивании севернорусская система была ориентирована на мягкий вариант, происходило распространение типа *на сто́лы*; фонетическая ситуация совпадала с направлением морфологического чередования.

В говорах возникло различное позиционное варьирование фонемы ⟨ê⟩. В соответствии с общими правилами позиционного варьирования на севере ⟨ê⟩ изменяется в зависимости от окружающих согласных, на юге — в зависимости от ударения.

Восточные говоры севера различали ⟨ê⟩ перед любыми согласными, но перед твердыми согласными различие сохранилось, перед мягкими и на конце слова ⟨ê⟩ перешло в ⟨и⟩; ср.: *до медвидиць, до рички, льсь* — *въ лиси, мисяца, отвисили, свѣтъ* — *въ свити* в вологодских грамотах XVI в. Совпадение позиций конца слова и перед мягкими согласными характерно; совпадать в одном фонетическом проявлении могут только слабые позиции, следовательно, и в данном случае происходила всего лишь нейтрализация в противопоставлении ⟨ê-е-и⟩. Изменение ⟨ê → и⟩ только перед мягкими согласными объясняется тем, что одновременно в тех же говорах происходит изменение ⟨е → о⟩ перед твердыми согласными. По-видимому, сначала изменилось ⟨ê⟩ в ⟨и⟩ только в слоге перед ⟨и⟩ или в конце слова; ср.: *видихъ < въдихъ, на мисти, нетлиния, прилинихся < прѣльнихся, руци твои (< руць)* и др., т. е. своеобразное продолжение древнерусского межслового сингармонизма, осложненного выравниванием по мягкому типу склонения. Такие примеры, хотя и редко, встречаются в М 96, Пант. XII, НК 1282; их оказывается много в псковских рукописях XIV–XV вв., что подтверждает всеобщность подобного изменения на начальных его этапах. В XVI в. данный тип изменения представлен в вологодских грамотах и рукописях (ВЕ XVI), в грамотах, написанных на Урале и в Сибири выходцами с Русского Севера.

Для большинства севернорусских говоров, именно тех, которые не отражали перехода ⟨е ≥ о⟩, характерным стало последовательное изменение ⟨ê ≥ и⟩ независимо от каких-либо условий: как *въ лиси, въ свити*, так и *лис, свить*. Кроме некоторых берестяных грамот XV в., а также новгородских, тверских и двинских грамот XV–XVI вв., встречаются и большие рукописи, отражающие такое изменение ⟨ê⟩, как светские (КН I Л), так и церковные (БЗ XVI), в том числе и ранние (Е 1355, Е 1362). В этих рукописях, кроме частой замены њ на и, возможно и употребление њ на месте и, а это подтверждает, что в северо-западных и северных говорах ⟨ê⟩ перешло в ⟨и⟩; здесь не состоялось изменение ⟨е → о⟩, и сочетания типа [т'иѣ, т'и] совпали друг с другом

(в отличие от сочетания типа [т'е]). Фонетические и морфологические условия совпадения двух фонем совместились.

В южнорусских говорах ⟨ê⟩ перешло в ⟨е⟩ в безударной позиции, тогда как под ударением эти фонемы по-прежнему противопоставлены друг другу. На такое распределение указывают и рукописи (ПС XIV), и особенно грамоты XVI–XVII вв. (восточнобрянские, калужские, нижегородские и др.). Впоследствии различие подударных *e* и *ъ* и их смешение в безударной позиции распространилось в русских текстах, став своеобразным орфографическим приемом, который сохранился и в старопечатных московских изданиях. В южнорусских говорах изменение ⟨ê ≥ е⟩ началось прежде всего в безударном положении: *лесá, леснóй, но лѣсь, лѣси*.

Если в безударной позиции *ъ* переходит в *e* (*лѣсь* — *лесá*), а одновременно с тем в тех же слогах развивалось яканье (*сялá* < *села*), то ⟨ê⟩ как самостоятельная фонема по-прежнему противопоставлена и ⟨о⟩, и ⟨е⟩, потому что, во-первых, под ударением в сильной позиции имеются и ⟨о⟩, и ⟨е⟩, и, во-вторых, изменение ⟨ê → е⟩ возможно только в слабой позиции, в которой после развития яканья [e] уже не может встречаться.

Замена *ъ* на *e* только в безударных слогах характерна лишь до конца XVI в., когда на основе ёканья возникает яканье, включившее и то безударное [e], которое восходит к ⟨ê⟩. В североукраинских говорах, соседних с южнорусскими, тоже происходило изменение ⟨ê → е⟩ в безударной позиции (т. е. утрата противопоставления по напряженности), в них также развивались процессы, сходные с южнорусским аканьем. Поэтому все ранние изменения *ъ ≥ e* действительно можно связать с начинавшимися изменениями безударного вокализма, которые происходили на юге после XIV в.

Полное совпадение ⟨ê⟩ и ⟨е⟩ независимо от каких-либо условий происходило в тех говорах, которые не знали изменения ⟨ó → ô → ô̄⟩: в смоленско-полоцких, западнобрянских и смежных с ними южнопсковских говорах (ср. из псковских рукописей А 1309, Пр. 1383). В XV в. большинство псковских говоров подверглось влиянию новгородских говоров и испытало изменения первых двух типов.

В северо-восточных и восточных говорах (ростово-суздальские и рязанские княжества) изменения сначала происходили по северному типу: в зависимости от следующего согласного, а не от ударения. В РК 1284, ПЕ 1354, в московских, переяславских, костромских, шуйских и других грамотах XV–XVI вв. отражается изменение ⟨ê → е⟩ только перед мягкими согласными (*въ лесе*, но *лѣсь*). Поскольку это связано с параллельным изменением ⟨е → о⟩ перед твердыми согласными, ясно, что возникает ситуация, сходная с той, которая сложилась в остальных северных говорах, где противопоставление ⟨ê–о⟩ сохранялось на основе перехода ⟨е → о⟩, но с тем различием, что в север-

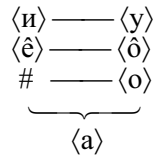
ных говорах отмечается переход [êт' ≥ ит'], а в ростово-суздальских [êт' ≥ ет']. Различие в рефлексации объясняется разным отношением к предшествующему согласному в слоге: на севере мягкие возможны только перед ⟨ê, и⟩, в северо-восточных же говорах, которые развинули противопоставление согласных по твердости–мягкости, мягкие находились перед любым передним гласным, т. е. также и перед ⟨е⟩. Реальность совпадения ⟨ê⟩ и ⟨е⟩ подтверждается и тем, что в рукописях отражается и написание с *ь* на месте ⟨е⟩ именно в той же позиции.

В XVI в. положение меняется: для северо-восточных говоров оканчивается важным не только положение перед твердым или мягким согласным, но и зависимость от ударения. Московские грамоты, а также церковные тексты, переписанные в Москве (ЧС XVI), показывают, что [êт' ≥ êт'] по-прежнему, но перед твердыми согласными *ь* переходит в *е* в безударном слоге, тогда как под ударением перед твердыми согласными ⟨ê⟩ никаким образом не изменяется. В XVII в. на той же территории появляются рукописи, а также шуйские, тульские, можайские, курские, рязанские, московские, волоколамские грамоты, указывающие на совпадение *ь* с *е* во всех позициях. В Авв. употребление *ь* зависит от многих условий, в том числе и от лексической принадлежности слова: в церковнославянских словах пишется *ь*, в бытовых русских вместо него обычно употребляется *е*. Начинается смешение *ь* и *е* вплоть до того, что в правительственных указах делаются специальные оговорки, позволяющие писцам не обращать внимания на правила написания этих букв.

Таким образом, в говорах, легших в основу современного литературного языка, выявилась следующая последовательность в изменениях фонемы ⟨ê⟩:

		XIII–XV вв.	XV–XVI вв.	XVII в.	
подударный	⟨т'êт⟩	>	⟨т'êт⟩	>	⟨т'ет⟩
	⟨т'êт'⟩	>	⟨т'ет'⟩	>	⟨т'ет'⟩
	⟨т'ет⟩	>	⟨т'от⟩	>	⟨т'от⟩
	⟨т'ет'⟩	>	⟨т'ет'⟩	>	⟨т'ет'⟩
					} ⟨е–о⟩
безударный	⟨т'êт⟩	>	⟨т'êт⟩	>	⟨т'ет⟩
	⟨т'êт'⟩	>	⟨т'êт'⟩	>	⟨т'ет'⟩
	⟨т'ет⟩	>	⟨т'от⟩	>	⟨т'ет⟩
	⟨т'ет'⟩	>	⟨т'ет'⟩	>	⟨т'ет'⟩
					} ⟨е⟩

Позицию за позицией ⟨ê⟩ утрачивает, потому что и в парадигматической системе уже нет противопоставления ⟨ê–е⟩: в большинстве русских говоров ⟨е⟩ переходит в ⟨о⟩, и в сильной позиции оказывалась одна фонема ⟨ê⟩, отмеченная признаком напряженности, т. е.



В фонологическом смысле изменение $\langle \hat{\text{е}} - \text{е} \rangle$ представляет собой не совпадение двух фонем в одну ($\langle \hat{\text{е}}, \text{е} \rightarrow \text{е} \rangle$), а устранение избыточного признака напряженности и с д в и г фонемы (одной и той же: сначала средневерхней $\langle \hat{\text{е}} \rangle$, затем средней $\langle \text{е} \rangle$) в системе парадигматических отношений. В некоторых других типах вокалических систем, описанных выше, принцип фонемного сдвига был таким же; поскольку с этим изменением из системы уходил и признак напряженности, одновременно происходило и совпадение фонем $\langle \hat{\text{о}} \geq \text{о} \rangle$.

5.2.2. История фонемы $\langle \hat{\text{о}} \rangle$

Взаимозависимость в изменениях фонем $\langle \hat{\text{о}}, \hat{\text{е}} \rangle$, подтверждаемая и памятниками, и говорами, доказывает близость этих фонем по общему признаку: в большинстве русских говоров в результате утраты $\langle \text{ь}, \text{ѣ} \rangle$ на месте $\langle \hat{\text{о}} \rangle$ под новоакутовым ударением образовалась фонема $\langle \hat{\text{о}} \rangle$; на месте $\langle \text{ь} \rangle$, а также и $\langle \text{о} \rangle$ под нисходящим ударением сохранялась $\langle \text{о} \rangle$. Довольно большое число форм и слов противопоставлялось новой оппозицией $\langle \hat{\text{о}} - \text{о} \rangle$: [вѣн] *там* — *выйди* [вон], [мѣк] ‘мог’ — [мок] ‘вымок’, как [ѣй] *беды* — как [ой] *день*, [сѣ] *шка* — [со] *хи* и т. д. Древнерусские рукописи и современные говоры дают несколько исключений, например $\langle \hat{\text{о}} \rangle$ на месте $\langle \text{ь} \rangle$ (*вѣпль, крѣвь, крѣт, любѣвь*), соседство губных и [р] способствовало сближению $\langle \text{ь} \rangle$ с $\langle \hat{\text{о}} \rangle$ в результате позиционного огубления [ь].

К тому же во всех этих словах рано стабилизируется ударение на слоге с $\langle \text{ь} \rangle$ (*вѣпль* — *вѣпля, крѣвь* — *крѣви, крѣт* — *крѣта, любѣвь* — *любѣви* на месте прежнего ударения типа *вопль, кровь, кротъ, любвь*). Редуцированный попадал в морфологически сильную позицию всегда подударного слога, что для него было редким исключением (обычно имелось чередование типа *сѣнь* — *сѣна*). Новый тип ударения приводил и к выравниванию по типу *конь, коня* > *конь, коня* > *конь, коня*. Морфологическое выравнивание в развитии $\langle \hat{\text{о}} \rightarrow \hat{\text{о}} \rangle$ имело первостепенное значение. Рефлекс новоакутовой интонации постепенно возникал там, где его не должно быть, например в абсолютном конце слова, где еще в праславянский период могли быть только краткие, не дававшие никаких интонационных различий; и говоры, и старорусские рукописи отражают $\langle \hat{\text{о}} \rangle$ на месте $\langle \text{о} \rangle$: *оно* [онѣ] — [онуѣ], *се* [лѣ] — *се* [луѣ]. Выравнивание распространялось даже на мягкие

основы (ср.: *пле[чѠ]*, *хоро[шѠ]*), что доказывает вторичность ⟨Ѡ⟩ в данной позиции и подтверждает, что в конце слова ⟨о → Ѡ⟩ изменилось уже после падения редуцированных.

Морфологическое выравнивание привело к обобщению рефлекса новоакута на любом ненадначальном слоге, поэтому и в старорусских рукописях, и в современных говорах оппозиция ⟨Ѡ–о⟩ оказывается возможной только на первом слоге слова ([сѠ]ика, [со]хи), а в ненадначальном слоге она редка и всегда связана с наличием в прошлом ⟨ъ⟩; ср.: *как[Ѡй] беды* (< *какоѡ*) и *как[Ѡй] день* (< *какѡи*).

Таким образом, изменение ⟨Ѡ → Ѡ⟩ является рефлексом перехода количественного признака в качественный.

В большинстве русских говоров ⟨Ѡ⟩ действительно утрачивалась довольно рано, и всегда это происходило параллельно с изменением ⟨Ѡ⟩. Совпадение ⟨Ѡ⟩ с ⟨о⟩ происходило потому, что для ⟨Ѡ⟩ признак напряженности становился избыточным, после изменения ⟨е → о⟩ он не противопоставлял ⟨Ѡ⟩ никакой другой фонеме. Но если какой-нибудь признак выходит из системы хотя бы одной исчезающей фонемой (в данном случае ⟨Ѡ → е⟩), устраняется и та оппозиция, которая строилась по этому признаку. Так было после изменения ⟨ѡ → у⟩, в результате чего ⟨ѡ⟩ перешла в ⟨ä⟩; так было с изменением ⟨ъ → е⟩, почему и ⟨ъ⟩ изменилась в ⟨о⟩; так случилось и с переходом ⟨Ѡ → о⟩ после изменения ⟨Ѡ → е⟩. Отметим также, что все перечисленные изменения сближает одно общее свойство: они начинаются у гласных средневерхнего подъема. Можно даже сказать, что положение на средневерхнем уровне всегда становилось в русском языке критическим; оптимальным вариантом для русской системы является наличие трех степеней подъема, причем опорные гласные ⟨и, у, а⟩ никогда не изменяются.

Изменение качества ⟨Ѡ⟩ способствовало постепенному устранению этой фонемы. Система фонем определяла выбор позиционного варьирования в реализации ⟨Ѡ⟩ после того, как утратилось фонематическое противопоставление ⟨Ѡ–о⟩. Южнорусские говоры отличались напряженностью артикуляции ⟨Ѡ, Ѡ⟩, характерной для подударных гласных. В севернорусских говорах важна была не напряженность, а зависимость от окружающих согласных — по общим для гласного и согласного признакам: палатальность согласного — передний ряд у ⟨Ѡ⟩, лабиовелярность согласного — непередний ряд у ⟨Ѡ⟩. С этим связана традиционная для северных говоров б́ольшая степень мягкости согласных перед ⟨Ѡ⟩ (чем перед ⟨е⟩) и дифтонгоидность [иѠ] с последующим изменением ⟨Ѡ → и⟩ (но не в ⟨е⟩): только перед ⟨Ѡ, и⟩ согласный был мягким, перед ⟨е, а⟩ он был полумягким и потому не мог дать изменения ⟨Ѡ → е⟩. По этой же причине на севере не было выравнивания ⟨о → Ѡ⟩ после мягких согласных (типа *плеч[Ѡ]*, *хорош[Ѡ]*), но зато могло появляться изменение ⟨Ѡ ← о⟩ после лабиовелярных (губ-

ных и заднеязычных), например *бог* [бѣк] (ср. уже приведенные из древнерусского языка примеры типа [вѣ]ль, [крѣ]вь). Этим определено и направление фонетических нейтрализаций ⟨ѣ—о⟩: на севере — в зависимости от характера слога, на юге — в зависимости от ударения.

5.2.3. Фонетические варианты фонемы ⟨ѣ⟩

В рукописях, отражающих изменения ⟨ѣ⟩, иногда встречаются примеры написания с ѣ на месте исконных ⟨ь, е⟩ (в северных рукописях и на месте исконного ⟨и⟩; ср.: *крѣло*, *неповѣнный* вместо *крило*, *неповинный*). Чередование ѣ/и или ѣ/е доказывает, что в говоре писца происходит совпадение фонем ⟨ѣ → и⟩ или ⟨ѣ → е⟩, потому что односторонняя замена ѣ на е или и отражает только нейтрализацию противопоставления двух фонем в слабой позиции.

Сразу же после утраты редуцированных южнорусские (украинские) и севернорусские (новгородские) рукописи дают много примеров так называемого нового ѣ — написаний с ѣ на месте ⟨е, ь⟩ в определенных условиях. В галицко-волинских рукописях с середины XII в. до конца XIII в. ѣ вместо е пишется в новозакрытых слогах независимо от ударения: *боудѣть*, *въщѣ*, *въ нѣи*, *камѣнь*, *корѣнье*, *словѣсную* (на месте *бессловесную* и т. д.); ср.: Надпись 1161 г., ДЕ 1164 и др., но с XIII в. «нового» ѣ нет уже в форме 3-го л. (Е 1283). Историки украинского языка полагают, что в таких рукописях отражено возмездительное продление ⟨е → ē⟩ в слоге перед утраченными ⟨ь, ь⟩ (*вещь* → [вѣшь]), потому что к моменту утраты редуцированных количественные противопоставления еще имели значение для южнорусских говоров. Параллельно с этим и в тех же условиях происходило удлинение ⟨о → ō⟩ (ср. написания типа *воовчихъ* < *овчихъ*).

Из русских говоров «новый» ѣ наиболее последовательно отразили новгородские и соседние с ними говоры. Северо-восточные рукописи дошли до нас лишь от XIV в., когда и в новгородских источниках исчезает «новый» ѣ. Но те восточнорусские рукописи, которые имеются в нашем распоряжении (РК 1284), также обозначают «новый» ѣ и в тех же условиях, что новгородские. Можно было бы этот тип «нового» ѣ считать общерусским.

В русском языке «новый» ѣ из ⟨ь⟩ (или ⟨е⟩) появляется в сочетаниях типа **търътъ* (*върхоу*, *тървый*, *търсты*, *сърътъ*, *смърдѣ*, *твърдѣ*), в некоторых корнях одного типа (*лъсть*, *мѣсть*, *тѣсть*, *чѣсть*, также *въсь*, *тѣсь*, *тѣмный*), суффиксах (*вънѣць*, *конѣць*, *отѣць*, *сучѣць*, *телѣць*) или окончаниях (*дѣтъи*, *днѣи*, *звѣръи*, *конѣи*, *людѣи*, *огньмѣ*, *свинѣи*), на месте ⟨е⟩ «новый» ѣ встречается исключительно редко (*въщѣ*, *мѣчь*, *словѣсь* — все слова либо церковнославянские, либо

спорные по составу фонем: др.-рус. *мьчь* или *мечь*). В новгородских рукописях такие написания появляются со второй половины XIII в., их число увеличивается в XIV в., а с начала XV в. они исчезают совсем; примеры употребления «нового» *ь* находят и в церковных, и в бытовых текстах (даже в берестяных грамотах). Как и в галицко-волинских, так и в новгородских говорах «новый» *ь* впоследствии изменялся параллельно с изменениями исконного ⟨ê⟩; ср.: укр. *камінь* — *каменя* и современные севернорусские *вись*, *звирій*, *листь*, *отиць*. Это подтверждает, что *льсть* в новгородских рукописях по качеству действительно совпадал с ⟨ê⟩ (ср. *дѣти* → *дити*). «Новый» *ь* новгородского типа объясняет некоторые фонетические этапы утраты редуцированных, например формы типа *старць*, *творць* и второе полногласие. Во время изменения редуцированных суффиксальный ⟨ь⟩ исчезал в безударной позиции: *стáръць* — *стáръца*, *твóръць* — *твóръца*, но изменялся в ⟨ê⟩ под новоакутовой интонацией: *конѣць* — *конѣца*, *сучѣць* — *сучѣца*. Также несколько позже, уже в конце XIV в., наряду с *твѣръдь* — *твѣръди* — *твѣрди* появляются варианты *верѣхъ* — *верхá* с подравниванием под окончное ударение и в форме им. п.

Все изменения, связанные с «новым» *ь*, были синтагматическими, следовательно, на письме передавались не последовательно, а впоследствии были перекрыты более важными парадигматическими изменениями фонем; только рукописи XIII в. отражают первоначальное положение дел более или менее точно.

5.3. Изменение безударных гласных

5.3.1. Изменения после твердых согласных

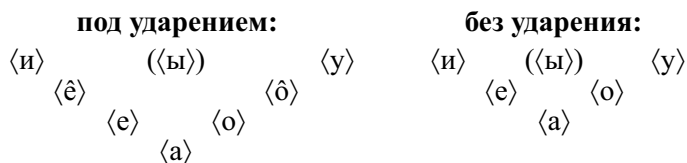
После утраты редуцированных в большинстве русских говоров сохранился единственный просодический признак, ставший морфологическим средством языка, — словесное ударение. Однако из древнерусского языка перешла чисто фонетическая структура словоформы: долгота предударного слога с долгим гласным выше долготы подударного слога с кратким гласным (т. е. с таким, который не восходит к слогу с новоакутом); количественное варьирование возможно и в предконечном слоге. Ритмическая структура слова могла быть противоречивой из-за несовпадения ритма словоформ (ударение и позиционные долготы). В современных русских говорах, которые лишь недавно стали утрачивать противопоставление безударных гласных, до сих пор отмечается особая ритмическая сила предударного слога: она может быть даже выше подударной. В южнорусских говорах это ритмическое несоответствие преобразовалось

в несоответствие гласных по их качеству, вызвало р е д у к ц и ю б е з у д а р н ы х г л а с н ы х (аканье в широком смысле) в первом предударном и в остальных безударных слогах по-разному. Количественное противопоставление в безударных слогах, утрачиваясь при выравнивании словоформ в пределах парадигмы (слова), заменилось качественной редукцией безударных гласных. Это изменение относительно новое (началось не раньше середины XIV в.) и по говорам имеет множество вариантов, всегда определяемых общей системой данного говора.

Все славянские говоры, развивавшие аканье, характеризуются изменением гласного в предударном слоге, отличным от изменения безударного гласного в прочих слогах. Ассимиляция в предударном слоге, по существу, продолжает древнерусский межслоговой сингармонизм, и произношение *калач*, *лапта* теперь характерно также для говоров, вообще не развивших аканья. Только возможность колебания ударения между разными слогами в различных словоформах, создававшего ритмическую неустойчивость слова, приводила к развитию аканья. Славянские языки отражают аканье сначала только после твердых согласных (аканье в узком смысле), тогда как после мягких гласные еще противопоставлены по основным своим признакам. Таким образом, разные типы яканья вторичны и представляют собой совсем новое образование в говорах, развивших корреляцию согласных по твердости–мягкости.

Редукция безударных гласных действительно явилась способом преобразования количественных отношений, которые стали позиционными и после утраты редуцированных не имели уже никакого фонологического значения. Наконец, аканье развивалось только в тех говорах, которые количественную редукцию безударных гласных соединили с качественной редукцией подударных гласных, т. е. там, где было устранено противопоставление напряженных гласных ⟨ô, ê⟩ ненапряженным ⟨о, е⟩. Аканье в широком смысле — это утрата признака н а п р я ж е н н о с т и, прошедшая последовательно во всех слогах и преобразовавшая ритмический контур слова.

Изменения гласных, такие, как ⟨e → o⟩, ⟨ê → e⟩, подготовили и обусловили изменение фонологической системы гласных. Возникло несоответствие между двумя типами гласных — под ударением и без ударения:



В одних и тех же морфемах (например, в корневых) в соотношении двух типов гласных образуются первые пересекающиеся ряды:

под ударением: ⟨ê⟩ ⟨e⟩ ⟨o⟩ ⟨ô⟩
 └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘
без ударения: ⟨e⟩ ⟨e⟩ ⟨o⟩

которые потенциально могут распространяться и на другие корреляции, поскольку уже намечился основной принцип соответствия (путем синтагматической нейтрализации) элементов двух параллельных парадигматических систем.

Общая тенденция заключается в постепенном распространении в безударной позиции только тех гласных, которые не образуют с ударными гласными пересекающихся рядов, т. е. ⟨а, и⟩. Следовательно, логическим завершением заданной динамической тенденции должны стать а канье после твердых и и канье после мягких согласных.

А канье, т. е. изменение безударного гласного после твердого согласного, сформировалось раньше, потому что только две неверхние гласные фонемы оказались возможными после твердых согласных: ⟨о⟩ и ⟨а⟩. Принцип их совмещения во всех говорах с XIV до XX в. остается неизменным; рассмотрим его на примере современного севернорусского говора, развивающего аканье.

Из двух признаков, различающих ⟨о⟩ и ⟨а⟩, сначала нейтрализуется наиболее важный, тот, который формирует вокалическую корреляцию по лабиализации. Другой признак (по подъему = компактности) некоторое время может сохраняться и в безударных слогах. В результате первой нейтрализации противопоставление ⟨о–а⟩ сохраняется еще и в безударной позиции, хотя лишь по одному признаку, следовательно, не ⟨а–о⟩, а ⟨а–а̣⟩ (компактное ⟨а̣⟩ — некомпактное ⟨а̣̄⟩). Лабиализованность гласного переходит на согласный или вообще исчезает, становясь позиционным признаком. Можно даже думать, что лабиализованность в этой системе сохраняется, хотя и становится линейным различительным признаком, связанным с характером предшествующего согласного.

Если утрата лабиализованности в оппозиции ⟨о–а⟩ связана с изменением парадигматической системы (обязана совпадению ⟨ê⟩ с ⟨e⟩, ⟨ô⟩ с ⟨o⟩), то утрату противопоставления по подъему, собственно, и следует назвать аканьем. Эта вторая по времени нейтрализация в противопоставлении ⟨о–а⟩ не вызвала парадигматических изменений; с фонологической точки зрения это самое простое и несущественное изменение: синтагматическая нейтрализация фонемного противопоставления в слабой позиции. Следовательно, фонологически совпадение ⟨о⟩ с ⟨а⟩ (или, точнее, ⟨а̣̄⟩ с ⟨а̣̄̄⟩) в [а] указывает на то, что в слабой позиции выявляется позиционный вариант фонемы ⟨а̣̄̄⟩, но не ⟨о̣̄̄⟩. Ср.: [сам] — [сом] = [самá] — [самạ́̄̄] — в предударном слоге в обоих случаях [а], хотя возник-

кающие при этом морфонологические чередования [o/a] (*сам* — *самá* и [сам] — [самá]) сохраняют единство морфемы (не фонемы).

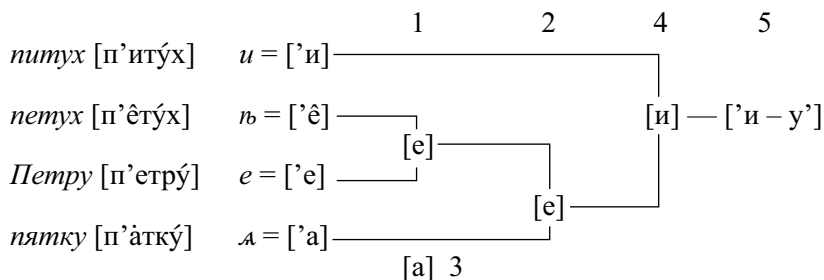
Именно на этом этапе и возникают самые разнообразные возможности варьирования в зависимости от синтагматического окружения, которыми так богаты современные русские говоры. Исходную ситуацию такого изменения реконструировали на материале московских рукописей XVI–XVII вв. Тот же этап отражен в нижегородских, шуйских, костромских грамотах XVII в., в более ранних северо-восточных рукописях (СЕ 1340, ПЕ 1354, МП XIV). В этих источниках нет достоверных примеров чередования [o/a] в предударном слоге, здесь ⟨a–a⟩ противопоставлены друг другу, но в остальных безударных слогах, и особенно в заударных, изменение ⟨o → a⟩ встречается довольно часто; ср. написания типа *абыскать, аржаной, калачи, начеваль, Радионъ, тапора, шапакъ; желтаю, неведано* и т. д. в морфонологически изолированных (не проверяемых сильной позицией) положениях. В таких написаниях отражена редукция безударного гласного, подобно тому, как это еще и сейчас происходит во всех русских говорах, развивающих аканье из оканья. Фонологически это значит, что ритмический контур словоформы способствовал нейтрализации ⟨a–a⟩ в самых слабых слогах, совмещая на одном гласном качественную редукцию (нейтрализацию по признаку подъема) с количественной, т. е. с редукцией в общепринятом смысле: *водовоз* [водовóс] > [вадавóс] > [въдавóс]. Затем начались ассимилятивные и диссимилятивные процессы в предударном слоге, в результате чего возникли многие типы русского безударного вокализма.

По-видимому, в заударном слоге редукция происходила раньше, чем во втором предударном; судить об этом можно на основе написаний типа *въ мьдным замке, пахынья земли, соборывань, старыста, сынъ Лазыревъ, для какова вымослу, старами льтами* и др. с *ы* на месте ⟨o, a⟩ или, наоборот, *а, о* на месте *ы* в тульских и московских грамотах XVII в. Древность аканья в том или ином говоре можно установить по типу уподобления предударного гласного гласному под ударением: сначала диссимиляция, затем ассимиляция, позже всего развиваются типы умеренного яканья (влияние не следующего гласного, а твердости–мягкости последующего согласного) — этот тип возникает уже после окончательного оформления корреляции согласных по твердости–мягкости.

5.3.2. Изменения после мягких согласных

Изменение безударных гласных после мягких согласных происходило медленнее из-за большого числа необходимых нейтрализаций и длительности процесса образования корреляции согласных по твер-

дости-мягкости. Схематически последовательность изменения можно представить следующим образом:



1. Нейтрализация $\langle \hat{e}-e \rangle$ шла параллельно с изменением $\langle e \rightarrow o \rangle$ перед твердыми согласными, но только после парадигматического совпадения $\langle \hat{e} \rightarrow e \rangle$ начинается следующая нейтрализация по новому признаку: $\langle e-a \rangle$ в $\langle e \rangle$ или в $\langle a \rangle$. К началу XVI в. первый этап завершился в московских и окрестных говорах.

2. Это изменение представляет собой дальнейшее развитие безударного вокализма после мягких согласных. Система делает следующий «шаг» в сторону совпадения нелабиализованных гласных в одном типе: [п'и́тух], но [п'êту́х] (противопоставление слов со значениями 'пьяница' — 'петух'), [п'êтру́], [п'етку́]. Возникает так называемое е канье.

3. Это направление является своеобразным тупиком развития системы: безударные гласные совпадают в $\langle a \rangle$ (яканье); ср.: [п'и́тух] — [п'а́тух], [п'атру́], [п'атку́]. Для большинства южнорусских говоров яканье стало обычным. Выбор ёканья или яканья также определялся структурными особенностями системы. В говорах с изменением $\langle e \rightarrow o \rangle$ перед твердыми согласными после первого этапа появились расхождения типа [п'êту́х], [п'етку́], но [п'отру́], т. е. образовалось чередование безударных гласных по ряду. Выбор нейтрализации [e] или не-[e] зависит от противопоставления по ряду ($\langle e-o \rangle$), выбор нейтрализации [a] — не-[a] зависит от степени подъема. И в южнорусских говорах, развивающихся в сторону аканья, распространяется либо [e], либо [a] — в зависимости от того, какой гласный стоит в подударном слоге, образуются различия диссимилятивного, ассимилятивного, ассимилятивно-диссимилятивного яканья; например, в архаическом типе перед напряженными $\hat{e}, \hat{o}, y, \text{и}, \text{ы}$ ненапряженный [a] (*село* [с'алô] — [с'ал'ê] — [с'алу́]), перед ненапряженными [a, e, o] — напряженный гласный (с переходом предударного [e] в [и], поскольку [e] не являлся напряженным: [с'илóм] — [с'илá]). Говоры, развивавшиеся яканье, к моменту изменения еще сохраняли фонему $\langle \hat{e} \rangle$, поэтому в них первоначально оказывалось возможным совпадение безударных

[а, е] в [а], т. е. происходило максимальное отстранение безударных от напряженных передних [ê, и].

Некоторые современные среднерусские говоры также развивают яканье, если перед тем у них завершилось изменение ⟨е → о⟩ в безударных слогах; ср.: *несу* [н'осú], *Петру* [п'отрú], *тяну* [т'анú], *пятку* [п'аткú] → [н'асú], [п'атрú], [т'анú], [п'аткú]. Именно такой тип яканья из êканья отражен в XVII в. у Авв.; ср. написания типа *шпынят* ≥ *шпынь от* ('шпынь тот', т. е. 'тот шут') из *шпынь ть* ≥ *шпынет* ≥ [шпын'от] на стыке слов, следовательно, чисто синтагматические. Яканье хорошо отражается в смоленских, калужских, курских грамотах XVI–XVII вв. В тульских, можайских и соседних с московскими елецких, шуйских, волоколамских, собственно московских говорах некоторое время (весь XVI в.) направление нейтрализации остается неясным: в одних позициях ⟨а⟩ (обычно в заударных слогах), в других ⟨е⟩ (как правило, в предударных слогах). Можно думать, что в предударном слоге происходила синтагматическая нейтрализация оппозиции ⟨а–е⟩ в ⟨е⟩, а в остальных безударных слогах параллельно с изменением безударного вокализма после твердых согласных гласные редуцировались и в количественном отношении, т. е. сокращались; ср.: *десети*, *кленется*, *паметци*, *плесание*, *по пети*, *стрення* (но *кожные*, *лошадь*, *обычехъ*, *посъевъ* — *посъявъ*, *рухледъ*) и *государьское жалованья*, *какое платья* (но *полтявого*), *платья всякое*, *укладяю* в Дом. XVI. Êканье в предударном слоге окончательно утвердилось в старомосковском говоре в XVII в., к самому концу XVII в. относятся первые примеры иканья, но они еще не выразительны; ср. в некоторых грамотах написания типа *видили*, *перуилка*, *стрилетукихъ* — некоторые могут быть результатом изменения ⟨ê⟩ (ъ).

Дальнейшее изменение безударного вокализма затруднено в системах с яканьем, поскольку безударный вокализм после мягких согласных строится здесь на контрастных противопоставлениях самого верхнего и самого нижнего гласного ([п'итúх] — [п'атúх]). Этим объясняется устойчивость яканья, но это же свидетельствует о неспособности системы к дальнейшим сокращениям в слабых позициях.

4. Совпадение ⟨и–е⟩ в ⟨и⟩ активно проявляется с XVIII в., это изменение завершает общую линию динамических нейтрализаций в безударных слогах, хотя, строго говоря, совпадение ⟨и⟩ с ⟨е⟩ нейтрализацией назвать нельзя. Нейтрализация всегда осуществляется в пользу немаркированного члена противопоставления, а в этой оппозиции маркирован верхний гласный (по напряженности). Кроме того, и фонетически «полное» иканье, т. е. последовательное замещение гласным [и] всех прочих безударных гласных после мягкого согласного происходило относительно поздно. На протяжении XVIII в., отчасти и в XIX в. [и–е] сосуществуют в определенном позиционном распределении, в разных стилях речи, неодинаково в литературном

произношении Москвы и Петербурга и т. д. Еще в 1930-е гг. литературной нормой было еканье. Окончательный выбор [и] в литературной речи обусловлен тем, что после мягкого согласного возможен был и другой верхний гласный [у] (*любовь* [л'уббф']), а после окончательного утверждения корреляции согласных по твердости–мягкости наиболее выразительным гласным, подчеркивающим палатализованность согласного в безударном слоге, был, конечно, [и], а не [е].

5. Специально в литературном языке (с XIX в. в старопетербургском произношении) происходило дальнейшее упрощение системы безударного вокализма после мягких согласных. Фонематическая важность маркированного по признаку мягкости согласного в безударном слоге настолько существенна, что все прочие противопоставления в слоге, например противопоставление ⟨и–у⟩, оказываются несущественными в оппозиции форм типа *гляди* [гл'ид'й], *людей* [л'уд'эй], *седой* [с'идбй], *сюда* [с'удá]. Единственный признак противопоставления ⟨и–у⟩ — лабиализованность — нейтрализовался после мягких согласных по принципу контраста лабиализованности (гласного) и палатализованности (согласного), признаков, несоединимых в ослабленном по многим качествам безударном слоге. Так возникло развивающееся сейчас произношение типа [гл'и-д'й] — [л'ид'эй], [судá] — [с'идбй]: после твердого согласного (зубной [с]) проявляется лабиализованность, после мягкого (переднеязычного [л']) она устраняется. Устойчивее всего указанное изменение наблюдается в морфологически изолированной позиции, и притом в заударном слоге, т. е. как раз там, где все изменения безударных гласных раньше всего и начинаются; ср. произношение слов *полюс* [пол'бс], *челюсть* [ч'эл'бс'т'], поскольку фонетически заударный слог самый слабый, а в морфологическом отношении он не соотносится с сильной позицией этого гласного (никогда не становится подударным в этих именно словах). Указанный процесс стал возможным после окончательного оформления корреляции согласных по твердости–мягкости и после серии последовательно снятых противопоставлений безударных гласных по подъему. Позже безударные слоги после мягких согласных окажутся связанными с [и], который, не противопоставляясь другим гласным в этой позиции, станет простым носителем словоговости.

Таким образом, в безударном положении система возвращается к древнерусскому противопоставлению на уровне слога, постепенно приводя к изменениям и парадигматическую систему гласных фонем (в сильной позиции — на синтагматическом уровне). Современные фонетисты отмечают, что в русском литературном языке после возможной в быстрой речи редукции безударного гласного до нуля сразу же начинается ассимиляция согласных по твердости–мягкости, даже в первом предударном слоге; ср.: *обязательно* [аб'изат'ел'нь] ≥ [обзát'ел'нь], *видимо* [в'йд'имь] ≥ [в'йдмь] и т. д. Корреляция по твер-

дости–мягкости, став ведущей структурной особенностью языка, определяет теперь направление изменения в тексте и морфологические типы выравнивания. Происходит это пока в морфологически изолированной и ритмически ослабленной позиции, и притом в немногих словах, но динамическая тенденция проявляется весьма определенно.

6. СЛЕДСТВИЯ ФОНЕМНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

6.1. Общие принципы изменения

Все изменения, рассмотренные здесь, так или иначе связаны друг с другом, соотносятся с фонетическими эквивалентами фонем и с морфологической функцией этих фонем в языке; отражены в письменных источниках и сохранились в современных говорах; имеют внутреннюю логику развертывания системы, промежуточные стадии которой сохранились в отдельных словах или грамматических формах. Вычленить какой-нибудь фрагмент этой динамической системы и рассматривать его изолированно было бы опасным упрощением.

В целом можно заметить, что инвентарь фонетических средств за многие столетия почти не изменился; например, «редуцированные» как особый тип звуков или «аканье» как форма нейтрализации, или «мягкость» согласных как способ разграничения «одинаковых» звуков — все это было в праславянском, в древнерусском, в старорусском языках, есть и в современном русском языке. То же относится и к просодическим средствам фонетики, включая сюда интонацию, долготу, ударение и паузу.

Главным содержанием исторической фонетики русского языка стало не обогащение фонетическими средствами (основная задача праславянской фонетики), а системная организация наличных фонетических средств в связи с развитием и стабилизацией грамматической и лексической систем языка. Происходили перераспределение относительной ценности тех или иных «звуковых особенностей», фонологизация прежде несущественных или малосущественных признаков различия, «устранение» нейтрализации менее важных фонемных противопоставлений, закреплялись новые принципы варьирования и постепенное усложнение функциональных и стилистических возможностей фонетики.

Основной процесс заключался в неуклонном формировании противопоставления парадигматической системы с совокупностью ее различительных признаков синтагматической системе, в которой

первоначально были сосредоточены все ведущие признаки гласных и согласных; в постепенном сгущении собственно «звуковых» признаков на гласном и согласном и их отстранении от признаков слога; в постепенном расхождении между гласными и согласными и устранении промежуточных между ними глайдов (системы сонантов); в максимальном развитии системы согласных за счет количественной и качественной редукции системы вокализма.

Последовательность всех изменений доступна обозрению главным образом благодаря общей причинно-следственной связи между ними и той зависимости от изменений на содержательном уровне, которая регистрируется в грамматических и лексических архаизмах. Пределом варьирования «оттенков» фонемы являются синтагматические правила сочетаемости фонем в тексте, которые определяются известной системой различительных признаков. Законченность каждой частной системы есть условие существования смежных и зависимых от данной системы элементов. Противоречия между ними, и чаще всего между парадигматической и синтагматической системами фонем, становятся причиной очередного изменения. Материальным воплощением утраты фонем является противоречие между равнозначными фонетическими средствами речи, выступающими в различной языковой функции (старый *ль* и новый *ль*, старый редуцированный и новый редуцированный, старые мягкие согласные и новые мягкие согласные). Свои условия и предпосылки имеют и другие типы фонематических изменений, всегда основанные на переработке наличного фонетического материала.

Пространственные и временные в а р и а ц и и общерусской системы изучают историческая диалектология, диалектология, история литературного языка. По мере возможности мы обращали внимание на те импульсы со стороны функциональной и стилистической систем языка, которые оказали свое влияние на развитие русской фонологической системы. Многообразное и разнонаправленное переплетение всех этих причин (многие из них еще не очень ясны) способствовало постоянным преобразованиям системы в целях максимального соответствия содержательным уровням языка и сохранения статуса формального разграничителя. Чтобы сохраниться, система должна изменяться. Чтобы измениться, она должна на каждом этапе развития иметь не только причины, условия и предпосылки изменения, но и цель развития.

Такой целью было стремление к максимально точному и полному разграничению тех смысловых единиц языка, которые связаны с лексикой и морфологией.

Сами по себе звуки речи не очень важная сторона системы. Звуки мало изменяются, и есть основания полагать, что Владимир Красное Солнышко или Дмитрий Донской произносили их примерно так, как сегодня произносим их мы. Изменялись не звуки, а отношения между ними и принципы их согласования в фонетическом тексте.

На исторических фактах мы убедились, что звуковые изменения происходят под давлением морфологических факторов и, в свою очередь, вызывают очень важные преобразования на всех остальных уровнях языковой системы, вплоть до глубинно ментальных, связанных со сферой коллективной речемысли народа. Различное отношение к таким изменениям, как редукция безударных гласных или, например, формирование корреляции согласных по мягкости–твердости (последовательно–непоследовательно–незавершенно–отсутствует), в известном смысле связано со многими особенностями культурной и духовной жизни народа, говорящего на данном славянском языке. Сравните русского, украинца, поляка, серба, в языке которых указанные изменения отразились различным образом, и вы увидите различия в духовном их складе, связанном в том числе и с внешней формой их каждодневной речи.

В отличие от фонетических вариаций в звучании речи, фонемные изменения происходят на широкой дуге исторического времени и фактически никогда не прекращаются. Например, у гласных самое древнее чередование ⟨е–о⟩ (*веду* — *водит*) стало наводящим на все последующие изменения гласных среднего подъема: и ⟨ь↔ъ⟩, и ⟨е → о⟩ (*веду* — *вёл*), и ⟨о → а⟩ (т. е. ⟨ǎ–ā⟩) — изменялись только позиции, в которых происходили подобные преобразования системы, в результате чего к о р е н н о е морфологическое чередование ⟨е–о⟩ расширяло зону своего действия на пользу морфологии и лексике.

6.2. Развитие графики и орфографии

Фонетические изменения приводили к преобразованиям в области орфографии, т. е. в письменной форме речи.

Принцип орфографии — это идеальная форма, под которую подводятся правила правописания конкретных слов и их грамматических разрядов. В древнерусской традиции в качестве такого идеала писаных форм выступала идея *достоинства* и *образа*, т. е. ориентировались на признанные традицией типы написаний (п о о б р а з у образцов) в их особо почитаемой форме (п о п о д о б и ю высокого достоинства). Долгое время это были образцы южнославянского письма, поэтому в письменном тексте сохранялись искусственные написания, на основании которых теперь иногда говорят о «церковном произношении» или даже о «церковнославянском языке» эпохи Средневековья.

До конца XIV в. в рукописях находим множество отклонений от искусственного «образа и подобия» традиционной орфографии, но с начала XV в., в результате так называемого «второго южнославянского влияния», на Русь проникает совершенно условное, искусно вы-

строенное по определенным канонам письмо, за которым очень редко можно углядеть особенности восточнославянского произношения. Единственное его достоинство состоит в введении надстрочных знаков ударения; стало возможным изучать древнерусские акцентные. Необходимость в обозначении ударения возникла в связи с тем, что предшествующие фонетические изменения разрушили фонетическое единство словоформ, появилась необходимость соединить их разнообразие в единство слова, а словесное ударение как раз способствовало выделению слова из традиционных словесных формул текста. Известным ответом на новое внешнее «влияние» стало развитие «быстрого письма» — полуустава с переходом в скоропись: здесь меньше возможностей следовать *истовым* (уставным) правилам письма, поскольку в графике скоропись утрачивает достоинство образца.

Историки изучают древнерусскую орфографию не по справочникам и словарям, которых в то время не было, а по фактическим написаниям в рукописях разного времени и места создания. Результаты их исследований можно свести к нескольким заключениям.

Буквами алфавита — в графике — обозначались не звуки речи, а фонемы; фонемные преобразования X–XVII вв. привели к необходимости упрощения в написаниях или к расширению буквенного инвентаря, поскольку исходный принцип славянского письма — фонетический — оказался нарушенным. В графике появились буквы *й* и *ѡ* (с XVI в.), *ѣ* (с XVIII в.), а также преобразованные из других гласные буквы *э* или *я* (из юса малого в скорописи) и т. д.

Принципы орфографии исторически изменчивы. Например, в словах *его доброго* написания являются:

- 1) фонетическими, как [живо добръва];
- 2) морфологическими, как [јево доброво];
- 3) традиционными, как [его доброго].

Третий тип — это полное игнорирование всех фонемных изменений в словоформе, очень близкое к символическим обозначениям слова под титлом (*Бъ* — *богъ*, *ѡи* — *господи*). Уже в самой ранней древнерусской рукописи ПМ XI только две трети фонем переданы согласно фонетическому принципу, около 12% — символические и 22,5% — традиционные написания. Через полвека в основном почерке ОЕ 1056 традиционных написаний уже 40%, а символических — 14%. В дальнейшем отклонения от фонетического принципа написания увеличиваются, письменный текст не поспевает за происходящими фонемными изменениями, так что создается иллюзия архаичности самого языка, которая обманывает современного исследователя.

На протяжении всего Средневековья идет соревнование фонетического и морфологического принципов орфографии, оно завершается лишь в XVIII в. известной теорией письма М. В. Ломоносова, своим авторитетом утвердившего морфологический принцип как

основной: должно передаваться единство в написании любой морфемы данного слова и производных от него.

Таким образом, до XIV в. основным принципом русского письма был (условно) фонематический, с конца XIV в. до конца XVI в. (до начала книгопечатания) древнерусский фонематический принцип окончательно сходит на фонетический уровень, но преобладает символический принцип обозначений (написания типа *врѣхъ* вместо *верх*, *моа* вместо *моя* и т. д.) и традиционный (написания типа *домъ*, *добрый*, *доброго* с сохранением непроизносимых уже *-ъ*, *-ый*, *-ого*). Изменение принципов письма согласуется с общей установкой своего времени — это символизм как способ выражения священной идеи. Тем не менее даже церковные деятели середины XVI в. резко осуждают такое искусственное письмо «ино сербски, а ино болгарски».

Новая установка на «образ и подобие» не получила развития и на практике, во многом благодаря типично русскому отношению к порядку и равнодушию к формальным деталям письма. Скоропись отменяла все ухищрения искусственного изображения слов на письме. Рост авторитета московского говора и письменных образцов московских государевых канцелярий переломили тенденцию к символическим и традиционным написаниям (буквализм) в пользу четкого обозначения с м ы с л о в ы х единиц текста. Возникает и развивается тенденция к м о р ф о л о г и ч е с к о м у принципу орфографии.

На образцовых текстах первопечатных книг и по примеру «Граматики» Мелетия Смотрицкого (1619 г.) морфологический принцип правописания развивался, хотя и фонетически написаний еще довольно много в оригинальных русских (и рукописных) текстах XVII в. На практике (например, в рукописях протопопа Аввакума) из произношения допускаются только фонетически непроверяемые написания (*изба*, *гдѣ*, *трижды*, *другова*, *всево* и т. д.). Общий принцип орфографии состоял в том, что при возникновении того или иного позиционного изменения в фонемной структуре морфемы ее написание не изменяется; изменение наступает лишь при условии, если изменение фонемной структуры не имеет позиционной обусловленности либо теряет ее.

На всех этапах развития русской орфографии возникало сопротивление традиционному и символическому принципам в пользу живой речи — либо в произношении (фонетически), либо в сохранении смысловых единств (морфологически). «Орфографический террор» XIX–XX вв. связан был с установлением общеобязательных стандартов, которые не имеют ничего общего с исторически сложившимся правилом русского письма как идеала: если можно было выбирать написание, то для одних случаев предусматривалось одно из них, а для других *не другое, а оба*. Этот однонаправленный подход к нормированию русского письма оставался очень устойчивым и привел к обобщению компромиссного варианта: морфологического принципа русского правописания.

С победой фонематического принципа над праславянским просодическим (в устной речи завершилась к концу XII в.) письменная норма приходит к формированию *слогового принципа графики*: этот принцип был установлен в результате распада «силлабем», но окончательно сформировался в XVIII в. Графика как система обозначений на письме сегодня отражает фонематический принцип древнерусского языка, тем самым отставая от устной речи, так сказать, на два порядка: современная русская графика функционально равна древнерусской фонетике. Напротив, первоначально фонетичная орфография, хотя и ограниченная традиционными и символическими написаниями, вынесенными из старославянской письменности, через морфонологическую ступень развития переходит к морфологическому принципу уже после утраты редуцированных гласных. Другими словами, развитие русской орфографии идет как бы в ногу с развитием самого языка, отставая от последнего на один порядок. «Орфографический террор» Нового времени объясняется тем, что современное письмо уже полностью перешло на ступень морфологического, утратив связи с морфонологическим этапом своего развития, когда важны были не морфемы в единстве их написания (как в современной орфографии), а морфемы в единстве их произношения и написания (на письме отражались только различительные чередования фонем). Например, написания *вольно*, но *силно* отражали морфонологическое, а не морфологическое единство морфем в их написании; они одинаково противоречили и исконно фонетическим написаниям (*вольно*, *силно*), и современным морфологическим написаниям, случайно совпадающим с исконными (*вольно*, *силно*), но зато отражалась связь всех словоформ, в которые вступает данная корневая морфема, т. е. *вольно* при *воля* с обозначением мягкости, но *силно* при *сила* с обозначением твердости согласного корня. Другими словами, в написаниях такого рода отражался тот уровень развития языка, когда словоформа понималась несколько шире, чем теперь, не только как словоформа одного слова, но и как незамкнутый ряд всех производных от данного словесного корня.

В конечном счете контрастные различительные признаки гласных и согласных в пределах слога раскололи единство слога и в результате ряда фонетических изменений привели к освобождению согласных и гласных от взаимной связи, к употреблению каждого из них в любой комбинации с любым другим звуком, гласным или согласным. Это позволило неимоверно расширить возможности формо- и словообразования, увеличивая звуковые цепочки до любого предела. Произношение грамматически важных единиц (морфем) и на письме обозначалось адекватно их смыслу.

Все это создало предпосылки для важных изменений в грамматике и лексике старорусского языка.

МОРФОЛОГИЯ

1. ПРЕДПОСЫЛКИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ

1.1. Исходная неопределенность системы

Изменения древнерусского языка явились продолжением общеславянских грамматических процессов, основные результаты которых следует изложить. Для лучшего их понимания необходимо иметь в виду, что перед нами — вышедшая из общеславянского языка *система устной формы* существования, для которой фонетические изменения имеют особую цену, система с ограниченным количеством лексических единиц, т. е. вполне закрытая в части, охватывающей законченный список слов, которые к тому же представлены отдельными словоформами в синтаксически связанных формулах речи (семантически важен ближайший контекст).

Таким образом, это была система «исходной неопределенности», не свойственной современному представлению о грамматической системе. В ней отсутствовало формально и семантически выраженное противопоставление многих грамматических классов слов (скорее всего присутствовали только имя — глагол, обозначавшие символ и действие), которые определяются фонетически характером основы; им диктовались возможные формо- и словообразовательные корневые морфемы.

Уже завершилось переразложение основ в пользу окончаний и состоялось упрощение словоформ:

**gen-ā -s* > *ž'ena* > *жен-а*

**gen-ā -d* > *ž'eny* > *жен-ы*

**gen-ā -i* > *ž'en'ě* > *жен-ь*

**gen-ā -m* > *ž'enq* > *жен-у* и т. д.

Теперь уже не фонетически основа, а семантически корень слова играл главную роль в дифференциации словесного материала, посте-

пенно (но длительно) собирая разбросанные по формулам словоформы в одно слово, со временем представленное как грамматическая парадигма.

Однако в исходной системе отсутствовала и четкая иерархия грамматических категорий, которые выражены главным образом синтаксически (что понятно для языка синтетического строя); многие категории представлены в синкретизме общей формы, так что всякое формульное высказывание предстает как избыточное; ср. *дѣвѣь головѣь*, где «двоичность» выражена трижды: синтаксически — сочетанием, морфологически — формой и лексически — словами.

Наконец, единственно возможным типом синтаксической связи в этой системе выступает *сочинение* в предложении и *согласование* в словесной формуле; синтаксические отношения выражаются преимущественно морфологически, согласуемой формой слова (синтаксические конструкции со вторыми падежами, беспредложные падежные формы и т. д.).

Закончившиеся к X в. фонологические преобразования выработали многочисленные морфонологические чередования, регулярная последовательность которых создавала своего рода систему соответствий на формальном уровне:

<i>рука</i> — <i>ручьной</i> — <i>въручити</i>	или:	<i>коза</i> — <i>кожа</i>
<i>нога</i> — <i>ножьной</i> — (<i>обез</i>) <i>ножити</i>		<i>сухо</i> — <i>суша</i>
<i>грѣхъ</i> — <i>грѣшьной</i> — <i>грѣшити</i> — <i>грѣшьно</i>		<i>лугъ</i> — <i>лужа</i>

В семантическом пересечении различных производных, которые выявляют одно из возможных значений многозначного (синкретичного по смыслу) слова, исходные формы, не подвергшиеся изменениям, приобретают символический смысл; точнее было бы сказать, сохраняют таковой на общем фоне конкретно описательных, уточняющих значений слов производных. Если такого не случается, т. е. если и новое слово становится именем существительным, значения старого и нового слов расходятся, возникают возможности для обогащения символическими со-значениями; это видно на соответствиях: *духъ* — *душа*, *лугъ* — *лужа* и т. д.

Производные, в свою очередь, создавали возможность расширения за счет определительных слов, причем во всех случаях все новые слова выступали с конкретным значением:

<i>земь</i> — <i>земьской</i> , <i>земьной</i> и пр. с отвлеченным значением
<i>земля</i> — <i>земляной</i> , <i>земельный</i> и пр. с конкретным значением

Одновременно обозначилось выделение основных (для разговорной речи самых важных) грамматических форм:

любити: любиши, любить... люб-л-ю
носить: носиши, носить... но-ш-у
водить: водиши, водить... во-ж-у и т. д.

Постепенно возникавшая на фонетических основаниях иерархия форм со временем привела к осмыслению ее как системы; семантическое расхождение форм создавало их структурные отношения.

1.2. Формальные ограничения

Нейтрализация в широком смысле есть устранение одного из признаков различия в противопоставлении по данному признаку.

Соотношение грамматической формы и значения может оказаться прямо противоположным. Возможные типы распределения таковы:

1) если одна форма общей категории имеет несколько значений, перед нами исходный семантический *синкретизм* (от греч. συνκρητισμός ‘слитность’). Например, форма *кости* флексией указывает на принадлежность к определенному роду, числу, падежу и типу склонения одновременно. Такое совпадение дано исторически, но тем самым и задано следующее отношение, когда

2) несколько значений одной категории получают общую форму; например, совпадение падежных форм в древненовгородских говорах типа у *женъ* — к *женъ* — о *женъ*. Это уже *контаминация* (от лат. contaminatio ‘смешение’), а вовсе не синкретизм и не нейтрализация, как иногда утверждают. Не синкретизм, потому что перед нами совпадение форм при различии значений (указаны наличием предлогов); не нейтрализация — по тем же основаниям. Позиционно неизменно здесь содержание формы, а не сама форма в ее целом;

3) наоборот, позиционно неизменна форма, если исторически дано, что несколько значений одной категории представлены в одной форме — тогда перед нами случай грамматической *омонимии*. Так, совпадают флексии у форм одной и той же парадигмы род. п. *кост-и* — дат. п. *кост-и* — местн. п. *кост-и*. Тем самым уже и задано, что

4) одно и то же значение могут получать несколько равноправных форм одной категории; такова *синонимия* форм. Например, в древнерусском при унификации типов склонения имен мужского рода в местн. п. ед. ч. образовалась синонимия падежных окончаний:

сын-у — *стол-ѣ* — *дѣн-е* — *путь-и* и т. д.

5) наконец, возможны случаи, когда одна и та же форма имеет несколько значений разных категорий, в таком случае мы говорим о *многозначности* флексий. Так, флексия *-и* возможна не только у имен типа *кости*, *земли*, *кони*, *столи* и пр., но и у глаголов (*неси!* *еси!*)

и т. д. В узком терминологическом смысле такого рода «звуки» есть форма внешняя (фонемный знак), потому что в пределах каждой данной категории форма всегда соответствует своему содержанию, а такие категории у имен и глаголов разные (и по происхождению, и по функции). Но возможен и обратный случай, когда

б) одно и то же значение получают несколько форм разных категорий; например, разные формы выражения определенности вида у глаголов, определенности — у местоименных прилагательных и лица — у имен существительных; такой же случай — выражение категории рода у имен и у глаголов (в форме прош. вр.). В таком случае перед нами *конкуренция* синтагменных форм, которая обычно завершается системной организацией на парадигматическом уровне (*конкуренция* от лат. *concurrentio* ‘сталкивание’).

То, что в нашей формальной классификации дано (1, 3, 5), есть признаки исходной, т. е. выработанной в парадигме системы, которые получены в результате предшествующих изменений формы в связи с преобразованием содержания данной категории. То, что задано (2, 4, 6), отражает результат исторических изменений системы, основанных на принципе несимметричности языкового знака, в том числе и флексий (поскольку здесь рассмотрены именно они). Тем, что дано, в результате и задано последующее преобразование системы; типы 2, 4, 6 отражают динамику системы, а типы отношений 1, 3, 5 отражают ее исходное распределение.

Все указанные соотношения морфологичны. Синкретизм, омонимия и многозначность и, обратным движением мысли, — контаминация, синонимия и конкуренция отражают системные отношения внутри конкретных категориальных форм.

1.3. Распределение имен в составе парадигм

В типах склонения имен хронологически выделяются три этапа, каждый из которых отличался своим набором формальных признаков и семантических разрядов.

Самые древние по происхождению основы с исходом на согласный включали в свой состав имена конкретного значения (названия кровного родства, как самой близкой степени родства), были безразличны к категории рода (здесь представлены слова всех трех), знают лишь исходный тип чередований (<е-о>, более поздних чередований нет); здесь отсутствуют заимствованные слова, и вдобавок все согласные основ используются также в других грамматических категориях, что указывает на древнейший синкретизм самих именных основ: ср. -s- в формах сравнительной степени имен, в причастиях, в суффиксах,

-t- и *-n-* тоже как суффиксы причастий и имен. Все эти з у б н ы е согласные использовались как грамматические распространители основы уже в древнейшем языке.

Более новые основы на **ī-* и **ǫ-*, т. е. основы на глайды, включали в свой состав имена не только конкретного значения, и прежде всего названия природных явлений и предметов растительного, животного мира, но и обозначали свойство по линии женской (**ī-*основы) или мужской (**ǫ-*основы); сюда же входили счетные имена от 5 до 8, было много заимствований из германских диалектов; формо- и словообразовательные функции формант и здесь еще не расчленены (от данных основ «отслаивались» первые по времени славянские суффиксы *-ък-*, *-ьн-* и др.), а сами имена по ударению в основном типов *b* (с постоянным ударением на гласном основы) и *c* — с подвижным; типы чередований расширяются — добавляются формы с редуцией в им. п. ед. ч. Выделение имен со значением признака дало синтаксическое средство различения согласуемых имен по роду, но еще не грамматическую категорию рода, поскольку лишь на следующем этапе развития основ (когда явились имена с новыми суффиксами типа *-ав-*, *-ат-*) они из простых распространителей развились в суффиксы и вступили в чередование по условному признаку грамматического рода — типа *великъ* — *велико* — *велика*.

Исторически самые новые типы основ — основы на **ā-* (**jē-*), **ǫ-* (**jǫ-*); они охватывают лексику отвлеченного и собирательного значения (гласный основы **ā-* по происхождению — суффикс собирательности) и социально терминологическую, здесь много заимствованных слов (преимущественно из греческого языка), представляются особые счетные имена *сто* и *тысяча*. В этих основах представлены все известные типы чередований, которые возникали постепенно, включая и чередования по долготе (< *e-o-#ā-*: ср. *слово* — *слава*). И только данные типы основ предстают со всеми тремя акцентными парадигмами в их полном составе — появляются имена с постоянным ударением на корне. Образования на **ā-* с самого начала включают слова, не имеющие соответственных слов мужского рода (*жена*, *баба*, *сньха*, *коза*) или чередующиеся со словами мужского рода других типов склонения (*робъ* — *роба*, *стягъ* — *стьза*), причем со временем именно в данных типах склонения увеличивалось количество имен отвлеченного значения, особенно в обозначении признака (*новъ* — *нова*, *нагъ* — *нага*) и столь же отвлеченного значения отглагольных имен с редуцированным в корне (*тъма*, *чърта*, *кръха* в их соответствиях с кратким типа *гроза*, *доба*, *нога*, а у глаголов — с долгим: *хвалити* — *хвала*, *славити* — *слава*). Основы на **ǫ-* включали в свой состав имена действия и вообще часто соотносились с глагольными основами, сохраняя, в частности, краткий гласный корня как результат нового чередования (*токъ* — *теку*, *возъ* — *везу*, *боръ* — *беру*).

На всех трех этапах накопления именных основ появлялись параллельные по характеру фонем долготные и краткостные варианты, которые в конце концов были четко противопоставлены друг другу (после образования **ā*-основ):

<i>*eř</i>	<i>*ī *ī̄ *ā (*jē)</i> — идея «женского» рода
<i>*es *ent *en</i>	<i>*ǫ *ǭ *ā (*jē) (*jū)</i> — идея «неженского» рода

Таким образом, различие по грамматическому «роду» сначала представляло как эквиполентная (равнозначная) чисто фонемная оппозиция у классов имен. Историческая акцентология показывает, что разделение «неженских» имен на имена мужского и среднего рода происходило параллельно с перераспределением имен по типам склонения: слова с ударением на тематическом гласном (окситонеза **b**) стали именами «среднего рода», а слова с подвижным типом ударения — именами «мужского рода».

Так на исходе праславянской эпохи акцентные схемы, регулирующие в действии словоформы устной речи, и грамматический признак «рода» оказались совмещенными с типом основы (т. е. с морфологическим классом имен), поскольку их формальный синкретизм неизбежен в устной речи. Это своего рода «комплексный» различительный признак: фонологически — гласный основы // морфонологически — акцент и чередования в основе // морфологически — род (класс) имен. В праславянском языке был важен признак морфонологический, это единственная реальность звучания; именно он после переразложения основ и опрощения связывал слова в определенные группы и классы. Но это не морфологический в узком смысле признак различения. Морфологический признак возникает в группе согласуемых слов, у древних «прилагательных», т. е. синтаксически, и затем он постепенно развивается в самостоятельную грамматическую категорию — категорию рода. В дальнейшем мы увидим, как это происходило в языке.

1.4. Древнейшее перераспределение имен по типам основ

Сопоставление с другими индоевропейскими языками, прежде всего балтийскими, показывает, что в праславянском могли быть и исчезнувшие впоследствии типы склонения, и совершенно иной состав имен в известных нам типах склонения. Например, кроме **ǫ*-основ могли быть слова **jǫ*-основ (*конь*, отсюда зват. п. *коню!*). Морфонологические изменения конца слова рано перевели их в класс **jo*, и потому еще до появления памятников письменности **jǫ*-основы совпали с **jo*-основами. То же касается и старых **ī*-основ (*княгыни*, *рабыни*), совпавших с основами на **ā*.

Еще в общеславянском языке началось перераспределение имен в зависимости от формального «рода». Имена мужского и женского рода ушли из консонантных основ, кроме основ на *eř (отсюда, напротив, ушли имена мужского рода: *братръ, дъверь, шур(ин)* и др.), в том числе и такие важные слова женского рода, как *вода*, довольно сильно преобразовались имена *es-, *en-основ, из основ на *й- ушли имена типа *кор(ова), ябл(око), дървь* и др.

Консонантные основы сокращались по составу имен путем перехода ряда слов в новые типы склонения. Так, слова *голос, колос, дух* и др. из *es-основ перешли в мужской род *o-основ, а *баснь, пьсьнь* — в женский род *i-основ. То же случилось с другими именами «несреднего» рода. Но слова среднего рода оставались в архаическом типе склонения на *es-: *диво, дръво, дъло, иго, коло, небо, око, слово, тьло, чело, чудо* и др.

Все слова, сохранявшие свои древние основы, отличались особым семантическим содержанием; по преимуществу они обслуживали сакральную сферу, выступая в высоком стиле речи и не входили в образовавшееся противопоставление по роду: мужской — женский. То же мы видим и в других типах именных основ. Слова мужского рода уходят из консонантных основ (*дънь*) или изменяют свою родовую характеристику, оставаясь в прежнем классе. Очень часто использовался способ расширения слова суффиксом, что также выводило слово из архаического класса имен в новый, ср.: *камы* — *камене* > *камыкъ, жръбья* — *жръбьць, теля* — *тельць, отроя* — *отрокъ, паря, паряте* > *парень* и др. Основа -en- иногда переосмыслялась как суффиксальная; на это указывает произношение украинских слов *гребінь, камінь, кремінь*: при наличии древнерусских написаний *камѣнь, перстѣнь, ремѣнь* это выдает совершенно новое произношение слога по сравнению с исконным гласным ⟨e⟩ в основе («новый ять»).

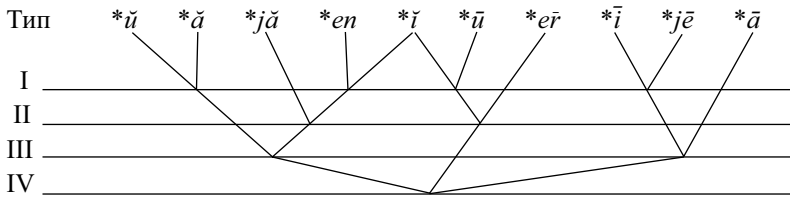
Так образуется важное для древнеславянской системы соотношение: формальный характер именной основы согласуется с определенным содержательным классом имен, которые отныне воспринимаются (условно, в более поздней грамматической традиции) как имена мужского, среднего и женского рода.

1.5. Фонетические предпосылки совпадения именных основ

В течение тысячелетия многочисленные типы склонения постепенно сходились в ограниченное их число, определяемое теперь грамматической категорией рода. Совмещение типов склонения происходило не одновременно в формах ед. и мн. ч., каждый раз попарно

соединя «соседние» по многим признакам типы, так что изменение исходной системы происходило незаметно, всегда только на «один шаг», и притом от слова к слову; в синкретизме форм снимается только один какой-то признак. Все схождения регулируются возможностью фонетической (фонематической) системы, уже описанной в разделе «Фонология»:

им. п. ед. ч. *домъ столь конь днь зять бры мати судиши земля жена*
 вин. п. ед. ч. *домъ столь конь днь зять бръвь матерь судио землю жену*



(все имена во мн. ч.)

Совпадения I уровня до середины XI в. касаются основ, не противопоставленных по мягкости–твердости: только твердые, полумягкие или палатальные основы соединяются друг с другом попарно, т. е. *домъ* — *столь*, *зять* — *днь*, *бръвь* — *кость*, *судия* — *земля* и пр.

Вторичное смягчение полумягких согласных, происшедшее во второй половине XI в., увеличило возможности совпадения (уровень II) между мягкими и прежде полумягкими основами одного и того же грамматического рода (тип *конь* — *зять*). Происходит постоянное расширение вариантов флексии для отдельных имен в определенных падежных окончаниях, создающее стилистический разнобой в традиционных речевых формулах; ср. последовательное развитие форм типа от *дње*, *сего дъни*, *сегодня*.

С середины XII в., после падения редуцированных гласных, начинается последовательное совпадение всех старых типов основ уже только в зависимости от принадлежности к определенному грамматическому роду (уровень III). Мягкие и твердые основы при общих флексиях выступают теперь вариантами общей парадигмы, в результате чего начинается выравнивание основ, но с различными результатами в северных и южных древнерусских говорах, поскольку процессы вторичного смягчения согласных и утраты редуцированных в этих зонах происходили одновременно. На севере в качестве самостоятельных долго сохранялись палатальные основы (тип *конь*), одинаково противопоставленные как твердым (*столь*), так и полумягким (*зять*), поэтому в морфологическом выравнивании основ побеждал маркированный мягкий вариант, возникали формы типа *о зяти*, *о сто-*

ли, о кони на месте прежних форм *о зяти, о столъ, на кони* и на месте южнорусских *о зять, о столъ, на конь*; ср. у слов женского рода соответственно формы *отъ земель, отъ женъ, на земли, о жени*. Фонематические основания морфологического выравнивания являлись всеобщими и определили в дальнейшем все изменения, в том числе и чисто фонетические, например изменения фонемы ⟨ê⟩ («ять») в ⟨e⟩ на юге и в ⟨и⟩ на севере, поскольку фонемы ⟨e—ê—и⟩ оказывались вариантами одной и той же флексии, т. е. выступали в одинаковой ф у н к ц и и (ср. местн. п. ед. ч. мужского рода *дьне — столъ — кони*).

В большинстве же русских говоров центра и юга выравнивание флексий пошло по твердому варианту склонения, поскольку в соответствующих системах сразу после падения редуцированных возникло противопоставление мягких согласных твердым, а палатальных вариантов, как самостоятельно морфологических, уже не было; здесь возникали формы типа *о зять, о столъ, на конь, от земли, от жены, о женъ*. Однако еще и позже, вплоть до момента окончательной стабилизации парадигм в XVIII в., выбор окончаний во флексии определялся морфологически, ср. соотношения типа местн. п. ед. ч. *в вьць — на вьку*, род. п. мн. ч. *рублов, ножов* → *рублей, ножей* и т. д.

Что же касается унификации типов склонения во мн. ч. (уровень IV), оно также обусловлено фонематически. После падения редуцированных гласных основные косвенные формы склонения во мн. ч. получили следующий вид:

Число	Падеж	*й	*о	*jo	*i	*cons	*а	*ja
мн. ч.	дат. п.	-ом	-ом	-ем	-ем	-ем	-ам	-ам
	тв. п.	-ми	-ы	-и	-ми	-ми	-(а)ми	-(а)ми
	местн. п.	-ох	-ьх	-их	-ех	-ех	-ах	-ах

Почти все формы внутренне объединены и фонетически реализуются по общности консонантного элемента флексии, соответственно это *-м-, -ми-, -х-*. После падения редуцированных и связанных с тем упрощений безударных гласных основным структурным элементом форманта стал именно согласный; поскольку же вариации гласных в его составе становятся несущественными и в речи часто подвергаются редукции, происходит обобщение наиболее выразительного и материально четкого в условиях акающего произношения варианта с ⟨а⟩. Процесс этот не мог начаться раньше развития аканья, т. е. с конца XIV в., но к XVIII в. выравнивание основ завершилось, позже всего в форме тв. п. мн. ч. В окающих говорах имелись свои особенности обобщения флексий, но общерусской (и нормативно литературной) стала указанная здесь полупарадигма мн. ч.

2. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

2.1. Категория падежа

Основные категории имени в историческом их развитии — это тип склонения (основа), род, число, падеж, затем и одушевленность.

В праславянском языке всеобщим свойством каждого имени был тип, характер основы; все имена либо отличались друг от друга, либо входили в общий ряд по типу основ, не имевшему значения грамматической категории, потому что он определялся чисто фонетически и включал в свой состав самую разнообразную по семантике лексику. Остальные категории не охватывали всех имен последовательно и всесторонне.

Категория падежа с самого начала являлась синтаксической, поскольку падежная форма имени выражает отношение имени к другим словам в речи. Каждая форма слова в определенной речевой формуле представляла как самостоятельное слово. Многие факты показывают, что еще в XI–XII вв., когда на Руси развивалась пока еще не всем доступная форма речевого общения — письменность, совокупность словоформ не воспринималась как общий парадигменный ряд; каждая отдельная словоформа существовала как бы в собственном своем синтагменном единстве с окружающим контекстом (в составе которого реализуется семантически) и с определенным набором просодических признаков (тон, ударение, количество). В одном из текстов, переведенных на Руси и попавших уже в киевский Изборник 1076 г., только что заимствованное скандинавское слово *larr* ‘ящик’ представлено в виде вин. п. мн. ч. *ларѣ*, местн. п. ед. ч. *лари*, род. п. мн. ч. как *ларевѣ*, т. е. относится как бы к двум (или к трем) разным формообразовательным типам (склонения), соответственно **jo*, **ĭ*, **jŷ*. Ясно, что эти слова никак не составляют общую парадигму (в современном значении термина), поскольку в различных контекстах, соответствующи-

щих греческим формам оригинала текста, новая лексема, не получившая еще письменной традиции написания, в различных словоформах представлена как разные слова.

Категория падежа, выражая отношение конкретной формы имени к другим формам, всегда связана с предлогом и зависит от управляющей ею глагольной формы. Предлог и флексия ведут себя функционально одинаково, являются равноценными средствами выражения синтаксических отношений. Для речевых формул важна не форма, а формант: *от сыну* — *от стола*, *о сыну* — *о столъ* — именно совпадение словоформ в предлоге играет роль общего при их вариантности окончания, делает их одним и тем же формантом. Всю тонкость таких отношений нам трудно осознать, поскольку мы стараемся аналитически рассечь предложно-падежное сочетание на две составляющие: на морфологическую и синтаксическую, не уделяя внимания и лексическое значение конкретного слова. Синтаксические отношения могли быть самыми разными, и сегодня мы даже приблизительно не знаем, какие падежные значения и в каком количестве были свойственны праславянскому или древнерусскому языку. Если в качестве таковых учитывать предложно-падежные формы с различением их по ударению, то для древнерусского вероятен набор из девяти форм: им. п. — отложит. п. — род. п. — дат. п. — вин. п. — тв. п. — местн. п. — изъяснит. п. — зват. п. Однако в род., тв. и местн. п. выделяются еще несколько конкретных значений, так что известное ныне количество падежных форм можно считать результатом уже состоявшегося обобщения прежде частных контекстных значений, извлеченных из типичных речевых формул. Исходные предложно-падежные формы выражали соотношение конкретных связей между «вещами» и не имели свойственного им сейчас отвлеченно-собирательного смысла.

Исторически можно говорить о процессе выделения словоформ из синтаксического контекста, что связано с переходом классифицирующего признака имени от т и п а основ к р о д у основ, и параллельно с тем — от семантического синкретизма падежных форм к их семантическому разграничению.

Костяк системы в древнем языке образуют грамматические падежи: им. п. — вин. п. — род. п., которые противопоставлены конкретным по значению обстоятельственным падежам: тв. п. — дат. п. — отложит. п. — местн. п. (дат. п. иногда включают в число грамматических, поскольку он обладает предикативными свойствами; ср. обороты дат. п. с инфинитивом или причастием). Разграничение грамматических и конкретных падежей носит условный характер, синтаксические и семантические их признаки еще не совмещены в едином фокусе категории (*граммемы*), но при этом «конкретные» падежи по своей функции обязательно направлены от соответствующей глагольной

формы: *въ-вадиться волкъ въ овць, по-вадиться по овць, съ-вадиться съ овьцами* и т. д.

В целом система распределения словоформ и формантов предстает как очень строгое соответствие по образцу и подобию, т. е. по форме и по значению, метонимически смежных сходств, а не противопоставлений, как в современных грамматических парадигмах:

По образцу	По подобию
<p>Синкретизм падежных форм раскрывается в попарном соединении падежных противоположностей по категориям:</p> <p style="text-align: center;"><i>кость</i> ↑ падеж ↓ <i>гости</i> ← род <i>-кости-</i> тип → <i>земли</i> ↓ число ↓ <i>кости</i></p>	<p>Омонимия падежных форм раскрывается в попарном соединении падежных противоположностей по синтагмам:</p> <p>род. п. <i>мало кóсти</i> — отложит. п. <i>из кóсти</i> дат. п. <i>по кóсти</i> изъянит. п. <i>о кóсти</i> — местн. п. <i>на кóсти</i></p>

Падежно-числовые меры организуют вертикальный ряд (соответствует современной парадигме), родо-основные меры образуют горизонтальный (тип склонения и род взаимопроницаемы). Такая система отличается от современной системы, но все же и она — система. Прямым и обратным движением мысли — от формы к значению и от значения к форме — она организует все формы имени в общую категориальную цепь. Особенность ее, не понятная современному наблюдателю, состоит в том, что это последовательность «матрешечного» типа. Одна категория входит здесь в другую как ее неперменная часть и, в свою очередь, становится основой для следующей, более широкой категории.

Развитие заключается в том, что к концу общеславянского периода категория рода стала категорией более широкой и всеобъемлющей, чем категория склонения.

2.3. Преобразование консонантных основ

Разрушение консонантных основ началось очень рано и заметно уже в старославянских памятниках X–XI вв.

Во-первых, у ряда имен произошло упрощение основы, тематический распространитель был осмыслен как суффикс в связи с возник-

новением новых суффиксов; ср. *уменьь*, *струмень*, *ремень* и пр. Слова типа **mēsen* при изменении основы расширились с помощью суффикса (*месяць*) или преобразовывались по другим словообразовательным признакам (*отрочя* → *отрок*, *теля* → *телёнок* с аналитическим выделением идеи уменьшительности в уменьшительный суффикс), а также путем изменения основ (тип *стремя* → *стремено* → *стреме*). Расширение суффиксом как средство перехода в «свой» тип (род) склонения становится обычным, что вызывает и обратное явление: основа *-es-*, *-en-*, *-er-* воспринимается как суффикс; ср. пришедшие из разных основ мужские имена *sъrd(b)*, *ov(b)* и *sъln-* в новый тип склонения как *сърдьце*, *овьца*, *сълнце* с уменьшительным суффиксом (ср. еще переход слова *язык* из **ŷ-*основ в тип мужского склонения **o-*основ: **jēzŷ-k-*). Словообразовательные основания формообразовательных процессов еще вполне сохраняются, между формо- и словообразованием нет функционально оправданных различий. Словоформа и есть слово, но еще не лексема.

Во-вторых, в консонантный класс входили имена всех трех родов, что в новых условиях (признак рода становится классифицирующим) вызывало необходимость в перераспределении слов между различными типами основ. Во всех случаях обычно среди консонантных остаются и длительное время сохраняются не маркированные по признаку рода имена среднего рода. Так, в склонении на **en* мужские имена типа *камень*, *корень*, *кремень*, *олень*, *перстень*, *поломень* (*пламень*), *степень*, *стремень*, *ячень* и *днь* перешли в тип **ŷ*, в то время как имена среднего рода сохраняли *en* как суффикс до XVIII в., когда в разговорной речи он стал опускаться; в частной переписке XVII–XVIII вв. примеры типа *к темю*, *по долготу времю*, *скольско время*. Еще раньше такой «суффикс» исчезал у **es-*основ, примеры типа *словесе* — *словеси* — *слова* в род. п. ед. ч. довольно часты с XII в. (и *въ тльть*). Мужские имена этого типа склонения (*голос*, *колос*, *дух*), как и женские (*тльсьнь*, *басьнь*), уже перешли в другие типы, остались здесь только имена среднего рода (*иго*, *чрьво*, *удо*, *грано*, *звено* и пр.).

В-третьих, важный для устной речи признак таких имен, их акцентная характеристика, с помощью которой разрозненные по формулам словоформы и собирались в «парадигму», отличал их от всех прочих типов склонения. Почти все эти имена были подвижноударными, т. е. в грамматическом контексте могли утрачивать словесное ударение в пользу соседних по синтагме словоформ. Другими словами, контекстно они всегда находились в морфологически изолированной позиции, что также способствовало быстрому разрушению архаических словоформ.

Из специальных изменений важно противопоставление форм местн. п. ед. ч. — род. п. ед. ч., которое развивается у всех консонантных основ: *камени* — *камене*, *словеси* — *словесе* и пр. (например,

в ЕП XI, МД XI и др.). Это попытка создать новую парадигму параллельно с основами мужского рода **o*-основ (род. п. = местн. п. — общие формы в двойств. ч.). Древнерусские источники сохраняют окончание *-e* в род. п. ед. ч. еще и в текстах Русской Правды, «Повести временных лет» (по спискам до XV в.), но с XIII в. и в этой форме находим окончание *-и* (в Ипатьевской и Суздальской летописях). Все древнерусские памятники отражают нарушения в употреблении и других форм; ср. вин. п. ед. ч. *въхожаше въ камы* (вместо *камень*) в СП XI, местн. п. двойств. ч. *днюю* (вместо *дъноу*), также тв. п. ед. ч. *днюю* (вместо *дньньмь*) и *нощью* в ДЕ 1164, но там же сохраняется старая форма им. п. мн. ч. *дъне ти*. Стилистически это последнее слово постоянно варьирует, например в род. п. ед. ч. по памятникам XII в. *дне / дни*, но также и в местн. п. ед. ч. *въ дне* — *дни*. В «Хождении» игумена Даниила начала XII в. *до сего дне, до полудне, но въ томъ же дни*; ср. *отъ полудне* в ЕП XI и др.

Одновременно формирование новой парадигмы начиналось и у имен **es*-основ, прежде всего в форме местн. п. ед. ч. (*на небесь* в Новгородской и Ипатьевской летописях). Процесс ускорился в связи с сокращением «суффиксального» *-es-*, начиная с тв. п. ед. ч. (*тълъмь, словомь* во всех древних летописных текстах), с XV в. слово используется только в новой форме, веком позже появляются и другие слова этого типа, хотя в формах мн. ч. суффиксальный элемент сохранялся весьма строго до XVII в., особенно в формах род. п. и тв. п., с XVIII в. являются новые примеры типа *словами*. Производные слова уже в древнерусском показывают давнее отсутствие суффикса (примеры типа *тълыйный, небный, окольный* и др. наряду со старыми формами типа *телесный, небесный, окоlesiца*).

Параллельное сохранение старых типов склонения в церковнославянском языке долго задерживало развитие парадигм склонения, и только в разговорных формулах мы находим примеры новых окончаний. В личных письмах Петра I даже форма род. п. ед. ч. представлена с новым окончанием: *корени, ячмени, словеси, телеси, с небеси, чудеси* — они воспринимаются, впрочем, как стилистические. В «Грамматике» Мелетия Смотрицкого 1619 г. именно такие формы признаются за «русские», тогда как тип склонения *слово* — *слова* — *слову...* приписывается церковнославянскому; судя по примерам Острожской Библии 1582 г., окончания с *-я* уже вполне возможны и в высоком стиле: *ячменя, ячменю, камня, камению, пламеня* и подобные им. Новые окончания широко распространены у имен мужского рода, тогда как имена среднего рода весьма устойчиво сохраняют старые окончания (род. п. ед. ч. *имене*, но местн. п. ед. ч. *имени*). Такое выделение имен среднего рода даже в церковнославянских источниках показывает особое положение среднего рода в системе. Неопределенность форм выражения падежей у старых консонантных основ про-

является в обилии возможных вариантов, особенно в формах, входивших в парадигму позже других форм. Например, в род. п. мн. ч. оказались возможными формы *тель, телесь, теловъ, телесовъ; небъ, небесь, небесей; чудъ, чудесь, чудовъ, чудасовъ*. Почему *коло, колеса* дали форму им. п. ед. ч. *колесо*, а *слово, словеса* — форму *слово*, мы не знаем, но в «Грамматике» Смотрицкого именно формы типа *словеса, небеса* признаются разговорно русскими, в отличие от «книжных» *слово, небо*.

Уже в памятниках XII в. из числа **ī*-основ ушли имена мужского рода (*звѣрь, гусь, мышь, вѣсь, огонь, уголь* и др.). Последовательность вхождения в тип **jo*- для этих имен определялась фонетически. Раньше всего это случилось с именами типа *огнь* (особая мягкость ⟨*н'*⟩ в сочетании *-gn-*) и вообще при исходе корня на сонорный, ближайшим образом коррелировавший с палатальными ⟨*ч', л', н'*⟩. Другие, и особенно многосложные, основы еще сохраняют старые флексии, по крайней мере до падения редуцированных; ср. слова типа *господь, деготь, лебядь, локоть, медведь, чьрвь*. В различных описаниях приводится много примеров нового окончания у таких имен (иные из них относятся к XIII в.): род. п. ед. ч. *огня, татя, от пуга, гостя*; дат. п. ед. ч. *гостю, тцю, зятю, путеви* и т. п. В церковнославянском, как кажется, слова высокого стиля сохраняли старые окончания; в некоторых случаях они сохранили их и до сих пор, ср. замечание Смотрицкого, что род. п. и вин. п. (при отрицании) ед. ч. пути «чистее, нежели *пуга*». В Острожской Библии 1581 г. новые окончания возможны лишь при именах собственных типа дат. п. ед. ч. *Есфирь, Руфь*, род. п. ед. ч. *Руфы*.

Еще и в XV–XVI вв. древние имена консонантных основ могли оставаться в склонении **ī*-основ: *четыре лохти, без лохти* — *безъ лохтя* в Гр. 1568 г.; *две кади дехти* — *куплено дехтю* в Гр. 1585 г.; *отъ камени, хъ камени, из одного корени, на одномъ корени; у пни, к сосновому пни, на пни, без ремни* и т. д. с очень редкими исключениями в деловых текстах (*два перстня, отъ березового пня* в Гр. 1503 г.).

Наименее всего изменились слова женского рода, в том числе и в архаических типах. Особенно строго сохранялись окончания род. п. ед. ч.: *из матере, отъ неплодъве* в МД XI и т. д. Имена **ī*-основ получили те же различия между формами род. п. и местн. п. ед. ч., что и другие старые основы (*тоя церкве* — *до церкви* в род. п. и отложит. п., но *церкви* в местн. п.), но это заимствованное, и притом «культурное», слово уже к XVI в. раздвоилось по окончаниям, дав две самостоятельные парадигмы: *церква* и *церковь*, особенно во мн. ч., ср. дат. п. *церквамъ, церквямъ, церквемъ* и т. д. Формы типа род. п. ед. ч. *кръве, любъве* находим до XVII в., однако некоторые стилистические разграничения заметны и в более ранних источниках, в которых род. п. ед. ч. *церкви* — *церкве* и т. п. варьируют в зависимости от контекста.

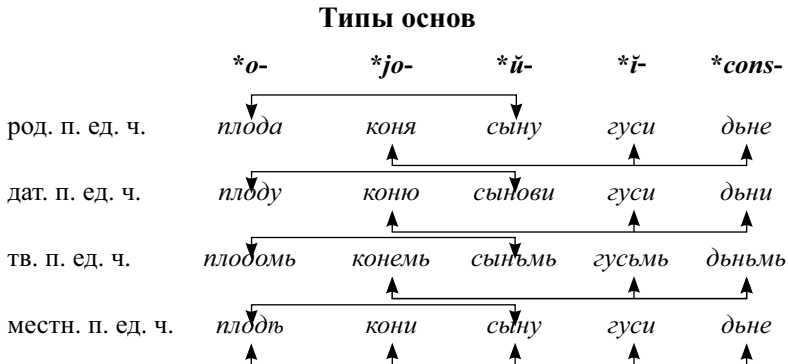
Важна также символическая окраска приведенных слов, способствовавшая или, наоборот, препятствовавшая развитию новых окончаний. Однако уже древнейшие русские рукописи дают исключения. Например, в СП XI им. п. ед. ч. *любовь*, *кръвь* вместо *любы*, *кры*; род. п. ед. ч. *любови* и *любъве*, но *кръве*; дат. п. *цркви*, *любъви*; вин. п. *црковь*, *любъвь*, *кръвь*, *тыкъвь*; местн. п. *цркви* и *цркви*, но *любъви*, *кръви*.

2.3. Унификация имен мужского рода

Преобразование форм склонения определялось соотношением вертикальных рядов словоформ (омонимия корней) и горизонтальным рядом их функций (синонимия окончаний); ср. фрагмент системы:

дат. п.	<i>стол-у</i>	—	<i>сын-ови</i>	—	<i>пут-и</i>	...
тв. п.	<i>стол-омь</i>	—	<i>сын-ъмь</i>	—	<i>пут-ъмь</i>	...
местн. п.	<i>стол-ѣ</i>	—	<i>сын-у</i>	—	<i>пут-и</i>	...

Соотношение слов и словоформ в обеих координатах создавало идею системности, т. е. своего рода парадигмы (как «образца» формообразования), которая и стала заполняться реальными ее формами. У имен существительных мужского рода общие линии сближения словоформ можно представить следующим образом:



Все преобразования падежных форм происходят строго последовательно в зависимости от морфонологических изменений на стыке с основой, и притом всегда в пределах своего форманта, т. е. по горизонтали словоформ, а не по вертикали парадигмы, не в слове, а именно в словоформе как представительнице слова в определенной словесной формуле. П о д о б и е общего значения по флексии важнее

различий, существующих между разными падежными формами; метонимическая смежность словоформ предпочтительнее метафорического с х о д с т в а корней (основ) в парадигме; вещная конкретность словоформ яснее идеальной отвлеченности парадигмы.

Сразу же заметим, что преобразование осуществляется по горизонтали общей флексии. По вертикали изменения происходили также, но это были изменения уже в пределах к а т е г о р и и, и потому они осуществлялись позже, например в соотношении вин. п. — род. п. при развитии категории одушевленности. При этом наиболее ранние из них происходили сначала в тексте, а не в парадигме — в отличие от еще более поздних.

Эти замечания имеют значение при решении вопроса о направлении аналогии, о последовательности самого изменения. Изменения начинались не в парадигме, а в тексте, по своему происхождению они не морфологичны, а синтаксичны.

Основное содержание изменений заключается в возникновении в а р и а н т о в п а д е ж н ы х о к о н ч а н и й, восходящих к флексиям *о- и *й-основ.

Сложность их объяснения состоит в невозможности определить, какие именно слова входили в архаический тип *й-основ уже в древнерусском языке. К числу таковых относили имена *вьрхъ, воль, иль, ледъ, медъ, оль, поль, солодъ, сынъ*, но А. А. Шахматов добавлял сюда *низъ, долъ, вьнъ, кратъ, миръ, санъ, сынъ* ‘башня’, а другие историки языка пополняли список словами *бобрь, боръ, станъ, чесн(ок)ъ, гьрнъ, тьрнъ, вихрь*, даже изменившие свой тип склонения слова *боровъ, дерево, голова, корова* и др., так что общий список слов предположительно данной основы склонения разрастался до сотни. Самые достоверные прилагательные, входившие в данный тип склонения, были *молодъ, бьрзь, вьтъхъ, цль* и особенно с суффиксом -ьк- (*кратькъ, льгькъ, узькъ*).

Общее условие появления нового для некоторых имен окончания -у в род. п. ед. ч. определилось рано: односложные отглагольные имена *о-основ при отсутствии суффикса, поддержанные общностью родового признака (мужского рода) и окончания в исходной форме (им. п. ед. ч.), а также общностью значения (семантика действия или места, неконкретность значения) и подвижностью ударения. Именно такими признаками и выделялось большинство имен старого *й-склонения (*дарь, чинь, рядъ* и пр.). В этом списке исключаются личные имена, потому что данное распределение окончаний -у// -а для личных/неличных является как бы обратной стороной их же противопоставления в вин. п. ед. ч., т. е.

нет сына — нет сыру
вижу сына — вижу сырь.

В соотношении род. п. и местн. п. ед. ч. также наблюдается взаимобратимая последовательность, которая реализуется в ударении. В род. п. ударение на корне, в местн. п. — на окончании, в случае если флексия одна и та же, восходит к **й*- основам; ср.: *из льсу* — *въ льсѹ*.

Выравнивание по типу **о*-основ понятно: в этом типе склонения было больше имен, мужские преобладали, все падежные формы имеют свои собственные окончания, а в исходной форме имена обоих типов совпадали, т. е. грамматически, по характеру флексии (-ь) представляли одной и той же формой.

В древнерусских текстах **род. п. ед. ч.** первоначально заменяет -у на окончание -а у имен **й*-основ; уже в ОЕ 1056 и в других памятниках XI–XII вв. находим формы *сына, до върха, паче меда* и др., тогда как обратная замена известна лишь с XIII в.; ср. новгородские рукописи Пр. 1262, НК 1282 (*воску* и т. д.). В грамотах XII в. соотношение флексий -а : -у дано как 70 : 30, в XIII в. соответственно как 72 : 28, и притом возможны уже обратные замены; ср. *съ върху* — *до върха, дома* — *из даму* и т. п. (некоторые примеры сомнительны, могут указывать на дат. п. ед. ч.: *предь дверьми храму, пртьдь лицемь вьтру* и т. п.). В новгородских берестяных грамотах даже XIV–XV вв. окончание -у очень редко: *полоте дару, лену, шолку*, а в местн. п. -ь (-е). При этом заметно семантическое перераспределение окончаний, например -у обычно, хотя и не последовательно, у слов вещественного и абстрактного значения.

Вероятность появления нового окончания повышается у односложных слов с подвижным ударением, у префиксальных, славянских по происхождению, особенно в полногласных корнях или у топонимов (обычно местное название). Вместе с тем в бытовых письмах окончание -у встречается реже, чем в деловых текстах (акты, судебные дела, челобитные); в «Судебниках» XVI в. до 30% употребления всех форм род. п. ед. ч. имеют такое окончание, оно распространяется все шире, но явно связано с определенными условиями употребления. Устойчивой нормы употребления окончания -у нет до XIX в., система языка не остановилась ни на каком варианте, а причины, регулирующие выбор формы, слишком многообразны, чтобы когда-нибудь такая вариативность вообще исчезла в русском языке. Другое дело, что в старорусском языке вариативность имела семантические оправдания, чего сегодня нет; так, в «Домострое»: *ѣтого Духа* — *кладуть в вино для духу* 'запаха' и т. д.

Дат. п. ед. ч. также предлагает свое распределение новых окончаний. С XI в. известны примеры перехода в тип **о* (*сыну своему, к дому*), тогда как обратная замена окончаний происходит с некоторым запозданием и уверенно отмечается с XII в.: *Георгиеви* в Гр. 1130 г., *Семену попови* в ДЕ 1164, *богови, мастерови* в Гр. 1229 г. и др. Впро-

чем, в ПМ XI находим *сужитьникъ Пахомови*, в ОЕ 1056 чада *Авраамови* (но в перечислении имен *Аврааму, Исааку, Иакову*), в ЕП XI *Иаковови, господеви*, в И 76 *лареви*. В берестяных грамотах кь *Борисови, мужевеви, к атцевеви* (до XIII в.). Со временем архаические окончания стали признаком высокого стиля и употреблялись последовательно вплоть до XVII в.; у Аввакума: *прилепитися богови, поклоняся господевеви, верова Христови* — одновременно выражают направленность действия и указывают его адресат. Замечена связь данной флексии с именами одушевленными. Так, в «Хождении» игумена Даниила по всем 17 спискам текста формы с окончанием *-ови* и *-евеви* употребляются только при одушевленных именах (16 раз; но также и при цитировании церковного текста), однако никогда не используются при предлоге; ср. *ключаревеви, мужевеви, но ко отцю, ко князю*.

Вообще дат. п. принадлежности в этом случае четко отличается от дат. п. объекта. Перераспределение форм происходит в контекстах с определенным синтаксическим значением. В Синод. XIII–XIV вв. к концу текста количество форм на *-ови* уменьшается; в берестяных грамотах предпочтительны формы на *-у*, что может указывать на сознательно книжное распределение конкурирующих форм, которые известны с XI в.; ср. по три раза *миру* и *мирови* в МД XI. Такая же ситуация наблюдается и позднее. В ОБ 1581 находим примеры типа *мирови, господиневи, духови, евнухови*, а в созданной на таких текстах «Грамматике» Смотрицкого форм на *-ови* нет. Мнение о том, что использование флексии *-ови* есть «показатель значения лица», вряд ли справедливо, учитывая примеры типа *краевеви, мечевеви, дъжгевеви*. Скорее всего, это выражение идеи принадлежности (обычно в словесных формулах в сочетании с глаголами типа *дати, приступити*), на что намекает и формальное сходство флексии с суффиксом притяжательных прилагательных *-ов-//-ев-*.

В **тв. п. ед. ч.** отмечается полное совпадение флексий, связанное с утратой редуцированных гласных, однако русские рукописи XI в., т. е. еще до завершения этого процесса, широко варьируют употребление окончаний *-омь/-ьмь* и их твердые варианты; иногда создается впечатление, будто писцы осознают семантическое различие между ними (например, в большой рукописи ГБ XI). Поскольку украинский язык, который исконный гласный ⟨o⟩ в закрытом слоге изменил в ⟨i⟩, в данном окончании сохраняет *-ом*, а не *-ім*, следует полагать, что уже перед падением редуцированных в данной падежной форме возоблудало окончание *-ьмь*; на то же указывает и ассимилятивное отверждение конечного *-м* в словах твердого склонения.

В **местн. п. ед. ч.** положение то же: сначала старые **й*-основы получают новое для них окончание *-ь*, и только позже возможны обратные замены на *-у*, ср. *о сынъ* и многие примеры типа *на бору*,

в *торгу*, на *снѣгу* и т. п., начиная с УС XII; при этом новые окончания возможны были как при именах собственных (*при князи Борису*), так и у имен среднего рода (*на дѣлу*), чаще всего при предлогах *в*, *на*. Заметно, что для форм местн. п. ед. ч. с *-у* важно преимущественно наречное значение; в деловых текстах XVII в. они особенно частотны. Возможны морфонологические ограничения, дающие повод к предпочтению флексии *-у*; ср. *в песку*, *в полку* на месте исконных *в тѣсцѣ*, *в полицѣ*.

Сопоставляя варьирование окончаний в род. п. и местн. п. ед. ч., можно обнаружить несколько закономерностей взаимного их употребления. Когда стала складываться грамматическая парадигма, стало ясно, что употребление окончания *-у* в род. п. преобладает у слов в е щ е с т в е н н о-собирающего значения, тогда как в местн. п. то же окончание используется в значениях отвлеченно и д е а л ь н ы х (*на бору*, *на тиру*, *на боку* и др., ср.: *до лугу* — *на лугу*).

Очень рано изменяются и окончания в **зват. п. ед. ч.**; с одной стороны, это *сыне* в новгородском тексте XI в., с другой — форма *же-ниху* уже в XII в. Обычно это встречается в списках с южнославянских оригиналов, ср. им. п. вместо зват. п. *б[о]гъ помилуи* в ЕП XI и зват. п. вместо им. п.: *из д[евиц]а матере безмужьны с[ы]не б[о]жии родися* в МД XI. Раньше всего зват. п. утрачивают имена **а*-основ; в минеях довольно часто смешиваются формы типа *Варнава* и *Варнаво*. Достоверные примеры утраты форм зват. п. у имен мужского рода в деловых текстах известны с XII в., но как категория зват. п. разрушается только в XV в. В новгородских текстах, и особенно в берестяных грамотах, форма зват. п. часто используется в значении им. п. (падеж субъекта); ср. *Марке*, *Онтоне*, *Максиме* и т. д. опять-таки чаще у имен собственных.

Особенно интенсивно вариации флексий *-у/-а* проявляются в памятниках Северо-Восточной Руси, флексий *-ови/-у* — в юго-западных (украинских), меньше всего и достаточно поздно такие примеры встречаются в новгородско-псковских памятниках.

Использование флексий старого типа склонения на **й-* происходит всегда несколько позже, чем вытеснение флексий в этом типе склонения за счет окончаний **о*-основ. Одно связано с другим: сначала происходит грамматически оправданное одностороннее совпадение окончаний (нейтрализация), оставшихся от старого типа **о*-основ, а затем дифференциация старых и новых окончаний в зависимости от разных условий.

Общим грамматическим различием, которое могло выражаться описанными вариантами падежных окончаний во всех формах представленной парадигмы, несомненно, было осознаваемое различие между индивидуальным, отдельным, т. е. вполне о п р е д е л е н н ы м, с другой стороны — н е о п р е д е л е н н ы м; ср.:

отъ льна — конкретно этого : *отъ льну* — вообще всякого;
сынови — конкретно этому : *сыну* — вообще любому;
столомь — данным, этим : *под спудьмь* — вообще (абстрактно);
на бору — в этом лесу : *в борь* — всяком, любом;
сыну! — обращение к этому : *сыне!* — отвлеченное обращение.

Контекстная категория определенности/неопределенности была актуальна в тот момент, когда складывалась описанная здесь вариантность форм — соотношение, равное использованию артиклей. Противопоставление оказалось важным между X и XII вв. Оно охватывает только формы ед. ч., не распространяясь на мн. ч.: собирательность мн. ч. не дает оснований говорить об определенности какой-то его части. Противопоставление касается только имен мужского рода, что соответствует выразительности этих форм как социально важных в данный исторический период.

2.4. Взаимодействие основ женского типа склонения

Имена женского рода почти не изменяли свои исконные формы, традиционно сохраняя их во всех речевых формулах. Это естественно, если учесть, что именно женский род маркирован по признаку грамматического рода; отмеченный по признаку корреляции оппозиит не изменяется формально.

Основы на **ī* и на **ja* различались только в форме им. п. ед. ч.: *лодии*, *судии*, *мълнии*, *богыни* — *земля*, *воля*, *душа*, причем первые совпадали с суффиксальными типа *свиния*. Поэтому довольно рано редкие и специально книжные имена на **ī*-основы стали переходить в тип склонения на **ja*: *лодия* в И 73, *лания люта* в ЖН 1219, *мълния* (и *мълнии*) в ОЕ 1056, в грамотах XIII в. *лодьа*, *коробья*, *молния* и др. Для имен на *-ыни* надежные примеры появляются только с XIII в.: *стрыиня* ‘жена дяди по отцу’, *рабыня* (*государыня* с XVI в.).

Все прочие типы склонений изменялись мало, однако есть одно исключение. Оно касается соотношения мягкого и твердого вариантов, **а-* и **ja-*основ.

Берестяные новгородские грамоты до XIII в. дают случаи написания этих флексий с *ь* одинаково для имен твердого и мягкого склонения (то же и в им. п. мн. ч.: варьирование типа *жены/жень*). Судя по тому, что аналогичный процесс отражают и имена мужского рода (типа местн. п. *конь* вместо *кони* и *коньхъ* вместо *конихъ*), в новгородских говорах эпохи раннего Средневековья можно предполагать тенденцию к обобщению флексии *-ь*:

	*a-	*ja-	a/ja
род. п.	-bl	-lb	-lb
дат. п.	-lb	-ll	-lb
местн. п.	-lb	-ll	-lb

Поскольку лишь отдельные падежные формы и только в определенных диалектных зонах приводят к совпадению флексий, можно думать, что здесь проявляется не падежный синкретизм, а просто сокращение парадигменных форм в пользу синтагменных формул. Этот процесс и отражается в памятниках, передающих «живую» (разговорную) речь. Все это неразличение падежных значений вне парадигмы, данных в разных речевых формулах.

Что это имеет место в новгородских источниках, особенно показательно. Именно такие источники до XIV в., наоборот, отражают (чисто фонетическую) замену *ь* на *e* в слабых позициях, и даже после падения редуцированных (происходившего здесь с запозданием) корреляция согласных по мягкости–твердости не развивалась столь последовательно, как на юге; не возникало, следовательно, необходимости в обобщении основ. Соотношение типов:

от земля — по земля — на земля
от жень — по жень — на жень

в типичных своих примерах показывает, что предложно-падежная формула предстает вне системности парадигмы; нет влияния флексии по вертикали парадигмы, происходит обобщение окончаний на метонимической смежности форм каждого конкретного падежа, а не обобщающей словоформы основы.

Предложно-падежная форма — элемент синтагмы формулы, а не отвлеченно мыслимой парадигмы падежных форм. Сравнение Синодального списка летописи Синод. XIII в. с Комиссионным XV в. показало, что в одних и тех же оборотах (текст общий) в Синод имена твердого склонения употреблены с исконными флексиями, а в Комиссионном они уже заменяются на *ь*; ср. в род. п. ед. ч. соответственно *дружины, бьды, от рькы — дружинь, бьдь, от рьць*. В списках Русской Правды аналогично: в ранних вариантах предпочитают замены *ь* на *и* (НК 1282: *от... земли, без опитемы*), затем происходит обобщение флексии *-ь*, хотя, разумеется, и непоследовательно.

Памятники XVI–XVII вв. противоречивы. Например, в местн. п. ед. ч. женского рода **ja*-основ сохранялось окончание *-и* (*в земли, на стези, на твоей воли*), но в текстах бытового характера все больше распространялось новое окончание *-ь* (*в деревнь*), а в московских

старопечатных книгах *-ь* (*-е*) обычно. Это обобщение флексии распространяется и на слово *церковь*: *в церквѣ* — *в церквь*.

Заметим также, что по горизонтали *п а д е ж а* замены флексий всегда взаимны, по вертикали *п а р а д и г м ы* — нет; взаимность совпадений является следствием общности флексии, а флексия как идея явлена конкретным окончанием в формуле речи. Важны все сопутствующие преобразованию факты, которые косвенно указывают на функциональную ценность отдельной словесной формулы. Например, появляются формы типа *нозь*, *снъсь*, *муць* — при всем том, что именно новгородским говорам не свойственна была «свистящая палатализация» заднеязычных. В таких обозначениях много искусственного, они предназначены были привести к единству орфографического обозначения флексии независимо от смысла падежной формы.

Начиная с XIV в. взаимодействие твердых и мягких основ отражается не только в новгородских памятниках, но и в текстах других диалектных зон.

В списках «Хождения» игумена Даниила исконное окончание *из той темницъ* дано в евангельской цитате, а в изложении самого Даниила 54 раза формы типа *отъ темницы*, *отъ жажи* и пр.; следовательно, уже в начале XII в. твердый вариант склонения в этой важной форме вытеснял окончания мягкого типа. Ясно, что к XV в. (большинство списков «Хождения») русское окончание *-ь* в этой флексии столь же архаично, что «славянское» — *ѣ* (*ja*). Наоборот, в дат. п. и местн. п. ед. ч. у Даниила последовательно исконное окончание *-и* (*къ земли*, *въ пустыни* и др. 66 раз при единственном исключении в позднем списке *на той лавиць*). Изменение начиналось с формы род. п. ед. ч. В московских грамотах всегда преобладает влияние твердых основ, там устанавливается общее следование флексий по падежам: *-и* — *-ь* — *-ь*. К XIV в. объединение твердых и мягких основ московские говоры завершили только в формах мн. ч., затем началось обобщение форм в род. п. ед. ч. (*у деревни*), в XV в. в дат. п. ед. ч. (*деревнь*), еще позже в местн. п. ед. ч. (старое окончание *-и* сохранялось до XVIII в.), впрочем, как и у старых **jo*-основ (*при князи*).

В новгородских и соседних с ними говорах, наоборот, все более увеличиваются случаи употребления окончаний мягких основ вместо твердых. Диалектные различия, сформированные после XV в., сохраняются и в современных говорах, составляя предмет русской диалектологии.

3. ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

3.1. Именительный падеж

В противопоставлении мн. числа ед. числу довольно рано обозначилась противоположность, в конце концов приведшая к четкой системной оппозиции ед. ч. : мн. ч. по признаку «отвлеченно-понятийная единственность // конкретно-вещная множественность», с устранением двойств. числа. Для всех имен образовалась общая парадигма мн. ч. Последовательность преобразования в полупарадигме мн. ч. определялась характером самих преобразований. Они происходили в синтагме-тексте и потому начались с грамматических падежей.

Именительный падеж одновременно и синтагматичен (это падеж подлежащего), и парадигматичен (с него начинается «склонение» к косвенным падежным формам).

Распределение окончаний по исходным типам склонения таково:

1	2	3	4	5	6	7	8
* <i>cons</i>	* <i>ĭ-</i>	* <i>ĭ-</i>	* <i>o-</i>	* <i>jo-</i>	* <i>ср. род</i>	* <i>a-</i>	* <i>jo-</i>
-е	-ие	-ове	-и	-и	-а/я	-ы	-ѣ

Разносклоняемые и консонантные (1) очень рано получили флексию *-ie* из **ĭ*-основ, уже в ОЕ 1056 встречаем формы типа *мытариѣ*, но в ЕП XI *покрывителе*. В XII в. памятники дают окончания **jo*-основ: *родители*, *мучители*, *служители*, *елини*, *татарѣ* и т. д. наряду с исконной флексией *-e*; ср. также формы типа *дъние*, *камене* и пр. Исконные **ĭ*-основы сохраняли окончания *звьриѣ*, *людѣ* в ЕП XI. Последовательность обобщения понятна: до вторичного смягчения согласных сближаются типы 1 и 2, после вторичного смягчения и утраты редуцированных к ним присоединяется тип 5 и становится преобладающим. Старая флексия **ĭ*-основ становится важным фор-

мантом в распределении собирательных имен типа *колье* — *дядье*, а впоследствии, в связи с разрушением грамматической категории собирательности (*братие* — *братия*), используется для выражения собирательности мн. ч. (*листы* — *листья*).

В столкновении с **й*-основами имени **о*-основ (3 и 4) широко используют флексию *-ове*, которая в XI в. встречалась только у имен *й*-основ: *дарове* в МД XI, *сынове* в ЕП XI (но здесь же *жидове*, *бъсове* и *бъси*). Обычно она употреблялась для обозначения одушевленных имен, например при названиях народов (*татарове*, *ляхове*, *чехове*, *угреве*, *фрязеве*, *грекове*, *жидове*), должностей (*попове*, *сторожесе*, *послове*, *врачеве*, *иеръеве*, *баярове*, *соловарове*, также *бъсове*, *другове*, *панове*), некоторых животных и птиц (*воробье*, *дятлове*, *вранове*, *борове*, *вепреве*), но при этом сохранялась и у имен, исконно относившихся к **й*-основам (*садове*, *сынове*, *тирове*, *трудо*, *медове*, *домове*) или в незначительном количестве близких к ним по акцентным и структурным признакам (односложные с ударением на окончании типа *стълтове*, *дворове*, *полкове*, *потове* и мягких основ типа *въплеве*, *дъждеве*, *мече*, *ноже*, *прыще*). К XV в. отмечено более 300 слов с таким окончанием, но с конца XVI в. их число заметно уменьшается, поскольку вместо «горизонтального» выравнивания окончаний внутри общей флексии им. п. мн. ч. (*бъси*, *ангели*) развивается вертикальная аналогия со стороны вин. п. мн. ч. (см. ниже).

Было высказано мнение, будто такие формы служили для выражения категории лица, однако распределение материала не подтверждает этого. Более того, в XII в. новое окончание *-и* получают не только неодушевленные имена **й*-основ (типа *доми*, ср. также и *чини*). В «Хождений» игумена Даниила, действительно, *-ове* встречается преимущественно у одушевленных имен в высоком стиле речи (чаще всего в цитатах), в новгородских и псковских памятниках XIV–XV вв. из слов, употребленных с окончанием *-ове*, встречаем лишь *сынове*, *послове*, в московских грамотах до XVI в. только *баярове* и под., а в повестях XVII в. редкие примеры типа *бъсове*, *другове* — следовательно, лишь от одушевленных имен; однако это уже остатки прежде распространенного употребления нового для них окончания.

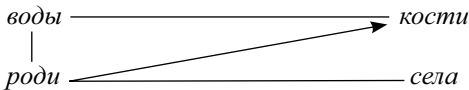
В типе 4 исконное окончание сохранялось долго, особенно в устойчивых формулах (в «Домострое»), постепенно заменяясь на новые формы, пришедшие из вин. п. мн. ч. Однако до XVII в. сохранялось и окончание *-и*, например в бытовых повестях по различным спискам *роди*, *друзи* (и *други*), *человѣци*, *языци*, *бъси*, *черти*, *послуси*, *сусѣди*, *холоти*, *смерди*, *намѣстници*, *тиуни*, *грамоти*. У Аввакума только в определенной лексике: *ангели*, *апостоли*, *серафими*, *бъси*, *бози*, *врази*, *раби* — характер примеров показывает намеренную архаизацию форм. Вполне возможно, что сохранению старой формы способствовало не только содержание контекстных формул, но и морфонологи-

ческие основания, в частности возможная переключка с другими формами; ср.: *друзи* — *друзи* — *друзья*.

В типе 5 вплоть до XVII в. наблюдается соотношенность с типом **ĭ*-основ (примеры *царие* и пр.), однако уже с XII в. заметно, наоборот, использование окончания *-и* во всех случаях, т. е. *людие* и *люди* безразлично.

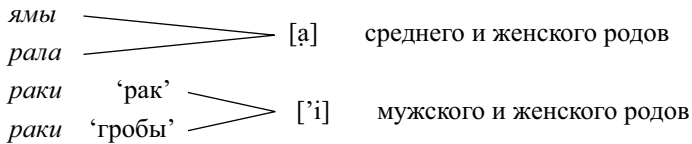
Что же касается имен женского и среднего рода, тут довольно долго никаких достоверных примеров использования новых для них окончаний нет. Это устойчивые формы типа среднего рода *села*, *поля*, женского рода *воды*, *жены*.

Таким образом, флексия им. п. мн. ч. обслуживалась окончаниями



и факультативно *-ове* для некоторых имен мужского рода.

Фонологически [и] и [ы] в этой системе не различаются, соотносятся с выражением твердой и мягкой основ; *-ове* в среднерусскую эпоху уходит из употребления. Остается противопоставленность ⟨и–ы⟩ : ⟨а⟩, которая в заударных слогах нейтрализуется:



Направление в выравнивании окончаний задано системой, в которой маркированы формы женского рода, а формы среднего и мужского родов совпадают с ними только в дополнительном распределении. Различие между именами среднего и мужского родов, входившими в одно склонение, должно было нейтрализоваться, что и произошло: в им. п. мн. ч. имена мужского рода приняли и окончание *-а*.

Совпадало несколько причин: обобщение форм твердого склонения (с [ы], а не с [и]: *братья* вместо *брати*) с последующей нейтрализацией в [а], и «суффикс» *-а-* стал своеобразным признаком мн. ч. На появление русского типа им. п. мн. ч. *города* повлияла также аналогия со стороны окончания среднего рода (*села*) и двойств. ч. (*глаза*). Все эти обобщения происходили в общем «горизонтальном» ряду одной и той же (морфологически, т. е. парадигмально) флексии: им. п. мн. ч.

3.2. Соотношение именительного и винительного падежей

В синтагматическом выражении такое соотношение важно, оно передает субъект-объектные отношения, активно развивавшиеся в старорусском языке XV–XVII вв.

Основная тенденция заключается в том, что формы вин. п. мужского рода постепенно вытесняют исконные формы им. п. там, где этому не препятствуют особые обстоятельства, ср.:

	* <i>cons</i>	* <i>ĭ</i>	* <i>ĭ</i>	* <i>o</i>	* <i>jo</i>	<i>ср. род</i>	* <i>a</i>	* <i>ja</i>
им. п.	-e	-ie	-ове	-и	-и	-а/я	-ѣ	-ѣ
вин. п.	-и	-и	-ѣ	-ѣ	-ѣ	-а/я	-ѣ	-ѣ

Причиной наметившегося совпадения флексий является синтаксическая функция вин. п., который никогда не пересекается с им. п. в одной и той же позиции, т. е. в синтагме, которая теперь расширяется до самостоятельного предложения. Тем самым формы мужского рода совпадали с формами женского и среднего родов, искони не различавшими им. п. и вин. п. мн. ч.; кроме того, неодушевленные имена мужского рода в ед. ч. не различали формы им. п. и вин. п.

Уже отмечено совпадение двух первых типов: в им. п. *люди, звѣри* наряду с исконными формами *людие, звѣрие*, но в вин. п. только *люди, звѣри*. С XI в. появляются примеры типа *елени, камени, пути, звѣри, голуби*. Как и в других случаях, преобразование начиналось в морфологически расшатанной части системы; здесь — в типах склонения, устранявших из своего состава имена мужского рода. В Синод. вытеснение форм им. п. сопровождалось обратной заменой форм и в вин. п. (*кадіе, людие*, но *огнищане, бояре, дворяне*). В XII в. односторонняя замена только для им. п. отражает нейтрализацию противопоставления в пользу вин. п., но с конца XIII в. обобщение этой формы состоялось, стали возможными взаимные замены окончаний им. п. и вин. п.; старые окончания **ĭ*-основ сохранялись в собирательном значении до XVII в. (многочисленные примеры типа *жителіе, кедріе, мужіе, людіе*).

О флексии *-ове* также сказано, она особенно долго сохранялась у одушевленных имен; в том же списке Синод. XIII–XIV вв. находим формы *сынове* (также *домове*), но *верхы, меды*.

У основ на **o*- новые флексии во взаимном смешении отмечаются с XIII в., а вин. п. вместо им. п. уже в «Изборнике Святослава» 1076 г. (*ангелы*) и в списке «Жития Нифонта» 1219 г. (*чины раставлени быша*).

Для им. п. мн. ч. того же времени приводят формы *человѣкы, рабы*, для вин. п. мн. ч. *бѣси, гради, конюси, гади, хлеби, послуси, гостьбници, печенези, на конюси* — также из памятников XIII в. Затем число примеров увеличивается, ср. в им. п. мн. ч. *ликы, браты, рабы*; с XIV в. и старые **й*-основы типа *меды, сыны, верхы* на месте *сынове* и пр.

Впоследствии число имен мужского рода, сохранявших исходную флексию в им. п., всё сокращалось, так что к XVII в. это были в основном слова высокого стиля и в определенных речевых формулах (*ангели, апостоли, бѣси, демони, черти, варвари, холопи*), которые в современном языке почти не сохранились (обычно указывают формы *соседи, черти*, но до недавнего времени произносили также *холопи*).

В новгородских и смежных с ними говорах обобщался мягкий вариант флексии в вин. п. (*ябетнике, пироге, городъ*; то же в Синод.); окончание *-и* тут очень редко (*ножи и меци*). Как можно видеть по составу лексики, особые затруднения представляли основы на заднеязычный согласный, и действительно, в двинских грамотах XV в. находим форму им. п. мн. ч. уже сплошь как *послухы* (исключение: *послуси*), *заполкы, прикащики, посадники* и т. д. (при обратном случае — *потъ*). Памятники XVI в., вроде «Домостроя», и здесь указывают на стилистическое распределение старых и новых форм; исконные окончания представлены только в архаических оборотах типа *плоди божши, ангели, бѣси, дьяволи, дѣмони*. Следует также заметить, что флексия *-ь* в русских текстах (например, летописных) употребляется даже чаще, чем славянизм *-я*.

Особый интерес в им. п. мн. ч. представляет окончание *-а*, которое начинает употребляться у имен мужского рода с XV в. В этом специфически великорусском выравнивании сошлось сразу несколько динамических тенденций. В отличие от белорусских и украинских, русские говоры широко используют это окончание, причем в словах бытового значения и независимо от традиционного контекста, что очень важно, поскольку демонстрирует автономность слова от словесной формулы, но одновременно и его связь с определенными категориями языка, уже развившимися к тому времени (например, с категорией одушевленности).

Древнейшие примеры — *рукава* в северном сборнике 1476 г. и, может быть, такая же форма двойств. ч. *города* в западнорусской Летописи 1495 г., а также *двора* в двинской грамоте XV в. — подкрепляются все увеличивающимся числом более достоверных фактов в XV в. (*въса, льса* и др.). Иногда указывают примеры, явно не относящиеся сюда, как имена среднего рода (*мыта* 1496 г., *колокола* 1585 г.), но с конца XVI в. соответствующие примеры находим в грамотах московских (*луга и луги*) и соседних областей (*рога, глаза, суда*,

струга — идея удвоенной собирательности здесь легко просматривается), в Улож. 1649 г. (*льса, луга*) и т. д. Собирательная множественность отражена в большинстве примеров от XVI–XVII вв.: *луга, льса, образа, жернова, мастера, снега, места* и т. д.

В конце XVII в. становится возможным взаимное колебание форм для мужского и среднего родов, что доказывает состоявшееся смешение окончаний в пользу *-а*; ср. письма Петра I, в которых отмечены формы *берега, бака баят, по вся года, города, края, леса*, но также *болоты, бревны, горлы, деревьи, зеркала*. Заметно преобладание слов с естественным двойственным значением, именно такие слова особенно четко сохраняют отмеченную форму. В «Грамматике» А. Х. Востокова 1834 г. лишь 70 слов указаны с флексией *-а*, теперь их около восьмисот. Процесс продолжается, захватывая все новые лексемы, в том числе и заимствованные.

Указаны различные причины распространения нового окончания *-а* собирательно-нерасчленного значения. Это и влияние собирательных имен женского рода на *-а* (*господа пришли, сторожа*), и влияние форм среднего рода того же типа склонения, что и имена мужского рода (*дъло — дъла, поле — поля*), и исконное окончание им.-вин. п. двойств. ч. (*бока, берега, рога*), и воздействие собирательных имен типа *баяра, мордва*. По-видимому, все такие условия изменения имели сопутствующее значение, но определяли процесс все-таки не они. Гораздо важнее здесь параллелизм, который существует между появлением неодушевленных имен мужского рода с флексией *-а* и развитием категории собирательности, а также формированием категории одушевленности. Это выражение собирательной множественности у неодушевленных имен. Морфонологически существенно наличие подвижного ударения у слова, получающего новое для него окончание; попутно это позволяло избежать нежелательной омонимии двух важных в устной речи форм: род. п. ед. ч. *гóрода* — им. п. мн. ч. *города́*. Мы видели, что окончание *-ове*, сохранившееся в украинском, но исчезнувшее в русском языке, выступало как бы в дополнительном распределении с флексией *-а*: при одушевленных и конечнударных *-óве*, при неодушевленных и подвижноударных *-á*.

Кроме того, все надежные примеры нового окончания на первом этапе их развития отличались двумя особенностями: они употреблены не в им. п., а в вин. п. у слов с колебанием в роде (мужском и среднем): *льса, луга, мыта, колокола, вьса* при колебании в им. п. типа *льсо — льсь* и т. д. (в праславянском колебания в роде распространено шире, ср. мужской род **logъ* — женский род **loga*); *стави́ти города* в МС XV под 1373 г., *города поима́ша* в Летописи 1495 г. также сомнительны, они могут быть формой род. п. ед. ч. со значением части, ср. *дворы ставити* и *огорода городити* в московских

актах 1499 г. Надежные примеры такого рода появляются в XVII в. (*в ыные города* — воронежская грамота).

Таким образом, окончание *-а* развивалось в неопределенных по родовому признаку словах и только в вин. п., т. е. при обозначении о б ъ е к т а д е й с т в и я, выраженного глаголом. Категория лица чужда именам среднего рода, это отвлеченная форма обезличенной предметности, в собирательном значении выражающая объект действия.

Если учесть условия, при которых сегодня происходит расширение слов, употребляющих данное окончание, можно признать, что самый процесс начинался как ответ на категориальные изменения в языке и осуществлялся на лексическом уровне, но в пределах сформировавшихся к XVI в. парадигм. Пополнение словами зависит от ударения. Уже А. Х. Востоков заметил, что имена мужского рода получают новое окончание *-á* лишь после того, как подвижноударная парадигма развивает окончательное ударение, начиная с формы местн. п. ед. ч. Форма *во́лосы* сменяется (не заменяя ее по семантическим причинам) формой *волосá* в связи с тем, что в местн. п. ед. ч. становится возможным дублетное ударение *на волосú / при во́лосъ*. «Без силы *бéреги*, но с силой *берега́*», — верно заметил Ломоносов. Следовательно, акцентное формирование именных парадигм в конце XV в. способствовало появлению новой флексии в им. п. мн. ч. на фоне других, происшедших или уже завершившихся изменений системы.

3.3. Родительный падеж

Падежная форма особого характера — это «чистая» основа при относительной независимости от других форм парадигмы, но со множеством значений в контексте. Основные типы склонения в качестве исконной флексии имели *-ъ*, который был утрачен в результате падения редуцированных, но оставил нововосходящую интонацию на корневом (вообще — на предыдущем) слоге основ подвижно-окситонированного класса. В таких условиях контекстная (употребленная в формуле) форма род. п. мн. ч. стояла перед выбором: либо сохранить маркированную нововосходящую интонацию на корне, тем самым становясь о с н о в н о й с л о в о ф о р м о й ф о р м у л ы (в сочетании слов она оттягивала на себя главное ударение), либо вернуть себе окончательное ударение путем расширения флексии. Первое было усложнено тем обстоятельством, что форма род. п. обычно является семантически вспомогательной, иногда просто замещает определение (*домъ отца* — *отцовъ домъ*); основное ударение на такой форме нарушало бы принцип семантической иерархии в формуле. Второе решение оказалось предпочтительнее.

Таким образом, для выражения значения род. п. мн. ч. имена мужского и среднего родов стали использовать оба сохранившихся форманта — от основ, которые утратили имена мужского рода:

*o-/*jo-	*ĭ-	*ĭ-	*cons	*a-/ja-
#	-овъ	eu/uu	#	#

Уже с XI в. известны примеры новой флексии у имен мужского рода; ср. в И 76 *грѣхъ* — *грѣховъ*, но также *вождевъ*, *ларевъ*, *плиш-тевъ*; в СП XI *врачевъ*, также *сторожевъ*, *коневъ* и пр., примеров много и в XII в., причем окончание *-овъ* находим у имен с окончательным ударением: *грѣховъ*, *трудовъ*, *поповъ*, *коневъ*, *кораблевъ*, *монастыревъ*, *ножесевъ*, *бѣсовъ*, *хлебовъ*. У имен старых *ĭ-основ такое окончание понятно (*чиновъ*, *сыновъ*, *вѣрховъ*, *волово*). Имена архаических основ давали неустойчивые формы типа *дново* — *днии* — *дней* — *день*, что свидетельствует о контекстном преобразовании, еще не вышедшем в пределы парадигм.

В «Хождении» игумена Даниила *-овъ* используется обычно для неодушевленных имен (*грѣховъ*, *столповъ* и др., но также *бѣсовъ*): в Синод. XIII в., в новгородских и двинских грамотах новые окончания распространены и среди одушевленных, и среди многосложных, но условие подударности флексии, по-видимому, сохраняется: *дворовъ*, *кругевъ*, *полковъ*, *пороковъ*, *грѣховъ*, *коневъ* и мн. др. В разговорном языке XIV в. такое окончание употреблялось довольно часто (см. текст «Задонщины»), но в московские летописные тексты попадало редко: в большом по объему «Казанском летописце» середины XVI в. окончание *-овъ* встретилось 48 раз после твердых согласных и 41 раз после *ц*, тогда как *-ъ* — 84 раза, а *-евъ* после смягченных — 40 раз. Возможно, что новое окончание сначала появилось у мягких основ. Так, в новгородских грамотах ранние примеры почти все относятся к этой группе: *ножесевъ*, *князевъ*, *коневъ*, *рублевъ*, *сторожевъ*, *у вымолчовъ*, *пашезерчевъ*, *товарищевъ*, *овощовъ*. Моск. гр. XV–XVI вв. также дают примеры только на смягченные согласные (*рубловъ*, *истцовъ*, *лещовъ*), и такое состояние сохраняется до XVII в., с возможными колебаниями типа *рублевъ* — *рублей*, *друговъ* — *друзей*, *зятиевъ* — *зятей*, *братевъ* — *братей*, *весельевъ* — *веселей* и под. После XVI в. никакой зависимости от ударения уже не наблюдается, а перераспределение форм с *-овъ/-ей* начинает приобретать закономерный характер (зависит от согласного в основе или корне), но не имеет еще устоявшейся нормы.

Окончание *-eu/-uu* отражается в текстах с XII в., но особенно распространяется после XIII в., причем акцентная характеристика получающих такое окончание имен самая разнообразная, среди них могут

быть имена и с неподвижным ударением на основе: *пенезии, стихарии, мужии, служители, князии, месячи* и пр.; даже в церковнославянских текстах отмечены формы типа *нощей, дверей, заповьдей*, но уже с ударением на флексии. По-видимому, имелось некое условие, разграничивавшее флексии *-овь/-ей*: то ли по ударению, то ли по характеру основы. С начала XVI в. происходит перераспределение в зависимости от основ: мягкие распространяются флексией *-ии/-ей*, твердые — *-овь*. В Моск. гр. 1516, 1523 гг. *товарищовь* — *товарищеи, рублевь* — *рублеи, знахоревь* — *знахореи*, а в новых словах только новое же окончание: *государей, желнырей, избирателей*. Корреляция согласных по мягкости–твердости состоялась и оказала свое влияние на окончательное распределение формантов общего значения и вида.

Имена же среднего рода мягкого типа склонения еще и в XVIII в. могли употребляться без флексии (*морь, поль*), а в твердом отчасти сохранились в таком виде (*озер, окон, ведер*) — при наличии беглого гласного, который формально восполнял отсутствие окончания.

Нулевая флексия сохраняется у слов с обозначением парности (*чулок, рог, глаз*), меры и веса (*раз, килограмм*), родов войск (*гусар, солдат*) и у некоторых заимствованных слов, но также в собирательном значении (*апельсин, грузин*), хотя теперь и тут намечаются некоторые колебания.

В целом можно сказать, что распространение окончаний *-овь* и *-ей* было связано с разнонаправленной тенденцией грамматических падежей к дифференциации форм им. п. — род. п. и вин. п. — род. п. на фоне структурных особенностей словесных формул сразу же после падения редуцированных гласных. Сначала окончание *-овь* было показателем неличных имен мужского рода, с конца XIV в. становится показателем всех вообще имен мужского рода на твердый согласный, а после XVI в. распространяется на все имена, в том числе и среднего рода (в говорах процесс зашел гораздо дальше, охватывая и имена женского рода: *ягодов, грубостев* и под.).

3.4. Дательный и местный падежи

По традиции они рассматриваются совместно, поскольку испытывали одинаковые по характеру изменения и дали совпадающие результаты. Исследователи особое внимание уделили процессу унификации типов склонения в данных — «обстоятельственных» — падежных формах; каждый новый пример тщательно обсуждался, было представлено множество объяснений тому факту, что в дат. п., тв. п. и местн. п., ставшем падежом предложным (пр. п.), обобщились одинаковые окончания для всех типов склонения.

Однако никаких сложностей тут нет. Изменения начались в отдельных словах определенных речевых формул при совпадающих морфологических условиях. Морфонологические условия подталкивали к обобщению флексий *-амь*, *-ами*, *-ахъ*, поскольку после падения редуцированных основным элементом морфемного слога стал согласный. Унификация форм мн. ч. у имен существительных — одно из следствий образования членных форм у согласованных с ними прилагательных, которые утрачивали родовые различия, в границах формулы перенося их на существительные.

Приведем общим списком собранные по различным источникам примеры новых окончаний.

В дательном падеже мн. ч. все ранние примеры сомнительны, ср. в XI в.: *содомлямъ*, *ерусалимлямъ*, *иерусалимлямъ*, *жителямъ* (также *церквамъ*); в XII–XIII в. *людагощонамъ*, *волочамъ* ‘жителям Волока’, *уличамъ*, *мравиямъ*, *селунямъ*, также *церквамъ*, *смоквамъ*, *ряснамъ* — все это имена разносклоняемые или даже женского рода, относившиеся к *ĭ*-основам; с конца XIII в. появляются примеры типа *егуптянамъ*, *безакониямъ*, *матигорьцамъ*, *латинамъ*, *рижянамъ*, *вълхамъ*, *ребрамъ*, *жидамъ*, *по мѣстамъ* и примеры обратной замены (*иде къ старѣишиномъ* и *старѣишинамъ* в МБ 1215 на соседних листах); в XIV в. примеры увеличиваются: *по его городамъ*, *по всимъ селамъ*, *ближикамъ*, *купцамъ*, *немцамъ*, *новгородцамъ*, *боярамъ*, *дворянамъ*, *вавилонямъ*, *церквамъ*, *епископьямъ*, *другамъ*, *попьямъ* и пр. С XV в. использование нового окончания увеличивается резко, как и число обратных замен: *воеводомъ*, *к пустошомъ*, *нашимъ же дядемъ*, *по многимъ щедротомъ*, *ко царским ти полатомъ*, *по тѣмъ же раномъ*, *по рекомъ*, а также у **ĭ*-основ женского рода: *речомъ*, *людомъ* (с ⟨е⟩ → ⟨о⟩).

Местный падеж мн. ч. в XI–XII вв. отражает такое же смешение с окончаниями женского рода: *цьрквахъ*, *жрьновахъ*, *хрьстьянахъ*, *очахъ*; колебания в оформлении флексии возможны у слов разрушающихся типов склонения, ср. в ЕК XII *чинѣхъ* — *о чинохъ* — *о... чинѣхъ* или *въ домѣхъ* — *в домохъ*, но *върствѣхъ*, также *князьѣхъ* — *въ князьѣхъ* и пр.; в XIII в. *сердцахъ*, *цьрквахъ*, *стихьрьяхъ*, *князьѣхъ*, *паствияхъ*, также *въ плотникахъ* (Синод. под 1197 г.; ср.: *праздникѣхъ* под 1397 г.), *въ каменихъ* и под. — результат выравнивания по мягким основам, особенно в новгородских грамотах (*въ Гостѣмеричахъ*); в Моск. гр. XV–XVI вв. *в дву починкахъ*, *на огородникахъ*, *на садовникахъ*, *на его приказщикахъ*, *на тех лугахъ*, *на ответчикахъ*, *на Пупкахъ*, *в Приськахъ* — обычно с основами на заднеязычный, но также и в мягких основах типа *родителяхъ*, *при писцахъ*, *на селицахъ*, *на поляхъ*, *в лицахъ*, т. е. и в формах среднего рода *в монастырских селахъ*, *на тех селахъ*, *в озерахъ*, *в их делахъ* и под.; примеров много, и все они преимущественно связаны с неопределенными по характеру основами, часто это топонимы

местного происхождения или слова *Pluralia tantum*. Появляются и обратные замены: *старцохъ, чернцохъ, селицохъ, пустошохъ* — после шипящих и *ц*. Аналогичные формы отмечали в церковнославянских текстах, но в именах **ї*-основ женского рода: *дверяхъ, благостяхъ, вещахъ*.

Характерно распространение окончания *-ахъ* у имен с основой на *-к* и особенно в северных памятниках: *островкахъ, участкахъ, путикахъ* и т. д., что согласуется с отсутствием результатов второй палатализации в этих говорах (ср. *дворь в Плотникъхъ* в Синод. под 1329 г.). В московских текстах вплоть до XVII в. окончание *-ахъ* от основ на заднеязычный согласный особенно часто (тип *питухахъ*). Как и в других флексиях, новое окончание у имен мужского рода на севере появляется раньше (с XIII в.), чем в московских говорах (с XIV в.).

Еще одна особенность состоит в том, что новое окончание *-ахъ* имена мужского и среднего родов получали исключительно в сочетании с предлогом, начиная с редких древнейших примеров (*въ дѣлахъ, въ еуангеліяхъ* в И 73) и кончая старопечатными московскими памятниками (*на кабакахъ, о казакахъ, въ бѣгахъ* и др. в Улож. 1649 г.). Все они имеют собирательное значение, ограничены морфонологически (основы на *-г, -к, -х*) и, употребляясь с предлогом, составляют с ним предложно-падежную форму еще внепарадигменного характера.

Обобщение окончаний **а*-основ у имен мужского и среднего родов начиналось с формы дат. п., затем распространилось на местн. п., но довольно долго никак не отражается в форме тв. п. мн. ч. Причина, видимо, в синтаксической функции дат. п. и местн. п. — это падежи «обстоятельственные», тогда как тв. п. часто выступал в значении синтаксического (в страдательных оборотах: *сдѣлано мужсами*).

3.5. Творительный падеж

Эта форма позже всего получила новое окончание, главным образом для устранения омонимии им.-вин. п. : тв. п., ср. *столы* — *столы, кони* — *кони*, что могло произойти только после выравнивания окончаний в пределах своей парадигмы (вертикальная аналогия в распределении им. п. *столи* — вин. п. *столы* — тв. п. *столы* и т. д.).

Тв. п. мн. ч. с новым окончанием в XII в. представлен примерами: *церквями, звеньями, буквами*; в XIII в. столь же сомнительные *плъцами, окусами* (неопределенные по роду), а также *дароми*, что может быть результатом выравнивания из *дарьми*; тогда же возможно влияние со стороны **й*-основ: *пророкъми, попьми, оплотьми, городми*. Ранний пример обратной замены находим в ГБ XI (*игръми*). В УС XII

ангельми, глагольми, коньми (но также *лобзаниими*), в Пр. XIV *ножьми*, у Кирилла Туровского в XII в. *гръхъми*, в северных рукописях XIV в. *родми, с князьми и съ мужьми*, а в XV в. такие формы появляются в московских и южных грамотах (*князьми, конми, мужьми, с поппи, грошми, городми*). Некоторые формы могут быть исконными или достаточно древними, например: *трудьми, дарьми* как *сынъми*.

Влияние **ĭ*-основ было возможно у мягких основ (*стражьми* и др. в XII в.), а в XIV в. появляются примеры типа *образими*, в XV в. и позже еще *тѣсними, червими, вѣтвими* (результат усиления ⟨ъ⟩ в слабой позиции; ср. в церковнославянских текстах более позднего времени дат. п. *вѣтвамъ* и *вѣтвемъ*). Интересны также севернорусские (двинские XV в.) написания типа *старымы грамоты, изъ краины и притеребы* ‘закраины’ и под.

Процесс замен окончанием от **ĭ*- и **ĭ*-основ идет полосой с северо-запада на Москву и далее к югу; влияние новгородских говоров с характерными для них изменениями по мягкости – твердости согласных отражается здесь несомненно.

Лишь с XIV в. появляются достоверные примеры типа *бубнами, ключами, гостями, с чернцами, з лугами*. Аналогичные примеры отмечены в берестяных грамотах, что подтверждает наличие изменения в разговорной речи. Таких примеров больше в XV в. и тоже в северных источниках (*льсами, путиками, истоками*), в XVI в. они отражены в московских, но редко (даже в Дом. XVI использованы окончания *-ы/-и*), и даже в XVII в. они сравнительно редки (например в Улож. 1649 г.). У протопопа Аввакума распределение окончаний согласно стилю: *з бубнами, зубами, шелками, с татарами, но со ангелы, гласы, глаголы* и т. д. В разных памятниках отмечается различное распределение старых и новых окончаний. В Судебниках XVI в. *исцями, складчицами, с целовалниками, перед намесниками, перед их тиунами* с выражением категории лица, а в новгородских того же времени также *лесами, поьздами* и пр. Однако в переведенном с польского «Назира-теле» XVI в. формы типа *огородами, рвами, сундуками* (а также *овоцьми, коньми*) и т. д. встречаются очень часто, поскольку в книге речь идет о «домовном обиходе». В Улож. 1649 г. новое окончание употребляется редко, обычно с ⟨j⟩, ср. *братьями, за мужьями, с сыновьями*. Конкуренция форм типа *конюхами, з жытелями* — *якорми, конми, соболми* распространена в бытовых «грамотках» XVII в. В это время изменение происходит настолько активно, что проникает и в русский вариант церковнославянского языка. Так, в ОБ 1581 отмечены формы *въ жерновахъ, книгоциамъ*, а в «Грамматике» Смотрицкого особенно много новых форм представлено в дат. п. мн. ч. (*врачамъ, сердцамъ* и под.).

Поскольку старую флексию особенно долго сохраняли слова *Pluralia tantum* (*дети, люди, сани, сени, груди, двери*) или слова с

различающимися формами тв. п. ед. ч. и дат. п. мн. ч. (типа *костьмъ* — *костью*), было высказано предположение, что раннее развитие новых окончаний в дат. п. мн. ч. связано с необходимостью различать дат. п. мн. ч. и тв. п. ед. ч. мужского рода. Это сомнительно, однако примечательно, что новые окончания и здесь появляются у имен разрушающихся типов склонения. Предположение об отталкивании и отомонимичных форм в пределах одной парадигмы до XVI в. вряд ли справедливо; наоборот, все примеры демонстрируют свойственный Средневековью принцип притяжения по образу и подобию (т. е. по сходству форм в словесных формулах).

Заметно также, что все новые окончания отмечены у имен с ударением на основе, т. е. там, где флексия находилась в морфонологически изолированной позиции. Если учитывать более поздние примеры, в частности из Судебников XVI в., заметны синтаксические ограничения в употреблении новых окончаний; действительно, при дат. п. адресата с обязательным предлогом типа *къ* — *-амъ*.

4. ФОРМИРОВАНИЕ ИМЕННЫХ ПАРАДИГМ

4.1. Результаты изменений

Все приведенные формы замен разным способом отражают нейтрализацию окончаний в пределах общей флексии; появление обратных написаний указывает уже на полное совпадение форм:

дат. п. мн. ч.	<i>жительствоъ > жителемь</i>	с XI в.
	<i>ранамь > раномь</i>	с XIV в.
местн. п. мн. ч.	<i>въ дльльхъ > въ дльлахъ</i>	с XI в.
	<i>чинохъ > чиньхъ</i>	с XII в.
	<i>старцихъ > старцохъ</i>	с XIV в.
	<i>на лузьхъ > на лугахъ</i>	с XV в.
тв. п. мн. ч.	<i>городы > городми как дарьми</i>	с XIII в.
	<i>дарьми > дароми</i>	с XIII в.
	<i>образы > образими — червими</i>	с XIV в.
	<i>зубы > зубами</i>	с XV в.
	<i>грамотами > грамоты</i>	с XVI в.

Замечено также, что число новых окончаний у имен среднего рода обычно выше, чем у имен мужского рода, иногда в два-три раза. Это может быть связано с особыми изменениями среднего рода, функциональная слабость которого допускала колебания в формантах как немаркированных элементах синтагм.

В дат. п. мн. ч. не было промежуточного варьирования **о-* и **й-* основ, потому что после изменения редуцированных окончания совпадали: *домомь* как *городомь*. Направление выравнивания однозначно в сторону окончания *-амь*; оно завершилось в XIV в.

В местн. п. мн. ч. к XIV в. завершилось выравнивание в сторону **й-*основ (*-ох/-ех*) и на этой основе началось совпадение окончаний с

-ахъ. Однако новые формы образовали наречные выражения и долго находились вне парадигмы; обратные написания не отмечены, и до XVII в. говорить о флексии -ахъ у имен мужского и среднего рода (и *ĭ-основ женского рода) затруднительно.

В тв. п. мн. ч. в XIII–XIV вв. намечалось сближение *о-основ с именами *ĭ- и *ĭ-основ (нейтрализация в пользу их окончаний), но с XV в., начиная с севера, обобщение идет в пользу окончания -ами; оно завершилось в конце XVII в. В частности, в московских старопечатных книгах XVII в. «обратными» были двоякие написания: с одной стороны, архаические *жителми, побойми, холопми, глаголми* (отражают первый этап разрушения форм твердого типа *холопы, глаголы*), с другой — *с такими басни, с деревни, со птицы, со трубы и ти(м)паны, с ягоды, иными жертвы* и т. д., которые удостоверяют полное распространение окончания -ами у имен тв. п. мн. ч. мужского и среднего рода.

Задержка с обобщением окончаний -амъ, -ами, -ахъ объясняется возможностью или невозможностью выбора на начальном этапе преобразования, свободой или несвободой данной словоформы, а также особенностями в ударении или в чередовании.

Длительность процесса унификации хронологически строго ограничена несколькими, по интенсивности всегда совпадающими этапами изменения.

В начале изменения замена флексий определяется м о р ф о л о г и ч е с к и м и условиями контекста и связана с регулирующим воздействием новых для системы грамматических категорий. Во всех ранних примерах употребления нового для имен мужского и среднего рода окончания -амъ, которые отражаются в памятниках с XI в., они возможны лишь у тех имен, которые нейтрализуются по признаку рода или числа; обычно это собирательные разносклоняемые имена (*жителе, содомле* и пр. с особой полупарадигмой мн. ч.) или слова *Pluralia tantum* (*Соловки* и под.). Неопределенность в выражении ставшего основным классификационного признака — рода — создает известную расшатанность флективного ряда и тем самым способствует проникновению новой флексии в традиционное окончание дат. п., а затем местн. п. и позже тв. п. Во многих специальных исследованиях приведены десятки примеров такого рода, реальность которых подтверждается и примерами обратного характера в тех же падежных формах: *оплотми, городми* с обычным для них влиянием со стороны старых *ĭ-основ, и различными типами выравнивания окончаний у имен мужского и женского рода, также связанными с утратой редуцированных, — примеры типа *дароми* вместо *даръми*, также *съ птсними, червами* и пр. как остаток выравнивания флективного ряда, происходившего в более раннее время, до завершения фонологических процессов, образовавших корреляции согласных по мягкости–твердости.

Что новые флексии чаще всего усваиваются сначала именами, входившими в мягкие основы склонения, подтверждают все исследователи на основании своих материалов. Затем в этот круг имен постепенно подключались основы на *-к*, *-г*, *-х*, а также на шипящие и *-ц*, постепенно подвергающиеся отвердению. Как и в случае с разносклоняемыми типа *жителе*, основы, оканчивающиеся на непарные по мягкости/твердости согласные, в условиях образования такой корреляции выпадали из системы противопоставлений по данному признаку. Должна была возникнуть стабильность в проявлении самой флексии независимо от характера основы, следовательно, и независимо от морфонологических ограничений, прежде регулировавших наполнение флективного ряда. Действительно, в XII–XIII вв. возникают вариации флексий в дат. п. типа *жительмь/жителемь*, но *пророкомь/пророкъмь* и вместе с тем *новгородьцемь/новгородцомь*. Постоянно твердая основа находилась в соответствии с основой, входящей в процесс отвердения по характеру сочетаемости согласного основы с гласным флексии (типа «твердая фонема» ⟨ц⟩ и «непередняя фонема» ⟨о⟩). На такую фонематически связанную основу с определенной флексией и накладывалась ведущая морфологическая тенденция языка (унификация флексий), тем самым способствуя распространению новой флексии *-амь*.

Таким образом, XI–XV вв. — это время постепенного вовлечения все новых и новых имен мужского рода в складывающийся тип склонения мн. ч., но лишь с XIV в., т. е. уже в границах великорусского (старорусского) языка, обозначилась тенденция к однонаправленной унификации *-амь*, *-ами*, *-ахь* и устранению обратных образований типа *-оми*, *-ими*, *-ьми* в тв. п. Выравнивание распространяется на все вообще имена мужского и среднего родов, причем теперь независимо от морфонологических ограничений. Общее количество форм с новыми окончаниями резко увеличивается, что подтверждается и статистическими подсчетами. В исследованных рукописях XIV–XVI вв. они составляют уже несколько сот примеров. Можно сказать, что на первом этапе, до XIV в., возникали только условия, необходимые для нового выравнивания, причем они лимитировались действием классифицирующей категории рода: только нейтральные по отношению к этой характеристике имена мужского и среднего родов могли получать флексию *-амь*, *-ахь*, а известные морфонологические условия ограничивали пределы действия такого выравнивания. До XIV в. всего лишь возможны коммуникативно обусловленные формы в составе отдельных словесных формул.

С этого времени развивается собственно русский процесс последовательного изменения флексий в сторону обобщения *-амь*, *-ами*, *-ахь* с обычной для нейтрализуемых форм односторонней заменой старых флексий на новые (типа *селищамь*, *селищами*, *селищахь*). Появляется

системно организующая форма активной парадигмы, которая влияет на выбор окончания в каждом отдельном слове, уже вынесенном из традиционных словесных формул.

Из характера нейтрализации можно установить, что парадигма с обобщенными флексиями *-амь*, *-ами*, *-ахъ* становится не маркированной на категориальном уровне и нейтральной в стилистическом отношении, тогда как все прочие парадигмы мн. ч. маркированы (различаются формантами) по признаку (типа) склонения, но не по признаку рода или числа, поскольку после утраты редуцированных в ряду флексий:

<i>конемъ</i>	—	<i>костемъ</i>	—	<i>сыномъ</i>	—	<i>столомъ</i>
<i>конихъ</i>	—	<i>костехъ</i>	—	<i>сынохъ</i>	—	<i>столъхъ</i>
<i>кони</i>	—	<i>костьми</i>	—	<i>сынми</i>	—	<i>столы</i>

в отличие от ряда

<i>женамъ</i>	—	<i>женами</i>	—	<i>женахъ</i>
---------------	---	---------------	---	---------------

отсутствует противопоставление по числу, а противопоставление по роду выявляется не для всех форм; таковых больше всего у местн. п., но только до XVI в., когда завершается изменение $\langle \hat{e} \rightarrow e \rangle$ в определенных условиях, а тип *сынохъ* окончательно устраняется из системы русского языка.

На третьем этапе развития процесса, который, судя по проявлениям в текстах, завершается в XVIII в., в системе остается единственная форма каждой флексии, и происходит окончательное устранение из системы признака «тип склонения», в результате чего становятся возможными и примеры в заимного смешения старых и новых окончаний в интересующих нас падежных формах. С конца XV в. и особенно в XVI в. употребление флексии мужского рода у имен **a*-основ становится вполне обычным (*воеводомъ*, *нашимъ же дядемъ* и пр.), как правило, противопоставляясь и ударением (в летописных текстах того времени колебания типа между *сторожъами* / *со сторожъи*), — своего рода попытка совместить флексию с указанием на реальный род; затем также у имен женского рода; ср. приводимые в разных исследованиях примеры типа *по многимъ щедротомъ* (автограф Аввакума), *въ полатехъ* (список «Казанского летописца»), *ко царскимъ ти полатомъ* (Симеон Полоцкий), *по рекомъ* (список сочинений Спафария), *по тьмъ раномъ* (Сборник пословиц XVII в.) и т. д.

Когда в заимное смешение старых и новых окончаний уже не регулируется никакими морфонологическими ограничениями или морфологической нейтрализацией по определенному признаку (склонения или рода), подобная вариантность начинает использоваться в

стилистических целях. При этом архаические формы, употребленные в устойчивых формулах, воспринимаются как стилистически маркированные, становятся принадлежностью высокого стиля; ср. в «Тилемахиде» В. Третьяковского сочетания *секущими косы, высокими горы, горящими звезды* (обязательно с ударением на корне) и именно в форме тв. п., которая позже прочих устраняет старую флексию у имен мужского и среднего родов. Для грамматического архаизма его стилистическая функция есть заключительный этап существования как формы в тексте. Теперь такой архаизм представлен даже не как вариант нормативного — это форма, не связанная с грамматической категорией и не воплощающая ее. Маркировка по высокому слогу постепенно выводит ее за пределы — сначала нормы, а затем и системы вообще.

Таким образом, устранение из системы классифицирующей категории типа (склонения) происходило в несколько этапов, потому что потребовало последовательного снятия тех категориальных различий, которые в прошлой системе связаны были с характером основы. Сначала нейтрализовались противопоставления по числу, затем по роду, наконец и по типу основ. Вместе с тем неуклонное, постоянно обогащаемое за счет новых имен, стимулируемое все новыми процессами в соседних фрагментах системы вычленение самостоятельной полупарадигмы мн. ч. выводит на место классифицирующей категории категорию числа.

Множество форм одной и той же флексии можно было преодолеть путем соотнесения всех словоформ в *вертикальном* ряду парадигмы. Ведь одни и те же окончания могли встречаться в различных флексиях у разных склонений и родов. Например, местн. п. ед. ч. выделяется окончаниями

-и, -е	у *й-, *es-, *en-основ
-ь, -и	у *a-/ja-, *o-/jo-, *i-основ
-у	у *й-основ

Таким образом, в градуальной оппозиции ⟨и : ê : е⟩ возможна нейтрализация ⟨ê⟩ в любую сторону и одновременно неразличение по роду. В таком случае важное значение приобретает контекст (он проявляет грамматическое значение) и собственное лексическое значение слова — и тогда род становится лексико-грамматическим ограничителем склонения, уже не являясь грамматической категорией. Именно тогда и становится необходимой парадигма, в вертикальном следовании словоформ сохраняющая признаки категории рода в падежной системе. Род исторически организует парадигму как новый принцип классификации имен.

4.2. Акцентное распределение парадигм

Закономерности сложения новой парадигмы всегда одни и те же. Парадигма строится сначала по старой акцентной канве, и, только окончательно сформировавшись в полном наборе новых словоформ и обобщенных флексий, она оказывается способной противопоставить себя исконной парадигме также и в акцентном отношении. Фонологическое расшатывание словоформ (*сто́льхъ* — *сто́лихъ* — *стола́хъ*) с возможным морфонологическим чередованием (*грѣ́сьхъ* — *грѣ́хъхъ*) и возникающим на этой основе варьированием форм завершается основным морфонологическим изменением — преобразованием акцентного класса слов, поскольку одновременного изменения сразу всех морфонологических характеристик слова в языке никогда не происходит. Так, в приведенном примере окончательная «победа» новой флексии *-ахъ* связана с обобщением в этой форме наконечного ударения, которое распространилось даже на баритональные по происхождению слова (с постоянным ударением на корне); ср.: *ветра́хъ*, *дыма́хъ*, *деда́хъ*, *жука́хъ*, *кута́хъ*, *куста́хъ*, *пуда́хъ* в текстах XVIII в. Новая форма противопоставлена старой уже не как вариант одной и той же парадигмы, а как проявление двух различных парадигм, старой и новой; следовательно, как две парадигмы различных языков. Архаическая форма исчезает не сама по себе, а только как компонент архаической парадигмы, ставшей системно избыточной.

После перераспределения основ в пользу окончаний и их опрощения является третье условие выделения окончания как аналитически свободной (идеальной) флексии: с просодической точки зрения конечный гласный словоформы уже автономен как самостоятельная морфема. Совокупность таких морфем, объединенных общностью синтаксической функции, может восприниматься как вариантность общей для них флексии, например в значении дат. п. мн. ч. Поскольку теперь они не зависят от основы, они могут взаимозаменяться по горизонтали на основе общности значения: *дома́тъ* > *дома́тъ* как *жена́тъ* и т. д. Возникла тенденция к собиранию словоформ в слово по морфологическим признакам флексии, поскольку лишь динамическим ударением, т. е. признаком слова, в устной речи все словоформы данного слова могли сближаться формально. Нововосходящее ударение, в котором совмещались тон и ударение, связывает словоформы в слово, давая возможность к восприятию грамматических парадигм как идеально отличных от конкретных лексических форм слова. Оттяжки ударения в отдельных словоформах, последовавшие за преобразованием интонационных отношений, привели к дальнейшему устранению словесного ударе-

ния с флексии, хотя и не во всех случаях; образовались варианты изолированных и сильных позиций, но без чередования со слабыми, например в форме местн. п. мн. ч. мужского рода:

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
(постоянно на корне)	(перенос на корень)	(перенос на окончание)
<i>кѹрьлхъ</i>	<i>вѡлхъ</i> < <i>волѣхъ</i>	<i>сынѣхъ</i> < <i>сынѡхъ</i>

Статистически форм с наконечным ударением становилось все меньше, у окончаний появилось много слабых позиций, что и обусловило необходимость (и возможность) их унификации по типу основ, сохранявших наконечное ударение в большинстве форм; это тип склонения **ā*-основ.

Парадигма *a* предстает как *баритонеза* (греч. *βαρύτονος* — не имеющий ударения на последнем слоге); это слова с постоянным ударением на корне (основе) и обычно с восходящим тоном; в русских полногласных формах отражается как ударение на втором слоге: *корѡва*, *сорѡка*, *дорѡга*.

Парадигма *b* предстает как *окситонеза* (от греч. *οξύς* — остроко-нечный); это слова с постоянным ударением на тематическом гласном, с которого ударение могло переноситься на предыдущий слог в результате опрощения.

Парадигма *c* отличается подвижным ударением, которое перемещается между крайними слогами словоформ; в русских полногласных формах такие слова имеют ударение на первом слоге корня, ср. *голо-ва́* — *гѡлову* — *нѡ голову* и т. д.

Число	Падеж	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>
ед. ч.	им. п.	<i>ба́ба</i>	<i>же́на</i>	<i>го́ра</i>
	род. п.	<i>ба́бы</i>	<i>же́ну</i>	<i>го́ры</i>
	дат. п.	<i>ба́бѣ</i>	<i>же́нѣ</i>	<i>го́рѣ</i>
	вин. п.	<i>ба́бу</i>	<i>же́ну</i>	<i>го́ру</i>
	тв. п.	<i>ба́бою</i>	<i>же́ною</i>	<i>го́рою</i>
	местн. п.	<i>ба́бѣ</i>	<i>же́нѣ</i>	<i>го́рѣ</i>
мн. ч.	им. п.	<i>ба́бы</i>	<i>же́ны</i>	<i>го́ры</i>
	род. п.	<i>ба́бѣ</i>	<i>же́нѣ</i>	<i>го́рѣ</i> > <i>го́рѣ</i>
	дат. п.	<i>ба́бамъ</i>	<i>же́намъ</i>	<i>го́рамъ</i> > <i>го́рамъ</i>
	вин. п.	<i>ба́бы</i>	<i>же́ны</i>	<i>го́ры</i>
	тв. п.	<i>ба́бами</i>	<i>же́нами</i>	<i>го́рами</i>
	местн. п.	<i>ба́бахъ</i>	<i>же́на́хъ</i>	<i>го́рахъ</i> > <i>го́рахъ</i>

По крайней мере до конца XIV в. ритмический рисунок каждой словесной формулы определялся соотношением между долготой или краткостью корневого слога и ударением словоформы в их совместном единстве с такими же признаками всех слов, входивших в формулу, например: *вы́шелъ на́ гору, красную́ гору, зрѣлъ гору́ ту*. В средневековом языке развивались подвижно-окситонированные акцентные парадигмы, в них нуждались новые словесные формулы; по направлению к нашему времени подвижность ударения все больше разрушалась, потому что освобожденные от формулы самостоятельные слова выделяются постоянным ударением. В современном литературном языке из первой тысячи самых частотных слов лишь 32 сохраняют подвижное ударение, причем с колебанием (*река, слеза, стена*); 94% всех слов современного словаря имеют неподвижное ударение типов *a* и *b*.

Особого внимания заслуживает ритмико-интонационное взаимодействие двух последних слогов словоформы. По происхождению это слоги общей морфемы — флексии:

Форма парадигмы	<i>b</i>	<i>c</i>
	(ударение на основе)	(ударение подвижное)
тв. п. ед. ч.	<i>столо́мь</i>	<i>сынѣмь</i> > <i>сынóм</i>
	<i>село́мь</i>	
	<i>пу́тьмь</i>	
дат. п. мн. ч.	<i>столо́мь</i>	<i>сынѣмь</i> > <i>сынóм</i>
	<i>село́мь</i>	
	<i>пу́тьмь, сестра́мь</i>	<i>рука́мь</i> > <i>рука́м</i>
местн. п. мн. ч.	<i>стольхъ</i> > <i>сто́льхъ</i>	<i>сынѣхъ</i> > <i>сынóх</i>
	<i>сельхъ</i> > <i>се́льхъ</i>	
	<i>пу́тьхъ, сестра́хъ</i>	<i>рука́хъ</i> > <i>рука́х</i>

Особенно сложная акцентная ситуация создалась у основ на **й*- и на **ї*-; почти все они относились к подвижноударным, и перенесение акцента на предшествующий слог не давало здесь (на ⟨ъ⟩ и ⟨ь⟩) новоакута. С фонологической точки зрения все такие парадигмы были слабыми и не имели никаких условий сохраниться, потому что не поддерживались акцентными парадигмами, единственно важными в устной речи. В параллельном сближении всех типов склонения на основе общей флексии (как показано в схемах в дат. п. мн. ч., в тв. п. ед. ч. и т. д.) возникала двоякая возможность: либо новая восходящая интонация на корневом слоге, либо она же на флексии создавали

варианты общей формы, потому что после утраты конечных ⟨ъ, ь⟩ двумя последними слогами словоформы, связанными ритмомелодически, стали слог корня и слог флексии: *стольх* — *сынох* — *сестрах*. С фонетической точки зрения конечные части словоформы достигли высшей степени разрушения, и необходимо было новое средство, способное сохранить разрушающиеся формы в их грамматическом значении.

4.3. Статистическое распределение парадигм

Оно также существенно для суждений об их функциональной ценности и возможных изменениях.

В наиболее важный для формирования парадигм исторический момент XV–XVI вв. распределение имен по категориям независимо от жанра и происхождения текста было постоянным, с незначительными отклонениями в стилистически маркированных текстах:

категория <i>рода</i> :	мужской = 60%, средний = 14%, женский = 26%
категория <i>числа</i> :	ед. ч. = 81%, мн. ч. = 18%, двойств. ч. = 1%
категория <i>надежда</i> :	род. п. = 24,3%, им. п. = 24,2%, вин. п. = 23,8% дат. п. = 10,2%, тв. п. = 8,5%, местн. п. = 8% зват. п. = 1%

Им. п., вин. п. и род. п. обладают самой высокой частотностью. Сопоставляя частотность форм в московских памятниках XV в. и одновременных им усредненно славянских, замечаем, что в это время именно московская система диалектов полнее других отражает среднестатистическую славянскую норму; все решительно изменяется в XVI в., когда происходит резкое расхождение между разными славянскими языками и говорами, и московский вариант становится нормализующим в формировании новых именных парадигм. Частотность косвенных форм увеличивается в связи с развитием управления и примыкания — активно формирующихся синтаксических связей между словами, выходящими из старых словесных формул в свободное употребление (в новом синтаксическом единстве).

Приведенные значения оправдывают преимущественное внимание к изменяющимся формам мужского рода и ед. ч. в целом, а неопределенность положения с мн. ч. подтверждается незначительным количеством необходимых и доказательных примеров. Частотность имен существительных начинает различаться и по жанрам; в летописях это треть всех использованных слов, в «Хождениях» — пятая их часть.

Основная статистическая закономерность, важная в данном случае, такова: увеличение частотности тех или иных форм связано с формальным изменением соответствующей падежной флексии, т. е. с перегруппировкой системы окончаний, действующих в данной флексии. Вариативность окончаний возможна на большом (частотном) текстовом материале. С изменением грамматической функции словоформы происходит увеличение или уменьшение его употребительности, что, в свою очередь, влечет преобразование самих форм.

Унификация типов склонения представляет собой усиление формальных показателей падежа, систематизацию противопоставления их как элементов чистых отношений. Функция синтаксической категории — падежа — не осознается и потому представляется несущественной до момента, когда носители языка вступают в общение с другими, и притом многими. И тогда оказалось, что система отношений между падежами в точности соотносится с системой отношений между этими носителями языка в их совместных действиях как в реальном, так и в идеальном мире. На уровне высказывания становится востребованным соответствие содержания выражению и, если таковое отсутствует, начинается преобразование форм.

Этапы этого преобразования соответствуют глубинно семантическим процессам, происходившим в языке. В древнерусском языке отражена эквиолентная равноценность каждой основы каждому форманту, и при этом отмечен как существенный именно формант — характер основы. В старорусском языке это уже градуальная иерархия сразу нескольких окончаний, используемых для выражения одной и той же флексии. Новый литературный язык формировал четкие привативные оппозиции, согласно которым каждое окончание противопоставлено всем прочим по какому-то одному признаку, и по этой причине все они уже не варианты, но идеальные инварианты выражаемых ими отношений, а ненужные языку окончания исчезли. Основные изменения парадигм происходили в XVI–XVII вв., после того как были закончены преобразования *внешней формы языка* в звучании речи.

Формирование системности в русском языке происходило параллельно на всех уровнях: корреляции по мягкости/твердости у согласных, по виду — у глагола, по числу — у имен и т. д., а также в развитии связей между словоформами в парадигме. Соединение формальных словоформ в грамматическую парадигму — это обратная сторона многозначности (синкретизма) средневекового слова в момент его распада — сначала в границах словесной формы. Фонетический принцип выделения парадигм по характеру основы сменился семантическим, согласно категориям рода, а затем и числа.

Только обобщившиеся в категориальные формы явления языка подводят к моменту кодификации по данному признаку, т. е. к установлению нормы как акта познанной системы. И только литературный язык как высшая форма национального языка способен был завершить построение парадигм. В диалектной речи этот процесс остался незавершенным. Церковнославянский язык также оказался неспособным это сделать, поскольку он создавал свои формы во многом искусственно; ср. примеры типа *небо* — *небесо*.

5. КАТЕГОРИИ ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

5.1. Категория рода

Признак грамматического рода не разграничивал имена в архаических типах склонения; например, в типах $*\bar{i}$ -, $*\bar{i}$ -основ сохранялись только имена женского рода, в типе $*\bar{i}$ — только мужского, имена мужского и среднего рода составляли одинаковые типы склонения ($*o$, $*jo$, $*cons$), но различались по некоторым признакам. Остатки прежде органической связи родовых признаков с характером основы находим у имен среднего рода (им. п. — вин. п. любого числа: *село* — *сель* — *села*; *имя* — *имень* — *имена*), женского рода (им. п. — вин. п. мн. ч.: *жены* — *жены*, *кости* — *кости*) и мужского рода (им. п. — вин. п. ед. ч.: *домъ* — *домъ*, *столь* — *столь*). Расхождения наблюдались лишь в окончаниях нового, аналогичного по происхождению, тв. п. ед. ч. (мужского рода *-ьть* : женского рода *-ьјо* на месте исконной флексии $*\bar{i}$, ср. ее остаток в форме *ради*). Категория рода во всех типах склонения оказывается вторичной, она возникала на основе взаимного отталкивания имен $*\bar{a}$ - и $*o$ -основ (соответственно «женского» и «неженского» рода). Колебания в характеристике по роду у многих слов сохранились до настоящего времени; это заметно, если сравнивать одни и те же слова в различных славянских языках и даже говорах одного языка.

Типологически доказано, что категория грамматического рода возникает лишь в языках, в которых вин. п. синтаксически противопоставлен им. п.; в тех славянских языках, где активно развивается категория одушевленности, постепенно устраняется категория среднего рода. В этих двух границах и располагаются все изменения, связанные с категорией рода.

Отмечено, что признак рода у существительных дейктичен (указывает на реальные различия), а у прилагательных он связанно анафоричен (указывает на отношения внутри текста), из чего следует, что грамматический род как категория возникал первоначально толь-

ко в своем анафорическом значении, т. е. в контекстной формуле, а не парадигматически как категория (например, не как ответ на необходимость различать признак пола или лица). Как и все грамматические категории имени, генетически категория рода синтаксична по функции и оформляется с помощью фонетических средств. Самостоятельной категорией она становится в связи с развитием категорий лица и одушевленности и в результате выделения имен из состава словесных формул.

Все средневековые грамматики обращают внимание на синтаксическую связь *согласования* двух имен в словесной формуле как средство формального выражения категории рода: *бѣль снѣгъ — бѣла рука — бѣло поле*. В соответствии с греческой или латинской традицией указаны и семантические основания родовых различий — до семи у Смотрицкого, с обязательным выделением «общего рода» (*той пияница — той пияница*).

«Ассоциации рода и пола» здесь явно не было, поскольку уже с XI в. родовые различия начинают утрачиваться в формах мн. ч.; там процесс начинался с того, что у имен среднего и женского рода отсутствовало, а у имен мужского рода утрачивалось противопоставление им. п. — вин. п. Семантические основания разграничения по «роду», следовательно, были иными. Семантически категория рода вообще малосодержательна, отсюда и различные ее толкования с точки зрения ее отношения к «реальности»: передает ли она реальные отношения собирательности (имена **a*-основ по происхождению собирательные), лица (особенно вторично у имен мужского рода), рода (включая сюда и средний род), пола (по линии мужского : женского) или «характера», т. е. типа метонимического перенесения смысла с мужского рода на женский, и наоборот (как полагал К. С. Аксаков). Определенно ясно, что у имен существительных эта категория словообразовательная, потому что слова разного рода — различные слова (*робъ — роботы — роба — робя*), а у прилагательных — словоизменительная (*новъ — нова — ново*). А. А. Потебня был прав, утверждая, что категория рода в момент образования была использована для «приведения в порядок и усвоения всего содержания мысли», т. е. что «род есть средство перенесения из одной категории в другую» в полном соответствии со средневековым принципом метонимической организации мышления.

Специальные исследования показали, что родовая синонимия сохранялась во всех случаях, когда за категорией «рода» — в его отношении к частным «видам» — скрываются дополнительные, но легко осознаваемые семантические разграничители. Имена мужского и женского родов, даже не имея вариантов типа *блзнь — блзна — блзнь, занавес — занавеса — занавесь*, различаются оттенками значения. Имена, мотивированные глаголом со значением физического,

конкретного, зримого, осязаемого, слышимого, короче — телесно-вещного действия, оформляются как имена мужского рода, а имена, соотносимые с глаголом в значении нематериально отвлеченного, т. е. идеального действия, обычно предстают как имена женского рода; ср. древние формы типа *бег, ход, говор, хруст, выстрел, но дума, пощада, мука, вина, угроза, плата, мена, свобода, судьба* и пр. Образования **ї*-основ обозначали не обобщенное (опредмеченное) действие, а объект или результат действия (*занавесь, прорись, прорезь, залежь*). Приведя обширный материал, исследователи приходят к выводу, что долго сохранявшиеся в русском языке соответствия типа *занавес — занавеса — занавесь* определялись как самостоятельные по семантическим основаниям и по грамматическим категориям; следовательно, эти соответствия разрушались постепенно в связи с грамматикализацией категории рода и разрушением старых типов склонения.

В материалах XVIII в. множество дублетных форм показывает, что прежнее четкое соотношение имен по в и д о в ы м р о д а м окончательно разрушилось, поскольку одновременно развивался параллелизм во флексиях (т. е. *укорь/укора*, но в косвенных формах одинаково: *укоры, укоровь, укорамь...*). Устранение синонимии форм происходит (в том числе и по причине утраты производящей глагольной основы: *блзнить*) из-за распространения производных имен с аналитически фиксированным добавочным значением (*занавеска, укоризна, соблазн, говор — говоря — уговор — поговорка* и пр.). Приставочные и суффиксальные имена снимают необходимость в грамматически неопределенном разграничении слов только по «видовому признаку» рода. По примерам заимствованных слов в XVIII в. заметно все то же распределение имен мужского и женского родов: конкретное значение закрепляется за словами мужского рода, отвлеченное — за словами женского рода.

Преобразование падежных форм в старорусском языке происходило на фоне неопределенности родовых признаков; с них начиналась и унификация типов склонения.

Долгое сохранение вариантов склонения также определялось различием в категории рода. До XVI в. вариантами выступают многие имена «бытового» характера, они обозначают конкретные вещи: *лосось мурманская, сей запись, отпись*, колебание *тетеревь* и *тетеревь, печать* и *печатъ, гвоздь* и *гвоздь*, имена одновременно мужского и женского родов типа *звѣрь, мышь, путь*. Варианты падежных окончаний отражают колебание имен в роде. Например, в северо-западных грамотах XV — начала XVI в. по типу **ї*-основ и **о*-основ одновременно склонялись слова мужского рода: *путь, день, пень, корень, камень, ячмень; от пня — от пни, к путю — к пути, с камня — у камени* и т. д.

Родовая синонимия устранялась в случае, если оба синонима исчезали из употребления после утраты производящего глагола: *блазнь* — *блазна* — *блазна* в связи с утратой глагола *блазнити* и др. или если в качестве нормы сохранялся только один синонимический ряд с характеристикой рода: *забой*, *прибой*, *набой* и др., ибо *бой* — мужского рода; *отрава*, *потрава*, *протрава* и др., ибо *трава* — женского рода. Оба родовых варианта могли сохраняться лишь при условии семантической дифференциации (*кровь* — *кровля*, *погонь* — *погоня*). Синонимы сохранились потому, что утратили «синонимичность», войдя в различные именные парадигмы и перераспределив свои значения, а именно мужского рода конкретные — женского рода отвлеченные: *походь* ‘выступление на войну’ — *похода* > *походка*; *прикладь* ‘пример’ — *приклада* ‘соотношение’; *наволокъ* ‘заливной луг’ — *наволока* > *наволочка*; *пошивъ* — *пошива* > *пошивка*. Суффикс *-к-* образует форму женского рода, т. е. здесь возникает словообразовательная возможность словоизменения грамматической формы.

Уже А. А. Потетбня заметил, что категория среднего рода «идет на убыль»; этот процесс продолжается не одну сотню лет, но средний род сохраняется, особенно в литературно-книжных текстах. Именно там возникло большое число имен среднего рода в «неясно» отвлеченном значении с помощью новых суффиксов: *торжество*, *влияние*, а также субстантивированные *добро* и т. д.; средний род в таких случаях — это отвлеченная форма обезличенной предметности.

Семантически имена разного рода не соотносятся друг с другом, сохраняя исконное противопоставление по смыслу. По наблюдениям В. В. Виноградова, у имен мужского рода ярче выражена *идея лица*, чем пола, а у имен женского рода *идея пола* ярче, чем идея лица, тогда как у имен среднего рода ни идея лица, ни идея пола несущественны. «Расплывчатость категории среднего рода» в современном литературном языке (Виноградов) совпадает с тем, что во многих индоевропейских языках, в том числе и ближайших к славянским, средний род утрачен, а в современном сознании русского человека неопределенность среднего рода предстает как «отвлеченное и неясно представляемое, что русский язык отмечает большею частью средним родом» (Ф. И. Буслаев): *белое, добро, все мое. Что? — это... оно... такое...*

На постепенное устранение среднего рода из грамматической системы указывает нейтрализация родового признака во мн. ч.; ср. *щупальце* — *щупальца* — (свои) *щупальцы*, *ручище* — *ручища* — (свои) *ручищи*. Суффиксы индивидуальной оценки, особенно уменьшительные, переводят любое слово в форму среднего рода; ср. *пень* — *пешко*, *стол* — *столишко* и пр., что показывает тенденцию к переходу формообразовательного среднего «рода» в род словообразовательных

средств системы. Добавим к этому, что число «чистых» имен среднего рода со специальной парадигмой (*время, темя, племя*) в разговорной речи неуклонно сокращается, а отсутствие категории одушевленности у имен среднего рода исключает их из очень важной для русских слов корреляции, тем самым дополнительно ослабляя функциональную ценность самой категории среднего рода.

В русских говорах по указанным причинам формы среднего рода после XVII в. фактически утрачиваются. В северо-западных говорах содержательно важные имена среднего рода стали совпадать с именами мужского рода (*коромысел, крылец, облак, прясел, яблук* и пр.) на основе совпадения вообще многих форм склонения, особенно в продуктивном типе склонения старых *о-основ, так что окончания в им. п. ед. ч. могут восприниматься как варианты падежных окончаний -# и -о/-е.

В южных говорах фонетические редукции и развитие аканья довели уничтожение форм среднего рода до конца; выделяют три этапа в развитии этого процесса:

1	2	3	4
<i>новая сила</i>	→ <i>новая сила</i>	→ <i>новая сила</i>	
<i>новое дела</i>	→ <i>новая дела</i>	→ <i>новая дела</i>	→ (<i>вижу ядра,</i>
<i>новое ведро</i>	→ <i>новая ведро</i>	→ <i>новая ядро</i>	<i>ядрой</i> и пр.)
<i>новое житьё</i>	→ <i>новая житьё</i>	→ <i>новая житья</i>	

1-й этап чисто фонетический: на основе акающего произношения происходит совпадение окончаний в речи — не ранее XIII в.

На 2-м этапе происходит распространение новых форм на ударные окончания при согласовании с прилагательным; с XVII в. родовая характеристика существительного сконцентрирована на имени прилагательном, и потому

на 3-м этапе происходит совпадение имен среднего рода с именами немужского рода (*майя житья*), в результате становятся возможными и изменения в косвенных формах типа *пузай* ‘пузом’, *над пузаю, гумну сожгли, скирд просы, строения какая* и пр.

Сохранение форм среднего рода в литературном языке во многом дань традиции, поддерживаемой искусственно созданными словами отвлеченного значения, заимствованными из литературно-книжных текстов. С точки зрения истории языка среднего рода как категории в языке нет (или она очень ослаблена). На это указывает постоянная склонность говорящих вольно обращаться со словами, даже при наличии подударных окончаний (типа *нет пальта, пальту, пальтом*) или изменять родовую характеристику через согласуемое слово

(*черное кофе, черный кофе*, ср. старопетербургское произношение *черная кофа*). При утрате категории отклонения от нормы как раз и отражаются в заимствованных (новых для системы) словах.

5.2. Категория одушевленности

Категория одушевленности определяется по окончательному результату развития, представленного в современном литературном языке в незавершенном виде, а севернорусскими говорами как полнотью выработанная формально. По форме это — выражение объекта посредством род. п., а не вин. п.:

*отец видит сына // видит столъ, видит окно...
но муж видит жену, видит гору...
отец видит сыновей // видит столы, видит окна...
мужья видят жен // мужья видят горы...*

Историки русского языка, ориентирующиеся на форму, которая выражает то или иное грамматическое значение в определенном моменте развития категории, отрицают мысль о поэтапном развитии категории одушевленности в русском языке; главное для них — показать, например, что вин. п. – род. п. в XI в. отмечен в 21 контексте, в XII в. таких контекстов 19, в XIII в. — 39, в XIV в. — 107, а в первой половине XV в. выявлено 54 контекста с подобным распределением форм в значении прямого объекта. Недостаточность материала, взятого в «системном» соотношении по искусственно ограниченным временным срезам, не может показать развитие категории одушевленности, поскольку это — процесс, заданный к действию путем «снятия» с новой классифицирующей категории рода.

В наиболее ранних славянских *литературных текстах*, т. е. переведенных с греческого, эта категория никак не отражена, что видно и на самых важных для христианской культуры текстах. Так показывает, например, мифодиевский перевод Символа веры: *Върую въ единъ Бъ Оцъ Вседържителъ Творецъ нбоу и земли...* УК XIII на месте греч. *πιστεύομεν ἐς ἕνα θεόν πατέρα παντοκράτορα...* Лишь во второй редакции текста, составленной в XI в. или чуть позже (как полагают, на Руси), находим уже формальные проявления категории «лица»: *Въруемъ въ Единого Бга Оца Вседържителя* (ЕК XII). В УС XII в. даже такие слова, как *ангелъ, Богъ, братъ, мужь*, в некоторых текстах употреблены в форме вин. п., а не род. п.

Историки полагают, что этапы развития категории одушевленности связаны с переходом одной и той же формы в новое семантическое качество:

1-й этап — *определенности*: до XIII в. форма вин. п. - род. п. указывает потенциального действующего лица, агенса (*мужа*, как способного на действие субъекта, но *идти за мужь*);

2-й этап — *лица*: после XIII в. та же форма указывает на категорию лица и может проявляться только у имен мужского рода;

3-й этап — с XVII в. форма уже вполне представлена как выражение категории *одушевленности*, возможна для всех одушевленных имен, и притом также во мн. ч.

Таким образом, по заданному «стимулу» происходит перераспределение формы между соотношениями «агенса/неагенса» (функция «лица» или «вещи») → «лицо/нелицо» (идея лица) → «одушевленность/неодушевленность» (грамматическая категория). Можно предполагать, что действительным ходом данного изменения было постепенное «снятие» категориального признака с конкретных контекстов путем расширения лексической базы включенных в оппозицию имен. Развитие идет не за счет замены категорий, а посредством с о в е р ш е н с т в о в а н и я самой категории, которая в исходной системе представлена как с и н т а к с и ч е с к а я категория «определенность/неопределенность».

Лингвистические предпосылки развития этой категории неоднократно обсуждались.

Противопоставление действующего лица не действующему в высказывании являлось в нескольких видах. Прежде всего в противопоставлении форм местоимений типа *кто* — *кого*, а также в противопоставлении имен собственных (*Павль видит Петра*); или в противопоставлении форм личного местоимения (*я вижу тебе (> ты)*) и особенно в отрицательных конструкциях, когда субъекту полностью отказано в возможности производить действие: (*я видел жену* — *я не видел жены*); и еще при обозначении объекта действия, представленного в метонимическом значении: *всего одного дома кръсти* — *въсташа языкъ на языка* (Златоуструй XII в.) — речь идет о людях в совокупности «дом» и «язык» (народ).

Переносные значения слов в определенных контекстах в данном случае оказываются решающими. Древнеславянская религия — язычество — «одушевляла» природные явления (*анимизм*), а полученные из Византии риторические приемы построения художественной речи культивировали различные виды тропов, одушевлявших мертвую природу. Уже в «Изборнике Святослава» 1073 г. содержится трактат Георгия Хировоска на эту тему. «Слово о полку Игореве» насыщено подобными образами. В переведенных византийских текстах, например в рассказах Синайского патерика (древнерусская рукопись XI в.),

встречаются формы вин. п.—род. п. типа *льва, пса, осла*; ср. также *быка* (Лавр.) и т. д., что вызывает сарказм современных историков по поводу «категории лица для животного царства». Как будто люди никогда не читали басен. В переводном сборнике басен «Стефанит и Ихнилат» вин. п.—род. п. также не знает исключений при определенном указании на животных (даже *видевше гавран мыша* в форме мужского рода, поскольку речь идет именно о Мышѣ, а не о Мыши). Речь ведь вовсе не о биологической или социальной категории лица, имеется в виду известного рода определенность *действующего лица*.

Соотношение определенности/неопределенности в контексте само по себе неопределенно и неустойчиво, тут самые разные речевые формулы могли затемнить форму выражения и дать своего рода исключения из правил. В древнерусских памятниках примеров такого рода множество.

В Синод. под 1216 г. известный текст: *Поидоша сынове на отця, брат на брата, рабъ на господина, господинъ на рабъ*, в котором характер традиционной формулы показывает возможности для передачи данной пракатегории. Из контекста можно выявить доказательства для любой теории, разделяемой ныне историками языка. Но когда неизвестный новгородец в XIV в. пишет (в Бер. гр. 43): *Пришли ми цоловькъ на жерепць, зане ми здьсе дль много*, — ясно, что речь идет о зависимом человеке, о слуге.

Среди примеров много таких, которые показывают ограничения в употреблении вин. п. – род. п. и всегда относительно о п р е д е л е н н о с т и лица.

В соединении с притяжательным местоимением *мой, свой*:

поймете у мене мои шюринь, чему еси слъпиль братъ свои, посади посадникъ свои (в Лавр. и Ип. 1425, но в Лавр. также *на Ольга, брата своего; вдаи сына своего*, в Новг. гр. 1308 г. *слати своего мужа* и др.);

в виде приложения к другому имени существительному, которое уже представлено в форме вин. п.—род. п.:

сына же своего Ярославъ посади Туровъ — Лавр. [сына Ярослава], *послалъ посоль свои Вячеслава* (Ип. 1425) [посла Вячеслава],

поймите у мене... мои шюринь Михаила (Синод. под 1224 г.), *поиде кнзь Мстиславъ на зять свои Ярослава* (в Синод. иначе: *и вда имь снъ Стославъ*) — порядок слов и распределение имен в формуле играет свою роль;

при однородных членах предложения, если один из них уже выражает идею определенности лица:

слати осетръникъ и медовара (Гр. 1265 г.; в списке обе формы с -а);

при индивидуализации отвлеченных или собирательных понятий возможно усиление указанием на определенность объекта:

подтвердихомъ мира старого (Гр. 1189 г.), *еже такого свѣтильника имать въ области своей* (УС XII) и пр.;

при распределении видовых различий глагольных основ (если глагол употреблен в совершенном виде, то скорее развивается вин. п.—род. п.), который и сам по себе выражает различные степени определенности действия:

чему еси слѣпиль братъ свои (Лавр.) — *чему еси ослипилъ брата своего* (Ип. 1425); *раздражати быкъ — и похвати быка рукою за бокъ* (Лавр. под 992 г.); употребление род. п. после переходного глагола синтаксически увеличивало появление выразительного падежа объекта, особенно в тех случаях, когда объект в реальной ситуации мог обратиться в субъекта: разъяренный бык против молодого Кожемяки. Все древнейшие примеры проявления «лица» в описании животных обычно таковы.

Старое окончание сохранялось в устойчивых формулах речи, в которых происходила нейтрализация субъект-объектных отношений по лицу и числу:

въсед на конь, за конь, идти за мужь, идти в люди, сдать в солдаты; ср.: *сѣвративъ коня, приѣха — на конь въсядяше* (УС XII); в Дом. XVI сочетания типа *про гость*. Вообще у имен мягкого склонения вин. п.—вин. п. сохраняется дольше, см. в берестяных грамотах: *продайте половъи конь, нарядите же мужь* (может быть форма род. п. мн. ч.) и т. д.

Общая тенденция заметна: если словоформа тесно связана с традиционным контекстом (со словесной формулой), то она не поддается новым окончаниям, и никто не старается противопоставить объект субъекту действия. Если же словоформа «выбилась» из формулы, каким-то образом противопоставлена остальным формам сочетания, тогда новое окончание вполне возможно, хотя и не обязательно. В этом проявляется все тот же древнерусский принцип выбора: для одного — это, для другого — и то и это (*то́ — мое, а то — моё же*).

Второй этап отражает существование лексико-грамматического класса имен как проявления определенного лица.

Прежде всего это проявляется в именах собственных: *посади убо сего оканьнааго Святопѣлка в княжении Пиньскѣ, а Ярослава Новьгородь, а Бориса Ростовь, а Гльба Муромь* (Сказ. Борис);

затем в формулах взаимного действия:

послушающе братъ брата (Синод. под 1054 г.), *ажь убъеть мужь мужа, то мьстити брату брата* (Правда Русская) и др.;

в формулах с согласуемыми причастными формами:

узърь Исуса идуща (ОЕ 1056), *видяше бо мужа преподобьна и правдьна суца его* (УС XII).

Во всех таких случаях в форме вин. п.—род. п. стоит имя, выражающее лицо, имеющее право на действие, в отличие от имен с фор-

мами вин. п.—вин. п., ср. в Русской Правде: *за смердии холопъ: оже уведешъ чюжь холопъ любо робу, пояти же челядинъ, или смердъ умучить* и др.

Лексико-грамматическую категорию лица соотношение форм вин. п.—род. п. в полной мере перестало выражать только к концу XVII в., когда соответствующее употребление грамматических форм распространилось на имена женского рода, и притом в ед. ч. и во мн. ч., независимо от значения слов, т. е. при обозначении всех живых (или предполагаемо живых) существ.

В обозначении животных и птиц в вин. п.—род. п. ед. ч. примеры появляются со второй половины XIV в. (в берестяных грамотах: *дайте коницка, поими моего цалца ‘чалого’, коня познаи*), хотя наиболее ранние примеры относятся к Гр. 1300 г. (*улюбиль еси одного коня*) или даже раньше, к текстам «Слова о полку Игореве» (*а въ соколца опутаевъ красною дивицею* — в переносном значении) или «Моления» Даниила Заточника (*коли пожреть синиця орла*), а это могут быть примеры XIII в. С XV в. их число увеличивается, указывают более двухсот для 35 слов (с XI в.): *борана, вола, осли* и др., обычно с уточняющими определениями, что указывает на освобождение слова от своего узкого контекста; ср. *прислалъ гуся живова, послали слепова сокола* и т. д. У Аввакума в вин. п. ед. ч. формы *зубря, звѣря, жеребенка*; аналогичные формы у Котошихина в XVII в.

Категория лица, проявившись в формах ед. ч., становится категорией одушевленности, распространяясь на формы мн. ч. и охватывая все группы «одушевленной» лексики. Таких примеров много уже в XIV в.: *пословъ, купцовъ, новоторжцевъ* и др. (сначала также только для имен мужского рода), но у **ѣ*-основ и здесь всегда сохранялись старые окончания (*дѣти, гости, люди*; примеры типа *зятя, тѣстя, татя* с XV в.), как и в сочетаниях с предлогами (они еще не выходили из формульных сочетаний: *въ казаки, въ солдаты, на рабы своя*).

У имен женского рода во мн. ч. категория одушевленности отражается одновременно с мужским родом мн. ч.; ср. в грамотах *холоповъ и рабъ* (1439), *Марфу да старицъ сестерь* (1513), *и женъ и робятъ и слугъ* (конец XVI в.), *вдовицъ и сиротъ и чадъ дѣвокъ* (также). Впрочем, все указанные группы лексики по традиции могли сохранять и старую форму вин. п.—вин. п., ср. *и ему за свиньи и за кобылы, и за коровы, и овцы... и за пчелы править то, чѣмъ у него кто завладѣть*, но тут же *птицъ прикормить* и др. (Улож. 1649). В автографах Аввакума отражены все типы слов, получавших новое окончание вин. п.—род. п. к концу XVII в.: *послала ребенка, про младенца, дал зверя, научил мужиков, стрелцов поставили, привели баб, ели лисиц, взяв лошадей, бьет людей*, даже неодушевленные имена в определенном значении (*спаси Богъ властей, дверей отворя, за молитвъ*), но в старых формулах *отгоняше бесы* (и бесов), *враги погуби, куры кропиль*,

прозрех вдовицы, погубил овцы своя; ср. у него я веть за вдовы твои стал! — в словесном сочетании, но в свободном употреблении *вдовь отпустить*; только в «Книге ратного строения» 1647 г. вполне определено *курь ловить, как есть собак* и пр. Однако в традиционных текстах старые формы сохранялись. В сибирских летописях XVII в. в категорию одушевленности не входили еще названия птиц, животных и пр. (*бобры, комары, кони, елени, птенцы, собаки, лисицы, птицы* — в форме мн. ч.) и отмечены колебания в названии лиц (*враги* — *врагов* и пр.).

Когда все одушевленные имена мужского и женского рода в обоих числах стали получать новую форму вин. п.—род. п., именно тогда категория лица преобразовалась в категорию *о д у ш е в л е н н о с т и*. В развитии категории лица различие по роду еще играло свою роль (только имена мужского рода), а в становлении категории одушевленности — уже нет (и мужской, и женский род). Свое значение имела и унификация типов склонения: новая флексия вин. п.—род. п. — порождение парадигм, которые складывались сначала в ед. ч., а затем и во мн. ч.

В северных говорах развитие категории одушевленности распространилось и на имена женского рода в ед. ч.

Загадочные обороты типа *земля пахать, вода носить, трава косить* и т. д. пытаются объяснять и заимствованием из финских языков, и как синтаксическую конструкцию с им. п. при независимом инфинитиве, и как архаическую особенность несобранной в систему языка славянской речи. Но такие сочетания в новгородских памятниках появляются с XIII в., а с XIV в. в деловых источниках встречаются часто, в том числе и в московских. В современных русских говорах до недавнего времени они были обычны, да и в литературной речи встречаются: *шутка сказать!* Замечательны две особенности: имена предшествуют инфинитиву, и всегда именно инфинитиву. В московской Гр. 1497 г. рядом встречаем: *и даная грамота положити* — *хочет даную грамоту положити, и грамоту им дал*. В московской же грамоте 1517 г.: *а оттолъ бы мнѣ Литовская земля воевати; земля отвести; и к королю было та рухлядь отдати; и сына было и княжие дѣти дати, а казна взяти*. Категоричность утверждения в инфинитивном предложении несомненна, речь идет о необходимости исполнить действие в отношении определенной цели, и эта цель связана с неодушевленным объектом действия.

5.3. Категория числа

Категория *ч и с л а* также вторична, на что указывают многочисленные слова *Pluralia tantum* и *Singularia tantum*, особенно производные или слова с вещественным значением (*медь, золото, сухость, доб-*

рота), попарное совпадение падежных форм в архаическом двойств. ч., а также разные типы собирательности, долго сохранявшие свой особый тип склонения.

Идея числа наименее синтаксична в своих проявлениях, в наибольшей степени отражая реальность «вещи»; вещь может быть одна, и их может быть много. Категория числа в древнерусском языке многократно дублируется и словом (формой), и вещью (предметом, который данная форма выражает), и отношением — синтаксической связью слов в словесной формуле; ср.:

дѣвь головъ, дѣвь кольнѣ,

где идея двоичности выражена и словом *дѣвь*, и грамматической формой двойств. ч., и реальным соотношением предметного мира (во втором случае). Впоследствии (в этом и заключается развитие) форма выражения двойственности по степеням исчезает и сохраняется только материально представленное слово в сочетании:

две головы, два мужа, два колена, —

т. е. все некоренные формы двойств. ч.

Формальные признаки различения снимаются постепенно, слой за слоем, не все сразу:

им.–вин. п. двойств. ч.	<i>дѣвь кольнѣ</i>
нейтрализации снимают тип склонения	<i>дѣвь кольни</i>
соотношение форм мн. ч. и двойств. ч. изменяется по роду	<i>дѣва кольни / кольна</i>
соотношение форм в синтагме согласуется	<i>два колена / мои колени</i>

Противопоставление ед. ч. и мн. ч. как самостоятельных слов всегда осознавалось, что отмечали и грамматики русской традиции. «Склонность русского человека видеть во множественном как бы новое имя» отмечал К. С. Аксаков; это стремление к образности, стремление понять множество как совокупность, «множественное число имени обратить в новое имя». На этом основан принцип средневековой поэтической техники (синекдоха в употреблении ед. ч. вместо мн. ч. и наоборот).

Современное противопоставление ед. ч. : мн. ч. часто накладывают на средневековую систему и тем самым ее упрощают. У историков языка существует много толкований о соотношении ед. ч. : двойств. ч. : мн. ч., причем маркированными (отмеченными) признаками «расчлененность», «собирательность», «единичность» и др. выделяется то одно из чисел, то другое.

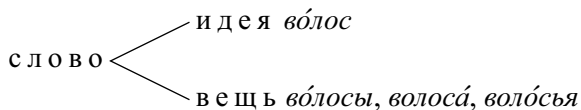
По-видимому, средневековое соотношение числовых форм было типичным для того времени, метонимически «матрешечным», примерно таким, как рисует подобные соотношения Иоанн Дамаскин в своей «Диалектике», рано переведенной на славянский язык и хорошо известной на Руси:



Таким образом, мн. ч. определяется по отрицательным признакам как несобирательное, недвойственное, неединственное. В принципе, только формы мн. ч. и могут развиваться, изменяясь, но на разных основаниях: в средневековой системе — как немаркированный член всех оппозиций по числу, а в современной системе — как немаркированный член оппозиции по признаку определенность/неопределенность:

	множественность	определенность
ед. ч.	–	+
мн. ч.	+	–

Определенность/неопределенность для современного языка признак избыточный, он реализуется контекстно, т. е. синтаксически. Но важно и содержательное противопоставление: ед. ч. как форма выражения и де и противопоставлено мн. ч. как форме выражения конкретной вещи. Ед. ч. *во́лос* — выражение идеи, неопределенности по н я т и я, тогда как *во́лосы* и *волосá* обозначают предметно-вещную определенность, расчлененную или собирательную. Посредством одного и того же слова (корня слова) язык одновременно может упоминать и на идею вещи, и на саму вещь:



О формах мн. ч. как выражении меры неопределенности говорил в свое время А. А. Потебня; это средство «идеализации единичного» предмета (*мощи, палаты*), места (*в уграх, Соловки, сутки*), времени

(зори, свадьбы, именины) или состояния (в сторожах, в гостях, из мертвых). Почти все приведенные примеры взяты из древнерусских текстов, но они известны и сегодня. В древних переводах греческие прилагательные и местоимения в субстантивно-предметном значении представлены как мн. ч. среднего рода: *многая, ина, злая* и под., согласуемые с глаголом по форме мн. ч.

Таким образом, исходную систему распределения числовых форм в древнерусском можно представить как совокупность эквиополентной оппозиции типа:

+	–	<i>братъ : брати</i>
ед. ч. :	мн. ч.	<i>братье : братия</i>
–	+	

По признаку «числа» в средневековой системе маркировано «идеальное» ед. ч., поэтому мн. ч. изменяется (формируется общая парадигма для всех типов склонения у имен всех трех родов); в современном русском языке маркировано мн. ч., поэтому теперь философские термины и получают примету ед. ч. (*многое, единое, как таковое* вместо средневековых *многая* и под.). Средневековая система по обоим признакам различения строилась как градуальный ряд, охватывая все четыре формы предметного числа:

	Множество	Единство
Расчлененность	<i>мн. ч.</i>	<i>двойств. ч.</i>
Совокупность	<i>собирает. ч.</i>	<i>ед. ч.</i>

Все изменения в категории числа определялись преобразованием данной схемы. Они связаны прежде всего с категорией собирательности (она разрушалась), с категорией двойств. ч. (двойств. ч. исчезало) и со счетными именами, которые становились самостоятельной частью речи — именами числительными.

5.4. Собирательные имена

«Собирательность происходит от качественности, а не наоборот» — слова А. А. Потебни показывают специфику древней собирательности. Это к а ч е с т в е н н о е количество, которое предлагало различный образ представления числа. Предметно-собирательные среднего рода, ср.:

<i>лист сухой валится</i> —		<i>листье</i> — сплошное множество,
единица как символ множества	и	понятое как единство
<i>листы</i> < <i>листи</i> —		<i>листья</i> — сплошное множество,
раздельное множество		понятое как множество

(формы мн. ч. числа *листы* и *листья* являются одинаково новыми) —

и лично-собирательные женского рода, ср.:

<i>братъ</i>	мн. ч. <i>брати</i>
	ед. ч. <i>братия</i> — мн. ч. <i>братийъ</i>
<i>князь</i>	мн. ч. <i>кънязи</i>
	ед. ч. <i>кънязья</i> — мн. ч. <i>кънязийъ</i>

В древнерусском языке число не только количество, но также и качество.

Собирательность в отношении к несобирательным именам — категория словообразовательная (образуется с помощью суффикса *-bĵ-*), но внутри собирательности она же формообразовательная и одновременно лексико-семантическая:

братия/братья женского рода лично-собирательные;
листвие/листье среднего рода предметно-собирательные,

но отвлеченные имена здесь не представлены. К тому же эти имена вступают в числовые отношения ед. ч. и мн. ч. (двойств. ч. отсутствует) и употребляются с неполной парадигмой — для лично-собирательных чаще в вин. п. и тв. п. ед. ч., а для предметно-собирательных — в им. п. и вин. п. ед. ч. и мн. ч.; ср. примеры из известных текстов XII–XIV вв.: *благословляю свою зятю; поймали... дядю и братью; со всею князю; рядная с шуриєю своею; по търгу трупиє, по улицам трупиє... часто ворони граяхуть, трупия себъ дьяляч; и сам град полн быть трупия; положиша трупя рабъ твоих* и т. д.

Некоторые формы как бы собирательных имен вторичны, по происхождению являются древнерусскими. Например, фонетически и грамматически **drug-bĵ-os* и **kĵning-bĵ-os* дали бы соответственно формы *дружьє* и *княжьє*, но мужской род в результате фонетических изменений дает форму среднего или женского рода: *дружьья, княжьья*. В Ип. 1425 *от всея княжьья, съдяху княжьья* и т. д.; еще в челобитной Гр. 1666 г. читаем: *такіє зазорные люди и вѣдомые воры — тѣ ему... советники и дружьья*. Аналогия со стороны мн. ч. *друзи, князи* создает формы, известные и теперь, — *друзья, князья*.

В книжных текстах XI–XIV вв. сохранялись все типы собирательности: *братий, камень, челядь, чадь, господа* и т. д. На протяжении XV–XVII вв. происходило разрушение типа на *-ья (-ия)* и сокращение имен на *-бе (-ие)* с сопутствующим разрушением п р е д м е т н о -собирательных: они переходили во мн. ч. или развивали новые словообразовательные типы (*сосняк, дружество* и под.).

В XVIII в. эти процессы резко усиливаются, предметно-собирательные на *-бе* исчезают, лично-собирательные увеличиваются числом (*студенчество, офицерство*) и в Новое время становятся особенно активными, выделяя одушевленные имена. Таким образом, в XVI в. преобразование собирательных готовилось, но скачок в изменении случился в XVII в. Появились новые — уже словообразовательные — возможности выделения собирательности, которые заменили устаревшие формообразовательные способы. Лексическая семантика в этом действии победила семантику грамматическую.

Внутренняя противоречивость собирательных имен проявлялась и в контексте, т. е. синтаксически. По форме такие имена согласуются с прилагательными, а по смыслу — с глаголом; ср.: *добра дружина придоша*. Необходимость образовать новое оригинальное сочетание слов, например с местоимением или с причастием, приводила к нарушению согласования по форме или по смыслу, и требовалось соотнести грамматическую форму с числовым значением. В летописных текстах встречаем конструкции типа:

привезоша (мн. ч.) *братию свою* (ед. ч.) *избиеныхъ* (мн. ч.);
чюдь (ед. ч.) *же побъгоша* (мн. ч.) *сами* (мн. ч.);
иже и до сее братья (ед. ч.) *бяху поляне* (мн. ч.);
братья наша (ед. ч. и мн. ч.) *истъчень суть* (мн. ч.).

С XV в., сначала в активной позиции им. п. мн. ч., отражаются новые сочетания:

стебелье деревянные, перье филиповы пришиты;
о сожженныхъ братии, како их почитати (Авв.).

Ср.: *татъе подковывають* во всех древнерусских списках Евангелия (Мф. 6, 9) — *татъе подковываетъ* в Ип. 1425. Важно, что раньше всего согласование по смыслу происходит у собирательных на *-а* с обобщением формы мн. ч.: *братий* > *братья*. Мы уже видели, что это «формант собирательности», который оказал воздействие на обобщение флексий *-ам, -ами, -ах*.

Изменение качества собирательности связано сразу с несколькими преобразованиями системы языка. Это:

— расхождение собирательных на предметно-собирательные (*листье*) и на лично-собирательные (*братья*), что указывает на связь с категорией л и ц а;

— противопоставление по числу (*листья* — *листья*) указывает на отношение к категории ч и с л а — изменение собирательных произошло параллельно устранению двойств. ч. и замене его на мн. ч.;

— разная степень абстрактности собирательных имен связана с различием по роду (собирательность развивается в форме общего или среднего рода, не маркированных по данному признаку);

— различные типы множественности, отмеченные у собирательных имен (определенная/неопределенная), указывают на связь с категорией о п р е д е л е н н о с т и;

— различное соотношение с п а д е ж н ы м и формами разных склонений (типа *звѣрье* — *звѣрие* → *звѣрье* у **i*-основ) делает возможным пересечение флексий;

— возможная мотивация изменений у д а р е н и е м словоформ также имеет значение — после XV в. происходило закрепление ударения на основе независимо от исконной акцентовки; ср. *зуб* → *зубѣ* → *зубье* → *зубья*; морфологическое замещение окончания *-ь* на *-я* в именах типа *братий* → *братья* также происходило не без участия ударения, и притом достаточно поздно (фонетически именно *-ь* должен быть после *-j* сразу после утраты редуцированных).

На изменении собирательных имен сошлись сразу несколько развивающихся грамматических категорий, и в процессе их переоформления сама собирательность оказалась излишней; формообразовательная категория преобразовалась в словообразовательную.

Собирательность в XI, XV или XVIII в. — не одно и то же явление. На протяжении нескольких веков изменение идет по линии ослабления признака совокупности и повышения уровня отвлеченности в выражении признака, при одновременном устраниении выразительности форм. Например, в смене знаков *рвань* — *рванье* (XV–XVI вв.) — *рваное* (с XVII в.) происходило уточнение общего признака «единичная совокупность» — «собирательная совокупность» — «совокупное множество однородного», уже прямым образом выраженное именем прилагательным. Философские термины типа «благое», «вечное» и пр. обобщаются в той форме, грамматический род которой нейтрализует идею рода вообще (средний).

Семантическое распределение форм изменилось по качеству форм: *листы книги* — *листья деревьев, камни скал* — *дорогие камня* и т. д.

Высказано суждение, что расширение числа имен *Singularia tantum* и *Pluralia tantum* также связано с разрушением категории собирательности (с ее вхождением в мн. ч.). Еще у Ломоносова возможны параллельные формы типа *камень* — *каменя*, *корение* — *коренья*, *перье* — *перья*, *уголье* — *уголья*. В формах типа *перья* видят живую реализацию идеи множественности по отношению к собирательности: параллельно к формам типа *народ* — *народы*, *дружина* — *дружины*

и пр. развиваются новые формы мн. ч. собирательных: *листья* — *листья*, *деревье* — *деревья*, и в качестве самого раннего примера приводят сочетание *трупия мертвая* из Пск. I лет. под 1471 г.

Формы типа *деревья*, *клинья*, *колья*, *перья* и пр. с ударением на корне и неодушевленные из форм типа *кольё* как собирательных согласуются с глаголом во мн. ч., но не при среднем роде. В Мстислав. гр. ок. 1130 г. форма *братить* — мн. ч., но откуда появились формы мн. ч. *братья*, *князья*, *друзья*, *мужья*? А. А. Шахматов полагал, что здесь виден результат акающего произношения в словах с подвижным типом ударения; В. М. Марков считает, что возможна аналогия со стороны собирательных имен типа *мордва*, *черемиса*, *моравы*. Ничто не мешает признать, что *друзья*, *мужья* и т. д. (также и *братья*) — функциональный аналог новым формам неодушевленных имен типа *города*, *берега*, но только с йотовой основой.

По-видимому, все такие выравнивания и параллели стали возможны лишь после появления отдельной (автономной для всех типов склонения) парадигмы мн. ч. Она вбирала в себя самые разные формы, поскольку долгое время была не маркированной по признаку числа.

5.5. Двойственное число

Окончания форм именного склонения в двойств. ч. представлены следующим образом:

Падеж	*-о	*-jo	*-о	*-jo	*-а	*-ja	*-ǫ	ǐ	*-ǫ̃	*con
	мужской		средний							
им. п.— вин. п.	-а	-а	-ь	-и	-ь	-и	-ы	-и	-и	-и
род. п.— местн. п.	-у	-у	-у	-у	-у	-у	-(оv)у	-ью	-у	-у
дат. п.— тв. п.	-ьма	-ьма	-ома	-ема	-ама	-ама	-ьма	-ьма	-ьма	-ьма

Если не считать наращений в старых типах склонения (*сын-ов-у*, *тел-ес-у*), косвенные формы в двойств. ч. имели одно и то же окончание: в род. п.—местн. п. -у, в дат. п.—тв. п. -ма, присоединенные непосредственно к своей основе. Различия касались только формы им. п.—вин. п., в которой имена женского и среднего рода совпадали по окончаниям, а все архаические типы склонений имели те же окончания, что и мягкие типы женского и среднего рода.

Таким образом, исходным был синкретизм форм женского и среднего рода, который уже в древнерусском языке заменяется общностью форм у мужского и среднего рода: им. п.—вин. п. *женъ* и *сель* сменились соотношением *женъ* и *села* (как *стола*), а *души* и *лицы* — соотношением *души* и *лиця* (как *мужя*). Имена мужского рода *-o/*jo-основ в им. п.—вин. п. воздействовали на все другие имена мужского рода (*сыны* > *сыну* и т. д.), а некоторые из них, выходя из архаических типов склонения, изменяли окончания и в косвенных формах: ср. в памятниках XII в. *по дъвою дьну* и *по дъвою дьнюю*.

Формы двойств. ч. в общем довольно строго сохранялись в раннем древнерусском языке; примеры их употребления до XIV в. приводят-ся во всех описаниях текстов.

Выделяют следующие функции двойств. ч.

1. При обозначении парных предметов; в древнерусском «свободное двойств. ч.» сохраняется почти у полусотни имен, главным образом обозначающих парные части тела или постоянную предметную парность: *бока, роза, уса, локти* в мужском роде; *бедръ, пять, ланитъ, нозъ, руцъ, пазусть, плеснь, устьнь, бръви, вьжди, голъни, гърсти, длани, ноздри, пясти, скрани* ‘виски’, *челюсти* и др. в женском роде; *кольнь, криль, рамъ, стьгнь, мудъ, плечи, очи, уши* и др. в среднем роде, а также слова типа *берега, рукава, мальжена* ‘супружеская пара’, *родителя, дъври* и нек. др. По происхождению это не форма слова, а самостоятельное слово с синкретичным значением двойств. ч. — мн. ч. (*око* — *очи, ухо* — *уши*). Нарушения в употреблении двойств. ч. здесь возможны, но также определяются не категориально, а контекстно; ср. *направи на правый путь мирьны ногы моя* (вместо *нозъ*) в ЖН 1219. Этот пример приводят все учебники как утрату согласования по двойств. ч., но в древнеславянском переводе Лука 1,79 *направити ногы наша на путь мирень*.

2. В конструкции с двумя именами, соединенными союзом, ср. *митрополитъ блгословляише князь* (двойств. ч.) *Изяслава и Всеволода*, но в записи к ЖН 1219: *помози рабомъ своимъ* (мн. ч.) *Ивану и Олексию, написавъшема* (двойств. ч.) *книги сия*.

1 и 2 — это двойств. ч. п о с м ы с л у. Следующие типы двойств. ч. связаны по форме.

3. В сочетании с числительными *два, двъ, оба, обь* (связанное счетно-количественное двойств. ч.): *увы мне! от дъвою плачу плачюся*; вплоть до XV в. в сочетаниях с числовыми мерами противопоставление сохраняется: *два пуда жита, оба брата, двъ коровы*, но — *4 лоскуты, 3 рубли, три участки* во мн. ч. (двинские грамоты XV в.).

4. Анафорическое двойств. ч. — речь идет о ранее названных и уже известных двух лицах или предметах: *и вьси люди прославиша Б̄а и ст̄яя мученика* (речь о Борисе и Глебе).

В контекстных формулах речи О. Ф. Жолобов находит еще 4 вариации указанных типов.

А. Местоименное двойств. ч. обозначает участников диалога: *радуита ва ся, въдаита же ми, не боита ва ся* — это выражение идеи о связи двух лиц функционально совпадает с типом 4.

Б. Формульное двойств. ч. обозначает неслучайное соединение лиц или предметов типа *братъ-сестрома* в ОЕ 1056, АЕ 1092 и вообще в евангельском тексте; сюда относятся сочетания типа *душа и тѣло, крѣвь и плѣть, земля и небо, дѣнь и ночь*. В древнерусских источниках *небо съ землею радуется: милость и истина сѣрътастася* — это также выражение идеи о связи двух явлений, равное типу 2.

В. «Божественное двандва» («двойное двойственное») выражает сакрально отмеченные «священные двоицы», т. е. не случайно вещное, а идеальное сочетание двух, соразмерных друг другу (равно вещному типу 1). Термин «двандва» из древнеинд. — калька, связанная и с греч. *δύο δύο*, ср. в евангельском переводе *дѣва нѣ дѣва* 'попарно' в ОЕ 1057 или *оба дѣва*.

Г. Соотносительное двойств. ч., контекстно совпадающее с типами 1, 2, 3: *сия убо стѣя мученика...* все согласуемые члены сочетания (прилагательное, причастие, существительное, глагол) обязательно координируют по двойств. ч.: *сѣтвори Бѣ обѣ свѣтили велиции, очима сима телесьными видѣти* и т. д. Ср. *и урокомъ дающе Кыеву двѣ тысячѣ гривнѣ* (Лавр.) — в списках с XV в. *гривень*.

Таким образом, функциональная система двойств. ч. представлена не только в конкретно вещном (1–4), но и в идеальном «вечном» вариантах (А–Г).

Изменения двойств. ч. начинаются с личных местоимений (надежные примеры XI в.), причем одновременно в группах 1 и 2, т. е. только по смыслу. Двойств. ч. в группах 3 и 4 (по форме) изменяются лишь с XIII в. При этом у некоторых имен старые формы двойств. ч. стали выполнять функцию мн. ч., ср. *кольни* (из *кольнѣ*) и *колена*; ср. в современном употреблении: *Я плачу, видишь: я колена* *Теперь склоняю пред тобой...* *море по колена* (во фразеологизме), но также *море по колени*. Имена *очи, уши* косвенные формы мн. ч. получили с XVI в.; *воочью* остаток формы тв. п. двойств. ч. (*очью бешено сверкая* в сказке о Коньке-Горбунке). Долго сохранялись варианты у имени *плечи*: / *И первым снегом с кровли бани / Умыть лицо, плеча и грудь* (Пушкин). Как «естественно двойственные» по смыслу относительно поздно получали форму ед. ч. слова типа *врата, груди, двери, перси, уста* и под., но сохранились исконные формы двойств. ч. у слов *берега, бока, глаза, рога* и др.

В сочетании с *три, четыре* также появляются формы двойств. ч., но лишь в момент утраты категории двойств. ч. (*три стола, четыре стола* и т. д.).

Нельзя утверждать, как это иногда делают, будто уже при возникновении письменности у восточных славян категория двойств. ч. для них «не была живой». Справедливо осторожное суждение С. П. Обнорского: точное время окончательной утраты двойств. ч. невозможно определить, поскольку идея двоичности, как особо важная в идеологическом отношении, у восточных славян сохраняется до сих пор.

Теоретически трудно допустить, чтобы в средневековой системе идеологически значимых противопоставлений отсутствовал важнейший элемент градуальной оппозиции по числу; знаковые тексты утверждали противоположность ед. ч. — двойств. ч. — мн. ч. как выражение того, что «божественно — посредне — отпадно» (Бог Един — человек «посредне» — бесов множество). Сложно было бы объяснить не только устранение из системы «человека», но и то, почему при утрате категории двойств. ч. чуть ли не в X в. формы двойственного числа правильно употребляются вплоть до XVII в.

Действительно, в XI–XII вв. формы мн. ч. иногда вытесняют формы двойств. ч. в ситуации неразличения двоичности и множественности, т. е. в обобщенно множественном исчислении, и притом главным образом в согласуемых частях речи, а не при конкретном указании исчисляемой «предметности» в имени существительном. Постепенное увеличение имен отвлеченного и обобщенного значения делало избыточным наличие формы двойств. ч., которая всегда указывает на конкретность предмета или лица. Преобразование собирательности на новых основаниях, наоборот, способствовало оформлению числовых мер в выражении отвлеченных имен. А. А. Шахматов полагал, что утрата форм двойств. ч. начиналась с прилагательных (и в косвенных формах раньше), тогда как у существительных двойств. ч. поддерживалось предшествующим числительным. Это очень важное уточнение, ср.: *два ковша золоты* — предикативность краткого прилагательного восполняет сочетание *два ковша — золоты*; *мои два жеребья* — притяжательное местоимение также вычленяется из общего сочетания слов, подчеркивая принадлежность: *два жеребья — мои*; *золоты* и *мои* употреблены в форме мн. ч.

В обширной литературе вопроса показаны условия замены форм двойств. ч. совпадающими с ними (по противоположности к ед. ч.) формами мн. ч.

1. Раньше всего это происходило у личных местоимений, особенно в клитических формах и чаще всего при обращении, например к святым Борису и Глебу в посвященных им житии и службах, в «Слове о полку Игореве», в Изборнике 1076 г.: *вы* и *ва*, *вами* и *ваю* и т. д. Это клитические формы, которые и сами по себе выходили из употребления в речи, их синтаксическая неопределенность способствовала смешению в числах.

2. То же отмечается у местоимений при свободно двоичном их употреблении; ср. в Сл. плк. Иг. *отьць ихъ* или *вашь умъ* — в обоих случаях речь идет о двух лицах.

3. В форме 3-го л. глаголов окончание *-та* появляется вместо *-те* (примеры уже в ОЕ 1056), хотя это может быть совпадением форм 3-го и 2-го л., обычное для глагола в формах прошедшего времени; но и в этом случае перед нами типичный русизм древнерусского языка: *приступиста къ нему дѣва слѣпъця...* (вместо исконного *приступисте*).

4. При сочетании двух имен, соединенных союзами *и*, *да*, в зависимости от позиции у глаголов представлена форма в ед. ч., мн. ч. или двойств. ч. (уже в источниках XI в.), но и это, скорее, в соответствии с правилами согласования *по форме*, а не *по смыслу*.

Позиции 1–4 безупречны в доказательстве разрушения категории, поскольку они явлены в синтагме.

5. У самих имен существительных наиболее ранние примеры совпадения форм двойств. ч. с формами мн. ч. связаны с именами, обозначающими предметы и только в им. п.–вин. п., с очень редкими отклонениями от нормы типа *рукуы, ногы // руць, нозь* или в сочетаниях с местоимениями (*в руць нашии*); колебания в других падежных формах являются довольно поздно, ср. списки «Повести временных лет» (*ногами* Лавр. — *ногама* Радз. XV). Уже в ОЕ 1056 рядом находим: *умывати ногы ученикомъ* (мн. ч. на л. 154а) — *умывати нозь ученикомъ* (двойств. ч. на л. 157а), *възложять бо на вы руки своя* (мн. ч. на л. 224г) — *на руку възмутъ тя* (двойств. ч. на л. 47); ср. также: *въси языци възплещтъте рукама* (двойств. ч.) — *въсплещтъте руками* (мн. ч.) в ЧП XI; несогласование двойств. ч. — мн. ч. в текстах УС XII и *посажь дѣва попы скорописьця* (двойств. ч. — мн. ч.) — *и възьмъ дѣва гръзны* (двойств. ч. — мн. ч.) и т. д.

То же у имен среднего рода, не противопоставленных словам мужского рода, в тех же падежных формах; ср. примеры типа *два солнца* вместо *двь солнци* в Сл. плк. Иг., даю *два села* вместо *двь сельъ* в Гр. 1270 г., такие же нарушения в «Повести временных лет» и т. д.

В анафорическом употреблении формы двойств. ч. заменяются формами мн. ч. хоть и редко, но достаточно рано (СП XI, «Повесть временных лет», старшие жития); обычно это также формы им. п.–вин. п. в согласовании с определенными глаголами и местоимениями; можно напомнить, что именно анафорическое двойств. ч. не указано в «Грамматике» Смотрицкого 1619 г., хотя формы двойств. ч. он весьма тщательно описал (не всегда верно по их историческим вариантам).

8. Совпадения с мн. ч. замечены и у имен *-о-основ в род. п.–местн. п., но это редкость и встречается, например, в переписанном с восточноболгарского оригинала Изборнике Святослава 1076 г.; такие

примеры можно не принимать во внимание, говоря о *категории* двойств. ч. в это раннее время.

Таким образом, наиболее устойчиво формы двойств. ч. сохраняются:

1) в сочетании со словами *два, оба* (почти до XVIII в.: их считают «застывшими формулами»), ср. *по двою дню* и под., главным образом в косвенных формах;

2) у парных по смыслу существительных типа *очи, уши, рука, очима, от руку мою, с сию страну судна, рукавицу* и под.; некоторые примеры тут лексически ограничены возможностью пересечения с мн. ч., ср. собирательные по смыслу формы типа *родители — родителie — родителя своя*, которые сохраняют смысл и форму двойств. ч. в некоторых (древнейших) частях «Домостроя», в «Житии Сергия Радонежского» и в других средневековых текстах XV в.

Большинство приведенных примеров показывает (особенно 5), что и д е я д в о и ч н о с т и с о х р а н я е т с я, поскольку в пределах синтагменной формулы всегда присутствует указание на двойств. ч., хотя при этом прежняя избыточность формальных средств ее выражения устраняется. Примеров такого рода достаточно много в средневековых источниках; ср. *ваю... злаченые шеломы* в Сл. плк. Иг., *тъло с(вя)тою, телеса ваю, о телесъхъ с(вя)тою, тьло с(вя)ту стр(астотер)пцю* и др. в «Житии Бориса и Глеба» (слово *тъло* как обобщенный по смыслу символ не употребляется в форме двойств. ч.). Историки приводят и более поздние примеры такого рода: *съ двѣма сыновѣ* в Гр. XIII в., *стопы ногу его, прахъ ногу* в «Житии Нифонта» по списку XII в., *дву татариновѣ, дву человекѣ* (род. п. передан формами двойств. ч. и мн. ч.), *двема суды* (тв. п. передан формами двойств. ч. и мн. ч.), *на двою чепех* (местн. п. передан формами двойств. ч. и мн. ч.), *более обою сестръ, к тьмъ же двѣма положишиа, глаголаше двѣма мученикамъ* и под. Другими словами, всякая парность выражается как реальная предметность указанием на числовую меру (*два*), а не как отвлеченность идеи через сохранение старых формантов: двоичность передается аналитически, поскольку прежнее распределение значимых категориальных отношений с о х р а н я е т с я в г р а н и ц а х ф о р м у л ы.

Только после XV в. появляются и обратные формы — двойств. ч. заменяет необходимые формы мн. ч. Взаимное смещение форм двойств. ч. и мн. ч. означает, что теперь отсутствует нейтрализация по признаку «неединственность» и к а т е г о р и я двойств. ч. исчезает из языка; под «языком» подразумевается не мифический «живой разговорный», отвлеченный от литературно-книжного как бытовая речь, а вообще древнерусский язык как система, которая обслуживала все сферы жизни, а не только домашние разговоры, для которых, вполне возможно, форм двойств. ч. и не было нужно.

Однако в XIV–XV вв., как и позже, характерно смешение форм парадигмы двойств. ч., причем также в одностороннем порядке: все формы двойств. ч. используются для передачи смысла вин. п. (обычно в прямом объекте); ср. примеры типа *паду на колону* (род. п.–местн. п. в значении вин. п.), *повель дати... дву оть рабынь ея, обою брату ея... в заточение отосла* и пр. Как и в случае с ранними примерами колебания (нейтрализации) в употреблении форм им. п.–вин. п. двойств. ч., здесь ощущается некоторое влияние со стороны неустоявшейся и еще не получившей статуса самостоятельной категории одушевленности.

Утрата двойств. ч. как категории языка определяется несколькими этапами преобразования, каждый из которых связан со смежными изменениями в системе языка.

В текстах XII–XIII вв. появляется формульное мн. ч. в конструкциях с двумя именами (тип 4) — это момент преобразования эквиполентной оппозиции в градуальную.

Во второй половине XIII в. происходит обобщение идеи «оба, два» и «больше», распространяясь на типы 1 и 3, и двойств. ч. перестает быть тексто-речевым явлением.

Со второй половины XIV в. происходит нейтрализация числовых противопоставлений, распространяясь на тип 2.

К началу XV в. завершаются категориальные изменения двойств. ч., происходят безразличные к категории числа смешения форм двойств. ч. и мн. ч. В XVI–XVII вв. двойств. ч. сохраняется как «узальный архаизм», но идея двойственности, как и идея собирательности, не исчезает из семантики, переходя на уровень синтаксического контекста.

6. ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

6.1. Типы имен прилагательных

Имя прилагательное — часть речи, обозначающая свойства, качества и признаки предметов, явлений и лиц, которая развивалась на синтаксической основе определения с помощью специальных средств языка.

Достаточно долго представление о качестве в сознании было слито с обозначением предметности; синкретизм вещи и ее признаков наглядно виден на истории отдельных лексических групп, в частности на обозначении цвета. Конкретные оттенки серого, красного, желтого, черного и других цветов одновременно предстают обозначением предметного мира, который является носителем данного цвета: *редрый* от *редька*, *рудый* от *руда*, также *рыжий* и пр. Соотношение современных существительных и прилагательных типа *друг* — *другой*, *лад* — *ладный* и т. д., а также поэтические выражения *жар-птица*, *царь-девица*, *сила-рать* и др. указывают на то же совпадение вещи и типичного ее признака в общем имени. Прилагательные, обозначившие отвлеченный от предмета признак, выражают более абстрактную, чем имя, идею и уже по этой причине являются более поздними по происхождению. Существует и другая точка зрения: имена существительные и имена прилагательные одновременно вычленились из синкретизма *имени* в момент, когда субстанция и ее качество воспринимались в единстве.

Первоначальные формульные сочетания типа *душа-дъвица*, *горь-бѣда* и пр. становились во взаимные *о т н о ш е н и я*, которые позволяли оттенить и тем самым выразить личное *с в о й с т в о* более отвлеченных, чем вещный предмет, вещей и явлений: *душевная дъвица*, *горькая бѣда* и т. д.

Последовательность выделения различных типов прилагательных-определений также показательна. Выделение необходимого для сознания признака происходило в последовательности: *предметное имя* → *притяжательное* → *относительное* → *качественное* имя, что

соответственно выражает: конкретное отношение к другому предмету или лицу — личное свойство предмета или лица или — совершенно отвлеченный признак.

С точки зрения содержания признака качественные прилагательные связаны с выражением идеи времени, а притяжательно-относительные — идеи пространственного размещения. Это различие обусловило расхождение в их грамматических характеристиках. В отличие от качественных относительные прилагательные не имеют (или редко развивают) степеней сравнения — ни количественных (сравнительной и превосходной), ни качественных (уменьшительно-увеличительных), они редко используются в составе сказуемого и вообще мало сохраняют краткие формы.

Различие признаков (притяжательные принадлежности, относительные свойства, качественные признаки), выявившееся очень рано, создало их семантическую градацию и тем самым потребовало специальных форм для их выражения.

6.2. Краткие прилагательные

Такие формы явились с развитием имен на **-a/*-o*, когда стали возможными склоняемые и согласуемые с именами определения типа *бѣль — бѣла — бѣло*. Одновременно возникали имена вещественные и имена прилагательные, различавшиеся новой категорией рода; ср.: **vornij vornij, *vorna vorna*, которые дали начало словам самостоятельных грамматических классов, т. е. *вѣронь вѣронь* или *воронá ворона*.

Остатки исходного синкретизма (имя существительное — имя прилагательное) находим в древнерусских текстах в виде формул типа *съ маломъ же дружины вѣзратися, направо и налево, смолоду, добро и зло, спроста реци, иное лихо, никакова худа* и т. д., как и обратные случаи типа *дѣвая* ‘девственная’ в обращении к Богородице в древнерусских минейных текстах: местоименное прилагательное от имени *дѣва*. Один из списков «Повести временных лет» под 971 г. сохранил древнюю формулу языческой клятвы «*Да будемъ золоти яко золото*», в которой *золоти* еще существительное, но уже и прилагательное.

Древнерусские переводные тексты содержат множество таких примеров, некоторые из них сохранились до сих пор как остаток вторичной субстантивации. Ср. в ОЕ 1056: *сътворите дрѣво зѣло и плодъ его зѣль* — в значении определения-прилагательного; *достойтъ ли въ суботи добро творити ли зѣло творити?* — в значении имени существительного. Особенно много неопределенных по форме имен

в пословичных выражениях, которые (даже в переводных текстах) сохраняли древнее состояние языка; ср. расхожую формулу «Зъло зъла зълѣ жена зъла» (И 73: ‘злее зла злая баба’).

Важным средством выделения имен прилагательных стала суффиксация — формальное средство вычленения имен прилагательных; она наблюдается уже в древнейших (но не в самых древних, не в консонантных) основах, ср.:

*u:	*gladŭ-s	→	*gladŭ-k	→	гладѣкъ	
	*soldŭ-s	→	*soldŭ-k	→	сладѣкъ	
*i:	*velŭ-s	→	*velŭ-k	→	великъ	и т. д.

Число корней с такими суффиксами было значительным (более сотни), и все они частотны; обычно они имели окончное ударение и краткий гласный корня: *лъгѣкъ*, *дързѣкъ*, *тънѣкъ*, *вртѣкъ*, также *узѣкъ*, *мякѣкъ*, *бридѣкъ* и др.

Поскольку имена существительные образовывали свои производные с помощью других суффиксов или иных их форм, суффиксальные определительные имена формально выделились из числа вещественных имен и предстали уже как собственно имена прилагательные.

6.3. Полные прилагательные

Окончательное выделение нового типа имен связано с образованием местоименных (полных) прилагательных, что в результате и стало отличительным свойством славянских прилагательных. С помощью определительно-указательного местоимения [jъ] (на письме *и*) в соответствующих формах его склонения полные формы прилагательных сложились в самостоятельную парадигму на протяжении уже исторического периода развития русского языка:

<i>добръ</i> -[jъ]	<i>добль</i> -[jъ]	
<i>добра</i> -[jего]	<i>добля</i> -[jего]	
<i>добрѹ</i> -[jему]	<i>доблю</i> -[jему]	и т. д.

Использование местоимения в определительном значении указывает на то, что его присоединение к определению выражало идею определенности данного признака в отношении к данному качеству вообще. Поэтому прилагательные, которые не нуждались в подобном

выделении, не образовывали полных форм. Притяжательные имели только краткие формы и сохраняли их до старорусского периода, относительные также, и даже некоторые качественные в определенных сочетаниях — тоже. Если в значении самого слова определенность была представлена, необходимости в местоимении не возникало, особенно при именах собственных (*Новъгородъ*) или в названиях некоторых церковных праздников с прилагательным в переносном значении (*великъ день* — ‘Пасха’) и т. д. — всегда в краткой форме определения. Поскольку выражается определенность или неопределенность признака, а не предмета, в предикативном употреблении полная форма также становилась избыточной, и возникало расхождение по функции между сочетаниями типа *человѣкъ добръ* (вообще) и *добрый человекъ* (конкретно этот). В результате образования полных форм в языке создалось две оппозиции: краткие и полные противопоставлены по ф о р м е, а качественные и относительные — по с м ы с л у; возникали различные способы их совмещения или расхождения, и в результате состоялась возможность образования самостоятельной категории имени прилагательного.

Определенность или неопределенность признака, выраженного именем прилагательным, долгое время передавались с помощью устойчивых сочетаний — формул речи, например в сочетании с глаголами движения и состояния. У Афанасия Никитина 1472 г.: *по 4 человекы на слонъ съдять нагихъ, но люди ходят нагы все* — несогласованность в одном случае и согласованность со вторым именительным — в другом. Не только относительные, но и краткие качественные прилагательные употребляются в предикативе, если своим лексическим значением они исключают степени в проявлении данного признака, как определения *босъ, глухъ, кривъ* и др. Именно такие прилагательные и сохраняли краткие формы в устойчивых сочетаниях типа *на босу ногу, закрыл наглухо, кривонось* и др.

Распределение полных и кратких форм с самого начала определялось их отношением к определенности или неопределенности признака. В цитате из пророков в «Повести временных лет» по Лавр.: *Яко вы худи есте и лукави, и азъ поиду к вамъ яростью лукавою* соотношение неопределенно нового признака в предикате-суждении и постоянного признака — в определении-понятии. В текстах XV–XVII вв. полное прилагательное в предикативной функции употребляется только как яркое стилистическое средство выражения нового признака.

Поскольку краткие формы стали предикативными формами или образовывали наречия, они не нуждались в парадигме склонения. Сохранялись только формы им. п., согласуемые с подлежащим.

С XII в. стирается различие по роду во мн. ч. и двойств. ч.; ср. сочетания из рукописей типа *жельзны съсуды, неистиньны мни-*

хи (определение в женском роде, имя в мужском роде), *тѣщи руцѣ* (мужской и женский род), *цѣлы уды* (женский и средний род) и т. д.

Затем утрачивается различие по падежным формам; уже в XIII в. косвенные формы кратких прилагательных встречаются редко, сохраняются лишь в традиционных формулах речи. Раньше всего, по-видимому, утрачивались формы тв. п. ед. ч. мужского рода, ср. *съ разбойниковымъ товаромъ* (Гр. 1300 г.). Но в этой форме и сохранялись краткие прилагательные в устойчивых сочетаниях: *съ Новомъ городомъ*. При переписывании текста старые формы исправлялись в соответствии с новым их употреблением. Так, в «Повести временных лет» по Лавр. сохраняется сочетание *плакася... еси плачемъ великомъ*, которое в списке XV в. передано как *плачемъ великимъ*; в «Слове о полку Игореве», которое редко переписывалось, сохранилось сочетание *неготовами дорогами побѣгоша*.

У прилагательных формы двойств. ч. исчезают раньше, чем у существительных. В московских текстах XIV в. *два ковши золоты, птенцемъ аспидомъ* и др. отражают новое употребление форм, но еще и в XII в. в причастных формах возможны сочетания типа *нечистама рукама, рекъше неумъвенома*. Ср. также *великома очима* в Ип. 1425 и др.

Быстрее всего полные формы вытесняли краткие во мн. ч., и в косвенных падежах раньше, чем в им. п. У Афанасия Никитина в его тексте 1472 г. краткие формы встречаются только в им. п., согласованном с подлежащим. XV в. считается временем окончательной утраты самостоятельной категории кратких прилагательных. В виде отдельных форм они перешли в предикативы, в наречия или сохранились в пословичных выражениях.

Попутно в фонетически усложненных формах происходили упрощения в произношении. Так, притяжательное прилагательное **grьkьsk-* дало формы книжную *гречьскъ* и разговорную *грецкъ* (со *царьма грецкима*; ср. *грецкие орехи*).

6.4. Изменения полных прилагательных

При образовании категории имен прилагательных происходили различные изменения форм, связанные с утратой межслогового *j*-та и стяжением гласных в одну морфему (окончание прилагательного).

Например, в форме род. п. и дат. п. ед. ч. мужского рода:

велика[j]его > *великаего* > *великааго* > *великаго* > *великого*;
велику[j]ему > *великуему* > *великууму* > *великуму* > *великому*.

В местоименных сочетаниях возникали и сложные случаи, когда местоимение долго сохраняло свою самостоятельность в сочетании с именем, особенно в формах женского рода:

род. п. ед. ч. *добры-* [jeje] > *добры* [ije] > *добры* [je] > *добрыя* (*добрыть*);
дат. п. ед. ч. *добръ-* [jeji] > *добръ* [iji] > *добръ* [ji] > *добръ* [ji] > *добръи*.

Утрата корневого междугласного *-j-* происходила уже в древнерусском языке, но в большинстве говоров не затронула им. п.–вин. п.: *нова*[ja], *нову*[ju]. В им. п. ед. ч. мужского рода происходили только фонетические упрощения редуцированных, причем наиболее ранние примеры прояснения сильного ⟨ъ⟩ могут быть вынесенными из южнославянских оригиналов (так, в ЕП XI: *судьной*, *сильной*); в М 96 *тьлообразной видъ*, в М 97 *въчьной путь*, в Псалтыри XII в. *истиньной*, *нощной вранъ* и т. д. Нормой являлось окончание *-и*, *-ъи*, как в ОЕ 1056, так и в более поздних памятниках, вплоть до XIII в., когда флексия *-ои* отмечается преимущественно под ударением. Тот же принцип — зависимость окончания от ударения — позднее принял Ломоносов, утвердивший современную норму: под ударением *-ой*, в безударной позиции *-ый/-ий* (*кривой*, *сухой* — *быстрый*, *великий*).

Процесс формирования парадигмы склонения имен прилагательных был длительным, имел свои этапы, отличался определенными условиями протекания, что мало заметно по рукописным источникам, потому что они показывали уже результат состоявшегося изменения. Достоверно ясно лишь то, что стяжение раньше всего осуществлялось в форме дат. п. ед. ч. мужского рода (как и появление новых форм склонения у имен — в том же дат. п., но мн. ч.: *городомъ* > *городамъ*); ср.: *благовѣрьному* вместо *благовѣрьноуемоу*, также *врачьбному*, *ближьнему* уже в И 73, *печерьскому*, *първому*, *вышьнему* в И 76, такие же примеры в новгородских Минях 1096, 1097 гг. (*бъсовьскому*, *въчьному*, *тихому*). В XIII в. встречаются рукописи, в которых новое окончание в дат. п. ед. ч. употреблено почти последовательно.

Новые формы род. п. ед. ч. мужского рода известны с XII в., а формы других падежей — с XIII в. С этого времени новые формы замечены и в берестяных грамотах: *катораму*, *дѣтьскаму*, *с(вят)аму*, *(с)оцкого*, *зеленого*, *церленого* и др. О том, что раньше всего подобные сокращения форм происходили в дат. п. и род. п., свидетельствует и тот факт, что ни один славянский язык не сохранил ожидаемой по общему правилу формы род. п. *-аго* в мужском роде, *-ыть* (*-ыя*) в женском роде. Синтаксические функции объекта способствовали быстрому сокращению форм дат. п. и род. п.

Последовательность преобразования форм выразительно представлена в род. п. ед. ч. мужского рода. Сначала утрата *-j-*, затем

межслоговая ассимиляция, после этого стяжение гласных в один долгий гласный и уже после всего воздействие аналогии со стороны склонения указательных местоимений, в сочетании с которыми полные прилагательные столь часто употреблялись, что даже в грамматиках (например, у Смотрицкого) они даны в общей парадигме типа *того с(вя)таго, той с(вя)тыя*.

Примеры измененной формы в род. п. ед. ч. мужского рода: *великого князя, архиепископа новгородского* (в надписях 1151 и 1149 гг.), при обычном окончании *-аго* в собственных именах и русских титулах новая форма *кыевьского, бьлогородьского, тысячкого* в тексте Русской Правды по НК 1282.

Фрикативность ⟨ц⟩ в момент изменения в ⟨в⟩ могла приводить к смешению с близкими фрикативными — звонкими [γ, j]. Лексикализованные остатки этого переходного произношения встречаются в рукописях. Ср. [j] (или фрикативный фарингальный [h]) ≥ [v]: в форме родительного падежа единственного числа *земново серебра* в Гр. 1391–1426 гг.; *ничего* в Гр. 1400 г.; *правово* в Гр. 1445 г.; *волостново, монастырсково, сево, ставленово* в Гр. 1471 г.; *великово* в Гр. 1490 г.; *своево* в Ип. 1425; также *новосты* ‘погосты’ в Лавр. (под 947 г.); ⟨ju → вь⟩ в форме тв. п. ед. ч.: *совлечеса грѣховною одежевь* в Лавр.; *с пошловь землю* в Гр. 1425–1462 гг.; *своевь дочьрю* в Гр. 1459 г.; *совьюсковь дорогою* в Гр. 1600 г. то изменение $z > \gamma > v$ между двумя огубленными гласными в морфологически изолированной позиции. Примеры известны в московских источниках с XV в. (в грамотах *великово, третьево, у другово* и др.), а с XVII в. такое написание становится нормой делового языка.

В других формах склонения мужского рода новые формы отмечаются реже. Так, в местн. п. ед. ч. флексия *-омь* вместо *-ьмь* употреблена в Гр. 1229 г. (*на гочкомь березь*), но в этой смоленской грамоте вообще много странных исключений; здесь и в формах женского рода новые окончания *-ои* и в род. п., и в дат. п. ед. ч. В Лавр. в тексте X в. тоже находим форму *къ первой дани*, а еще раньше *къ живои* в ГБ XI — также в дат. п. ед. ч., что совпадает с изменениями форм мужского рода.

Род. п. ед. ч. женского рода варьирует древнерусскую флексию *-ьль* с церковнославянской *-ья* (< *ья*): *вьчьнья* и *вьчьньль*. Позднее выбор формы зависел от стиля и жанра, поскольку под влиянием местоименного склонения русская форма изменилась: *живьль, вьчьньль* > *живоь, вьчьноь*. Сокращение двусложных окончаний в формах род. п. и тв. п. ед. ч. женского рода *живоь* > *живой* и *живою* > *живой* можно рассматривать как обычную редукцию безударного гласного в изолированной позиции уже после падения редуцированных. После XIII в. такие формы стали обычными; ср.: *изынои волости городьскои* в Гр. 1266 г. и др.

6.5. Притяжательные прилагательные

Притяжательные прилагательные играли особую роль в ранних изменениях прилагательных имен.

Начать с того, что именно они дольше всего сохраняли краткие формы, не развивая полных (почти до XIII в.); их собственный суффикс и был суффиксом определенности, поскольку он и без того уже связан с местоименной основой, особенно через суффикс *-j-* (который и есть местоимение, формирующее местоименную форму прилагательных). Историки полагают также, что притяжательные имена долгое время составляли особую категорию, промежуточную между существительными и прилагательными; семантический синкретизм субстантивного и атрибутивного значений дополнялся здесь предикативностью. Только с XVI в. притяжательные прилагательные тяготеют к препозиции, т. е. становятся явным определением к определяемому существительному, а не согласуемым с ним предикатом. Все это время притяжательные прилагательные обозначали не личную, а категориальную принадлежность, о которой давно уже К. С. Аксаков выразился очень точно, сказав, что это есть «родительный падеж, понятый отвлеченно», т. е. как *домъ отцовъ* в отношении к конкретному *домъ отца*. Категория притяжательных прилагательных окончательно сложилась тогда, когда с данными суффиксами стали образовывать прилагательные не от имен, обозначающих любое живое существо, а только от называющих единичное, конкретное живое существо (не обобщенно, а конкретно предметно), в результате чего грамматическое значение категории сузилось. Формирование русских фамилий на основе кратких форм освободило притяжательные имена от патронимической функции, и в самостоятельном употреблении они стали свободной категорией собственно притяжательных прилагательных.

Выделяют следующие значения притяжательных имен в древнерусском языке согласно употреблению в текстах:

- по признаку происхождения и родства (*робъи дѣти*);
- как определение целого по части или части по целому (*рыбьи ми зубы, змееви главы, стадо овъче*);
- отнесение действия к живому существу (*въ княжихъ крамолахъ, пограбление старче*);
- указательное выделение места и времени по принадлежности к живому существу (*княжь дворъ, лѣта Ярославли*);
- подчиненности, подвластности (*княжь тивунъ, княжь корабль*);
- как выделение собственности (*Игорева стада, имънье Ярославле*);
- на основе уподобления или сравнения (*по подобию отчю, зуби аки змиевы*).

Все это выражение метонимической смежности двух признаков, один из которых по принципу синекдохи становится определенным к другому. Таково типично средневековое представление о принадлежности к определенному классу, типу, виду, образу, группе, цеху и т. д.

Выражение принадлежности все время видоизменялось в связи с преобразованием самой категории в «настоящую» категорию принадлежности; например, появлялся осложненный суффикс *-(ов)-ьск-* с новыми значениями: *домъ отца* — *отцовъ домъ* → *отцовский домъ*; *глас жены* — *женин* → *женский голос*; *мужь сестры* — *сестрин* → *мужь: сестринский* — всегда несколько отвлеченного значения. Свою роль играли и акцентные различия, разграничивавшие формы (в частности, все приведенные примеры связаны с конечноударными именами существительными, что могло способствовать утверждению новых суффиксов на основе нововосходящего ударения). Исследователи полагают, что расширение сферы употребления род. п. принадлежности пришло из указов Петра I, в которых они к тому же часто использовались в препозиции (*разных земель люди*), т. е. воссоздавали последовательность форм, свойственную русскому языку (*разноземельные люди*).

Соотношение форм типа *домъ отца* (= англ. *house*) — *отцов(ский) домъ* (= англ. *home*) или *голос женщины* (= англ. *the voice*) — *женский голос* (= англ. *a voice*) возвращает нас к идее определенности в выражении признака (с род. п. принадлежности) и его неопределенности (с кратким притяжательным прилагательным, который долго не образовывал полных форм). Конкуренция двух форм выражения принадлежности входила в общую традицию употребления прилагательных: в препозиции они выражают содержание понятия (*отцов дом*), в постпозиции — предикацию добавленного признака (*дом — отца*), т. е. элемент суждения о признаке. Полного соответствия принципов членения принадлежности и определенности между русским и английским языками нет.

6.6. Семантика имен прилагательных

В древнерусском языке полные прилагательные чаще встречались в традиционных сочетаниях типа *великая субота*, *правая вѣра*, *святая церковь*, *чистая недѣля* — все они церковного происхождения и обозначают определенные понятия в прямом их значении (ср. с сочетанием *великъ день*). В составном именном сказуемом полные формы исключительно редки, в больших летописных сводах два-три примера, обычно с прилагательным *великий*, если оно сохраняло исконное значение ‘большой’.

Формальное расхождение между полными и краткими прилагательными общего корня сопровождалось различием в значении: только новые формы местоименных определений развивали переносные значения. Слово *богатъ* имело одно значение, *богатый* — уже четыре, *добръ* ‘надежен’ — *добрый* ‘доброкачественный’, *старь* ‘ветхий’ — *старый* ‘прежний’ и т. д. Это очень важное свойство сочетаний с прилагательным, выражающим некий новый признак согласуемого с ним имени. Такое прилагательное могло употребляться в сочетании с именами самых разных значений: субъектных, объектных, орудийных, целевых, места и времени и т. д., в результате чего возникали неопределенные по смыслу, но постепенно развивавшие новые значения слова; ср. *царское строение* — строение царя и строения для царя, *страха ради иудѣйска* — страх иудеев и от иудеев, *страшивый мужъ страшивы мысли иматъ* — с прямо противоположным значением одного и того же определения. Качественные, относительные и притяжательные прилагательные одинаково участвовали в процессе выделения новых значений в результате присоединения к существительным, с которыми они прежде не вступали в согласование.

Полная форма прилагательного подчеркивала признаки интенсивные, постоянные и особо выразительные, которые в результате семантической компрессии могли осознаваться как опредмеченные, т. е. становились субстантивированными именами; ср.: *столовая комната* > *столовая*, *домашние люди* > *домашние* и т. д. *Святой*, *блаженный*, *праведный*, *и первые станут последними* и др. — все это результат раннего обобщения прилагательных, заменивших прежние сочетания с существительным на основе типичного его признака.

Собирательный смысл синкретичного слова устранялся и отмеченной уже субстантивацией прилагательного, которая основана на традиционных формулах; ср. последовательность обозначения одного и того же явления в смене словесных формул: *сила рать* > *сила рати* > *ратная сила* > *сила ратныхъ* (субстантивированная форма в Московском летописном своде XV в.). Усиление степеней субстантивности («предметности» на основе определенного признака) связано с качеством прилагательного и значением слова. Притяжательные всегда особенно определены, определены по значению и имена собственные, поэтому полные притяжательные прилагательные от личных имен (в наличии сразу три степени определенности) с самого начала выступали как имена существительные, они субстантивировались независимо от согласуемого существительного; ср.: *посла Святославъ жены ихъ Михалковуя и Всеволожию* (Ип. 1425 под 1176 г.). *Михалковая* и *Всеволожая* выступают как существительные, обозначающие княжеских жен.

Из этих примеров видно, насколько тонко и в большом количестве вариантов были разработаны возможности определения тех или иных предметов, явлений и лиц. Это ускользающая от нашего внимания сеть качеств, признаков и свойств, которыми характеризовалась средневековая система обозначений, символических по преимуществу.

6.7. Степени сравнения прилагательных

Сравнительная степень качественных прилагательных обозначала особую интенсивность данного признака; эта древняя форма образована с помощью суффикса $-(\bar{e})jes$, и ее несовпадение с формой в положительной степени показывает, что некогда они обе были самостоятельными словами:

<i>выс-окъ</i>	—	<i>выше</i>	<	<i>*vys-jes</i>
<i>гад-ѣкъ</i>	—	<i>гаже</i>	<	<i>*gad-jes</i>
<i>молодъ</i>	—	<i>моложе</i>	<	<i>*mold-jes</i>
<i>низ-ѣкъ</i>	—	<i>ниже</i>	<	<i>*niz-jes</i>
<i>плохъ</i>	—	<i>плоше</i>	<	<i>*plox-jes</i> и т. д.

То же при образовании с соединительным гласным ⟨ѣ⟩:

<i>*dobr-ŭ</i>	>	<i>dobr-ĕ-jes</i>	>	<i>добрѣе</i>
<i>*nov-ŭ</i>	>	<i>nov-ĕ-jes</i>	>	<i>новѣе</i> и т. д.

Некоторые формы образовывались (достаточно поздно) путем аналогии к продуктивным типам; ср.: *простѣе* > *проще*, *крѣпѣе* > *крепче*; также аналогичного происхождения частые до XVIII в. формы типа *верняе*, *смирняе*, *страшняе*, которые образовались под влиянием закономерных форм *крѣпѣе*, *громче* (с изменением [*jĕ* > *ja*]). Существовали и более сложные формы, образованные с помощью суффикса *-jъs-j-* в косвенных формах типа им. п. ед. ч. среднего рода *мене* — род. п. *меньша* — дат. п. *меньшу* и пр. (также *боле* — *больше*, *дале* — *дальше*, *ране* — *раньше*), которые повлияли на образование форм типа *дешевше*, *ширше*, *длинше*, никогда не бывших нормативными. В древнерусских текстах сосуществуют формы им. п. мн. ч. мужского рода *больше* и им. п. ед. ч. женского рода *больши*.

Некоторые основы даже не совпадали по корню: *маль* — *мьне*, *великъ* — *боле*; то же случилось и позже, когда архаические формы,

развивая переносные значения, совпадали с другими прилагательными, ср.:

плохъ — *плоше*
худъ — *хуже*

**лучь* — *лучше*
добрь — *добрѣ*

Краткие склонялись по типу основ на согласный:

	мужской род	средний род	женский род
им. п. ед. ч.	<i>хужьи</i>	<i>хуже</i>	<i>хужьши</i>
им. п. мн. ч.	<i>хужьше</i>	<i>хужьша</i>	<i>хужьшь</i>

Поскольку формы сравнительной степени обычно использовались в предикативной функции, они не развивали полные формы и сохраняли форму им. п. ед. ч. Согласование с подлежащим в роде и числе в древнерусском языке долго сохранялось, но в современном языке в этой функции закрепились неопределенная форма среднего рода *хуже*, *плоше*, *шире*.

Наконец, следует отметить особую роль превосходной степени прилагательных в истории русского языка. У восточных славян такой вообще не было, поэтому при переводах с греческого языка приходилось использовать сравнительную степень с наращением *най-* или *пръ-*: *пръмудрь* — *σοφωτάτος*; *наибль* — *λευκοτάτος* и под. Чаше превосходная степень образовывалась как производная от сравнительной, с помощью указательного местоимения и как полная форма сравнительной степени: *новъишьи* — *новъишиа* — *новъишее*.

В современном русском языке превосходная степень прилагательных также не актуальна, она порождает элитивные формы, выражающие очень высокую степень качества, но безотносительно к качеству самого предмета (*дует сильнейший ветер*). Слова типа *старейшие* были распространены и в древнерусском языке. Кроме такой функции (элитивной) возможно было употребление той же формы в значении суперлатива (превосходно-сравнительное), ср.: *оть дванадесать кардиналу два хытрѣишая* в ЖАН XVI.

6.8. Функции имен прилагательных

Таким образом, в памятниках XI–XIII вв. краткие прилагательные в сочетании с существительным составляли около трети употреблений; число лексем, употребленных в краткой форме, достигает половины всех употреблений прилагательных, но к XIV в. краткие формы со-

хранились лишь у некоторых прилагательных в составе устойчивых атрибутивных сочетаний, и прежде всего в деловых текстах. К этому времени падежно-числовая парадигма кратких прилагательных разрушилась и сохранились лишь формы им. п. – вин. п. На разрушение парадигмы склонения указывают обратные случаи — членные формы притяжательных прилагательных с суффиксами *-ов-ь, -ин-ь, -j-* во всех падежах, кроме им. п. – вин. п. Широко развиваются переносные значения определений и изменяются некоторые функции тех же притяжательных прилагательных. Расширилось употребление полных прилагательных в сочетании с указательным или притяжательным местоимением, что показывает, насколько основательно утратилось противопоставление полных и кратких прилагательных по признаку определенность/неопределенность.

После XV в. совершенно точно уясняется распределение, согласно которому членное прилагательное в сочетании с существительным передает содержание понятия, выраженного аналитически (*великий князь, святая Троица*), а краткая — предикат в суждении, данный для выделения коммуникативно нового (*домъ великъ*).

В древнейших текстах прилагательное обычно стоит в постпозиции к определяемому слову, т. е. преобладает предикативный его признак, но в связи с уменьшением кратких прилагательных, утратой признака определенность/неопределенность и новым распределением функций двух типов прилагательных употребление членных в атрибутивной функции закрепляется в препозиции к определяемому слову. Тогда же полные формы относительных прилагательных в предикативной функции исчезают, хотя изредка и возможны, если выражают непостоянный признак предмета; ср. в одном из «Хождений» XV в.: *а городъ былъ каменной* (выделение случайного признака) — *а горы тамо есть каменны* (введение в описание постоянного признака).

В XVII в. у протопopa Аввакума в рукописях его «Жития» краткие формы находим в устойчивых сочетаниях (*древо кудряво, плюново дело, хлеб сладок, бес щербат, без мала, совесть крепку, на многоъ час, смирен нрав*) и в предикативном употреблении разного вида (*живот синь был, брат дряхл бысть, ребенок здоров стал, ум цел стал, бос ходил, жил скован, брели пеши*); то же в им. п. мн. ч. — *ради, мнози, силни, славни, здрави, прости, пьяни*. Окончания полных форм используются стилистически, в зависимости от близкого контекста: им. п. ед. ч. мужского рода *худой, малой, но велий, первый, судный*; род. п. ед. ч. мужского рода *малова, поганова, старова, но божественнаго, всенощнаго, истиннаго*; род. п. ед. ч. женского рода *вареной, голодной, отеческой, но бесовския, великия, десныя*; дат. п. ед. ч. женского рода *к большой, но святъи*; местн. п. ед. ч. женского рода *в большой, но в святъи* и т. д. В пределах одного текста употреблены старые и новые формы, в зависимости от семантики слова, уже сво-

бодного от сочетания в формуле, но по-прежнему сохраняющего свою исходную или вновь обретенную форму. Новые для письменного текста слова имеют и новую форму.

Все больше увеличивается число определений, прежде невозможных в письменном тексте. Подсчитано, что в одах Ломоносова употреблено 910 эпитетов, из них 629 — выражающих интеллектуальную сферу деятельности, тогда как связанные с предметным миром определения уже вполне метафоричны: *мягкая тишина, шумный вопль, громкий треск*.

Автономизация прилагательного — выделение из устойчивых сочетаний — освобождает его семантические и формальные свойства, делая имя прилагательное самостоятельной частью речи.

Ударение имен прилагательных отличалось от ударения имен существительных одной особенностью, которая также способствовала выделению их в отдельную часть речи.

У имен существительных ударение определялось контекстом: ср. *за́ город, го́род, огоро́д, города́* — единство корня в различных словесных формулах. У имен прилагательных акцентная мотивация определялась производящей основой, т. е. не контекстно метонимически по смежности, а уже вполне системно (парадигматически), и потому, в отличие от ударения кратких форм, местоименные формы в зависимости от состава словесной формулы уже не изменяли своего ударения. Производные от имен парадигмы *а* имели ударение на том же слоге (корня или основы): *болото́* — *болотистый, болотный* и т. д.; производные от имен парадигмы *в* имели ударение на суффиксе: *дворь* — *дворовый* (с редуцированного его переносили на предшествующий слог: *женский > же́нский*); производные от имен парадигмы *с* имели ударение на окончании: *домь* — *домовой (домский > до́мский), город* — *городовой, городской* и т. д. Это обстоятельство способствовало развитию ритмической независимости прилагательного в любом контексте.

Изменения прилагательных по форме (краткие — полные), по значению (качественные — относительно-притяжательные) и по функции (определение — предикатив) были направлены общими представлениями Средневековья о характере и смысле определения вообще.

Средневековые грамматические учения, основанные на аристотелевских определениях, устанавливали различие существ и предметов по трем признакам: отличительному (*человѣкъ — разумный*), его собственному (например, *человѣкъ смѣшливъ*) и «привходящему» (например, человек может быть *черный* или *белый*). Похоже, что идеальное распределение наличного состава прилагательных в старорусском языке после XIV в. происходило на основе такой характеристики признаков в отношении к предмету.

Привходящий признак является в суждении и явно соотносится с кратким прилагательным в предикате: *человѣкъ добръ... нищъ... босъ* и т. д. Собственный признак выражается притяжательным прилагательным (*разумъ человекъ*), а отличительный признак передается полным прилагательным в определении к имени: *добрые люди, изящный мужъ, Пресвятая Богородица*. Тогда понятно, почему относительные прилагательные редко употреблялись в предикативном значении, но широко представлены в атрибутивных сочетаниях: относительные относятся к отличительным признакам данного имени; ср. *соломенная крыша*, но не **крыша соломенна*, а описательные выражения типа *крыша покрыта соломой, крыша из соломы* и др. с указанием на отличительный признак, который является постоянным и не зависит от момента речи (суждения). Он является реально вещным, и потому такие прилагательные способны субстантивироваться.

Таким образом, в последовательном преобразовании форм имени прилагательного можно выявить три хронологически разных этапа, каждый из которых определяется своими категориальными особенностями.

На первом этапе (праславянский язык) представлена синтаксическая категория *определенности/неопределенности* в эквиполентном противопоставлении:

неопределенность	определенность
<i>добръ</i>	<i>добръи</i>
формально имя (ср. <i>добро</i>)	формально не имя (определение).

На втором этапе (древнерусский язык) включением разных типов прилагательных данное противопоставление раскладывалось на градуальное и выражало различные признаки определения; определенность порождает определения разного типа и качества, от предикатного (синтаксического) *миръ добръ* в различных вариантах (*добръ миръ, миръ добрый* и т. д.) до полного определения *добрый миръ*.

Третий этап начинается в XVII в., его результат представлен современным литературным языком с характерной для его системы привативной оппозицией *атрибутивность/неатрибутивность* и полными формами и м е н и п р и л а г а т е л ь н о г о как морфологически самостоятельной частью речи.

7. ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

7.1. Особенности счетных имен

Современные имена числительные не имеют: 1) категории рода, потому что такие имена не имеют значения предметности (распределяются по разным частям речи; раньше по роду различались имена *один, два, три, четыре*) и 2) категории числа (*три, четыре* склонялись лишь по мн. ч.), ибо сами по себе являются наиболее обобщенным обозначением числа. Таким образом, числительные утрачивают все характеристики имени, их близость к именам обеспечивается пока только остатками родовых признаков (*один — одна — одно, тысяча*) и категорией падежа, которая также постепенно утрачивается (*дом номер семь*: происходит их *онаречивание*). Синтаксически некоторые числительные управляют именами в им. п.—вин. п. и согласуются с ними в косвенных падежах: *два дома — двух домовъ*.

Формальные признаки несовпадения с именами дополняются признаками семантическими. Современные числительные в своем составе содержат и нечисловые слова (*много, несколько, меньше*), выражающие неопределенную множественность, тогда как порядковые по формальным признакам относятся к именам прилагательным (*первый, второй, сорок первый*). Некоторые частотные числительные в разговорной речи имеют варианты, представленные именами: *один — раз, второй — другой* и т. д.

Таков результат всех изменений, которые испытали счетные имена на пути к становлению категории числительных.

В древнерусском языке число не только количество, но и определенное качество. Символические значения числовых мер сопровождали всю жизнь средневекового человека, устанавливая его порядок и ритм. Исходная эквиполентность в противопоставлении ед. ч.: (двойств. ч. — мн. ч.) уже распалась на присущую Средневековой градуальную иерархию ед. ч. — двойств. ч. — мн. ч. с признаками *расчлененность/нерасчлененность* и *собираемость/несобираемость*

ность, в которой принимала участие и категория собирательности. Таким образом, изменения в категории числа были связаны с изменениями в грамматической семантике, которые определялись развитием мышления и потребностями практической жизни славян.

Основные лексико-семантические предпосылки становления числительных как самостоятельной части речи таковы.

Сначала вырабатывалось общее «количественное» значение у всех счетных имен; до того они имели различные характеристики: *четыре* — это количество, данное как признак расчлененно понимаемой совокупности предметов; *пять* — это количество, понимаемое как опредмеченное свойство такой совокупности; значение числа (*пять* — *пять*, *пясть*) и количественное значение (различное количество) — теперь все они стали словами общего рода и различаются только одним признаком.

Грамматически счетные имена были и прилагательными, и существительными (только *десять*, *сто*, *тысяча* являлись основанием для счета и изменялись по числам), они различались по категориям рода, числа и падежа.

Во всех славянских языках различия по роду сохраняют только крайние счетные имена (1 и 1000; в словенском также 2, 3, 4): они утрачивают значение предметности (кроме *один* — в нем слишком много переносных значений, в том числе и символических); процесс утраты категории рода у счетных имен очень длительный, его мы рассмотрим подробно.

Категория числа была внутренне противоречивой: 2–4 согласовывались с существительным в числе, но сами по себе они *Dualis tantum* (2) и *Pluralia tantum* (3–4), 5 и выше — *Singularia tantum*. Утверждение средневековых «Диалектик» о том, что «число начинается с двух», пересекается с христианским пониманием, согласно которому «тричисленное число всему добру начало» (Епифаний Премудрый). Так, количество понимается философски и богословски, но не грамматически. Кроме того, мн. ч. выражало расчлененную множественность, но сами счетные имена одновременно выражали и не выражали расчлененность. Сохранение двойств. ч. в некоторых славянских языках (в словенских и лужицких говорах) препятствует формированию общих свойств числительных как категории; то же было и в древнерусском языке. Следовательно, устранение категории двойств. ч. стало основным условием развития категории имен числительных. Непротивопоставленное множественному двойств. ч. совпадало с мн. ч.; языческая двоичность растворилась в христианской множественности, в двух ее видах — собирательной и расчлененной множественности.

Это условие перестройки категории числа мы также обсудим во всех подробностях.

7.2. Имена два, оба

Счетные имена *два, оба* употреблялись только в двойств. ч. и также совпадали в общей форме женского — среднего рода, но только в им. п.—вин. п.:

	мужской род	женский и средний род
им. п.—вин. п.	<i>два, оба</i>	<i>двьь, обь</i>
род. п.—местн. п.	<i>двюю, обою</i>	
дат. п.—тв. п.	<i>двььма, обьма</i>	

Здесь раньше всего стали изменяться формы род. п.—местн. п., уже в рукописях XII в., в том числе в берестяных грамотах, находим формы *двюу, обу* типа *без двюу ногату, на обу страну*. Это северные источники XII—XIII вв., ср.: *на дву коню* в НК 1282 (в тексте Русской Правды), *на дву тысячу серебра* в Синод, *от... дву языку* в Ип. 1425, *у дву насаду* в Пск. I лет. Средний род *двьь > два* совпадает с формой мужского рода, как и в других случаях, уходя от маркированного женского рода. В новгородской Гр. 1270 г. *даю за все то два села*, в Бер. гр. XII в. (№113) *два льта* и т. д. Старые формы двойственного среднего рода сохранились в сложных словах; ср.: *двьсть* (от *стьо*) с изменением по общему правилу в *двьсти > двести*; древняя форма род. п.—местн. п. двойств. ч. сохранилась в словах типа *двоюродный*, а новая — в словах типа *двужильный*.

Форма *двюу* с XV в. стала сочетаться с именами во мн. ч. и тем самым утратила значение двойств. ч.: в грамотах начиная с 1448 г. находим примеры типа *в дву сот, от дву бортей, без дву денег, без дву гривень* и т. д. То же происходило и с другими формами; ср. в грамотах и в псковских летописях XV в.: *со обою сторонь, обою князей прияша, обою городовъ, къ двьма селцомъ, зь двема рубежи, обьма тиуномъ* и т. д. В то же время в текстах появляются необычные формы типа *трема, четырьма, пятьма, шестьма* и др.: *к трема березам, къ ихъ пятма варницамъ, з десятма человекъ, шестьма тысячамъ* и т. д. — всегда в согласовании со мн. ч. Обратная замена форм мн. ч. на двойств. ч. показывает, что категория двойств. ч. у счетных имен данного типа уже отсутствует, и *два*, в свою очередь, начинает использовать окончания мн. ч. (*двух, двум* и т. д.; ср. сложные слова типа *двухметровый*).

Наряду с формами *оба, обь* существовала собирательная — мужского рода *обои*, женского рода *обьь*, среднего рода *обоя*; возникало распределение по значению: *оба* — ‘тот и другой’, о двух предметах или лицах; *обои* — ‘те и другие’, о двух группах предметов или

лиц. Например, в списках переводных текстов XIV в.: *слѣтъ слѣпа вода, оба въ ровѣ падета* (ПН XIV) — о двух лицах, но *сея же сблзанишиася обои, июдѣяне и елини* (ХГА) — о двух народах. Внеродовые варианты *обѣхъ, обѣмъ, обѣми* и новые формы типа *обѣихъ* становятся возможными с конца XV в.: *съ обоихъ сторонъ* в Судебнике 1497 г., *на дубѣхъ на обѣихъ* в Гр. 1500 г., *тѣхъ мѣстъ обѣихъ* в Гр. 1508 г. и т. д. Двойств. ч. и здесь заменилось мн. ч. Современное различие по роду в формах *обои, обоих, обоим* и *обеи, обеих, обоим* составляет трудность употребления как остатки искаженных древнерусских форм. *Обеих* рекомендуется употреблять при обозначении женского рода, *обоих* — мужского, а также женского и мужского совместно.

7.3. Склонение счетных имен

Древнерусская система счетных имен сохраняет счетные прилагательные *один–четыре* и счетные существительные *пять–десять* и *сто*. Все они сохраняли архаические формы склонения.

Три склонялось по типу **ĭ*-основ во мн. ч.: *четыре* — по типу согласных и тоже во мн. ч.:

	мужской род	средний род	женский род	мужской род	средний род	женский род
им. п.	<i>трѣе</i>	<i>три</i>	<i>три</i>	<i>четыре</i>	<i>четыри</i>	<i>четыри</i>
род. п.	—	<i>трѣи</i>	—	—	<i>четырь</i>	—
дат. п.	—	<i>трѣмъ</i>	—	—	<i>четырьмъ</i>	—
вин. п.	—	<i>три</i>	—	—	<i>четыри</i>	—
тв. п.	—	<i>трѣми</i>	—	—	<i>четырьми</i>	—
местн. п.	—	<i>трѣхъ</i>	—	—	<i>четырьхъ</i>	—

Как счетные прилагательные *два–четыре* являлись уже подлинными числительными с отвлеченным от конкретности вещи признаком. *Три* и *четыре* различались в роде, но только в им. п.; они согласовывались с определяемым существительным в роде, но не имели форм ед. ч.

Два лѣта безъ трии мѣсяць, до треи день, безъ четырь день и др.

Счетные имена *пять–девять* обозначали конкретную совокупность, управляя род. п. имени и склонялись как существительные женского рода **ĭ*-основ в ед. ч.:

им. п.	<i>пять</i>	<i>шесть</i>	<i>седмь</i>	<i>осмь</i>	<i>девяць</i>
род. п.	<i>пяти</i>	<i>шести</i>	<i>седми</i>	<i>осми</i>	<i>девяти</i>
дат. п.	<i>пяти</i>	<i>шести</i>	<i>седми</i>	<i>осми</i>	<i>девяти</i>
вин. п.	<i>пять</i>	<i>шесть</i>	<i>седмь</i>	<i>осмь</i>	<i>девяць</i>
тв. п.	<i>пятью</i>	<i>шестью</i>	<i>седмью</i>	<i>осмью</i>	<i>девятью</i>
местн. п.	<i>пяти</i>	<i>шести</i>	<i>седми</i>	<i>осми</i>	<i>девяти</i>

Род. п.—дат. п.—местн. п. совпадали по окончаниям, что впоследствии обусловило обобщение данной формы в сложных сочетаниях.

Счетное имя мужского рода *десять* склонялось по основам на согласный во всех трех числах:

	ед. ч.	двойств. ч.	мн. ч.
им. п.	<i>десять</i>	<i>десяти</i>	<i>десяте</i>
род. п.	<i>десяте (-и)</i>	<i>десяту (-ию)</i>	<i>десять</i>
дат. п.	<i>десяти</i>	<i>десятьма</i>	<i>десятьмь</i>
вин. п.	<i>десять</i>	<i>десяти</i>	<i>десяти (-е)</i>
тв. п.	<i>десятью</i>	<i>десятьма</i>	<i>десятьми</i>
местн. п.	<i>десяте</i>	<i>десяту (-ию)</i>	<i>десятьхъ</i>

В скобках представлены новые окончания форм, развивавшиеся уже в древнерусском языке. Некоторые остатки старого склонения этого имени находим в рукописях: *яко лѣтъ двѣмадесяма* в СП XI, *не боле четыре межѣ десятиа чать даяти* в ЕК XII (*чать* — мелкая монета цята), *третий межѣ десятиа* в Лавр. под 1141 г.

Сѣто как имя среднего рода склонялось по **о*-основам, а *тысяча* (буквально ‘большое сто’) как имя женского рода — по **а*-основам. Большие числовые меры создавались описательно или калькировались на основе других языков. Предельное число в начале писаной истории — *тьма* (калька с греч. *μυρία* ‘несметный’: *тьма тьмуца*), т. е. 10 000. Более поздние увеличения до беспредельных величин также описательны: *воронь*, *колода* и др. или являются заимствованиями: *имя имь легионь* — 100 000, также *леодръ* (миллион).

Сложные счетные имена образовывались путем сочетания единиц с десятками:

один — на *десяте* — 11, *дѣва* — на *десяте* — 12 и т. д.
дѣва десяти — 20, *три десять* — 30, *пять десять* — 50 и т. д.

Соответственно при обозначении числа на письме единицы ставили перед десятками *·āi·*, *·vī·*, *·gī·* и т. д., а после 19 обозначали отдельной буквой: *·k̄·* — 20, *·l̄·* — 30 и др.

В следовании десятков и единиц последовательность обратная: *лѧ* ‘21’, *лѧв* ‘22’, *лѧг* ‘23’ и т. д.; также с сотнями: *лѧ рѧ* в ОЕ 1056 — ‘лист сто пятьдесят первый’. При этом каждое число употребляется отдельно: в переводе евангельского текста *Петръ извлече мрежю на землю, полну великихъ рыбъ рѧ и ѧ и зѧ*; следование букв значит ‘сто и пятьдесят и три’ (в оригинале соединительного и нет: *ἑκατὸν πενήκοντα τριῶν*). При этом каждое числовое имя склонялось: *бѧ длѧжнь ему сътъмъ цятъ* ОЕ 1056 — в переводе на современный язык это значит ‘должен ему сотню монет’, с архаичным управлением зависимого числа. Передача цифр буквами свидетельствует о качественном характере счетного имени. Поскольку нуль неизвестен, отвлеченность *цифр* еще не обрела абстрактного значения и счетные слова сохраняли свой «вещный» характер, оставались счетными именами.

Два счетных имени в сложном составе не привились, их заменили словами *сорок* — вместо *четыредесятъ* и *девѧнсто* — вместо *девѧтьдесятъ*. *Девѧнсто*, по-видимому, является сокращенной формой выражения со значением ‘один десяток до ста’, а *сорокъ* — существительное, обозначающее мешок (ср. *сорочка*) с данным числом белых или кунных шкурок, служивших «разменной монетой» на Русском Севере. Самое раннее употребление слова находим в тексте Русской Правды по новгородскому списку НК 1282: *сорокъ гривень* (и в Бер. гр. XIII в.: *сорокъ бобровъ*).

Древние формы счета долго сохранялись у восточных славян; например, счет по пяткам пересекался с заимствованным счетом по десяткам и давал сложные формы типа *поль третѧ десяте* в Мстисл. гр. ок. 1130 г. — ‘половина до третьего десятка’, т. е. 25. Ср. также: *семь-пятъ шапок серебра* в сказке о Коньке-Горбунке — это 35. Форма *польвѧтора* — ‘половина до второго’, т. е. один с половиной. Фонетические изменения XII в. устранили оба редуцированных и сократили сложное сочетание согласных, дав современную форму *полтора*. Другие счетные по половинам: *польтретьѧ* ‘2,5’, *польчетверте* ‘3,5’, *польпята* ‘4,5’ и др., *полтретьѧдесятъ* ‘25’, *полпятадесятъ* ‘45’, *полшестѧдесятъ* ‘55’ и т. д. Такие счетные имена склонялись.

В древнерусском языке домонгольской поры употребление счетных имен является очень последовательным и верным. В качестве примера рассмотрим описанные в 1101 г. князем Владимиром Мономахом его охотничьи подвиги:

А се тружахъся, ловы дѧя... и до сего лѧта по *сту* уганивалъ и имь даромъ всюю силою кромѧ иного лова, кромѧ Турова. Иже со отцемъ ловиль есмь всякъ звѣрь. А се в Черниговѧ дѧяль есмь: конь дикихъ *своима* рукама связалъ есмь в путахъ *десять* и *двадѧшту живыхъ* конь, а кромѧ того, иже по Роси ѧзда ималь есмь *своима* рукама тѧ же кони дикиѧ; *тура*

мя два метала на розъхъ и с конемъ, олень мя одинъ боль, а два лоси — одинъ ногами топталъ, а другойъ рогама боль; вепрь ми на бедръ мечь оттялъ, медвѣдь ми у кольна подьклада укусилъ, лютый звѣрь скочилъ ко мнѣ на бедры и конь со мною поверже... и с коня много падах, голову си разбих дважды, и руцѣ и нозѣ свои вередихъ... (Лавр. под 1096 г.).

И в сочетаниях со счетными именами, и в грамматических формах двойств. ч. архаические различия всех трех чисел сохраняются.

Здесь тщательно перечислены все «рога и копыта»: у двух туров четыре рога, т. е. много (*на розъхъ* — мн. ч.), а у одного лося только два, но четыре ноги (поэтому *рогама* в двойств. ч., но *ногами* во мн. ч.). Счетные имена еще склоняются (*по сту, руцѣ* — *руками, на бедръ* — *на бедры, двадесяту*) и согласуются (*двѣ лоси, тура мя два метала, своима рукама*), а сложные числительные еще являются составными (*десять и двадесяту* в целом — это тридцать).

7.4. Изменения счетных имен

Последовательность в развитии счетных имен определялась разрушением форм двойств. ч., на всех уровнях преобразования категории свое значение имеют изменяющиеся формы счетного имени *дѣва*: сначала на счетные имена влияли флексии имен существительных, затем местоимений (в древности *дѣва* изменялось по местоименному склонению), и, наконец, уже образованные формы числительных воздействовали друг на друга в их общем развитии в сторону самостоятельной категории имен числительных.

Влияние флексий имен существительных на счетные имена известно с середины XIII в.; ср. имя *одинъ* в тв. п. ед. ч. как *одиномъ* по аналогии со *столомъ* в Псковской летописи XIV в.; с конца XV в. появляется форма *съ однимъ* под влиянием мягкого склонения, хотя летописные тексты (особенно северные) представляют формы с твердым склонением типа *съ единымъ мужемъ, единымъ приступомъ, однымъ своимъ насадомъ*. Новые формы род. п.—местн. п. *дѣву, десяту* возникают по аналогии с двойств. ч. *столу, селу* (*на дву коню* в НК 1282; *шло 40 бел без дву* в Бер. гр. XV в.); имена *сорок, девяносто, сто* в род. п. ед. ч. получают формы *сороку, девяносту, сту* (вместо *-а*).

Со стороны местоименного склонения влияние более выразительно, но развивается позже, хотя отдельные примеры такого влияния встречаются и в XIII в.; ср.: *от двою копыю, однимъ послухомъ* в смоленской Гр. 1229 г. *От двою* по аналогии с *тою, однимъ* (ср. также *единымъ топоромъ* в Лавр.) в тв. п. ед. ч. — влияние твердого склонения местоимений. Поскольку после утраты старых функций имени

дѣва следующее за ним существительное не согласуется, а управляется им, возникает стремление заменить двойств. ч. множественным, как и само имя *дѣва* — *двухъ*; отражено через существительные само двойств. ч. влияет на некоторые формы двойств. ч.; ср.: *от тѣхъ дву дубовъ, на тѣхъ дву бояхъ*, но с конца XV в. по аналогии с *трѣхъ, четырехъ* происходит распространение формы *дву* до *двухъ*, которая используется в вин. п. и местн. п. мн. ч.; ср. в двинских и других северных грамотах XV в.: род. п. — *двухъ сыновъ, от двухъ елей, от двухъ осокорей*; местн. п. — *на тѣхъ на двухъ селахъ, на двухъ жеребѣехъ, в двухъ лодкахъ*. Расширение формы *дву* за счет *-хъ, -мъ, -мя* происходит в то же время: *двумъ церквамъ, молодшимъ двумъ* и др. — по аналогии с формами *трѣмъ, четыремъ*, также *двѣми* и *двумя* с различными упрощениями в произношении. С XIV в. под влиянием местоименного склонения заметно изменение форм *три* и *четыре*. В московской Гр. 1389 г. *без трехъ*, позднее в деловых источниках только так (*трехъ князей* Гр. 1483 г. и др.); с конца XV в. *четырехъ*, по аналогии с ними *в пятихъ насадах* и пр. Вариаций форм могло быть множество, поскольку в устной речи они употреблялись редко, а давлений со стороны смежных падежных форм было много. Уже в XVII в., и даже в старопечатных книгах, находим формы типа *итти десятимъ шеренгом* (Кн. Ратн. строя 1647).

Взаимное влияние флексий различных счетных имен особенно распространено после XIV в. Именно тогда и в склонении числа *два* развивается контаминация основ двойств. ч. с новыми окончаниями мн. ч.: *двѣмъ своимъ сыномъ* (1392), *къ двѣмъ обжамъ* (1551) и в грамотах того же времени *казакомъ двемъ челоуькомъ, съ обѣхъ деревень* и т. д. Возможны и обратные влияния, например *трема, четырьма* по типу *двѣма*. *Подъ двѣма или трѣма мѣрь* в ПЕ XII; *от трею сихъ* в Радз. XV под 1495 г. по аналогии с *двою*. Аналогичны формы типа *четырема* как *трема, четыреми* как *треми* и др. Склонение счетного имени *десять* получает формы **i-основ* (*в десяти рублехъ, по десяти ведеръ*), и вообще разброс возможных форм весьма широк, появляются даже формы типа *сорокью, четырью, в сороки рублехъ* и т. д.

Изменение склонения у счетных имен выше *десяти* представляет собой разрушение исконных словосочетаний и превращение их в одно слово.

В составных важны именно единицы, они стоят на первом месте. Это как бы в и д при общем р о д е десятков и сотен. *Один-на-десяте, дѣва-на-десяте* и т. д. подвергались сокращению форм при редукции звучания. Ранние примеры новых форм относятся к XIV в. (*одиннатцать* в Гр. 1389 г.), с XV в. они становятся обычными: *пятнадесять копенъ, тринадесять челоуькъ, двенадесять степеней*, а затем и *пятнадесять рублей* и др.

Сохранялись исконные формы типа *дѣва десяти, три десяте, четыре десяте, пять десятъ*, а также сочетания *тридешать лѣтъ без полутретя месяца, двадешать и три годы* и под.; ср. при склонении только первой части *одинунадесяте гривну* в Бер. гр. XII в., также *без пятинаццати* (1488), *с трехнатцати оберж, в трехнатцати жеребех, у четырехнацати человек, штинатцати человеком* и др. в грамотах начиная с XV в., когда появляются и современные формы типа *двадцать, триццать* со склонением второй части в род. п.—дат. п.—местн. п. *дватцати, триццати* (с *тринатцати вервей*), тв. п. *двадцатью, триццетью* и т. д. В сложных сочетаниях с управляемой второй частью склонялось только первое имя: *съ пятидесять, со штидесять, съ семидесять, съ осмидесять; пятьюдесять, шестмидесять и шестьюдесять, съ семьюдесять, осмьюдесять*. Склонение обеих частей в числовых сочетаниях *два и три* древнерусскому языку чуждо, но *человек до пятидесят* (1556), *семидесят человеком* (1585), *в осмидесят верстах* (1591) и т. д.

В результате полной лексикализации сложного имени, представленного как единое число, развивается согласование между обеими частями, и форма род. п. мн. ч. *десять* устраняется: *пятидесяти рублевъ, со штидесяти дворовъ, пятьюдесятью, с шестьюдесятью мужъ, в пятидесяти человекъ, осьмидесятьми человеками* и т. д. Лексикализация счетных имен превращает их в числовые абстракции и тем самым приближает к идее цифрового обозначения: *двенадцать* = *·vi̇, 12, XII*. В современном произношении очень часто произносится именно последовательность цифр, а не имен числительных, ср.: *не меньше трех тысяч триста двадцать пять*.

С XV по XVII в. старые и новые формы легко сосуществуют, иногда даже в одном тексте, в результате чего становятся возможными неожиданные контаминации; ср. в Кн. Ратн. строя 1647 *к пятидесятью* (желание разграничить форму дат. п. от сходных форм род. п.—местн. п.).

В обозначении сотен еще и в конце XVII в. возможно старое написание двух самостоятельных слов: *двь стѣ* (и *дѣва съта* в среднем роде), *три съта* (и *три съто*), *четыре съта*. При выражении приблизительности счета возможна инверсия, что подтверждает свободное употребление каждого из имен: *человкъ ста два и больше, ста три или четыре пудъ, сот с пять или с шесть будет*. Обе части склонялись самостоятельно; ср. *въ двою сту кораблии, съ трехсотъ и с пятидесять и съ дву обержъ, четырехъ сотъ, ятисотъ, больши трех сот рублей, к тем трем стам рублям, треми сты рубли, не о трѣх стех* и др.

Составные счетные имена образовывались с помощью соединительных союзов *и, да* и предлога *с*: *дватцать рублев и полтредья рубли, восьмдесят рублев да полтора рубли, семьдесять съ одною*. Это «раздельное представление частей целого» (А. А. Потебня) в со-

знании; ср.: *дати земли дватцать десятин з десятиною* — на первом месте в сознании «десятина земли», а не отвлеченное сочетание числовых мер, точно так же, как и рубль, а не их мера в выражении *дати пятьдесят рублев с рублем*. Числовые меры могут быть длинными: *а съно косять двѣсти и сорокъ и пять копень* (1495) и т. д. С XV в. появляются и новые сложения типа *дватцать четыре сохи, сто тритцать двѣ десятины с полудесятиною*, а с XVII в. только такие сочетания (без соединительного союза) и находятся в обороте — «в соответствии единству выражаемой мысли» (Потебня), т. е. уже не от вещи, а от мысли (идеи) о ней. Сведение к единству выражения действительно связано с моментом идеации, т. е. согласованием признака различения с предметным миром вещей.

На пути от счетных имен к самостоятельной категории числительных происходило (формально) некоторое движение вспять. Так, в памятниках XVII в. наряду с более ранними *одному одного блюсти* (1447), *целовальника одного или двух* (1550), *трех человек убили* (1646), *взяли четырех человек* (1660) появляются и новые формы согласования в контексте: *и живых воровских людей на том бою взяли в пяти человек* (1678), *и привезли татар семи человек* (1641) — род. п. вместо вин. п.; категория одушевленности завершается своим формированием к XVII в., а *один—четыре* по-прежнему прилагательные, поэтому они согласуются с существительным в форме вин. п.—род. п. (*одного человека как большого человека*). Первоначально тот же принцип согласования распространялся и на имена *пять—десять* (хотя у имен *i-основ и не развивается категория одушевленности).

7.5. Порядковые счетные имена

Различают первые два счетных имени от остальных, которые образованы от счетных имен того же значения.

Первыи общего корня со словом *передний* при чередовании *přr-v / *per-d; ср. лат. *pro*; исконное значение слова ‘передний (во времени и в пространстве)’. На то, что слово *первый* близко к качественным прилагательным, указывает возможность образования степеней качества: *первъе, первыиший, первенький* и т. д.

Въторои — ‘второй, второй из двух’, исходная форма *dǫvǫtor — *дѣв-торь*; ср. греч. *δέυτερος*, *ter-/tor-* — суффикс сравнительной степени, который сохраняется в слове *поль(въ)тора*. В обоих случаях фонетические сокращения дали современные формы *второй, полтора*.

Выделение двух первых порядковых имен соотносится с общей установкой на идеальную двоичность. Производные *единый* и *двойной*,

двойственный образовались поздно, имеют особое значение и являются фактом книжного языка.

В формах *третьи, четверты* суффиксальный *t* от *ter* (чередование *четыре/четвертый* — результат чередования *ī/ī*); в формах *пяты, шестои, девятыи, десятыи* это *t* совпало с *t* корня, но суффикс сохранился в собирательных типа *пятеро, шестеро* и т. д. Две особо архаические формы *седьмои, осьмои* образованы без суффикса.

Сложные порядковые образовывались с помощью того же суффикса, который очень рано устранялся; ср. в различных описаниях грамот: *шестеронатцать лошадей* (1614), *лошадей двенадцатеро да жеребят двое* (1551) и др., но уже *полотретиянацате локти, полдругынатцата недели* (1410), *с шестонатцатой доли* (1583), *семогонадцать дня* (1437), *полшестынадцать копы* (1510), *семинадцатый день* (1529). С XVI в. развиваются современные формы типа *на одиннатцатомъ, на шостнатцатомъ* и т. д. со всеми характерными фонетическими упрощениями в речи.

Составные порядковые склонялись по общему правилу, т. е. изменялись только единицы: *в шестый на десять день, первого на десять году, майя въ девятый на десять* и т. д.

Сложность в выражении числовых мер затрудняла операции счета; символическое наполнение каждого числа дополнительно осложняло его использование в практических целях. «Арифметики» XVII в. сложны не своими задачами, а именно выразительной неповоротливостью языка арифметических описаний.

Все это приводило к необходимости перестроить систему счетных имен.

7.6. Имена числительные

Таким образом, в древнерусском языке до конца XIV в. четко сохраняется исходная система употребления счетных имен всех типов и классов, новообразования охватывают только имена *два, двъ*, форма среднего рода *двъ* сменяется формой мужского рода *два* (с XIII в.), а род. п.—местн. п. *дву* — формой *двою*. Отчасти изменяется склонение имени *десять*, тогда как *пять—девять* еще сохраняют род и число (*другую семь лет, вся пять концов*); в XII в. появляется *сорокъ* вместо *четыре десяти*; в XIII в. склонение у *три* и *четыре* сводится к единственной форме: *три* по женскому роду, а *четыре* по мужскому роду (но в некоторых падежных формах сохраняются старые окончания типа *трехи* в тв. п. мн. ч.). Особых изменений счетных имен нет, поскольку и двойств. ч. еще не изменяется, если не считать изменения некоторых форм в границах собственно

склонения: происходят общие для всего языка фонетические упрощения типа *дѣвьсьтъ* → *дѣвьтъ* → *дѣвсти* как *кольнѣ* → *кольни*.

В XIV–XVII вв. самые ранние изменения также связаны с изменением числа *два*: дифференцируются формы дат. п. и тв. п. от *два* (*двумь* с XIV в., *двухъ* с конца XIV в.), что уже связано с разрушением категории двойств. ч. и выделением самого числа *два* как самостоятельного слова. С конца XIV в. появляются составные числительные нового образования типа *одинадцать* — *девятнадцать*; с XV в. развивается современное склонение числительных (по аналогии с полными прилагательными), но особенно богаты новообразованиями тексты XVI в., и только с конца XVII в. определенно устанавливается современная система изменения — уже имен числительных.

Грамматическое разнообразие форм, накапливавшееся у счетных имен, препятствовало собиранию их в общую морфологическую категорию. К тому же некоторые из них формально приближались к столь же новой категории имен прилагательных.

Средством избежать формального слияния счетных имен с другими именами стали совпадения всех косвенных форм в одной и утрата склонения.

В противопоставлении имени существительному, которое вырабатывало новые парадигмы склонения, с ч е т н ы е имена парадигмы разрушали и превращались в числа, тем самым образуя имя ч и с л и т е л ь н о е. С XVI в. им. п. противопоставлен единому косвенному падежу: *сорокъ* — *нет сорока, къ сорока, о сорока*; также у имен *девяносто, сто*.

В процессе обобщения отвлеченных числовых мер большое значение имели: словообразование, приводившее к слиянию сложных и составных числительных в самостоятельные слова, выделявшиеся из конкретных речевых синтагм; фонетические упрощения в произношении таких слов; ударение, с помощью которого составные части сложных форм могли объединиться на основе единой тактовой единицы (ср.: *три-на-десять* > *тринáдцать*, *три съта* > *трíста*).

8. МЕСТОИМЕНИЕ

8.1. Местоимение и наречие

Местоимение и наречие относятся к самым древним словам человеческого языка. Они имели чисто указательные функции, еще без всякого собственно лексического значения. Их назначение было указывать на «вещь», а не выражать «идею».

Различие же между ними заключалось в том, что местоимение заменяло имя, а наречие — глагол. Современные разговорные формулы *Ты где? — Вам туда!* передают неопределенно общий смысл таких слов в прошлом.

В качестве основного элемента эти слова имели зубные согласные (а местоимения еще и глайды), ср. указательные *ть, съ, онь* или противопоставление личного местоимения и наречия *ты — ту* 'тут'. Местоимение и древнее наречие не имели никаких парадигм и отличались особым отношением к ударению, вообще к ритмическому рисунку высказывания, которое они организовывали с помощью других слов.

Оба термина в русском языке являются кальками с лат. *pronoun* и *proverbium*, в древнерусском это *мѣстоимя* и *нарѣчье* (от *ръчь* — глагол).

И местоимение, и наречие в древнерусском языке претерпели значительные изменения, и не только с формальной стороны. Указательные слова, которые долго оставались в функции «вместо» чего-то, получали самостоятельное значение и сформировались в особые части речи. Произошло это потому, что по направлению к нашему времени усиливалось значение субъект-объектных отношений, а развитие строго логических структур потребовало точных определений относительно места, времени, причины, цели и других обстоятельств каждого конкретного действия, которое субъект производит в отношении объекта в мысли и в объективном мире.

Местоимения — это самые древние слова. Большинство их восходит к неопределенным по смыслу формам, совместившим в себе множество значений; именно поэтому в отдельных славянских языках они стали основой для образования других частей речи — имен прилагательных, имен числительных, наречий, союзов, предлогов, частиц.

8.2. Личные местоимения

Личные местоимения не различались по категории рода, у них преобладали *супплетивные* формы (образованные от разных корней), но отсутствовала самостоятельная форма 3-го л. (ее заменяло возвратное *себя*, не имевшее формы им. п.); кроме того, они представлены двумя формами — полной и краткой (энклитической), например *мьнѣ, тобѣ, собѣ* — *ми, ти, си*. Тем самым их синтаксические функции различали и формы одного и того же по смыслу местоимения.

У неличных местоимений все наоборот: в большинстве своем они различаются по роду, у них представлена единственная форма с законченной парадигмой склонения (по мягкому или твердому варианту, как и у имен **а*- и **о*-основ), но при известном синкретизме форм; например, местоимение *вьсь* имело формы как мягкого, так и твердого склонения (*вьсьмѣ, вьсьхѣ, вьсьми* вместо *вьсимѣ* и пр.; также *чѣмь* по твердому склонению вместо ожидаемого *чимь*, и наоборот, у местоимений твердого склонения находим окончания мягких основ типа *самихѣ, этихѣ* и пр.). Другими словами, взаимодействие местоименных основ некогда происходило в отдельных формулах речи, их словоформы длительное время не составляли целостной парадигмы.

Древнейшие изменения местоимений параллельны изменениям глаголов. Как и у глаголов, здесь формировалась идея 3-го л. — развивалось личное местоимение 3-го л., которое образовалось путем контаминации указательного *онѣ, она, оно* и косвенных форм указательного же местоимения *и, я, е* (⟨*јь*⟩, ⟨*ја*⟩, ⟨*је*⟩). Одновременно с тем происходила утрата клитичных форм типа *мя, тя, ся* — в связи с разрушением текстовых формул и преобразованием ритмомелодической структуры фразы. Именно с местоимений началась утрата форм двойств. ч.: в АЕ 1092 формы двойств. ч. еще четко различаются (*въ, ваю, наю, нама*), но уже в ОЕ 1056 находим заменяющие их формы типа *вы* (вместо *ва* в вин. п. двойств. ч.).

Личные местоимения имели падежно-числовые формы, которые в общем виде можно представить следующим образом:

		1-е л.	2-е л.	3-е л.
ед. ч.	им. п.	<i>язь</i>	<i>ты</i>	
	род. п.	<i>мене</i>	<i>тебе</i>	<i>себе</i>
	дат. п.	<i>мънь ми</i>	<i>тобъ ти</i>	<i>собъ си</i>
	вин. п.	<i>мене мя</i>	<i>тебе тя</i>	<i>себе ся</i>
	тв. п.	<i>мъною</i>	<i>тобою</i>	<i>собою</i>
	местн. п.	<i>мънь</i>	<i>тобъ</i>	<i>собъ</i>

		1-е л.	2-е л.
мн. ч.	им. п.	<i>мы</i>	<i>вы</i>
	род. п.	<i>насъ</i>	<i>васъ</i>
	дат. п.	<i>намъ ны</i>	<i>вамъ вы</i>
	вин. п.	<i>насъ ны</i>	<i>васъ вы</i>
	тв. п.	<i>нами</i>	<i>вами</i>
	местн. п.	<i>насъ</i>	<i>васъ</i>
двойств. ч.	им. п.—вин. п.	<i>въ</i>	<i>ва</i>
	род. п.—местн. п.	<i>наю</i>	<i>ваю</i>
	дат. п.—тв. п.	<i>нама</i>	<i>вама</i>

Местоимение 1-го л. ед. ч. уже в древнерусском языке представлено тремя формами как *азь* — *язь* — *я*. В Мстисл. гр. ок. 1130 г. находим их последовательность *се азь... а се язь... а се я...* *А се я* — это возобновление исконного смысла самого местоимения *я*: **ego(m)* < **e go ete* ‘вот я!’. Все три формы употребляются и в Лавр., и в «Хождении» Афанасия Никитина (1472), но в северных рукописях Синод. и Ип. 1425 — только русские формы *язь* и *я*, в писательском кругу Ивана Грозного предпочитали *язь*; в цитатах из Писания — обычно *азь*, а новая русская форма *я* до XVI в. встречалась исключительно редко.

Косвенные формы 1-го л. ед. ч. восходят к корню с чередованием **ten-/*tъn-* (род. п.—дат. п. *мене* — *мънь*), а 2-го и 3-го л. ед. ч. — к корням **teb-/*tob-* и **seb-/*sob-*. Древнерусские формы этих местоимений представлены с корневым ⟨о⟩, чем отличаются от старославянских форм: дат. п.—местн. п. *тобъ*, *собъ*, а не *тебъ*, *себъ*. Поскольку при этом в написании всегда сохранялся *ъ*, полагают, что именно *тобъ*, *собъ* были «живыми» разговорными русскими формами, и только в XIV в. они стали заменяться на *тебъ*, *себъ* в результате межслоговой ассимиляции перед подударным ⟨ê⟩. Тв. п. ед. ч. *тобою*, *собою* сохранили ⟨о⟩ перед подударным ⟨о⟩. Формы вин. п.—род. п. *мене*, *тебе*, *себе* с конца XIV в. преобразовались в новые *меня*, *тебя*, *себя* в результате аналогии с клитичными *мя*, *тя*, *ся* в безударном (в определенных положениях) окончании, которое тут же стало по-

стоянно подударным под влиянием тех же *мя, ты, ся* (на них всегда переносилось ударение с соседних слабых слогов).

Местоимения *и* — *онъ* стали использоваться как личные для указания на 3-е л., т. е. то, которое находится за пределами видимости и не участвует в диалоге. Высказывали мнение, будто уже до XI в. данные указательные местоимения сложились в парадигму склонения 3-го лица, но это вряд ли верно. *Его* вместо *и* в вин. п. ед. ч. как выражение одушевленности встречается с Гр. 1229 г. (*понесеть его домовь*), а с XIV в. такая форма распространяется и на неодушевленные. По текстам «Повести временных лет» и Суздальской летописи в составе Лавр. видно, как постепенно в различных сочетаниях слов происходило распространение косвенных форм местоимения и в значении личного 3-го л. Это, несомненно, случилось только после того, как с помощью того же местоимения *и* уже закончилось образование местоименных (полных) форм имени прилагательного. В тексте Русской Правды по НК 1282 формы *его, еь* употреблены 149 раз при 25 формах *сего, того, оного*, а в форме им. п. ед. ч. местоимений *и, е, я* нет совсем при редком употреблении местоимений *онъ* (3), *тъ* (2), *сь* (1). Формы 3-го л. уже возникали как выражение этого лица, но парадигмы не было еще и в XIII в., поскольку не было и законченных в своем образовании местоименных форм типа *сеи, оныи*, которые заменили бы формы типа *онъ* в атрибутивной функции. Наоборот, в значении местоимения 3-го л. с XI в. встречаются *сь, тъ, онъ*, но только в отношении к лицу: *Бъ бо съ любимъ Борисомъ, искони бо бьсь прельсти жену, сля же мужа своего* и т. д.

8.3. Указательные местоимения

Указательное местоимение в древнерусском языке сохраняло три степени дальности в обозначении предметов и лиц: *сь* — *тъ* — *онъ*. Такое же различие сохранялось и в некоторых сложных производных от них, например в известных сочетаниях:

<i>а въ сь</i>	>	<i>авось</i>	‘и в это’
<i>а въ тъ</i>	>	<i>а вот</i>	‘и в то’
<i>а въ онъ</i>	>	<i>а вон</i>	‘и в (вон) то’

И сегодня можно сказать *вот тут*, но *вон там*, выделяя разные степени отдаления предмета от субъекта речи. Выражение из Гр. 1610 г. *Авосе милосердный богъ надъ нами умилосердится* можно было бы признать за подтверждение мысли (поэта Вяземского) о том, что *Авосе* — «русский бог», но на самом деле *авось* употреблено здесь уже в

значении частицы. *Вото, вотъ* как частицы указывали на непосредственную близость вещи или слова, о которых идет речь. В словах князя Святослава (970) по Лавр.: *И рѣша ноугородьци С(вят)ославу: Вѣдаи ны Володимира. Онъ же реч имъ: Вото вы есть 'вот вам он'*. Перед выделенным по какой-то причине словом эта частица используется много позже, в XVII в. в грамотах типа *Ино вотъ сказываетъ Мит(ь)ка...* Для древнерусского языка важно выделить в е щ ь, старорусский язык за вещь принимает уже и с л о в о.

Указательные местоимения склонялись по твердому и мягкому типу:

Твердое склонение

		мужской род	средний род	женский род	мужской род	средний род	женский род
ед. ч.	им. п.	<i>тъ</i>	<i>то</i>	<i>та</i>	<i>онъ</i>	<i>оно</i>	<i>она</i>
	род. п.	<i>того</i>		<i>тоѡ</i>	<i>оного</i>		<i>оноѡ</i>
	дат. п.	<i>тому</i>		<i>той</i>	<i>оному</i>		<i>онои</i>
	вин. п.	<i>тъ</i>	<i>то</i>	<i>ту</i>	<i>онъ</i>	<i>оно</i>	<i>ону</i>
	тв. п.	<i>тъмь</i>		<i>тою</i>	<i>онъмь</i>		<i>оною</i>
	местн. п.	<i>томь</i>		<i>той</i>	<i>ономь</i>		<i>онои</i>
мн. ч.	им. п.	<i>ти</i>	<i>та</i>	<i>ты</i>	<i>они</i>	<i>она</i>	<i>оны</i>
	род. п.	<i>тъхъ</i>			<i>онъхъ</i>		
	дат. п.	<i>тъмь</i>			<i>онъмь</i>		
	вин. п.	<i>ты</i>	<i>та</i>	<i>ты</i>	<i>оны</i>	<i>она</i>	<i>оны</i>
	тв. п.	<i>тъми</i>			<i>онъми</i>		
	местн. п.	<i>тъхъ</i>			<i>онъхъ</i>		
двойств. ч.	им. п.—вин. п.	<i>та</i>	<i>тъ</i>	<i>тъ</i>	<i>она</i>	<i>онъ</i>	<i>онъ</i>
	род. п.—местн. п.	<i>тою</i>			<i>оною</i>		
	дат. п.—тв. п.	<i>тъма</i>			<i>онъма</i>		

Мягкое склонение

	ед. ч.			мн. ч.			двойств. ч.		
	муж- ской род	сред- ний род	жен- ский род	муж- ской род	сред- ний род	жен- ский род	муж- ской род	сред- ний род	жен- ский род
им. п.	<i>сь</i>	<i>се</i>	<i>си</i>	<i>сии</i>	<i>си</i>	<i>силь</i>	<i>сия</i>	<i>сии</i>	<i>сии</i>
род. п.	<i>сеѡ</i>		<i>сеѡ</i>	<i>сильхъ</i>			<i>сею</i>		
дат. п.	<i>сему</i>		<i>сеи</i>	<i>сильмь</i>			<i>сима</i>		
вин. п.	<i>сь</i>	<i>се</i>	<i>сю</i>	<i>силь</i>	<i>си</i>	<i>силь</i>	<i>сия</i>	<i>сии</i>	<i>сии</i>
тв. п.	<i>сильмь</i>		<i>сею</i>	<i>сильми</i>			<i>сима</i>		
местн. п.	<i>семь</i>		<i>сей</i>	<i>сильхъ</i>			<i>сею</i>		

8.4. Определительные местоимения

По мягкому типу склонения должны были изменяться определительные *вьсь* и *сиць*, но у них, как сказано, были несовпадения в парадигменных формах. Более того, северные говоры, не испытавшие изменений заднеязычных согласных в свистящие (при отсутствии третьей палатализации), сохраняли «первобытные» формы местоимений, в новгородских источниках представленные в виде *вхе польъ*, *вху*, *вхемо вамо*, *въхо*, *вхого* и др. Взаимное влияние мягкого и твердого склонения у неличных местоимений было широко распространено после XIV в., когда происходило обобщение того или иного типа склонения и у имен существительных. Поэтому в московских грамотах XV в. можно встретить написания типа *сьхъ*, *до сьхъ поръ*, *мошьмъ*, *твошьмъ*, смешение форм *тхъ* и *тхъ* и т. д. Для московских говоров характерно было обобщение по твердому варианту.

В большинстве случаев происходит унификация родовых окончаний, т. е. утрачивается различие по роду во мн. ч. (с XV в.): вместо *ти*, *ты*, *та* появляется обобщенная форма им. п. –вин. п. мн. ч. *ть*, возникшая под влиянием косвенных падежей (здесь окончания совпадали для всех родов). Параллельно с тем осуществляется выравнивание окончания в этой форме и у других местоимений, например *самъ*, *однь*, *всь*. Функциональная взаимообратимость местоимений (они одинаково соотносятся и с глаголами, и с именами) сказывается и в том, что именно энклитические формы дат. п. и вин. п. от возвратного местоимения *си*, *ся* образовали формант для выражения грамматического залога (*собирался*, *жалиси*).

8.5. Вопросительно-относительные местоимения

Вопросительно-относительные местоимения *къто* — *чьто* склонялись по общему типу — соответственно твердому и мягкому:

им. п.	<i>къто</i>	<i>чьто</i>
род. п.	<i>кого</i>	<i>чего</i>
дат. п.	<i>кому</i>	<i>чему</i>
вин. п.	<i>кого</i>	<i>чьто</i>
тв. п.	<i>цьмъ</i>	<i>чимъ</i>
местн. п.	<i>комъ</i>	<i>чемъ</i>

Все остальные изменения местоимений носят формальный характер и в историческом плане малоинтересны. Они имеют либо диалектные, либо стилистические различия и потому изучаются в курсах «Истории литературного языка» или «Диалектологии».

8.6. Полные местоимения

Категория определенности также сказалась на изменении форм местоимений, стали появляться полные (членные) формы.

Параллельно с членными формами прилагательных они известны с XII в.; ср. *тыи днь* в ЕК XII и УС XII, *в часть той* в Синод., с XIII в. также *сеи, сии*, затем *инои, оныи* и др. (первоначально только в мужском роде). Сразу же после падения редуцированных функционально сильная форма им. п. ед. ч. мужского рода в положении под ударением изменялась *тѣ > то*, *сѣ > се*, и следы этого мы находим в старых текстах Лавр. (*то намъ ворогъ встѣмъ*). Но возможное совпадение с формами среднего рода отменило этот путь развития местоимения как тупиковый, а параллельное развитие местоименных прилагательных заставило искать выход с помощью редупликаций типа *тѣ + тѣ*, *сѣ + сѣ*. Такие формы выражали большую определенность указания, причем и возможностей для выражения определенности первоначально было больше, хотя все они носили контекстный характер; ср. формы типа *сесѣ* в Лавр., в Ев. 1307, Ип. 1425, Гр. 1504 г. и др., *тотѣ* в Гр. 1229 г. и Гр. 1382 г., Синод., Ип. 1425. В «Хождении» игумена Даниила *тотѣ* встречается 190 раз, *той* — 187 раз, различаясь, возможно, чисто стилистически (*той* как форма высокая, книжная, а *тотѣ* как стилистически нейтральная); почти три столетия спустя в «Хождениях» Афанасия Никитина находим форму *тотѣ*, которая с конца XVI в. побеждает в московских текстах, сразу же вызывая (в привативном противопоставлении) ответную форму *этомъ: етотѣ* с XVII в., хотя в грамотах этого времени обнаружено всего 12 ее употреблений.

С развитием полных местоимений краткие указательные употреблялись в текстовых формулах как анафорические, соотнося высказывание с соседними синтагмами — максимально отвлеченное по смыслу *то* грамматикализуется раньше других родовых форм указательного местоимения, становясь союзным словом. Тем самым обе функции указательных местоимений: дейктическая с указанием на внешние предметы в связи с описываемой ситуацией, и анафорическая с указанием на смысловые связи в контексте *в ы с к а з ы в а н и я* — раскладываются надвое и каждая обслуживается своим набором форм. В КН I Л местоимения *сѣ, тѣ, онѣ, овѣ* 159 раз используются как указательные и 3631 раз — как анафорические (обычно в препозиции) и соотносительные. Краткость их формы становится формальным же условием для перехода в категорию союзных слов, тогда как полные развиваются в *определенно указательные местоимения нового типа*.

Интересно отметить характер выбора. Все краткие формы (прилагательных, местоимений, счетных имен и т. д.) в результате становятся

ся синтаксическим средством связи слов в предложении, т. е. сохраняют исконно формульную свою функцию, тогда как *определенные* (полные) формы вычлняются из формульного контекста и отчуждаются как самостоятельные слова, которые, как правило, создают формообразующие парадигмы, скрепленные особым типом ударения.

8.7. Функции местоимений

Функции указательных местоимений четко различались во всех источниках.

Дейктическая функция — указание на пространственные отношения, главным образом с помощью местоимений *сей* и *онъ* (*сия грамотка, се число, се я*), что сохранилось до XIX в. в знаменитом противоборстве *сей* и *оный* новым формам *этот* и *тот*.

Анафорическая функция — указание на упомянутое в предшествующем тексте с помощью тех же местоимений обычно с присоединением *же*: *сеи же, онъ же*.

Определительность при первичном назывании предмета оформляется разным способом, но также с дополнительными частицами, преимущественно с помощью местоимения *тот*: *и тот крестьянин в томъ дѣле повинился*.

Пролептическая функция — соотнесение слова с другими в составе сложноподчиненного предложения: *прислать ко мнѣ вина бочѣку, и темъ его помянули; с етемъ крестьянином, который поехал к тебе*.

Две последние функции развивались в старорусском языке, на первый план выводя местоимения *то, тот*. В противопоставлении к ним именно в двух последних функциях стало употребляться местоимение *этот* во многих производительных вариантах: *этом, ете, етом, гетое, ета, евту, етае, ехтай* (*с ехтай подати государевой* в значении определительности). *Сеи* и *оный* в таком значении не употребительны. В синтаксических связях нового типа они участия не принимали.

Первые две функции противопоставлены двум остальным по смыслу и хронологически. Дейктическая и анафорическая — это указание на вещь, эквивалентное определенному артиклю; определительная и пролептическая относительно вещи, они выражают мысль о ней, ее и дею в связи с необходимостью точнее описать эту вещь — здесь скорее подошел бы неопределенный артикль.

Первые две функции местоимения нацелены на поиск объемов понятия (предметного значения слов) и своей эквиполентностью создают противопоставление крайних точек указания: *сей* и *оный*. Две последние функции связывают части высказывания и потому

выступают как привативные, следовательно, развивают противопоставление *то(т)* — *э-то(т)*. Здесь важен уже не объем, а содержание понятия, признаки которого и выявляются в результате противопоставления, созданного в тексте.

Таким образом, дейктическая и анафорическая функции указательного местоимения обслуживали древнерусскую систему в эпоху *м е н т а л и з а ц и и*, а две последние развивались с XV в. уже в старорусском языке, в процессе *д е а ц и и* — и вызвали многие изменения, в том числе и в синтаксисе.

8.8. Ударение

Специального обсуждения требует ударение местоименных форм. Древнейший акцентованный памятник московского происхождения — Новый Завет 1355 г. (ЧЗ XIV) — сохраняет колебание ударения в пределах словосочетаний с другими клитиками. Например, у личных местоимений возможны ударения типа *аз жè*, *не аз же*, *от менé*, *ко мнѣ*, *мнѣ же*, *се мѣ*, *ты мѣ послалъ*, *что мѣ зоветè*, *на мѣ ли*, *ты кто еси*, *еси ты*, *ты сè гл(аголе)ши*, *ты же*, *ты жè*, *ты жè*, *на тѣ*, *на тѣ жè*, *о тобѣ*, *мы знаем*, *да мы*, *мы бó*, *мы же*, *и мы*, *вы бó*, *вы же* *вѣсте*, *и вы есте*, *вама*, *с вами*, *да приидет на вы*: *на ны*, *над нами* и др. с явным колебанием форм.

То же состояние у указательных: *то бò пред*, *тоя суботы*, *то же* и *то жè*, *во всю землю ту*, *и ти примут*; *се жè все бысть*, *се жè ему*, *но се имаши*, *се мѣ сбудется*, *си же что глаголет*, *яко сè*, *слово сè*, *не се ли есть*, *а си суть*; *он же*, *она жè*, *они же* и т. д.

Ритмический контур каждого сочетания с наличными клитиками составляет неопределенную последовательность форм, которые впоследствии остаются в тексте на правах союзов или наречий.

9. НАРЕЧИЕ

9.1. Типы наречий

Наречие не относится к именам, но по своему происхождению восходит к именам, утратившим свои именные признаки.

Наречие как обстоятельство выступает чисто семантической характеристикой глагола, с которым не согласуется и, следовательно, не должно изменяться по формам. Бывшее имя не согласуется с личной формой глагола, и поэтому наречие не выступает в качестве формоизменяющегося класса слов.

По своим свойствам наречия подразделяются на обстоятельственные (обозначают место, время, цели, причины и т. д. действий) и определительные (выражают качественные и количественные признаки действия).

По степени отвлеченности выражаемого признака выделяются наречия общего значения (*где, куда, когда*), широкого значения (*вперед, внизу, навеки*) и конкретного значения (*дома, утром, вдвоем*).

Первая группа — наиболее древняя по образованию, из общеславянского языка древнерусский получил наречия типа *какъ, куда, коли, яко, ту, когда, къдѣ, камо, съмо, паче, таче, елико, колико, егда, отнюдь, ниць, прями, утрѣ, близѣ* и некоторые другие, которые отчасти сохраняли свои контекстные значения, благодаря чему могли выступать и в значении предлогов (*прями, близѣ, срѣдѣ, прѣдѣ* и т. д.). Основная их функция — указательная, в большинстве они возникли как падежные формы древних склоняемых слов с распространителем **d*. Например, в текстах (и в говорах) сохраняются формы *куда, куды, куду, кудѣ* с различным значением относительно соседних слов сочетания, но в момент обобщения русский язык предпочел единственно родовую по смыслу форму с общим *аблативным* значением (обозначает действие, исходящее от данной точки): *куда*. Неопределенность в употреблении древних наречий выражается не только формально, но и семантически. Так, в значении ‘сюда’ в древнерусских текстах встречаются наречия *тутю, сюду, суда, суды, съдѣ, само, съмѣ, съмо*,

здесь (*сь-дль-сь* с удвоением указательного местоимения при распространителе *-дль-*).

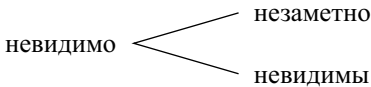
Две следующие группы наречий по своему образованию являются отыменными и особенно активно развиваются в старорусском языке. Между теми и другими находятся также наречия, образованные от прилагательных; именно они начинают выступать в самых разных значениях — и конкретных, и отвлеченных, тем самым становясь актуальной сферой наречных форм в древнерусском языке.

9.2. Наречия образа и способа действия

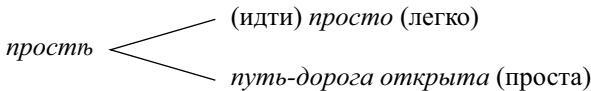
Древнейшие собственно русские наречия морфологического образования — это наречия образа и способа действия с «суффиксальными» *-о (-е)*, *-ль*, а позже и *-ы* (*прѣкы* ‘вопреки’, *братьскы*). Наречия типа *ново* образованы от кратких прилагательных в форме им. п. – вин. п. ед. ч. среднего рода. Объясняется это тем, что такие формы обладали наиболее отвлеченным значением, как и все вообще формы среднего рода, они не участвовали в формировании категории лица (одушевленности) и часто выступали в несогласованном отношении с субъектом высказывания. Древнерусские тексты показывают синтаксическую неопределенность таких форм:

(*В лодѣ*) *гребѣци гребуть невидимо, токмо весла видѣти, а чловѣкъ бѣше не видѣти* (Лавр. под 1152 г.).

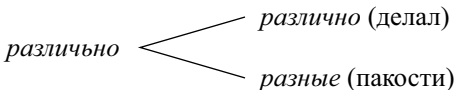
Выделенная форма определения не согласована ни с именем, ни с глаголом и потому воспринимается двузначно, определенно выделяя два значения:



Простѣ бо бѣ ему путь Корачеву (Ип. 1425 под 1146 г.):



Исповѣдающе въсе, како различно с(вя)тѣи сей пакости дѣяху (УС XII):



Одновременно представлена двойная связь: семантическое определение и к существительному, и к глаголу (приименное определение и наречие), т. е. *гребуть невидимо* — *гребьци невидимы*, *прость путь* — *прость бть*, *различно пакости* — *различно дьяху*. Общим словом определяется субъект или объект действия (выраженные именем) и само действие (выражено глаголом). Сохраняется чисто предметное обозначение события, никак не переходящее в условное изображение посредством словесных связей в тексте. Не согласуясь с именем, эти формы с т а н о в я т с я несогласованным определением к глаголу, т. е. наречием. В результате переосмысления синтаксических связей происходит выделение слова как самостоятельного в своей семантике и форме. Между прочим, Пушкин в своей стилизации древнерусской рукописи («Песнь о вещем Олеге») в числе других использует и этот забытый прием двоения наречной формы, относя его одновременно и к глаголу, и к имени: *и вздрогнул внезапно ужаленный князь*... ‘внезапно ужаленный, князь внезапно вздрогнул’, — причем с явным расхождением в значении наречия, вызванным смыслом сочетания. «Вздрогнул внезапно» — *внъзпату* ‘вдруг’, «внезапно ужаленный» — *внънъ заана* ‘неожиданно (сверх ожиданий)’.

Таким образом, вначале наречные слова определялись по отрицательным признакам: от прилагательных они отличались отсутствием согласования в роде и числе, от наречий — отсутствием прямой связи с действием (указан признак состояния). Так начиналось обозначение признака признака — вторичного признака, по семантике очень напоминающего действие символа.

По мнению А. А. Потепни, возможность приложения наречия к существительному объяснялась семантическим синкретизмом имен (прилагательного = существительного). Следовательно, подобный тип наречий мог образоваться только после формирования категории прилагательных, являясь остатками их прежних форм. Раньше всего такие формы образуются от качественных (с XI в.), позже — и от относительных прилагательных (с XIV в.).

Сначала несогласованное определение употребляется только при таких глаголах, семантика которых близка их собственному значению; например, форма *тихо* употреблялась лишь при обозначении движения, речи и физического воздействия. Только становясь наречием в точном смысле слова, такая форма могла расширять сферу своей сочетаемости, т. е. от метонимических связей переходить к метафорическим (современные типа *тихо на душе*).

Постепенно образовывались типичные модели наречных форм, мотивированных прилагательным. Сначала это были суффиксальные от относительных прилагательных (*вьстьньнъ*), затем появились префиксальные на основе предложно-падежных форм; они имели множество вариантов как раз по причине разнообразия форм; ср. *от*

млада, съмлада, изъмлада — обобщается форма *смолоду*; *издавна, отдавна* — обобщается форма *издавна*; *изнова, съизнова, снова, заново* — обобщается форма *заново* и т. д. Многие имена, попадавшие в такие сочетания, были суффиксальными — в результате развивается конфиксальный способ образования новых наречий: *без-въсть-но, по-словь-но* и под. В конечном счете повышается степень отвлеченности признака с выходом его на признак действия. Наречия места и времени, которые скорее всего соотносятся с глагольной семантикой, были редки в древнерусском языке, иногда они не расчленили характер признака: *и ту долго время пребывъ...* время и место контекстуально почти не различаются.

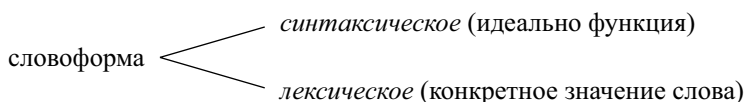
Более поздние модели наречных форм представлены соединением нескольких слов. Некоторые из них слились в общую наречную форму, другие же остались сочетанием на уровне описательных форм. Ср., с одной стороны, *сейчас, сегодня, тотчас, покамест, теперь* (< *то-първ-*) и т. д., а с другой — *друг друга, с глазу на глаз* и под. Все они представляют собой новые, литературного происхождения наречия.

9.3. Отыменные наречия

Древнерусские наречия, образованные от имен существительных, были очень редкими. В основном они использовались в переносном или в отвлеченном значении: сдвиг в синтаксическом употреблении словоформы изменял ее статус. Чаще всего это были слова, максимально лишенные предметного значения, представленные как обстоятельство, они и развивали отвлеченное значение; ср.: *върхъ* — *низъ, передъ* — *задъ, подъ, долъ, середъ* как *долу, върху*, с различными предлогами (*впереди, назади, посреди*). Конкретные по смыслу имена, становясь наречными формами, также абстрагируются, особенно если они употреблены не в прямом падеже (*ночь, день, зима, весна*), а в форме обстоятельственного падежа (*ночью, днем, зимъ, веснъ*), да еще с предлогом (*по зимъ, по веснъ*), или в определенном сочетании (*той же зимъ*), или осложнены указательной клитикой (*веснусь, зимусь, ночесь, днесь*). И здесь возникало большое разнообразие форм (*долу, долови, доловъ; внизъ, нанизъ, книзу*), имевших либо стилистическое, либо смысловое расхождение, отличавшее их от значения, изолированного от сочетаний слова. Это значит, что возникает категория наречия с присущими ей семантическими и формальными признаками.

Создание новых, собственно древнерусских типов наречий — это результат семантического включения на основе разрыва синтаксических связей в традиционных речевых формулах. С семантической

точки зрения это всегда специализация значений слова, выходящего из словосочетания с определенным значением. Выражения типа *въ малъ числь, въ малъ времени, на дълзъ часть, во своя си села, во своя си мѣста* и т. д. создавали возможность для появления наречий *въмалъ, надолзъ, восвояси* и др. Это собственно процесс *адвербиализации* — становления категории наречий на основе слов других частей речи и согласно их обстоятельству функции. В этом процессе происходило совмещение реально лексического значения конкретного слова и синтаксической его функции вне традиционного оборота речи:



В результате при распадении формулы происходило обобщение (отвлечение) идеи времени, места и т. д. в конкретно видовом их проявлении.

9.4. Изменение наречий

В соответствии с потребностями высказывания состав наречий постоянно изменялся. Одни наречия исчезали совсем, другие изменили форму, третьи — значения, но большинство сохранилось в неизменном виде, главным образом по причине исходной своей многозначности (сокращались только некоторые из значений).

Исчезли в русском языке *абие* ‘тотчас’, *камо* ‘куда’, *стѣмо, овогда, безлѣпа, самохоть, неулучьно, беззаапа* и др., не только архаичные (некоторые остались в церковнославянском языке), но и преимущественно те, которые имели синонимичные формы; так, форма *беззаапа* исчезла потому, что сохранилась форма *вънъзаапу* (> *внезапно*).

Изменили свою форму наречия типа *отаинъ, ежедень, неудобъ, коль, тако, особъ* и др.; ср. *борется рукопашь с лютым звѣрем* у Даниила Заточника — теперь *врукопашную*. Чаще всего изменяли форму бессуффиксальные с конкретным значением корня.

Изменили свое значение такие наречия, как *напрасно* ‘неожиданно’, *нагло* ‘быстро, решительно’, *просто* ‘прямо’, *здорово проити* ‘безопасно’, *остръ пльни* ‘быстро’, *опасно* ‘осторожно’, *стремъглавъ* ‘вниз головой’ и т. д. Современные значения этих наречий известны.

Сохранились в одном из прежних значений наречия типа *сладко, строино, прилежьно, нещадно, честно, больно* и др. Например, наречие *честно* имело значения ‘правдиво’, ‘добросовестно’, ‘без

обмана', сегодня сохранилось только последнее, но подразумеваются и другие. Наречие *свѣтло* имело значения 'светло' и 'ясно', теперь понимается скорее как 'ярко'. Наречие *сладко* имело множество значений, и каждое зависело от узкого контекста: *ели и пили сладко* — 'вкусно', *слушали сладко* — 'радостно', *девицы умывались сладко* — 'не торопясь', *святой съна сладко* — 'спокойно', *кто-то говорит сладко* — 'искусно' и т. д. Взаимно покрывающие друг друга близкие созначения слова исполняли функцию символа, который в каждом отдельном сочетании слов частично изменял свои значения.

Становясь наречием, наречное слово устраняло многозначность.

9.5. Ударение

Ударение при образовании наречных форм играло особенно важную роль. Чаще всего именно изменение ударения в словоформе делало ее вариантом наречного слова; ср. *вѣрхом* — *верхѡм*, *веснѹ* — *вѣсну*, *веснѹсь*, *новѡ* — *нѡво* и т. д.

В древнерусском языке не изменялось словесное ударение в исконных наречиях, все они уже обобщили накоренное ударение: *всѹе*, *елико*, *камо*, *колико*, *толико*, *нынѣ*, *обаче*, *паки*, *сице*, *сѣмо* и *овамо*, *сюду* и *овѹду*, *тамо*, *тѹто* и др.

Новообразованные наречия с окончательным ударением показывают тенденцию к смещению его на корень (основу) слова: *большій* > *бѡльши*, *быстро* > *бѣстро*, *вельмі* > *вѣльми*, *вольнѡ* > *вѡльно*, *высоко* > *высоко*, *глубоко* > *глубѡко*, *далеко* > *далѣко*, *широко* > *ширѡко*, *гнусно* > *гнѹсно*, *горько* > *горько*, *горѣ* > *горѣ*, *дебелѡ* > *дебѣло*, *добрь* > *дѡбрь*, *коли* > *кѡли*, *кромѣ* > *крѡмѣ*, а также наречия *прѣже*, *скоро*, *то́кмо*, *то́лько*, *тѹне*, *хрѣбро*, *чѣрно* и др.

В приставочных наречиях такой последовательности обобщения ударения на корне еще не наблюдается, тут возможны колебания, очень распространенные особенно в рукописях XVI в.: *зѡмертвѡ*, *наединѣ*, *ѡкрѣсть*, *одѣснѹю*, *ѡдѣрѣнѣ*, *послѣдѣ*, *пѡсторонѣ* и др., которые еще не обрели единой формы воплощения как наречные слова, а некоторые из них часто употребляются как предлоги.

Подобные колебания известны с XVI в., но особенно увеличиваются в XVII в., когда в разговорной речи появляются многие диалектные формы выражения, а некоторые из старых наречий как семантически неопределенные и устаревшие уходят из употребления. В их произношении сомневаются.

Позиционное распределение не имевшего парадигмы слова определяло место ударения в зависимости от словосочетания; ср. написания типа *пока́ мвьсть*, *пока́мвьсть*, *стрѣмьглавь* — *стрѣмиглавь* и т. д.

У слов подвижного типа ударения сохранялись оттяжки ударения на префикс: *и́згуста*, *на́густо*, *на́густе*, *на́ново*, *не́просто*, *и́зсуха*, *по́сухи*, *по́суху*, *на́сухо* и пр.

По типичному ударению наречия в то или иное время можно судить о степени его книжности или связи с разговорным языком. История наречий как части речи складывалась в условиях постоянного варьирования не только произношения или семантики, но и ударения форм — в постоянных попытках строго разграничить омонимичные формы наречий и ненаречий (*высоко́* — *высо́ко*).

На протяжении XVI–XVII вв. у сложных и новых наречий нет ни одного достоверно одноместного ударения. Словесное ударение как признак парадигмы несуществен для изолированных словоформ, из которых складывались наречия. В случае вариантности наречие предпочитало ударение не на окончании, потому что данная часть речи исключала окончание как грамматически важную часть слова. Ударение как бы освобождало поле деятельности для категориальных признаков наречия, путем акцентного варьирования постепенно разрушая прежние именные формы.

10. ГЛАГОЛ

10.1. Исходная система глагола

10.1.1. Категории глагола

Глагол — часть речи, обозначающая действие или состояние, представленные как возникновение и фиксация признака в предикате.

В исходной — индоевропейской — системе глагольные категории синкретичны по смыслу и многообразны по форме, с их помощью отражаются представления о мире, присущие человеку того времени. Каждая категория выражает сразу несколько значений, реализующихся в контексте; категория всегда основана на фонетически ясном и точном признаке, помогающем опознать ее в любом высказывании. В древнеславянском языке глагольные категории имели *совмещенные* значения — основное и дополнительные. Например, формы наст. вр. одновременно имели значение и времени (настоящее), и вневременного состояния (общее значение действия); перфект одновременно обозначал и видовые, и временные, и даже залоговые отношения.

В древней системе глагол выражал двойственное отношение к признаку — одновременно это и действие, и состояние. В сущности, возникала эквиолентная оппозиция с равнозначными членами:

-/+ действие : состояние +/-,

со взаимоисключающими признаками, что достаточно рано привело к градуальной оппозиции в отношении к категории времени:

презент : аорист : перфект,

в которой первые два члена явились в результате преобразования категории «действие», а последний — как остаток «состояния». Ис-

торики индоевропейского языка показали, что древний перфект — выражение состояния, поэтому его формы долго употреблялись во «вневременном» значении.

Отождествляющее все и воспроизводящее это в действии мифологическое мышление четко различало действие и состояние, поскольку субъект и объект в мифологическом сознании слиты, в результате чего возникает нерасчлененность активно-пассивных форм, выраженных в форме среднего залога.

Основные категории и древнерусского глагола — категории наклонения, времени, лица, числа, затем залога и вида.

Категория **лица** показывает отношение действия к субъекту этого действия, т. е. по функции отчасти совпадает с залогом; естественно, что категория залога вырабатывает свои формы в связи с развитием категории лица.

Для исторической грамматики проблемой остается форма 3-го л. глагола, поскольку ни в одной из временных форм оно не выделяется достаточно четко; предполагают, что добавлением флексии *-ь* в 3-м л. завершался процесс сложения древней глагольной парадигмы. Первоначально эта флексия обозначала отсутствие лица, числа и залога в противопоставлении другим глагольным формам. Когда говоришь об отсутствующем, эти сведения необязательны. В праславянском подобное отсутствие противопоставления по лицу, числу и залогоу выражалось отсутствием форманта в форме 3-го л.

Категория **числа** совмещена с обозначением лица и является синтаксической категорией, поскольку обозначает не отношение к действию (или состоянию), а связана с подлежащим, с которым и согласуется. Семантического значения множественности глагольного действия также не было (имелись лишь *итеративы* — как способ выражения повторяющегося действия), так что необходимости в данной категории не было, особенно в живой речи с использованием речевых формул. Развития категории числа потребовали новые условия системной организации глагольных форм — в парадигмы спряжения.

Основа как слово- и формообразовательная категория определяет принцип порождения формальных классов и семантических групп глаголов; это чисто формальное образование, которое сохраняет черты древности, потому что основано на фонетическом принципе (*чтобы слышать и говорить*) разграничения глагольных форм.

Именно характер глагольной основы и связанные с ней типы чередований в древнеславянской системе языка определяли все другие категории в их образовании. Даже отглагольные имена зависели от характера основы; ср. *жив-у* — *жи-воть* (*животное*) как обозначение субъекта жизни в его действии, но *жи-ти* — *жи-тие*, *жи-знь* как выражение состояний такого пребывания в жизни.

10.1.2. Основы и классы глагола

Индоевропейские по происхождению языки Европы изменялись прямо противоположным образом в отношении к системе основных морфологических категорий и частей речи.

У них либо формально сворачивалась, семантически обеднялась, категория имен — в то время как глагольная система сохранялась или даже увеличивала число формальных единиц, усиливая часть речи, обслуживающую *предикат*, с к а з у е м о е; либо, напротив, глагольная система сжималась, сокращаясь формально, в то время как имена расширяли сферу своего распространения, увеличивались в вариантах как равноценные *части речи* и сохраняли (или расширяли) число единиц, обслуживающих тему, субъект, п о д л е ж а щ е е.

Первая тенденция характерна для западных языков, вторая присуща многим славянским, и русскому прежде всего. Это противопоставление двух типов культур, двух представлений о самом важном в *высказывании, в речи, в мышлении*.

Существенно то, что уже дано как ценность и цельность и потому выражено в законченном понятии посредством имени; или важно то, что еще только рождается в момент мышления, высказывания, речи, что является как заданное в норме и выражено в разворачивающемся суждении посредством глагола в широком смысле как предикат, даже как связка. Английский философ Гоббс утверждал даже, что народ, в языке которого отсутствует связка, неспособен логически мыслить.

Историю древнерусских имен мы только что рассмотрели и убедились, что основное направление в семантических преобразованиях имен было: дифференциация имен с формальным выделением признака *количества* (имя числительное) и признака *качества* (имя прилагательное); постоянное усложнение категорий имени — вплоть до выработки основных признаков *предметности* у имен существительных (категория числа, развитие суффиксальных, противопоставление единичности *понятия* и множественности *вещей* и т. д.). Кроме того, каждое русское имя *символично*, т. е. предстает во множестве своих значений, заменяющих друг друга в тексте.

Сейчас нам следует проследить, как изменялись глагольные формы и категории, исключительно многообразные в древнеславянском языке, унаследовавшем из индоевропейского множество форм, основ и семантических классов, с о б р а н н ы х в определенные типы на основе различения фонетическими признаками.

Как и имена, глагольные формы определялись характером **основы**. У глаголов их было две: 1) основа наст. вр. (презентная): *тьр-еши, дъм-е-ши, плов-еши, дви-неши, ход-иши* и 2) основа прош. вр., или инфинитива (*претеритная*): соответственно *тере-ти, ду-ти, плу-ти,*

двину-ти, ходи-ти. Основ буд. вр. не было, или они не сохранились.

Презентная основа — краткая, связанная с нею претеритная — долгая, поэтому формы со вторичной долготой в формах наст. вр. кажутся загадочными (например, глаголы типа *кажу, кладу, паду, палю*).

От основ наст. вр. образуются формы наст. вр., повелительного наклонения, причастий наст. вр., а также производные имена конкретного значения (например, *жив-оть, ровъ*).

От основ прош. вр. образуются все формы прош. вр. (аорист, имперфект, три типа причастий), супин, инфинитив, а также производные имена отвлеченного значения (например, *жи-ть-је > житие, рьва-нь > рвань*).

Можно предположить, что в праславянском обе основы исполняли роль временных форм, соединяя в себе все признаки разграничения действия во времени, т. е. в эквивалентности противопоставления одновременно содержали признаки способа действия, вида и времени:

основа наст. вр. — незавершенная длительность наст. вр.

основа прош. вр. — завершенная законченность прош. вр.

Как длительность в прошлом, так и законченность в настоящем одинаково абсурдны с точки зрения реально вещного, даже предметного понимания времени и действия вообще. Поэтому одинаково возможны допущения, что исходной системой была видовая или что таковой была система времен.

Глагольные классы определялись соотношением двух основ и связанным с этим распределением форм, семантических групп глаголов и акцентных соответствий, особенно важных именно в устной речи.

Класс глагольных основ рассматривается как грамматический разряд глаголов, имеющих одинаковое и постоянное морфонологическое чередование, одинаково и словоизменительного, и словообразовательного характера; в частности, определенные по составу глагольные классы отличаются общностью семантики и указывают на особые формы в древности.

Как и у имен существительных, у глаголов также наблюдается переход некоторых основ из класса в класс, но на другом принципе. Здесь не изменяется основа, как у имен (*голось* из консонантных в тип **o*-основ), а из многих вариантов, возможных для общего корня основ, выбирается, обобщаясь, какой-то один.

Исходно без тематического гласного в основе были многие семантически важные и древние по образованию глаголы; ср. **bēg-*, **sēd-*, **sēk-*, **ēd-*, но они перешли в другие классы, поскольку исторически вступили в формальные и семантические чередования с иными классами глагольных основ.

Немецкий славист Август Лескин в 1871 г. предложил простой и удобный принцип распределения глагольных основ по пяти классам, которым пользуются до сих пор. Для определения исконной основы сравнивают формы 1-го и 2-го л. наст. вр., ср.:

- 1-й класс — основы на согласный: *вести* — *веду*–*ведеши*, *гresti* — *гребу*–*гребеши*;
- 2-й класс — основы на *-не/-ну-*: *пнути* — *пну*–*пнеши*, *схнути* — *схну*–*схнеши*;
- 3-й класс — основы на *-је-*: *дремати* — *дремлю*–*дремлеши*, *чесати* — *чешу*–*чешеш*;
- 4-й класс — основы на *-і-*: *возити* — *вожу*–*возиши*, *ловити* — *ловлю*–*ловиши*;
- 5-й класс — несколько архаических глагольных основ, не содержащих тематического гласного: 1-е л. ед. ч. наст. вр. *въмь* от *въдѣти*, *дамь* от *дати*, *ъмь* от *ясти*, *имамь* от *имѣти*, *есмь* от *быти*.

Совпадение основ 2-го класса (*двину* — *двинеши* при *двину-ти*) объясняется тем, что все глаголы с носовым суффиксом происходят от основ наст. вр. Глаголы 4-го класса по происхождению также вторичны; они входили в атематический класс, в котором суффикс основы *-і-* после переразложения основ дал другой тип «спряжения».

Современные истории языка в учебных целях сохраняют именно такое распределение глаголов по классам, но в их границах иногда выделяют особые т и пы глаголов (от 10 до 12) в соответствии с формальными их признаками.

Нет определенной границы и между глагольными основами 2-го и 3-го классов. Наиболее древние глаголы и здесь совмещали в себе морфологические признаки обоих классов; это видно на примере основ типа *станеш* — *стати*, *стынеш* — *стыти* и др. Постоянное взаимодействие форм типа *гыбле-* — *гыбне-* происходит длительное время, оно отражается в первых старославянских памятниках, а в русских церковных текстах не завершено еще и в XVI в. Морфологическая неопределенность границ у основ 2-го и 3-го классов подтверждается не завершенным по значению разрывом между основами типа *минути* — *миновати*, *стану* — *становити* и др.

Итак, глаголы трех первых классов с самого начала объединяла общность их происхождения от основ наст. вр.

Глаголы 2-го и 3-го классов соотносятся семантически, долгое время они могли заменять друг друга в определенных стилистических контекстах. Так, в ЕК XII глаголы 2-го класса употребляются без *-не-*: *обыче*, *умльче*, *отвьърже*, *постиже*, *възниче*, *измлькоша*, *навыкохомъ*, *ищезоша* (исключения: *дъръзну*, *издригну*). Замечено, что *-не-* основы включали в свой состав непереходные, а *-је-*основы — переходные глаголы: *stane* — *staje*, *děne* — *děje*, *kl' une* — *kl' uje*, *pl' une* — *pl' uje*,

sune — *suje*, *rine* — *reje* и т. д. Это могло стать причиной перераспределения глаголов между двумя классами, особенно в связи с формированием категории вида, поскольку глаголы на *-je-* передавали действие длительное, а глаголы на *-ne-* — длительное, но с постепенным переходом от одного состояния в другое (*инхоативы*); значение единичного мгновенного действия, ставшее типичным для глаголов 2-го класса (*дви[з]ну* — *двигаю*), признается (не всеми) вторичным по происхождению. На самом деле именно такие глаголы преобладают в древнерусском языке, все более распространяясь со временем; ср. глаголы типа *двинуть*, *кануть*, *коснуть*, *пльснуть* и др. Список же собственно инхоативных глаголов в древнерусском ограничен: *выкнуть*, *вязнуть*, *вянуть*, *грязнуть*, *гынуть*, *кыснуть*, *мързнуть*, *мъркнуть*, *пухнуть*, *схннуть*, *присмянуть*, *тонуть*. Иногда к ним добавляют глаголы *гыбнуть*, *зябнуть*, *мокнуть*, *мякнуть*, *никнуть*, *сякнуть*, оговаривая, что в современных говорах таких глаголов сохранилось около сорока. Инхоативы по своим грамматическим свойствам — это глаголы несовершенного вида, непереходные, неотглагольные (образованы от именных основ) и неподвижноударные (ударение постоянно на корне: парадигма *a*). У них нет никаких признаков различения ни в категориальном, ни в контекстном смысле: они не маркированы по всем признакам различения. В этом, по-видимому, и причина неопределенности, возникающей в связи с историей таких глаголов.

10.1.3. Семантические группы глагола

Семантически глаголы соотносятся с характером основ. Различием в корневом вокализме и ударением в основе семантически различались даже однокоренные глаголы. Например, **-i-*основы представляли:

1) глаголы *состояния* (в противопоставлении глаголам действия) с нисходящей интонацией основы и с редукцией в корне: *мьнѣть*, *бѣдѣть*, *свѣтѣть*;

2) *итеративы* (неоднократно повторяющееся действие) и *каузативы* (побудительное значение) с восходящей интонацией основы в инфинитиве и с нисходящей в презентной, при кратком корне: *ловѣти*, *носѣти*; часто они не отличались от отыменных (*гостѣти* с теми же признаками);

3) *дуративы* (длительное действие) с дифтонгом в корне и с нисходящей интонацией основы: *блостѣти*;

4) *дезидеративы* (значение пожелания действия) с суффиксом *-s-*, который в других языках развил суффикс буд. вр., а в славянском не сохранился по причине отсутствия формально выраженного будущего (имеется в составе некоторых основ: *слы-ш-ати* — *слу-ш-ати*).

От одного и того же глагольного корня мог быть составлен семантически разложимый ряд:

бѣдѣти — *бѣдитъ* — состояния;
блѹсти — *блѹдешь* — дуратив;
(вѣз)бѣнути — *(вѣз)бѣнетъ* — инхоатив;
(вѣз)бѹждати — *(вѣз)бѹждаетъ* — итератив;
бѹдити — *бѹдитъ* — каузатив (значение причины, начала действия).

Действие показано аналитически, путем смысловых расхождений в данной лексико-семантической группе глаголов общего корня, которые совместно и предстают как своеобразная семантическая парадигма, с помощью которой можно описать конкретные действия в отрыве от других конкретных действий. Различение корня по основам становилось формальным средством разграничения грамматических категорий, представленных еще весьма конкретно, даже предметно, но с точки зрения устной речи весьма выразительно.

Некоторые следы совмещения однокоренных основ наблюдаются еще и в древнерусских источниках, в виде грамматических исключений сохранились они и в современном спряжении, у глаголов типа *хотеть*, *дышать*, *слышать*, *бежать* и под.; разноспрягаемые типа *бежишь* — но *бегут*, *хочешь* — но *хотят* и т. д. Особенно много нарушений старых форм произошло в связи с падением редуцированных, когда появились формы типа 1-го л. ед. ч. *чѣчу* при *чить*: *чтут* и *чтят*; еще раньше фонетические изменения развели некоторые глаголы на разные лексемы; ср. пары типа *жену* — *гоню*, *годить* — *ждать*, *(с)гибать* — *гибнуть* и др.

В индоевропейском языке согласно реконструкциям его системы существовало противопоставление по ударению: на суффиксе в инфинитиве (претеритная основа) и на корне в основе наст. вр.; по распределению это напоминает имена **o*-основ: указание на действие сопровождается ударением на корне, указание на производителя действия — ударением на теме. Впоследствии это и дало чередование основ типа **ber-*/**bьr-*, во многом затертое поздними выравниваниями основ.

Из многих глагольных значений, известных праиндоевропейскому языку, праславянский сохранил, по крайней мере, четыре семантические группы, собрав в их пределах все, возможные прежде, частные значения глагольных основ. Внутреннюю зависимость их друг от друга можно показать на традиционных примерах, приведенных еще в XIX в. и неоднократно обсужденных славистами. Они могут быть представлены следующим образом: дуратив (*блѹсти*) — инхоатив (*вѣз-бѣ(д)нути*) — итератив инхоатива (*вѣз-бѣдати*) — глагол состояния (*бѣдѣти*) — итератив глагола состояния (*сѣ-на-бѣдѣва-ти*) — каузатив (*бѹдити*) — итератив каузатива (*у-бѹж-дати*).

Активного значения в качестве самостоятельных семантических групп подобные остатки старых основ в древнерусском языке уже не имели.

Приведенный перечень семантических групп у глагольных основ составляет систему соответствий:

действие	простое	итеративное
каузатив	<i>будити</i>	<i>буждати</i>
инхоатив	<i>бънути</i>	<i>быдати</i>
дуратив	<i>блюсти</i>	<i>блюдати</i>
состояния	<i>бъдьти</i>	<i>бъдьвати</i>

Последовательность «развертывания действия» — смена глагольных основ, показанная как каузатив → инхоатив → (дуратив) → *состояние*, принципиально демонстрирует, что цельное действие не имеет конца и каждое новое состояние становится источником другой цепи действий, начинаясь с каузации процесса и завершаясь состоянием-результатом законченного действия.

В этой системе итеративность — это дубликат обычного действия, но представленного в многократном повторении, хотя и в той же последовательности действий. Приведенный параллелизм показывает, что в праславянском языке итеративность действительно сформировалась в законченную систему, отдаленно напоминающую систему глагольных видов. Сама разорванность общего действия на составляющие его «акты» показывает, что видовой корреляции в современном ее смысле в праславянском не было: никакое действие само по себе, без соотнесения его с другими формальными выражениями того же действия, не дано как законченное или завершённое, т. е. *с о в е р ш е н н о е*. Это всего лишь семантический эквивалент *в и д а* при отсутствии обобщенного *р о д а*, скорее содержательная *и д е я* вида.

10.1.4. Состав атематического класса

Восстановить его сложнее всего, хотя основы и кажутся вполне ясными. Это самый древний тип основ, на что указывает уже его способность образовать парадигменные формы без помощи специально тематического гласного. Его отсутствие указывает, что у таких глаголов не могло быть акцентной парадигмы *б* в обычном смысле слова, потому что такая парадигма отличается постоянным ударением на теме. Самые древние глаголы этого класса все показывают постоянное окончательное ударение, следовательно, представлены с ударением на флексии. Это относится к *есмь*, *ьмь*, а также к **eimí* ‘иду’. Более новые глаголы такого типа либо сохраняли это положение (тип *дамь*), либо получали последовательное ударение на корне (тип *вьмь*, **dětь* ‘говорю’ и пр.). Только самые новые по происхож-

дению основы могли развивать акцентную подвижность; из числа таких до нас дошли *има́мь* — *имамъ* > *има́мь*. Именно акцентные изменения словоформ, связанные с изменением редуцированных гласных и образованием нововосходящей интонации (*дамъ* > *да́мь*, *естъ* > *э́сть*, *сутъ* > *су́ть* и др.), привели к расшатыванию словоформ и морфологическим изменениям типа *въдь* — *въ́мь*, *да́мь* — *даю́* и т. д.

Своими изменениями атематические глаголы влияли на изменение всех остальных глагольных основ; их следует рассмотреть особо.

Различение основ инфинитива и наст. вр. у глаголов 5-го класса сохранялось довольно долго; ср.: *да-* и *дад-*, *ь-* и *ьд-*, *вь-* и *вьд-*, *имь-* и *е(с)-/буд-* и *бы-/бъ*.

Уже с XI в. в древнерусских текстах появляются формы *даю*, *дайте* вместо *даждь*, *дадите* (И 76, СП XI и др.), 3-е л. мн. ч. *дадутъ* вместо *дадятъ*, с конца XIV в. 2-е л. ед. ч. *дашь* вместо *даси*, в приписках писцов на рукописях (например, Е 1393) *вдаши*, *отдаши*, *дашь*. Парадигма наст. вр.—буд. вр. оформляется в XIII в.; ср.: *не дадутъ*, *не въздадутъ* (Гр. 1229 г.), *дадутъ* (Поуч. 1274), *дадимъ*, *дадите* (Синод. под 1224 г.), *дадите* (Пр. 1262), *дадимъ* (ПН 1296) — все во мн. ч.

Древнерусское ед. ч. *даю* вторичного образования, восходит к инфинитивной основе *дати* в противопоставлении к *даяти*, но появляется после XII в.; ср.: *даю* (Синод. под 1232 г.), УС XII в значении актуального наст. вр.; с конца XIV в. *даеть*, *даемъ*, *даютъ*. В Русской Правде этого значения еще нет; ср.: *а господи́нь начнетъ не дати его...* В противопоставлении к *дамъ* форма *даю* стала восприниматься как наст. вр., но в древнерусском языке *дамъ* обозначала конкретно длительное, незавершенное действие, т. е. являлась формой наст. вр. *Дамъ* — *даю* как варианты представлены уже в ОЕ 1056, причем форма *дамъ* использована для перевода греческих форм наст. вр. Новые формы окончательно побеждают с XV в.

Уже в старославянских текстах встречаются (редко) формы имперфекта от основы наст. вр. в ед. ч. *дадѣахъ*, 2-е л. ед. ч. *дадяаше* (ГБ XI), 3-е л. мн. ч. *не дадяху* (ЕП XIII). В УС XII формы *дати* — *даяти*, глаголов *давати* и *давывати* еще нет; *давати* появляется в Синод. под 1343 г., в Гр. 1392 г., глагол *давывати* — в Гр. 1392 г.

Глагол *ьмь* изменялся одновременно с глаголом *дамъ*; ср. в повелительном наклонении *ьжь* > *еишь!* с оглушением конечного звонкого, но еще и в текстах XIV в. сохраняются примеры типа *до избытка ьши!* Во мн. ч. *ьдимъ*, *ьдите* и только в XVII в. *ьшьте!* (у Аввакума). В формах наст. вр. те же изменения типа *едят* и т. д.

Глаголы *въ́мь* и *вьдь* в 1-м л. ед. ч. наст. вр. встречаются часто, иногда рядом: *не въ́мь же, откуда начну словесы похвалы с(вя)того, ниже вьдь, что створивъ* (ГБ XI). Обе формы рано исчезают из разговорной речи, в грамотах встречается только форма *вьдаю*. В

древнейших текстах могут быть также формы типа *заповѣсть* (НК 1282 в Русской Правде).

Соотношение *яти* и *имѣти*, от которого и стали образовываться современные формы *имѣю*, *имѣеши*, сохранялось долго, но старые формы *имамь*, *имаши* редко встречаются в древнерусских текстах, т. е. отсутствуют в древнерусской разговорной речи.

Основные изменения касаются глагола *быти*, который имел значения ‘есть, имеется’ и ‘происходит, случается’, т. е. является неопределенным по всем признакам, в том числе и по формам.

В текстах до XIII в. возможны формы типа *будяше* УС XII, а вне-временное значение у *будеть* представлено во всех ранних переводах; ср. в СП XI: *И елишьды ты вижду, акы огньнъ буду въсь!* ‘становлюсь’; *Азь же помышляхъ реки: «Что се си убо будеть, кто естъ Марія?»* — *есть* и *будеть* употреблены в общем значении ‘находится, происходит’.

10.1.5. Характер древних основ

Соединяя совместно все известные факты относительно древнейших типов основ, мы устанавливаем следующее, необходимое нам для дальнейших разъяснений происходивших изменений.

1. По направлению от 1-го к 4-му классу уменьшается число структурных типов основ, входивших в данный класс: от 12–15 в 1-м глагольном классе до фактически одного общего у основ 4-го класса.

2. Начиная с глаголов 3-го класса в глагольное словообразование включаются *отыменные образования*, которые привнесли в систему важную для последующих изменений акцентную характеристику: кроме исходных парадигм *a* (постоянное ударение на корне) и *c* (подвижное ударение в границах *синтагменных формул*) стала возможной и парадигма *b* с постоянным ударением на теме — важная в морфологическом отношении парадигма, сложившаяся к концу праславянского периода.

3. Продуктивность новых типов необычайно возросла; многие глагольные «корни» стали переходить в более продуктивные типы, и, в сущности, этот процесс продолжается до настоящего времени, постепенно вовлекая все большее число глаголов в максимально ограниченное число формальных классов. Уменьшается количество глагольных основ в старых типах, и быстро расширяется число глаголов в 3-м глагольном классе.

4. Постепенно сужалась семантическая дробность глагольных основ, прежде указывавших на частные оттенки глагольного действия; из их числа вычленились только такие, которые связаны были с указанием *границ глагольного действия*, — инхоативы, итеративы, ду-

ративы, каузативы. Такие способы действия настолько актуальны в поздней праславянской системе, что, по существу, охватывают все типы основ.

Таким образом, ко времени появления первых памятников письменности восточные славяне имели четко организованную с и с т е м у глагольных форм, которые в целостном виде представлены только в словесных формулах как образцы средств выражения конкретных действий и состояний, данных в их реальной последовательности и длительности. Все средства формообразования определяла глагольная основа, которая, как и у имен, представлена чисто фонетически, но служила для организации морфологических отношений. Таковы особенности устной речи в ее развитии.

10.2. Состав и распределение глагольных времен

Категория в р е м е н и обозначала действие в его отношении к отвлеченно понимаемому моменту речи; в древности время могло обозначаться и конкретно в отношении к данному, именно этому событию, потому что древняя система представляла собой сложную систему видовременного характера с различным выражением способов глагольного действия. Противопоставление наст. вр. : прош. вр. маркировано как равнозначно эквиполентное: презент выражает наст. вр. и одновременно незаконченность (длительность) действия — например, *вьмь*, тогда как перфект выражает прошедшее и одновременно законченность действия в *вьдль*. Слово- и формообразовательные форманты настолько слиты друг с другом по смыслу и столь неустойчивы по своим функциям, что трудно сказать (никто и не может сказать), вид или время различались в древнем языке как исходное распределение действия во времени.

10.2.1. Настоящее время

Исходная парадигма наст. вр. различала три акцентные парадигмы у глаголов 1-го и 4-го классов и две (*a* и *b*) у глаголов 2-го класса. Парадигма *a* с постоянным ударением на корне, *b* — с постоянным ударением на тематическом гласном, *c* — с подвижным ударением (колебание между крайними слогами в словоформах).

В качестве примера покажем ударение глаголов 1-го и 4-го классов в парадигмах *b* и *c*; после всех изменений, связанных с утратой редуцированных, они получили следующий вид:

		б		с	
		<i>носити</i>	<i>идти</i>	<i>нести</i>	<i>речи</i>
ед. ч.	1-е л.	<i>ношú</i>	<i>идú</i>	<i>несу (зáнесу)</i>	<i>рéку (нáреку)</i>
	2-е л.	<i>носиши</i>	<i>идеши</i>	<i>несéши</i>	<i>речéши</i>
	3-е л.	<i>носítь</i>	<i>идéть</i>	<i>несéть</i>	<i>речéть</i>
мн. ч.	1-е л.	<i>носимъ</i>	<i>идемъ</i>	<i>несемъ</i>	<i>речемъ</i>
	2-е л.	<i>носите</i>	<i>идете</i>	<i>несетé</i>	<i>речетé</i>
	3-е л.	<i>носятъ</i>	<i>идутъ</i>	<i>несутъ</i>	<i>рекутъ</i>
двойств. ч.	1-е л.	<i>носевь</i>	<i>идевь</i>	<i>несевь</i>	<i>речевь</i>

К глаголам парадигмы **а** относились: *льзу, сяду, паду, краду, рѣжу, мажу, плачу; вѣшу, плавлю, морожу, парю, трачу* и др.; к глаголам парадигмы **б** относились: *иду, могу, мечу, стоню, треплю, пишу, зижду; брожу, возжу, ношу, хожу, гоню, служу, рублю, волочу* и др.; к глаголам парадигмы **с** относились: *пряжу, грыжу, стрижу, пашу, стерегу, веду, везу, гребу, несу, волоку, трясу; таю, варю, палю, гашу, дою, мочу, сорю, творю, ложу, точу; душу, сушу, блужу, кручу* и др.

В памятниках XVI–XVII вв. ударение 1-го л. ед. ч. уже утрачивало связь с подвижным типом, вместо *ною, вóсною* появляется *пою, воспою* и т. д. С этого времени форма ед. ч. отличалась только у старых **б**-основ (*ношú* — *носиши*), но не всегда, потому что некоторые особенно употребительные глаголы обобщали ударение на окончании; ср. *идú* — *идéшь, идéть* и т. д. *Идут бѣлые снѣги* — старое ударение всех форм в традиционном тексте.

Окончания форм наст. вр. восходят к «первичным» флексиям, соответственно по лицам *-т, -s, -t*. В древнерусском языке ни одно из них не сохранилось в неизменном виде. В результате фонетических преобразований конца словоформы окончание 1-го л. ед. ч. через этап носового гласного (*-от > ж*) изменилось в *-у/-ю*, окончание 2-го л. ед. ч. *-ши*, испытав сокращение морфологически изолированного ⟨и⟩, изменилось в ⟨ш⟩, а окончание 3-го л. ед. ч. странным образом либо исчезло, появившись затем вновь, либо фонетически преобразовалось (из *-ть* в *-т*). Форма без флексии 3-го л. ед. ч. вторична, по крайней мере, у глаголов первых трех классов. Более определенно сказать невозможно, поскольку древнейшие памятники письменности испытали влияние старославянского языка, в них много искусственных написаний.

Во мн. ч. исконные окончания были — соответственно по лицам — *-mes/-mos, -te, -nti* (проблема 3-го л. для славянского остается

ся той же); в двойств. ч. находим столь же древние флексии *-въ, -та, -те*, которые скоро исчезают в связи с изменениями категории двойств. ч.

Исторически в древнерусском языке **формы наст. вр. изменялись** следующим образом.

После преобразования носовых гласных во второй половине X в. флексии 1-го л. ед. ч. сохранялись неизменными, но все предшествующие фонетические изменения в составе словоформы четко выделили форму из числа других словоформ спряжения. Она отличалась особым составом согласных; ср.: *вижу* — *видиши, видитъ, видимъ... люблю* — *любиши, любить, любимъ...* Они четко различались и ударением. Лицо говорящего (субъекта речи) четко выделялось на фоне других форм лица и числа, полностью соответствуя особой функции им. п. как падежа субъекта в подлежащем.

В форме 2-го л. ед. ч. после падения редуцированных постоянно безударный (изолированный) гласный *-ĭ* сократился, и флексия предстала как окончание *-шь*. Существует предположение, что такая форма могла возникнуть и до падения редуцированных и связанного с этим сокращения постоянно безударных гласных конца слова, но в новгородских говорах, где падение редуцированных происходило позже всего, некоторое время окончание сохранялось в полном виде, и древние берестяные грамоты дают формы *велишиє, воземшиє, моловишиє, управишиє* (новые окончания здесь только после XIV в.); в книжных новгородских текстах уже формы *будеши, начнешь, повелиши, умрешь, твориши* в НК 1282. Первые примеры с новым окончанием находим в Выг. XII (*обратиши*), но вообще в текстах XII в. таких случаев мало — в «Поучении» Владимира Мономаха, «Молении» Даниила Заточника, в «Слове о полку Игореве» только *-ши*. В грамотах и рукописях XIII в. примеры увеличиваются (в Гр. 1229 г. обычно *-шиш*; в Синод. *выводишиш*); в XIV в. примеров много, даже в церковных книгах находим написания типа *творишиш, прозришиш, просишиш* и пр., т. е. в словах высокого стиля, а в летописных текстах по спискам XIV в. (Лавр.) и позже широко представлено колебание окончаний *-ши/-шь*. Иногда появляется и написание с *-си* (*желаеси* в З XII, *чюеси* в Ев. 1409, *можесь* в Ип. 1425), что очень похоже на окончание глаголов 5-го класса *еси, даси*. Позже распределение окончаний стало стилистически важным элементом текста. Так, в «Домострое» середины XVI в. форма 2-го л. ед. ч. использована 125 раз, причем архаический вариант *-ши* представлен в тексте самого Сильвестра, тогда как традиционные части, составленные в Новгороде XV в., предпочитают окончание *-шь*. В одновременных с тем писаниях Ивана Грозного и Андрея Курбского столь же неопределенное колебание между *-ши* и *-шь*, но с явным предпочтением старого окончания в традиционных формулах речи.

В форме 3-го л. особенно много разнообразных окончаний. Древнейшие русские рукописи имеют флексию *-ть*, что отличает их от старославянских текстов того же времени с окончанием *-тъ*. С конца XIII в. употребляется и окончание *-ть*, что легко установить на основе приписок писцов к рукописям: формы с *-ть* находим в записях Пар. 1271, РК 1284, Евангелий 1323, 1340, 1354, 1355, 1393 гг. и т. д. Поначалу в самих текстах новая форма употреблялась редко, особенно в оригинально русских или переведенных на Руси. Так, в ПН XIV в форме 3-го л. ед. ч. 3268 раз пишется *-ть* и только 12 раз *-тъ*, в форме мн. ч. — 86 раз *-ть* и 5 раз *-тъ*. Соотношение старых и новых окончаний долго определялось фонетически. После вторичного смягчения полумягких согласных и падения редуцированных конечный формант в 3-м л. произносился либо мягко (на юге, где указанные изменения осуществились полностью), либо твердо (на севере, где вторичное смягчение не развилось во всей силе).

Между тем известно, что наличие флексии *-t* в наст. вр. есть «мираж индоевропеистики», поскольку исконно здесь была чистая основа, а *-t* явилось по аналогии из атематического спряжения (Ф. Ф. Фортунатов). Вне языка 3-е л. — не лицо. Неудивительно, что уже древнейшие восточнославянские рукописи дают примеры «опущения» такого окончания в 3-м л. Примеры этого встречаются в ОЕ 1056 (*натише* в записи писца), в И 73 и И 76, переписанных в Киеве для князя Святослава, и в новгородских служебных Минеях XI в. Наиболее древние берестяные грамоты обычно дают формы без окончания; ср.: 3-е л. ед. ч. *не буде, не дае, живе, иде, хоце*; 3-е л. мн. ч. *буду, почьну, скорьбу, хотя* и др. — в условных предложениях: *а ти буде воина, оже буду люди, а буду люди, аже не буде кунь, аже бу цто пробытка, оже поиде князь* и др. С середины XIV в. формы с *-ть* увеличиваются и постепенно становятся нормой.

Поскольку опущение окончания выражено непоследовательно, встречается наряду с употреблением русской флексии, возникали суждения о причинах, по которым флексия и н о г д а о п у с к а е т с я. С. П. Обнорский с основанием утверждал, что 3-е л. без окончания чаще всего встречается в б е с с у б ъ е к т н ы х п р е д л о ж е н и я х; например, в И 76 из 957 форм ед. ч. 22 раза встречаются примеры типа *како даяи нищему съторицею прииме*.

Несколько раньше А. А. Шахматов предполагал, что подобные формы 3-го л. возможны в условных синтаксических конструкциях; в двинских грамотах XV в. он находил примеры типа *а хто поснь... а хто поруши... хто буде игумена...*; так же в ЕК XII (*аще утвърди ваша чистота...*). То же в берестяных грамотах: *оже князь поиде, присли...* (в других конструкциях *не поидеть* и т. д.). Полагали также, что опущение окончания в таких случаях равноценно отсутствию связки в форме наст. вр. Эти явления параллельны, потому что при-

чина их в одном: это выражение модальности *будущего*, не связанной с определенным исполнителем предполагаемого действия, и точное указание на грамматическое лицо здесь обязательно.

В галицко-волыньских источниках окончание опускается особенно часто, но также и в новгородских грамотах XIII–XIV вв. (*пойду, поиде, переиде, почне, буде, може*), в Синод., вообще в летописных источниках начиная с XIV в. (Лавр.: *не може, не взможе*; Радз. XV: *имъе, сяде, прииде, ужинае*). В северном ПС XIV написания *вниде, подобае, разумъе, не достае, погибе, бываю жены...*; в Леств. XII — *е, съниде, сыпле, буде, възможе, не хоче, въпие, почне, престане, гл(агол)е, бывае, су* и пр.; в приписках отдельных писцов такие формы встречаются, даже если в самом тексте их и нет; ср.: *вьдае* в МЕ 1215; *обряще* в М 95 и т. д.

В **форме 1-го л. мн. ч.** вариантность окончаний особенно велика: *-мъ, -мо, -мы, -ми*, но выбор флексии зависит от конкретной диалектной системы. Во **2-м л. мн. ч.** окончание не изменялось, различия касаются только ударения.

Глаголы 5-го класса имели несколько вариантов.

В памятниках XI–XII вв. формы 1-го л. ед. ч. сохранялись довольно четко: *есмь, вѣмь, дамь, ѣмь, имамь*, хотя уже с XI в. (ОЕ 1056, АЕ 1092 и др.) возможно отверждение конечного согласного в «твердой» основе, т. е. *дамь, имамь* (иногда и *вѣмь*, противопоставленное старой форме *вѣдѣ*), но сохранение форм *есмь, ѣмь*. С XIV в. распространяются варианты типа *есми, есмя*, особенно в северных источниках. В Е 1283 одновременно возможны формы *вѣдѣ — вѣмь — вѣмь* в 1-м л. ед. ч. и *вѣмь — вѣмь* в 1-м л. мн. ч. (также *дамь, нѣсмь* в ед. ч. и *есмь* во мн. ч.). Форма *вѣдѣ* передает состояние при отсутствии переходности, что привело к появлению формы *вѣмь* с переходным значением. Это очень важное семантическое различие: *я вѣдѣ* — сокровенное в себе таинственное знание: *я вѣмь* — с указанием пределов возможного знания. В ГБ XI обе формы употреблены рядом, уже не различая двух смыслов слова: *Не вѣмь же, откуда начну словесы похвалу с(вя)того, ниже вѣдѣ, что створивъ, но и самъ себе вдамъ.*

В УС XII встречаются формы *отдамь — отдаю, повѣдѣ — повѣмь*, в двинских грамотах XV в. — *дадутъ* и *даютъ* (одинаково в значении буд. вр.), но в целом разграничение наст. и буд. вр. начинается только с XV в. Впрочем, формы *дадятъ, увѣдятъ* встречаются в договорах с греками 945 г. по тексту Лавр., равно как и остатки атематических форм в 3-м л. мн. ч. типа *хотятъ, довьлятъ* или повелительного *виждѣ!*

Особенно сложно соотношение трех форм от глагола **ет*: *ѣти, имати, имѣти*; *ѣти* — глагол перфектного, *имѣти* — имперфектного значений. Исконная форма аориста **ѣта-* — инфинитив *имати*, но впоследствии эта основа была вытеснена формой **ѣтѣ* с обычной протезой ⟨j⟩ перед ⟨ь⟩: *имь-*. Эта форма выражала длительное дейст-

вие, в результате чего возникала аналогия со стороны инфинитивной основы на основу наст. вр.: *имати* > *имамь*. Последняя форма — славянское новообразование, которое отдалило формы 5-го класса от однокоренного глагола *яти* — *емлю*. Конкуренция различных форм времени и разных основ образовала форму наст. вр. *имамь*.

10.2.2. Значения формы настоящего времени

В системе глагольных времен наст. вр. являлось временем абсолютным, оно не зависит от сочетания с другими глагольными временами в высказывании. Наоборот, именно наст. вр. способно было выстраивать временную перспективу высказывания от момента речи.

В древнерусском языке отмечены и описаны следующие значения наст. вр., располагающиеся в определенной иерархии относительно своего смысла.

Настоящее актуальное время передает момент речи и употребляется в повествовательных текстах, чаще всего в прямой речи; поэтому такое значение форм наст. вр. возможно в приписках и записях на рукописях, в грамотках и в бытовых письмах простых людей, например в берестяных грамотах, но исключительно редко встречается в законодательных, уставных, вообще в юридических текстах. Наст. актуальное вр. используется во всех трех лицах (в зависимости от адресата высказывания) и обычно сопровождается дополнительными указаниями на момент речи (*а се, осе, вот*). *Како то мѣсто зовуть, гдѣ стоимъ?* — в Гр. 1497 г. совмещены наст. актуальное вр. с моментом действия и одновременно указание на постоянное действие (*зовуть всегда*).

Настоящее постоянное время выражает действие вневременное, происходящее обычно, постоянно, положенным ходом вещей. Когда в договоре с греками (945 г.) дважды повторяется формула, по которой стороны клянутся соблюдать условия договора: *дондеже съяетъ слнѣце и весь миръ стоитъ* — это одновременно указание и на длительность действия, включая момент речи, и утверждение вневременной постоянности такого действия, объективного и абсолютного. Такое указание всегда актуально: *солнце едино грѣеть весь миръ лучами своими* в «Молении» Даниила Заточника.

Относительное настоящее время выражает время действия, ближайшего к настоящему моменту — чаще всего будущего («ближайшее будущее»): *да иду къ брату моему и реку: Буди ми отецъ*. Когда князя в Орде спрашивают, станет ли он пить кумыс, ему предложена форма наст. вр.: *Пьеши ли черное молоко?* В ситуации прямой речи просят совета: *Что ума придасте, что отвѣщаете?* (Лавр.). Обычно в этом значении используются глаголы речи и модальные, но возможны они во всех трех лицах, что косвенно подтверждает самостоятель-

ную ценность данного значения наст. вр., которое может проявиться в любом жанре, и в каждом из них **относительность** смысла имеет свои варианты.

Настоящее историческое время определяется как перифрастическое время, необходимое для построения высказывания в повествовательных и проповеднических текстах. По употреблению это значение наст. вр. является самым поздним. В аористическом значении оно впервые проявляется у автора житий XV в. Пахомия Логофета, и с этого времени развивается особенно в житийных текстах. *Не хочу у вас княжити: иду к Чернигову* (Ип. 1425).

В употреблении перифрастического наст. вр. также возможны формы всех трех лиц, однако лексическая база глаголов здесь ограничена.

Все это были в основном глаголы неопределенного действия, соответствующие современным глаголам несовершенного вида. Глаголы предельного действия соответственно предстают как глаголы совершенного вида, которые в современном языке образуют форму простого будущего времени.

В древнерусских текстах находим следующие значения для таких глагольных основ.

Актуальное буд. вр. ведет отсчет времени по моменту речи. Сюда относится пример *мы же на преднее возвратимся*, который передает непосредственную реакцию автора, невольно отвлекшегося в своих рассуждениях в сторону и желающего вернуться к первоначальному изложению. Он уже возвращается в момент, когда заявляет об этом.

Постоянное будущее ведет отсчет от момента действия и связано не с речью, а с конкретностью действия и также употребляется обычно в прямой речи, чаще всего после глаголов со значением чувственного восприятия: *Мефодии глаголеть... яко **попльнять** всю землю* (Синод.).

Будущее вневременное; ср.: *Кто другомъ **копаетъ** яму, самъ **впадется** в ню* — типичный пример «вечной истины», которая подается на фоне прямого наст. вр.

Будущее относительное показывает возможность или необходимость предполагаемого действия и обычно встречается в памятниках юридического характера; ср.: *Или кто **выбиетъ** око человеку или ногу **ототнетъ**... ·ѣ· гривен серебра* (Гр. 1223 г.). В Русской Правде формы простого буд. и наст. вр. употреблены в этом смысле буквально рядом, различия касаются только глагольного «вида»; ср.: *аже крадетъ кто скоть въ хльвь... аже убиетъ мужь мужа...* и под.

Основное (позиционно свободное) значение наст. вр. определить очень трудно именно потому, что все значения наст. вр. определяются лексически и в известном синтаксическом контексте как типичное проявление того или иного литературного жанра. Так, перифрасти-

дающее с другими словоформами значение. Объясняется это не только формальным соотношением с другими глагольными формами в общем контексте (как *пришелъ еси* или *далъ есмь*), но и ритмо-мелодическими условиями устной речи, клиничностью некоторых связочных слов, широко варьировавшихся в речевых формулах. Связка 2-го л. никогда не опускалась, потому что обозначала конкретную связь с собеседником, связка 1-го л. слишком выразительна и потому выступала в большом количестве произносительных вариантов (*есмь*, *есми*, *есмя* и пр.), а связка 3-го л. становилась обобщенной формой в значении присутствия, принадлежности ('имеется': русская формула *у меня есть* вместо западноевропейской *я имею*).

При именном сказуемом опущение связки в наст. вр. встречается только при наличии подлежащего, см.: *Новгородъци прави, а Ярославъ виновень* в Синод. под 1120 г. Появление личных местоимений в роли подлежащего вытесняет связку и из других позиций — верный знак связи личного местоимения и связки по функции.

10.2.3. Сложное будущее время

Поскольку выражения буд. вр. как самостоятельно означенного (и вообще понимаемого) в древнерусском языке не было, всякая идея будущего воспринималась и выражалась в формах определенной модальности. Отвлеченная идея будущего вычленялась сознанием из общего течения времени и действия в нем как представление о моменте речи.

Различные модальные глаголы выражали пожелание или намерение, обращенное к будущему (*хочю на вы ити*), иногда такое представление передавалось с помощью фазисных глаголов типа *начьну, иму, стану — дѣлати*.

Развитие сложного буд. вр., образованного с помощью глагола *буду*, относится к позднему времени; многим русским говорам он долго не был известен. Предполагается, что активизация форм буд. вр. с помощью *буду* в XVII в. связана с активным влиянием польского языка. Это вполне возможно, поскольку распространение подобных форм буд. вр. шло из западнорусских и юго-западных говоров (Гр. 1388 г., «Статут» 1529 г.), т. е. уже с середины XIV в.; несколько примеров находим в смоленских грамотах начала XIII в. В великорусских источниках редкие примеры такой формы буд. вр. известны с середины XV в. Их число увеличивается, становясь постоянным, в XVII в. в писаниях грамотеев («западников»; ср. сочинения Ивана Пересветова, грамоту Всполохова 1672 г., даже те фрагменты «Домостроя», которые носят следы польского влияния.

Буду — глагол состояния с особой судьбой. Остаток буд. вр. на *-sio* (форма причастия *бышяштее* в И 73, ПМ XI, ГБ XI и др.) — оставшаяся бесплодная попытка образовать форму буд. вр. и сохраненная лек-

сически именно в данном глаголе, глаголе *состояния* и *пробывания*; в других списках (ОЕ 1056) форме *бышаши* соответствует *суши* (греч. *εἶναι*). Глагол оказался удобным для построения составного сказуемого в значении буд. вр.: он исключает перфективацию, от чего несвободны были формы простого буд. вр. (наст. вр. от основы совершенного вида). Это также связано с историей формы, поскольку сигматический аорист в некоторых языках дал сигматическое будущее, а у глаголов 5-го класса сохранился в окончании (*бысть, дасть*); когда индоевропейский *o p t a t i v* («пожелательное» наклонение) на *-s-* распался на значения буд. и прош. вр., *буд-* выражало прошедшее завершённое и долгое время выступало с фазисным значением. Сначала, пока сочетанию с глаголом *буду* подвергались инфинитивы независимо от вида (*буду дати*: возможно, как отклик на преждебудущее *буду даль*), это еще, несомненно, было составное сказуемое модального значения (примеры смоленских грамот именно таковы), в темпоральном значении такая форма известна не ранее конца XVI в. В известной степени это связано с разрушением *Futurum exactum*, которое преобразовалось в условное: *а буде(ть) пришесть, ино и ладно* — в условиях четкого разграничения временных форм по признаку времени необходимо было сделать выбор: сохранить либо значение буд. вр., либо значение прош. вр.

В древнерусском предпочтении конкретно-пространственных представлений о времени как *начале действия* (то, что прошло — *спереди*, а что будет — *позади*) для передачи значения буд. вр. использовались фазисные глаголы, обозначающие границу процесса. Даже в памятниках XVII в., отражающих разговорную речь, такого рода «будущих времен» много. В «Слове и деле государеве» сложное будущее с *хочу* + инфинитив использовано 46 раз, а с *стану, учну* — почти постоянно (с *буду* всего шесть раз в устойчивой формуле *буду бити челом*); у Аввакума в этой функции используются только фазисные глаголы.

Все фазисные вспомогательные глаголы, обозначая *начало действия*, совпадали этимологически, все они в основе содержали инфикс (внутренний суффикс) *-*n-*; ср.: **bond-*, **send-*, **leng-*, а также **stan-*, т. е. *буду, сяду, лягу, стану* — *делать*. Экспрессивность в указании на начало действия осознается и сегодня. *Сяду писать* выражает направленность действия на будущее время.

10.2.4. Простые прошедшие времена

Имперфект

Иногда утверждают, что в народно-разговорном языке имперфект исчез еще до появления первых памятников письменности, поскольку уже в рукописях XI в. заметны следы влияния на имперфект как

наст. вр., так и аориста, причем сам имперфект в ответ «не давал им ничего».

Из отсутствия источников заключать об отсутствии столь важной категории, как имперфект, неосмотрительно. Судя по ясно осознаваемым и последовательно по всем источникам до XVI в. проведенным значениям имперфекта, всегда создававшего в тексте «второй план повествования», это была весьма активная форма выражения сначала относительно-временных, а затем и видовых различий.

По происхождению имперфект вторичен; его формы возникли в результате осложнения корневого аориста суффиксом *-yah*. Окончания аориста и имперфекта восходят к индоевропейским вторичным активным, но в славянском они оказались затертыми позднейшими фонетическими изменениями, ср.:

			аорист	имперфект	сигматический аорист
Sing	1-е л.	<i>-o-t-</i> → <i>-ъ</i>	<i>ид-ъ</i>	<i>идьахъ</i>	<i>идохъ</i>
	2-е л.	<i>-e-s-</i> → <i>-e</i>	<i>ид-е</i>	<i>идьаше</i>	<i>иде</i>
	3-е л.	<i>-e-t-</i> → <i>-e</i>	<i>ид-е</i>	<i>идьаше</i>	<i>иде</i>

В 1-м и 2-м л. мн. ч. окончания не различались, в 3-м л. мн. ч. формы простого и сигматического аористов различались: *идъ* и *идоша*. Сигматический аорист возникал как ответ системы на появление имперфекта, в результате чего и образовалось четкое формальное противопоставление аориста (сигматического нового) и имперфекта как простых прошедших времен. Их исходное семантическое различие признается всеми: аорист обозначал законченно точечное, а имперфект — длительно-линейное, длящееся действие.

Имперфект образовывался от инфинитивной основы, но по ударению полностью совпал с основной наст. вр., от которой он впоследствии и стал образовываться.

Акцентная парадигма *a* с постоянным ударением на корне (*знáахъ*, *знáаше* и т. д.) противопоставлена парадигмам *b* и *c*, которые поначалу различались:

		<i>b</i>	<i>c</i>
ед. ч.	1-е л.	<i>ношáахъ</i> > <i>но́шахъ</i>	<i>несъахъ</i> > <i>несъáахъ</i> > <i>неся́хъ</i>
	2-е л.	<i>ношáаше</i> > <i>но́шаше</i>	<i>несъаши́е</i> > <i>неся́ше</i>
	3-е л.	<i>ношáаше</i> > <i>но́шаше</i>	<i>несъаши́е</i> > <i>неся́ше</i>

		<i>б</i>	<i>с</i>
ед. ч.	1-е л.	<i>ношáахомь</i> > <i>но́шахомь</i>	<i>несъахомь</i> > <i>неся́хомь</i>
	2-е л.	<i>ношáашете</i> > <i>но́шаште</i>	<i>несъашетѣ</i> > <i>неся́ште</i>
	3-е л.	<i>ношáаху</i> > <i>но́шаху</i>	<i>несъаху</i> > <i>неся́ху</i>

При образовании древнерусских стяженных форм положение у парадигм *б* и *с* различалось: *-áа-* > *á* дали нисходящее ударение, а *-ъá-* > *á* восходящее на основе, и в ряде форм обозначилось влияние основ наст. вр., поскольку после стяжения большинство форм совпало бы с формой аориста. Они и совпали формально, но, видимо, у основ типа *б* позже, чем у основ типа *с*; у них дольше сохранялись нестяженные формы. Соотнесение глагольной основы имперфекта с основами наст. вр. на некоторое время сохранило формы имперфекта, но уже с уклоном в видовое, а не во временное значение, потому что сама по себе глагольная основа передавала значение предельности/непредельности действия. В подвижной парадигме *с* произошло обобщение ударения по сильной форме 1-го л. ед. ч.: *неся́хъ* > *неся́ше*, *неся́хомь* и т. д. Такое ударение соотносилось с ударением основ наст. вр., в которых *несéши*, *несётъ* и т. д.; ср. *но́шаше* — *но́сиши*, *но́сить* и вплоть до сохранения наконечного ударения во 2-м л. мн. ч. (*несетѣ* как *неся́ше*).

Связь с основами наст. вр. в рукописях сохраняется до XVI в., главным образом в псалтырных текстах, которые заучивались наизусть. Это одна из причин новых образований форм имперфекта от основ настоящего времени.

У имперфекта два основных значения. Его формы показывают: 1) *длительность* действия, не ограниченного временем, — постоянную или развивающуюся в данном высказывании, и 2) *многократную повторяемость* действия, также не ограниченную временными пределами, — последовательную или прерывистую.

Длительность действия или состояния в общем показана лексически, и каждая группа глагольных основ своим лексическим значением определяет *характер* имперфекта. Исторические грамматики выделяют значения длительного развивающегося действия (это глаголы действия типа *идяше*, *несяху*, *радовашеся*, *плакааше* и др.), устойчивого состояния (глаголы «переживания»: *любяаше*, *веселяше*, *трьпяше*, *тужашеть*, *живяше*), постоянной длительности (бытийные глаголы *быти*, *пребывати*), модальности (*можаше*, *можяху*, *хотяше*, *хотяху*, *жадаше*, *веляше*, *веляху* и под.), неопределенной длительности (глаголы восприятия, речи, умственной деятельности: *видяше*, *слышаху*, *зряху*, *мняше*, *помышляше*, *мльвяше*, *глаголаше* и т. д.). Выделена также группа глаголов, выражающих продолжаю-

щееся действие, представленное как фон другого действия в прошлом. Это очень важная группа, которая имеет самостоятельное значение. Контексты показывают, что такие формы имперфекта зависят от аориста в главном высказывании и стоят в одном ряду с формами наст. вр. Запись писца к Пс. 1296, где последовательность имперфектов, очень редких для такого жанра, задана исходным аористом: *Того льта быс пооскуду хльба, а в Суждальскои земли голодъ бяше, мнози худии идяху в новгородьску волость кормиться. То же бяше все по грѣхомъ нашимъ, не имьяхомъ бо любьви межи собою, нъ зависть, нъ сьньдаху друп друга завистию.* Это описание длительного действия в прошлом, представленного для этого прошлого как настоящее. Длительное и есть абсолютно настоящее, потому что оно не прерывается.

Второе основное значение имперфекта — последовательная или прерванная многократность действий, что подтверждает: имперфект как глагольная форма времени по функции близка наст. вр., ср.: (в Киево-Печерском монастыре монахи) *зеле сьваривъше едино и то ядяху, еше же и рукама своима дѣлахуть дѣло: ово ли копытца плетуце и клобуки и ина ручьяная дѣла строяще; и тако, носяще въ градъ, продаяху и тѣмъ жито купяху, и се раздѣлахуть, да къждо въ ноци свою часть измеляшетъ на състроение хльбомъ* (УС XII).

Основные значения имперфекта совпадают со значениями наст. вр., а именно при передаче постоянного, вневременного, повторяемого и относительного действия. Такое распределение значений понятно, поскольку имперфект есть о п и с а т е л ь н о относительное время, приуроченное к прошлому моменту действия. Если соотнести имперфект с другими значениями наст. вр. (см. с. 278), окажется, что место его чрезвычайно ограничено; имперфект может быть помещен только в квадрат, очерченный признаками «относительное» время применительно «к действию» (нижний левый — символический).

Аорист

В древнерусском языке активно использовались формы **нового сигматического аориста**, образованного с помощью тематического гласного *-о*. В древнерусском языке различались все три акцентные парадигмы, т. е. **a** с постоянным ударением на корне, **b** с ударением на тематическом гласном и **c** с подвижным ударением; два последних типа уже претерпели все акцентные изменения праславянского языка.

		б	с
ед. ч.	1-е л.	<i>носи́хъ</i>	<i>несохъ́ > несобъ́хъ</i>
	2-е л.	<i>носи́ > но́си</i>	<i>не́се, на́несе, ѱ́несе, несеся́</i>
	3-е л.	<i>носи́ > но́си</i>	<i>не́се, за́несе, ѱ́несе, несеся́</i>
мн. ч.	1-е л.	<i>носи́хомъ</i>	<i>несохо́мъ > несохо́мъ > несоб́о́мъ</i>
	2-е л.	<i>носи́ста</i>	<i>несостѣ́ > несоб́сте</i>
	3-е л.	<i>носи́ша</i>	<i>несошѣ́ > несоб́ша</i>
двойств. ч.	1-е л.	<i>носи́ховъ</i>	<i>несоховѣ́ > несоб́овъ</i>
	2-е л.	<i>носи́ста</i>	<i>несостѣ́ > несоб́ста</i>
	3-е л.	<i>носи́сте</i>	<i>несостѣ́ > несоб́сте</i>

Подвижная парадигма рано подверглась влиянию со стороны парадигмы **б**. В старорусских текстах с XIV в. представлено ударение *несобъ́хъ*, *несоб́сте* и т. д. В отличие от форм наст. вр., у которых ударением выделялись формы 1-го л. ед. ч., в аористе ударением выделялись формы 2-го и 3-го л. ед. ч., что весьма характерно: 1-е л. ед. ч. — форма субъекта речи, 2-е и 3-е л. ед. ч. — основная форма описания действий другого лица. Отклонения от исконного ударения в средневековых рукописях отмечены с середины XIV в. Старое ударение типа *ре́че, ѱ́рече, ѱ́мре, па́де* и т. д. заменилось на обобщенное новое *речѣ, умрѣ, падѣ*. Колебания в рукописях XVI в. показывают, что во многом такие формы уже не являлись живыми разговорными; ср. *глаго́лахъ* — *глагола́хъ*.

Остатки архаичных аористных форм твердо сохраняли исконное ударение: *рѣ́хъ, рѣ́хомъ, рѣ́ста, рѣ́ша*.

Отличие аориста от имперфекта состоит в обозначении характера протекания действия. Аорист обозначает нерасчлененное, законченное в прошлом действие, обычно в сочетании с другими, столь же завершенными в своей предельности действиями.

Разграничивая отдельные «значения» аориста, привлекают для этого семантически различные группы глагольных основ, говорят, например, о действии завершенном (глаголы движения или состояния типа *съѣсти, льчи, ѣхати, иди*), целостном (глаголы речи: *речи, глаголати*), предельном (глаголы чувственного ощущения: *видѣти, чюти, хотѣти*) или результативном (глаголы действия: *творити, дѣяти, мьстити, крыти*) и т. д. Несомненно, что в конкретном контексте в границах речевой формулы лексические ограничители видоизменяют перспективу глагольного времени, искажая ее для взгляда современного наблюдателя.

Основное (инвариантное) значение аориста — значение предельности действия, взятого в свободном его употреблении, независимо от других действий. Аорист — время абсолютное. Оно обозначает само действие в его законченной точности и точности.

В древнерусском видовые различия не разграничены с временными; и аорист, и имперфект одинаково могли образовывать свои формы от глагола любого «вида»; ср. в «Повести временных лет» (Лавр.):

Ходиша бо князи рустии вси на половци;
Они же слышавше *поидоша* к ним.
Ходяху на мирь князи рустии.
И тогда *изыдыше* в келию.

Все три значения древнерусского аориста — начинательное, результативное и суммирующее — укладываются в это инвариантное значение, которое и в переводных текстах соотносится с формами греческого аориста.

Аорист и имперфект вступали в эквиолентную оппозицию равнозначных форм. Обе категории отмечены определенным признаком: аорист маркирован по признаку «время», имперфект — по старому признаку «длительность» (непредельность действия). Аорист выражал предельность/время как объективно существующие, имперфект (согласно своим контекстам) ту же нерасчлененную категорию длительность/время выражает как субъективное: здесь действие предстательно как явленное в сознании, в высказывании оно соотносится с реальным временем в аористе. В глагольных парах типа *стояша* — *сташа* дано различие по длительности/законченности (непредельности/предельности) действия, а в парах типа *поиде* — *иде* столь четкого противопоставления нет; это разные способы выражения «вида» как предельности или непредельности: глагольной основой в *поиде* и формой аориста в *иде*. Первый тип выражения длительности, как формально более выразительный, впоследствии стал формой передачи глагольного вида.

Соотношение простых временных форм на примере глагола *быти* можно представить следующим образом:

Действие	Время		
	настоящее	аорист	имперфект
непредельное	<i>есмь</i>	<i>быхъ</i>	<i>бяхъ</i>
предельное	<i>буду</i>	<i>быхъ</i>	<i>будяхъ</i>

Длительное действие в наст. вр. выражается различными корнями — это опорное время высказывания.

Основа имперфекта совпадает с основами наст. вр. в выражении законченного действия, т. е. соотносится с идеей простого буд. вр. Длительность (непредельность) аористой формы *бѣхъ* стала причиной ее перехода в имперфект, именно для имперфекта существенно показать сам процесс в его протекании вне связи с другими глагольными временами.

В средневековом «Азбуковнике» соотношение аористных форм объясняется так: *Ино же есть бѣхъ и ино быхъ. По изгнании из рая рекъ себѣ Адамъ: Увы мнѣ! Что бѣхъ и что быхъ: бѣхъ бо царь встѣмъ суцимъ на земли и быхъ рабъ грѣху — бѣхъ прежде и быхъ после.* Был беспредельно долго (*бѣхъ*), пр е б ы л моментально одним актом (*быхъ*). В переводе «Диалектики» Иоанна Синайского XIV в. все формы глагола *быти*: *Богъ... ниже бѣ, ниже будетъ, ниже бысть, ниже бываетъ, ниже быти иметь, паче же — ниже есть, но самъ есть еже быти суцимъ.* При переводе текста необходимо помнить, что глагол *быти* имел значения ‘пребывать, существовать’ — уже, и ‘становиться’ — еще. Одна и та же глагольная форма времени могла иметь разные значения в зависимости от контекста. Кроме того, степень отвлеченности каждой связки была различной: например, аорист *бысть* еще сохранял бытийственное значение, а аорист-имперфект *бѣхъ* уже имел вполне отвлеченное значение связки.

Форма *бимь* (*би, бж* с носовым гласным), с помощью которой образовывалось сослагательное наклонение, возводят к индоевропейскому **bhui-*, представляя эту форму как остаток перфекта с выражением длительного действия без перехода в буд. вр. (в отличие от *буду*) и одновременно как результат ирреального действия. Вся совокупность форм от глагола *быти* отражает глубокие философские воззрения древних славян, полная система которой нам неизвестна.

Из изложенных фактов и вытекающих из них суждений следует, что в древнерусском языке старшего периода невозможно отрицать наличие аориста и имперфекта. Из раннего устранения таких форм в текстах определенного жанра не следует их отсутствие вообще. Русские формы аориста и имперфекта (в их отличии от старославянских), их строго функциональное распределение, обозначение аористом прошедшего (завершенного), а имперфектом — настоящего (незавершенного в прошлом) действия, постоянные и последовательно проведенные преобразования глагольных основ в направлении к развитию видовых различий, статистическое распределение форм и стилистических вариаций в средневековых текстах — все это показывает, что аорист и имперфект в древнерусской системе времен были представлены. Иначе были бы непонятны остатки аористных форм в современных формах типа *чу!.. а он возьми и скажи... прыг-скок* и т. д. Характер некоторых текстов и жанров, конечно, исключал употребление этих времен как категорий живых и потому постоянно изменяющихся.

10.2.5. Перфектные времена

Перфектные формы мотивированы основным глагольным словом, которое представлено действительным причастием прош. вр. на *-ль*: *быль, ходилъ, зналъ*. Сочетание такого причастия с вспомогательным глаголом *быти* в наст. вр. (перфект) или в имперфекте (плюсквамперфект) образовало составное глагольное сказуемое праславянского языка:

есмь знать, еси знать, естъ знать...
есмь знала, еси знала...
суть знали...
бъ знать, ушли бѣаху, бѣша яли и т. д. —

или с русским типом вспомогательного глагола *бяхъ знать, бяхе была, почали бяхомъ...*

С XIII в. известна новая, собственно русская форма плюсквамперфекта, в которой вместо имперфекта появляется перфект глагола *быти*: *то дали есме быль Андрью... се уже прелстиль мя еси быль, диаволе!* — или сокращенная за счет связки форма: *не ленива мя быль створилъ худаго на всть дѣла члвчская!*

Так же образовывалось «преждебудущее время» (*Futurum exactum*): *а чьто будетъ погибло, того не поминаете* — обычно в предположительной модальности.

С функциональной точки зрения все три вспомогательных глагола относились к плану наст. вр., т. е. выражали идею наличности какого-то качества в наст., буд. или прош. вр. Причастная форма действительно выражает некоторое качество, полученное в результате действий, описанных в составном сказуемом. Остатком качественного значения причастий на *-ль* являются полные отпричастные образования типа *горелый, очумелый, спелый* и т. д.

Первоначально перфект, плюсквамперфект как составные сказуемые представляли собой экспрессивные выражения, служившие для образительной передачи прош. вр.; это был факт речи, а не языка. Основное значение славянских перфектов иногда видят в указании на субъекта действия с оценкой того, каков он сейчас, в настоящий момент: *язь есмь писаль* — ‘я являюсь (этим) писавшим’. В этом состоит отличие славянского перфекта от перфекта родственных языков, в которых перфектная форма обращает внимание только на результат действия, а не на действующее лицо. По происхождению *-ль*-имена — это имена *agentis*, следы которых сохранились в таких прилагательных, как *весель, голь, дряхль, милъ, наглъ, топль* ‘тёплый’, *цль, унль* и т. д.

Сложными прошедшими временами перфектные стали только в связи с процессами, происходившими в языке после XII в.

Перфект и плюсквамперфект неодинаково представлены в древнерусских источниках.

Основное значение перфекта определяется как выражение результативности завершенного в прошлом действия, отнесенного к настоящему: *И рече имъ: «Отець мой умъртъ есть, а Святополкъ съидить Кыевъ»*. С точки зрения действия это аналитическое наст. вр., на что указывает связка.

Плюсквамперфект означается как «преждепрошедшее» время, оно указывает время действия, предшествовавшее другому действию также в прошлом: *И тако устръми ся къ Кыеву городу, бѣ бо слышалъ о манастырихъ ту суущиихъ...*

«Предпрошедшее время» указывает на действие, которое завершится в будущем — если и действие, и будущее состоятся; это «прошедшее в будущем».

Перфектные времена — относительные; говоря о контекстных условиях их употребления, историки постоянно уточняют, что такие времена «особенно часто» (как бы не постоянно) употребляются в сравнительных конструкциях, в условных предложениях, в прямой речи, — вообще всюду, где видна их зависимость от главного (абсолютного) времени, аориста или наст. вр. *Почто идеши опять? Поималъ еси всю дань!* — к данному моменту князь уже забрал все — только что.

Перфектная группа образовалась еще в те времена, когда прошлое и будущее одинаково противопоставлены настоящему как «не-настоящее», и *Futurum exactum* здесь представляет такой же результат действия, происходившего в другое время, как и перфект.

В зависимости от того, на что обращается особое внимание в аналитической форме времени, выделяют два основных значения перфекта. Говорят о *статальном* и *акциональном* значениях (состояние и действие). Если важно подчеркнуть состояние в настоящий момент, т. е. указать на результат предшествующего действия, представлено статальное значение (*все сугубо даль нам есть Богъ*); если выделяется именно прошедшее действие как процесс без выделения его результата в настоящем — это уже акциональное значение перфекта: *И пакы глаголеши: нъ ялъ есть Адамъ, но и пиль*. Другие значения перфекта, которые иногда выделяют, носят сугубо контекстный характер: например, выражается «экспрессивная категоричность отрицания» и т. д.; ср. в Евангелии: *Что мльвите и плачетесь? отроковица нъсть умърла, нъ съпить!* (ОЕ 1056).

Но если нужно было указать на действие в прошлом как замкнутом на самом себе в своей предельности, завершенности и абсолютности, да еще в перечислении равнозначных действий, то использовался все-таки аорист. Таким образом, по крайней мере до XVI в., для перфекта оказывается важным компонентом смысла момент речи, а для аориста — момент самого действия.

Плюсквамперфект полностью отсутствует в церковно-проповеднических и служебных текстах древнерусского периода и уже с XI в. дает примеры смешения связок безразлично к категориям лица и числа, а также колебания форм типа *бяхъ* — *бьхъ*, *бь* — *бьше* и т. д. Даже в больших по объему переводных текстах повествовательного характера, и притом в прямой речи (что требовало употребления плюсквамперфекта), находим всего 10 его употреблений в «Хронике» Георгия Амартола, 18 — в «Александрии», 19 — в «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия, а все это обширные древнерусские переводы.

В русской форме плюсквамперфекта связочная часть представлена перфектом вспомогательного глагола: *есмь* *быль* *ишль* ‘вышел’ (Гр. 1229 г.); также в Русской Правде, в летописях; самый ранний пример в Ип.1425 под 1157 г. (*хрест есте были цьловали*, но рядом просто *хрест цьловали*).

Соотношение трех перфектов (включая бессвязочный) четко передается в старших древнерусских текстах; ср.: *и пришьдь створи вьче въ владычни дворь и рече: яко «Не мыслить есмь до плсковичь груба ничегоже, нъ везль есмь быль въ коробьяхъ дары, наволокъы и овоць, а они мя обьыцствовали»* (Синод.). Здесь перфект без связки употреблен в форме 3-го л., уточняется местоимением и представляет действие как обобщенное вне временной координации (не зависит от аориста).

Основной смысл плюсквамперфекта как преждепрошедшего времени в условиях возраставшего давления со стороны «правидовых» соответствий уже не имел столь важного значения в характере основы, потому что внимание перемещалось с результативного значения на значение времени; тем самым плюсквамперфект формально совпадал с перфектом, чему способствовало несколько обстоятельств.

Во-первых, фактически плюсквамперфект употреблялся только в 3-м л., там, где перфект очень рано утрачивал связку. Перенесение внимания со связки на причастную форму приводило к утрате значения перфектности (результативности действия): *есть цьловаль* — *есть бьль цьловаль*.

Во-вторых, утрата связки в 3-м л. на самом деле может быть условием отсутствия таковой в определенных контекстных значениях, например в условных предложениях или в безличных конструкциях: *игумена зашибло*. Многие авторы полагали, что в этом случае связки вообще никогда не было, тогда как другие считали, что связка была (это признак составного сказуемого — описательной формы времени), но она очень рано исчезала, главным образом в связи с появлением местоимения в роли подлежащего. В древнейшей приписке к рукописи ПМ XI форма 3-го л. употреблена без связки: *Путья псалъ*, во всех древних приписках и записях (до XIII в.) в форме 3-го л. перфекта связка отсутствует, как и в ранних русских грамотах, в том числе берестяных —

и часто в летописных текстах. Так, в Синод. на 146 перфектных форм приходится 37 со связкой (в скобках «в том числе со связкой»):

	ед. ч.	мн. ч.
1-е л.	6 (5)	10 (6)
2-е л.	14 (12)	9 (8)
3-е л.	44 (3)	26 (3)

Утрата связки в форме 3-го л. приводила к ее устранению в 1-м и 2-м л., особенно если появлялось личное местоимение; ср. известное выражение, попавшее во многие источники сборного содержания: *ты ослабилъся, а она въсмиялася* (ПА XI), или личное обращение из Мстисл. гр. ок. 1130 г.: *язь даль рукою своєю...* В Лавр. таких примеров уже много, однако в форме 2-го л. связка сохраняется особенно долго и именно потому, что она заменяла отсутствующее в таких случаях личное местоимение (*сам еси таков!* — в приписке на полях рукописи 1393 г.).

10.3. Исходная система времен

10.3.1. Соотношение времен

Наст. вр. и простое буд. вр. находились в дополнительном распределении, в сущности, это одно глагольное время в двух своих проявлениях. Аорист и «эловый» перфект (перфект без связки) различаются только по результативности, поэтому они оказались взаимозаменяемыми в дальнейшем. Имперфект внутренне противоречив как форма выражения глагольного времени, он связан и с планом наст. вр. как действие длительное, и с планом прош. вр. как обозначающий действие прошедшее. Перфект и плюсквамперфект фактически равноценны (после утраты связки отношение к плану наст. вр. для них становится несущественным).

Все это позволяет воссоздать систему глагольных времен как исходную, определявшую развитие всей видовременной системы древнерусского языка, начиная с первых памятников письменности.

Рассмотрим показательный текст XI в.; в скобках приведены формы, представленные в других списках данного текста.

«Сказание о Борисе и Глебе» (1015 г.).

А. *Слышавъ Ярославъ, яко отць ему умръ, а Святополкъ седь (спл, съдить) Кыевь, избивая братию свою, уже бо бѣ Бориса убилъ, а на Гльба послалъ, и печалень бысть (бывъ) вельми о отци и о братъ. Уби*

бо Бориса на Лѣть, а Глѣба на Днѣпри, обѣ сю страну Смольньска. **Сжаливъ** же си велми и съзва новгородѣци и рече имъ: «**Отць** мои **умьрль (есть)**, а **Святополкъ съдити (прия** власть **седитъ)** Киевь, **избивая** братью свою», — **бѣ** бо самъ во тѣ чинъ разогень с новгородци, и не **хотяху** ему помогати на Святополка...

И рекоша (рѣшиа) новгородци: «**Можемъ**, княже, боротися по тебе». **И собра** Ярославъ варягъ 6000 (тысящъ), а прочихъ вои 30 (40) тысящъ, (**река**: «Не азъ **почахъ избивати** братию, нѣ онъ»), поиде на Святополка, **восприимъ** авраамлю доблестъ. **Слышавъ** бо Аврамъ, яко пленень бысть Лотъ... и собра люди своя... [отсылка к библейскому тексту]...

Б. И прииде Ярославъ в силъ велицѣхъ и ста на Лѣть поле, идеже убиша Бориса, и **възрѣвъ** на небо и **рече**: «**Крѣвь** брату моему **въпиеть** к Тебѣ, Владыко! **Мьсти** крѣвь правѣднѣую, якоже **мстиль еси** кровь Авьлеву и **положилъ** на Каинъ стѣнание и трясение; тако положи и на семь оканьнѣмъ».

В. И помолися и **рече**: «**Брата** моя, аще теломъ **отшла еста** отсюду, нѣ **молитвою** ми помозита на противнаго сего и убицю гордаго!»

Коммуникативный и информативный аспекты здесь не разведены достаточно четко. В последовательности аористных форм выявляется вся фабула повествования: *умрь* (Владимир), *уби* (Святополк), *созва* — *рече* (Ярослав), *рекоша* (новгородцы), *собра* — *поиде* (Ярослав), *прииде* — *ста* — *рече* (Ярослав) и т. д.

После аориста в прямой речи употреблены наст. вр. или перфектные времена, имперфекта нет. Аорист как основное повествовательное время о прошлых событиях исключает в той же функции другие формы прош. вр., которые все выступают как о п и с а т е л ь н ы е. Имперфект не входит в известную последовательность времен, потому что в описательной функции, завися от аориста, он просто передает длительность действия. Все глаголы предельного действия в тексте — аористы, все итеративы — в имперфекте.

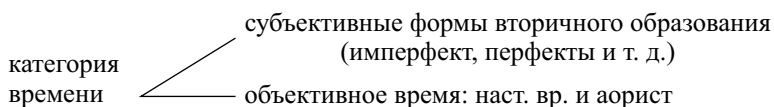
Последовательность времен выдержана в повествовательной части, причем однозначные глаголы варьируют свои формы в зависимости от такой последовательности выражаемых действий; ср. в начале текста (А): *отць* ему *умрь*... *стль*... *уже* бо *бѣ* Бориса *убиль*, а на Глѣба *послалъ*, затем просто констатация события: *уби* бо Бориса... а Глѣба. Возвращение к теме Владимира в речи Ярослава: *и рече* имъ: «**Отець** мои **умьрль есть**, а **Святополкъ съдитъ**...». Констатация факта в аористе сменяется утверждением последовательности действий согласно правилу последовательности времен; тут важны перфекты, которые по своей функции никогда не пересекаются с аористными формами.

Всякое действие, представленное во времени, амбивалентно, т. е. двунаправленно. С одной стороны, это в и д ы объективных действий,

процессы, как они происходят, с другой — это родовой признак обобщенного действия, как его воспринимает наблюдатель. Само по себе действие может быть точноно-моментальным или длительным (последнее выражается *дуративом*). Представление о действии укладывается в проекцию было — происходит — будет. В древнерусском языке представлены время длительности (= глагольному виду) и время цельного события (= глагольному времени). Первое объективно и располагается здесь и сейчас, оно конкретно-синхронично; второе субъективно и отвлеченно-диахронично — оно развивается.

Славянские абсолютные времена образовались на крайних точках совмещения двух важных признаков. Наст. вр. — длительность ‘сейчас’, аорист — моментально законченное ‘уже, тогда’. Образование имперфекта привело к возможности привнести длительность в прош. вр., образование буд. вр. — средство привнести законченность в наст. вр. Промежуточными между этими временами стали формы перфектов. И в прошлом, и в будущем перфекты обозначали завершенность длительных и недлительных действий, и потому результаты таких действий оказывались не ограниченными временем. Недлительное действие могло быть в прошлом или будущем, но не в наст. вр. Другими словами, славянская система времен образовалась уже в праславянском языке совершенно заново — как с и с т е м а. Таково логическое ограничение, создаваемое столкновением объективного и субъективного времен в общей для их передачи глагольной основе. Вся история категории времени, выраженная глагольными категориями, — это попытка преодолеть противоречие между длительностью самого действия и временем, в которое оно укладывается. Вся история языка заключалась в постоянных поисках новых средств уравнивания признака длительности и результата. Кроме того, субъект действия мог быть вовлечен и в осмысление действия, и в информацию о нем. Возникало еще одно противоречие, уже в функции глагольных времен: коммуникативные потребности прои с х о д я щ е г о и повествовательности и з л о ж е н и я событий требовали своих собственных средств для выражения связей, в центре которых в одном случае стоит дпящееся — наст. вр., а в другом — законченность прошедшего — аорист.

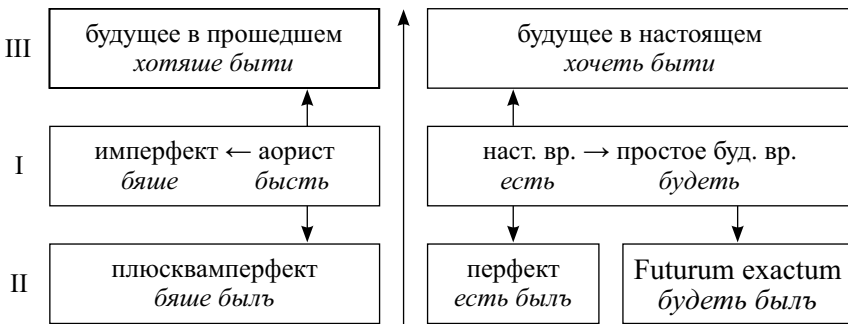
Таким образом, основным звеном последовательности времен в тексте являлось реальное соотношение наст. вр. и аориста и субъективно осмысленное соотношение временных форм в их отношении к длительности действия и его результату, т. е.



10.3.2. Система времен

Она может быть представлена не конкретно в тексте, как это дано только что, а системно в развитии, ретроспективно, в последовательном снятии помех времени при описании инвариантных характеристик глагольных времен.

Исходная система может быть представлена в следующих соотношениях, учитывающих как противопоставление другим формам по основным оппозициям в парадигме, так и синтагменную зависимость по правилу согласования времен:



В этой схеме представлены:

I. *Синтагматически абсолютные времена* аорист и наст. вр., от которых в последовательном высказывании зависят *относительные времена* имперфект и «простое будущее». Все эти времена обозначают действие прежде всего, по своему составу они простые глагольные формы и всегда обозначают действие, *одновременное* с действием главного в цепочке действий глагола.

II. *Зависимые времена* перфект, плюсквамперфект и *Futurum exactum* («прошедшее в будущем»), которые в высказывании обязательно зависят от соответствующих абсолютных, являются составными по форме и сложными по содержанию, выражают действие, *предшествующее основному* («преднее», равное будущему в случае *Futurum exactum*), т. е. чаще всего обозначают *состояние*.

III. *Описательные времена*, выражающие последующее время и зависящие от абсолютных времен, по форме также составные, но образованные с помощью инфинитива, основное их назначение — обозначать различные *модальности*, связанные с действием.

Основные исходные формы — аорист и наст. вр. — могут встречаться рядом, в метонимической последовательности словесных формул, но при этом они выражают различные оттенки действия:

Егоже вся тварь **трепещет**, земля ни на чем **держится**, море пьском **оградися**, рькам **простресе вода**, на въздушь **виситъ небо** яко **лукъ преклонися**, солнце не престаа **горитъ**, и луна съ страхом **сияеть**, и звѣзды **хытростью текут** (Кирилл Туровский, XII в.).

Наст. вр. выражает постоянно происходящее, неизменные характеристики твари, земли, неба, солнца, луны и звезд (*не престаа*), а аорист показывает абсолютность завершеного действия, но без признака неизменности (*море, вода* и *лук* физически переменчивы).

Абсолютные времена — самые частотные в любом тексте, наст. вр. составляет от 20 до 36%, аорист — от 20 до 60% всех глагольных времен, употребленных в средневековом тексте. Характер основы регулировал выбор грамматической формы времен, прежде всего абсолютных. Связь грамматической формы времени с формульностью традиционного текста определялась не только стилем, жанром или логикой описания, но и лексическим наполнением соответствующей формы времени. Например, глаголы бытия и расположения в пространстве, чувственного восприятия и мышления чаще всего предполагали формы наст. вр.; глаголы отвлеченного действия и движения — аориста и имперфекта, отвлеченного и физического действия, психического и эмоционального состояния — перфектов, а глаголы говорения могли быть образованы в любой глагольной форме времени. Некоторые лексические группы глаголов преобладали в формах перфекта; ср.: *жили, родились, постились, крестились, съдели*, другие — в формах аориста: *рече, видѣ, приде, явися* и т. д. Имелась определенная связь с формами в греческом оригинальном тексте. Например, при переводе с греческого славянский аорист *рече* равен греческому аористу *ἔειπε*, а славянский аорист *глагола* — греческой форме наст. вр. *λέγει*. Такова традиция перевода, которая сохранялась наравне с традицией славянских словесных формул.

Зависимость времен от наст. вр. и аориста в текстах представлена широко. Для древнерусского языка это правило почти не знает исключений. *И приде на холмъ, иде стояше Перунъ* (Лавр.) — имперфект как настоящее в прошлом. Взаимозависимость перфектных форм также абсолютна: *И на томъ камени стоялъ Христоръ и ту училъ народы, иже бяше пришли къ нему* («Хождение» игумена Даниила) — плюсквамперфект обозначает действие, законченное к моменту действий, выраженных перфектом, который, в свою очередь, в широком контексте описания зависит от наст. вр. В Синод. и в пергаменных грамотах перфект ни разу не употребляется со связкой, если он является относительным к аористу, т. е. включен в план рассказа о прошлых событиях; ср.: *изымаша новгородцевъ, кто ходилъ на Югру*. Здесь уже развивается перфектная отвлеченность, не связанная с соотношением к наст. вр. или прош. вр.

Если учесть формальную определенность, восходящую к праязыку (система с первичными окончаниями справа — наст. вр., система со вторичными окончаниями слева — аорист), перед нами представлены две равноценные системы старых контекстных соотношений. Левая система — система связи аориста с имперфектами, выступающими в качестве относительных времен для выражения идеи наст. вр. (имперфект: настоящее в прошедшем), прош. вр. (плюсквамперфект) и буд. вр. (модальное будущее в прошедшем) в плане общего прошедшего действия.

Точно так же по линии вспомогательного глагола очерчивается радиальное (круговое) соотношение наст. вр. с презентами: от абсолютного наст. вр. линии связей идут к наст. вр. («простое будущее»), прош. вр. (перфект) и буд. вр. (будущее в настоящем) в плане общего настоящего действия. Формально при своем возникновении как составные сказуемые данные времена были связаны только с настоящим, по этой причине в поздних текстах перфект может зависеть и от аориста в главном предложении, но протиположен он всегда наст. вр. как времени абсолютному.

Таким образом, перфект по отношению к наст. вр. — то же самое время, что и имперфект по отношению к аористу.

Правая часть системы передает реальность происходящих событий и процессов, левая — идеальность связанных с ними событий. Во многом это разграничение соотносится с самими действиями. В частности, группа II образуется отраженно от группы I: относительность перфектов состоит в том, что *Perfect* есть идея события и не ия времен, выражающая реальную последовательность событий.

Попарное совпадение функций ряда форм обусловило последующее их совмещение или замену одного времени другим, тем же по функции. Однако двусмысленность всех относительных времен заметна: каждое из них выражает не то реальное время, которое связано с ним согласно форме, а символически другое время в отношении ко времени главному.

Структура и функции в системе рассогласованы, а это верный знак того, что система глагольных времен складывалась постепенно и долго, она многослойна и в тексте проявляется нерегулярно, не является абсолютной и уже после XII в. начинает разрушаться.

В представленной схеме имеются свои сложности. Сложнее всего с *Futurum exactum*, который формально зависит от простого буд. вр., но в контексте может определяться обоими абсолютными временами — и наст. вр., и аористом — как объективное выражение прош. вр. по отношению к буд. вр.

«Слои» системы показывают последовательность образования самих временных форм. Зерном системы являются исходные наст. вр.

и аорист, хотя их функции и формы отчасти изменились, как изменились и древние формы перфекта (согласно своему значению, они стали обозначать наст. вр.: *вьдь*).

Итак, исходная система в принципе двузначна и двуцентрична. Существует два способа обозначить одно и то же реальное время, и вместе с тем существует две точки отсчета времен: от самого действия (*аористная проекция*) или от момента речи (*презентная проекция*) — обратная и прямая перспективы.

Различие между левой и правой сторонами привело к несводимости их в общую систему и стало причиной дальнейших изменений. Времена «настоящее — перфект» как выражение субъективного времени сохранились в системе времен; «аорист — имперфект» как выражение действия «от событий» стали обозначать видовые отношения, переосмысляясь для выражения предельности / неопределенности действия. Абсолютные времена — настоящее и аорист — не использовались в роли связок, поэтому связка перфекта утрачивалась — в связи с совпадением форм плюсквамперфекта с перфектом (*жили при жили были*). В конце концов противопоставление «правый» — «левый» стало основой в разграничении стилей: объективно обратная перспектива выражала идею высокого, а личная точка зрения прямой перспективы обозначала нейтрально бытовой (*простой*) стиль.

10.3.3. Изменение системы

Все последующие изменения системы направлены самой системой. Представим их схематически, с тем чтобы впоследствии внимательно рассмотреть все особенности этих важных для истории русского языка изменений.

Первоначально, по-видимому, еще в праславянском языке, собственно глагольными временами были только времена группы I и, естественно, без простого будущего, которое не являлось самостоятельной категорией и в древнерусском языке; простое буд. вр. в своем отношении к наст. вр. образует ту же оппозицию по характеру основы, которая стала актуальной для зеркально противоположной ей оппозиции а о р и с т : и м п е р ф е к т — это оппозиция по «виду».

Все остальные «времена» в праславянском — составные сказуемые описательного характера; это хорошо и обстоятельно показал А. А. Потебня своим анализом отношений, существовавших между данными формами и оборотами типа *вставь и рече*, а также определением признаков составного сказуемого: связка не опускается, свободное место связки, четкая автономность -л-овых причастий в ряду прочих причастий, функционально возможная замена перфекта на аорист

и т. д. Группа III образована позже всех остальных, ее формы постоянно осознавались как формы составного сказуемого.

Когда все три уровня системы окончательно сложились, образовав четкую пропорциональную связь 3×3, оказалось, что такая система избыточна, она перенасыщена дублирующими формами, необходимыми для описания реального времени. Вдобавок ко всему система синтаксична (описывает контекстные соотношения форм), стилистически многообразна (в ней возможны взаимные замены ряда форм на стилистических основаниях, что видно на примерах замен, возникавших при редактировании текстов раннего происхождения) и представлена как система метонимически мотивированных категорий. Являясь выразительной системой с точки зрения средневекового символического мышления, она не могла удовлетворить возникающих в сознании людей новых представлений об отвлеченном времени.

Все изменения были мотивированы включением буд. вр. в систему абсолютных времен и связанным с этим изменением правил последовательности времен, необходимых для выражения конкретного действия.

На уровне I одновременно с временными преобразованиями выработывались средства выражения в и д о в ы х о т н о ш е н и й: в плане настоящего они представлены как противопоставление наст. вр. и простого буд. вр., а в плане прошедшего — как противопоставление аориста и имперфекта. Осознание буд. вр. вводит в систему новую точку отсчета — в прямой перспективе от м о м е н т а р е ч и, уже вполне самостоятельно, а не в связи с выражением обратной перспективы — м о м е н т а д е й с т в и я, которое развивалось в противопоставлении по глагольному виду. При этом момент речи не является субъективным временем, потому что включает в себя 2-е л.: собеседник делает момент речи объективным, тот не зависит от воли субъекта и вызван ситуацией диалога.

Система, усложненная тремя признаками, упрощается за счет сокращения существенных по данному признаку элементов системы:

а) *момент действия*: и м п е р ф е к т – а о р и с т – н а с т. в р.; последовательное сжатие ряда сначала за счет имперфекта (XII в.), а затем и аориста (XIV в.) привело к устранению идеи «момент действия» из системы глагольных времен;

б) *характер действия*, т. е. соотношение состояния и действия, которое долгое время передается с помощью глагольной основы (см. *будити* — *бьдѣти* и т. д.): перфектная группа с выражением перфектности и результативности разрушается в связи с заменой всех перфектов на свободную от связки *-л-*овую форму, а имперфект изменяет свое отношение к аористу (длительность как состояние и завершенность как законченность действия);

в) *момент речи*, как сказано, определяется включением «футуральной группы», которая своими вещно-конкретными значениями подготовила представление об отвлеченно общем, абсолютном буд. вр. как *самостоятельной к а т е г о р и и*; видовые различия теперь окончательно вычлняются из системы временных, образуя самостоятельную категорию глагольного вида.

С включением категории буд. вр. осложнение системы глагольных времен достигает предела, а обилие различительных признаков приводит к полному расслоению системных уровней. По существу две равноправные системы: А — аористная и Н — презентная — теперь эквивалентны и могут заменять друг друга (стилистически или функционально), составляя две разные языковые системы. Этого не происходит ни в церковнославянском, ни в русском языках. И в том и в другом случае в норме происходило совмещение разносистемных элементов, до поры до времени выступавших в основной для них функции.

Так, новый различительный признак системы «момент речи» становился основным в передаче временных отношений на основе всех абсолютных времен, т. е. до XV в. предстает как соотношение аорист : наст. вр. : простое буд. вр. Остальные формы не релевантны по данному признаку, и потому начинается их изменение.

Во-первых, разрушается «имперфективность» как форма выражения характера действия, ранним следствием чего стало образование «русского плюсквамперфекта» (*бьяше быть* → *есть быть*), т. е. сведение всех перфектных форм к одной общей. Futurum exactum не развивается в самостоятельное время из-за своей контекстной обусловленности, он становится одной из форм выражения условных отношений в контексте; исходные синтаксические его свойства оказываются важнее слагающихся морфологических. Именно по признаку характера действия развиваются новые отношения в области аорист – имперфект: одинаково простые прошедшие времена, на противопоставлении основ они отрабатывают видовые оппозиции в плане прошедшего.

Во-вторых, формы *хочу быти* и *буду* находились в дополнительном распределении по выражению буд. вр., поэтому они осознаются как формы общей глагольной категории и тем самым создают с XVII в. качественно новый уровень всей системы глагольных времен.

В-третьих, следовательно, победительницей в соревновании подсистем А и Н выходит новая система Н, маркированная от момента речи, а не от объективного действия. В выражении категории времени актуализировалась «прямая перспектива» от наблюдателя-автора, а не обратная — от реальности самого действия. Система Н сохранила важные для новых противопоставлений формы: наст. вр. —

буд. вр. — перфект, а также представленную в перфектной форме основу, способную выражать идею вида в плане прошедшего (*делал — дельвал — сделал*). После этого и только в связи с этим аорист уходит из системы как категория, что нельзя датировать ранним временем, уже до XV в., как это обычно делают. «Парадигма» прошедших времен, составленная в XV в., выглядит как сборная, и формы аориста здесь представлены:

	ед. ч.	мн. ч.
1-е л.	<i>быхъ</i>	<i>быхомъ</i>
2-е л.	<i>быль еси</i>	<i>бясте</i>
3-е л.	<i>быль</i>	<i>бяхуть</i>

В-четвертых, характер действия долгое время обозначался с помощью глагольных основ в форме простых прошедших времен, в результате чего возникало противопоставление по определенности/неопределенности, которое в своем развитии завершилось формированием категории вида.

В-пятых, и момент действия в древнерусском языке передавался с помощью противопоставления форм аориста и перфекта (ясно из редакторских изменений текста и его правки), поскольку в отличие от признака «характер действия», связанного с видовыми противопоставлениями в основах глагола, в данном случае не было иных средств для передачи взаимного соотношения действий, вплоть до преобразования системы кратких причастий и возникновения деепричастий. На протяжении всего XVII в. мы встречаем множество примеров замены аористных форм причастными в контексте, который требовал подчеркнуть второстепенность действий, сопровождающих основное действие. Деепричастия оканчательно «съели» аорист. В древнерусских текстах соотношение причастий наст. и прош. вр. определялось системой и правилами последовательности времен. Теперь же краткие формы причастий перераспределились на основе двух различительных признаков:

	Наст. вр.	Прош. вр.
несовершенный вид	<i>дѣлая</i>	<i>*дѣлавъ</i>
совершенный вид	<i>*сдѣлая</i>	<i>сдѣлавъ</i>

Формы под «звездочками» исчезают — наст. вр./ несовершенное и прош. вр./ совершенное сохраняются как формы выражения контекстно второстепенного действия, следовательно, различие по виду передается прежними временными формами: для причастия (деепричастия в данном случае) важнее передать характер протекания действия (= моменту действия), а не время от момента речи.

Итак, каждое категориальное изменение, но преимущественно сокращение системы сопровождалось изменением одной из форм в следующей последовательности их исчезновения:

- а) имперфект — с XII в.;
- б) плюсквамперфект в нейтрализации с перфектом с XIII в.;
- в) аорист с XV в. — и, может быть, даже позже;
- г) *Futurum exactum* с XVI в. в связи с устранением из системы временных категорий условно временных форм.

10.3.4. Статистическое распределение форм грамматического времени

Установить распределение временных форм затруднительно из-за совпадения некоторых форм (1-е л. ед. ч. аориста и имперфекта), их испорченности в обозначениях или неопределенности в значениях (настоящее – будущее). В тексте «Слов» Кирилла Туровского XII в. наст. вр. – буд. вр. представляет 60% всех временных форм, а из прошедших времен аорист — 23%, имперфект — 6,7%, перфект — 9%, плюсквамперфект — 1%. По разным данным, в книжных текстах XVII в. старая система глагольных времен еще сохранялась: аорист в среднем составлял 80%, имперфект — 7%, перфект — 13% от всех форм прош. вр.

Из всех глагольных форм, включая причастия, личные формы в среднем составляли 56% (причастия — 27%), в том числе наст. вр. — 20%, аорист — 27%, имперфект — 7%, перфект — 1,5%, а плюсквамперфект — 0,2%.

Абсолютные времена самые частотные. По употребительности число аористных форм почти равно всем остальным временным формам, в некоторых текстах достигая 80% (в Лавр. — 50%), это статистически стабильная норма всего Средневековья, тогда как плюсквамперфект статистически в древнерусских и старорусских текстах отсутствует или достигает предельно минимальных величин. Зато в берестяных грамотах XI–XIII вв. перфекты составляют 93%, а затем увеличиваются и в других оригинальных текстах. Так, в посланиях Ивана Грозного перфектные времена составляют до 60%, у Г. Котошихина — до 92%, в записях «Слова и дела» XVII в. на 22,5 тысячи перфектов приходится 4434 форм наст. вр.: это определенно новая система абсолютных времен, заменившая двуединство аорист – наст. вр. С конца XVII в. аорист несомненно форма стилизации под древние тексты, а перфект окончательно становится единственной формой прош. вр., постоянно усиливая свои позиции даже в книжных текстах. Характерный факт: когда Максим Грек в первой половине XVI века перевел текст Псалтыри на современный ему русский язык с передачей прошедших

времен формами перфекта (вместо прежнего аориста), он был обвинен в еретичестве и бесчинстве и заключен в монастырскую тюрьму. Церковная традиция переломила уже совершенно сложившуюся глагольную систему русского языка с опорой на систему Н. Его перевод перенесил внимание с *объекта* на точку зрения читателя, *оценивающего* священные события, попутно разрушая церковные символы. А это — проявление протестантизма.

Там, где основное время повествования — наст. вр., там и причастие встречается в основном наст. вр., а перфекта и форм повелительного наклонения больше, чем, например, инфинитивных форм. Особенно это заметно по текстам И 76 в его противопоставлении СП XI, в котором повествовательное время — прош. вр., тогда как в И 76 — наст. вр., почему и перфектных форм здесь почти столько же, сколько и имперфектных, связанных с аористом. Из подобных сопоставлений можно сделать вывод, что системность глагольных форм определялась текстом и всегда задана содержанием повествования или документа.

Понятия парадигмы в современном смысле статистические данные не представляют. Единственно реальную парадигму составляет только наст. вр.–буд. вр., причем простое будущее употребляется в основном в форме 1-го л. ед. ч., т. е. по существу является модальным.

Статистически можно утверждать, что в древнерусском языке отсутствует форма 1-го л. в большинстве временных форм; отсюда развитие определенно-личных предложений типа *иду на вы*; 2-е л. статистически маловероятно (это связано с развитием неопределенно-личных предложений), и только 3-е л. отражено статистически определенно, причем с различием для ед. ч. (чаще) и мн. ч. (реже). По этой причине типы односоставных предложений с глаголом-сказуемым в 3-м л. распространены мало.

Таким образом, синтагматика и парадигматика глагольных форм вполне адекватно объясняют также и статистическое распределение этих личных форм.

Состав и статистическая вероятность употребления глагольных форм определяются не столько жанром памятника, сколько конкретным коммуникативным заданием в границах отдельного текста — постоянно изменяются, чередуясь в тексте, типы предложений и способы описания глагольного действия. Например, распространение форм перфекта именно в форме 2-го л. связано с тем, что в процессе общения, говоря собеседнику о прош. вр., всегда имели в виду фиксацию результатов прошлого действия на данный момент речи; это и вызывало замену форм аориста или имперфекта формой перфекта, причем обязательно с сохранением связки — в отличие от формы 3-го л., где связка фактически не нужна, поскольку объект рассуждения не принимает участия в разговоре и, следовательно, с моментом речи никак не связан, так что результат его прошлых действий в данный момент

неактуален: отсутствует логическая связь между прош. вр. и наст. вр., что исключает употребление связки или вообще перфектной формы. Так, в грамотах употребление форм 2-го л. достигает высокой частотности, почти равной частотности других форм лица. В перфекте преобладание форм 3-го л. ощущается постоянно, и связано это с той же коммуникативной целесообразностью. В законодательных текстах также преобладает форма 2-го л., но в других источниках («Хождения» и др.) возрастает число форм 1-го л. — повествование идет от первого лица. Повествовательный текст житий, летописей и переводных повестей требовал в основном формы 3-го л.

Таким образом, статистические данные показывают общую перспективу развития временных форм.

1. В отношении категорий замечается последовательное увеличение употребительности перфекта за счет простых прошедших времен.

2. Происходит также увеличение числа личных форм глагола за счет неличных.

3. Развивается дифференциация прежних глагольных времен по новому признаку вида, который разграничил формы аорист – имперфект в плане прошедшего и формы наст. вр. – буд. вр. в плане настоящего времени.

4. Возникает перераспределение форм лица и числа в зависимости от коммуникативного задания; формы прошедших времен соотносятся с определенным лицом глагольного действия (аорист — в 3-м л., перфект — во 2-м л. и т. д.) и тем самым предстают в определенных речевых формулах, которые постепенно разрушаются.

5. Старые глагольные категории по направлению к нашему времени не исчезали полностью, а использовались в стилистических целях; это видно по их распределению в текстах разного жанра, происхождения и бытования.

10.3.5. Парадигмы глагольных времен

В реконструкции старорусские парадигмы на основе различных источников представлены следующим образом: настоящее *чту* — минувшее *чтох* — грядущее *почту*, причем минувшее подразделяется на минувшее несовершенное *почтох* — совершенное *чтох* — пресовершенное *читах*.

Любопытно именование буд. вр. как грядущего, а также чисто видовое его отличие от наст. вр.; что это еще отличие по виду (предельности/непредельности действия), видно и на противопоставлении форм аориста (*почтох*) и имперфекта (*чтох*), хотя названия форм с исторической точки зрения выглядят странно.

Мы видим, что все формы искусственно собраны в подобающее число парадигм, иногда прямо повторяясь и имея варианты. Названия,

данные таким парадигмам, весьма условны: минувшее несовершенное — минувшее совершенное (Past perfect), пресовершенное и т. д. Оптативные и конъюнктивные формы еще выразительнее:

ед. ч.	1-е л.	<i>читах</i>	<i>егда чтох</i>	<i>егда читах</i>
	2-е л.	<i>читал еси</i>	<i>егда чел еси</i>	<i>егда читаль еси</i>
	3-е л.	<i>читаль</i>	<i>егда той чель</i>	<i>егда той чель</i>
мн. ч.	1-е л.	<i>читахомъ</i>	<i>егда чтохомъ</i>	<i>егда чтохомъ</i>
	2-е л.	<i>читасте</i>	<i>егда чтосте</i>	<i>егда чтосте</i>
	3-е л.	<i>читаху</i>	<i>егда чтоша</i>	<i>егда читаху и под.</i>

В 3-м л. ед. ч. обязательно местоимение (указательное!), формы аориста и имперфекта даны в дополнительном распределении, указывающем на чисто видовое их соотношение; в целом система времен неясна, особенно в виду «оптативов» и других временных парадигм. Инвариант парадигмы прош. вр. можно было бы реконструировать, учитывая наиболее распространенные словоформы в той или иной позиции:

	ед. ч.	мн. ч.
1-е л.	(<i>но</i>) <i>чтох</i>	(<i>но</i>) <i>чтохом</i>
2-е л.	(<i>но</i>) <i>чел еси</i>	(<i>но</i>) <i>чтосте</i>
3-е л.	(<i>но</i>) <i>чел (он)</i>	<i>почтоша/читаху</i>

Такая «парадигма» находится в соответствии с общими принципами изменений системы времен, происходивших с течением времени, она была бы соотнесена с реальными парадигмами церковнославянского языка, нормализованными Мелетием Смотрицким (1619 г.).

«Простословия» Евдокима Боголепа в конце XVI в. выделяют пять времен: настоящее *чту*, минувшее несовершенное *почтохъ* и совершенное *чтохъ*, т. е. аористы, и минувшее пресовершенное *читахъ* — имперфект, а также грядущее *почту*. О видовых противопоставлениях не говорится, хотя они предполагаются в составе времен (но неопределенны по качеству); перфектные времена не обозначены, видимо, как просторечные. С представленными реконструкциями эти характеристики не совпадают.

В «Грамматике» Смотрицкого классификация времен более дробная. Епископ уже различает два вида: неопределенный *чту*, *прочтохъ*, *чель есмь* и учащательный *читаю*, *читахъ*, *читаль есмь*, которые различаются характером основы, но пока еще без участия приставок, которые служат для образования времен: *чту* — наст. вр., *прочту* — буд. вр. Буд. вр. образуется с помощью приставок *у*, *из*, *во*, *со*, *на*, *о*, *по*, *при*, *за*, *вос*, *рас*, но также и различием основ: *плюю* — *плюну*, *стою* — *стану*, *зъваю* — *зъну*, *даю* — *дам*, *каплю* — *кану* и т. д. Имеются весьма искусственные удвоения форм: *читахъ* — *прешедшее*, *читаахъ* — *мишодешее*, *чель есмь* — *преходящее*, *читаль есмь* — *прешедшее*.

В одних «парадигмах» Смотрицкого исторические формы аориста, перфекта и имперфекта распределились по лицам, в других — полная парадигма состоит только из перфектных форм, но всегда со связкой (иначе неясной останется принадлежность к определенному лицу). Распределение форм также не соответствует исконному, поскольку категориальные различия между прошедшими временами уже нейтрализованы, а выбор той или иной формы определяется характером традиционных сочетаний и статистической вероятностью ее употребления. Последнее, впрочем, сомнительно, потому что в форме 3-го л. неожиданно оказывается имперфект как типичная форма выражения.

Все ранние схемы «парадигм» еще не представляют системы языка. Для формирования системы необходима «нулевая морфема», которая концептуально стала бы точкой отсчета всех словоформ парадигмы, будучи противопоставленной чистой основе как идея парадигменного ряда. Чистая основа уже найдена — это форма 3-го л. ед. ч. аориста. «Нулевой морфемь» еще нет. Это слишком высокий уровень языковой абстракции, которой составители средневековых грамматик не обладали.

10.3.6. Терминология

Терминология в обозначении буд. и прош. вр. имеет особое значение. В термине представлен существенный признак различения времен — и понимание их как самостоятельных категорий.

К концу XVII в. форма *буду*, как и связка *есть*, потеряла все признаки глагольности и стала осознаваться как простая форма буд. вр., хотя по происхождению она семантически двузначна: обозначала идею реального существования и одновременно становления нового. Эта двуобращенность формы *буду* находит свое выражение и в термине *настоящее время*, т. е. и существующее, и одновременно сейчас *настающее*.

В своих значениях причастие *настоящий* развивалось как типичный символ замещения ряда терминов, близких по смыслу. Это значения ‘неподдельный’, ‘истинный’, ‘сущий’, ‘подлинный’ и т. д. одновременно. ‘Сущий’ и существует, и осуществляется. Исходная форма причастия *настояи* значила ‘нынешний и ближайший за ним’, т. е. ‘предстоящий’ (*настоящая смерти не убъжахъ* ПМ XI — греч. τὸν ἐνεστῶτα ‘предстоящий’); ‘следующий’ (*въ настоящую ночь пакы спящу ему...*); ‘настигающий’ неизбежно (*всѣхъ настоящихъ на ны золь за грѣхи наша* — Пск. I лет., под 1319 г.). Отсюда и древнерусский перевод молитвы: *хлѣбъ нашъ настоящій даждь намъ днесъ* = настоящий (греч. τὸν ἐπτοῦσιόν).

Идея будущего понимается неопределенно, но очень конкретно; оно связано с частными подробностями существования и может быть

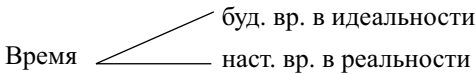
обозначено самыми разными словами. В славянском переводе ГБ ХІ греческое причастие τὸ μέλλον ‘будущее, предстоящее’ передается семью способами как *будущее, грядущее, приходящее, хотящее, быти хотящее, причаемое, иже начался, прочее, бышащее*. Во всех случаях выделяются признаки: среднего рода, несовершенного вида (непредельность), выходящее из настоящего, ожидаемо-желательное по модальности.

Заметим, что причастие прош. вр. *наставъиши* выражает наст. вр. по типу перфективности (результат налицо), а причастие наст. вр. *настоящий* — буд. вр. Парадокса нет: это обозначения не с точки зрения наблюдателя, а объективно в отношении к самому событию. Именно таковы и были все обозначения древнеславянского и древнерусского языков, представленные в обратной перспективе от действия к восприятию.

Поэтому и буд. вр. в ранних грамматиках именуется грядущим: само будущее по своему смыслу есть наступающее. В ранних переводах евангельского текста Мф. 12, 32 использовано слово *грядущий*, которое в более поздних правках текста было заменено словом *будущий* (*ни в этом веке, ни в будущем — ἐν τῷ μέλλοντι*).

Будеть — потенциальность будущего, то, что может быть или что окажется: *а будутъ разбоиници — выдати е* (окажутся бандитами — выдать на суд), но, чтобы это случилось, *разбоиници* должны быть. Греческую форму буд. вр. часто переводили славянской формой наст. вр.; ср.: *но же немного глаголю съ вами* Ин. 14, 30 = *λαλήσω*, современный перевод — *уже немного мне говорить с вами*.

Таким образом, в древнерусском языке реального буд. вр. нет, после XV в. возникает соотношение, в котором наст. вр. предстает как реальное (сущее) время, а буд. вр. — как идеальное (присущее), его разновидность:



Таково христианское понимание связи времен, которым руководствовались Средневековье.

Понятие о прош. вр. также вырабатывалось очень долго. Это видно и на колебаниях в терминах средневековых грамматик.

Общая последовательность обозначений (включая сюда и неузкограмматические) показывает этапы абстрагирования идеи прош. вр.:

термин: *прежний — предыдущий — предшествующий — прошлый — прошедший*

антоним: *задний — последующий — завершающий — настоящий — будущий*

Сравним эти фазы восприятия прошлого с обозначениями лица: *предтеча* — *предместник* — *предшественник* — от конкретно-пространственного к самому отвлеченному, от близкого размещения к максимальному разведению во времени, от оценочного к терминологическому, от длительности к завершенности, другими словами, от метонимического через метафорическое к терминологически понятийному.

10.4. Изменения в системе времен

10.4.1. Общее направление изменений

Общее направление изменений ясно из предыдущего изложения фактов. Этот процесс хорошо исследован, описаны важнейшие источники XI–XVII вв. всех жанров и типов текста. Результаты можно представить в сжатом виде.

В новгородских берестяных грамотах имперфект исключительно редок, в новгородских деловых текстах XIII–XIV вв. его нет вовсе, но аорист активен, хотя в формах 2-го л. отсутствует, а основное значение его — перфективное. В северо-западных грамотах XI–XIII вв. и в Русской Правде более 90% временных форм составляют перфекты, аорист редок, имперфект отсутствует. Этому способствует коммуникативный аспект высказывания в связи с планом наст. вр. (момент речи) и повелительным наклонением.

В повествовательных жанрах система глагольных времен выдержана весьма четко; основное время здесь — аорист, следовательно, есть место для имперфектов и перфектов. В повествовательных текстах XV–XVI вв. основное прош. вр. — аорист и имперфект, которые редко смешиваются по функции, хотя в некоторых случаях аорист заменяет перфект, а имперфект — наст. вр. Перфекты находятся здесь на периферии нормы, со связкой они обычно употребляются в прямой речи, а плюсквамперфект отмечен только в устойчивых сочетаниях типа *иже бѣ създаль*. Такое же положение в летописных текстах, особенно в древней записи.

То же в текстах московского происхождения. В деловых текстах XV в. нет ни аориста, ни имперфекта, связка в 3-м л. перфекта отсутствует, а во 2-м л. всегда в наличии. В Летописных сводах того же времени, в «Хождении» Афанасия Никитина и др., напротив, аорист и имперфект употреблены активно, главным образом (это важно) преимущественно или только в формах 3-го л. (повествовательное время) и независимо от предельности/непредельности действия (вида).

10.4.2. Имперфект

Уже древнейшие русские рукописи дают отклонения в написании исконных форм имперфекта.

1. На фонетических основаниях происходило стяжение суффиксального элемента и возникали формы «русского имперфекта»: *идьаше* → *идяше*, *молъаху* → *моляху* и т. д. Формы ОЕ 1056, Туровских листков XI в. типа *хотьяше* вместо *хотъаше* — безусловно, русизмы, связанные со вторичным смягчением согласных; нестяженные формы в XI в. сохраняются лишь в рукописях, переписанных с южнославянских оригиналов (ЕП XI, ПА XI, ЖК XI и др.). В рукописях XI в. стяженных форм много, поскольку и вторичное смягчение полумягких к этому времени завершалось. В новгородских служебных Минеях нестяженные формы редки (в М 96 — всего 7 раз), а это тексты, для которых особенности произнесения очень важная подробность и сокращения слогов сказываются на ритмике.

2. В формах 3-го л. входит в употребление флексия *-ть*, вынесенная из формы наст. вр. Древнейшие примеры: *муждашеть* в ОЕ 1056, часто в АЕ 1092, ЮЕ 1120, МЕ 1117, Выг. XII (от 40 основ) и в других рукописях XII в.; особенно много их в УС XII, и они подтверждают фонетическую достоверность написаний тем, что в положении перед следующим *и* ((*ь*)) «ерь» флексии закономерно изменялся в *-и*; ср.: *пуцашети и*, *моляшети и*, *укаряхути и* и пр.

Формы имперфекта с *-ть* обозначали действие, по времени следующее за выраженным имперфектом без такой флексии или аористом; следовательно, это чисто синтаксическая позиция соединения разных формул с определенной риторической функцией, когда возникает ситуация безличности; ср.: *не слушаю, яко подобашеть...* У Кирилла Туровского наращение с *-ть* представлено в эмфатическом отрицании, при усилении типа: *и не имяхуть им вьры, а не вьровахуть ему, но не дадяхеть им*. В южнорусском переводе «Истории иудейской войны» Иосифа Флавия около 240 таких форм — больше, чем в любом другом древнерусском тексте.

3. Исконно имперфект образовывал свои формы от инфинитивных основ, но в древнерусском языке уже с XI в. стали появляться имперфекты от основ наст. вр.; списки переводной «Хроники» Георгия Амартола (XII в.) от основ наст. вр. дают как формы имперфекта, так и аориста; ср.: *осяде* — *осъде*, *подвиже* — *подвигну*, *выбъже* — *выбъгне* и др., также *ношаше* — *носяше* и под. Особенно это распространено от основ 5-го класса: *будяше*, *дадяше*, *имтяше*, *ядяху*, *ядяше*, но и от основ первых трех классов также (*живяше*, *сядяше*, *станяше*), тогда как при основах 4-го класса могут даже отсутствовать следы *l-epentheticum*; ср. примеры типа *славяше*, *купяхъ* и *купляху* (в Синод. *купляхуть*), *любяше*, *ставяше*, *мольяше* и *мольяше*

и под. В УС XII имперфект от основ наст. вр. представлен у 86 глаголов.

В «Повести временных лет» по Лавр. старые и новые основы смешиваются; ср.: *даху* — *даяху*, *бродяху* — *брожаху*, *вложяху* вместо *вълагааху*, также *вержаше*, *возвращаеться*, *сбудяшеться* и др. Новое соотношение с основами наст. вр. определяло иную степень чередования в основе гласных (*сѣдяше* > *сѣдѣше*) и согласных (*купаху* — *купляху*), а также наращения в основе (*станяше* от *стану*, а не от *стати*); ср. у Кирилла Туровского формы типа *понавляху*. В Московском летописном своде XV в. (МС XV) более тысячи форм имперфекта, в том числе от просторечных глаголов (*лаяху*, *кричаху* и др.), самый поздний из них в тексте 1475 г.; в большинстве они образованы от инфинитивной основы, но встречаются и новые формы типа *зовяшеть*, *припустяху*, *пуцаху* и т. д.

4. Формы двойств. ч., рано утраченные, совпадали с формами аориста, т. е. флексии *-шета*, *-шете* заменились на *-ста*, *-сте*, но достаточно поздно, примеры известны с XIII в. (ЖН 1219). В УС XII еще встречаются формы 2-го л. двойств. ч. *любляшете*, *кропляшете*, *можашете*, *бѣшете* и *бѣшета*, но *-ста*, *-сте* уже используются в новых по сложению текстах и переводах; ср. еще Е 1283: *бѣшета же оба*, *бѣшетася*, *та повѣдашета* и др., а новые формы встречаются редко. Наоборот, в переводах XII в., например в «Хронике» Георгия Амартола, формы двойств. ч. и мн. ч. не различаются и часто смешиваются.

5. Широко развивается и с конца XIV в. становится обычным нарушение в употреблении форм имперфекта по лицу или числу. В «Сказании о Мамаевом побоище» такие ошибки варьируют по спискам текста; ср.: *приѣхаша два от стражь его*, *два же етера въина уклонишася на десную страну*, *князь глаголаша*, *Олег и Ольгерд скончашася* и т. д.

Открытая длительность, выражаемая имперфектом, приводит к активному смешению его форм с формами наст. вр. Они взаимозаменяемы в текстах разного жанра при их редактировании. В сочинениях Кирилла Туровского по спискам XV в. нередко встречаются выражения вроде следующего: *Днесь народи **постилають** Господеви по пути ризы своя, друзии же, от древа ломящи ветвь, **постилаху** по пути*. В «Домострое» имперфект употребляется во вневременном значении, равном одному из значений наст. вр.; ср.: *И егда **ядяху** з благодарением и с молчанием... тогда ангели невидимо **предстоят** за столом*. «Житие Феодосия» (по УС XII) составлено по образцу «Жития Саввы» (сравнение по списку ЖС XIII), и Шахматов заметил, что формы имперфекта в древнерусском тексте соответствуют действительным причастиям наст. вр.: *моляся* — *моляшеся*, *хотяше* — *хотяща*, *бѣдяше* — *бѣдя*, *тружася* — *тружашеся*,

имтя — *имяше* и др. Это функция вторичного действия, которая передана различным образом.

В «Сказании о Мамаевом побоище» соотношение форм наст. вр. и причастий наст. вр. с формами имперфекта представлено очень выразительно: *яко торги снимаются, яко градъ зиждуще* и *аки громъ великий гремитъ* — по спискам варианты соответственно *снямашеся* — *зижеться* — *гласяще*.

Таким образом, по своим формам и их употреблению имперфект после XII в. сближался как с формами аориста, так и с формами наст. вр., но происходило это в разное время и по различным причинам. В древнерусском языке несомненным является совпадение имперфекта с наст. вр. по функции и по ударению, а с аористом — по известному значению, уже утратившему чисто временной характер.

10.4.3. Аорист

Противопоставление аориста имперфекту начиная с XII в. все активнее преобразовывалось в противопоставление по глагольным основам.

Совпадение основ аориста и имперфекта происходит в древнерусском языке, тогда как совпадение основ аориста и наст. вр. отмечалось уже в праславянском языке. И то и другое происходило после фонологических преобразований на стыках морфем, т. е. получало морфонологическое значение в составе словоформы. Не забудем, что отдельная словоформа в контексте речевой формулы пока еще представлялась более важной единицей, чем идеально мыслимая парадигма, а унификация окончаний идет в параллельной последовательности и по подобию, а не в границах собранной по общности глагольной основы парадигмы.

Общее направление изменений форм аориста и имперфекта определялось перегруппировкой основ, образующих эти формы. Возникли две взаимопротивоположные тенденции: дифференциация глагольных основ при одновременном совпадении флексий; при этом нейтрализация флексий становилась следствием перегруппировки глагольных основ. Так начался и на протяжении длительного времени активно развивался процесс утраты временных признаков различения аориста и имперфекта с параллельным усилением видовых их различий.

Совпадение форм аориста и имперфекта происходит до XV в.

В форме 1-го л. ед. ч. отмечается полное совпадение аориста и имперфекта, особенно благодаря редкости имперфекта в этой позиции. 1-е л. ед. ч. не встречается в Синод., всего шесть форм — в «Повести временных лет» (Лавр.): *веселяхся, мняхъ, хотяхъ, бяхъ* (дважды), *въ-*

дахъ. Структурным основанием совпадения стало стяжение форм имперфекта, а семантически оно определялось функцией имперфекта. *Съказа-ахъ* в ОЕ 1056 вместо аориста *съказахъ* — это выделение степени длительности действия, оно сохраняется в русских рукописях XI в., обычно в тех основах, у которых возможно чисто формальное повторение *-а-*; ср. всего три случая в И 76 (*изгла-ахъ, изгоняахъ, искаахъ*).

Это способствовало взаимному отстранению и тех редких форм аориста и имперфекта, которые еще сохранялись; вполне возможно, что они и сохранились как грамматически или лексически разные глаголы, главным образом у имперфективных, т. е. требующих формы имперфекта; ср. варианты типа *блхъ* и *быхъ* при возможном *бяхъ*, также и *вьдлхъ* и *вьдахъ*, *хотлхъ* и *хотяхъ*, *мнлхъ* и *мняхъ* и др.

Во 2-м л. ед. ч. противопоставление форм аориста и имперфекта отсутствовало; ср. в Сл. плк. Иг. *стрежааше*, два раза в «Повести временных лет» (*глаголаше, казааше*). По-видимому, во 2-м л. ед. ч. возможные формы имперфекта использовались для выражения контрастно-утвердительной модальности.

3-е л. ед. ч. очень частая в употреблении форма; отношение аориста к формам имперфекта в летописных текстах составляло 15 : 1, а то и больше, в Лавр. использовано 4580 аористных форм.

Формы 1-го л. мн. ч. полностью разрушают оппозицию аорист : имперфект. Известно не более десятка стяженных русских форм имперфекта типа *пловяхомъ* СП XI, *коупляхомъ* Синод., также частые в употреблении примеры *быхомъ* — *бяхомъ*; нестяженные формы в ОЕ 1056 (*слышаахомъ, надьяахомся*), а у некоторых типов основ таких форм имперфекта нет вовсе. Аористные формы образуются от обеих основ, поскольку стяженные формы имперфекта совпадают с формами аориста; аорист возможен от основ предельного (совершенный вид) и не-предельного (несовершенный вид) действия.

2-е л. мн. ч. дает много форм аориста, а форм имперфекта в текстах практически нет (исключение: *помышляасте* ОЕ 1056 и *исхожаасте* УС XII); все формы аориста образуются от обеих основ.

3-е л. мн. ч. как весьма частая форма имеет много вариантов.

Невозможно полагать, что в 3-м л. мн. ч. окончание *-ть* появляется по аналогии с формой 3-го л. ед. ч.: имеются рукописи, в которых именно 3-е л. мн. ч. дает новую флексию; ср. псковское Ев. С., в котором имперфект с *-ть* употреблен очень часто, но только в форме 3-го л. мн. ч. (исключение в 3-м л. ед. ч.: *прыцаашеть*).

В 1-м и 2-м л. двойств. ч. формы имперфекта не встретились, а в 3-м л. двойств. ч. они отмечены лишь для продуктивных типов основ.

Таким образом, формально оппозиция аорист : имперфект проявляется только в форме 3-го л. всех трех чисел, следовательно, разли-

чие между аористом и имперфектом несущественно в тех аспектах высказывания, в которых субъект (1-е л.) сообщает нечто адресату (2-е л.), но весьма важно в повествовании о ком-то третьем (3-е л.). Именно в таком смысле следует понимать раннее «разрушение имперфекта»; в действительности же как категория имперфект не утрачен, а только сузил свои функции, и именно с XI в. в качестве основного он получил значение действия, сопровождающего повествование в высказывании, а с XIV в. стал средством описательной изобразительности в тех жанрах литературы, где необходимо было показать длительность или повторяемость протекавшего в прошлом действия. Как следствие, происходило постепенное втягивание оппозиции аорист : имперфект в дифференциацию по глагольному виду. Когда писец Ип.1425, передавая текст Галицко-Волынской летописи под 1226 г., совершает ошибку: *Судиславъ же браняшеть ему, бѣ бо имѣяшеть леть во сердци своемъ* — он тем самым показывает, что глагольная форма *имѣяшеть* уже не сохраняет значения времени (здесь она соответствует плюсквамперфекту по смыслу и совпадает с причастием по форме), а видовое различие, показанное дважды (в том числе и связкой), еще не существенно, поскольку в основном предложении «видовое» противопоставление нейтрализуется в основе имперфекта *браняшеть*. Таких примеров, показывающих неопределенность видовременных отношений в это переходное время, очень много.

Взаимные смещения форм аориста и имперфекта происходили по линиям аорист 3-го л. ед. ч. — имперфект 3-го л. ед. ч., имперфект 3-го л. ед. ч. — аорист 3-го л. ед. ч., аорист 3-го л. мн. ч. — имперфект 3-го л. мн. ч. У форм аориста возможна замена 3-го л. двойств. ч. на 3-е л. мн. ч. (*посласта — послаша*), 3-го л. ед. ч. на 3-е л. мн. ч. (*посласта — посла*) и 3-го л. двойств. ч. на 3-е л. ед. ч. (*выгна — выгнаша*), а также 3-го л. мн. ч. имперфекта на 3-е л. мн. ч. аориста (*стаху — сташа*) или наоборот (*прогнаше — прогнаша, призваше — призваша, прияше — прияша* и пр.). Сравнение многочисленных редакций и списков средневековых Евангелий показывает, что только в рукописях середины XIV в. имперфект и аорист различались по «видовому» признаку, а в редакции XII в. они еще вполне действуют как самостоятельные глагольные времена (смещение наблюдается только в формах глаголов говорения и мышления). То же отмечается и в источниках XII–XIII вв.

В новгородских источниках аорист часто заменялся формами перфекта, а также имперфекта и наст. вр. в аористном значении.

Перфект вместо аориста раньше всего отмечен у глаголов состояния, следовательно, замена происходила на основе семантического сходства: замены типа *убилъ — уби* очень часты. Уже в начале XII в. перфект и аорист тождественны в некоторых своих значениях, иногда даже используются как синонимы.

Объективным критерием утраты аориста как категории являлось смешение его форм с «настоящим историческим», которое и само по себе появлялось только после XIV в. В XVI в. аорист сохранился как грамматическая форма, с помощью которой можно было передать самые разные значения. Так, в «Домострое» аорист употребляется в значении перфекта (*не осужах никого, не просмеивал, не укаривал никого*) и даже буд. вр. (*сия вся своя грехи презрехом и в покаяние не внидохом... и не накажемся*). Здесь аорист образуется от основ любого типа, смешивается в лице и числе, но никогда не представлен в форме 2-го л., поскольку это стало исключительной особенностью форм перфекта.

Согласуя все представленные данные, можно утверждать, что в древнерусском языке до XV в. активно:

— происходила нейтрализация форм аориста и имперфекта по числу (поскольку для категории вида различие по числу неважно);

— образовалась тенденция к нейтрализации основ по флексиям у аориста и имперфекта, в ряде случаев они не различались, представляя как обобщенные формы аориста *вообще* и имперфекта *вообще*;

— но различаются четко противопоставленные друг другу флексии 3-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. ч.

10.4.4. Перфектные времена

По основному своему значению *п е р ф е к т* — вневременная категория, происхождением обязанная необходимостью выразить качество субъекта действия, данное как состояние (результат) действия. На то, что перфект — вневременное время, указывает возможность его выражения как в наст. вр. (*есмь шьль*), так и в прош. вр. (*бхь шьль*) и даже в буд. вр. (*буду шьль*).

В отличие от имперфекта, относительного и по действию, и по времени, перфект относителен ко времени (к моменту речи в наст. вр.), поэтому последовательно употребляется со связкой во 2-м л., тогда как в 3-м л. связка сохраняется лишь тогда, когда перфект зависит от наст. вр. в главном предложении; это согласование типа *иду* — *есмь шьль*. В остальных случаях связка опускается или ее не было.

В новгородских памятниках, в том числе в берестяных грамотах, 3-е л. обычно без связки, но 1-е и 2-е л. — со связками: *въдале есмь, еси забыле, пришла есвь, възяла еста, рекль еси быль*. Связка сохранялась до XV в., затем постепенно стала исчезать — кроме *еси* или *если* в предложении не было личного местоимения; ср.: *а звало есмь вас в городе, а вы моего слова нь послушали; а целовало еси ко мнь, а не прислало, ясо погибло* и т. д.

Древнейшие тексты, даже в поздних списках, всегда при связочном глаголе, например в договорах с греками 912 и 945 гг. по Лавр. Без связки перфект встречается уже в И 76 (*не заповѣдалъ, прѣспѣлъ, прѣдложилъ, погубилъ, отнемогъ, покоилъ*), в ГБ XI (*тъ 'тот' чудися, и алькаль, и жядалъ, и тужилъ, и прослъзися*). В Гр. 1229 г. перфект уже часто без связки, в Русской Правде по НК 1282 только пятая часть перфектов сохраняет связку. В Лавр. на 20 тысяч глагольных форм употреблено 436 перфектов и половина их — без связки; опущение связки увеличивается к концу памятника (Суздальская летопись). Здесь много объективных свидетельств разрушения аналитической формы, например включение отрицания между составом формы (*еси не възьль, есмь не ведалъ, есме не човали*). В Галицко-Волынской летописи по Ип. 1425 в записях до 1261 г. — перфекты со связкой, а после этого года связка регулярно опускается. В «Хождении» игумена Даниила из 182 перфектных форм только треть со связкой, а в «Хождении» Афанасия Никитина (1472 г.) 169 раз без связки и только 51 — со связкой. Полвека спустя в «Домострое» связка отсутствует в 3-м л., а в 1-м и 2-м л. ее нет при наличии личного местоимения. В бытовой и деловой письменности XVII в. представлены только -л-формы, обычно без связки (которая может сохраняться в юридических текстах), а в переводных текстах перфектные формы употреблены шире, чем аорист.

Славянская форма *плюсквамперфекта* сохранялась до конца XII в., с XIII в. плюсквамперфект получил новую, собственно русскую форму вспомогательного глагола, тем самым возводя его в статус глагольной связки; ср.: *хрест есте были цѣловали* в Ип. 1425 под 1157 г., *есмы были шилъ* в Гр. 1229 г. и т. д. Теперь формы плюсквамперфекта совпадают со связкой перфекта: *есмы были шилъ* > *есмы шилъ*.

У Кирилла Туровского плюсквамперфект образуется еще только с помощью имперфекта *бѣ+ль*, но лишь в 3-м л. ед. ч. В Ип. 1425 под 1147 г. *уже, брате, где есме были думали пойти на стрѣя своего*, и дальше *далъ былъ* вместо *далъ бѣ*. В МС XV начиная с записей того же времени отмечаются новые формы плюсквамперфекта с перфектной связкой *естъ былъ*; ср. тот же текст в новой редакции: *и то были есмы сдумали пойти на дядю нашего, то уже тамо не ходи*. Ип. 1425 и в Галицко-Волынской летописи строго сохраняет старую форму *бяхъ (бѣхъ) + -ль*, которая выражала побочные или нереализованные обстоятельства главного действия, переданного аористом, и только дважды (1279 и 1288 гг.) дает русскую форму плюсквамперфекта *есмы были + -ль*. В Лавр. также сохраняются все примеры старого плюсквамперфекта с имперфектом *бѣ, бѣхъ*, правда, с возможным смешением лиц и чисел.

Уже не являясь причастием, форма на *-ль* еще не образовывала и самостоятельного прош. вр.: сложением двух перфектов называют

историки это метонимическое удвоение *есть былъ* — *шьль*, а в 3-м л. по общему правилу и без связки *былъ шьль*. В Синод. *суть пришли*, а в более поздних списках летописи *суть были пришли*. Даже в деловых текстах новые формы плюсквамперфекта употреблялись часто.

В отличие от перфекта в древнерусском языке формы плюсквамперфекта «до полного слияния не дошли» (А. А. Потехня), поскольку сменой связки устранили смысл категории. *Болеславъ же бѣ Кыевъ сѣдя* (Лавр.) ничем не отличается от *бѣ съдѣль* — в обоих случаях речь идет о процессе, имевшем место в прошлом и уже законченном в прошлом же. Все старые примеры образованы от глаголов предельных основ, т. е. выражали законченность прошлого действия, но исключали значение его результативности — оно несущественно в плане настоящего. Тем самым значение новой формы сближало ее с сослагательным наклонением. Говорят даже о выражении предполагаемого, но незавершенного действия с оттенком его условности. Оно стало обозначаться с помощью остатков формы в сочетании с инфинитивом; ср. у Аввакума: *хотел было меня на цепь посадить*.

Глагол-связка — это средство выражения лица. Поскольку плюсквамперфект употреблялся в форме 3-го л., где связка опускалась, ее утрата снимала идею лица в пользу идеи рода (*далъ, дала, дало*), т. е. более отвлеченного признака, что давало возможность передать отвлеченное представление о прошлом действии. На пути к этому обобщению возможно было появление промежуточных форм типа *бѣ пастыря еси сотворилъ* или *бяху бо ту вошли суть* в летописных текстах, т. е. *бы... сотворил, было... вошли* еще со связкой, которая согласовывалась с безличными *бѣ, бяху*.

Увеличение числа перфектов без связки с XIII в. демонстрирует утрату противопоставления *перфект* : *плюсквамперфект*. *Держати ти Новгородъ по пошлине, како держалъ отецъ твои* (Гр. 1264 г.) — значение плюсквамперфекта (отец уже умер). Наоборот, *и дахомъ 2 пути горьнии по своей волости* (Гр. 1262 г.) — аорист в перфектном значении. В безличном обороте без связки: *тако пошло, како пошло* (это и есть *по пошлине*). Но основы предельного действия в перфекте чаще со связкой, неопределенного — безразлично, но чаще со связкой. Устранение связки становилось признаком неопределенности высказывания.

С середины XIV в. бессвязочный перфект может заменять все прошедшие времена; ср.: *остави* > *оставилъ еси* в XV в. > *оставилъ* и *остави* после XVI в. Плюсквамперфект в метонимических переходах сокращает обилие перфектных форм, сводя их к единственной: *бѣше жилъ* > [аналогия] *есть былъ жилъ* > [компрессия] *жилъ-былъ* > [эллипс] *былъ* (*жилой, живой* и т. д.).

Но если плюсквамперфект исчезает как категория, он уносит с собой и признак перфектных времен: идею результата предшествую-

щего действия, и теперь все сводится к моменту речи как к основной точке отсчета действий. С полной утратой плюсквамперфекта перфект без связки стал выражать прош. вр. как самостоятельная глагольная категория.

Многозначность с в я з к и в 3-м л. обусловила раннее обобщение *есть* и *суть* в качестве имен, переведение их в ранг понятий о постоянно существе (*суть дела*) и имеющемся в наличии (*у нас есть...*). Но было еще одно условие утраты связки в 3-м л. (или ее известной неустойчивости в этой позиции). Речь идет о ритмомелодических особенностях речевой синтагмы, в составе которой связка всегда контекстуальна. И связочный глагол в своих формах, и личное местоимение были клитиками, т. е. отдавали свое ударение сильным формам синтагмы; ср. по московской рукописи середины XIV в. ЧЗ XIV: *азь бѡ, азь жеѡ, ты жеѡ, ѡ ты, ѡ мы, мы бѡ, ѡ вы, нѡ вы, вы бѡ, почто сѡ еси убоаяль, что сѡ вам мнит* и пр. На важность акцентных условий в преобразовании перфектных форм указывает не только отсутствие связки в формах 3-го л., но и функционально связанное с этим распространение связок в 1-м л. В обоих случаях, и в 1-м, и в 3-м л. в позднем праславянском по известному правилу оттяжки ударения с конечных редуцированных возникало нововосходящее ударение: *есмь* → *ѣсмь*, *есть* → *ѣсть*, *есмь* → *ѣсмь*, *суть* → *суть* — в отличие от форм 2-го л. *еси*, *естѡ*, *естѡ*. Поскольку по акцентным свойствам и по функции в синтагме (присвязочный глагол как *еще вспомогательный*) эти формы должны были оставаться клитическими, то возникла возможность выбора: либо сохраниться как связка — и тогда изменить свою форму путем сохранения окончательного и подвижного ударения, либо остаться при новом — неподвижно сильным — нововосходящем (новоакутовом) ударении и тем самым утратить право на использование в функции связки.

Первый путь был обозначен в формах 1-го л. По памятникам встречаем множество *фонетически мотивированных* форм связки в 1-м л., обычно противопоставленных по числу; так, в текстах Ивана Грозного и в северных грамотах, и в записях XVI–XVII вв. 1-е л. ед. ч. *есми* — 1-е л. мн. ч. *есмя*, в псковских памятниках XV в. соответственно *есми* — *есмѣ*, в Устюжском летописном своде начала XVI в. соответственно *есми* — *есмы*, *есмя* и т. д. Именно в форме 1-го л. мн. ч. такие замены появляются рано; ср. *есмы* в АЕ 1092.

Второй путь был использован для форм 3-го л., для которых сильное ритмическое ударение оказалось более существенным признаком, чем их употребление в качестве связки. Здесь стали распространяться замены связки — в виде клитичных личных (и указательных) местоимений. Что это перераспределение связочного глагола действительно было функционально оправданным, показывает «парадигма» Мелетия Смотрицкого. Он описал со связкой только форму 2-го л.;

остальные формы его «парадигмы» не перфектные, поскольку включить в них формы типа *есми, есмя* значило бы ввести в нормативную парадигму церковнославянского языка просторечные формы.

Уже в XVI в. перфект — основное глагольное время для выражения идеи прошедшего действия. В это время перфект образуется от основ несовершенного вида в имперфектном значении или в значении обычно совершающегося действия (с суффиксом *-ыва-* в модальном значении), от основ совершенного вида в аористном, результативном значении и в значении состояния и, таким образом, совмещает в себе прежние значения как перфекта, так и аориста. Встречающиеся еще формы аориста, образованные от основ совершенного вида, используются в плюсквамперфектном значении (как и формы имперфекта, образованные от основ несовершенного вида), и даже в значении буд. вр. — в зависимом от перфекта предложении. При этом ни аориста, ни имперфекта в живой речи уже нет, они используются в литературно-книжных текстах, на первых порах помогая формально разграничивать идею времени и идею вида.

Окончательный выбор перфекта для выражения абстрактной идеи прош. вр. оправдан несколькими совпадающими обстоятельствами.

1. Перфект с самого начала связан с моментом речи в плане наст. вр., а это стало точкой отсчета векторного времени как реального времени.

2. Перфект выражал не само действие, а его результат по отвлеченным признакам, который и востребован «теперь», в момент речи. Сравнение с диалектными формами «перфекта»: *он ушодши* — только от непереходных глаголов и всегда совершенного вида — показывает связь развития перфектов не с одной категорией вида, но и с категорией залога (результативность в отношении к производителю действия).

3. Причастие перфектной формы — носитель полученного признака — стало замещением г л а г о л ь н о й формы времени, поскольку и время в новой системе отсчета стало определяться не реальным своим течением, а признаками происходивших в нем событий.

4. В отличие от основ аориста и наст. вр., перфект уже в своей форме дифференцировал различия как видовые (в характере основы), так и временные (противопоставления во флексиях).

5. Субъект действия в перфекте различался не по лицу, что было существенно при характеристике прошлых действий, а по роду и числу, что, в свою очередь, вызывало появление особых типов предложения и развивало особое отношение к совершённым действиям.

Таким образом, в становлении перфекта как категории прош. вр. в разное время представлены:

— временное значение, связанное с отношением к реальному наст. вр.;

— результативное значение, связанное с видовыми отношениями;
 — качественное значение, связанное с залоговыми отношениями;
 — родовое значение, связанное с выражением рода в противопоставлении лицу.

Все эти особенности перфекта отражались начиная с XII в., когда:

— образовалась новая форма плюсквамперфекта, что привело к утрате перфектной группы времен как самостоятельной;

— увеличилась предикативная сила кратких причастий в связи с выделением полных форм как самостоятельной категории имен прилагательных (*горелый — есть горель, горячий — он горяч*);

— устранялась связка в самой частотной форме 3-го л., что приводило к утрате связи с наст. вр. и к разрушению правил последовательности времен;

— развивалась активная конкуренция с абсолютным прошедшим временем — аористом (в МС XV в записях до 1152 г. традиционные формулы даны в аористе, после этого — уже в перфекте);

— исходная экспрессивность составных сказуемых, преобразованных в сложные времена, долго использовалась в художественных целях, ср. употребление перфекта со связкой или без нее, но с личным местоимением, да еще в сочетании с выразительным по смыслу глаголом: *Ты же все сие забыль, отрыгнуль же еси вмьсто благоухания смрадъ* (Андрей Курбский в послании Ивану Грозному);

— утверждение перфекта в качестве единственной категории прош. вр. способствовало созданию гибких форм высказываний — суждений о состоявшихся событиях, делах или действиях, о которых можно было составить собственное мнение вне традиционных средств выражения мысли.

Усиление частотности перфекта и лексическое его расширение в границах системы как всеобщей формы прош. вр. постепенно устраняли присущую перфекту описательность, экспрессивность и известную временную относительность, возведя его в категорию прош. вр.

10.4.5. Будущее время

Как и в случае с прошедшими временами, множественность для выражения будущего действия является доказательством того, что они, все вместе или в отдельности, не представляли отвлеченной категории буд. вр., а выражали конкретные виды глагольного действия.

Грамматикализация перфекта была отчасти связана с формой сложного буд. вр. Соотношение прош. вр. и буд. вр. предполагалось пониманием времени как кругового движения. Можно думать, что преобразование форм и категории буд. вр. связано именно с пере-

осмыслением идеи буд. вр. как категории абстрактной, векторно направленной и лишенной ценностных признаков качества.

В отличие от родственных балтийских языков, славянский сократил форму буд. вр. Суффикс, с помощью которого в других индоевропейских языках образовывалось буд. вр. — *-s-* (греч. *σ* — сигма), у славян стал использоваться для образования сигматического аориста — вневременной категории абсолютного времени, связанного с прош. вр. Завершенность действия в прошлом и ее абсолютность в будущем в сознании древних соотносились.

Остатки форманта *-s-* иногда находят в древних глагольных основах, например у глаголов *слы-ш-ати*, *изми-ш-у* ‘погибну’ (от *минути*), *пла-с-ну* ‘запылаю’ (корень тот же, что в слове *пламя*), *обрь-с-ну* ‘обрею’ и т. д., но это столь давние времена, что принимать такие формы во внимание уже нельзя.

В ГБ XI и в других памятниках XI в. встречается действительное причастие якобы буд. вр. *бышяиштее* (ср. лит. *busianti*), но отнесение этой формы к буд. вр. спорно, хотя так считали многие авторитетные слависты, полагавшие, что вообще формы буд. вр. некогда являлись формами наст. вр. от недлительных основ (аориста) и выражали существующую в настоящий момент г о т о в н о с т ь к сочетанию признака с субъектом речи, т. е. будущее как актуализация наст. вр.

Иногда форму *бышяишти* понимают как перфектное причастие, образованное от аориста в 3-м л. мн. ч. *бышя*, который совпадал с формой им. п. ед. ч. мужского и среднего родов в причастии *бышя*. В христианских текстах эта форма служила для выражения различий между безграничным (*сущий*) и ограниченным (*бышяишти*) существованию; второе соответствует греческому слову со значением ‘сотворенный, возникший’. Таким образом, данная форма — мнимое буд. вр.; в тех же текстах она встречается наряду с *бышьнь*, *бышьство*, *бышьствовати* ‘существовать’, которые к буд. вр. отношения не имеют.

Системные основания отсутствия категории буд. вр. в древнерусском языке отчетливо сформулировал еще А. А. Потебня: «Мысль о действии, действительно совершающемся в настоящее мгновение, а между тем оконченном, немислима, потому что заключает в себе противоречие. Что я вижу, слышу и т. д. в это мгновение, то не может быть оконченным. Действие оконченное я могу представить себе только в прошедшем или в будущем», а это в отношении к наст. вр. одно и то же. Однако в древнерусском языке простое буд. вр. также выражало настоящее действие, потому что окончание обеих форм было одно и то же. Более того, и формы наст. вр. в несовершенном виде в древнерусском могли передавать значение буд. вр.; Потебня указывает более 50 глаголов, которые употреблялись в этом смысле, как в случаях: *и рече Редедя ко Мьстиславу: «Не оружьемь ся бьевь,*

но борьбою» (Лавр.) — или: земля еси и съ землею идеши (И 73) — одинаково в значении и будущего действия.

Даже форма *буду* в древнерусском языке могла употребляться в значении наст. вр. (в значении современного *будучи*), а в конструкции дательный самостоятельный она же могла принимать значение прош. вр. Здесь также проявляется то значение глагола, которое определяется как ‘становиться, создаваться’. В современном русском языке не развиваются *де е причастия* буд. вр., и вообще у категории буд. вр. наблюдается какая-то «разлитая модальность» по всем аспектам повелительности, сослагательности и т. д. По отношению к другим глагольным временам буд. вр. оказывается не всеохватным временем, что явно свидетельствует в пользу позднего ее возникновения как самостоятельной категории.

Указывают, например, на частое в грамотах смешение форм буд. вр. и повелительного наклонения. Но это понятная связь буд. вр. с оптимизмом — пожелательным наклонением, к которому восходят формы славянского повелительного наклонения. Форма наст. вр. в значении повелительном (*да здравствует!*) — это продолжение наст. вр. за пределы настоящего момента, что в средневековом представлении о временах и есть буд. вр.

До конца XV в. нет основания говорить о появлении в системе времен — уже независимой от правил последовательности времен категории буд. вр.

10.4.6. Простое будущее время

Современный человек находит его в формах наст. вр. от глагола совершенного вида. На приведенных примерах мы видели, что в древнерусском языке положение иное. Такая форма передает предположительную возможность действия: *а хто буде игуменомъ у св. Николы, ино... А кто смердъ, а тотъ **потягнетъ** въ свои погостъ*. Значения наст. вр. и буд. вр. нейтрализуются в функции постоянного действия. Несовершенный вид (длительные основы) в наст. вр. обозначал готовность к действию, или, говоря иначе, он передавал идею буд. вр., но описательно, поскольку само действие еще не осуществлялось.

Древнейшие приставочные глаголы в форме «простого будущего» (кавычки понятны) соответствовали по значению фазисным глаголам, также участвовавшим в образовании буд. вр., но как сложного времени: *по-иду, за-иду, у-иду* как *почну ити, зачну ити, учну ити, съ-творю* — то же самое, что *хочю творити; умеши нозь!* — ‘должна вымыть’; ср. в Лавр. некоторые реплики исторических лиц: *Поищемъ собь князя!* — *Похожю и еще...* и т. д. — призыв к действию или план

действий с модальным оттенком повеления, но не форма простого буд. вр. Время как категория в этой системе связано с реальными действиями и событиями. Это самое важное его отличие от современного представления о круге времен.

В летописных текстах высказывания о том, что река *потечетъ по...*, а затем *втечетъ въ...*, а кто-то *внидетъ въ...*, не имеют оттенка будущего, потому что выражают «постоянное настоящее», т. е. в том числе и будущее. Здесь представлено то же самое значение начала (или конца) действия, которое присутствует в основах данных глаголов наст. вр.

В значении буд. вр. вполне могли употребляться и формы «несовершенного вида», что обратным образом доказывает несущественность основы в представлении «будущего» действия. В Галицко-Волынской летописи по Ип. 1425: *И поѣха ко Батыеву, река: «Не дамъ полуотчины своей, но ѣду к Батыеву самъ»*. Реальное настоящее, которое переходит в идеальное будущее; в современном языке подобное употребление возможно; ср.: «Едем! — воскликнул он».

Богатъ мужъ возглаголетъ — вси молчатъ — в высказывании Даниила Заточника распределены начало действия и его следствие, которое длится.

У Аввакума в трех вариантах его рукописного «Жития» довольно часто чередуются формы перфекта и аориста, но формы простого будущего по-прежнему, как это было и до XVII в., выражают завершенность действия в наст. вр., т. е. представляют оттенки видовых отношений. Ср. в одном варианте: *брела, брела да и повалилась и встать не сможет, а в другом: бредеть, бредеть да и повалится; хотѣл меня пытати слушай за что*. Вариант — *послушай-ко за что*. Соотношение времен в текстах Аввакума вообще не выдерживает никаких правил — и это особенность всякой устной речи. У него, например, возможны описания: *Княиня меня в сундукъ посылала: «Я, де, батюшко, нат тобою сяду, как, де, придут тебя искат к нам»*.

Будущее ситуационно, и потому начало действия воспринимается как другое действие. Такое состояние сохранялось долго. В «Домострое» XVI в. наст. вр. совершенного вида, даже у приставочных, дается в общем ряду с несовершенным, но и здесь нет выражения буд. вр., это всего лишь модальность вневременного действия, разлитая на все виды реального наст. вр.

Наст. вр. в значении буд. вр. могло опознаваться не только реальной ситуацией действия, намеченного к исполнению, но и выбором глагола для его описания, т. е. словесно; ср.: *Въ нюже мѣру мѣрите, мѣритесь вамъ* (ОЕ 1056) с возможными вариантами по другим спискам *възмѣрятъ вамъ*. Действия, выраженные неопределенными по значению глаголами *бесѣдовати, глаголати, възвѣщати, боятися,*

творити, хранити, тьрпѣти и др., обычно в сочетании с неопределенными же *егда, аще, дондеже* и др. сами по себе обозначали действия, характер которых переходит в будущее, продолжается в нем. Семантическое «будущее», представленное на лексическом уровне, еще не демонстрирует грамматической категории буд. вр.

Идея буд. вр. изъявительного наклонения постоянно соотносилась с другими наклонениями глагола. Почти все глаголы 5-го класса, известные своим семантическим синкретизмом, могли выступать одновременно в различных значениях. Например, в высказывании *не ѡмь мяса въ вѣкы* (ПН 1296) форма наст. вр. в смысле будущего использована в повелительном значении. Формы буд. вр. не нужны, поскольку скрытая готовность к будущему действию выражалась оптативом (> повелительное наклонение), условным наклонением или неопределенным (инфинитивом).

Императив с отрицанием использовал основу предельного действия: *не упади! не убий! не укради! не тронь!* — своеобразное «предупредительное» значение повеления на будущее, которое отличается от более поздних *не падай! не убивай! не кради! не трогай!* с явно «запретительным» значением применительно к наст. вр. Обычное сопоставление двух форм в основах предельного глагола создавало ситуацию условного высказывания: *пойдешь — найдешь!*

Своего рода «будущее» время образуется в синтаксическом следовании инфинитивов; ср. в «Поучении» Владимира Мономаха: *Тако похваляю Бога и съдше думати с дружиною: или люди оправливати, или на ловь ѡхати, или поѡздити, или лечи спати* (Лавр.). Размышления князя, чем заняться, неопределенность в выражении возможных действий переносит в план неопределенного наклонения, хотя речь идет о будущем, по многим перечисленным пунктам наверняка проблематичном.

10.4.7. Сложное будущее время

На правах вспомогательных это время описательно включало различные глаголы двух семантических классов.

Модальные *имамь, имѣю, хочю* и т. д. с общим значением потенциальности действия в аспекте долженствования — в высоком стиле.

Фазисные глаголы *буду, учну, стану* и т. д. с общим значением начала действия — в текстах, уже разрушивших традиционные словесные формулы.

Имамь ти совмещает модальное и эмоциональное (стилистическое) значения с выходом во временное значение.

Хочю ти содержит модальное и видовое (длительность) значения с выходом во временное значение.

Начьну ити содержит видовое (законченность) и ингрессивное (способ действия: приступ к действию) значения с выходом во временное значение.

Буду ити содержит видовое (длительность) значение и особый способ действия (начинательное, как у всех глаголов с носовым инфиксом) с выходом во временное значение.

Таким образом, представление о времени является производным от других, выраженных конкретно лексически, признаков глагольного действия. Это в и д ы действий, тогда как и д е я буд. вр. «снимается» как р о д о в а я со всех видов подобных составных формул, в которых слитно представлены временной, видовой и модальный аспекты выражения еще не состоявшегося действия. Лексическое и грамматическое тут также слиты и проявляются каждое в определенном контексте традиционной синтагмы — формулы.

Группы с модальными глаголами и с глаголами фазисными во всех языках различаются принципиально, а фазисные, в свою очередь, представляют собой разные ступени грамматикализации аналитической формы буд. вр. Ср.:

<i>начни работать!</i>	—	<i>начал работать</i>	—	<i>начну работать</i>	—	<i>начну работу</i>
—		<i>стал работать</i>	—	<i>стану работать</i>		—
—		—		<i>буду работать</i>		—

Все три выделенные формы могут употребляться без местоимения, но по мере развития составных форм устраняется многозначность фазисного глагола, и единственным в специализированном временном значении в конце концов остается только *буду* + инфинитив. Именно такая форма и вырабатывалась как обобщенная на протяжении нескольких столетий, начиная с XV в. (в южнорусских говорах с середины XIV в.: Гр. 1353, 1388 гг. и др. — *будеть держати*).

Два типа описательных форм сложного буд. вр. весьма выразительны по внутреннему смыслу сочетаний.

Самые древние описательные формы буд. вр. связаны с глаголами *иму* — *яти* в значении ‘брать, схватывать’, *емлю* — *имати* в значении ‘брать’, *имамь* — *имьти* в значении ‘состояние принадлежности’ (которое не выражает никакого процесса).

Историки языка специально подчеркивают, что древнерусские формы составного буд. вр. не соответствовали старославянским описательным формулам с *имамь* + инфинитив, а были выработаны новые с *иму* + инфинитив (редуцирована в укр.; ср. *ходитиму*). Следовательно, древнерусская модальная форма связана не с неопределенно-длительным «имею» (типа *имею вам сказать*), а с определенным *иму* — *яти*. В таком случае древнерусские составные формулы деловой

письменности отличались и в значении, например: *иму дѣлати* буквально значило ‘беру(сь) (с)делать’, что сближает его со значением фазисных глаголов, в большей мере присущих древнерусской системе обозначений — не *имею*, а *вступаю* в действие. В некотором отношении это было связано с кругом глаголов, которые стали употребляться в данной формуле речи. Традиционно в старославянских текстах *имамь* + инфинитив употреблялись в сочетании с глаголами конкретного действия или чувственного восприятия. Расширение сферы употребления составной формулы на глаголы речи, мышления, отвлеченного бытия и т. д. видоизменило форму выражения от ‘иметь’ к ‘иметь намерение’.

Глагол *буду* имел значения ‘быть’ и ‘становиться’; в сочетании с инфинитивом эта форма по смыслу равна глаголу *стану*. Фазисные глаголы показывают конкретную начинательность действия, очерчивая границу времени, а отвлеченной идеи буд. вр. еще нет.

Учьну (*почьну*, *зачьну* и т. д.) и *стану* — глаголы совершенного вида. Указание на начало действия сделано, но само действие отчуждено от него: *стану сказывать я сказку* — начну, а что потом? Неопределенность обозначений с помощью фазисных глаголов подчеркивается их сочетаемостью с модальными, обычно в официальных текстах. Ср. в Мстисл. гр. ок. 1130 г.: *аще кто почьнетъ* [начало действия] *хотѣти* [его модальная длительность] *отяти* [собственно действие], все вместе — ‘захочет отнять’. Ср. также в Русской Правде (НК 1282) в статье о вдове, оставшейся в доме со взрослыми детьми: ***Не хотѣти ли еи дѣти начнутъ ни на дворѣ, а она начнетъ хотѣти всяко и съдѣти, то... дѣтям не дати вся.***

Здесь форма *начнутъ* употреблена в фазисном, а *начнетъ* не в фазисном значении; следовательно, подобные формулы в древнерусском не выражали идею буд. вр., это скорее условие возможного в будущем состояния, когда дети *начнут вы-двор-ять* свою мать, а та не *захочет* покинуть дом. *Начну* + инфинитив или *хочю* + инфинитив обладают одинаковым правом именоваться формой «будущего времени».

Таковы причины, почему на протяжении XVII в. формула *буду* + инфинитив активно вытесняет все остальные описательные формы сложного буд. вр. Формирование категории вида окончательно превращает форму *буду*, *будет* в отвлеченно временную и тем самым заканчивает формирование идеи буд. вр. *Буду* — глагол несовершенного вида, который после указания на начало действия связан с ним длительностью, т. е. *р а з в и в а е т* это действие с помощью основного глагола в инфинитиве. В бытовых и деловых текстах XVII в. формулы типа *учну* + инфинитив уже канцелярский штамп, а *стану* или *буду* + инфинитив выходят на уровень свободных описательных форм. Лудольф в своей грамматике конца XVII века отмечает только две последние формы как русские.

В собственных формах будущего русский понимает буд. вр. как некоторый прерыв постепенности. Движение описательных форм от *хочю ити* к *буду ити* есть последовательное устранение «будущего в неопределенности», в вещественной конкретности и в субъективных модальностях ощущения. Глагол б ы т и я с вещественным значением обозначает неизбежность наступления признака, выраженного в столь же (семантически) обобщенном инфинитиве. В отличие от модальности *имѣти*, *быть* выражает внутреннюю связь действий, а не внешнее к ним отношение.

Буду + инфинитив Юрий Крижанич в XVII в. считал оборотом, заимствованным из немецкого, но это не так. В западнославянских языках формула известна с XII в., а в русском закрепилась под влиянием польских переводов XVII в.; у Андрея Курбского формулы с *буду* очень часты, но они встречаются и у Ивана Грозного, правда, с обязательным употреблением полонизмов и украинизмов, на основании чего полагают, что текст писал не сам царь: в достоверно его репликах (их ни с чем не спутаешь) обычно *учну*, иногда *хочу* + инфинитив. Впрочем, в записях писцов в рукописях западнорусского происхождения XIV–XV вв. — явное предпочтение формулам с *иметь* — в отличие от псковских и новгородских, которые предпочитали *учнеть*, *почнеть*.

У Даниила Заточника только *иму* и *начну* с инфинитивом, в «Слове о полку Игореве» *почнуть бити*, в Русской Правде обычно с *начнеть*, *почнеть* и *хоцеть* реже, никогда с *буду*.

В «Домострое» XVI в. будущее образовано с помощью *учнеши*, *учну*, *почну*, в грамотах и «Судебниках» они использованы реже, зато выступает *стану*; у Ивана Пересветова только *буду* (*но будет царь мыслити*), что считают «западнорусским влиянием», что верно, поскольку в текстах Котошихина (того же жанра) позже обычно *учну* + инфинитив. В Летописном своде XVI в. и в круге памятников, связанном с Иваном IV, формулы с *будет* уже широко распространены, в том числе и у церковных писателей.

В XVII в. московские деловые и бытовые тексты сохраняют старые формулы с *учну* и *стану* (*буду* иногда в свободных сочетаниях).

В Улож. 1649 г. обычны формулы типа *учну* с инфинитивом, иногда их заменяют формы со *стану*, а с *буду* не отмечено; так же и в бытовых повестях того времени. В «Слове и деле» почти сотня примеров с *буду* + инфинитив в значении буд. вр.; это конец века. У Аввакума в его «простом вяканье» *стану* с инфинитивом обычно начинает каждый новый сюжет повествования как переход к теме (*стану опять про свое горе говорить*, *стану опять про бабь говорить*), но затем формула сменяется сочетаниями с *буду*. В письмах протопоп предпочитал русские формы типа *стану бранить*, *учнеть хранить*, *стану судить* и т. д., но никогда с модальными глаголами.

10.4.8. Второе сложное будущее время

Futurum exactum в еще большей степени соотносится с условным наклонением, но, в отличие от предыдущих формул, это условность реальная, «основание для будущего», по словам А. А. Потебни (чеш. *Futurum conditional*, т. е. будущее условное).

Всегда в составе придаточного предложения, подчеркивающего потенциальность действия, конструкция *буду* + *-ль* выражала «предположительное наклонение», обычно употреблялась в сочетании с *аже, оже, аще* > *будеть*, что Потебня и считал причиной условного значения всей конструкции в целом. Она не встречается в МС XV, в Суздальской и Новгородской летописях, в большинстве повестей XV в., в «Хождениях» этого времени, но возможна в юридических текстах (не во всех — нет в «Судебниках») и в грамотах; ср. в Русской Правде (НК 1282): *А что **будеть** с нимъ **погыбл**, то же ему **начнешь платити**; А оже [дети] **будуть** с нимъ [отцом] **крали и хоронили**, то **встх выдати** — независимо от предельности/непредельности действия, выраженного основным глаголом. В Русской Правде это еще составное сказуемое, сохраняющее согласование с подлежащим по лицу и числу. Согласование иногда присутствует до XV в.: *А что ся **будет починилъ** людемъ монастырскимъ убытокъ, и он имъ **доправит** на том же* (Гр. 1435 г.), или уже с утратой согласования: *А кто **будет... разошлись*** (Гр. 1418 г.), *а в каких **будет... подавали*** (Гр. 1486 г.) — с обобщением формы 3-го л. *будет*.*

Может быть, поэтому в новгородских памятниках с XIV в. (а в московских с XV в.) формула *буду* + *-ль* выступала в значении простого прош. вр., на первый план выходило значение «-л-овой формы». В IV Новгородской летописи *аще **будет крест целовали***, где *аще будет* — усиление условного союза дублирующим *буде*, а *крест целовали* — выражение прош. вр. Возможность выделения условного союза *будеть* > *буде* = *оже, аще* и бессвязочной формы на *-ль* показывает, что в древнерусском языке эта описательная форма никогда не существовала в качестве самостоятельной глагольной формы со специальным значением, даже модальным. Это свободное сочетание — составное сказуемое, выражавшее возможное в будущем действие. В традиционных для писцов записях типа *а **къдль буду опсался**, а вы... сохранялось* временное значение признака, который выяснится в будущем. Такое прошлое показано в отношении к моменту речи (а не в отношении к будущему как таковому) и потому совпадает с временем самой записи.

Развитие второго сложного буд. вр. происходило параллельно изменениям простого буд. вр. Когда наряду с формой *на́ду* появлялась форма *на́даю*, происходило естественное сокращение времени, опи-

санного формой *паду* «по направлению к однократности», по выражению Потебни. Другими словами, у исконной глагольной формы наст. вр. *па́ду* путем все новых противопоставлений, возникших в речевой практике, происходило постепенное «снятие» различных значений наст. вр., и длилось это до XV в., до времени формирования видовых отношений. Когда формы *паду* и *падаю* перенесли на себя различие во времени (наст. вр. — буд. вр.), тогда *буду* стало отчуждаться от «-л-овых форм» своей формулы, становясь условным союзом.

10.4.9. Развитие системы времен

Система времен исторически зависела от понимания времени, а оно изменялось, преобразуя систему временных категорий.

Языческое представление о времени — *вертун* (**vьrt-men*, это *вьрмя*); время движется по кругу в соответствии с природными циклами. Каждое время определялось своим ощущением: прошлое в памяти, будущее в чувстве и только настоящее заряжено энергией действия. Наст. вр. в грамматическом смысле содержит в себе и прошлое, и будущее. Прошедшее подобно пространственным измерениям, оно разработано детально, подобно размещенным в избе предметам. Будущее желанно, и отраженным светом от образов прошлого оно воспринимается как прошлое, но только в большем размере и в лучшем качестве; проявления будущего сплетены из модальностей, которые заменяют друг друга в символическом истончении чувств и образов. Будущее — оно же прошлое, и нет необходимости в особых формах, чтобы его описать. Только настоящее реально предстает в бытии как действие, понятно е всем.

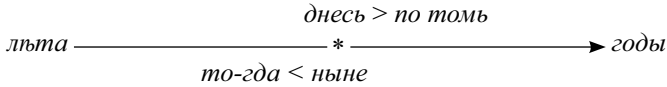
Время движется из еще не существующего будущего в уже не существующее прошлое.

Время поэтично. Мифологическое время — время абсолютных начал, в которые постоянно, в своей повторяемости, сворачивается будущее. То, что было, — еще впереди именно потому, что уже случилось. «Мы же на преднее возвратимся», — говорит летописец, возвращаясь к прерванному повествованию, начатому *прежде*. *Прежний* как отсчет времен зависит от *переднего* — отсчета пространств.

Относительность действия может быть противоположно направлена. Если речь идет о бытии, по отношению к которому субъект находится вне, тогда направленная отнесенность времен — из будущего в прошлое. Если же в центре действия находится сам субъект, тогда направительная отнесенность — из прошлого в будущее. В древности эти два временных потока — объективный и субъектив-

ный — совмещены и по-разному передаются в языке, в частности правилами последовательности времен.

Время э т и ч н о. Оно не движется, им измеряют движение. Кирилл Туровский в XII в. тонко противопоставляет времена в особых наречиях:



Дньсь — *сейчас, ныне* — *топърво*, т. е. теперь. Настоящее — точка разлома времен.

Накладываясь на старые славянские представления о временах как природных силах бытия, христианские понятия о временах как последовательности тварных событий преобразовали и д е ю времени, отложив полученное знание в грамматических категориях языка.

Сделан первый шаг от объективного восприятия времени к субъективному его толкованию; теперь, в наши дни, время стало векторным.

10.5. Категория вида

Категория **вида** выражает действие с точки зрения его объективного протекания вне конкретного времени, т. е. вне момента речи; в древнерусском языке еще сохранялись древнейшие средства выражения различных *способов действия*, в частности посредством различия глагольных основ. Поскольку в индоевропейском языке вообще не было форм наст. вр. от основ недлительного вида, только глаголы в значении начала действия — единственный тип недлительных основ — могли бы иметь форму наст. вр., но именно они дали впоследствии форму простого буд. вр. (ср. *лежу*, но *лягу*). Это предположение о том, что категория вида древнее категории времени. Предположение вполне вероятное, если учитывать общую систему глагола: временные значения передавались формами наклонения («субъективное время»), тогда как объективный момент действия выражался с помощью «вида». К тому же во всех индоевропейских языках противопоставление по времени раньше всего образовалось в формах 3-го л. ед. ч. и мн. ч., но как раз такая форма, по крайней мере у славян, вырабатывается в языке достаточно поздно. В содержательном смысле это значит, что необходимости в формах времени не было, пока разговор происходил между данными двумя собеседниками при *отсутствии третьего лица*, но в ситуации *конкретного действия*.

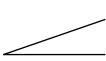
10.5.1. Вид и аспектуальность

Категория вида является древней и всегда была представлена в славянском языке, но исторически изменяла морфологические формы своего выражения. В древнерусском языке вид представлен как способ глагольного действия — лексически. Вид и залог — это те абсолютные категории языкового мышления, которые формально, как утверждают историки, «очень быстро изнашиваются», вызывая необходимость в их постоянном обновлении. Здесь, как и в перфектных временах, всегда много исключений, остатков прежних систем и частных случаев употребления тех или иных форм, разнесенных по конкретным лексическим группам или использованных в стилистических целях.

Это те категории языка, которые, постоянно изменяясь, никогда не завершают своего изменения, поскольку связаны непосредственно с самыми гибкими и изменчивыми категориями мысли, и факт постоянных преобразований вида и залога, отражающих в сознании человека объективную реальность бытия, свидетельствует о том, что язык активно развивается, что он по-прежнему «живой» и может служить человеку в его творческой деятельности.

Теория и история глагольного вида объединены термином «аспектуальность»; а с п е к т обозначает протекание действия во времени независимо от точки зрения наблюдателя — субъекта. Аспект выражается не только посредством глагольных форм и в разные времена в языке передавался различным образом.

В современном русском языке он представлен противопоставлением совершенного — несовершенного вида глаголов. Исторически морфологическое выражение категории вида образовалось из многих словообразовательных единиц. На истории категории времени мы увидели связь вида с выражением временных отношений. Аорист, имперфект и перфект в какое-то время не временные, а видовременные категории языка. Вид по содержанию тоже является темпоральной формой, но отражает не идеальное, а реальное время, например:

futurum 

Двоение сущностей на идеальное и реальное — основная установка реализма, ставшего философской основой русского сознания с XV в.

Развитие категории проходит несколько этапов, связанных с образованием такого двоения сущностей. Некоторые ученые полагали даже, что в «книжном» древнерусском языке основой видовых про-

тиво-поставлений явилось противопоставление времен в греческом языке: в славянских переводах с греческого аорист передавался славянской формой совершенного вида, а греческое наст. вр. — формой несовершенного вида. Это действительно так, но только потому, что в славянском уже образовались свои собственные формы, с помощью которых можно было с большой точностью передавать все оттенки греческой временной системы.

Различие между категорией вида и степенями длительности в современном русском языке показал Потебня:

<i>скакнуть</i>	—	<i>скакнуть</i>	—	<i>скакать</i>	—	<i>скакивать</i>
однократное		конкретно		отвлеченно		многократное
		длительное		длительное		

Здесь, собственно, две оппозиции, встроенные в единую градуальную пропорцию, как это и свойственно современному научному (логически привативному) анализу. Равноценность признака длительности («итеративности» в широком смысле) и определенности маркирована на противоположных членах экви-полентной оппозиции; в данном случае определенность законченного действия (*скакнуть*) и длительность многократного (*скакивать*). Длительность также может быть завершена (*скакнуть*), потому что она располагает и другим признаком качества: определенностью. В старых текстах такая ситуация отражена, в частности, смещением временных форм, более ясных для нашего сознания; ср. приведенные Потебней примеры из русских былин: *Умы в а е т с я водой свежею, он терся полотнцем камчатым*. Неопределенность длительности в данном совмещении двух синтагменных формул (а былина воссоздается как набор таких формул) важнее различий по времени, поскольку показаны действия сами по себе вне временных координат. Ситуация для былинных текстов обычная. Здесь время выключается, с тем чтобы объемно представить объекты действия в их конкретном проявлении.

Древнейшие различия основ не являлись собственно видовыми. В них дано конкретное противопоставление по способу действия: статальное, дуративное, инхоативное, итеративное и прочие значения материализованы в различиях по основам, в которых они представлены м о р ф о л о г и ч е с к и м и ч е р е д о в а н и я м и — формально, и принадлежностью к различным глагольным классам с их специальными значениями — с е м а н т и ч е с к и. Несводимость семантических и формальных признаков при выражении способа глагольного действия создавала ситуацию, скорее напоминающую функции категории определенности/неопределенности, чем категории вида. Притом это древнейшая категория, которая от видовой — чис-

то привативной — отличалась тем, что несла на себе следы первобытной эквиполентности. Как только что отмечено, пары глаголов типа *па́сти* / *па́дати* одинаково маркированы в обоих своих членах, отмеченных наличием того или иного признака: определенности у *пасти* и длительности у *падати*.

Общее развитие категории вида схематично можно представить следующим образом.

Из идеи определенности и длительности постепенно возникало представление о предельности/непредельности свершенного действия. Через предельность пытались осознать границу между концом и началом в круговращении времен. С точки зрения истории культуры этот, казалось бы, чисто языковой процесс есть процесс преобразования кругового времени в векторное.

Круговое время обозначалось посредством сдвоенного цикла его протекания — через последовательность презентной группы и через превращенную последовательность аористной группы, уже направленной к прошлому и характером временных форм, но данной как время завершённое. Введением видовых различий была сделана попытка изнутри, из конкретной семантики отдельных словоформ разбить жесткую «скорлупу» сложной системы временных форм, передающих идею реального времени. Чтобы выстроить векторное время

прош. вр. → _____ наст. вр. → _____ буд. вр. →?

необходимо было развести концы и начала, разрушив само представление о возможности будущего в прошлом или прошлого в будущем. Так образовалась категория предельности/непредельности действия, первоначально выраженная формами времени (аорист – имперфект), поскольку они имелись в наличии; вид впервые предстал в своем превращенном виде — как в и д ы с в о е г о р о д а, т. е. одно из проявлений времени:



Таким образом, основные направления категоризации вида могут быть описаны в связи с изменением категории времени.

Для категории вида противопоставление действия и состояния безразлично — у вида существенны различия во времени развертывания с а м о г о п р и з н а к а, обозначенного глагольной основой; в этом и состоит основное развитие данного признака в к а т е г о р и ю вида в связи с развитием категории времени. Вид выражает не объем глагольного действия, а содержание (признак) этого действия. Только совместно: объем действия через категорию времени и содержание действия через категорию вида — язык спо-

собен описать действие как событие с «бинокулярной» точки зрения наблюдателя.

На протяжении всего древнерусского периода «вид» есть словообразовательная, а не формообразовательная категория, он является внешним по отношению к спряжению, которое было единственным формальным признаком грамматической категории в древнерусском языке.

10.5.2. Этапы формирования видовых противопоставлений

Уже в праславянском языке изменилось прежнее, довольно четкое противопоставление по определенности/неопределенности, и вся градуальная цепь соответствий оказалась нацеленной главным образом на выражение предельности/непредельности действия.

Последовательность преобразования категории вида как *пра-вида*, *до-вида* и *вида* может быть представлена как обогащение признаком аспектуальности:

- 1) определенность/неопределенность (тип *вести* — *водити*);
- 2) предельность/непредельность (тип *веде* — *ведяше*);
- 3) совершенный/несовершенный (тип *веду* — *приведу*).

Исчезающая из системы категория имперфекта требовала сохранения видовых противопоставлений, прежде всего имперфективности, маркированным носителем которой и состоял в системе имперфект; происходило преобразование предельности/непредельности в категорию вида.

В указанных процессах важны два момента.

С одной стороны, происходило постоянное замещение старых значений новыми формами; например, итеративность (длительность), всегда сохраняясь, по-разному передавалась в изменяющейся видо-временной системе. С другой стороны, были возможны изменения функции в старых формах, например имперфект. Сначала имперфект был возможен только от длительных основ, затем стал образовываться и от других основ (предельность/непредельность), с тем чтобы, наконец, формироваться только от основ несовершенного вида. В изменении словообразовательных потенций имперфекта можно видеть своего рода различительные признаки на разных этапах преобразования аспектуальности.

На втором из выделенных этапов происходило переосмысление определенности/неопределенности конкретного контекстного действия в отвлеченно направленном векторе (предел, граница), представленного теперь как предельность/непредельность действия; именно в это время осуществлялось «снятие» с контекстных формул разнообразных приставочных образований, которые стали выступать в значении предельности.

На третьем этапе особенно важно, что в составном сказуемом с инфинитивом неопределенная форма употребляется в несовершенном виде (*нача ходити... начну ходити... стану ходити... хочу ходити... буду ходити...*) — по-видимому, это типологически воссоздает значения, прежде присущие перфекту, но уже не с помощью *-ль*-формы, а посредством безличной и внеродовой формы инфинитива, в известном смысле вбирающей в себя аналитические выражения речевых формул типа *въстав и рече, стал говорить* и под. В противоположность исконному перфекту здесь уже важно не только указать результат предшествующего действия, но и просто обозначить границу предельности действия — как еще только намечающийся переход к видовым противопоставлениям.

10.5.3. Определенность и неопределенность

На различных этапах преобразования аспектуальные различия представлены по-разному; рассмотрим «механизм» их порождения и развития.

На первом этапе формирование пред-видовых различий происходило в каждом глагольном классе отдельно, но непременно под давлением однокоренных глаголов другого класса. Это особенно заметно на истории тех глаголов, которые считают «двувидовыми» или вообще не отражающими видовых различий. В современном русском языке таких глаголов около 50 — типа *женить*, с обозначением и длительного процесса, и завершенного действия одновременно.

Способы глагольного действия представлены во всех языках, это лексическая форма выражения процесса — состояния. На первом этапе развития способы действия выражались только глаголами пространственного значения, они еще не связаны с временным пределом. Такое состояние отражают все тексты УС XII. Здесь на основе конкретных пространственных значений в приставочных глаголах формируется важный временной признак — результативность действия, т. е. перфектное значение (результативность, ограничительность, законченность и т. д.).

Это пра-видовое состояние еще не имело никакой системы. Оно определялось характером основ и классами глаголов. Соотношения типа *бъдѣти — блюсти — будити* и т. д., т. е. состояние (статив) — дуратив — каузатив и др., представляли собой извлеченные из конкретных контекстов словоформы, способные образовать градуальный ряд форм. При этом каузативное значение скорее соотносится с залогом, а дуративное — с видом.

Относительно самих форм «вида» можно только предполагать, что они противопоставлялись по признаку определенность/неопределен-

ность; ср.: *льзти* — *лазити*, *бъжати* — *бъжати*, *летѣти* — *летати*, *годити* — *жьдати* и др., где первые в паре глаголы обозначали действие определенное (по цели), а вторые — неопределенно длительное. С помощью первых переводили греческий аорист, с помощью вторых — имперфект. Поэтому в старославянских текстах (переведенных с греческого) отражен этот этап «видовых» отношений в эквиополентном противопоставлении одновременно и по виду, и по времени.

Многие формы глаголов по такому «виду» не совпадали с длительностью, определенностью или предельностью. Например, очень частотный глагол *речи* следует переводить не ‘говорить’, а ‘сказать’, поскольку в старославянских текстах от этого глагола образовано более 1400 аористных форм и ни одного имперфекта, а в Синод. 450 аористных форм при одной имперфектной; *речи* определенно не дуратив, не длительное действие, не состояние.

Исходной точкой развития пра-вида считают противопоставление различных основ: глаголов типа *нести* — *носить*, основ «начинательного» действия типа *ляже*, *сяде*, *гряде*, *буде* или противопоставление основ 2-го и 3-го классов типа *погыбаемъ* ‘готовы погибнуть’ — *погыбнемъ* ‘можем погибнуть’.

Постоянный рост массива глагольных пар типа *оборонити* — *обороняти* описан по многим средневековым источникам: для глаголов *вселитися*, *воцаритися*, *замедлити*, *умедлити* итеративные пары появляются только в XVII в., как и *измыслити* («Повесть о Шемякине суде») для *измышляти* (в писаниях старца Филофея начала XVI в.). От жанров и стилей процесс накопления коррелятивных пар не зависел, поскольку корреляция сама по себе системна, она разделяла все особенности средневековой градуальной оппозиции, и третий ее член также постоянно увеличивал свои возможности, воссоздавая все новые формы:

умыслити — *умышляти* — *умысливати*.

Парность видовых по жанрам к общему числу составляет в публицистических текстах 52%, в житиях — 35%, в деловых — 29%, в летописных и переводных — по 25%, в «Хождениях» — 23% и меньше всего в оригинальных новых повестях — 16%.

Относительность абсолютных цифр очевидна, она не играет большой роли, но помогает уяснить направление процесса: видовые пары организуются на стыках глагольных классов.

Примеры показывают, что формы несовершенного вида появлялись раньше, чем совершенного вида, а это значит, что еще отсутствовала оппозиция по виду — как такового вида нет, он никак не оформлен.

Таким образом, в праславянском (и в старославянском) языке древнейшее противопоставление *действие* : *состояние* свелось к новой оппозиции по способу действия, в которой маркированными также

были долготные основы дуратива (итератива) на $*-\bar{a}$, $*-j\bar{a}$, $*-v\bar{a}$, уже без участия нового глагольного класса старых основ на $*-\bar{i}$, но с новым классом на $*-n\bar{o}$.

«Действие длительное и многократное может представляться оконченным, не переставая вместе с тем представляться длительным и многократным», — писал А. А. Потебня. Так возникает иное отношение к характеру действия, и представление по определенности/неопределенности становится заключительным моментом этого преобразования. Толчок к грамматикализации определенности/неопределенности послужил созданию новой категории праславянского языка — имперфекта.

Особенно наглядно этот процесс виден на примере глаголов 5-го класса, которые в формах наст. вр. безразличны к идее вида. Однако столкновение с теми же глаголами 3-го класса приводило к формированию противопоставлений, которые удобно показать на формах глагола *дати*:

план:	прош. вр.	—	наст. вр.	—	буд. вр.
	<i>даць</i>		<i>даю</i>		<i>дамь</i>
	<i>давалъ</i>	—	<i>*даваю</i>	—	<i>буду давати</i>

(Ср. то же у пар: *въмь* — *въдаю*, *ъмь* — *ъмьдять*, *имамь* — *имью*.)

На подобном удвоении основ, а впоследствии и времен (аорист и имперфект, наст. вр. и простое буд. вр.) формально завязывалась идея вида, конечный смысл которой со стороны формы заключался в следующем. В отличие от категории времени, которая создавалась путем раздвоения системы (план аориста — план наст. вр.), категория вида формируется путем раздвоения словоформы, т. е. не парадигматически, а синтагматически, в еще большей мере, чем категория времени, опираясь на метонимический принцип смежности форм.

Таким образом, общий принцип заключается в том, что развивавшееся в праславянском языке глагольное значение кратности вступало в оппозицию к старым глагольным основам, сохранявшим значение определенности действия и противопоставленным всем итеративам: *ступити* ~ *ступати*, *хватити* ~ *хватати*, *ходити* ~ *хожати* и т. д.

10.5.4. Предельность и неопределенность

Второй этап видовых преобразований предварительно описан в разделах об имперфекте — аористе и наст. вр. — буд. вр.

Припомним, что не только в каждой глагольной основе, но и в

каждом глагольном времени категория вида в своих типах формировалась первоначально независимо, т. е. в системе презентя и в системе аориста вполне самостоятельно. Между тем в конечном счете категория вида не что иное, как результат противопоставления глагольного класса (основы глагола) и глагольного времени (выраженного флексией).

Видовые оппозиции сформировались в глагольной основе, противопоставленной флексии, которая традиционно служила формой выражения временных значений.

Окончательно современная система видов сложилась лишь тогда, когда выделенные из своих синтагм глагольные словоформы стали комбинироваться в парадигмы с пр я ж е н и я, далеко отойдя от синтагматических связей глагольных классов. Это случилось не ранее XIV в., когда сходства и подобия метонимической по существу системы (словоформ в соответствующих формулах) сменились сходством и различием (основ и флексий) в системе, создаваемой языком на метафорических — парадигменных — принципах.

Итак, только что описанный этап определенности/неопределенности развивал оппозиции по способу действия до пред-видового противопоставления длительности/недлительности основ. Это словообразовательный этап, поскольку противопоставление основ осуществлялось прибавлением с у ф ф и к с о в.

Первым таким суффиксом был суффикс имперфекта, появление которого вызвало оппозицию аорист — имперфект.

Образование имперфекта создало оппозицию по определенности/неопределенности, а его функциональное преобразование привело к оппозиции по предельности/непредельности.

В результате с помощью данных противопоставлений была обнаружена в сознании и описана в языковых формах объективная граница между концом и началом в круговороте времен; с этих пор время стало члениться на дискретные единицы, связанные с обозначением самого действия.

В древнерусском языке сохранялось противопоставление по определенности/неопределенности (в оппозиции глагольных основ), более того, оно распространялось на другие категории языка, даже именные (категории лица и одушевленности, формы имен прилагательных и т. д.), а это верный признак наступившего ее распада. Когда какой-то различительный признак расширяет сферу своего употребления, он может утрачиваться, унося с собой маркированный по нему элемент системы. В данном случае это глагольные основы в специфических своих значениях. Выразительность одной лишь основы оказывалась теперь недостаточной.

Параллельно с тем уже развивалась оппозиция по предельности/

непредельности действия, которая в сфере прош. вр. выражалась с помощью форм аориста — имперфекта. Это не было еще противопоставлением по виду, поскольку оппозиция осознается и фиксируется только в прош. вр. и полностью зависит от категории времени.

Промежуточный характер этой системы заключается в совмещении двух различительных признаков (эквивалентная оппозиция с неустойчивыми признаками различения, одинаково возможными у обоих оппозитивов):

определенность/неопределенность	неопределенность/определенность
аорист	имперфект
+ предельность	– непредельность

Неотмеченность имперфекта по новому признаку стала причиной вариативности его форм, а затем и утраты самой категории.

По мере устранения старого признака определенность/неопределенность усиливался второй признак различения. В примерах из перевода с греческого языка «Хроники» Георгия Амартола: *азь, Петръ, в себе моляхся и се... простеръ азь руцъ на небо молихся Богу, да низъринеться губитель; онъ же исповьда ему: «Видѣхъ некия ефиопляны... видяхъ водяци на мя уношема...»*, — заметно, что совпадение имперфектной формы с непредельным значением более вероятно, чем у аористной формы с таким же значением.

В традиционном употреблении терминов предельность именуется перфективностью, а непредельность — имперфективностью. В некоторых контекстах говорить об имперфективности имперфекта затруднительно; мы будем использовать оба термина.

В древнерусском языке связанность имперфекта с непредельностью была выше, чем у аориста связь с предельностью. В «Повести временных лет» имперфекты от предельных составляют $\frac{1}{23}$ всех имперфектов (53 раза в 23 контекстах) именно в архаических описаниях Киево-Печерского монастыря; ср.: *изидяше ис церкви, шедъ в келью и усняше и не възвратишеться в церковь*, чаще у глаголов 5-го класса, которые признают за двувидовые (*дадыше, будыше*); предельное (перфективное) значение здесь передано не основой, а наличием приставок у глаголов, которые в списках XV в. уже исправлены на бесприставочные. В том же тексте аористы от непредельных основ составляют всего $\frac{1}{8}$ употребленных аористов. В списках XV в. почти все имперфекты предельных основ уже заменены на непредельные; ср.: *умряше — умираше, сожъжаху — сожигаху, вложяху — влагаху, спряташеть — спрятываше* и др., или заменены аористом (*умряше — умре*) и другими формами (*будыше* исправлено на *бьяше* или на *будеть*). При исправлении двусмысленно символических конструкций приходилось жертвовать выражением либо предельности,

либо прош. вр.: *кто выльзьяше, абые уязвень будьяше* заменяется либо на *кто вылазьяше* — *уязвень бываше (бьяше)*, либо на *кто выльзеть* — *уязвень будеть*. Длительность и предельность могли сочетаться в XII, но не в XV в.

Форма аориста сама по себе не передает значение совершенного вида. Аорист выражает законченность временную, а не видовую, поэтому возможны аористные формы *избиваша, меташа, идоша* — в прошлом, но длительно; аорист обозначает единое действие, не расчлененное на моменты, целиком завершённое, но при этом одинаково как длительное, так и однократное. В «Повести временных лет» противоречие между определенностью глагольного действия и предельностью его осуществления представлено весьма выразительно.

Иде *Ольга в греки* и *приде* *Царьграду* — различие форм аориста обозначает способ действия, т. е. степень его определенности.

Но вместе с тем аорист показывал не момент во временной последовательности действий, а *х а р а к т е р* действия — точное определенно цельное. Такое значение ближе к виду, чем ко времени.

В парах типа *идоша* — *при-(и)доша* или (чаще) *по-идоша* историки видят отражение не видовой оппозиции, а конкретно пространственное выделение предела действия от... к...: *пошли* — *и пришли*; ср.: *сѣдяху по Бугу... присѣдяху к Дунаеву* и т. д. Определенность и предельность в древнерусских текстах еще не разведены формально. Со структурной точки зрения присоединение приставки к аористной форме стало средством подчеркивания *аористного значения* у аориста, когда *имперфективность имперфекта* начали выделять все новыми структурными средствами: характером основы, суффиксом, окончанием наст. вр. Особенно активны приставки *по-, вы-, при-* и некоторые другие, обязательно пространственного значения.

Что перераспределение аориста и имперфекта как временных форм зависело от контекста, ясно из сравнения разных списков летописи. Например, в Галицко-Волынской XIII в. (Ип. 1425): *и перешедше рѣку до свѣта, ту же и дождаша свѣта; восходящую же солнцю и начаша наряживати полкы, изрядивше же полкы и тако идоша к городу. Татарове же идяху поправу своимъ полкомъ, а отъ нихъ Левъ идяше полъву своимъ полкомъ.*

Идоша — определенное неопредельное действие, *идяху* — неопределенное неопредельное действие. Формы имперфекта как бы рассекают обычное и последовательное действие, выраженное аористами, и показывают то же самое действие (*идоша*) с разных точек зрения, в его внутреннем протекании.

Таким образом, совмещение неопределенности имперфектных основ с неопредельностью имперфектных форм в древнерусском языке происходит не ранее XII в., но к концу XIV в. уже завершилось, а это время окончательной утраты имперфекта как формы глагольно-

го времени и начала замены аориста на перфект; аорист предельных основ совпадает с перфектом предельных основ, т. е. происходит совпадение перфектности-предельности с перфектом.

Тут кстати заметить, что не только аорист и имперфект участвовали в образовании категории предельности–непредельности. Видимо, категории и перфекта, и плюсквамперфекта принимали участие в такой оппозиции, поскольку уже по происхождению в отношении к наст. вр. признак непредельности присущ перфекту, а признак предельности — плюсквамперфекту. Это можно видеть на старых текстах, косвенно указывающих на подобное распределение двух перфектных времен. Например, в текстах Владимира Мономаха (Лавр.) все плюсквамперфекты употреблены с причастием «совершенного вида» (*бяху пожгли, бяху пришли, бяхом услали, бяше заяль, бяше приложиль, былъ створиль*), а перфекты — с причастием «несовершенного вида» (*уганиваль, ловиль, дъяль, ималь, метала, топталъ* и др.). Вполне возможно, что преобразование исконной формы плюсквамперфекта в «русский» плюсквамперфект связано как раз с необходимостью в одной форме выразить различие по предельности/непредельности действия. Благодаря этому совпадению перфектов впоследствии перфект без связки стал основной формой прош. вр., поскольку мог включить в себя одновременно обе видовые формы (в различии по основам). Возможность выбора именного перфекта была заложена исторически в его структуре.

Все ранние приставочные образования указывают на переход от значений дуратива (могут быть предельными и непредельными) к значениям итератива (расчлененно-распределительного действия; только непредельные основы). Следовательно, и на уровне основ происходит смена точки зрения от определенности/неопределенности действия на разные формы выражения предельности.

Типично русским способом образования глаголов многократного действия стал новый суффикс *-ива-/-ыва-*, происхождением связанный также и с глаголами типа *насыповати*.

В языке XI–XIV вв. употреблялись также и отыменные глаголы с суффиксами *-ова-/-ева-*, обозначавшими с о в о к у п н о с т ь действий общего характера: *объдовати, пировати, коромоловати, гръховати, ратовати, съказовати, навътовати, съвътовати* и др.

В развитие этого типа возникают образования с *-ыва-/-ива-*, обозначавшие м н о г о к р а т н о с т ь действий общего характера; тем самым предметная совокупность была переведена в процессуальность многократности, которая сформировалась окончательно в результате переразложения некоторых глагольных основ, итеративов неопределенного «вида», с н и м а я новые суффиксы с глагольной основы: *бы-ва-ти > б-уд-/б-ыва > -ыва-*; *жи-ти/жи-ва-ти > ж-ива-ти* и т. д. В церковно-книжных текстах этот суффикс использовался редко, но в характерных глаголах типа *плачивати*.

В текстах XVI в. оба типа суффиксальных основ смешивались в употреблении; см. в «Домострое»: *наказывати — наказуеть, наказуй!* при *наказовати*. Известны споры XIX в. о правильном произношении форм *заведует* или *заведовает*.

Все первоначальные образования с этими суффиксами до начала XV в. являются бесприставочными. Они употребляются во всех временах, кроме аориста: *служиль — служиваль, ходиль — хаживаль, пахаль — пахиваль, крыль — крываль, стьяль — стываль* и т. д. от длительных основ. В Судебнике 1497 г. все формы на *-ыва-* только в перфекте: новый суффикс в актуальной форме. Возможны осложнения основ (*бывываль*) или действующие фонетические изменения в произношении (*дылавати, коповати*), иногда и с редукцией гласных (*вълодьваль* в двинской грамоте XV в.). Возможно также смешение двух суффиксов (*подкоповаютъ* в Радз. XV). Приставочные с этим суффиксом появляются сначала в переводных текстах, отражая, по-видимому, лексический состав оригинала; ср. в «Хронике» Георгия Амартола по списку XV в.: *прписываше, подкопываше, показываше* и др. Отдельные случаи употребления глаголов с суффиксами *-ыва-/-ива-* встречаются с конца XIV в., обычно в грамотах (ср. Гр. 1389 г., а также новгородские берестяные грамоты, в которых бесприставочные с этими суффиксами редкость). Тем не менее это еще не правило. В МС XV такие примеры отмечены только в конце текста. С XVI в. они становятся нормой и в деловых текстах употребляются на всей русской территории; в сборниках северо-восточных «Актвов» отмечено 40 глаголов, которые более трехсот раз употреблены с суффиксами *-ыва-/-ива-*.

В отрицательных конструкциях (а также в вопросе и при повелении) значение многократности нейтрализовалось в пользу ирреально модального значения; ср.: *не тягивал, не крадивал, не сытивал, не слыхивал, не даывал, не посыывали, не хаживал, не посуживати, не канчивати* и др. Отрицание признака снимает его длительность, даже если она формально обозначена суффиксом. Действия представлены не в смене их повторяющихся моментов, а в категорическом отрицании самой возможности таких действий, особенно при усилении отрицания; ср.: *нигде не встречиваль, никто не научиваль, никакъ не назывываль* — максимальная «интенсивность деятельности» (А. А. Шахматов), представленная в словесной формуле. Подобная нейтрализация по предельности/непредельности могла состояться только в средневековых градуальных оппозициях:

<i>назвати</i> — предельность	}	<i>назывывати</i> — ни то ни другое
<i>называти</i> — непредельность	}	

В имперфекте также возможно появление этого суффикса, который, по мнению А. А. Потебни, был явно избыточен, поскольку дублиро-

вал имперфективность самого имперфекта — формы типа *давываль* и сейчас понимают как наследие старого имперфекта, который исчез из языка как временная форма; ср.: *умыкиваху, не управляваше на нь* (Лавр.), *послушеввахуть, разграбливахуть* (Выг. XII) — в последних случаях с четвертым формантом — окончанием наст. вр. *-ть*. Формы на *-ыва-/-ива-* привели к окончательному устранению имперфекта даже в видовом значении, поскольку основы получили свободное имперфективное значение повторяемой длительности не только при обозначении прош. вр., но и при указании на наст.—буд. вр.

В переводе «Грамматики» Донатуса (1522 г.) латинский плюсквамперфект последовательно передан славянским имперфектом, но с суффиксами *-ыва-/-ива-*; ср. «парадигму»: *любливах, любливаше, любливаль той*; мн. ч. *любливахомъ, любливаште, любливаху*; также *учивах, учиваше, хаживах, хаживаше* и т. д. Совмещенность по функции имперфекта и данного суффикса несомненна. В текстах XVII в. образования на *-ыва-/-ива-* достигают самой высокой активности. В московских грамотах этого времени, в Уложении 1649 г. многочисленные примеры глаголов несовершенного вида с этими суффиксами, которые заменили старые формы на *-ова-*.

Таким образом, накопление немаркированных форм несовершенного вида (представлены как неопредельные) осуществлялось на протяжении XIV–XVI вв., а к XVII в. образовались соответствующие типы градуальных отношений:

покажу: *показую, показую, показавою, показываю...*

скажу: *сказую, сказую, сказавою, сказавою, сказываю...*

Категория вида складывается на принципах привативности; оппозиция по виду требует парности глагольных основ, а в средневековом языке преобладают градуальные цепочки близкозначных форм. Поэтому в границах предельности/неопредельности постепенно накапливались имперфективные формы — они не маркированы и могут варьировать. В деловых текстах XVII в. создаются корреляции типа:

выбрать — выбирать — выбирывать

зажечь — зажигасть — зажигаивать

назвать — называть — назывивать и т. д.

Обилие формальных вариантов неопредельного значения препятствует созданию определенной оппозиции по виду. Начинается устранение некоторых из вариантов, стилистически маркированных и семантически конкретных. XVII в. — время взаимного согласования парных форм по совершенности/несовершенности. Полагают, что именно развитие приставочных в основах с *-ыва-/-ива-* стало момен-

том окончательного оформления категории вида: несовершенный становился совершенным в своей паре (причем даже в имперфекте): *граблываль* — *разграблываль*.

Другими словами, совершенный вид стал в оппозицию к несовершенному путем оформления к о н ф и к с о в типа *раз-... -ива-*. В пределах словесных формул вырабатывался принцип различения по виду и выяснялась необходимость в обобщенном значении *процессуальности* как основного признака глагольного вида.

10.5.5. Формирование категории вида

В старорусском языке с начала XV в. происходили следующие процессы, связанные с формированием категории вида.

Во-первых, выражение предельности/непредельности действия во временных формах аориста и имперфекта переносилось на основы бессвязочного перфекта.

Во-вторых, видовременной синкретизм в сфере наст. вр. распадался на наст. вр. и простое буд. вр., поддержанное формой сложного буд. вр. (*буду* + инфинитив); противопоставление по виду распространилось на сферу наст. вр.

В-третьих, окончательно оформились новые структурные средства выражения видовых противопоставлений в виде суффиксов и приставок, круг которых расширялся, а грамматикализация усиливалась.

Все эти процессы происходили в живой речи с XIII в., а с XIV в. стали обозначаться на письме. В результате мы можем их проследить по текстам и описать.

Перфект по своей структуре не сразу мог заменить аористное значение предельности. Славянский перфект *есмь* + *-ль* в принципе не имел перфектного значения предельности действия, но постепенно такое значение в нем развилось в связи с преобразованием плюсквамперфекта в удвоенную перфектную форму *есмь быль* + *-ль*, а потом и в связи с утратой связки.

Видимо, новгородские памятники лучше других передают момент переноса видовых различий на перфект, тем самым отражая общерусскую тенденцию развития. В известном месте Синод.: *а далече есте или и вышли есте, акы рыбы, на сухо* — первый перфект употреблен в аористном значении (утверждается целостный акт движения, результат которого в прошлом — плюсквамперфектном прошлом), второй — собственно перфект, результат его действия в момент речи. Описание можно перевести в другой временной план, который лежит в подтексте: как соотношение имперфекта и аориста; именно так описывалось бы это событие в древнейшей летописи. Но временные

границы действия здесь вообще важны меньше, чем видовые: не-предельность первого перфекта покрывается предельностью второго. Все планы определенности/неопределенности, связи времен, соотношения основ и т. д. «сняты» общей формой перфекта, в формах которого просматриваются видовые противоположности. Они теперь в состоянии заменить всю сложную систему старых временных форм.

Ср.:

аорист: *би > ноби* — одинаково предельного действия

билъ естъ > билъ > побилъ неопределенность и предельность действия выражена в одной форме времени.

Перфект вытеснял аористы через глаголы предельного действия, полученные по аналогии с аористом; затем перфект стал вытеснять имперфект, поскольку сохранил в себе и основы неопределенного действия. Преобразование имперфекта было связано с развитием признака предельности/неопределенности; исчезновение имперфекта — развитием категории вида.

В преобразованиях самого перфекта как формы прош. вр. важно было устранить связь с наст. вр. — убрать связку. Этому способствовала внутренняя противоречивость формы, в которой сошлись глагольная категории лица (в связке) и именная — рода (в причастии).

С конца XIII в. находим пример совмещения аориста и плюсквамперфекта в перфектном значении результата: *осльшти очи ихъ и окамениль сердца ихъ* в Е 1283. Таких сочетаний становится все больше, а к моменту утраты форм аориста они употреблялись уже безразлично к перфекту. Так часто в XVII в. у Аввакума: *егда же привезоша мя на дворъ, выбѣжала жена ево Неонила*.

Аорист и имперфект как видовые формы накануне их утраты «отдавали» свои функции перфективности/имперфективности перфекту в определенных синтаксических структурах, чаще всего в синтаксически зависимых формулах речи и в придаточных предложениях, т. е. в позициях, не маркированных в отношении к виду. То же происходило и с формами наст. вр. у глаголов предельного значения; ср.: *егда рькы стануть — нарекоша путь ити на Юрья* (МС XV).

Вид еще подчинен времени, видовые формы зависят от обозначения временных пределов действия. Выбор перфекта всегда определялся характером основы главного глагола (обычно аориста), но выбор наст. вр. и буд. вр. безразличен, они воспринимались уже как видовые, а не временные формы.

Такая же неопределенность вида-времени существовала в плане наст. вр. Выделение признака предельность/неопределенность повлек-

ло за собой необходимость подчеркнуть видовые значения в ущерб временным. Некоторые ученые считают, что еще и до развития вида форма наст. вр. у глаголов предельного действия служила для обозначения буд. вр. Было бы опростетливо значение буд. вр. выводить непосредственно из характеристики вида — это всего лишь предпосылка к образованию форм буд. вр.

Ср. две формы наст. вр:

идти — *ид-у* — наст. вр.

пойти — *пойд-у* — буд. вр.

В обоих случаях представлено окончание наст. вр., и в древнерусском языке это одинаково формы наст. вр., тем более что видовое значение основы еще представлено как предельность/непредельность в градуальных вариантах: *пойду* — *выиду* — *заиду* — *уйду* — *переиду* — *сойду* и т. д.

Исчезновение признака наст. вр. происходило на фоне видового признака предельности действия, и только в связи с формой сложного буд. вр.:

иду
 / *буду идти (ходити...)*
 \ *пойду, выиду, заиду, уиду...*

Сложившаяся в сфере наст. вр. категория вида дала возможность для окончательного оформления категории буд. вр. С XVII в. вид как самостоятельная категория представлен в прош. и в буд. вр., но не в наст. вр., в котором он не может быть по определению. Наст. вр. длится, потому что оно описывает единственно *настоящее* действие. Приставочные типа *пойду* и др. сохраняли и лексическое, конкретно вещное значение. Парадоксальность положения состоит в том, что категория вида, обозначающая реальное протекание действия, используется при оценке такого действия в памяти о прошлом или в мечте о будущем.

Это уже третий, основной и заключительный этап формирования категории вида.

Напомним, что в современном русском языке глаголы совершенного вида не сочетаются с глаголами фазисными (*стану, начну*), со словами, выражающими действие нежелательное (*напрасно, не стоит*) или субъектно-отрицательное (*не нравится, не привык*), а также с идеей начала, продолжения или конца действия: они выражают действие цельное, непротяженное, недлительное, это точка, а не линия, как и аористное время в прошлом. Наоборот, несовершенный вид обозначает продолжительное, развивающееся действие и потому

может сочетаться со всеми такими словами, а сверх того, и с наречиями типа *долго, всегда* и под. В пространственном измерении это не точка, а линия, как и имперфект в прошлом. Вообще соотношение совершенного и несовершенного вида как точки и линии является сквозным их признаком, проходящим через все преобразования глагольных основ, начиная с древнейшего *действие — состояние*, в направлении к современной оппозиции по виду. Термин «вид» в его первосмысле — это ‘образ’, т. е. идея, которая на самых разных остатках глагольных основ постоянно облекалась в новые формы, пока, наконец, не развилась в логическую законченность категории глагольного вида.

Не всем указанным признакам соответствовало древнерусское противопоставление аориста имперфекту, выражавшее идею предельности/непредельности действия. Например, в зависимости от контекста даже простые формы аориста типа *веде, иде, тече* могли иметь и значение совершенного вида, — когда они указывали какой-то оттенок предельности как начала, приступа к действию (*иде на реки*) или как его завершения.

10.5.6. Развитие приставочных образований

Важным средством организации видовых противопоставлений в третий период становится выделение приставочных образований из синтаксического контекста. Разные приставки при общем корне как бы «собирали» различные оттенки действия в общий род — в грамматическую горсть категории вида: через предельность/непредельность пытались осознать *г р а н и ц у* между началом и концом действия.

Видовое значение получали не сразу и не все приставки, а только наиболее свободные от синтаксического контекста; по многим описаниям можно судить, что к XVII в. в русском языке почти исключительно видовое значение получили приставки *на-, у-, с-, о-, по-* и *за-*; остальные еще сохраняли свое конкретное лексическое значение.

С конца XVII в. к ним добавились приставки *от-, про-, раз-, воз-* или *пре-, вы-, из-*. В бытовых текстах определенно видового значения были приставки *по-, за-, у-*.

В «Слове и деле» 1614–1653 гг. обнаружено 498 глагольных пар с приставками, и только в 53 из них можно видеть определенно видовое значение. Поскольку словообразовательного значения такие приставки уже не имели, а формальное выражение категории вида еще не определилось окончательно, в текстах XVII в. можно найти множество примеров взаимного чередования приставочных основ, одина-

ково выражающих совершенный вид. Так, в различных вариантах «Жития» Аввакума возможны колебания форм типа *коли накормят, коли нять* — *покормят, показуеть* — *указуеть, посвятил (маслом)* — *освятил* и пр.

Варианты приобрели силу нормативного предпочтения и могли изменяться. Так, типичное оформление приставкой в нормативном юридическом тексте изменяется в зависимости от стилистических предпочтений данного времени: *восхочет* (Судебник 1497 г.) — *похочет* (Судебники 1550 и 1589 гг.) — *захочет* (Улож. 1649 г.); последняя форма и стала окончательно литературной. В составе устойчивых сочетаний (речевых клише) подобные варианты сохранялись до нашего времени, отражая момент своего складывания; ср. сочетания типа *до-кончить вещь, за-кончить вечер, о-кончить работу, по-кончить дело* и под. Безусловно верно, что процесс видообразования заканчивался уже на первой приставке, присоединенной к корню для выражения привативной оппозиции *совершенный* : *несовершенный* вид. Увеличение числа приставок к основе придает глаголу отличие в лексическом значении (обычно переносном), но на видовую характеристику не влияет. Если глагол с несколькими приставками нового значения не получает, он исчезает из употребления, как исчезли бесчисленные образования типа *из-на-ходити, из-об-говорити, ис-про-низати, из-от-(н)имати, ис-по-на-менивати* и др.; некоторые из них, несомненно, кальки с греческих слов, как это имеет место в Мстисл. гр. ок. 1130 г. (*изо-о-станеться*).

Постепенное накопление префиксальных образований дополнительно к уже имеющимся суффиксам «эпох» определенности и предельности привело к структурному оформлению глагольной основы в ее противопоставлении флексии. По мнению А. А. Шахматова, именно приставочные (а не суффиксальные) основы создают возможность противопоставления по виду. Однако во многих родственных языках приставки делают глагольные формы формами совершенного вида, хотя и в определенных только временных пределах (в латинском — в перфекте).

Суффиксация выявила оппозицию определенность/неопределенность, префиксация — оппозицию предельность/непредельность, конфиксация — оппозицию по виду.

В вариациях глагольных форм в «Судебниках» использованы только те приставки видового уже значения, которые определены как древнейшие: *воз-, по-, за-*. Вряд ли это случайно. Самой древней «видовой» признают приставку *воз-*, но, возможно, это древнейшая книжная приставка, а в разговорной речи ей соответствуют *по-* и *за-*. В Новгородской I летописи XIII в. (в Синод.) глаголы с приставкой *воз-* в списках XV в. заменены на глаголы с приставками *по-*, *за-*; ср.: *възгордився* > *загордѣвся, и възлюби мѣсто* > *полюби мѣсто* и т. д.

Это приставки пространственного значения, которые такое значение утрачивают.

Приставка *по-* употреблялась при отсутствии качественных изменений объекта действия и при постепенном осуществлении цели действия в сторону его п р е д е л ь н о с т и. В балтийских языках *pa-* используется только при указании на недлительность действия; связанная происхождением с префиксом **por-/*per-*, эта приставка выражала способность (готовность) к выражению действия: доказательство того, что предлог-приставка сохранила свои до-видовые значения (предельность как определенная готовность к действию).

Приставка *за-* использовалась при указании на отрицательное воздействие на объект.

Именно эти две приставки и сохранились во многих глаголах, образовавших переносные значения (свидетельство их давности); ср.: *травити* > *потравить* (постепенное движение к предельности) и *затравить* (уничтожить объект) — при новых > *отравить* или > *стравить*.

Рассмотрим историю приставки *по-* как показательной для решения вопроса о видовых оппозициях. «Видовое» значение приставки определялось как: 1) время, распадающееся на отдельные отрезки со значением повторяемости («прерывисто-длительная основа»: *попользоваться*) и 2) неопределенная по качеству кратность (*повѣдати* как *поведать*). Заметно, что указанные способы действия определяются общим смыслом конфиксов, а не одной приставки.

Уже в «Повести временных лет» по Лавр. приставка утратила пространственное значение, а с XVI в. определенно развила значение количественно-временное.

Отталкиваясь от пространственного значения (*потечеть по...*) и развивая временное в определенном его пределе, приставка *по-* стала обозначать начало действия, развернутого в одном направлении. Иногда последовательность *по... по...* согласованно описывает характер действия; ср. в Лавр.: (Олег) *посажа посадники по городомъ и дани поча брати* (1096 г.).

Исконное значение завершенности, предела в его целостности развивалось постепенно, снимая с контекстов усиливавшие глагольную форму видовые значения. Семантическая конденсация направлена ближайшим контекстом.

Приставка *по-* чаще других (за исключением столь же древней видовой *за-*) выступает в качестве второй в глагольной основе: *позабыть, подождать, повытрясти, поотвести, попользоваться*. В этой функции приставка получает «распределительное» (дистрибутивное) значение: *по-про-давати* (Псковская судная грамота XV в.), *по-от-давати*.

К XVII в. многие основы с *по-* «обновили» видовую пару к простому глаголу новым, семантически более определенным префиксом; ср.:

<i>будити</i>	— <i>побудити</i>	— <i>разбудить</i>
<i>дуровати</i>	— <i>подуровати</i>	— <i>съдуровати</i>
<i>гаснути</i>	— <i>погаснути</i>	— <i>угаснуть</i>
<i>зрубити</i>	— <i>позрубити</i>	— <i>съзрубити</i>
<i>драти</i>	— <i>подрати</i>	— <i>изодрати</i>
<i>портити</i>	— <i>попортити</i>	— <i>испортити</i>
<i>тонутти</i>	— <i>потонутти</i>	— <i>утонутти</i>
<i>красти</i>	— <i>покрасти</i>	— <i>украсть</i>
<i>мърѣти</i>	— <i>померети</i>	— <i>умереть</i>

В отличие от суффиксации, при которой возникало новое значение глагольного слова, перфективация прибавлением приставки развивалась долго и медленно по причине большей связанности префиксального глагола с лексическим значением слова. Отвлеченность видового префикса требовала максимального освобождения от лексической конкретности. Процесс грамматикализации вида состоял в том, что расширялась семантическая сфера глагольной основы, а префикс получал обобщенное грамматическое значение.

Конфигурация совместными усилиями приставки и суффикса вырывала словоформу из синтаксического контекста, представляя ее автономно как форму видовую; возникало полное соответствие отглагольным префиксальным образованиям типа *бес-страст-ие*, *беспри-страст-ность* и пр. В таком случае всякое глагольное действие воспринималось именно как развивающееся действие, а не расположенное на одной линии действие, не результат такого действия, не состояние, возникшее в результате такого действия, или, наоборот, не понуждение к такому действию, не констатация самого действия и т. д.

Древнерусский этап в преобразованиях категории вида — второй, связанный с развитием признака предельности/непредельности. В результате имперфективации основ создавались формы непредельных глаголов; основное средство — суффиксация; основная сфера реализации — прошедшие времена; основная оппозиция — эквиполентность, в которой имперфект не маркирован по этому признаку и потому возможно воссоздание все новых форм непредельного действия.

Параллельно развивалась префиксация как средство выражения предельности действия. Основная сфера ее реализации не связана только с прош. вр., но только там она создает новую систему противопоставлений, потому что противопоставление по предельности/непредельности получает возможность нейтрализации — в перфекте. Возможность нейтрализации коррелятивного признака различения

развивает совершенно новый тип оппозиции — привативный. Привативная оппозиция вырабатывает противопоставление по виду: совершенный и несовершенный. Накопление основ совершенного вида происходит и в сфере наст. вр.–буд. вр.

На протяжении XI–XIV вв. сохранялось большое количество дву-видовых глаголов, а многие бесприставочные вообще не вступали в противопоставление по предельности/непредельности глагольного действия (*дати, лечи, речи* и др.). В XV–XVII вв. устранялись дву-видовые глаголы, основы на *-а-ти* становились предельными в пару к новым основам с суффиксами *-ыва-/-ива-*, но многие глаголы 4-го класса все еще находились вне видовых противопоставлений; ср.: *вершити, весити, винити, женити, казнити* и т. д. Конфиксация создала условия для формирования категории вида, которая в современном ее состоянии сложилась к концу XVII в. Оппозиция по виду становится структурно оформленной, как только в одной и той же форме бессвязочного перфекта соединяются признаки предельности (в приставке) и неопределенности (в суффиксе): *из-вод-и-ти* : *из-вес-ти, при-дел-а-ти* : *при-дел-ыва-ти*.

Еще и в XVIII в. сохранялось много непарных по виду глаголов, а в первой половине XIX в. происходило активное усиление коррелятивного ряда совершенного/несовершенного вида путем устранения приставочных и суффиксальных дублетных форм. Все указывает на то, что процесс формирования категории закончился по содержанию и по структуре, но не завершился по составу видовых пар.

10.6. Категория залога

10.6.1. Понятие о залоге

Категория залога в ее общем виде выражает соотношение субъекта и объекта, данное через глагольную форму. История залога — это история сложения и фиксации субъект-объектных отношений, как они явлены в языке.

Следы древнейшего различения залоговых отношений (действительного и среднего, т. е. медиопассива) сохранились в славянском языке в виде глагольных классов, которые различались степенями чередования корневого гласного и характером ударения. Как уже сказано, в индоевропейском праязыке перфект и залог (медиопассив) генетически связаны, однако славянский язык развивал и собственные формы залога, исторически переносил их из форм причастия, различавшего страдательный и действительный (активный) залогов. В древнерусском происходило взаимодействие синтаксических категорий

переходности (отношение действия к объекту действия), залога (отношение действия к субъекту действия) и возвратности, т. е. совпадения объекта и субъекта действия, выраженного в форме глагола. У славян выработывалась собственная система глагольного залога, поскольку в индоевропейском языке переходность и непереходность различались слабо. В славянском языке преобразование заключалось в движении от беспорядочного употребления форм страдательного причастия и глаголов с формантом *-ся*, *-си* относительно в и да к более или менее систематическому употреблению форм совершенного вида у причастий и несовершенного вида у личных форм с *-ся*, *-си*, но уже в связи с формой прош. вр., т. е. параллельно (и в связи) с развитием категории времени:

деланный
он сделан — он делался.

Поскольку глагольный вид определял выбор страдательного причастия (совершенного вида) или формы глагола (несовершенного вида), следовательно, категория залога как морфологическая категория складывается после образования категории вида, т. е. не ранее XVII в.

В своих преобразованиях категория залога проходила несколько этапов, в общем совпадающих с этапами изменения категории вида.

В древнерусском языке залог синтаксически представлен в определенных речевых формулах, морфологически обычно посредством причастных образований; ср. в им. п. ед. ч. мужского рода *неса — несомь*: *несь — несень* и дополнительно перфектное причастие *есть несть*.

У личных глагольных форм залоговые отношения определялись переходностью — также синтаксически; у непереходных глаголов невозможно сочетание с прямым объектом («средний залог»: *стится*). Категория переходности связана с другими категориями: например, с категориями лица и одушевленности (которые сложились только к XV в.). Прямой объект мог быть выражен с помощью возвратного местоимения *себе*, которое в древнерусском, как и в древнеславянском, выражало идею 3-го л. в ряду *личных* местоимений. Употребление возвратных глаголов было равнозначно перенесению действия с себя на «третьего лишнего», т. е. обезличивало субъекта действия. Возвратное местоимение в таких случаях употреблялось в энклитической форме, имевшей свою парадигму *се, си, ся*.

Неопределенность и внутренняя противоречивость залоговых отношений, в которых личность редко выделена как акт и в н а я, требовали изменений, и они происходили в древнерусском языке.

10.6.2. Развитие категории залога

Довольно точно реальный ход развития данной глагольной категории представлен в такой последовательности.

Признак «рефлексивность» (возвратность) создает оппозицию *возвратный–невозвратный*, внутри которой отмеченные признаком глаголы различаются семантически и функционально: собственно возвратные (*мыться*), взаимно-возвратные (*целоваться*), общевозвратные (*лениться*) и др. Подобное различие могло возникнуть контекстуально на основе соединения с разными падежными формами возвратной частицы: род. п. *се*, дат. п. *си*, вин. п. *ся*.

Признак «транзитность» (переходность) у невозвратных глаголов образует противопоставление *переходный–непереходный* («средний»). В разное время в число маркированных средних включали различные группы глаголов: и непереходные типа *идти*, и глаголы на *-ся*, которые превращали переходный глагол в непереходный (общий) типа *бояться*, *лениться* и пр.

Признак «пассивность» (страдательность) от переходных глаголов образовал оппозицию *действительный–страдательный*, причем в форме страдательного залога чаще всего выступает страдательное причастие, соотносимое с той же глагольной основой, что и в действительном залоге:

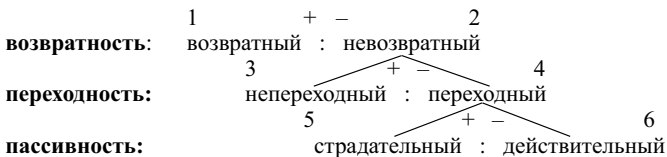
Том построил дом — Дом построен Томом.

Страдательный залог перфективен по определению, он выражает действие вне действующего лица, а такое действие обычно уже завершено и подается как результат — *о б е з л и ч е н н о*. Когда необходимо перевести сообщение в план наст. вр., используется возвратная форма:

Том строит дом — Дом строится Томом,

однако еще в XIX в. возможно было употребление страдательного причастия в наст. вр.: *дом построяем Томом*. Из этого можно заключить, что полное вытеснение «причастных оборотов» (Потебня) личными формами *-ся* происходило не так давно.

Таким образом, соотношение исходных лексико-семантических и синтаксических отношений в глаголе, связанных с залогом, может быть представлено следующим образом:



Левые, отмеченные по признаку члены каждой оппозиции могут употребляться с формантом *-ся*, у правых (кроме 4) это невозможно. Именно такое, по существу формальное, совпадение возвратных, непереходных и страдательных форм как выделенных общим признаком и осознается теперь как родова категория залога (*διάθεσις* ‘построение’), к которой на этом основании разные исследователи и относили различные виды *диатезы*.

Со времен А. Х. Востокова существует убеждение, что «залогии различаются не по окончаниям, а “по значению”, какое тот или иной глагол получает в употреблении с другими словами», потому что залогии в русском языке суть действительный, страдательный и средний (непереходные глаголы), тогда как различительный признак «рефлексивность» (возвратность) в понятие грамматической категории залогии не включается — это лексический признак.

Исторически все три уровня диатезы развивались совершенно независимо друг от друга и тем самым не создавали общей категории «залогии». Для возвратности важно устремление на субъекта действия, для пассивности — на объект, для переходности — собственные соотношения с любой падежной формой в качестве дополнения. Каждая из них в древнерусском языке до XIV в. обслуживалась своими собственными предложениями — словесными формулами; ср.: *я моюся — поставлень бысть епископомъ — перевезеся рьку* и т. д.

Оппозиция 1 : 2 невозвратным противопоставляет семантически разные группы возвратных глаголов. Исследования показывают, что в древнерусском языке возвратность была представлена прежде всего у собственно-возвратных (*купатися*) и взаимно-возвратных (*собираются*), а также у общевозвратных, которые обычно рассматривают совместно с глаголами на *-ся* страдательного значения. Все такие глаголы объединяет:

- отношение к одушевленным объектам, причем
- они не выступают в роли связки, что совпадает с параллельным процессом устранения связки в «-л-овой» форме перфекта, и притом
- одновременно совмещают в себе указание как на субъект, так и на объект действия,

— тем самым создавая условия для диалектического соединения лексической идеи возвратности и синтаксической идеи переходности в морфологическую категорию залогии.

Оппозиция 3 : 4 не разработана в языке до XV в. Множество примеров из рукописей показывают, что переходность глаголов была исторически формирующейся категорией. Естественно, что древние речевые формулы не нуждались в особых свойствах глагольных основ, способных своей формой передавать субъект-объектные отношения. Переходность долго оставалась лексико-грамматической категорией «объектности», поскольку не развилось еще сильное управление ви-

нительным падежом без предлога, да и сами глаголы четко не противопоставлены по переходности/непереходности, см. примеры типа:

<i>гънати напрасно</i>	—	мчаться <i>быстро</i>
<i>гънати отрока</i>	—	преследовать (отрока)
<i>яви ми сына</i>	—	показать (сына)
<i>вънезапу явиста</i>	—	явиться <i>неожиданно</i> и т. д.

Ситуативное ограничение определенным указанием в конкретной формуле речи почти любую глагольную основу могло взаимобразно представить как переходный и как непереходный глагол. Непереходные глаголы могли управлять не только вин. п., но и род. п., и дат. п., при них мог стоять и «нулевой» падеж, указывающий на отсутствие управления; часто такие глаголы употреблялись свободно, обозначая время, место, количество и меру; ср. примеры:

<i>сърьтоша и устие</i>	—	встретили его в устье (реки)
<i>и въскресе третий день</i>	—	и воскрес на третий день
<i>и погружаху гръшьники тысяцю лактъ</i>	—	на тысячу локтей
<i>свои кождо путь невозбраньно шьствуует...</i>	—	проходит свой путь
<i>провести мя житийскую пустыню...</i>	—	через житейскую пустыню

и др.

Оппозиция 5 : 6 становилась основополагающей в формировании новой категории залога. В древнерусском языке уже имеется категория залога, но представлена она только у причастий, которые на протяжении всего Средневековья преобразуются в деепричастия, вообще получают добавочное глагольное значение либо исчезают из системы (речь идет об исконных, т. е. кратких причастных формах). Прав был А. А. Потебня, когда говорил, что «залог есть формальное значение глагола, находящееся в связи с вещественным» — вещественность возвратности развивает отвлеченную идею залога, который и «есть отношение субъекта к объекту» — «зерно, из которого вырастает категория залога» (В. В. Виноградов).

В оппозиции 1 : 2 признаком различения отмечено *начало*, субъект действия (высказывания). В документах его выделение достигает высшей степени определенности, иногда являя плеоназм типа *се азъ, Мстиславъ Володимерь сынъ... есмь* и т. д.

В оппозиции 3 : 4 признаком различения отмечен *конец*, и избыточность форм его выражения (плеоназм) представлена именно здесь; так образуются формы со вторым вин. п.: *перевезе тя рьку ту*.

В оппозиции 5 : 6 обе части представлены в *общем соотношении* и, противопоставление субъекта объекту сведено к однозначному отношению, а все остальные сняты.

Преобладание идеи возвратности в древнерусском языке связано с общим процессом м е н т а л и з а ц и и, основанной на необходимости соотносить субъекта с его личным действием. Особая интенсивность развития именно переходности в старорусском языке после XIV в. связана с процессом и д е а ц и и, основная цель которой состояла в необходимости совместить описание действия и его признака через указание на объект, т. е. на цель самого действия. С конца XVII в. обе линии указаний на п р и ч и н у и цель действия, до того не связанные друг с другом, соединились в процессе и д е н т и ф и к а ц и и, смысл которой заключался в необходимости соединить разорванные начала и концы в общем соотношении с у б ъ е к т и о б ъ е к т — подобно тому, как это случилось с категорией времени, которая соединила разорванное движение от настоящего к прошлому и от настоящего к будущему в общую цепь векторного времени.

Соответственно этим преобразованиям изменялись признаки различения. Они также согласованы с различительными признаками видовременной системы.

Оппозиция 1 : 2 построена на признаке «определенность/неопределенность» субъекта, который выступает центральным элементом оппозиции. Оппозиция 3 : 4 построена на признаке «предельность/непредельность» — действия, которое направлено на объект, поскольку именно объект выступает центральным элементом оппозиции. Оппозиция 5 : 6 построена на собственном признаке «действительный/страдательный» в соотношении субъекта и объекта.

Принимая во внимание все сказанное, можно представить следующие этапы развития славянских залоговых отношений.

Древнеславянский (и старославянский), а также ранний древнерусский языки выделяют эквиолентную оппозицию:

действительный залог	:	средний залог
(действие для других)		(действие на себя)

Древнерусский язык развивал градуальную оппозицию различных степеней в о з в р а т н о с т и, выражавших сосредоточенность действий в субъекте. На этом этапе в сферу залога включались и глаголы, не бывшие средними, ср.:

<i>ождатьи</i>	<	<i>кого</i>
	/	<i>ся</i>

В старорусском языке набирает силу и к концу XVII в. оформляется привативная оппозиция «действительный : недействительный» (страдательный, пассивный) залог.

Различие между «типами залога» заключалось в том, производит ли действующее лицо действие определено себе, производится ли это действие в самом себе (предельность его вида), различается ли действие как активное (собственно действие) или пассивное (состояние).

Русская глагольная система на новых основаниях возвращалась к исходному индоевропейскому противопоставлению *д е й с т в и е* — *с о с т о я н и е*.

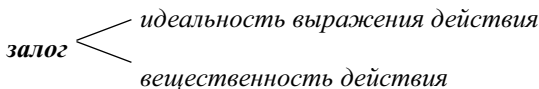
В утверждениях, что залог — это выражение направленности глагольного действия на субъект (возвратность) или что залог — это выражение направленности на объект (переходность), нет противоречия. Это различные этапы в формировании категории залога. При этом все форманты изменили значение в связи с преобразованием своих функций. Так, *-ся* сначала ограничивал выражение действия состоянием (средний залог), а потом стал выражать действие, но в пассиве (страдательный залог).

Современная система диатезы не могла бы создаться без всей суммы описанных, внешне как будто не связанных друг с другом изменений. Сначала следовало преобразовать синтаксический строй предложения, в границах которого выстраивалась семантическая перспектива высказывания, и разрушить традиционные речевые формулы, на материале которых и создавались залоговые отношения («страдательные обороты» Потебни). Затем необходимо было преобразовать систему глагольных категорий в связи с активным изменением системы имен, и прежде всего в связи с категориями одушевленности и вида, которые одинаково сформировались только к XVII в. Наконец, должны были произойти изменения причастных форм, а также завершиться те фонетические изменения, которые в совокупности с акцентными преобразованиями системы создали новый формант *-ся/-сь*, уже вполне готовый для того, чтобы передавать новые для мысли и речи, но весьма важные отношения, существующие в реальном мире.

10.6.3. Возвратность

Формальным средством выражения возвратности стало возвратное местоимение *себе* в форме клитики вин. п. *ся*.

Через определенную форму глагола залог характеризует соотношение подлежащего и дополнения с субъектом и объектом действия. «Залог есть формальное значение глагола, находящееся в связи с вещественными» (Потебня), т. е. реальным:



Таким образом, история залога — это перенесение залоговых оппозиций с неличной формы причастия на личную глагольную форму. Для осуществления этого причастие должно было развить предикативно-глагольные свойства, а личные формы глагола — выработать максимально (обобщенно) безличные свойства.

Не во всех случаях субъект действия является реальным исполнителем этого действия. Некий идеальный Агенс (действующее лицо) скрыт за видимым субъектом, который овеществлен в подлежащем (в им. п.). Также и объект действия не обязательно это действие претерпевает, и за ним тоже может быть скрыт некий Пациенс (испытывающий действие), представленный как Агенс.

Агенс–Пациенс (*A–П*) в содержательном смысле могут и присутствовать, и отсутствовать в двоичном отношении друг с другом. Возникает четыре синтаксически возможные позиции их распределения:

1. *A* имеется (+ глагол), но *П* отсутствует.
2. *A* имеется (+ глагол), и *П* имеется.
3. *A* отсутствует (+ глагол), но *П* имеется.
4. *A* отсутствует (+ глагол), и *П* отсутствует.

Грамматический текст, выражая соотношение между субъектом и объектом действия, одновременно содержит информацию о третьем — семиотическом — уровне: *A* и *П*. Другими словами, за грамматическим выражением могут стоять реальные субъект и объект; за предметным значением находятся реальные предметы (референты).

Синтаксические позиции залоговых отношений 1–4 в древнерусском языке заполнены каждая своим собственным классом возвратных глаголов:

1. Собственно-возвратные: *мытися, печися*.
2. Взаимно-возвратные: *братися, ротитися*.
3. Общевозвратные: *льнитися, боятися*.
4. Пассивные («страдательные»): *дѣтися, случитися*.

Последовательное развитие рефлексивных глаголов признается именно такое: от 1 к 4; иногда за исходные рефлексивы признают общевозвратные, но только благодаря их высокой употребительности в древнерусских текстах (до 60% всех рефлексивов).

Древнейшие тексты зависимость рефлексивов от местоимения *себе* показывают вполне определенно, даже у общевозвратных глаголов; ср. в тексте X в. («Шестоднев»): *Адам же и Евѡга не стыдяшете себе*, т. е. ‘не стыдились (своей наготы)’ в предложении с отрицанием у глагола *стыдитися*. Возвратный глагол актуализирует не признак (как причастие), а действие, но независимо от Агенса. Кроме того, в древнерусском языке сохранялось состояние, когда вин. п. мог употребляться независимо от залога и семантики глагола (*перевезтися тя рѣку* и т. д.).

При анализе древнерусских залоговых отношений важно учесть, что современное значение глаголов не совпадает с их значением в древнерусском языке; залоговые отношения сохранились только в словах с переносным значением.

С о б с т в е н н о - в о з в р а т н ы е глаголы указывали на действие, которое направлено на сам субъект: *умыватися* — *умывать самого себя*. В древнерусских текстах употребительность таких рефлексивов достигает 20%, среди них такие: *покрыся щитомъ, утвердилися върюю, самъ удавися, ущитятся щиты своими, явилься мнѣ, огня избавишася, Изяславъ же исполчися, не томися гнѣвомъ, дьяволь преобразися въ змию, и во Христа облечеса* и т. д. В древнерусском языке таких глаголов больше, чем в современном литературном, они соотносятся с переходным глаголом без *ся*; ср.: *крастися, лизатися, отертися, хвостатися (веником), обљчися, обнажитися, схоронитися, креститися, знаменатися, наречися, печаловатися* и др.

В з а и м н о - в о з в р а т н ы е глаголы особенно часто употребляются в летописных текстах, а среди них — в новгородских (до 10% всех возвратных глаголов). Взаимность действия подчеркнута лексическим значением слова; см.: *и цѣловашася другъ друга, да любятся межи собою, и еще бьемся с ними, паки соберутся вкупѣ, се мѣнися игумень съ, сразишася с нимѣ*. К числу взаимно-возвратных относились глаголы *сразитися, воеватися, боротися, битися, тягатися, видѣтисся, водитисся, умиритисся, рядитисся, совокупитисся, ссылатисся* и др. — все употреблялись только при именах существительных одушевленных. С присоединением приставки непереходный глагол мог стать переходным и тогда создавал (или усиливал) значение взаимности действия; ср.: *розьѣхати землю — разьѣхатисся, грозитисся* и др.; многие из таких исчезли из языка: *пърѣтисся, свадитисся* и т. д.

О б щ е в о з в р а т н ы е глаголы в основном длительного действия: *оже учинитися вира — сведется поле новгородцу* ‘если случится штраф — новгородцу идти на поединок’. Глагол выделяет действие в его независимом, но определенном направлении и не связан с выражением глагольного вида: действие описывается как потенциальное, но длительное. Здесь указан не реальный производитель действия (Агенс), а внешний по отношению к нему, неизвестный и притом проблематичный деятель, хотя иногда и указанный в форме им. п. объекта: *и потѣчеса конь подѣ нимѣ*. В древнерусском языке к обще-возвратным относились глаголы *ужасошася еси, пополошися людѣе, устрашишася душами, и жало его притупися, Святополкъ смятеся умолю, не смеркнетъ бо ся день, мужь мудръ одѣва осклабитися, събудется на томѣ, въздвижеся буря, и разгнѣвася Ярославъ, прѣставися Добрына, случися дѣло, и разболѣся князь, да не льнимся!* и т. д. Многие в таком значении сохранились в современном литературном языке.

Среди общевозвратных имеется много отыменных, большинство их без *ся* не употребляется (*трудится, случится, боится*), что показывает их вторичность в отношении к собственно-возвратным и взаимно-возвратным. Общевозвратные употребляются как при одушевленных, так и при неодушевленных именах, обычно обозначают перемещение в пространстве или душевные переживания; ср.: *дивится, сердится, гневается, ругается* и т. д. Отличие этих глаголов от двух предыдущих типов в том, что у общевозвратных нет другой возможности передать отношения обращением на субъект; ср. у взаимно-возвратных: *облобызастся* и *облобызаста друга друга*.

Все эти признаки дают основание считать общевозвратные глаголами среднего залога. К числу средних относили также глаголы *светиться, синеться, статься, пастись, княжиться, гниться, прощаться* и др. Иногда полагают, что *Reflexiva tantum* (постоянно возвратные) являются доказательством лексического происхождения глаголов типа *каются, трудится*.

Таким образом, выделение «среднего» залога образовало в древнерусском языке противопоставление по определенности/неопределенности в сфере глагольного действия. Что это так, подтверждает употребление глаголов без *ся* в таком же значении среднего залога; ср.: *Ярославнынъ голось слышитъ* ‘слышится’, *оже тяжа родитъ вь иное земли* ‘родится’ (Гр. 1196 г.), *женуть по насъ* ‘гонятся за нами’ (УС XII), *престави рабъ бжи* ‘преставился’ (граффити 1221 г.), и *оттоле почаша Печерскый монастырь* ‘начался’ или *в субботу родилъ сынъ у великаго князя Всеволода* ‘родился’ (Лавр.; здесь же без *ся* в возвратном значении глаголы *пишетъ, наушаетъ, воротил*), а также глаголы типа *гордить* — *гордиться, стыдить* — *стыдиться, святить* — *святиться* в общем значении среднего залога. В средневековых редакциях одного и того же текста глаголы с *ся* и без него неопределенно варьируются. Так, в «Сказании о Мамаевом побоище»: *татарови гониша* — *гонишася, подобает князю исполчитися* — *исполчити полкы, надобет урядитися* — *урядити, ускоряют татарове* — *ускоряются, слышахъ землю, плачушу надвое* — *плачушуся, горко плачуше* — *плачушеся, удариша на многыя стада* — *ударилася, умудриша насъ* — *умудришася* и под.

Семантическое различие активного и среднего залогов видят в наличии двух основ типа *бъчи* ‘обращаться в бегство’ (средний: состояние) — *бъжати* ‘быть в бегстве’ (действие) или двух значений в глаголах типа *быти, жити*, т. е. ‘пребывать в жизни’ (средний) — ‘обитать где-то’ (активный). Следы среднего залога в старославянских и древнерусских текстах видят в страдательных причастиях типа (не)угасим(ый), немърчемый ‘немеркнувший’, а также в существительных *гыбь-ль, обить-ль, обръть-ль*, образованных от глагольных

основ среднего залога **гыбь-*, **вить-*, **рть-* (при активных *гыбле*, *обръте* и под.).

Страдательное значение возвратных глаголов в древнерусском языке является фактом литературно-книжных текстов, в которых их употребление достигает 10% от общего числа рефлексивов. Историки полагают, что это значение, ставшее основным для выражения страдательного залога, развивалось от собственно-возвратных через стадию общевозвратных (средних). Это собственно-возвратные глаголы, полностью устранившие субъект действия: *и вдасться имь цесарь*.

Возвратность как категория не могла завершиться результатом, потому что не был выработан единый аффикс категории.

Выбор местоимения *се*, *си*, *ся* определялся семантикой глагола. *Бльйти си* — с клитикой в дат. п., но также глаголы личного переживания типа *мучилси-томилси* ('мучился сам', а не 'мучил себя'). А глаголы *бранится*, *ругается*, *слушается* и др. не имеют значения возвратности, почему и требовали бы формы род. п. *се* (*сэ*); в русских говорах именно *бранилсэ* и известны.

Таким образом, исходные речевые формулы, построенные на семантике глагола, различались разными частицами, которые не имели статуса аффикса. История залога заключается в обобщении *ся* как единственной формы обозначения возвратности действия на действующее лицо.

Род. п. *се* употреблялся в берестяных грамотах до начала XV в.; ср.: *понаболисе* 'позаботься', *се грозитьце*, *о томъ попецалисе*, *продальсе къ ми*, *попецялишисе*. Формулы типа *видя себе побъжаема* (УС XII) показывают, что возможно было и аналитическое представление такого отношения; ср.: *почто губите себе?* (Лавр.), *смирзя себе* — 'смиряться' (Ип. 1425). Аргумент в пользу формы род. п. был прост: говорят *боюсь дыма*, а не дым — следовательно, при таких глаголах следует употреблять род. п., а не вин. п.

Дат. п. *си* употреблялся чаще, в том числе и в берестяных грамотах (*не дъсциси сделати* 'не тщись'); в летописном тексте: *Андръеви же пришедшу ко отцю си* (по другим спискам *своему*) и *помощи брату своему си* (Ип. 1425): *и призри на церковь твою си* и *въ своя си возвратишася* (Лавр.). Обычно *си* употреблялось при глаголах переживания типа *си жалю*, *съжалиси*, *пожалишаси*, *просльзиси*, *сътоснувшеси*, *уладиси с братьею*, *съгруститиси*, *мьньтиси*, *печаловатиси*. Возможно, что при глаголах среднего залога сначала употреблялась именно форма дат. п.

При глаголах движения и действия обычно использовалась частица *ся*: *напилися бяхуть кумыза*, *кончаима же ся с ними*, *послашася к Святославу* и *доискася* и др. в летописных текстах, а также в устойчивых формулах с глаголами типа *догоръся*, *състужишася*, *податися* и др.

Таким образом, почти до XVII в. возвратная частица была представлена в различных вариантах, соотносимых с соответствующим падежом полного местоимения, т. е. *молю ти ся — молю себя/тебя, се печалите — не льстите себе, жали си его ради, жизнь си премъни — жизнь собъ премъни* и под.; такие частицы чаще всего располагались перед глаголом (в препозиции) и даже отделялись от глагола другими словами (дистантное расположение); ср.: *тебъ бо ся княже кланяемъ... боя бо ся Бога... аще ся въвадитъ волкъ въ овцыть...*, что характерно для них как членов предложения, но не как формантов в определенной парадигме.

10.6.4. Переходность

Формальным средством выражения залога являются формы страдательного значения, которые образуются в противопоставлении к глаголам действительного залога. Дальнейшие преобразования функций у страдательных причастий и возвратных глаголов происходили в пользу категории залога.

Оппозиции по возвратности и переходности связаны взаимной нейтрализацией. Прибавлением аффикса *ся* в современном языке запрещена переходность: *мыть — кого? что? — мыться*. Из-за отсутствия прямого объекта в данной синтаксической позиции становится невозможной возвратность: *пишу книгу — пишу* (но *пишется*).

Древнерусский язык не знает подобных ограничений, потому что до XV в. обобщение вин. п. до единственной функции прямого объекта еще не завершилось, и вин. п. в положении после глагола еще не выражал обязательно и только «категории глагольной объективности».

Синтаксическое единство предложения еще не перекрыло семантического единства словесных формул, последовательная цепочка которых и создавала древнерусское высказывание.

В отличие от современного русского (литературного) древнерусский язык сохранял много архаических особенностей в употреблении вин. п. как «общего косвенного падежа». На многих примерах из текстов в научной литературе показано, что в древнерусском языке были существенны следующие особенности.

Сохранялась сложная система обстоятельственно-определятельных значений вин. п.; например, в пространственном значении: *имъже высокая мѣста и жилища въселистася* (УС XII); *шьствующю же Феодосью путь свои* (ХГА) и др., особенно в расхожих формулах типа *ити путь, гънати путь, везтися рьку* и т. д.

Одни и те же глаголы одновременно могли выступать как переходные и как непереходные: *да судить ему Богъ — да судить его; та*

мьсти его — *мьсти за него*. Развивалось и активно использовалось варьирование объектных форм: *перевезе рьку* и *перевезеса рьку*. От непереходных глаголов еще могли быть образованы страдательные конструкции: *от челоувѣкъ чюдимъ естъ* («Пчела»); *пръведенъ бысть море, нами поклоняемый Господь и слышано бысть смерть Иулиана* (ХГА), *кланяюся единого Бога* и т. д.

При глаголе могли одновременно использоваться сразу два вин. п. объекта: *превозитися тя рьку* и др.

При этом (как уже показано в примерах) сохранялась возможность употребления возвратных глаголов с вин. п.: *радуясь вражду злу* (И 76) или формулы типа *молится молбу*.

В синтаксических конструкциях значения ближайшего и дальнего объекта не различались, например в сочетании с глаголами восприятия, речи и мышления: *видѣхъ болестъ его тяжьку суцю* (УС XII), т. е. ‘увидел, что болезнь его тяжела’, ‘которая тяжела’ и т. д., т. е. механически соединялись две речевые формулы вне синтаксической перспективы высказывания.

Сохранялось много плеонастических конструкций, дублировавших залоговые отношения: *сами себе божиемъ съвязашася духъмъ* (Выг. XII) или формулы типа (в Ип. 1425) *цѣловашася другъ друга, избихася другъ друга, научатся другъ друга*. Довольно широкий по своему значению славянский вин. п. при переводе греческих текстов часто заменял самые разные падежные формы оригинала. Следовательно, многообразие функций дробного по значениям вин. п. было коренной особенностью самого древнерусского языка.

Переходность как категория еще не сформировалась в древнерусском синтаксическом контексте. Очень слабые связи «управления» напоминают согласование, а не синтаксически и семантически сильное подчинение имени глаголу.

Формульные выражения типа *плакахуться сына своего, не радуясь вражду, речися ‘обещать’, подвизася добрый подвигъ, свататися дочь, перевезлися реку Оку, перебрался Неву, перевозокилися Волокъ, бродишася Клязьму* и под. сохраняли старые грамматические отношения и препятствовали созданию форм для выражения новых грамматических отношений.

В классических трудах по истории языка транзитивные глаголы назывались *переходящими*, а не *переходными*; выделялся признак активности таких глаголов. А. А. Потебня делил их на субъективные с действием, обращенным на субъект (возвратные), и объективные с действием на объект (переходные), которые, в свою очередь, могут употребляться с прямым дополнением (действительные) или без него (средние): *братъ меч* — *братъ* — *браться*. Представление о среднем залоге дает сопоставление с формулами типа *думу думати* или *горе горевать*, где действие направлено не на субъект и не на объект, а

сосредоточено в самом себе; *брать* — собирательность действия на себя.

Возможность в осуществлении переходности не обязательно реализовалась, поэтому говорится о действии, «переходящем» на другой предмет (или лицо).

Первоначально была представлена сосредоточенность действия на самом субъекте, без выхода на объект — *возвратность предшествует переходности*. Развитие объектных отношений вызывало необходимость в разграничении переходных и непереходных глаголов как самостоятельных синтаксических классов. Одновременно это было средством размежевания между глаголами состояния и действия.

Именно в этот момент создается формальное средство разграничения переходных и непереходных глаголов — *ся* у последних.

Но не только переходность, вид также определял меру и степень рефлексивности. Средний глагол при наличии приставки (т. е. при изменении видовой характеристики) может сочетаться с *ся*, сохраняя значение среднего залога:

стоит — *отстоит* — *отстоится*
лежит — *отлежит* — *отлежится* и т. д.

Глагол несовершенного вида от переходных с *ся* в современном языке употребляется только в 3-м л. (*доставляется*), никогда не образуется у форм повелительного наклонения, а деепричастие несовершенного вида не может употребляться с *ся*. В таких случаях возвратные глаголы (рефлексивы) действуют противоположным образом: образуют повелительное (*радуйся!*), а их деепричастия сохраняют *ся* (*умываясь*). Из этого следует, что возвратные глаголы как самостоятельно лексические рефлексивы образовались до формирования видовой системы.

Форма же страдательного залога образовалась аналитически с помощью страдательных причастий (*дом был построен в прошлом веке*); грамматисты утверждают, что эти причастия, противопоставляясь по виду и залогу, не имеют значения времени (оно передается с помощью связки). Следовательно, категория залога с противопоставлением «страдательный – действительный» сформировалась после категоризации вида.

В противопоставлении рефлексивам (возвратные глаголы) развились транзитивы (переходные глаголы) как самостоятельная лексико-синтаксическая категория. В соответствии с транзитивами развивалось противопоставление по виду: совершенный вид = транзитивы по признаку «предельность действия», но у переходных глаголов не во временном, а в пространственном измерении. Одновременно обоб-

щалась категория 3-го л., поскольку *ся* представлено как 3-е л., направленное на себя как «третьего лишнего».

Таким образом, последовательность в формировании глагольных категорий такова: *возвратность* → *переходность* → формирование категории 3-го л. → формирование категории вида → *залог*.

Вся совокупность изменений приводила к разложению традиционных формул устной речи и к выделению их центра — глагола — в парадигматический ряд словоформ, организованных идеально по новым признакам различения; ср.:

сь-говориться съ нимъ → *сговориться* с парадигмой спряжения
въ-думать-ся въ это → *вдуматься* с парадигмой спряжения
до-шутить-ся до... → *дошутиться* с парадигмой спряжения

Освобождение глагольных форм от ближнего контекста, в свою очередь, давало возможность для перестроения синтаксических структур. Система в своем развитии подошла к формированию категории залога.

Заключительным этапом этого изменения стало также преобразование бывшей клитики, а до XV в. частицы *ся* — в аффикс.

Мы уже знаем ее функцию, распределение, семантику в составе глагольных основ и формы, с которыми *ся* как обобщенный вариант всех однозначных частиц подходит к формированию залоговых отношений. Теперь определим этапы перехода *ся* в функцию форманта залога.

В Русской Правде (НК 1282) в препозиции к глаголу *ся* дает 64% от всех возвратных форм, в «Слове о полку Игореве» — 72%, в «Починении» Владимира Мономаха — 83%, в новгородских грамотах до XVI в. — 87%, в летописях и того больше: в «Повести временных лет» — 93%, в Синод. — 92% (490 раз), в Ип. 1425 — 89% и т. д. В МС XV число препозитивных *ся* уменьшается (75% слитно с глаголом), однако в прямой речи и в деловых текстах (грамотах) этого времени все еще преобладала препозиция частицы *ся*. В «Хождении» игумена Даниила (в поздних списках) из 138 возвратных глаголов только в 47 *ся* отделены от глагола, обычно в дистантном расположении клитик: *молю ти ся Бога*. Такое же положение в списках «Моления» Даниила Заточника. В «Сказании о Мамаевом побоище» старые формулы речи сохраняются, не затрагивая позиции *ся*: *яко бы ся не славило Господне имя в людех его; князь же великий самъ мало ся удръжа от слезь* и т. д. В этом тексте, который зависел от своих образцов XI–XIII вв., такое положение обычно. В ЧЗ XIV сохранялось еще старое распределение ударения, согласно которому место частицы определялось возможностью перенесения на нее ударения; ср.: *постыжюся, не стыжюся, но вселюся, боюся*.

Более последовательное расположение *ся* после глагола могло определяться стилем и жанром текста, например его связью со старославянскими оригиналами. Так, в И 73 из 320 возвратных глаголов 290 употребляют *ся* после глагола, а исключения касаются сложных сочетаний с частицами типа *не умъеши ли ся, описаетъ же ся, приближаютъ ми ся*; такое же положение в летописных текстах при передаче живой речи; ср.: *я ся самъ бояль, бѣ бо ся ему ввѣримъ, тѣ вамъ ся кланяемъ, аще се ся будетъ* — или в Гр. 1265 г.: *а мы ти ся, господине княже, кланяемъ*. Перераспределение акцентных характеристик формул еще не произошло в скоплении нескольких клитичных слов.

По-видимому, лишь после XIV в. обобщенный аффикс *ся* начинает соединяться с соответствующим глаголом на основах агглютинации, в течение XVI в. этот процесс завершился, хотя деловые тексты и в это время еще могли употребить частицу перед глаголом.

Путаница, возникавшая между значением рефлексивов и новой их функцией, приводила к удвоению *ся*. Значение *ся* как указание на непереходность глагола сочетается с указанием объекта в рефлексиве; таково это совмещение двух первых этапов в развитии залоговых отношений, т. е. определенности и предельности, но еще без выражения собственно залога.

В результате в различных текстах стали появляться ошибки в написании старых формульных сочетаний в составе нового по смыслу предложения; ср. в «Слове о полку Игореве» (это список XVI в.): *вежи ся половъцькыи подвижашася*; в этом тексте сохраняются старинные формы без *ся*: *рече вместо речется, также тьмоу ся поволокоста и въ море погрузисте* и под. Архаичная формула *ту ся брата разлучиста на брезъ быстрой Каялы* в переработке «Сказания о Мамаевом побоище» изменилась в *тутю ся погании разлучишася борзо* (но не по всем спискам — указание на индивидуальное творчество конкретных писцов).

Сравнение текста новгородской летописи по Синод. (в записях XIII — начала XIV в.) со списками конца XV в. показывает, насколько решительно изменилось употребление частицы при глаголах:

<i>и тако ся управиша по воли</i>	→	<i>и тако ся управишася по воль</i>
<i>а друзии кунами ся откупиша</i>	→	<i>а друзии кунами ся окупишася</i>
<i>и ту ся скопиша вои вси</i>	→	<i>и ту ся скопишася вси вои</i>
<i>о томъ бо ся злыи радуеть</i>	→	<i>о томъ бо ся злыи радуется и др.</i>

В самой рукописи Синод. употребление *ся* после глагола увеличивается со временем записи, причем частица в любом случае не стоит на втором месте в высказывании, т. е. уже не подчиняется ритмиче-

скому закону (в отличие от действительных клитик типа *а, ли, бо, же*): *отторгахуть бо ся на землю* и др.

В грамотах XIV–XV вв. обычны плеоназмы типа *что ся учинилось, а что ся будеть учинилося, какъ ся имуть печаловатися, живым ся обрѣтаюсь* и др. В грамоте уже XVII в. отмечена фраза, явно вынесенная из нетрезвой речи: *дьякъ с своим ся подьячимъ сами ся ведает*. Даже в тексте «Судебников» XVI в., в «Домострое» и других памятниках, приближенных к живой речи, такое столкновение старых форм с новой для них функцией вполне возможно.

Подобные примеры были возможны и раньше; при переписывании текста собственное представление о порядке следования морфем могло не совпадать с изображенным в оригинале, и тогда появлялись написания типа *никѣто же съмѣть ся прикоснутися еи* (УС XII). Уже писец ME 1117 опускает *ь* в *приложат(ь)ся*, тогда как при других клитиках *ь* флексии наст. вр. не опускается; это значит, что в рефлексивах *ся* начинала осознаваться как глагольная морфема.

В некоторых типах глаголов постпозитивное употребление *ся* сохранялось твердо; например, в древнерусском языке глаголы типа *свьѣтитися, помолодитися* всегда употреблялись с *ся*. В основном это глаголы взаимно-возвратные и средние.

Можно полагать, что удвоение *ся* в текстах XV–XVI вв. показывает различие в отношении к возвратности (уже вошло в состав глагольной основы) и к переходности — еще сохранялись некоторые незавершенные процессы, в конце концов приведшие к четкому противопоставлению переходных глаголов непереходным. Интересно, что в архаических формах аориста и имперфекта сращение *ся* с глаголами в памятниках XVI в. уже завершено, а это формы, передающие оппозицию по предельности/непредельности в прошедшем времени.

После XIV в. в качестве родового, одинаково относящегося ко всем видам форманта выступает редуцированный и потому обязательно лишенный ударения *-сь* (*-с*). В XVII в. этот процесс заканчивается. В «Житии» протопопа Аввакума 25 раз пишется *-ся*, 45 — *-сь*. Появление аффикса на месте частицы, утратившей семантическую и акцентную прикрепленность к определенной основе, привело к обобщению какого-либо одного полного варианта: на севере — *се* (*сѣ*), в центральных говорах — *си*, на юге — *ся* (*-са*). Только после XV в. можно видеть, что возвратность как лексическое свойство определенных глаголов перешла к непереходным и страдательным. Но и теперь рефлексивность в известной мере ограничена лексически; ср. у традиционно «средних» глаголов: *иду* — *пройду* — *пройдусь* (возвращение к значению среднего залога), но лексически невозможны **зайдусь, *выйдусь, *уйдусь* и др.; *сплю* — *просплю* — *просплюсь* и связанное с ним *высплюсь* (в среднем залоге), но невозможны **насплюсь, *засплюсь* и т. д.

10.6.5. Залог

Формальное средство выражения переходности — вин. п. прямого объекта, управляемый данным глаголом: *вижу — лес, знаю — брата*. Преобразование функций вин. п. в истории языка происходило в пользу переходного глагола. Двухзначность глагола в синтаксическом контексте определяется тем, что глагольная форма обозначает действие, указывая на признак, а причастие — действие в прилагательном.

Я построил дом — и он создан.

Дом создан мною — в результате построения.

Различие между **залоговыми формами** представлено в этом смысле.

Дом строится (строился, будет строиться) мною — объект действия всегда представлен глаголом в форме 3-го л.; ср.:

Дом построен (был построен, будет построен) мною.

В форме наст. вр. несовершенный вид передает действие, оно осуществляется реально.

В прош. вр. совершенный вид передает признак-состояние, действие в любом случае закончено.

Категория залога накладывается на видовые оппозиции, как до того категория вида в своем образовании накладывалась на временные оппозиции.

Поскольку залог выражает направленность/ненаправленность глагольного действия на подлежащее предложения, его возможности ограничиваются противопоставлением глаголов страдательного и действительного залогов. В таком объеме залоговые отношения были присущи причастиям.

Страдательное значение формировалось на основе общезовратных (средних) глаголов в определенном синтаксическом контексте в результате утраты значения переходности — таков первый этап изменений в сторону залога:

ругаю его → ругаюсь им (от него) → ругаюсь
даю что → даюсь → дается

После этого должно было появиться указание на постороннее для действия лицо (Агенс).

Из восьми типов диатез, типологически возможных в языке, в древнерусском не представлены только два: второй (*диплом пишется студентом*) и четвертый (*диплом пишется*). Невозможна ситуация, когда объект выражен подлежащим в им. п. Типы 2 и 4 выражаются с помощью способа, представленного в типе *диплом пишут*; ср.: *ибо локтем сажень зовут* (Лавр.) при современном *сажень называется (именуется) локтем*.

Залог как категория формировался на соотношении типов 1 и 2, т. е. действительного (*студент пишет диплом*) и страдательного (*диплом пишется студентом*). Страдательные формулы древнерусского языка еще не выражали страдательного залога, потому что указание на субъекта реального действия обычно опускали; ср. в Лавр.: *Чему е с и слъпилъ братъ свой? — Братья наша исьчена суть*. В первом случае имеется условное указание на действующее лицо (*еси*), во втором такое указание вовсе отсутствует.

С древних времен в подобных сочетаниях употреблялось краткое страдательное причастие прош. вр., образованное от переходных глаголов, как правило, предельного действия. Отсутствие указаний на действующее лицо придавало таким конструкциям безличное значение.

Несколько подобных выражений мы встретим в текстах. В предсмертной речи Пафнутия Боровского грустная мысль о том, сколько в жизни бесполезного: *угажено миру... и в срѣтенъе им сованося, и в бестѣдъ съ ними маньячено...* и т. д. В назиданиях Сильвестра сыну Анфиму в последней главе «Домостроя» слышится та же тональность безличного описания собственной каждодневной жизни: *со всеми теми мастера... дал Бог, разлезенося без остуды... никому ни в чем не сълыгивано, ни манено, ни пересрочено и не богатством житю з добрыми людми... по государеву наказу кому што велено... или кому приказано... как наказано, то и добро...*

Сравнение личной формы с пассивной показывает различие, существовавшее между ними до окончательного сложения залоговых соотношений; ср. в грамоте: *Сена старецъ Симион купил на сорок алтын... сена куплено на сорок алтынъ*.

То же в соотношениях типа *даль — дано, заплатилъ — заплачено, продалъ — продано* и т. д. Страдательное причастие имеет результативное значение независимо от временных отношений (оно еще «не совсем глагол»), особенно в сочетании с приставкой, которая придает значение предельности действия; бесприставочные тоже сохраняют перфектное значение, но в итеративе: *давано, квасено, сижсена* — неоднократно. Состояние представлено как результат; результат — как состояние.

В литературно-книжных текстах действующее лицо при страдательном обороте могло обозначаться сочетанием *отъ* + род. п. имени или творительным деятеля. *Отъ* + род. п. представляет собой кальку с греческого *ὄπδ* + род. п. или *ἐν* + дат. п. (значительно реже). В договорах с греками X в. (Лавр.) *отъ* + род. п. представлен часто; также и позже: *дано ему отъ отца моего = ἐκ τοῦ πατρός μου*. В церковных текстах «Повести временных лет» 51 раз использован творительный и 67 — *отъ* + род. п.; творительный редко, в разговорных сочетаниях типа *тѣмже и грамота прозвася словньская; земля руска благослови-*

ся ваю кровью. Как правило, все страдательные причастия в «Хождении» Даниила используются при отсутствии указаний на действующее лицо: *ту ся погребаютъ странъни пришельци; и нынѣ поминаются имена ихъ, но положено бысть тѣло честное; церковь есть создана во имя святого и др.*; с *отъ* + род. п. всего 10 раз (*нынѣ разорено есть отъ поганыхъ, отъ тѣхъ рѣкъ наполняется озеро и др.*) и редко тв. п. (*ту жесть святой камень, принесенъ ангеломъ*). У Кирилла Туровского обычно *отъ* + род. п., но возможен и тв. п.: *страхомъ бо Его, рече пророк, движется земля, расседается камене... горы курятся*.

Агенс с *отъ* + род. п. распространен в старославянских текстах, откуда и попал в древнерусские источники. Творительный деятеля распространен шире, но даже в деловые тексты он попал достаточно поздно, позже того, как проник в литературно-книжные жанры. Отсутствие в пассивных оборотах указания на Агенса до XVII в. являлось признаком принадлежности к народно-разговорной речи. Вполне возможно, что собственно русской является формула *у* + род. п.; ср.: диалектное *у нихъ идено*, разговорное *у насъ сделано* и т. д. Это соотносится с выражением действительного залога (*у насъ есть дело*) и показывает, что в древнерусском языке важно было не отложительное значение (*отъ* + род. п.), а скорее значение принадлежности, включенности в процесс, указанный глаголом.

Все такие обороты образовывались как от переходных, так и от непереходных глаголов, что было бы невозможно в выражении залоговых отношений. Связь действия с действующим лицом еще разорвана вхождением глагольной формы в различные формулы речи, которые по-прежнему обычно двучленны.

Даже косвенное указание на действующее лицо представлено как безличное; ср. в Сл. плк. Иг.: *пути имъ въдоми, яругы имъ знаеми*, т. е. известны им.

В древнерусском языке страдательные причастия по значению были близки к прилагательным, т. е. обозначали признак сам по себе, без указания на источник его возникновения. *Князь нашъ убьенъ* — *князь убитъ*, и таково его состояние. Развитие страдательного залога заключалось в усилении его предикативности, т. е. в получении глагольных функций, хотя и ограниченных — например, без противопоставления по времени, а только по виду.

С содержательной точки зрения это значит, что русский язык очень долго сохранял особенности активного строя высказывания (*убиша князя; локтемъ сажень зовуть*) даже с предпочтением безличности обязательному указанию на действующее лицо.

Возвратный глагол в страдательном залоге, как правило, представлен в одном определенном значении, т. е. лексическое его значение соотносится с пассивностью; ср.:

1) *правится* ‘переправляться’, ‘направляться’, ‘быть управляемым’, ‘оправдаться’; страдательное значение возникает на основе третьего и второго: *правлень*, *правится* ‘направляется’;

2) *обрестися* ‘отыскаться’, ‘появиться’, ‘обнаружиться’ и ‘оказаться’; страдательное значение отмечено при употреблении глагола в первом и третьем значении: *обретен* ‘обнаружен’ и ‘обретается’.

Некоторые безличные глаголы в русском языке лексикализировались; ср.: *хочется*, *работается*, *живется*, *не терпится*, *не сидится*; прибавление дат. п. действующего лица вводит определенную модальность высказывания: *ему работается*, *ему хочется*.

Лексическая самостоятельность рефлексивных глаголов в любом значении давала им возможность образовывать переносные значения; ср.: *речи* ‘сказать’ — *речися* ‘обещать’, *умилити* ‘умилостивить’ — *умилитися* ‘опечалиться’, *вьдати* ‘знать’ — *вьдатися* ‘видеться, встретиться’, *възносити* ‘возвышать’ — *възноситися* ‘гордиться’ и т. д.

Можно полагать, что момент полного сращения глагола с *-ся* совпадает со временем окончательного освобождения слов от речевых формул в их конкретном и определенном значении.

По-видимому, движение возвратных и причастных форм к выражению пассива было обоюдным. Столкновение возвратности и страдательности происходило в литературно-книжном языке, потому что древнерусская традиция предпочитала выражение возвратности, а книжная — страдательности. Различие между ними можно видеть на результатах редактирования особо почитаемых на Руси переводов с греческого языка. Даже от глаголов предельного действия (впоследствии совершенного вида) образовывались «пассивные» конструкции, но в южнославянских (и первоначальных) переводах им соответствовали речения со страдательным причастием (как в греческом оригинале); русские редакции уже в XII в. заменяли их на возвратный глагол. Такое положение находим в древнерусских редакциях Апостола, книг пророческих и даже Псалтыри, по которой учились грамоте.

При сравнении переводов «Пчелы» заметно, что южнославянским конструкциям с причастием древнерусский книжник предпочитает рефлексив или даже активную конструкцию; ср.: *Яко бо слышимъ, услышани будем от Бога* — *яко бо мы послушаемъ, тако и Богъ послушает насъ*. Такие же замены при сравнении первоначального перевода Евангелия с позднейшей его переработкой; оба текста приведены в АЕ 1092: *изгнанъ будеть* — *ижденеться*, *и възнесенъ буду* — *възнесуся* и др. Любопытно, что замены происходят при глаголах предельного действия, независимо от переходности и обычно в плане буд. вр. (именно по причине предельности), относительно которого нет определенных сведений (оно ирреально).

Примеры показывают, что первоначальные переводы обычно буквально следовали греческой форме, но переработка текста ориентирована на рефлексивы, более понятные древнерусским редакторам как выражение безличности и неопределенности.

Все эти сближения приводили к тому, что среди причастных образований появились рефлексивные словоформы, типа уже отмеченных *им сованося, со всеми разлезенося* или в грамотах — *соглашенось, договоренось* и т. д. Прообраз подобных форм А. А. Потехня видел в «Палее» 1494 г.: *не бѣ облачанося в одежды ты николиже*, опять-таки в безличной форме. Это могло случиться, когда *-ся* закрепилось за глаголом как постоянный аффикс возвратности, что уже представлено в конце XV в. Это время преобразования средневековых рефлексивов на основе среднего залога. Категория залога, формируясь в причастных формах, захватывала и старые формы возвратности — такъв переход от второго этапа формирования залоговых отношений к заключительному, третьему.

Подобные формы особенно активизировались в XVII в.; ср.: *а с калмыками де у них помиренось же* (Гр. 1672 г.). В XVIII в. отмечено до тридцати словоформ типа *сойденось, сговоренось, условленось* и под. от взаимно-возвратных и общевозвратных глаголов. Они употреблялись в любом времени, но всегда безлично и представляли собой безусловно живую норму.

10.6.6. Формирование залоговых отношений

В XVI в. описанные изменения еще не были завершены. В «Домострое» мы находим все типы выражения возвратности и пассивности, еще не приведенные в систему и не получившие общей формы выражения категории залога. В тексте «Свадебного чина» описывается сватанье:

И емлют по сосуду меду, и меж собя здороваются [желают друг другу здоровья, а при прощании] *потомъ цѣлуются* [все] *и чаши пьютъ, и всѣ здороваютъ* [воздают здравицу]: *перво — жениху, а после тестю* [потом идут на женскую половину] *и теща спрашивает отца жениха о здоровье и цѣлуется* [взаимно двое, но невеста при этом] *не цѣлуется* [никого не целует]... *мать жениха к невестѣ приезжает, а гости двух сторон съѣзжаются, а съѣдутся* — ино... и т. д.

Увеличение глаголов с *-ся* выдает неопределенность, в XVI в. возникавшую между возвратностью и пассивностью. В «Домострое» множество форм типа *кralися* вместо *кralи*, также *загнилося, извьщатися, спрашиватца, наказатися, осужатися, блюстися, бечися* и т. д. с известной степенью безличности; наряду с этим и усиление

личной формой глагола в конструкциях, где ожидался бы рефлексив; ср.: *мужу с женою советовати* ‘советоваться’, *входя в дом не сморкать* ‘не сморкаться’ — в таких случаях требуется определенное действие, которое нельзя передать с помощью безличного глагола.

Неопределенная безличность выражения стала обратной стороной развивавшегося противопоставления двух залогов: действительного и страдательного. В первое время возвратность подчинилась давлению залога, может быть, потому, что оппозиция только устанавливалась. В местных актах (особенно северных) вплоть до XVIII в. без *ся* употреблялись глаголы рефлексивного значения, например *значити, остати, перевозити, ругати, советовати* (на два года ругали мы, нет оставшаго имущества) и т. д.

Таким образом, страдательный залог как категория развивался долго.

На начальном этапе его формирования в древнерусском языке, как и в древнеславянском, греческие страдательные конструкции переводились славянскими действительными с помощью личных глагольных форм. Таких примеров много, например, в переводе «Хроники» Георгия Амартола (фрагменты из него попали в ранние записи «Повести временных лет»).

Исходная точка развития славянского залога была чисто синтаксическая: автономность двух попарных связей — субъектной с глаголом и объектной с тем же глаголом — ликвидировалась построением градуальной цепочки субъект-объектных отношений:

<i>я иду</i>	—	<i>иду на вы</i>
<i>ты видиши</i>	—	<i>видиши ли мя</i>
<i>князь рече</i>	—	<i>рече (глагола) — что?</i>

В такой перспективе развивались древнейшие типы простых предложений, в отношении к правым формулам — бессубъектные.

К этому процессу присоединялось разложение предложно-падежных форм с плеонастичным предлогом типа *въвѣдѣтъся въ... поити по... и под.*, а также категоризация 3-е л. нового типа — с указательным и определительным местоимением, с помощью которого становилось возможным развивать различные типы предложений, избавляясь от синтаксически синкретичной безличности выражения действия: *я иду к вам; ты видишь меня; князь рече, что...* и т. д.

Возникла необходимость в совмещении:

возвратности (рефлексивности) — *сынъ боится*
и переходности (транзитивности) — *боится звьря* —
в залоговые отношения между ними — *сынъ боится звьря*.

Субъект и объект совместились в общую синтаксическую связь, необходимо было различать обе формы, что и привело к развитию новых именных категорий (например, категории одушевленности: *боится звать* → *боится звать*).

Переходность как категория синтаксическая и возвратность как категория лексико-семантическая, совместившись, создали грамматическую категорию залога — посредством последовательного снятия различных текстовых ограничений, к числу которых можно отнести категории лица — одушевленности у имен, времени — вида у глаголов, предикативности — модальности в предложении и т. д.

В старорусском языке определено три залога, включая средний как вполне самостоятельный; он поддержан и теоретически в переводах грамматик. В современном языке залоговые отношения в чистом виде представлены привативной оппозицией «действительный — страдательный».

Сохраняются ограничения, которые следует указать:

— *по времени*: возвратность предпочтительна в наст. вр., ибо, в сущности, рефлексивы — это вневременные формы;

— *по виду*: у личных форм представлены глаголы несовершенного вида — ибо этот вид не маркирован по признаку вида;

— *по предикации*: только творительный предикативный (*построен нами*), который может опускаться;

— *по переходности*: всегда необходимо, чтобы глагол был переходным (*лежит* → *отлежит* → *отлежится*).

10.7. Внеличные категории глагола

10.7.1. Общие принципы разграничения

Глагольная категория лица по своей функции соотносится с именной категорией рода. Грамматический род указывает на предметное различие субъектов и объектов, лицо — на процессуальное их различие: опредмеченное с о с т о я н и е и направленное на развитие д е й с т в и е.

Исторически образование рода и лица схожи. Они образованы присоединением к корню слова распространителей: гласных — у категории рода, согласных — у категории лица.

Функционально развитие рода и лица протекало параллельно в том смысле, что «третий лишний» в оппозициях по роду и числу постоянно преобразовывал свои формы или на какое-то время становился

формально не существующим. В оппозиции по роду — средний род, в оппозиции по лицу — 3-е л.

Морфологически выраженное противопоставление по роду и лицу создавалось в результате переразложения основ (на фонетических основаниях) и семантического расхождения имен или глаголов в определенных синтаксических контекстах (различные принципы согласования):

<i>мужь</i> <i>идеть</i> (<i>иде, идяше</i>) <i>идуть</i> <i>шьль</i> <i>есть</i>	}	и <i>шьли</i> (<i>суть</i>) <i>ш ли</i>
ш е л		
<i>жена</i> <i>идеть</i> (<i>иде, идяше</i>) <i>идоша</i> <i>шьла</i> <i>есть</i>		
ш л а		
<i>дѣтя</i> <i>идеть</i> (<i>иде, идяше</i>) <i>идяху</i> <i>шьло</i> <i>есть</i>		
ш л о		

Развитие категории времени привело к согласованию по роду в сфере прош. вр. и по лицу в сфере наст.–буд. вр.

Рассматривая категории имени и глагола, мы убедились, что соответствие рода лицу не является полным и проявляется в момент речи; диалог требует большей вариации оттенков в обозначении действий и состояний, которые совместно представляют имя и глагол.

Те категории глагола, которые не имеют различий по лицу, являлись промежуточными между именем и глаголом (как глайды — между гласными и согласными) или были образованы в то время, когда такое противопоставление оказывалось несущественным.

10.7.2. Наклонение

Наклонение выражает отношение действия к действительности; в древнем языке пра-наклонения были очень конкретны в отношении к обозначаемому действию: наклонений много, они разные. Индоевропейскому языку приписывают сложную систему наклонений, которые могли исполнять временные функции (например, субъюнктив и другие наклонения в значении буд. вр.).

Изъявительное наклонение (*индикатив*) обозначало реальные действия в реальном пространстве существования; это наклонение не маркировано ко всем остальным и пропитано всеми теми категориями, которые мы уже рассмотрели: лица, времени, числа, вида, залога и т. д.

Инъюнктив — наклонение с полным отсутствием временной модальной характеристики — это чистая глагольность без категорий, и как таковая она была использована для выражения неизменно вечных, сакральных действий.

Оптатив — пожелательное наклонение, действие может и не осуществиться.

Субъюнктив выражал действие, представленное только в уме говорящего, но которое в силу некоторых условий может состояться.

Конъюнктив и *императив* также выражали различные ирреальные действия, связанные с прош. вр. или с буд. вр.: в одних языках конъюнктив стал выражать буд. вр., в других — прош. вр.

В целом мы видим совершенно иное, непонятное нам теперь представление о времени как о разной степени модальности в проявлении действий и в отношении к ним человека.

Более того, многие категории глаголов так или иначе были связаны с тем или иным наклонением. Так, 1-е л. — с субъюнктивом, 2-е л. — с императивом, 3-е л. — с индикативом, а может быть, и наоборот. Все это находится в области гаданий и в древнерусском языке уже изменило свои признаки.

В отличие от реального изъявительного, «идеальные наклонения» (Потехня) — условное, желательное, сослагательное — изображали лишь в мысли существующее событие, данное в перспективе прошлого, и тем самым выступали как бы отрицанием наличного факта.

Таким образом, в совокупности все наклонения, кроме изъявительного, выражали различную степень вероятности или возможности действия, причем императив — самая древняя форма, а все остальные вторичны и являются описательными формами, возникшими на пути создания категории буд. вр. (которой формально не было). Даже перфект в древности мог передавать модальное значение неочевидности или нереальности действия.

Впоследствии эта сложная система наклонений была перестроена, и уже в праславянском мы видим особенно развитую категорию изъявительного наклонения, переработанную — *оптатива* (образовал славянское повелительное) и конъюнктива, понимаемого как *условное* наклонение.

Супин (*supinum* ‘наклоненный назад’: зависит от предшествующего глагола в личной форме) и **инфинитив** (*infinitivus* ‘неопределенный’) называют самостоятельными наклонениями *д о с т и г а т е л ь н ы м* и *н е о п р е д е л е н н ы м*. Образуюсь от одних и тех же основ, они различались глаголами, при которых могли употребляться: супин — при глаголах вещественного движения и пребывания (*поиде рыбы ловить*), а инфинитив — особенно часто с модальными, фазисными и т. д. (*хочю рыбу ловити*).

Образованный от отглагольных имен в форме вин. п. (-ть) или местн. п. (-ту) склонения на *-й, супин рано утратил формы на -ту; в древнерусских источниках отмечена только *быту* (ГБ XI) — опять-таки у глагола, который удивляет нас богатством своих древних образований. Их было так много, что некоторые смогли сохраниться.

В балтославянском праязыке супин выступал в значении сослагательного наклонения (независимо от лица и числа) и в сочетании с основным глаголом фактически замещал глаголы движения. Различие между формами супина и инфинитива было чисто смысловым: это различие между возможностью действия (супин) и его осуществлением (инфинитив). По этой причине славянский супин образовывался в основном от глаголов неопределенного действия. Супин требовал после себя род. п. имени, а инфинитив — падежа, соответствующего личной форме (в нашем примере — вин. п.).

Супин заменялся формами инфинитива уже в старославянских текстах, но в древнерусских памятниках он иногда встречается до XIV в., и не только в тех, которые переписаны со старославянских рукописей, как ОЕ 1056 (*иду уготовати мѣсто*). В «Повести временных лет» по Лавр. и Ип. 1425 супин употребляется, но часто смешивается с инфинитивом; ср.: *посла... княжить*, но — *посла... построи ти мира*. В древнерусских переводах ЕК XII (очень большого объема) супин представлен пятью формами у глаголов неопределенного действия, но рядом возможен и инфинитив: *посла мя проповѣдать плънникомъ* — *послати... проповѣдати лѣто господне*. Даже в грамотах XV в. можно встретить остатки старого супина, правда, в традиционных формулах типа *иде звѣри гонить*.

Как самостоятельная категория супин не является актуальным древнерусским явлением. Он исчез еще до появления первых письменных текстов.

Образованный от отглагольных имен на *-tis* в дат. п. или местн. п. склонения *-ī*, **инфинитив** соотносится с существительными типа (*благо*)*дѣть*, *жить*, *стыть*, *сѣмьртъ*. Абстрактные имена *д е й с т в и я* как отвлеченно отглагольные, инфинитивы совпали с основой аориста (прош. вр.) и обладали модальностью реального действия.

В праславянском и даже в древнерусском языках инфинитив еще точно не выполнял функции неопределенного наклонения. На это указывают переводы с греческого языка, в которых славянский инфинитив как бы отталкивался от греческого неопределенного наклонения всех видов. Греческий инфинитив передавали с помощью славянских отглагольных существительных с соответствующими предлогами, личными глагольными формами или описательно целыми предложениями. В переводе «Хроники» Георгия Амартола *πρός το κολύειν* = *на възбранение*, *χωρίς τοῦ διδάσκειν* = *кромѣ учения*, *μετά το πατάσσειν* = *по убиении*, *ἐν τῷ πίνειν* = *въ питии*; то же в древнерусском переводе «Пчелы» — *θεός ἐτοιμός εἰς τὸ παρέχειν* = *Богъ готовъ на подание* (в болгарском переводе буквально: *Богъ готовъ еже подаати*). Греческую конструкцию *Accusativus cum infinit.* славяне переводили простым придаточным предложением с использованием личных форм глагола.

С другой стороны, древние славянские инфинитивы не имели различий по лицу, по числу, по роду, по времени, по наклонению и т. д., но в современном их виде уже различаются по виду и залогу. Следовательно, становление инфинитива как самостоятельной глагольной категории связано со всеми древнерусскими процессами, происходившими в глагольной сфере.

Основное формальное изменение инфинитива — это редукция безударного *-ти/-чи* в *-ть/-чь*: *сесть, лечь*. Редукция морфологически слабого *-и* началась еще до падения редуцированных; ср.: *въселить-ся, гонить* (ПА XI), *написать* (новгородская Минея XI в.), также и позже: *подобаеть рость* (ДЕ 1164), в смоленской Гр. 1229 г., а в ЕК XII 16 таких случаев (*измърить, сътворить, зрить* и др.). Возможно, прав А. А. Шахматов, полагавший, что новое окончание инфинитива появлялось по аналогии с супином на *-ть*, особенно в позициях, где они могли заменять друг друга; ср.: *напълнить* (ОЕ 1056), *придѣху почърпать* (И 73), *не имуть въкусить съмърти* (АЕ 1092), *оставляя хранить*, а также форма *гонить* в ПА XI. В летописных текстах количество сокращенных форм повышается к XV в., и в Радз. XV их уже много. В новгородских берестяных грамотах обычно *-ти*, а в пергаменных *-ти* > *-ть* с XV в.

С XVI в. новая форма становится нормой. В «Домострое» около 800 форм инфинитива, соотношение окончаний *-ти* к *-ть* представлено как 7 : 1 (в бытовой лексике только *-ть*). В «Слове и деле» XVII в. использовано 5757 инфинитивов и только 35 раз с *-ти/-чи*. У Аввакума в его «Житии» в бытовых текстах употреблена новая форма (305 раз от 163 глаголов), а в традиционных формулах сохраняется старая.

По-видимому, на сохранение старых форм долго влияло ударение. У большинства глаголов ударение находилось на основе (корне), и, следовательно, конечный гласный оказывался в морфологически и фонетически изолированной позиции, что способствовало его устранению в беглой речи. Но у глаголов 1-го класса с основой на согласный многие глаголы сохраняли исконное наконечное ударение, что препятствовало редукции и задерживало ее: в памятниках находим ударение *беречѣи, влечѣи, врещѣи, жещѣи (жечѣи), лещѣи (лечѣи), мощѣи (мочѣи), печѣи, рещѣи, стеречѣи, същѣи, тещѣи (утечѣи), толчѣи, блюстѣи, блястѣи, вестѣи, грестѣи, нестѣи, настѣи, растѣи, честѣи* и т. д.; только с XVI в. отмечаются ударения типа *же́чи, возлѣчи, ре́щи, стерѣчь, сѣчи, те́чи, истоло́чь, блю́сть, бля́сти, ве́сти, грѣ́сть, принѣ́сть, отнѣ́сть, спáсти, че́сть* и т. д. В современных русских говорах процесс развивался последовательно, а в литературном языке задержался на уровне ударения начала XIX в., т. е. не допускает форм типа *блюсть, блясть, весть, честь, сместь, донесть*, хотя и не сохраняет церковнославянских типа *мръти* — только *мереть*. Всегда заметна тенденция к за-

креплению накоренного ударения в случае измененного согласного корня (*жечь, сечь, течь*), и особенно в полногласных с нововосходящим ударением (*беречь, волочь, стеречь, толочь*) и т. д. Фонемные и акцентные ограничения постоянно задерживали намеченные системой морфологические изменения.

Славянское **повелительное наклонение** восходит не к императиву, а к *оптативу* — пожелательному наклонению праязыка, которое образовывалось от основы наст. вр. с помощью суффикса *-ie/-i* с прибавлением вторичных глагольных окончаний: во 2-м л. *-s*, в 3-м л. *-t*.

У глаголов 1-го класса: **ved-o-i-s* или **ved-o-i-te*, причем по акцентным причинам в ед. ч. *oi > i* (*веди!*), а во мн. ч. сохранилась правильная форма с *ь* (*ведьте!*); ср.: *приимьмь! станьмь! мозьмь!* (И 76); *покажьте! осяжьте! ищьте! закожьте!* (Е 1283), но уже у Мономаха *лязите! мозите!* (Лавр.), а в ОЕ 1056 формы типа *приведите! останитесь!*

Так же образовывали формы повеления глаголы 2-го класса.

У глаголов 3-го класса: **zna-jo > *zna-je-i-s* и т. д. с изменением образовавшегося дифтонга *ei > i* — *знаи! знаимь!* Ср. *разумьимь! поучаимься!* (И 76) и др. В 1-м л. мн. ч. у Кирилла Туровского *побесльдуимь, вьнчаимь, вьруимь, познаимь*, но при отсутствии *-j* уже *помажемь! глаголемь!* Свое значение имели и фонетические изменения в основе; ср.: в новгородской Минее 1097 г. *вьсьлимь!*, а в Бер. гр. конца XIV в. *пришлите!* Влияние со стороны 2-го л. ед. ч. (*веди!*) и глаголов 4-го класса со второй половины XIII в. привело к обобщению форм на *-и-* (*ведите!*).

У глаголов 4-го класса: **hod-i-i-s* и т. д. дали естественное стяжение однородных гласных с образованием форм *ходи! ходите!* (в ед. ч. форма совпадала с формой 2–3-го л. ед. ч.).

У глаголов 5-го класса свои особенности; ср.: *даи! будите!* в русском переводе «Пчелы» XII в. и *даждь! бываите!* — в болгарском. В «Повести временных лет» по Лавр. *дажь! повьжь! визжь! буди!*, а по Радз. XV *даи! даьмь! даьте!* Формы *дажь!* и *даждь!* представлены в «Киево-Печерском патерике», а *даждь!* и *даи!* в смоленской Гр. 1229 г. Некоторое расхождение между старыми и новыми формами могло иметь стилистический характер; так, уже в письме Мономаха князю Олегу (Лавр.): *но не дай ми Богъ крови от руку твою видьти!* — *ты дажь ми слово отче* (от последней формы впоследствии форма будущего: *дашь*; фонетически такое же изменение в *ьждь!* — *шь* у Аввакума). Стилистические основания и в вариантах *даи же!* и *дажь!* в Е 1283.

Некоторые глаголы тематических классов сохраняли архаические формы, образованные без посредства тематического гласного, т. е. как глаголы 5-го класса; ср. *хоци!* в «Лествице» XII в., а также формы

типа *виждь!* — которая также сохранилась (в измененном виде) как частица: *ишь каков!*

В грамотах XIV в. новые формы всех классов встречаются часто: *живите! берегите! блюдите!* Это результат выравнивания основы (корня), которое началось в формах типа *берези! березьте! толцътесь! рьци! рьцйте!*, по-видимому, раньше всего в новгородских говорах (в берестяных грамотах с XII в. *моги! испеки!* и под.). Сокращение форм подчинялось также тем правилам ударения, что действовали и у других изолированных от парадигм форм, они сокращались за счет морфологически изолированного окончания. Первые примеры сокращения появляются в памятниках с конца XIII в. (например, в Лавр.: *и рече Володимерь: «Тако будь!...»*, в Ип. 1425 *будь! видь! оставь! не правьте! станьте!*), но еще и в XVII в. (у Аввакума) одинаково представлены формы *буди!* и *будь!* В «Слове и деле» только *верь! покинь!* и т. д.

Формы повелительного наклонения образовывались во всех трех числах (в двойств. ч. исчезают с XIII в.), но не во всех лицах регулярно; приходилось использовать описательные выражения.

Наиболее распространенными были формулы с побудительными частицами *да* (книжная), *ать* (разговорная), а с XV в. и *пусти > пусть* в сочетании с глаголом в наст. вр. с повелительным значением. Частица *ать* в сочетании с местоимением *к* дала союз *аче/аще* в условном значении она же представлена в воинской команде *ать-два! ать-два!*; понятно, что деловые тексты XI–XVII вв. использовали все «побудительные» конструкции для передачи значения должествования при определенных условиях: *да веду! да ведемь! ать идеть! пусть здравствуеть!* Особенно в отношении к 3-му л. (*да* и к 1-му л. тоже) это скорее побудительное, чем повелительное значение, что подтверждается особенно частым употреблением в таких оборотах приставочных глаголов: *да поплачюся, да приду, да здравствуеть*, даже в почтительных выражениях во 2-м л.: *да пристроите меды мнози, да поиди за князь нашъ...* Употребленные в обычной повелительной форме, такие приставочные определенно соотносились с будущим временем: *поимемь и створимь!*

Синтаксическая особенность древнерусских форм повеления состоит в том, что они могли употребляться и при подлежащем — в высоком стиле. Пример из текста Мономаха уже приведен, но выражения типа *а даи Богъ! суди Богъ!* и др. очень распространены в древнерусских формульных выражениях. Это как бы обращение к Богу и одновременно утверждение его обязанности способствовать в определенном деле.

Косвенно это похоже на совмещение форм повеления и аориста как абсолютного времени действия во вневременной перспективе. Выражения *возьми и скажи, отколе ни возьмись, скажи он мне все,*

он и скажи или (как у Аввакума) *то тут и лежи!* и (как у Крылова) *случись тут мухе быть...* — объясняют по-разному: как остаток аориста или императива.

В целом же древнерусскому языку резко повелительные формы были несвойственны. Эквиполентная оппозиция предполагала действие двух признаков различения: наличие явного адресата и степень категоричности в высказывании. Одну и ту же мысль можно было передать в различных вариантах:

— как приказ: *идьте къ брату моему и рцйте ему! и лезите в лоды!* — со стороны владетельного князя;

— как просьбу: *дажь ми слово;*

— как мольбу: *ангель твои буди с тобою!*

— как совет: *вѣрныхъ мни не тѣхъ, иже...*

— как предостережение: *не ходи, отецъ ти умерлъ.*

Характер повеления, побуждения к действию или совета определял выбор формы или формулы, с помощью которой можно было общаться в средневековой социальной среде. Разнообразие форм повеления показывает несобранность категории императива в древнерусском языке. В тексте «Домостроя» до десяти способов выразить повеление, но такое же разнообразие форм присутствует во всех текстах до XVII в.

Так, в «Сказании о Мамаевом побоище» выработан целый ритуал обращений с просьбами, пожеланиями, повелениями и прямыми приказами, с которыми герои повествования обращались друг к другу. Можно было сказать *будите готови!* и *да будете готови!* — к бою. Мамай к своим улусникам: *ни единъ вас не пашет хлеба!* — *не паши-те хлеба!* — *ни одинъ васъ пашеть!* и т. д. По спискам памятника Дмитрий Донской обращается к Сергию Радонежскому по-разному: *даи ми два воина!* — *даждь ми два воина!* — *даи же ми два воина!* — и сама возможность колебаний подчеркивает различное отношение автора данного списка к тому, как именно верховный князь может обратиться к святителю.

Славянское **условное**, или **сослагательное**, наклонение в своем составе сохранило, обобщив их, несколько конкретных по значению модальных наклонений, а именно инъюнктив, конъюнктив, оптатив и т. д. в разной степени желательности, предположительности или допустимости действий.

В старославянском языке условное наклонение образовывалось сочетанием причастий на -л- со вспомогательным глаголом *быти* в форме оптатива *бимь, би, би* — *бимь, бисте, биша* — из корня **bhu*; в 3-м л. мн. ч. встречается еще форма *бж* со вторичным окончанием. В древнерусском языке очень скоро такие формы были заменены формами аориста *быхъ, бы* и т. д., поскольку общее значение этого наклонения — неосуществленное условие, представленное в законченности самого действия.

А. А. Потебня справедливо полагал, что формы наст. вр. и повелительного наклонения составляли общее семантическое поле действия, тогда как формы прош. вр. и условного наклонения составляли общее поле состояния.

Собственно говоря, еще и в XIII в. у восточных славян сослагательное наклонение не сложилось как категория, поскольку вспомогательный глагол, употребляемый в полной своей парадигме, не образовывал связку сложной формы. Разного рода условные конструкции использовались для выражения потенциального действия. В «Домострое» роль инфинитива выражена в этом смысле ярче, чем собственно сослагательного наклонения; ср. *огурцы и дыни и всякой овощь в пору бы обирати* и т. д. — пожелание и условие совмещены. Формулы типа *жили бы* являются именно речевыми формулами, а не отвлеченно понятыми грамматическими категориями: это образцы речи, а не морфологические парадигмы. *А гдѣ ся тяжа родить, тую кончати* в Гр. 1262 г. — условное мыслится конкретно как данное место.

Сослагательное наклонение в современном его виде постепенно создается синтаксически на протяжении XIII–XIV вв. В московской Гр. 1353 г.: *а лихихъ бы есте людей не слушали*, в новгородских чуть раньше, даже в евангельском тексте *аще Богъ отецъ вашъ былъ бы, любили бы мя есте* в Е 1283, и далее во всех Евангелиях русского письма. Наполнение предложения формами от *быти* становится избыточным, как в этой иронической реплике из XVII в.: *Человече, егда бы конь былъ еси, и цѣны бы тебѣ не было!*

На основе подобных сочетаний в момент образования новых типов придаточных предложений, которые заменяли (уточняя их смысл) некоторые типы старых наклонений, образовались союзы и союзные слова типа *что бы* (*шелъ*), *да бы* (*далъ*), *как бы* (*былъ*), *а бы* (*думалъ*), т. е. *чтобы*, *дабы*, *кабы*, *абы* и т. д.

10.7.3. Причастия

Индоевропейское глагольное причастие с суффиксом *-nt-* обозначало *признак* действия в отношении к субъекту и безотносительно ко времени (среднего залога). Впоследствии возникало глагольное прилагательное с суффиксом *-(i)s-*, которое обозначало результат действия (перфектное значение) и потому стало восприниматься как форма прош. вр.

Связь с глагольными основами наст. вр. у прилагательных с суффиксом *-nt-* и с основами прош. вр. у прилагательных с суффиксом *-(i)s-* ощущалась постоянно, и славянские причастия действительного залога типа *действующий* и *действовавший* сохранились до сих

пор, причем в результате расширения формы до полной (местоименной) они воссоздали свой древнейший признак определенности признака, а не качества действия; последнее значение сохранилось у кратких форм, ныне ставших деепричастиями (*действию*).

Все славянские причастия восходят к индоевропейским, представленным в нерасчлененности залога и времени, одновременно и причастия, и прилагательные. Перфектное значение всех причастий прош. вр. сохраняется не только в составе древнерусских перфектных времен, но еще и сегодня в диалектных отпричастных перфективах типа *она ушодши, он выпимши, у них идено, сделанось* и т. д.

Вневременное значение древних причастий определяется по их функции в тексте. Например, местоименные действительные причастия наст. вр., образованные от предельных (приставочных) глаголов, явно соотносятся с буд. вр.: *всякъ прочитаяи сию грамоту — да слушает его!* (каждый читающий).

Традиционно причастия в древнерусском языке обозначали качество, возникающее вне временной его характеристики; формальное различие по времени (настоящее — прошедшее) показывало внутренний признак самого действия (скорее вид, а не время), отсутствие категории лица, отсылающей к деятелю, подтверждает, что у причастия не было признака времени. Причастие представляет признак состояния, полученный в результате какого-то действия, т. е. имеет перфектное значение. В древнерусском языке и действительные, и страдательные причастия могли образовываться от любого, в том числе и среднего, залога; ср. формы типа *идено, гуляно, прибрьжень*.

Причастий буд. вр. в славянском не было. К таковым относят действительное *бышящее*, но оно образовано от основы инфинитива и представляет одну из многих форм этого глагола в прош. вр.

Пять причастных форм древнеславянского языка в речи и в тексте представляли своего рода синкретически данный предикатив, который в различных проекциях обозначения служил для «схватывания ускользающего» из внимания признака, еще не отлитого в законченные формы личного глагола. По точному определению А. А. Потебни, причастие — это «зачаточное предложение». Оно может заменить и глагол, и прилагательное в составе сказуемого.

Действительные причастия наст. вр. образовывались с помощью суффикса **-ont-* от основы наст. вр. и в своей краткой форме склонялись как имена с основой на согласный. В результате переразложения основ в славянском они получили суффикс *-ent/-ont*: *nes-o-nt*, т. е. *несжчь*; *znaj-o-nt* > *znaj-e-nt*, т. е. *знажчь* (ст.-сл. *несжць, знажць*). У глаголов 4-го класса фонетические изменения дали суффикс *-иц/-яц-* (из *xval-i-nt*).

Сложный случай представляет форма им. п. мужского рода. Исконный суффикс **onts* давал бы носовой гласный (он сохранился в полных формах старославянского типа *живжи*), но в результате неясных преобразований старославянский язык получил формы типа *живвы, нессы*, а древнерусский — *жива, неса*. Уже рукописи XI в. дают примеры типа *мога, зова, река, жива, саи* (полная форма от *са*, старославянского *сы*) вместо старославянских *могы, зовы, реки, живвы* и т. д. Особая активность форм им. п. важна для обсуждения вопроса об образовании деепричастий.

В Лавр. причастий им. п. ед. ч. на *-ы* всего 10, тогда как причастия на *-а* встретились 143, а причастия на *-я* — 547 раз. Причем в Суздальской летописи по этому списку форм на *-ы* нет совсем, а форм на *-а* — 75. В Синод. причастий соответственно на *-ы* — 14, на *-а* — 42 и на *-я* — 185. Распределение материала по записям показывает, что формы от основ 1-го класса *блюда, возма, жива, зова, ида, мога, пойма, принеса, река, сверга, стька, жьда, изма, трясася* и др. распространены с самого конца XI в. до начала XIII в. В АЕ 1092 подобных форм нет вовсе, а в новгородских служебных Минеях конца XI в. с датами (1097 г. и др.) они имеются (*зова, жива* и др.). С начала XIV в. известны фонетически измененные русские формы типа *идя, ведя* (1300 г.), *поверья* (1305 г.), *зовя* (1311 г.), *ркя* (двинская грамота XIV в.), даже в Лавр. *река, грядя*, в Синод. *идя, река, ждя*, в двинских грамотах XV в. *мога, ркя* и т. д. В списках «Повести временных лет» XV в. рядом возможны формы *пойма* и *поймя, блюда* и *блюдя* (Радз. XV). В списках «Моления» Даниила Заточника *ида* и *будя* и т. д. Мягкое окончание эти формы получили по аналогии с основами 3-го и 4-го классов. Длительное сохранение старых форм свидетельствуется пословицами, записанными в XVII в.: *что ково смога, то тово и в рага* ('на рога').

Исходная амбивалентность причастных форм, одновременно связанных и с глаголом (по основам), и с именем (по категориям), привела к тому, что при расхождении форм на краткие и полные (местоименные, о п р е д е л е н н ы е), краткие причастия, как и прилагательные в то же время, адвербиализировались, сохранив тем самым глагольные признаки и сближаясь по функции с наречиями, а полные причастия претерпевали адъективацию, становясь прилагательными. Внеличное и вневременное, но а к т и в н о е качество, выраженное причастными формами, привело их полные формы к совпадению с прилагательными.

Все древнейшие причастия имеют параллельные адъективные формы. Действительные причастия наст. вр. образовались от основ на *-o/-e*, а не от вторичных на *-i*, поэтому полученные на их основе прилагательные сохранили старые суффиксы; ср.: *гремучий, кипучий, летучий, липучий, свистучий, трескучий, шипучий* при возможных

также *гремячий*, *шипячий* и под. Все они, напомним, от основ среднего залога и отличаются от новых русских причастий типа *бъжачий*, *бъгаючий*, *висячий*, *лежащий*, *ходячий*, хотя и они в устойчивых сочетаниях могли переходить в статус прилагательных; ср. словесные формулы *падучая болезнь*, *сидячие бояре*, *ходячий рубль* и т. д. Позднее, в результате стилистического отталкивания от церковнославянских форм на *-уц/-юц-*, образовалось типичное для литературного языка противопоставление по признаку «идеальное качество : конкретное проявление (его)» в корреляции *блестящий — блестящий*, *гремящий — гремучий*, *дремлющий — дремучий*, *летающий — летучий*, *могущий — могучий* и пр., даже *горячий — горючий*, *летающий — летучий* одинаково с русским суффиксом. У глаголов состояния 4-го класса они образованы от разных основ (ср.: *горь-ти* и *гори-ти*).

Действительные причастия прош. вр. в славянском также по-разному преобразовали исконный суффикс; ср. глаголы 1-го и 3-го классов **nes-us* после согласного *несь*, а **zna-us* после гласного — *знавь*. От глаголов 2-го класса причастие образовалось на аористной основе: тип *двигъ* = аористу *двигъ* и тип *минувъ* = аористу *минухъ*. Глагол *идти* (**ei-*) по своему значению не имел перфекта, и потому причастие для него было образовано от глагола *ходити* (на другой ступени чередования гласных и, следовательно, с результатом палатализации) — *шдь*.

Глаголы 4-го класса имели варианты типа *сътвори* (архаический) и *сътворивъ* (старославянский и древнерусский). Архаическая форма образовалась правильно: **rodi-us* → **rodj-is* → *рождь*, так же *хваль*, *плождь* и под. В старославянских источниках тип *хваль* преобладает.

В древнерусских летописных текстах произошла стилистическая нейтрализация старых и новых форм, поскольку их употребление зависело от контекста и традиционной формульности. Например, в евангельском тексте старых редакций формы *купль*, *оставль*, *пръломль*, *вкушь* и др. сохранялись (Е 1283). Новая форма на *-ивъ* представляет собой восстановленную чистую основу инфинитива у формы прош. вр.; это знак того, что данные причастия были актуальны в системе.

В результате уже в древнейших русских памятниках устраняется чередование форм *плодивъ/плождь*; ср. в рукописях XI в.: *обогатьша* вместо *обогатьща* в ПМ XI, *расплодь* вместо *распложь* в МД XI и под.

Та же тенденция намечается и у глаголов других классов — 2-го (*двигъ — двигнувь*) и 5-го (*дадь — давъ*). Из аналогичных расхождений между старыми и новыми формами можно указать на колебания (уже в XI в.) *възьмъ — възьвъ* (*явь за руку*), *начьнь — начавъ*, *къльнь — клявъ*, также *пдь — поьдавъ*, *сдь — съдьвъ* и пр. В «Повести временных лет» по Лавр. в составе сказуемого использовано

86% причастий типа *хваливъ* и только 4% типа *хваль*. Но в традиционных формулах старые формы могли сохраняться и в XVI в., даже в местоименном виде; ср. в «Домострое» *преставльшимся, рождѣшаго* и др.

Формы им. п. мужского рода довольно рано исчезли из употребления, в деепричастном значении их сменили формы женского рода; ср.: *рекъ* — *рекиши, падѣ* — *падиши, вземъ* — *вземши*; у Котошихина *ствѣ* и *ствѣши, пѣвши*; в XVII в. уже *павѣ, упавѣ*, но с одним исключением: *шедѣ, пришедѣ, зашедѣ* и др. Поэтому и полные формы в книжных текстах изменились: *могый* > *могшии*, *рекии* > *рекиши*, с возможными стилистическими вариантами типа *павшии* (в бою) — *падшии* (морально).

Дополнительными причинами устранения архаических форм были: сложные сочетания согласных, возникавшие после падения редуцированных (*умьрѣвьльшиѣ*), и исчезновение полной формы таких причастий (*створиш*). От глаголов неопределенного действия такие причастия образовывались редко, при определенных условиях, например при отрицании: *не бившеся, не видѣвьши, не лѣгавѣ, не могъшимъ, не прошавѣ, не бывѣ*.

В образовании прилагательных действительные причастия прош. вр. более экономны; такие прилагательные образовывались от некоторых непереходных глаголов (*иссохшии, опухшии, раскисшии*), как и у действительных причастий на -л-: *сохлый, пухлый, горелый, палый, гнилой, спелый, лежалый, взрослый, смуглый, унылый, жилой, бывалый, служилый, стылый*; в переносном значении новые образования типа *ушлый, дошлый, пошлый, пришлый*. Соотношение по ударению *жилой* — *палый* показывает, что различие в вокализации напряженных редуцированных в них не отражается; это новое ударение и новое произношение старых форм.

Все отпричастные прилагательные употреблялись независимо от вида и залога, т. е. изменили свою функцию на атрибутивную еще до завершения образования возвратности, а некоторые даже до того, как произошло сокращение суффикса: *блек-ль* — *блеклый*, ср.: *поблек*; *туск-ль* — *тускый*; *дох-ль* — *дохлый*: *лез-ль* — *облезлый* и т. д.

Страдательные причастия наст. вр. восходят к индоевропейским причастиям среднего залога (признак действия направлен на сам субъект); они образовывались с помощью суффикса *-m-* присоединением к основе наст. вр.: *neso-m-ŭ, dvigo-m-ŭ, znaje-m-ŭ, xvali-m-ŭ, vedo-m-ŭ*.

Такие употреблялись очень редко. Они не могли быть образованы от глаголов 2-го класса и изменяли свою функцию у глаголов 5-го класса (*льстемой запасѣ* — прилагательное уже в древнейших текстах). В памятниках XI–XVII вв. форм, образованных от глаголов 1-го класса, описано всего 15, от глаголов 3-го класса — 173, от глаголов 4-го

класса — 48. Почти все они связаны с глаголами несовершенного вида и как стилистически не маркированные не закрепились в литературном языке.

Причастий с суффиксом *-м-* ни в краткой, ни в полной форме нет в деловых и бытовых текстах, а в летописных они обычно встречаются в цитатах (20 раз в Синод. и 104 раза в Лавр.), чаще от глаголов речи типа *град рекомиш Вручиш, от козар рекомиш болгаре, Михаил зовемый Святополк* (позже стала использоваться формула *князь именован...: воевода именован Дракула* и т. д.). Как наиболее отвлеченная по семантике форма причастий, в свободном от контекста употреблении такое причастие получало несколько абстрактное, терминологическое значение. Например, все, что видно вокруг, — *зрѣмо* («Чтение о Борисе и Глебе» и другие старые тексты).

Развитие страдательных причастий на *-м-* было затруднено узостью их словообразовательных возможностей (обычно от переходных глаголов), неразработанностью общей категории залога, но больше всего совпадением с прилагательными, которые имели тот же суффикс (точнее, конфикс при том же суффиксе); ср.: *неведомый, невредимый, непроходимый, непобедимый, угрожаемый*, также отыменные типа *знакомый*. У причастий *не-* возможно лишь в случае, если соответствующий глагол без *не-* не употребляется: *ненавидимъ*. Прилагательные и причастия, образованные от непереходных глаголов, различались: *тлимый — нетлимый*; различие между ними при переходных определялось в контексте; ср.: *любим бо бѣ отцемъ своимъ — Ярослав же сеи... любимъ бѣ книгамъ* (Лавр.). Ср. в «Домострое»: *от всех почитаем и всеми любим; обидим — не мсти, хулим — моли* — здесь сами конструкции показывают, что перед нами причастия.

В древнерусском языке прилагательные на *-м-* использовались, а причастия с этим суффиксом были редки, образовывались в основном от глаголов 3-го и 4-го классов. Из 176 форм, отмеченных по текстам XI–XIV вв., 170 встречаются в высоких ораторских жанрах: *тѣло, ломимое за вы* и т. д. Причастия зависели от глагольного вида и утрачивали временное значение, поскольку в контексте употреблялись практически с любой категорией глагола.

Вообще в русских текстах XV–XVII вв., в том числе деловых, встречалось не более десятка форм с суффиксом *-м-*, обычно в устойчивых речевых формулах: *знаемый человекъ, неведомые народы, несудимая грамота, орамая земля, страдомый льсъ, родимый домъ, гостимые бабы, бываемое дѣло, ядомая яства*, также *питомый, нетлимый*, почти в терминологическом значении (*несокомый* ‘насекомое’). Некоторые страдательные причастия наст. вр. также стали прилагательными, иногда субстантивировались: *ведомый, влекомый, заведомый, несомый, любимый*. Хорошо известны и формы типа *непромокаемый, непросыхаемый* и т. д.

Единственная форма причастий, сохраненная всеми славянскими языками, **страдательное причастие прош. вр.**, по происхождению является отглагольным прилагательным с суффиксами **-по-*, **-то-*, т. е. не было причастием в узком смысле слова, но, поскольку его суффикс был связан с каузативами и итеративами, такие прилагательные использовались и как причастные формы. В русском языке они служат для образования форм страдательного залога (*дом построен, ребенок умыт*). Выбор суффикса зависел от характера основы: от основ на *i-/e-* образовывались причастия с суффиксом *-т-*, от основ на *a-/e-* причастия с суффиксом *-н-*; ср.: *питъ, витъ, пьтъ* — *несень, ведень* и др. От основ с редуцированным в корне могли быть изменения. От *крыти* — *кръвень* с разложением долгого *ĭ* на *ĭv*, от *бити* — *бьень* с разложением долгого *ī* на *īj*. В сочетании редуцированного с носовым согласным свои особенности: *пъну* — *платъ, кльну* — *клатъ, жьму* — *жатъ, начьну* — *начатъ* и др. Некоторые причастия с этим суффиксом не сохранились, но их следы представлены в образованных от них именах типа *бытие*.

По крайней мере, некоторые причастия осознавались как стилистические варианты высокого и среднего стилей; ср.: *мытъ* — *умьвень, шитъ* — *шьвень, крытъ* — *откръвень, литъ* — *льень* и др. Первые в этих парах — русские формы.

Варианты при одном суффиксе представлены у глаголов 2-го класса: *двигновень* и *движень*, но особенно много расхождений между старославянскими и древнерусскими формами в таких случаях, как (в местоименных вторичных) *битый, бритый, литой, мытый, шитый* — и *убиен(ный), откръвен(ный), незабъвен(ный), сокровен(ный)* и пр. В древнерусском языке встречаем формы *обять, проклять, убить, начать, забыть, пошить, колотъ, молотъ*, с вариантами *одьнь* — *одьтъ, брань* — *брантъ* и т. д. при собственно русских типа: *деланный, названный, моченый, сушеный, точеный* и пр., в том числе в калькированных выражениях *конченый человек, потерянное время, рассеянный вид, сдержанный характер, изысканная вещь* и пр. В XIX в. еще сохранялось различие между причастной формой и прилагательным, в частности при помощи ударения; ср. причастие и прилагательное в парах *униженный* — *унижѣнный, приближенный* — *приближѣнный*. Возможность вариантов приводила к обобщениям разного типа, например в русских говорах могут быть представлены формы *ломат, насытат, рожат* вместо *ломан, насытан, рожен*, также *даден, взяден* по аналогии с *краден, пряден* и т. д.

Как и страдательные наст. вр., эти причастия образовывались от переходных глаголов; страдательные прош. вр. использованы при образовании залоговых отношений; ср.: *все бы ветшаное поплачено, а порченое покреплено...* («Домострой») — рядом стоят прилагательные и причастия, образованные с помощью одного и того же суффик-

са. В этом памятнике страдательное прош. вр. употреблено более 150 раз в обеих функциях — как прилагательное (*тѣва съиченые, росолю ставленые, капуста соленая*) и как сказуемое (*всякой запас куплень, не покупати чево не велено*). Однако во всех случаях, когда причастия освобождались от причастности как к имени, так и к глаголу, взаимное отношение глагольных категорий находилось в дополнительном распределении и не охватывало всеми категориями все причастные формы. До сих пор причастия, образованные от непереходных глаголов, не различаются по залогу, а образованные от совершенного вида — не различают времена (только прош. вр.). Таким образом, для причастия категория вида была важнее категории времени, а переходность — важнее залога. Именно с причастия «снялась» категория залога (поскольку залоговые отношения сохранялись только здесь) и переносилась на личные формы глагола. Категория буд. вр. наряду с простой формой для глаголов совершенного вида (*сделаю*) имеет составную форму для глаголов несовершенного вида (*буду делать*); параллельно тому и категория залога развивает двоякую форму выражения, используя как личную форму глагола (опять-таки для немаркированного члена: *с-делаю, с-делал*), так и причастную (*с-делан*).

В древнерусском языке страдательные причастия могли быть полностью лишены залоговой «страдательности»; например, от средних глаголов образовывались причастия типа *неугасаемый* (огнь), *подобаемый* (лик), *следующая* (плата) и под. в значении *неугасающий* и т. д. Ср. также *неугасимый* или *немырчемый*, которые возводят к остаткам среднего залога. Причастия с суффиксами *-м-* и *-н-* возможны были и от непереходных глаголов неопределенного действия; ср.: *горимую въ огни, одежду до бедру сходимую, граду погыбаему, не надъемымъ вельми, ударяему въ било, и да увъдѣно будетъ, было входимо всякимъ людемъ*, в тексте «Чуда о змии» *плачь неутышимъ* и т. д.

Структурным основанием для развития страдательного значения у возвратных глаголов (*строится*) считают недостаточность форм для выражения длительного действия у страдательных причастий. Взаимодействие возвратного глагола и причастия наблюдалось довольно рано, см. в Синод.: *Томъ же лѣтъ ходи Аркадѣ Киеву ставитъся епископомъ, и поставленъ бысть от митрополита Костянтина*.

Древнерусские бытовые тексты не используют пассивных форм, только в некоторых московских грамотах находим примеры типа *а ци какимъ дѣломъ отоиметься отъ тебе Ржева...* (Гр. 1389 г.); *а чьто ся учинить про сторожа отъ мене или отъ васъ* (Гр. 1341 г.) — от возвратных глаголов. Переход субъекта в другое состояние описывается с помощью возвратно-средней формы глагола. В текстах, приближенных к разговорной речи, страдательное причастие использу-

ется в составном сказуемом: *а ржи было стяно... а была дана ему грамота* и т. д. В назидательно-бытовых частях «Домостроя» такие выражения встречаются часто; ср.: *а всегда бы было чищено, убережено...* и т. д. с усилением безличности специально для данных сочетаний типа *не вельно, у них идено, яко речено бысть древле*.

Во второй половине XVI в. глаголы страдательного залога употреблялись в литературно-книжных и официально-канцелярских текстах одновременно со сказуемыми, которые выражены причастием (типа *бъ учя*). Если в предложении присутствует указание на действующее лицо, чаще всего в виде творительного деятеля или сочетания *отъ* + род. п., то перед нами уже определенно представлено выражение страдательного залога; ср. в «Казанском летописце» XVI в.:

И мною ныне вся строитца...

Бысть же тогда Казань строима Шихалеем.

Если указание на Агенса отсутствует, то глагол по своему значению еще близок к возвратному (среднему) залогоу — субъект и объект совпадают. Это все еще — особенность разговорной речи. Рефлексивность и залоговость не совпадали и формально.

Памятники XI–XII и XV вв. дают расходящиеся результаты относительно употребления причастных форм. В OE 1056 традиционный текст, в котором местоименные причастия составляют почти 20% всех причастных форм, тогда как в берестяных грамотах их нет вовсе, а в XV в. полные причастия сохранялись в косвенных формах в составе традиционных формул. Тем самым они противопоставлены кратким в им. п., которые становились свободными формами причастия. Краткие действительные причастия по текстам составляют 80% всех причастий вообще.

Предложена типология исторических уровней в развитии причастных систем; в основе типологии лежат признаки изменяемости/неизменяемости причастий и возможности/невозможности связки *быти* в сочетании с причастием. Согласно этим и другим признакам можно представить пять последовательно возникающих систем:

1. Исходная древнерусская, затем оставшаяся в книжно-письменном (церковнославянском) языке; здесь сохраняются все категории и формы исходной системы во всех их изменениях, описанных выше.

2. Древнерусская реальная (живая разговорная) система отличалась от системы 1 тем, что краткие формы причастий здесь употреблялись только в им. п., но со многими вариантами и начинались различные их преобразования.

3. Старорусская (общерусская, ныне сохранилась как диалектная); происходит утрата рода и числа в склонении кратких причастий, возможны совмещение книжных и разговорных форм (*идучи* — *идущий*) и сочетание неизменяемых форм со связкой *есть*; утрачиваются старые синтаксические конструкции (дательный самостоятельный)

и создаются новые (*весь опухши, был вставши, я приехатчи, учнут запершиися сидеть*).

4. Современная система литературного языка, которая сложилась во многом путем искусственного соединения двух систем в XIX в.

5. Современные диалектные системы, которые продолжали свое развитие; особенно тут выделяются северные русские говоры, развившие новые типы аналогии и создавшие новые синтаксические конструкции, во многом продолжающие старорусские тенденции.

Системы 4 и 5 — предмет изучения современного литературного языка и диалектологии. Предметом изучения исторической грамматики являются системы 2 и 3 — на протяжении XII–XVII вв. происходили важнейшие структурные изменения в области причастий, которые и подлежат изучению.

— Местоименные (полные) причастия стали прилагательными.

— Краткие страдательные причастия прош. вр. становились формой выражения залога.

— Краткие причастия утратили формы падежа, затем рода и числа (раньше всего двойств. ч.), сохранив преимущественно форму им. п.

Обобщенные формы мн. ч. на *-вьше* отмечались в Русской Правде (12 раз в НК 1282), в которой действительные причастия не встречаются в косвенных падежах (только в им. п.: *да аще будеть обидя не вдасть...*), имевших полунаречное значение. В Лавр. нарушений согласований у причастий на *-въ* 56 раз, на *-вьше* — 69, но еще сохраняются косвенные формы (в вин. п. на *-въшю*); ср.: *нивы поростъше* — окончание мужского рода при женском роде имени; *слышавше Владимиръ разгнѣвася* — мн. ч. вместо ед. ч.; *и въставши новгородцы избиша* (Радз. XV) — ед. ч. женского рода вместо мн. ч. мужского рода и т. д. Особо следует оговорить распространение флексии *-и* вместо *-е* в форме мн. ч. Исконное окончание мужского рода *-вьше* в склонении на согласный развивало новое *-вьши* уже в памятниках XI в.; ср.: АЕ 1092, в котором 29 раз использована новая форма и 12 — старая. Сравнение Лавр. с МС XV показывает нарастание числа нарушений согласования в роде и числе, причем каждая из возможных в им. п. форм может заменяться другой — *-я/-а*, *-ше* и *-щи*. В XV в. нет различия и между формами типа *делая* — *делаючи*, *пришедъ* — *пришедъши*. Средневековые грамматические руководства специально подчеркивают, что только формы ед. ч. следует употреблять с окончанием *-и*, тогда как формы мн. ч. требуют *-е*.

Причастия как категории разрушились, распавшись на несколько лексико-семантических групп, каждая из которых начала свою собственную историю.

В основной своей части современная морфологическая система сложилась к концу XVII в.

СИНТАКСИС

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1.1. Общие положения

Предметом исторического синтаксиса является преобразование взаимных связей морфологических и лексических средств языка по мере развития форм мышления и структурных типов высказывания. Изменение же синтаксических н о р м языка становится *объектом* исторического синтаксиса, его необходимо выявить и описать в историческом исследовании предмета. Зависимость синтаксических изменений от всех остальных уровней языка, включая фонологию, определяется местом синтаксиса в языке — это уровень, который непосредственно служит созданию, хранению и передаче информации путем построения типичных формул и конструкций, способствующих выражению законченной мысли. Такие конструкции развивались последовательно и долго, и у нас есть возможность проследить все этапы становления современного синтаксиса.

В свою очередь, синтаксис обратным образом становился тем проявлением языка, который сгущал прежде разрозненные лексические группы или неопределенные морфологические отношения и создавал новые грамматические категории, сыгравшие важную роль в становлении русских форм мышления. Достаточно указать на категории вида, залога и времени, которые образовались как раз в синтаксическом контексте. Наоборот, другие категории растворялись в таком контексте, став избыточным средством выражения мысли; так случилось с категорией определенности.

Большую роль в развитии синтаксиса сыграло появление письменной формы речи. На письме оказалось возможным отрабатывать сложные синтаксические конструкции, редактируя и совершенствуя тексты. Сложное предложение вообще развивалось в письменной форме; еще и сегодня в устной речи сохраняются простейшие древние формулы.

Основной источник наших сведений о синтаксисе языка все тот же — письменные тексты.

Язык — это этнически определенный тип знаковых систем, используемый в данном обществе; языку присущи системность, функциональность, историзм (естественный, «живой») язык изменяется). В противоположность этому текст есть объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, для которой важны именно связность и цельность (от лат. *textus* ‘плетень’). Можно сказать, что текст есть явленность языка в конкретной его национальной форме. Язык парадигматичен (системность элементов), а текст синтагматичен (их последовательность); текст воплощен в последовательности суждения и описания (предложен в предложении). В современном языке текст характеризуется законченностью, цельностью, связностью и последовательностью в изложении мысли. Он имеет затекст (основание высказывания), контекст (его структуру) и подтекст (скрытое содержание). Древнерусский текст более одномерен и прост, в нем преобладает информационный повод в простоте конструкции.

Язык определяется через систему. Система — это множество языковых элементов одного языка в отношениях и связях друг с другом, она определяется единством и целостностью; другими словами, система и есть язык как его сущность. В отличие от системы, норма — совокупность наиболее устойчивых реализаций языковой системы, отобранных и закрепленных в процессе языкового общения, для нормы важны стабильность, вариантность (форм) и сознательная кодификация. Норма есть познанная система, исторически фиксирующая состоявшиеся в системе изменения. Средневековый текст не знает нормы, и ясно почему: не познана система языка, нет положительного знания о языке. Вместо нормы присутствует «широкое представление о норме», т. е. ориентация на образ и подобие — на образцовый текст и на понятие авторитетного достоинства текста. Проблема системы и нормы — проблема соответственно исторической грамматики и истории литературного языка.

Основной единицей средневекового текста являлась традиционная формула — словосочетание из двух-трех слов; целостность текста определялась степенью цельности формул и их соотносительностью друг с другом. Этот принцип сложения текстов, в сущности, никогда не отменялся, он действует и до сих пор. Русские идиомы разного типа — не что иное, как «снятые» со своих контекстов древние формулы, в рамках собственного текста создававшие его подтекст. Синтагматика текста невозможна без парадигматики языковой системы, так возникает качественно новый принцип организации текста: усиление системности языка снимает творческую напряженность с текстовых формул, развивая независимость отдельного слова в новой текстовой структуре. Исторически в сознании формула чле-

нится на слова, как слог — на отдельные фонемы. Свободное слово, в новых условиях способное соединяться с любым другим, столь же свободным от узкого контекста словом, развивает метафоричность изложения, тем самым разрушая систему традиционных символов, крепившихся на ограниченном прострaнстве формулы.

Соответственно изменялся и принцип организации текста. Происходило углубление семантического пространства текста, главным образом в результате устранения многих «предикативных центров» старого высказывания. А. А. Потехня показал, каким образом организуется новое семантическое пространство высказывания, выносимое и в текст. Совмещение модальности высказывания, предикативности суждения и определенности ситуации привело к развитию сложноподчиненных предложений, с помощью которых логические контуры высказывания стали осознаваться вполне ясно. В области текстобразованья произошло то же самое изменение перспективы, что и в любом типе традиционного текста: смена обратной перспективы «от вещи» на прямую, свойственную современному восприятию реального ряда «вещей» — от говорящего.

Уже в древнерусском языке последовательное распространение формул конкретного содержания грозило перенасыщением словесного ряда, сложного для запоминания. И тогда в XV в. возник совершенно новый тип передачи информации. Синтагма сжималась до отдельного слова, и семантическая компрессия (слово получало смысл всей формулы) сопровождалась формальным усилением слова посредством суффикса. Такой словообразовательный «взрыв» своим появлением обязан как раз переосмыслению текстового ряда слов, что привело к семантическому разведению со-значений прежде синкретичного по смыслу слова. Сжимая отдельные формулы текста в слова и тем самым производя семантическую конденсацию смысла, язык нуждался в появлении новых средств для выражения специализированных его оттенков; например, как в «Домострое»: *мужь* — *мужикъ* — *мужичина* или *жена* — *женка* — *женьчина* для различения брачных, социальных и половых различий.

1.2. Признаки предложения

Термин *предложение* как перевод латинского слова *propositio* появился в самом конце XVIII в.; средневековой Руси известнее слово *уряжение* (*урядь*), осложненное указанием на письменную форму — *строка*. В современном значении это что-то вроде ‘законченный период речи в момент произнесения’ — с поправкой для письма ‘укол (точка)’ (исконное значение слова *строка*). *Урядь* значит ‘условие,

договор', т. е. представляет предложение как условную форму речи, выражающую некую мысль. Это логическая терминология, сохраненная доньше: термин *предложение* также синоним суждению. Таким образом, в древнерусском языке предложение понималось как общая цельность высказывания, определенная интонацией периода и ограниченной единственным знаком — точкой.

Сегодня имеется множество определений предложения, уточняющих разные его свойства. Это категория, противопоставленная слову и словосочетанию по формам, значениям и функциям и представленная следованием любой длины — от слова до развернутой конструкции; предложение выражает законченную мысль и предоставляет говорящему (пишущему) широкие возможности для ее передачи.

Это — конструирование вариантов речи, представляющих собой действие выработанных традицией синтаксических структур — *инвариантов языка* — на основе наличных *образцовых текстов*.

Три признака предложения: предикативность, модальность и определенность — составляют основной характер каждого предложения.

Предикативность есть отношение предложения к действительности, выражающее действие реальное — нереальное или достоверное — недостоверное, передаваемое посредством глагольного наклонения.

Общим признаком предложения является субъектно-предикатная структура, которая указывает на соотношение известного уже мысли и нового для нее знания, и обычно выражена подлежащим и сказуемым. Отнесенность соответствующей мысли к действительности (предикативность в широком смысле) обычно выражается значениями глагольного времени, лица и модальности, рассредоточенными между разными членами предложения, причем не обязательно только главными; например, порядок слов в предложении может перестроить субъектно-предикатную структуру, т. е. переместить внимание с одного «нового» на другое.

Предикативность создает предложение. *Идущий человек, ходьба человека* — еще формулы, *человек идет* — уже предложение. Предикативность выражается глаголом, который связывает серию речевых формул общим отношением последовательности изложения; например, это — простое предложение сочинительной конструкции, в которой глагол выполняет роль обобщающего слова.

В древнерусском языке происходит усиление предикативности, и на этой основе выстраивается новая перспектива высказывания.

Идея предикативности исторически изменчива. В современном языке в ней слиты категории лица, времени и модальности, в древнерусском эти категории были разведены, и только категория времени обслуживала предикативность как основной признак изъясительного

наклонения. Древнерусские предложения в основном простые, они лаконично излагают реальные события, привязывая их к определенному месту и времени и к определенному действующему лицу. Большую роль в этом играют частицы, которые в устной речи выполняют функцию модальных связок.

Глагол может получать самые различные формы, а иногда просто отсутствовать, как это имеет место в односоставных предложениях, в которых отсутствие глагола есть знак его особой важности, например при указании на вечное событие (некоторые тексты Евангелия) или на его длительность, как в новгородской летописи: *Стояше вся осенина дъждева от Г(оспо)жсина дни до Корочюна. Тепло. Дъжсгъ.*

В древнерусском языке именно глагольные формы формировали синтаксическую структуру высказывания; ср.: *а еже пьань мужь (есть), поьхнули бяху, запеньше ногою, а — умреть? Польдушегубьства ест* (Кирик, сер. XII в.).

Субъект речи (*пьянь мужь*) дан без глагольной формы — это наводка на рассуждение, предмет речи, и глагол здесь не нужен, тем более что суждение начинается с местоименного «артикля» *а еже*. Остальные четыре формулы имеют глагольные формы, которые сами по себе описывают последовательность и мотивировку событий: плюсквамперфект действия (*поьхнули бяху*), усложненный причастием вспомогательного глагола (*запеньше*) с переходом в будущее, которое указывает результат основного действия (*умреть*). Затем следует оценка, включенная в текст обобщающим глаголом *есть*.

Еще пример — из жития святого XV в.; монастырский эконо́м говорит раздраженно в ответ на требования голодающих селян: *Ньсть, — рече, — ржи! Ньсть, — рече, — хльба! Ньсть* является центральной частью эмоционального высказывания, а глагол включения речи, также входящий в высказывание, на втором плане.

Оба примера включают в свой состав еще одну характеристику предложения — модальность.

Типы *модальности* выражают отношение говорящего к связи между содержанием высказывания и действительностью: объективная модальность реальности противопоставлена модальностям *желательности, возможности и необходимости*.

Модальность высказываний дана в двух измерениях, свойственных древнерусским представлениям по сути: предметная модальность действительного мира постоянно соотносится с субъективно понимаемой «потенциальной» модальностью мира идеально мыслимого. В обоих случаях явлено трехчастное соотношение желательного, возможного и необходимого; модальность существует как в трехмерном пространстве действительного, так и в триипостасном единстве идеального. Воля и мощь подпитывают друг друга, образуя нерасторжимую цельность природных и сверхприродных сил.

Пространственная действительность «предметной» модальности четко разграничивается средствами языка.

Желательность выражена с помощью глаголов *желати, жада-дати, хотьти, вольти* при полном отсутствии безличных конструкций: субъект волеизъявления всегда определен. Это — открытость поведения в среде равных, она не допускает неопределенного выражения воли; используются различия в глагольных наклонениях, а также независимый инфинитив.

Возможность определяется и такими глаголами, как *мочь* (почти 75% всех употреблений данной модальности), *умьти, съмьти* и др., а также наречными сочетаниями, переводящими волеизъявление в план потенциальности (передают логическую последовательность действия — *льпо, льзь* и др.), что создает ситуацию не реального, а наступающего времени; все больше увеличивается использование глаголов *съмьти, умьти, дерзнути, успьти, достигнути* и форм типа *мочно* ('по силе возможности').

Необходимость выражается описательно, не грамматически, а с помощью лексических средств (*тръбрь, льпо, довльти, достоить*); здесь распространены безличные обороты в условно модальном времени (*аще поьхати будяше обрину...*) или, как у игумена Даниила, разного рода инфинитивные обороты (*влести есть, видети есть*) и т. д.

Желательность выражает мотивацию действия, возможность — морально-этическое оправдание такого действия, а необходимость все более развивает идею долженствования (появляется форма *должень*) — усиливается необходимость, явленная согласно чужой воле. Общее развитие модальностей состоит в повышении степеней обобщения, это — восхождение от «воли» к «мощи», и мощь подавляет личную волю.

Соотнесенность действительных модальностей с потенциально-реальными делает их как бы оттенками всякой вообще модальности — на фоне актуальной действительности, развернутой во все три временные сферы своего осуществления. Предметная модальность выявляет попавшее в поле внимания событие и одновременно оценивает его.

Психологи полагают, что информацию о мире человек получает слитно сразу всеми органами чувств, перерабатывая ее сознанием, но эта информация разных модальностей, она поступает в распоряжение воли для последующего действия. Таким образом, в отличие от логики предикативности модальность психологична, она связана с индивидуальным действием, отчего и вступает в исторический процесс достаточно поздно. Древнерусское предложение строилось на предикативности, с начала XV в. и модальность стала участвовать в создании предложений, прежде всего — сложных. Одновременно модаль-

ная система расширилась за счет таких слов, как *верно*, *вероятно*, *видать*, *главное*, *конечно* и т. д., а также модальных частиц (*небось*, *дескать*), безличных форм (*кажется*, *разумеется*, *очевидно*), сравнительных союзов (*точно*, *будто*, *словно*) и пр., как правило, в разговорной речи.

Важность модальностей подчеркивает наличие модальности в каждый исторический момент. Некоторые исследователи полагают, что исторически происходила смена модальностей бытия, в которых осуществлял свою деятельность средневековый человек: из реальной модальности *быть* в последовательность *хочу* → *могу* → *должен*.

Определенность — признак согласования всех частей речи в их последовательности в тексте и в их соответствии действительному положению вещей. Эта особенность предложения создавала равномерные ряды высказываний, уложенных в аккуратные цепочки слов; ср.: *и тут есть Индийская страна, и люди ходят всъ наги, а голова не покрыта, а груди голы, а власы в одну косу заплетены, а всъ ходят брюхаты, а дъти родятся на всякий год, а детей у них много, а мужики и женки всъ нагы, а всъ черны...* («Хождение» Афанасия Никитина) — в принципе текст может расширяться без конца, и новая информация (с повторениями: *всъ нагы*) пополняет уже известное.

Такие конструкции еще не предложения, а механический набор формул, объединенных о п р е д е л е н н о с т ь ю ситуации.

Древнерусский язык представлял скольжение определенности в тексте путем последовательного расширения высказывания: *...повельль есмь сыну своему Всеволоду отдати... святому же Георгиеви вельль есмь бити...* (Мстисл. гр. ок. 1130). Каждое последующее слово уточняет сказанное, доводя высказывание до известной степени определенности, которая достигается употреблением необычных форм (*Георгиеви* вм. *Георгию*). Достижение полной определенности стало возможным в Новое время, когда категория определенности ушла из морфологии как грамматическая (выше показана на истории имен и в связи с категорией вида). Теперь это «разлитая» по контексту категория, имеющая различные средства выражения с помощью лексических и акцентных разграничителей.

1.3. Синтаксические заимствования

Древнейшие синтаксические конструкции письменного текста были заимствованы из греческого языка в виде, переработанном старославянским языком.

Прежде всего выделим те особенности древнерусских текстов, которые не были элементами *языка*, а характеризовали перевод дан-

ного текста, в том числе и в составе устойчивых формул. Древнерусские книжники запоминали не язык, а конкретные тексты, в которых было много заимствованных или калькированных слов.

Например в Мстисл. гр. ок. 1130: *кто ся изоостанеть въ монастыри, то вы тѣмь дѣлжени есть молити за ны Б(о)га и при животь и въ смърти* уникальная глагольная форма представляет собой кальку: *ἐκ-λείπ-εσθαι* = *изо-оста-ти-ся* (греческая пассивная форма передается славянским *-ся*); ср.: *прѣ-ставитъ-ся* ‘умереть’ как калька с *μεθίσταμαι* (‘скончаться’ или в той же грамоте *донельже ся мирь състоитъ* = *συ-ίστα-μαι*). Следовательно, перевод текста таков: *кто преставится в монастыре, то вы обязаны его заступничеством (перед Богом) молиться за нас при жизни и после смерти.*

Однако глаголы калькировались реже, чем имена, которые выражали новые для славян понятия и реалии. Имена закрепились в нашем обиходе сотнями, от *огурца* до *совести*; ср.: *συν-(F)εἶδ-ός*; = **сѣн-вѣд-тъ* > *сѣвьсть*. Такое распределение между именами и глаголами показывает, насколько важно было положение глаголов как структурирующих славянский текст элементов, а такие элементы должны были быть славянскими. Текст Мстиславовой грамоты объясняется тем, что автор ее прекрасно владел греческим языком (может быть, лучше, чем славянским): он был внуком гречанки.

Естественно, что в переведенных с греческого текстах заимствований и калек будет больше; так, в переводе «Притчи о блудном сыне» (Лк. 15, 11–32) насчитывают до 20 языковых особенностей, которые возводят к греческому оригиналу текста, считая их «гречицизмами».

На самом деле это не заимствования. Постпозиция определения (*чловѣкъ нѣкыи*), широкое распространение причастных форм, обороты с двойными падежами, включая сюда и дательный самостоятельный, опущение связи в относительном подчинении (*свѣтъ иже въ тебѣ*), целевые и изъяснительные конструкции, образованные с помощью частицы *да* (*да приидеть*), отрицательные местоимения и наречия типа *никѣтоже*, *никакоже* и отрицательные конструкции самого разного типа — все эти и многие другие особенности речи были присущи и древнеславянскому языку эпохи первых переводов.

То, что переводчики намеренно предпочитали архаизмы, действительно может быть связано с формами и конструкциями, которые они находили в столь же архаичном греческом тексте, однако из этого не следует, что сами формы и конструкции навязаны новому литературному языку авторитетом греческого языка. С самого начала культовый язык (язык средневековой литературы) был ориентирован на высокий архаизм, который в разговорной речи уже сменялся новыми формами выражения.

Но некоторые сложные синтаксические структуры, отмечаемые в тексте перевода, действительно не являются восточнославянскими и заимствованы из старославянского языка, во многом обязаны греческому оригиналу.

Сюда относятся конструкции *аще* + действительное причастие (*аще бо съ мудрыими челоуькы бесѣдующе*), *яко* + инфинитив в придаточных следствия на месте греческого *ὥστε* с инфинитивом (*яко дивитися Пилатови*), *яко* + несобственно прямая речь после глагола говорения при греческом *ὅτι* (*рече ему яко братъ твои прииде*); относительные местоимения *иже, яже, еже* и наречия *идеже, егдаже, аможе* и др. и вообще обилие союзов, тогда как в разговорной славянской речи их было мало (как, впрочем, и в современной разговорной речи), но нельзя считать, что их вообще не было. Указывают старославянские союзы типа *аще, ако, егда, да, зане, занеже, убо* и др. в соответствии с греч. *ἐί, ἐάν, ὡς, ὅτε, ὅταν, ὥσπερ, ὅτι, ὥστε, διὰ, τό, ἐπειί*. Обращает на себя внимание многозначность и обилие греческих эквивалентов, в которых древнему переводчику трудно было ориентироваться и соотносить их с собственными союзами.

Все остальные не являются особенностями церковнославянского языка, это характерные черты перевода данного текста. Древнерусские книжники знали традиционные тексты, заучивали их, воспроизводили и при этом подвергали постоянной правке в сторону более знакомых и понятных им выражений и оборотов, постепенно проясняя для себя смысл самих текстов.

Когда же этот важный процесс накопления церковнославянского языка к XVI в. завершился, странным образом оказалось, что никаких прямых гречизмов в нем не осталось, все они подверглись переработке в соответствии с законами живой славянской речи.

Если исходить из понимания семантики славянского союза и это считать отправной точкой рассуждения, можно сказать о том, что исконный синкретизм славянского строевого слова обуславливал возможность перевода с его помощью самых разных греческих союзов. Последующая дифференциация на базе этой синкреты связана уже собственно с развитием славянской синтаксической системы, хотя направление семантической специализации могло быть задано греческой системой обозначений. Специализация значений всегда происходила за счет варьирования и расширения собственно славянских союзов, союзных слов и организующих эти последние частиц. Например, *яче/аште/аще* всего лишь мягкий вариант от *ако/яко/ъко* (фонетическая вариативность союзов подчеркивает несущественность их в древнем синтаксическом тексте), а славянская частица *ать* (с последующим суффиксом *-je* дает *аче/аште*), безусловно, родственна греческому *ὅτι*, который был в соответствующих конструкциях с прямой речью. Таким образом, даже на уровне форм наблюдается

генетическая связь формальных единиц обоих языков, что позволяет предполагать и семантическую их зависимость.

Конкретность текста исключает неизменяемость формы как факта языка, текст отражает с о в р е м е н н о е ему состояние языка, изменяется же только живой язык. Какие-либо явления, форма, значение не могут быть теми же самыми в разных системах и в разное время; признавая принцип системности языка, следует признать и следствия из этой системности.

Если две равнозначные конструкции разного происхождения использованы в одном тексте, их распределение объясняется не особым пристрастием к тому или иному языку-источнику, церковнославянскому или древнерусскому, зависимому или независимому от греческого, важны стилистические или функциональные условия выбора. Происхождение структур с позиции языка (не текста) не важно; если структуры и восприняты, они используются как языковые средства равноценного назначения.

У с л о в н а я синтаксическая конструкция возможна в двух вариантах:

а щ е л и ударить мечемь... да в д а с т ь литр серебра — книжная, старославянская и, по мнению многих, калька с греческого;

о ж е л и себе не может мьстити, т о в з я т и е м у... — русская, восходящая к разговорным конструкциям.

К о с в е н н о - п о б у д и т е л ь н ы е предложения могли быть тоже двух моделей: *молю да приидеши* — старославянский тип, *молю да бы пришел* — восточнославянский тип. Более того, попав в систему славянских синтаксических форм, первоначально заимствованный оборот преобразовался и по форме, и по значению (от условных — к условно-следственным, более разработанным в славянском синтаксисе), стал средством перевода самых разных греческих оборотов — другими словами, опять-таки получил неопределенную многозначность в соответствии с законами славянского языка. Попав из текстов в систему языка, оборот изменялся как факт древнерусского языка.

1.4. Основные закономерности исторического синтаксиса

Основным законом развития славянских языков А. А. Потебня считал постоянное увеличение противопоставлений между именем и глаголом, синтаксически — между подлежащим и сказуемым. Другим всеобщим законом можно признать связь морфологических структур и категорий с синтаксическими их функциями, взаимное «перетекание» морфологических парадигм в синтаксические синтагмы, и

наоборот, т. е. ослабление или сгущение категорий языка.

В последовательности исторических преобразований отмечаются следующие тенденции:

— сохранение устойчивости синтаксической структуры «имени-
тельный падеж — личный глагол» путем постоянного преобразования
связей, т. е. усиление предикативности;

— утрата старых структур и замена их новыми синтаксическими
структурами, т. е. усиление определенности высказывания и обога-
щение модальностями;

— выработка прямой перспективы высказывания от момента речи
взамен старой (обратной) от момента действия;

— развитие сложноподчиненных предложений (*гипотаксиса*) на
основе естественной речи *паратаксиса* (соединения речевых формул
в сочинении);

— замена именных сочетаний с предлогами придаточными пред-
ложениями с союзами, созданными на основе тех же предлогов;

— формирование нового типа предложений — односоставных,
которые выразительно представили разговорную стихию националь-
ного языка;

— соединение старых и новых синтаксических средств со стили-
стической дифференциацией в их функциональном единстве — текст
создается как цельность сообщения.

Таким образом, происходило отчуждение мысли от действитель-
ности, выделение мысли как самостоятельной области той же реаль-
ности при одновременной объективации ее познавательной силы.

Предложение как основная структурная единица развилось доста-
точно поздно и быстро прошло путь от речевой формулы до закон-
ченной цельности сложноподчиненных конструкций. Развитие пред-
ложения было связано с преобразованием видовременной системы,
с синтаксическим обобщением модальных слов, с образованием ие-
рархии синтаксических структур, выстраивающих перспективу вы-
сказывания, с семантическим «побледнением» некоторых глагольных
форм в составе предложения и их превращением в союзы, а также
(прежде всего) с чисто метонимическим перемещением синтаксиче-
ского признака *условия* в признак *причины*.

2. ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Особое внимание следует уделить тем частям речи, которые в исторической перспективе развития представляют собой как бы результат «выброса форм» из разрушавшихся синтагм традиционных формул, тех форм, которые сами по себе ни по каким категориальным основаниям в парадигмы не сложились, но стали средством логического скрепления парадигменных слов, создавая законченные синтаксические единицы — предложения.

В древнерусском языке это частицы, предлоги и союзные слова самых разных категорий и типов.

2.1. Предлоги

Чтобы удобнее было рассматривать историю старых предлогов, запишем их все в таблицу согласно алфавиту — это самый справедливый принцип предварительной классификации слов, различительные признаки которых мы пока не знаем.

Предлог	Каким падежом управляет	Древнее значение
<i>без</i>	род. п.	<i>вне, снаружи</i>
<i>въ</i>	вин. п. и местн. п.	<i>внутри, вверх</i>
<i>въз</i>	вин. п.	<i>за, вместо</i>
<i>до</i>	род. п.	<i>до, к</i>
<i>за</i>	вин. п. и тв. п.	<i>за, позади</i>
<i>из</i>	отложит. п. и род. п.	<i>за, позади</i>
<i>къ</i>	дат. п.	<i>ради</i>
<i>на</i>	вин. п. и местн. п.	<i>поверх, против</i>

Предлог	Каким падежом управляет	Древнее значение
<i>о(б)</i>	вин. п. и местн. п.	<i>около, вокруг</i>
<i>отъ</i>	отложит. п. и род. п.	<i>сюда, назад</i>
<i>по</i>	вин. п., дат. п., местн. п.	<i>туда, назад, вниз</i>
<i>подъ</i>	вин. п., тв. п., местн. п.	<i>сверху, вниз</i>
<i>пере</i>	вин. п. и тв. п.	<i>через, сквозь</i>
<i>при</i>	местн. п.	<i>перед, у</i>
<i>про</i>	вин. п.	<i>для</i>
<i>съ</i>	род. п. и тв. п.	<i>вместе, с</i>
<i>у</i>	род. п.	<i>вниз, прочь</i>
<i>через</i>	вин. п.	<i>поперек</i>

От этих древних образовались столь же старые *вы* (приставка *вышел*) из *въ*, *передъ* и *передь* из *пере* (*per*), а также *около*, *сквозь* и др. Все они постепенно обретали добавочные (этические) значения. Например, предлоги-приставки *въ*, *къ*, *съ* были связаны с чем-то хорошим (внутри, ради и с кем-то), оценивались положительно, а *без*, *подъ*, *через*, *сквозь* оценивались отрицательно (*через* вообще происходит от корня со значением ‘резать, рубить’). В современном русском языке некоторые из предлогов сохранились только в качестве глагольных приставок, но лишь потому, что с помощью распространителя-согласного они образовали новые предлоги: *пере-* > *пере-д-ь* ‘перед’ и *пере-з-ь* ‘сквозь (через перед)’.

В разряде приставок остались такие предлоги, которые не имели отношения к положению в пространстве. Так случилось с предлогом *роз* (*раз* в книжном произношении), который обозначал ‘часть, половину’ чего-то; ни положение в пространстве, ни отношение ко времени не обозначено.

Самые простые из наших предлогов — обычные слоги, состоящие из согласного и гласного: *до*, *за*, *на*, *по* — они несут конкретно пространственное значение, независимое от точки зрения наблюдающего субъекта. Они объективно указывают на вещные отношения. Что-то может быть *за* домом, *перед* ним (*до*) или *на* нем, или *под* ним (*по*).

Затем осознание пространственных размещений развивается до того, что уже говорят о предмете, который находится *при* чем-то или у чего-то, т. е. как бы присоединяется к предмету извне (или устраняется), разумеется, с помощью действующего лица — в событии. Теперь это не статичные определения предметных поверхностей (они еще не определены сторонами-краями-концами), а рассмотрение предметов в д в и ж е н и и.

Но это еще не проникающий взгляд в суть предмета, ее невозможно познать, не вторгаясь внутрь его, не подвергая его анализу, не разбирая его по частям. Возникает еще одна серия предлогов. В праславянском языке все они имеют один общий признак: распространяются дополнительным согласным типа *вън* ‘внутри’ как *вънутри* или *без* ‘снаружи, вне’ как *без-дъна*. Тем самым они указывают на направление движения (или взгляда наблюдателя на перемещение предмета). Теперь это не только *на*, но и *через*, не только *под*, но и *вдоль*, и *сквозь*, а также ‘по направлению к’ или ‘прочь’ и т. д. Плоскостное восприятие реального предмета обогатилось оттенками индивидуального восприятия этого предмета человеком.

Вместе с тем обогащается смысловой ряд отношений, передаваемых предлогами. Пока вокруг человека предметов мало, для сознания они мертвы в своей фотографической точности и определенности. Но как только в сферу интересов человека попадает много предметов, они вступают в какие-то собственные отношения, перестраиваются в новые смысловые порядки, неожиданно порождают новые слова, которые привносят в систему совершенно иные смыслы, определенные уже системой, а вовсе не реальными признаками самих предметов. Предлог, сохраненный древними языками, **per* (в русском языке приставки *пере-* и *пре-*) и сам по себе выразителен, но если

приставить зубной согласный *d* — получится **per-d* — *пере-д*,
приставить зубной согласный *z* — получится **per-z* — *пере-з*.

Обилие возникавших вариантов давало возможность комбинировать оттенки смысла, выбирая наиболее удачный вариант. Ведь если одно и то же значение ‘через’ можно передать с помощью предлогов *через*, *перез*, *на*, *по*, *пере* и др., всегда можно выбрать вариант по душе и вместе с тем уточнить характер взаимных отношений между предметами или их частями.

Тем самым предлоги стали элементами языка, структурирующими синтаксические отношения текста.

Предлог управляет определенным падежом имени. До сих пор мы пользуемся этим свойством предлогов. Самые древние предлоги связаны с обозначением места (местн. п.) или удаления от него (отложит. п., теперь совпал со значениями род. п.).

Второй ряд предлогов действительно связан с обозначением направления (но сохраняет и значение места), предпочитая управление падежами винительным или дательным: *вън-его*, *вън-емь* и *кън-ему*, а также (уже с развитием вставочного *-н-* в другие сочетания) *через него* и *без него*.

Значение соучастия в действии связано с тв. п., который явным образом соотносится с третьим рядом предлогов: *над ним*, *под ним*,

перед ним, также *за ним* и, конечно, с исконным владельцем этого вставочного *-н- сън-имь* (древнейшее значение предлога *съ* 'вместе, сообща').

Таким образом, значения предлогов точно соотносились со смыслом падежных форм, которыми они управляли, очень часто составляя с ними тесные «предложно-падежные формы». Историки языка полагают, что и сами по себе падежные окончания некогда были простыми частицами, обозначающими место или направление движения.

Так создавались древнейшие формулы речи с выражением связей:

— пространства: *об онъ поль города, стоялъ об Оке рѣке, передъ меня положить, идоша за море, падъ на землю, по всеи земли, и гнашася по нихъ, ищи при видоць* (свидетеле), *въ ротѣхъ храбрь, на санех съдя* и т. д. с вин., род. и местн. падежами имени с обобщением местного в конце XIII в. (стал предложным);

— времени: *об ночь, по сю пору, по вся льта, по утру, на малъ часть, въ ночи, при своемъ животъ, по трехъ днехъ*, с различием определенного времени в сочетании с вин. падежом предлогов *в, за, на, от* и неопределенного в сочетании с вин. или местн. падежом предлогов *в, на, о* или с вин. или дат. предлога *на, по*;

— причины-основания: *от их воровства* (жить невозможно), *за тою ссорю* (дела не ведать), *за ту свинью* (вели бить), *с глупости сказано, за болезню не былъ, изъ гладу мряху, по вѣрь и по закону* и др.; почти все предлоги в сочетании с вин. или род. падежами (*по* с дательным);

— объекта: *убьень от сродниковъ, бѣ бо рать от печенъгъ, подъ рукою, подъ властью, родися у Игоря сынъ, съ слъзами, подъ градомъ, про вѣру* и др., преимущественно с род. и тв. падежами имени;

— цели: *послаша о миру, храни про гость, по хльбъ роботати, подъ царя съдлають* (лошадь), *за раны Игоревы, во имя Божие, мечемъ жеребии на отрока и дъвицю, на дѣло в буети* и т. д. с предлогами *в, за, на, о, по, под* при вин. и местн. падежах.

Таким образом, только пять значений обслуживали предложные формулы, которые впоследствии могли развить соответствующие придаточные предложения.

Другие же значения, которые могли бы передавать предложно-падежные формы и которые они передают в современных славянских языках, в древнеславянском языке только-только оформлялись. Они еще неустойчивы и неопределенны, а из них важнее всего те, которые передают объектное значение: *противу ему — на немъ — за него*; они еще тесно связаны с глаголами, которые и определяют отношение к объектам, например:

стоящи на немь — пространственное значение
держати на немь — с оттенком временного значения
правити на немь — с оттенком объектного отношения.

Так предложно-падежные формы становились катализатором будущих синтаксических отношений.

Ударения предлогов изменялись в связи с изменением их функции.

Предлоги с исконным постоянным ударением на корне (*дѣля, рѣди, прѣже, чрѣсь*) или конечноударные (*кромѣ, межю, развѣ, сквозѣ, возлѣ, подлѣ, сзадѣ, послѣ*) начиная с XIV в. совпали в общем ударении — сначала в позиционном варьировании в зависимости от состава формулы (типы *прѣже* — *прежѣ* и *кромѣ* — *крѣмѣ*), а затем в полной утрате ударения как характерного признака данного слова, вынесенного за пределы акцентной парадигмы. При этом ударение изменяется только у русских форм, предлоги в церковнославянской форме не подвергаются никаким изменениям, навсегда сохранив архаичное ударение; ср. книжную акцентовку форм *посредѣ, вопреки, изнутри* и др. при русских *посередѣ* (диалектно *пѣсредѣ*) и т. д.; церковнославянские по происхождению формы не редуцируют конечный слог (*между, прежде*) в отличие от русских (*позады, меж, преж, сквозь, против, окол, прочь* и др.).

Таким образом, сначала ударение оттягивается на первый (функционально важный) слог, если слово утрачивает акцентную парадигму. Вслед за тем слово может утратить словесное ударение, если оно к тому же не несет самостоятельного лексического значения, т. е. оказывается изолированным не только морфологически, но и лексически. Безударность — функциональная характеристика служебного слова в современном языке.

Все это определяет изменение типа высказывания: происходило постепенное побledнение вспомогательных слов текста, с помощью которых создавалось высказывание. На первый план выходили другие слова и формы; имя и глагол.

2.2. Частицы

Частицы — служебные слова, придающие определенный смысл слову или оттенком знаменательному слову или целому предложению для выражения различных грамматических отношений. Подчеркнутые в определении слова являются ключевыми и специально в древнерусском языке определяют все особенности таких слов, а именно: частиц было очень много (в древнерусском насчитывают около

бо, многие теперь исчезли), они весьма частотны и многофункциональны, стилистически нейтральны до XV в., семантически синкретичны (особенно древнейшие из них) и, кроме того, акцентологически не являются клитиками, т. е. не отдают своего словесного ударения соседним словам, даже знаменательным. Это позволяло им выступать в качестве своеобразной «скрепы» словоформ в устойчивой речевой формуле, не претендуя при этом на существенность семантического или грамматического статуса. В акцентованных древнерусских рукописях находим закономерные ударения типа (для простоты иллюстраций — в сочетании с клитиками) *ты же́, ты ли́, ты бо́, мы бо́, мы же́, вы бо́, се бо́, не бо́, се же́, ино же́, и ты, но́ ты, ни же́* и под.; *и, но, не, да* и др., которые оттягивали на себя ударение с (последующих) энклитик, но при этом сами всегда представляли с сильным акутовым (устойчиво неподвижным) акцентом. В древности такие частицы служили для организации общей ритмической структуры предложения, всегда выступая на втором месте предложения; ср.: *бо́ ту те́ремь ка́мень*.

Основными компонентами всех частиц и самыми распространенными из них были базовые четыре:

же — как основная частица, совмещавшая в себе функции частицы и союзного слова с модальностью отрицательной уверенности: *бъаше же нькоторыи мужь хромъ и нъмь... Вода же мутна вельми...*;

бо — также одновременно частица и союзное слово, которая в древности не имела причинного значения и, в отличие от предыдущей, передавала ослабленную синтаксическую связь в модальности уверенности (с XV в. переходит в высокий стиль речи, поскольку на ее основе уже развились союзные слова *убо, ибо*). Это конструктивно усложненная частица; у Кирилла Туровского в XII в. она всегда сопровождается союзами и другими частицами типа *аще бо, егда бо, иже бо, не бо, се бо, яко же бо*. *Бо* — универсальная частица, она выражает средневековый принцип *подобия*, является знаком символического включения в текст и характеризуется исходным синкретизмом значения;

ли — абсолютный синоним к двум предыдущим (иногда они и встречаются совместно), хотя выражает другую степень усилительного значения, самую слабую из всех трех, скорее всего, представляя модальность неуверенности; ср.: *а ты князь ли еси?*

ти — по модальности самая слабая степень, выражающая заинтересованное пожелание лица (*добро ли ти помолодити...*).

К числу исчезнувших активных частиц (сохранились в белорусском и украинском) относятся вопросительные *ци/чи*, по-видимому, равные частице *ли*, ср. их сращение в *чили*: *Чили воспъти было, вьщеи Бояне* (Сл. плк. Иг.), *мы есмы ци не князи же?* (Лавр.) — ‘разве мы не

князья?». Очень рано эта частица слилась с другими, создав союзные слова типа *да ци, ци бы, ци аще, ци ли*, т. е. выполняла роль самой неопределенной по значению частицы «вообще».

Таким образом, основная функция частиц выделительная, уточняющая и усилительная, они исполняли роль своего рода определенного артикля, но для всей синтагмы, формулы речи в целом. Исследователи выделяют следующие функции древнерусских частиц (каждая из них имела параллельный церковнославянский вариант, который покажем в скобках):

- 1) усилительно-выделительная: *же* (*понъ*);
- 2) крайнего предела: *и, аже, даже* (*оли, олны*);
- 3) усилительно-отрицательные: *ни, ниже*;
- 4) заинтересованного в совершении действия лица: *ми, ти, си* и пр. (*Dativus ethicus*); ср.: *Володимеръ ти идетъ на тя* (Лавр. под 980 г.);
- 5) определительные: *и, бо*;
- 6) количественно-уточнительные: *нъ, яко, мало не*;
- 7) выделительно-ограничительные: *только, токмо, развъ, лишо, все* (*точю*);
- 8) условно-ограничительные: *развъ*;
- 9) уступительно-ограничительные: *аче, ли, хотя* (*понъ*);
- 10) указательные: *се*;
- 11) отождествительные: *тъ же* (*тоже*) и под.

Следовательно, многозначны лишь наиболее древние и самые простые по форме частицы; стилистическая дифференциация возникает только с XV в., когда появляются варианты частиц в тех же самых значениях, главным образом глагольного происхождения; ср.:

въдь из *въдь* вместо *бо* (→ *ибо, убо*): *ино то въдь часовни ть не священы* (текст 1496 г.);

хоть из *хотя* ‘даже’ вместо *понъ* в 9-м значении: *а хоть бы тако* (отдельные примеры с *хотя* встречаются и раньше, но в значении союза);

даже, усилительная частица на месте *же*; впервые в «Задонщине»: *того **даже** было не льно стару помолодиту*;

ажь ‘и вот’ из *а же* вместо *оли, олны*: *и приехаша псковичи к городищу, аже нъмци прочь в свою землю побъгоша* (также *ниже, ажно* и др.).

Уже в XVI в. появляется именно ‘точно’ вместо *бо*, а с XVII в. *просто, ровно* из *прости, ровни, развъ, вотъ* в значении *се, чуть не* из *чути, почти* из *почти* (*почитай*), *таки* в значении *ти бо, только* из *только* в значении *точю, лише* (сравнит. от *лихьи*); ср.: *лишо голову появила, а оне и выдернули* (Аввакум), *токъмо* от *тъкнути* (раньше от того же глагола образована частица *точю*) и т. д. Благодаря своей новизне отглагольные частицы воспринимались как про-

стые, разговорные и тем самым выдвинули традиционные частицы на уровень архаизмов высокого стиля.

Большинство новых частиц глагольного происхождения, они явились в связи с распадением традиционных речевых формул и в связи с заменой простых частиц постоянно усложнявшимися (на метонимической основе) союзными словами типа *за-не-же*, *по-не-же*, *от-не-ли-же*, *е-же-ли*, *ать-е-ли* (*ачели*), *не-же-ли* и под., а также в результате замены соединительными союзами типа *онъ же* → *и он... но он... а он...*

Так развивались в русском языке частицы. Выходя из состава синтагмы, они становились приметой цельного суждения и тем самым помогали построению синтаксической перспективы высказывания.

2.3. Союзные слова

Исконные союзы все сочинительные; только они и представлены в древнерусском языке раннего периода как достоверно самостоятельные союзы.

а — союз соединительный (соответствует союзу *и*), присоединительный (как *да*), начинательный (как *и вот*), противительный (как *нъ*), а также выступает как усилительная частица;

да — союз соединительный (как *и*), присоединительный (как *и ведь*), противительный (как *нъ, же*), сопоставительный (как *а, же*: *умному человеку поглядеть, да мне заплакать, на них глядя* — Авв.), а также как усилительная частица;

и — союз соединительный (= *и*), присоединительный (как *так же и*), начинательный (= *и*), противительный (как *а, нъ*), выделительный (*каковъ мужь, такова и жена*), а также как усилительная частица;

нъ (*но*) — союз противительный (*нъсть умьрла дъвица, нъ спить* в Лк. 8, 52), присоединительный (как *и, да и*), ограничительный (*и тьгда узьриши красоты тоя худость: ничьсого бо иного обрящеши, нъ кости ти, жилы и смрадъ* в И 73), а также ограничительная частица.

Союзы *а, и, да* близки по значениям и могут заменять друг друга; из них *и* — нейтральный (*и* = 'и'), *да* — усилительный (*да* = 'и'), *а* — противительный (*а* = 'и') и соотносятся по принципу трех указательных местоимений *сь — ть — онъ*. Это союзы одинаково с о е д и н и т е л ь н о г о значения разного качества, что усиливается общим значением частиц — усилительные. Наоборот, союз *нъ* чисто п р о т и в и т е л ь н о г о значения и выделяется ограничительным значением соответствующей частицы. Направляющая роль частиц в распределении сочинительных союзов несомненна; союзы восходят

к частицам по происхождению, синкретизм союзов в древнерусском языке еще не изжит.

Семантический синкретизм частиц, их многофункциональность показывают, что дело вовсе не в конкретном их значении, а в текстообразующей функции их следования одной по отношению к другой. Когда после XIV в. потребовалась специализация значений, эти частицы в силу плеонастического удвоения стали распространяться до союзных слов и союзов, изменяя принцип организации текста, сохранялись как текстообразующие элементы (ср.: *и-же, и-бо, и-ли, у-бо* и т. д., а затем *е-же-ли, ать-е-ли (аще ли), не-же-ли* и т. д.). Расширение синтаксических форм происходило параллельно с расширением синтагм и текста вообще. Новые степени отвлеченности в семантике форм организуются с помощью удвоения самих форм.

2.4. Развитие подчинительных союзов

Восточные славяне получили древнейшие, условно подчинительные, союзы из старославянских переводов греческих текстов; следовательно, они были заимствованными и текстуально неопределенными, привязанными к конкретному контексту, а потому многозначными. Особенно часто использовались союзы *ако (яко)* и *аще*, представленные многими значениями в зависимости от построения фразы. Так, придаточные с *аще* после главного (в постпозиции) обозначали причину, а перед главным (в препозиции) — условие; именно таково реальное следование условия — причины, и у нас нет оснований считать, что именно союз передавал такие отношения. Союз *яко* вообще выступал в любых значениях сравнительного плана. До конца XIII в. значение придаточного определялось смыслом глагола, который создавал семантическую перспективу предложения, а заимствованный союз служил знаком внешней связи — *яко* присоединения в сопоставлении, *аще* — общего подчинения. Такое их значение подтверждается этимологией: *яко* как *како*, *аще* как сочетание повелительной частицы с указательным местоимением **atъ + je* — ‘пусть будет так; дано так’.

Ср. в инфинитивных конструкциях, где отсутствие личной формы четко указывает смысл придаточного:

И сдумаша яко изгонити князя своего (Синод.)

Хрестъ есмь цѣловали яко всимъ намъ быти за одинь (Ип. 1425)

Тма бысть по всей земль яко же дивитися всимъ чловѣкомъ (Ип. 1425). Только выражение (соответственно) объекта, цели и следствия представлено как остатки древнего значения союза, причем оттенок сравнения присутствует во всех трех, и все можно перевести изъяснительным «так что» или сравнительным «так, что».

Семантический синкретизм пространственно-целе-причинно-временных союзов Л. П. Якубинский показал на примере развития союзных слов из исходного предлога с помощью частиц; ср.: *за, затем, за-не*, еще позже *занеже* с распределением их функций (еще *зато, за-и* и др.); аналогичны изменения предлогов *от* и *по*. При этом возникает нежелательная многозначность, пока что фиксированная в конкретных сочетаниях слов, которые совместно образуют своего рода «парадигму»: *за неже* (вин. п.), *по неже* (дат. п.), *от нелиже* (род. п.) и т. д. Понятие причины возникает из понятия сходства, а «сходство как бы поглощало различия». Ориентирование сознания на сходства и подобия являлось основной причиной длительного сохранения исходного синкретизма формальных средств языка и задерживало развитие текстообразующих форм.

Первоначально безразличие к семантике формулы подчеркивается ритмической характеристикой частиц. Все они были клитиками, т. е. оттягивали на себя ударение с соседних полнозначных слов, обеспечивая ритмическое единство формулы.

Специальное исследование показывает, что частицы в текстах XI–XIV вв. распределяются на различные типы: безусловно старославянские (*ли, убо, по нь, даже* и др.), характерные для древнерусского языка (*бо, ти, ажь, оли* и др.) и общие для обоих типов текстов, стилистически нейтральные (*и, же, се* и др.). Именно разговорные частицы обеспечивали тексту выражение эмоционального авторского отношения к описываемому, оживляли повествование экспрессивными оттенками и обычно употреблялись в формулах прямой речи.

Подчинительные союзы русского происхождения развивались на основе начинательных (> сочинительных) *а, и, да*, а также отрицательных частиц *не, у*, но не с помощью противительного *нь* (> *но*). К ним присоединялись частицы *бо, же, ли, чи* (*че*) или противительный союз *нь*, и в результате образовалась четкая система сложных союзных слов — одновременно и частиц:

<i>або</i>	<i>аже</i>	<i>али</i>	<i>аче(и)</i>	<i>ано</i>
<i>ибо</i>	<i>иже</i>	<i>или</i>	–	<i>ино</i>
<i>дабо</i>	<i>даже</i>	<i>дали</i>	<i>даче</i>	–
<i>убо</i>	<i>уже</i>	–	–	–
<i>небо</i>	<i>неже</i>	<i>нели</i>	<i>нече</i>	–

Пропущенные связки несоединимы по смыслу составных частей.

Таким образом, подчинительные связи восходят к сочинительным, обогащаясь определенной модальностью частиц, а функциональных расхождений между частицами и союзными словами не было. По этой причине после утраты редуцированных и редукции конечных гласных большинство таких образований остались среди частиц: *аж* (*дрожит*),

ишь (какой), *уж* (нет), *ан* (нет), *ач*, *аль* (есть?) и др. (в говорах их гораздо больше). В сочетании с *бо* редукции не было (под ударением), союзное слово *дабо* заменилось союзом *дабы*; союзные слова вообще не подвергались редукции, ср. *аже*, *иже*, *даже*, *или*, *ино*, также *либо*, *лиже* и под.

Одновременно с разграничением частиц и союзных слов происходило расширение последних до союзов. Пока это еще не союзы, а переходный этап к их созданию, что доказывается неполнотой формы, которая стала союзом по восполнении ее предлогом или заключительной частицей; ср *неже-ли* выражает сравнение, а *по-неже* — причину (причину выражал и отдельно предлог *по*). Для того же использовались указательные местоимения, создававшие причудливые следования типа *ачесь* ‘хоть сейчас’ (1254 г.). Впоследствии такие местоимения стали использовать в главном предложении для выражения связи с придаточным: *Аще бы лихъ законъ гречьскии, то не бы баба твоя прияла Ольга* (Лавр.). Такие местоимения называются коррелятами, поскольку они осуществляют взаимозависимость двух частей сложного предложения (от лат. *correlatio* ‘соотношение’).

По функции к частицам близки были указательные местоимения, из сочетания которых с частицами впоследствии также развились союзные слова, переключавшие синтаксическую связь с уровня синтагмы на уровень предложения. Это создавало совершенно новую синтаксическую связь на основе строевого элемента, стоящего над синтагмой. Путь развития от частицы через союзное слово к союзу есть путь развития и стабилизации синтаксической перспективы предложения за счет разрушения таких перемных компонентов древних автономных формул, как частица и местоимение.

Почти все древние союзы и союзные слова — восточнославянского происхождения; они заменили предшествовавшие им книжные формы, образовались из усилительных частиц и глагольных форм исходной синтагмы: ср. после XV в.: *есть ли* или *а(да) буде(ть)* вместо древнего *аще*, первоначально в деловых текстах, поскольку именно эти тексты раньше других отражали новые элементы системы. Включаясь в общую синтаксическую перспективу текста, глагольные формы прежде автономных синтагм снижали логическую и формульную выразительность своего предиката. Именно это по бл е д н е н е г л а г о л ь н ы х ф о р м доказывает текстообразующую их «важность» в предыдущий период и способность их к преобразованию в новых исторических условиях, когда наметилось расширение текста за счет накопления ряда последовательных синтагм.

По модели книжных союзов образовывались все новые, собственные русские, которые и вытеснили прежние формы. С XV в. заметно постепенное устранение древнерусских *ибо*, *иже*, *егда* и др. с заменой их соответственно на *потому* и *потому что*, на *который*, *како* или

коли, затем на *покамест* (*докамест*) в XVI в. и, наконец, *когда* — с XVII в.

Необходимость в новых формах возникала по двум прямо противоположным причинам. Формально последовательная дифференциация исходных синкретичных союзов постепенно зашла в тупик, потому что расширение союзов за счет частиц не могло развиваться бесконечно; ср. *до-не-ли-же* и т. д.; в конкретном тексте формальные единицы стали довольно значительными, иногда превышая содержательную часть высказывания (ср. в тексте XII в.: *Того бо ради и благодать велика, понеже бѣша чюдьна* — здесь шесть (!) исходных частиц и местоимений). Замены одного многозначного союза другим столь же многозначным (*как* или *коли* вместо *егда*) также уже не достигали цели.

3. ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

3.1. Типы простых предложений

Простые предложения в отношении к главному синтаксическому средству устной речи — интонации — делятся на повествовательные, вопросительные и восклицательные; иногда к ним добавляют побудительные и отрицательные.

Повествовательные предложения излагают смысл сообщения, особо выделяя сказуемое: *Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля мъритъ...*; *Были вьчи Трояни, минула льта Ярославля, были плъци Олговы...* Порядок слов указывает на изменение интонации — препозиция глаголов во втором случае выделяет подлежащие.

Вопросительные предложения начинались с союзов или сопровождались вопросительными частицами, ср. летописные тексты:

Чему еси слъпиль братъ свои? — Кто одолъеть: мы ли, оне ли? — Кому дань даете? — Что есть законъ вашъ? — Где есть братъ? — Кдъ поъдемъ: Смоленску ли, к Киеву ли?

От сего ли лба смерть было взяти мнъ? — А ты князь ли еси? — Ци я се створиль?

Позже в роли частиц стали употреблять *али, ужели, разве*, ср. у Аввакума: *Али не так говорю? — Ужели ты не пьянь от хмелю? — Разве тебя не разумию?*

Восклицательные предложения сопровождались междометиями, частицами, иногда простыми союзами:

О, Русская земля! уже за шеломянемъ еси! — Охъ, тотъ мя враже улови! — О, горь тогда братье бяше! — О, горе! свербитъ... охъ знойно!.. охъ, свербит! — Ать Изяславъ поидеть! — Да не прельстятъ тебе нещи отъ еретикъ!

К восклицательным относят **побудительные** предложения, выраженные формами повелительного наклонения, к повествовательным присоединяют **отрицательные** предложения.

Примеры побудительных: *Буди ми другъ! — Не ходи къ граду, возьми дань, еже хоцещи! — Да буди межю нами крестъ съ! — И да творять имъ мовь. — Богъ ти буди послухъ.*

Вопросительные и побудительные предложения не содержат суждения, восклицательные также выделяются повышенной экспрессией. Эти формы высказывания являются подтипами повествовательных, представляя собой риторический их вариант, ср. примеры из переписки Ивана Грозного и Андрея Курбского:

И коего зла и гонения от тебе не претерпѣхъ! И коихъ бѣдъ и напастей на мя не подвигнул еси! Кожъ лжей и измѣнъ на мя не возвел еси! (Курб.) — одновременно и риторический вопрос.

Како убо смѣху не подлежить мудрость сия? Почто убо намъ самимъ царству своему запалителемъ быти? Кто же безуменъ или яръ таковъ обряцется, разгнѣвався на рабы да свое стяжание погубити! (Грозн.) — наличие вопросительных слов переводит восклицание в вопросительное предложение.

Увы мнѣ грѣшному! Горе мнѣ окаянному! Охъ мнѣ скверному! (Грозн.) — риторическое восклицание с междометиями.

Только повествовательные и отрицательные объединяются общим свойством передавать новую информацию или отрицать ее наличие. Именно они наиболее типичны в древнерусском языке.

Примеры отрицательных предложений: *не ѣдемъ ни на конехъ, ни на возехъ, ни пѣши идемъ. — Не похули чловѣка николи же, не сътвори ничьсоже... — И не послуша ихъ Изгорь...*

Выделение отрицательных как самостоятельного типа связано с особенностью древнего синтаксиса, который предполагал наличие одного отрицания в предложении. Если предложение начиналось с отрицательного местоимения или наречия, то при глаголе отрицание могло опускаться (восстановлено в скобках): *Никто же бо (не) оставленъ бысть от Бога... — Николи же (не) всяду на нь... — Оному же съдѣшию и ничьсо же (не) въкуси отъ брашна... — И ничьсоже съ завистью (не) творити...*

Такие предложения отмечаются до XVI в., ср. в «Домострое»: *Никтоже без труда венчан (не) будетъ.* Усилительное отрицание *ни* также давало возможность опускать *не* при глаголе: *Золь чловѣкъ ни Бога боится, ни чловѣкъ ся стыдитъ* (Лавр). Отрицание объекта одновременно есть отрицание и связанного с ним действия. Таковы общеотрицательные предложения, которые отрицают всю информацию высказывания в целом (в отличие от *частноотрицательных*, выделяющих отрицанием один глагол). *Абсолютноотрицательные* с *ни* также снимают отрицание при глаголе или усиливают отрицание формулы речи, ср. высказывания в «Молении» Даниила Заточника: *Никтоже (не) может соли зобати, ни у печали смыслити. — Безумныхъ бо ни съють, ни орють, ни в житницу собирають, но сами ся*

родяты; ср. также усиление посредством ни в «Слове о полку Игореве»: Уже намъ своихъ милыхъ чадъ ни мыслию смыслити, ни думою сдумати, ни очима съглядати!

В 15 оригинальных памятниках XI–XIII вв. отмечено 259 предложений с одним отрицанием и 487 с несколькими, причем в церковных текстах они представлены равномерно пополам, а в деловых и в художественных примеров с несколькими отрицаниями в три-четыре раза больше, чем с одним. Исследователи полагают, что в столкновении грамматической логики с речевой экспрессией (необходимость отметить отрицанием каждый глагол) побеждала тенденция выделить отрицательную модальность глагольного центра самостоятельным отрицанием. Уже в текстах XI в. рядом встречаются разные конструкции: *Никъто же мене (не) видитъ* — *Никто же ти не бранить* (И 76) — *Ни хльба ни воды до сыти (не) принимаше* — *Ни хльба ни воды многы дни не насытихомъ ся* (УС XII).

Это значит, что в древнерусском языке обозначилась тенденция к особому выделению глагола — центру предложения — и одновременно к усилению предикативности высказывания.

3.2. Части речи и члены предложения

Говоря сегодня «часть речи», мы имеем в виду не части *глагола* (как было до XVI в.), не части *слова* (как было в XVII в.) и не части *предложения* (как в XVIII в.), а высказывание вообще, в котором выделяются определенные категории, соотносимые с «членами предложения». В членах предложения больше психологических, в частях речи — логических оснований высказывания. Сказуемое, выраженное глаголом, не то же самое сказуемое, которое выражено именем. *Он болеет. Он болен. Он больной* — мы всегда определим разницу, психологически несводимую во всех случаях: действие и состояние.

В языке это есть *конструкция* построения — *предложение* с абстрактным грамматическим значением, составленным общим смыслом *членов предложения*, связанным с *мышлением предикативным ядром* в виде сказуемого и представленным как *инвариант* мысли.

В *речи* это есть лексически наполненная *формула* — *высказывание* с помощью конкретных *частей речи*, связанных с сознанием на правах *вариантов* и ставших «материалом» предложений. «Существенный признак предложений в наших языках состоит в том, что в предложение входят части речи; если их нет, то нет и нашего предложения» (А. А. Потебня). Части речи входят в состав предложения посредством речевых формул, именуясь членами предложения. В членах предложе-

ния больше внеграмматических категорий, чем грамматических, и в каждом языке они передаются собственным набором частей речи.

Подлежащее — независимый член предложения, выражающий предмет речи, который обычно передается именем существительным в им. падеже, а также любой другой частью речи в предметной форме им. падежа:

Длго ночь мръкнетъ. — Они же сами княземъ славу рокотаху. — А погании съ всехъ странъ приходядаху съ побѣдами на землю Русскую. — Два слѣнца померкоста.

В древнерусском языке в роли подлежащего практически не использовались причастия и сложные сочетания, так же как и инфинитив; это форма дат. падежа, а этот падеж мог выражать субъект только в определенных сочетаниях (дат. самостоятельный и инфинитивные предложения).

Сказуемое также главный член предложения, подчиненный подлежащему и согласуемый с ним в роде, падеже и — обычно — в числе. Простое глагольное сказуемое выражается глаголом во всех формах времени и наклонения:

Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо, далече залетѣло. — Боянь бо въщий... растъкашеться мыслию по древу. — Длго ночь мръкнетъ, заря свѣтъ запала, мѣгла поля покрыла. — А всядемъ, братие, на свои бръзья комони да позримъ синего Дону. — Загородите полю ворота своими острыми стрѣлами за землю Русскую. — Аже бы ты былъ, то была бы чага по ногать...

Составное глагольное сказуемое образуется сочетанием модального или начинательного глагола с инфинитивом:

Съ вами, русици, хощу главу свою приложити, а любо испити шеломомъ Дону. — Ты бо можешии Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти. — И начяши князи про малое «се великое» мльвити. — Аще его опутавъ красною дъвицею..., то почнутъ наю птици бити въ полѣ половецкомъ... (Сл. плк. Иг.).

Составное именное сказуемое состоит из прилагательного, существительного или причастия, обычно со связкой (примеры из Лавр.):

Азь есмь мужь его. — Ты князь еси мудръ и смыслень. — Конь умеръ есть, а я живъ (связка опущена). — Люба бысть речь си дружини. — Ради быша вси по граду. — Князь нашъ убьень (связка опущена). — И мнози убьени быша ту. — И есть церкви та стоящи въ Корсуне градъ. — Бъ бо самъ любя жены (князь Владимир). — И бяху ловяща звѣрь.

Изредка в составе именного сказуемого встречаются местоимения и числительные, обычно без связки (скорее приложение):

Се мое, а то мое же. — А языкъ словеньскъ единъ.

Связка опускается при причастиях (*земля наша крещена*) и существительных в роли приложения (*ты намъ князь*), и особенно в случаях, когда имя в составе сказуемого употребляется в косвенных падежах:

А князь без грѣха. — Грамота без печати. — Все въ сапозѣхъ.

Кроме того, связка не нужна при выражении абсолютной принадлежности признака субъекту:

Ино им Богъ и святая Софья. — Новгородци прави, а Ярославъ виновать. — Намъ с вами миръ. — А се твое царство (Синод.) — Яко латыни прелестъ, тако и вы (лютеране) тма (Грозн.)

В «Слове о полку Игореве» полное отсутствие связок, в «Молении» Даниила Заточника они только в составе безличных предложений (*писано бо есть*). Логическое выделение мысли сохраняло связку, выделяя ее модальностью неизбежного совершения действия:

*Отъ чего ми **есть** умръти? (Лавр.). — **Суть** мы орудия въ Руси (Синод.).*

Обычно подлежащее стоит перед сказуемым, но не в составном сказуемом, где порядок слов свободный, и не в поэтическом тексте (как в «Слове о полку Игореве»). Особый сказовый стиль присущ и летописным текстам: *Бысть тишина все лето* (Синод.). Обратный порядок слов характерен для разговорной речи и сохранился в сказках: *Жили были <суть> дед да баба*. Выделение подлежащего на первое место — факт книжной речи, и это знаменательно: «Имя было, так сказать, гораздо предикативнее глагола» (А. А. Потебня), именем определялся общий смысл высказывания, тогда как глагольные формы только организовывали последовательность речи.

В разговорной речи с XI в. в качестве связок стали использоваться глаголы с общим значением ‘появление признака, изменяющего субъект’, т. е. *явится, становится, казаться, называться, прозываться* и др.

Глагольное сказуемое часто употреблялось без личного местоимения в роли подлежащего (*хощу главу свою приложити*), поскольку всегда ясно, кто автор высказывания; после XIII в. местоимение является обязательно, восполняя предложение до цельности двусо-

ставного; утрата связи потребовала местоимения для выражения лица, ср. в Синод. (тексты XIII в.):

Намъ есте не братья — ср. *Вы нам не братья*.
Азь есмь царь (книжн.). — *Язь вамъ не князь* (разг.).
Ты ми есть сынъ, а язь тебе отець.

В старых летописях подлежащее, выраженное личным местоимением, всегда на первом месте:

Азь есмь мужь его (Лавр.). — *Ты еси мои дворъ хотеть зажечи!* (Синод.)

При собирательных именах сказуемое стоит во мн. числе (согласование по смыслу, а не по форме), хотя прилагательные согласуются по форме:

Рекоша дружина Игореву. — *И исполчишася Русь*. — *Кде суть дружина наша?* — *Бишася дружина моя...*

При однородных подлежащих сказуемое употреблялось во мн. числе, но не в препозиции, ср.:

Святославъ же и Володимиръ, и Ростиславъ созваша дружину свою на совьтъ, но: *И приде Володарь и Василько на Давыда*.

В целом согласование сказуемого с подлежащим еще не устоялось, не имеет единой нормы употребления.

Определение, выраженное прилагательным, причастием и местоимением, обычно согласуется с именем существительным, к которому относится:

Тогда въступи Игорь князь въ златъ стремь и поьха по чистому полю. — *О! стонати Рускои земли, помянувшие пръвую годину и пръвыхъ князей*. — *Утру князю кровавые его раны на жестоцьмъ его тьль*.

Под влиянием переводов развивается несогласованное определение, выраженное род. и дат. падежами имени:

Судь царя и великого князя судити бояромъ (Судебник 1550). — *Видающе людемъ погибель* (Синод.).

Последующее расширение несогласованного определения в род. падеже объясняется ограниченностью форм притяжательных прилагательных и их стилистическим разнообразием, ср. *домъ отца* — *отцовъ домъ* — *отцовский домъ* с различием в значениях данных формул.

Старые речевые формулы сохраняют краткие прилагательные, ср. *князи добри суть, все здоровы, чьрна земля, сине море, богатъ мужь, церковь нова, церковь камяна* и др. С XV в. краткие формы стали выступать в составе именного сказуемого, а в качестве определений сохранились только полные формы. Порядок следования полных прилагательных как определений свободный, они могли стоять перед, после или в стороне от существительного, которое определяли. Отрываясь от своего существительного, такие прилагательные могли субстантивироваться, т. е. переходить в разряд имен существительных особого типа склонения, ср. *купчая* (грамота), *портной* (мастер), *озимое* (поле) или, как часто пишется в «Домострое», *рыбное, постное, ушное* (блюдо).

Приложение — это сочетание двух или более существительных, одно из которых выполняло роль дополнительного определения: О, Бояне, *соловию старого време*! В древнерусском языке приложения выступают обычно при именах собственных: И убиша ту Изяслава, *сына Володимира, внука Всеволожа* — выделенные слова составляют приложение к имени Изяслав; ср. еще: Ольговичи *храбрии князи* достигли на брань, и др. В русской речи сохранились самые древние приложения, теперь определяемые как сказочные: *жар-птица, царь-девица, душа-человек*.

Дополнение обозначало объект действия или состояния и передавалось связью управления — прямого (а князи сами на себе *крамолу коваху*) или косвенного:

И рече Игорь къ дружинѣ своей... — *Гримлють сабли о шеломы.* — *Солнце ему тьмою путь заступаше...* — *Чьрныя туча съ моря идуть, хотять покрыта четыре солныца...*

Обстоятельство указывало дополнительные условия действия или состояния, обычно передавалось наречием связью примыкания или предложно-падежными формами. Ср. примеры из Лавр.:

То ти неправо глаголють вольсви... — *И начаста жити мирно.* — *Пожилъ бес печали на свѣте семь.* — *И прияша ѿ съ радостью.* — *А древяне живяху звѣриньскимъ образомъ...*

Древнейшие обстоятельства сохранили старую форму без предлога: Ярославъ же съде *Кыевь...* *Томъ же лѣтъ...* и т. д.

Составом имен определялся смысл высказывания: современный читатель выражения

На рѣць на Каяль — определит как обстоятельство места;
Сего же лѣта преставися — как обстоятельство времени;
Уныша цвѣты жалобою — как обстоятельство причины.

Еще больше связь с современными значениями осознается при падежно-предложных формах с предлогами *для, за, из, от, ради, с* и др., сохраняющих свое исконное обстоятельственное значение:

*Мнози изъ гладу мряху. — Грьхъ ради нашихъ. — По зависти диаво-
ле. — В честь не пришли за причиною...*

Поскольку основное значение предложных форм имени было обстоятельственным, то впоследствии именно они стали передавать такое значение, отчасти переходя в новые типы наречных слов.

3.3. Порядок слов

Порядок слов в древнерусском языке был скорее обратным, чем прямым, т. е. сказуемое предшествовало подлежащему, прямое дополнение — глаголу, а определение следовало за определяемым словом. В «Слове о полку Игореве» более 60 раз сказуемое перед подлежащим и более 100 раз прямое дополнение перед глаголом. Постпозиция определения в XI–XIV вв. встречается столько же раз, сколько и нормативно книжная препозиция. В древнейших памятниках при наличии нескольких определений первое употребление всегда в постпозиции:

Сльтьста съ отня стола злата... отня злата стола поблюсти
(Сл. плк. Иг.). — *Съ отцомъ моимъ Гльбомъ и съ моимъ стрьемъ Фе-
доромъ* (Гр. 1300 г.).

Следование «данное — новое» передает объективный порядок (*князь иде*), следование «новое — данное» (*иде князь*) — субъективный. Второе присуще разговорной речи. Бытийные предложения вообще начинались с глагола: *Бысть день недѣльный. Бяхуть времена тяжьщи. Жили были дед да баба*. В центре внимания имя, а не смысл глагола; это своего рода номинативные предложения, которых еще не было, ср. *День недѣльный. Времена тяжьщи. Дед да баба*.

После XVI в. в тексты проникли разговорные конструкции, что привело к смешению прямого (книжного) и разговорного обратного порядка слов в пределах речевых формул. Язвительные речи Ивана Грозного дают множество примеров, еще больше их в писаниях Аввакума. Редактируя текст своего «Жития», он постоянно изменял порядок слов в пользу литературного прямого. Так, в окончательной редакции экспрессивная избыточность оказывается приглушенной.

Подлежащее — сказуемое: На те горы *выбивал меня Паиковъ* = *Паиковъ выбиваль меня*; *Сель Паиковъ* на стуль = *Паиков сель на стуль*; На всѣх домашних *нападе ужась* = *ужась нападе*; Сказали ему, что *я так молосъ* = что *я молосъ такъ*; Так и *отступитъ от нея бесъ* = и *бесъ отступит от нея* — с изменением также и места дополнения.

В именном сказуемом связка выносится вперед: Сперва *добръ* до меня *быль* = до меня *был добръ*; Егда еще *я попомъ бысть* = егда еще *я былъ попомъ*; От бѣсовъ *пораженъ бысть* = от бѣсовъ *бысть пораженъ*; Курочка у нас *черненька была* = *была черненька* и т. д.

Прямое дополнение не имело устойчивого места, и в окончательной редакции оно еще больше освобождалось от своего глагола:

И тогда мнѣ дѣлахъ добро = *мнѣ добро дѣлахъ*; *Тайно давали отраду* = *отраду давали тайно*; ср. наоборот: *А я вечерню пою* = *а я пою вечерню*; *Протопоп нарту съдѣлалъ* — *здѣлалъ нарту*.

Свободное употребление прямого дополнения используется в стилистических целях, ср. *добро дѣлахъ*, но *здѣлалъ нарту* — во втором случае большая конкретность обычного действия диктует употребление стилистически нейтрального порядка слов. То же при других дополнениях:

И я постегаю чотками = *и я чотками постегаю*; *Свѣдалъ то и самъ Паиковъ про младенца* = *свѣдалъ про младенца* — с устранением дистантного расположения дополнения.

Обстоятельства также не имеют постоянного места в предложении. Только обстоятельство меры и степени стоит сразу же за сказуемым (*и голка бысть велика зело* ('смута')).

С конца XIII в. развивалось дистантное расположение определений, совершенно свободных в своем употреблении:

А городовъ у Русской земли новыхъ не ставити (Гр. 1350 г.). — *Утъкиши пред нимъ борзости ради коньское* (Ип.). — *Платье берегутъ у себѣ лучшее* (Дом. XVI). — *Уже и съдины власовъ нашихъ свѣтлы!* (Курб.).

В этом проявляется усиление предикативности признака в условиях разрушения сложной системы времен, но одновременно и отражение древнерусской обратной перспективы при взгляде на вещный мир — представлена равноценность каждого признака и любой вещи. Такое положение к XVII в. завершается, Аввакум последовательно избегает оторванности определения и определяемого слова.

Постпозиция качественного прилагательного преобладает в начальном списке «Жития», постпозиция относительного — в последнем:

И возложилъ руку правую на пламя = правую руку; гдѣ я дѣла духовныя дѣлалъ = духовныя дѣла; далъ шубу новую = новую шубу; лѣто цѣлое мучилися = цѣлое лѣто и т. д., но дьявольскимъ научениемъ = научениемъ дьявольскимъ; отеческое благословение = благословение отеческое; в сибирской приказъ = в приказъ сибирской.

Препозиция притяжательных местоимений окончательно сформировалась только к концу XVII в., а постпозиция притяжательных прилагательных сохранялась дольше всего; так и у Аввакума. Постпозиция прилагательного выражает непостоянный и изменчивый признак, который и представлен у относительных прилагательных; притяжательные обладали повышенной предикативностью, что также обеспечивало им место за определяемым словом (отсюда после XVI в. развитие конструкций с «родительным принадлежности»: *князь мужъ = мужъ князя, отцовъ домъ = домъ отца*). Именно с качественных полных прилагательных началось развитие новых сочетаний с препозицией определения; выражая постоянный признак, они стали обозначать содержание понятия, представленного существительным: *по глубокому ручью, страшного суда*. Краткие прилагательные, оставаясь в составе именного сказуемого, поначалу это свойство сохраняли только при наличии связки, ср. летописные тексты: *и бѣ гладь великъ, вода бѣше велика, братья же ради бывше, бѣ бо великъ и тяжекъ, но бѣше смыслень* и т. д.

3.4. Синтаксис падежных форм

Роль падежа как чисто синтаксической категории подтверждается тем фактом, что в праславянском и древнерусском языках синтаксическая перспектива высказывания выстраивалась с помощью последовательности глагольных форм, выбор которых определялся наличием форм имени. Склонение имен существительных графически можно представить в виде п а д е н и я п а д е ж е й:



В категории падежа переплетались явления разных уровней: лексические значения, морфологическая значимость и синтаксическая функция. Функции падежных форм изменялись быстрее и чаще всего.

Остатки прежних значений падежных форм сохранились в значении беспредложных падежей. Две формы по два значения: *в и н и т е л ь н ы й* и *м е с т н ы й* — сохранили значение места и времени, ср. примеры из летописных текстов:

вин. — *бысть тишина все льто; копие преломити конец поля половецкого;*

местн. — *заложу церковь Новьгородъ, бысть пожаръ великъ Киевъ, и седе Киевъ на столъ, томъ же льте вода бяше велика, и томъ часъ бывъ яко и мертвъ, а также в Сл. плк. Игоря постоянно утръ, полунощи, вечеру* и т. д.

Различие между формами состоит в степени определенности, которая выше в местн. падеже. Этот падеж развивал побочные значения направления, источника действия и пребывания в данном состоянии:

есмь ѡхаль Киевъ, потергати брадъ, въсхоцеть царь добротъ твои, ходите ротъ, надъяся Бозъ и силъ, хоцю пояти дщерь твою женъ, объцашася работъ быти и т. д.,

которые отчасти пересекаются с «изъяснительным» падежом, сохранившимся в наречиях типа *добръ, зль, лютъ, нельзъ, явъ, годъ* и др.; противопоставление местного и изъяснительного см. в формах: *въ льсу — о льсъ, в дому — о домъ*.

Р о д и т е л ь н ы й падеж обслуживал значения времени, объекта и цели, а *в о т л о ж и т е л ь н о м*, который совпал с родительным, дополнительно представлены частные значения удаления, предела и части:

род. — *сего же льта преставися; въ торгу смотритъ всякого запасу; и посла Ярополкъ искать брата; се отхожую свѣта сего; Игорь же, дошедъ Дуная, созва дружину; подтвердохомъ старого мира; а хто моихъ бояръ иметь служити...*

Заемствованным было употребление род. принадлежности, обычно при наличии определения, ср.: *по отца твоего грамоте*.

Д а т е л ь н ы й выделялся направлением действия или лица, выражая принадлежность субъекту или косвенному объекту (в безличном предложении), а также цели и принадлежности:

иде Киеву; идете съ данью домови; родися Гюргю князю д(ъ)щи (дат. «заинтересованного лица»), форма *ти* перед дат. места: *Святополкъ съ-*

дять ти Кыевь (ср. совр. *иди себе!*); *уму смиренье, телу поробоценье*; (стрела) *удари въ ноги коневи; Ярославна рано плачеть Путивлю городу на забораль*.

Творительный падеж имеет особенно много значений, так что возникает подозрение, что этот падеж также образовался соединением нескольких прежних: места и времени, с одной стороны, и орудия (средства), образа и способа, основания и отношения — с другой:

царь изиде с вои брегомъ и моремъ, и приде ночью Вышегороду; а зимами чрез волоки волочилися; и поразихъ вы зноемъ и различными казньми; кто кого ударить батогомъ, лобо чашею, лобо рогомъ, то 12 гривень; хотъ его ножемъ заръзати; убило громомъ 3 человеки; люди изнемогоша водною жажею; уныша цвѣты жалобю; возрастомъ льтъ и красенъ лицемъ; бѣ же Мьстиславъ дебелъ тѣломъ, чермень лицемъ, великими очима,

а также сравнения в самом древнем смысле — уподобления:
полечю, рече, зегзицею по Дунаеви.

Значение места и времени не зависит от глагола и варьирует по форме: *все лѣто* — *того же лѣта* — *тѣмъ же лѣтомъ* — *томъ же лѣтъ*. Все остальные значения беспредложных падежей определялись смыслом глагола и только на этом основании выделяются сознанием и сегодня с помощью соответствующих предлогов: *отхожю от свѣта, дошедъ до Дуная, кого из бояръ иметь* и т. д. Отсутствие предлога определяется наличием приставки при глаголе, который и требует беспредложного падежа. Положение то же, что и в общеотрицательных предложениях, когда отрицательное местоимение в начале предложения снимает необходимость отрицания при глаголе.

Таким образом, в отличие от падежных форм с предлогом беспредложные падежи в древнерусском языке представлены не в пяти, а в 18 значениях, причем значения времени (род., вин., тв., местн), места (вин., местн.) и объекта (род., вин., местн.) представлены несколькими формами. Впоследствии произошло расширение формул за счет предлогов, которые более точно стали обозначать отношения между объектами речи.

3.5. Развитие исходных формул речи

Связи слов в предложении не были разработаны в речи до степени, знакомой нам сегодня. Примыкания (*иду быстро*) вообще не заметно, согласование (*отцов дом*) формально неопределенно, такое же при-

мыкание, а управление (*дом отца*) представляет собой простое следование различных падежных форм согласно смыслу высказывания. *Иде Киеву, стоя Киевь* — дат. п. и местн. п. имени важны сами по себе, предлог тут до времени не был нужен. Он понадобился к XV в., когда архаические беспредложные падежные формы стали выражать отвлеченно категориальные отношения, а новые предложно-падежные формы все чаще связывались с обозначением конкретно-вещных отношений: *ити Киеву* — ‘направиться в сторону Киева’, *а ити к Киеву* — ‘подойти к городу Киеву’; *прожити зимь* — ‘пережить зиму’, а *глаголати о зимь* — о данной, конкретной зимней поре. Дат. п. и местн. п. по преимуществу выражали пространственно-временные отношения и поэтому, отдаляясь от своих имен в абстракцию чистого отношения, дали начало многим наречиям: *домой, по случаю, внизу, посреди* и сотни других. Наполняя язык определениями к глаголу, наречия и создали отношение примыкания.

Постоянная готовность к возобновлению архаических, полузабытых форм и возможность создавать новые формы — живительная особенность русской речи, чуткой к изменчивой жизни. Средства для этого возникали разные. Любое сочетание слов, поставленное в определенном изломе формы, способно было множить виды суждений, привнося в высказывание тонкие оттенки смысла. *Горить свѣча воскъ ярь* — перестановка слов образует более привычные для современной мысли сочетания: *Свечу, у которой воск яр, свечу воска ярого, той свечи, у которой воск яр...* Мысль не заиклена на одних и тех же, ограниченных численно, формах выражения, а пластично и гибко вписывается в разноцветье форм, предстающих «образом и подобием» мира.

В разговорной речи, изредка попадавшей в записи, трудно обнаружить согласование или управление.

Капуста листие варити — самостоятельное предложение, которое можно передать так: ‘варить листья капусты’.

Ехати по берегу по низу — ‘ехать низом вдоль берега’.

Сходство между двумя примерами в том, что они отражают одну и ту же форму движения мысли. Для средневекового человека часть чего-то не может существовать отдельно, сама по себе, вырванная из целого — и потому в его сознании не выделяется особо. Оттого и говорили *капуста листие* (варить), а не *листья капусты* (управление) или *капустные листья* (согласование). Вещь нельзя разобрать на части в помысленном ее варианте. Нераздельность вещи словесно и грамматически не расчленена.

Здесь нет еще ни управления, ни согласования. Здесь слова примыкают друг к другу и, за в и с я одно от другого, согласуются в соответствии со своей формой в составе формулы. Не управление и не примыкание, а именно согласование соединяло подлежащее

и сказуемое во многих старых конструкциях, когда два имени одинаково представлены то в именительном, то в винительном, то в родительном и т. д. «втором падеже». Это логика сходств и подобий.

Синкретизм синтаксических отношений отражает общий синкретизм нерасчлененной мысли. Язык осторожно и постепенно ищет возможности для выражения логической зависимости одного представления от другого. Долгое время такой возможностью был порядок слов.

Умозаключение не состоит из ряда отдельных предложений. Оно как целое содержится в какой-то своей части — в определенном суждении. В сложной речи присутствует несколько предикативных центров, которые не сведены в единую модальность высказывания.

Куплены нити на шитье на шубы — ‘куплены нитки для шитья шубы’. Действие (шитье) и объект действия (шуба) выступают как равноправные элементы суждения. Перед нами как бы параллельное движение мысли, сложный силлогизм, вбирающий в себя все вокруг и выстраивающий все это в общий ряд равноценных форм: *Того же дни взято у крестьян у запольских за пожню за рель за сено за греблю и за метание и за вожение за 101 год 6 рублей московских*. Сено нужно сгрести (*гребля*), сметать в стога (*метанье*) и вывезти (*воженье*) — действие и его объект совмещены. *За пожню за рель* — ‘за пожню на рели’ (заливной луг); часть и целое слиты. *За сено за греблю... за 101 год* — действие само по себе, время действия — также, объект действия опять-таки сам по себе. Обратная перспектива мысли — от вещного мира к наблюдателю. Современное восприятие совсем иное, появилась логическая перспектива высказывания: ‘...за пожню на рели, а также за греблю, метанье и вывоз сена в течение 7101 года’ (1593 г.). Но если в высказывании все одинаково важно, и важно настолько, что даже предлог для всех слов избирается общий, — можно ли говорить о невыразительной плоскости высказывания? Напротив, средневековый человек видит мир и четко, и выпукло — в е щ н о.

Двойное управление обычно встречается в момент образования сложных синтаксических конструкций. В Гр. 1699 г. находим последовательность:

Высланъ я, холопъ твой, на работу к готовности ж корабельнымъ леснымъ припасамъ.

Здесь представлено отсутствие грамматической связи при наличии связи смысловой: *выслан на работу к готовности* — *выслан на работу (к) корабельнымъ леснымъ припасамъ*. Двойная связь с переходным глаголом дана в едином движении мысли.

И почаша гръци миръ просити, да бы не воевалъ гръцькоа земли (Лавр.) —

мысль выражена дважды, это плеоназм (избыточность). Такой же экспрессивный плеоназм и в речи Аввакума:

Ведаю веть я и твое высокое житье, как у нее живучи кутил ты!

Недостаточная связанность синтаксических частей предложения выдает разговорный характер высказывания.

3.6. Вторые косвенные падежи

Формульность уровней речи подтверждалась наличием согласуемых падежных форм при передаче субъект-объектных отношений; сюда относится и конструкция со «вторым именительным», которая отличается тем, что является единственной двусоставной.

Второй именительный употреблялся после глаголов речи и при глаголе бытия:

Бяху *мужи* мудри и смыслени, нарицахуся *поляне*. — Ини же не свѣдуще рекоша, яко *Кии* есть *перевозникъ* былъ.

Здесь представлен вневременной признак постоянного качества, поэтому второй именительный не заменялся творительным, ср.: *Киш становился перевозникомъ* при примере из Лавр., *тако уродомъ ты творя* и вообще при глаголах движения (*Боянь... растъкашеться мыслию по древу*). С конца XVI в. второй именительный стал заменяться творительным предикативным, хотя в сочинениях Андрея Курбского творительный замечен уже в середине этого века (полонизм). Переходным этапом снятия исключения (местн. п. вместо тв. п.) было включение различных речевых формул при сравнениях, ср. в письме Ивана Грозного: *А отец твой у них в головах кабы староста в волости — в головах* вместо *голова*, с добавлением *староста*. Некоторые слова только в им. п. и могли употребляться (*другъ, врагъ, ласкатель* и пр.: *он был другъ*); таких примеров со вторым именительным много у писателей XIX и даже XX вв.

Второй винительный употреблялся при глаголах мышления, речи, действия (у одушевленных имен получал форму второго род. п.):

Мняшеть отца своего *жива*, *жъряхуть* им (кумирам), наричюще *я богы* (Лавр.). — *Сына* моего *примете собъ князя*, *привезоша и въ Новгородъ мертвъ* (Синод.). — *Не даша его жива*, и *уморивъше* рекоша: *умръль* есть (Синод.) — *А осенесь* сказали *тебя мертва* (Грозн.).

Структура со вторым вин. представляет двойную связь обоих вин. п. с глаголом:

*Нарече имъ Якова презвитера
И поставлю уношию князя имъ
Постави мя попа и т. д.*

Впоследствии на месте второго вин. стал употребляться тв. предикативный или предложно-падежная форма: *презвитером, князем, в попы, ср. пожаловаль меня в бояре.*

При глаголах движения употреблялся только творит. предикативный, как и вообще при глаголах активной деятельности. В «Повести временных лет» по Лавр. конструкций со вторым вин. в два раза больше, чем с тв. п., а в Синод. и МС XV они представлены пополам. С конца XV в. число конструкций с тв. увеличивается, с XVI в. употребляются предложно-падежные формы (*князь великий за приставы его посади* — Пск. II лет.), но еще и в XVIII в. старые формы используются (*весьма выгодно иметь жену красавицу* — Фонвизин). Прилагательные сохраняют второй вин. только в краткой форме (*отнял меня еле жива* — Авв.; ср. и предложно-падежную форму *нашли его в живых*). Причастия также сохраняют старые формы в кратком виде: *Видѣ себе бита и побеждена, посрамлена и поругана* (Пов. о Кулик. битве).

Второй дательный обычно употреблялся в сочетании с глаголом *быти*, иногда при опущенном первом дат., выражающем субъекта действия:

И възгореса духомъ, якоже быти ему христиану (Иларион). — *Подобаше иереиску чину рассудну быти* (Кирилл Туровский). — *Луцезь бы потяту быти, неже полонену быти* (Сл. плк. Иг.). — *Кому мнѣ учителю быти?!* (Грозн.). — *Подобаеть кротку быти ко всемъ* (Авв.). — *Как мне быть веселу?* (Сказка о Еруслане).

Первые случаи нарушения конструкции относятся к концу XV в. в Московском своде: *яко быти тебѣ князем вправду*. Но промежуточные этапы утраты второго дат. свидетельствуются сохранением вариантов типа *ему быти живу* — *ему быти в живых* — *ему быти живым*. С XV в. встречаются нарушения в области прилагательных, которые уже стали самостоятельной частью речи: *головь усьченои быти* (смешение форм дат. и тв. в прилагательном).

Особенно интересен оборот **дательный самостоятельный**, выполнявший роль придаточного времени (или уступительного), а в древности имевший также значения причины, условия, объекта, определения и сравнения; следовательно, он не имел собственного значения, поскольку для него важнее указать признак действия, чем его

субъекта; отсюда некоторое значение безличности при отсутствии связи с конкретным моментом действия. Оборот мог входить в сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, вводить прямую речь и выступать в качестве самостоятельного предложения.

Неопределенность в значениях и по функциям дает возможность переводить данный оборот в различных оттенках; так, высказывание Серапиона Владимирского в 1283 г. *Богу попуцьишо бѣси дѣиствуютъ* можно перевести как временное, условное, причинное и любое другое придаточное предложение, даже места.

Это очень частая в летописных текстах конструкция: в Лавр. встречается 619 раз, в Ип. 1425 — 227 раз, в МС XV — 499 раз.

Обычным (старым) типом конструкции была связь двух субъектов действия, объединенных кратким действительным причастием (страдательные появляются с XV в. — время распада оборота):

Учаицю ему въ церкви архиереи и книжници исполчишася зависти. — Ставишема обѣма полкома противу собѣ и рече Редедя... — Веснѣ же приспѣвши поиде князь... (Лавр.). — Тогда помързѣишо озѣру и стоявишо 3 дни и въздре угъ вѣтрѣ. — Чисту суицю небу вnezану померче солнце яко на часѣ... (Синод.) — т. е. когда учил он..., когда стали оба войска... и т. д.

В старославянских текстах оборот встречается только в такой форме при значении придаточного времени (*когда...*). Обычно его без основания считают калькой с греческого оборота *Genetivus absolutus*; скорее это удвоенный абсолютный падеж, выражавший сложную мысль до образования придаточных предложений.

Новым, собственно русским типом является оборот с одним общим субъектом действия:

И помоливишюся ему възлеже на одре своем. — И тако живуицю ему сконча житье свое. — Киеви же пришедишо въ свои городъ Киевъ ту и сконча животъ свои. — Идуче ми съмо видѣхъ бани древене (Лавр.) — т. е. 'и когда он помолвился, возлег он на ложе своем' и т. д.

Это сдвиг в сторону второстепенного сказуемого, выраженного причастным оборотом (*въставѣ и рече*). На основе оборота возникали сложные конструкции, приближавшиеся к причастным оборотам:

Феодосьеви же пришедишо по обычаю братью цѣловавъ и празднова с ними (Лавр.).

Направленность оборота на выявление признаков действия в XV в. приводит к выделению атрибутивного значения в ущерб предикативному:

Грьхъ ради нашихъ русскимъ полкомъ побѣжденномъ бывшемъ (МС XV).

В поздних списках летописи подлежащее иногда опускается — в связи с развитием односоставных предложений:

Лежащу [Ярополку] *на возъ саблеи с коня прободѣ ѿ ‘его’*.

С XVI в. оборот стал обогащаться союзами *бо, что, аще, егда* и др., что переводило их на уровень придаточных безличных.

В XVII в. в повестях и житиях оборот сохранялся, выражая по преимуществу временные отношения, иногда уточненные наречием времени:

И егда же всѣмъ людемъ из храмины изшедшимъ иереи же начать большого исповѣдовати. — Наутрие восходящу солнцу слышно бысть...

Обороты типа *мало времени минувишу, Богу благоволящу* стали приметой стиля, иногда иронического: *Ходил до риторики, да Богу изволившу назад воротился* (Фонвизин).

Таким образом, все представленные обороты речи были признаком живой речи с ее требованием *сходства формы и подобия смысла*. Так создавалась возможность для укрупнения текста за счет накопления нескольких речевых формул в общей синтаксической перспективе без помощи других признаков определенности, например артиклей, слов типа *вот, тот, один* и пр.

Замещение вторых косвенных падежей в составе сказуемого творит. предикативным и развитие придаточных на основе дат. самостоятельного разрушило принцип согласования частей высказывания, привело к развитию подчинительной связи слов, создало логически более строгую иерархию предложений, преобразовав всю синтаксическую перспективу высказывания.

3.7. Древнейшие формулы речи

Русские лингвисты описали множество архаичных конструкций (речевых формул), с помощью которых славяне долгое время обходились для выражения безличных предложений. В. И. Чернышев приводил такие примеры из русских народных говоров:

Быть упасть, быть умереть, сколько ни браниться, а быть помирииться (необходимость или большая вероятность событий); *пойти было, что было говорить, быть было несчастью* — *да дождь помешал* (утра-

ченная возможность действия, ср. у Фонвизина: *пойти было прогуляться на скотный двор!*); *есть молвить, быть красть* (намерение совершить действие); *пойти будет, за милую куму лезть будет и в тюрьму* (необходимость совершить действие) и т. д.

Такие конструкции возникли достаточно поздно, они основаны на глаголе *быть*, ставшем связочным, но представлены уже в древнерусском языке:

Еже было творити отроку моему, то сам есмь створилъ дѣла (Мономах). — *А чего ны будетъ поискати тобѣ ли, мнѣ ли?* (Моск. гр. 1362 г.). — *Как ни крыться, а будет повиниться* (Посл.).

В древнерусском языке представлены по виду двусоставные предложения, но при отсутствии глагола; современному сознанию они кажутся явно предикативными при наличии второго члена.

Тип *земля моя далече* (Ип. 1425) представлен многими сочетаниями с наречными словами, ср. *и дружба впрокъ* (Дом. XVI), *князь на Москвѣ* (МС XV), *ино та земля нашихъ головъ дороже* (Грозн.), *Краше бо сего жития смерть!* (Авв.); *Жирославъ быцести ‘без чести’* (Бер. гр. 67); *На рыбахо семница* (Бер. гр. 349); *Ярославъ въ Тфери, купель под горою, а князь безъ грѣха* и т. д. как бы при опущенной связке, которой в принципе никогда не было.

Тип *изба не надобѣ* очень распространен, ср.: *и въ пирѣ на дворѣ брежен же человекъ надобѣ* (Дом. XVI) ‘нужен охранник’; *ино надо бы дворянине* (Бер. гр. 19); *земля готова, надобе семяна* (Бер. гр. 17).

Тип *обычай странствовати* уже в древнейших частях «Повести временных лет»: *И рече Володимиръ: «Что есть законъ вашъ?» — Они же рѣша: «Свинины не ясти»*. Возможно расширение высказывания: *Бользнь убо есть, еже враждовати* (И 76).

Тип *грѣхъ сладко* является уже старорусским, он широко представлен в древнейших пословицах и поговорках, записанных в XVII в.: *Медь сладко, а муха падко* (вариант: *Грѣхъ сладко, а человек падко*); *Рѣпка обидно, а дѣвка завидно*; *Двѣ шубы тепло, двѣ хозяйки добро*; ср. в «Домострое»: *Пьяный мужъ дурно, а жена пьяна в миру не пригоже* — также несогласуемое сказуемое. Сохраняется в современной речи в виде формул *ум хорошо, а два лучше, клевета — это страшно* и т. д.

Тип *жениться бѣда* (а не жениться другая) также древний, ср.: *Кая бѣда не вшитати срамныхъ словесъ!* (И 76).

Тип *ити трудно, мочно проити* распространен до сих пор в различных сочетаниях с первым словом: *Мерско и говорить! Много о техъ козняхъ говорит!* (Авв.). — *Много о томъ писати*. — *Любо комуждо слушати ихъ* (Лавр.). — *Видѣти бо страшно* (МС XV).

Тип *мочно ꙗхати* в сочетании модального слова с инфинитивом также известен сегодня, ср.: *ни стѣна людѣмъ бяше лѣзъ добыти* (Синод.); *паки ли самѣмъ не мочно поити* (Ип. 1425); *луче бы ми здѣ умрѣти* (Лавр.); формула *пора прощатца* у Лудольфа в конце XVII в. представлена в виде характерного перевода *ныне пора домой*.

Тип *жалъ лошади, надобъ рыбы*: *Жалъ ми своя отчины* (Синод. под 1270 г.); *А мукъ колко надобъ* (Бер. гр. 363); *жалъ вора да повѣситъ* (Посл.); *А земли своей и людей тебѣ не жалъ?* (Грозн.); *Детки у нея, надобно ей курки* (Авв.) — при распространении становится безличным предложением.

Тип *много хльба*: *невѣдѣ колико злата и сребра; О, мѣного побѣды, братѣ, бецислѣное число!* (Синод.); *а в немъ гривна злата* (Ип. 1425), *хльба много* (Пск. II лет.); *здесе дель много* (Бер. гр. 43); *землицы мало а пожни отимають* (Бер. гр. 477).

Тип *ты ми братъ* (Ип. 1425), *Вы мужичей родъ, а не государьской* (Грозн.).

Тип с усилительным отрицанием *числа нѣту* при распространении приближается к безличным конструкциям: *У меня Бориса в животе нетъ* (Бер. гр. 49); *А жеребѣя нетуть ни кунамъ, ни верши* (Бер. гр. 322); *Сѣмянъ нѣту ни дѣжъ* (Бер. гр. 353); *Нѣту ны с тобою обиды; И нѣту вамъ чясти в Руской земли; У насъ князя нѣтуть; и множество паде головь, яко и числа нѣту* (Синод.); *Ино то и братьства нѣтъ! А спесивства нашего некоторого нѣтъ; А ныне про пословъ твоихъ слуху нѣтъ* (Грозн.).

Тип на *Сидоре лосось* (Бер. гр. 92) встречается в деловых записях: у *Марка коробѣя* (Бер. гр. 403), у *Лунька полтина* (Бер. гр. 138), на *Машкѣ 2 гривнѣ* (Бер. гр. 162) и т. д.

Тип *конецъ делу* представлен уже в XI в., ср.: *всякого дѣла коньць* (И 76).

Все указанные формулы речи передают абсолютное вневременное значение. Они представляют собой результат обобщения определенного набора житейских ситуаций, обозначают признак, приписываемый «подлежащему» в утвердительной модальности. Глагол здесь не нужен, поскольку он был бы лишен всех глагольных значений (времени, вида, залога, склонения). С другой стороны, эти формулы всегда полные, т. е. не могут сокращаться за счет одной из частей; таково именно свойство речевой формулы. Отличие от современных конструкций такого рода состоит в отсутствии общеотрицательных с местоимениями типа *ничего нового, никакой надежды, некому работать* и инфинитивных (*задача учиться, трудиться — доблестъ, кататься весело*), которые не согласуются со средневековыми представлениями о жизни.

По-видимому, столь же старой является в этом ряду и формула «им. падеж + инфинитив» *трава косить*, встречаемая в древних текстах и теперь сохранный в северных говорах:

«А мнѣ, — рече, — даи Богъ **исправити правда новгородская**» (Синод. под 1229 г.). — **Такова правда узяте русину** (Смол. гр. 1229 г.; рядом: **таку правду взяти русину в Ризь**). — **Держати црлюю правду и чиста въра** (Гр. 1388 г.). — **И та грамота, княже, дати ти назад и десятина и пошлина своя ведати по старине** (Новг. гр. 1471 г.). — **Каждый то въдаеть, что жена у мужа взяти нельзя** (Грозн.). — **Да и не пригодитца великимъ государемъ лая писати, а мы к тебѣ не лаю писали — правду** (Грозн.). — **Как мука сеяти и по тому управа чинити** (Дом. XVI). — **А Орда знати тебе, великому князю, а мне Орды не знати** (Улож. 1649 г.). — **Учинити ему торговая казнь** (там же). — **А велено им цена ставить всяким звърям** (Котошихин). — **И дасть ли нам та же чаша пить** (Авв.).

Такие формулы могли распространяться на одушевленные имена (*девка кормит, пчела садити*), но в современных говорах они неизвестны. С приведенными выше формулами эта конструкция сходна своей модальностью, которая заменяет предикативность: в данном случае это модальность *долженствования*.

Данная формула выделяется особо из-за неясности ее происхождения. А. А. Потебня называл такие формулы определенно-личными предложениями с несогласованным сказуемым («личность древнее безличности»). В. М. Марков объяснял их аналогией к старым, утраченным языком типам склонения, в которых формой вин. п. стала прежняя форма именительного: *матерь — мать, дочь — дочь, пламень — пламя* и т. д. В таком случае эта архаическая форма представляет вин. п. в форме именительного. Это «именительный представления», который начинает высказывание и пересекается с вин. п., а слова женского рода были единственным исключением в формулах типа *сьно возити, домъ строити — трава косити*. Не исключено и влияние со стороны тавтологий *суд судить, дело делать — и дума думать*. Категория одушевленности также влияла на сохранение конструкций с неодушевленными именами (*жену любить, но трава косить*). Ясно, что никакого воздействия со стороны других языков, на что часто указывают в образовании данной речевой формулы, не было.

3.8. Метонимия и метафора

Таким образом, простые речевые формулы составлялись по принципу метонимической смежности форм в свободном порядке слов: *добръ мужь — мужь добръ, мужь идетъ — идетъ мужь* и т. д. Метонимия была ведущим принципом организации древнерусского высказывания, что определялось и особенностями языка, который обладал важными свойствами семантического синкретизма.

С и н к р е т и з м языковых знаков отражает реальность вещного, предметного мира в его целостности, слово обозначает вещь во всей связности ее признаков, которые еще не дробятся на оттенки и части; это подчеркивает важность с и м в о л и з м а сознания, свободно подставлявшего одно явление под другое, более высокое и важное, — когда необходимо было объяснить частный случай происходящего.

Метонимичны грамматические а н а л о г и и, народная этимология, контаминации различных форм, эллипс (*выпил чашу вина > выпил вина*), семантическая к о н в е р с и я (взаимообратимость) субъект-объектных отношений, смежность пространственно-временных отношений, условия и причины, активности и пассивности (совмещение залога и переходности) и т. д. — в сущности, любое семантическое или грамматическое изменение древнерусского языка, рассмотренное нами, строилось на основе метонимии.

Сложноподчиненные предложения развиваются на основе сложносочиненных также метонимически, путем выделения из своего состава связующих элементов текста (союзных слов). Метонимически происходит развитие предложно-падежных форм в наречия (*стоять грудью, ответить головой, одним махом*); развитие деепричастий из кратких причастных форм, которые относились одновременно и к подлежащему, и к сказуемому (какой > как делая: *пятак упал, звеня и подпрыгивая* = ‘был звенящим’, ‘упал и звенел’ — с усилением предикативности имени); развитие прилагательных от имен существительных (*горе-беда > горькая беда*); наращение союзных слов, переходивших в союзы (*не-же-ли, а-че-ли-же*) и т. д.

Таким образом, распадение исходного синкретизма категорий и форм осуществлялось на метонимической основе как наиболее простой и наглядной форме их соединения (по смежности). Обилие двичных формул подкрепляло все эти изменения, показывая особое место таких формул в системе «метонимического типа мышления»: *радость и веселье, грусть-тоска, мирь да любовь* и др.

Конец эпохи Средневековья ознаменовался новым принципом «мышления»: развивалась м е т а ф о р а — перенос по сходству п р и з н а к о в предметов, а не по смежности самих предметов. Это уже переход к современному типу мышления, творческому и активному.

Развитие языка подвело к смене принципов мышления, потому что метонимия больше соответствовала синтагматике средневекового текста (смежность элементов формулы — не парадигма), тогда как метафора парадигматична.

Метафора развивается там, где словесный о б р а з и з н а ч е н и е слова осознаются как различающиеся, тогда как метонимия ближе к символу, у которого первообраз слова и его лексическое значение совпадают. В ряду метонимических пар *зелено вино > зеленая молодежь > зеленая тоска* вторая пара метафорична, а третья метафорична

на основе народной этимологии (т. е. метонимична: *зѣльная тоска* > *зеленая тоска*). Связь слов при метонимии свободна, при метафоре значение слова подавляет его (перво)образ, и сочетание слов становится более связанным. Поэтому метонимия развивает старые значения образа, а метафора открывает новые: метафора приписывает объекту новые признаки, а метонимия их открывает в самой вещи.

Метафора становится возможной при достижении достаточно высокой ступени абстракции и предполагает движение мысли от конкретного к абстрактному (от видов к роду); это уже предполагает развитое понятие мышление. Метафора развивается только после сложения противоположности между родовыми и видовыми признаками различия или сходства, которые развиваются посредством синекдохи; метафора есть соединение двух синекдох. Развитие признака, уже отделенного сознанием от предмета, проходит свой путь: сначала как эпитет (начиная с постоянного эпитета: *белый свет, красна девица, добрый молодец*), потом как сравнение или метафорический эпитет, и только потом уже как метафора в узком смысле слова (соединение двух синекдох): *жемчужные зубы* — *зубы как жемчуг* — *жемчуг* (о зубах). Метафорическое значение дает толчок словообразованию (сначала семантическому: *корова! баран! собака! козел!*), а затем и суффиксальному (*образец, образина*).

Путь развития оригинальных метафор сложен и тернист; появление метафорического принципа мышления стало концом древнерусского периода нашей истории, завершившегося в XVII в. По крайней мере до конца XV в. метонимия выступала как средство раскрытия заимствованных через христианскую литературу символов, формируя объемы понятий на основе разговорного языка и синкретичного восприятия вещи.

Но метонимический перенос сохраняется в лексиконе как основное достижение языка, тогда как метафоры, чутко отражающие малейшие извивы авторской мысли, чаще всего в словарь национального языка не попадают. Они имеют дело не с предметом, выраженным объемом понятия, а с текучими признаками вещей, выражаемыми содержанием понятий. Метафорическое значение отменяет основное значение слова, а метонимическое его сохраняет как основу словесного образа.

4. ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

4.1. Двусоставные предложения

Типичным в древнерусском языке является простое двусоставное предложение, обычно распространенное дополнениями и обстоятельствами, ср.:

Выведоша новгородьци изъ Пльскова Ярослава Ярославичя и посадиша его на столъ, а Василья выгнаша вонъ (Синод.) — Древляне же ради бывше и собраша от двора по 3 голуби и по 3 воробьи и послаша к Ользъ с поклономъ (Лавр.).

Обычны также не полные предложения, в которых опускалось подлежащее или сказуемое для краткости записи, если из текста был ясен субъект действия или необходимый глагол:

Яръ туре Всеволоде! Стоиши на борони, прыщещи на вои стрълами, зремлещи о шеломи мечи харалужными; Была бы чага по ногать, а кощей <...> по резанъ (Сл. плк. Иг.) — И приде Святоша Лучьску, а Путьата <...> Киеву; Дулеби живяху по Бугу, гдъ нынъ <...> волыняне; Отвщцаваху другъ другу глаголюще: «Азь бѣхъ сего города», а другий: «И азь сего села» (Лавр.).

Неполных предложений много в «Домострое» (*по што в торгъ и ты в клить*), в писаниях Ивана Грозного, у Аввакума и в других оригинальных текстах после XVI в.; в летописях они встречаются только в прямых репликах действующих лиц, что указывает на их распространенность в живой речи:

Рекоша же новгородьци: «Е ли вина его?» — Онъ же рече: «Безъ вины»; И новгородьцемъ двѣ чясти дани, а третьюю чясть дворяномъ (Синод. под 1219 и 1214 гг.). — Днесъ живи а заутра въ гробъ (Мономах).

Сокращение типичной формы предложения могло идти двумя путями — обобщалось либо подлежащее, либо сказуемое. С конца XIV в. на основе разговорной речи развиваются односоставные предложения, которые постепенно расширяют свое действие. Поскольку субъект (подлежащее), даже опущенный, всегда в мысли присутствует как *реальность* сообщения, а предикат выражает новый для мысли *признак* в момент высказывания, то именно сказуемое выходило на первый план, создав ряд односоставных сказуемостных предложений. Это — устранение субъекта в момент развития предикативности, но при сохранении идеи субъектности. Таково влияние новой идеологии — *реализма* («идея столь же реальна, что и вещь»), который получил свое развитие с XV в., а в XVI в. в корне изменил весь синтаксис — форму мышления и средство передачи информации. В частности, развитие односоставных привело к нейтрализации противопоставления подлежащего сказуемому в составе предложения, что имело далеко идущие последствия: стало необходимым употребление только одного главного члена, что, в свою очередь, вызвало развитие номинативных предложений.

4.2. Односоставные предложения

Самым древним типом односоставных были *определенно-личные предложения*; они выражали лицо формой сказуемого при отсутствии подлежащего, образующего плеоназм: *я ид-у* с удвоением указания на лицо; ср. тексты XI–XII в.:

Не хочю розути робичича, но Ярополка хочю. — Чтть те и слушаите братью! — Ирѣша къ нему дружина: «Пойди, сяди Кыевъ на столь отъни!» — «Полечю, — рече, — зегзицею по Дунаеви, омочю бегрянъ рукавъ въ Каяле реце, утру князю кровавыя его раны!» — Се даль есмь сыну... — Рчи ему тако: «Промилвалъ еси, оже еси не ставиль послуховъ»... — Не разумь емь бо ни гречьску языку, ни латыньску.

До конца XIII в. личное местоимение обычно опускалось, его почти нет в таких больших памятниках, как «Слово о полку Игореве» или «Моление» Даниила Заточника. С начала XIV в. в замещение отсутствующего подлежащего появляется местоимение, но и до того возможна его постанова для логического выделения действующего лица особой модальностью:

Спасися и ты, брате и враже Святполче! — И в дому своемъ то я творилъ есмь! (Лавр.) — Се азъ... повельть есмь... (Мстисл. гр. ок. 1130 г.) —

Что ты тому велиши творити? (Синод.) — *Нь азъ емлю тя, а не холопъ!* (Русская Правда). — *Нь мы се оставивъше паки напередъ възидемъ* (Сказ. Борис).

С XVI в. переход определенно-личных в двусоставные уже состоялся, хотя в Судебниках и в «Домострое» еще довольно много примеров определенно-личных предложений, у Курбского на 300 определенно-личных представлено всего 60 двусоставных, век спустя Аввакум предпочитает двусоставные, хотя использует и определенно-личные (в прямой речи). В «разговорниках» иностранцы записывают русскую речь, сохраняя обе конструкции: *Куды теперь идешь. Челомъ бью, но также Ино я пошоль, Я доволно пль, я сьтъ. Почему ты знаешь?* Как остаток древних конструкций сохраняются неопределенно-личные предложения в старых записях пословиц (XVII в.), ср. *есть пирогъ — ѣдимъ, а нять ево — гледимъ!*

Неопределенно-личные предложения появились позже, но распространились шире; они указывают на неясное множество лиц, так что, определенное по своей структуре, такое предложение остается неопределенным по лицу. Обычно неопределенно-личные выражались формой 3-го лица всех времен, причем в древнейших текстах не только множественного, но и единственного числа, ср.: аже *ударить* мечемъ, а не *утнетъ* на смерть, то 3 гривны; а оже *свержетъ* виру, ть гривна кунь (Русская Правда). Особенность этого типа простых предложений в том, что они обозначают вневременное действие всеобщего характера, поскольку форма 3-го лица менее конкретна, чем 1-го и 2-го лица (участвующих в диалоге); в принципе, она может обозначать любое лицо. Древнейшие примеры малопоказательны, поскольку отсутствие подлежащего может указывать на неполное предложение:

Выгнаша новъгородьци Судила ис посадництвта, и по том изгнании 5 день умре. И потом даша посадництво Якуну (Синод.)

Подчеркнутая форма глагола может относиться и к подлежащему *новъгородьци*, и, разделенное указанием на судьбу Судилы, представлять неопределенно-личное предложение.

Примеры неопределенно-личных предложений:

А оже убьютъ кого у кльти... то убьютъ въ пса мьсто (Правда Русская). — *А жену ти били не измучили чего же* (Бер. гр. 156, нач. XII в.). — *Миро възять* 'мир взяли' (Бер. гр. 286, XIV в.). — *Что избили братию нашу у вась и товарь поимали, за то вамъ Богъ помози* (Новг. гр. 1299 г.). — *Тои же зиме Новгородъ убиша Гаврила Перевинция и Ваця Свеневция и съ моста свергоша* (Синод.). — *И назовут ево в обыску*

лихим человеком, ино его пытати (Судебник 1550 г.). — В се время родися Ярославу сынъ, **нарекоша** имя ему Вячеславъ (Лавр.). — Преставися князь Юрь... и **положиша** его в архаггелъ Михаилъ (МС XV). — Того же лета **придѣлаша** перси у дѣтинца, и путь простороннеши **твориша** к святѣи Троици на город (Пск. II лет.).

Такими предложениями летописные тексты передают обычные действия своих персонажей; скорее всего, это устойчивые формулы речи с привычными глаголами: *убиша, свергоша, пограбиша, нарекоша, поставиша, въдаша, глаголаху, повѣдаху* и т. д. С XV в. они сменяются формами перфекта и настоящего времени *сказывають, сказывали, сказють, глаголють, емлють, нарицають, нарицали* и др., поскольку аорист уже утрачен в разговорной речи. Именно из нее и поступают в книжные тексты такие выражения, ср.:

А ходять на гору день по единому челоувку, дорога тѣсна, пойти нельзя (Аф. Никит.). — *А коли хлѣбы **пекутъ**, тогда и платья **моють*** (Дом. XVI). — *Что собачка в соломе лежу: коли **накормят**, коли нет; От дел звание **приемлют**; Григорьем **звали**, байник, сын мне был духовный; Наутро **кинули** меня в лотку и **напредь повезли*** (Авв.). — *Говорят, что там страшно холодно; **Скажутъ** что пригожие женщины во французской земль* (Лудольф). — ***Встречаютъ** гостя по платью, а **провожаютъ** по уму; **Жнутъ** поле в пору* (Посл.).

С XVII в. появляются **обобщенно-личные предложения**, которые в качестве самостоятельных выделяют не все историки языка. Такие предложения представлены формами 2-го или 3-го лица настоящего (будущего) времени, а также повелительным глаголом:

*Счастье в оглобли **не впряжешь**. — Без правды веку **не изживешь**. — Дареному коню в зубы **не смотрятъ**. — Снявши голову по волосам **не плачут**. — **Хвали** заморье на печи сидючи.*

Все примеры приведены из записи пословиц XVII в. Они обобщают жизненный опыт и по существу совпадают с неопределенно-личными в выражении обычных действий *поставиша в епископы, глаголаху, сказывають* и т. д. Отличие от определенно-личных и неопределенно-личных, может быть, только в том, что обобщенно-личные употреблялись обычно при отрицании (ср.: *Эту песню не задушишь, не убьешь!*).

Разнообразны формы выражения **безличных предложений**, особенность которых в том, что у них не только нет подлежащих, но они и не восстанавливаются на основе содержания высказывания; они обозначают действие вне его отношения к действующему лицу. Гла-

голы не выражают определенного лица, поскольку представлены бессубъектно указательной формой 3-го лица настоящего времени (*темнеет*), и притом в возвратном варианте (*не спится*), а также формой среднего рода (*ему везло, сверкнуло, велено*). Все это остатки разрушающейся древнерусской системы, в которой 3-е лицо было «внеличным», а средний род становился «внеродовым» (см. Морфологию).

Логически безличные не являются предложениями, выражающими законченность суждения, а представляют собой понятия о состоянии, действии или процессе, равновеликие отдельному слову: *Светает. Холодно! Потемнело. Дремлется*. Не случайно некоторые их типы пересекаются с древнейшими словесными формулами, особенно в сочетании с предикативным наречием (*жаль бо ему...; лютъ бо граду тому...; тяжа не надобъ*) и при полном отрицании (*нѣсть храбрѣства ни думы противу мнѣ; а иное грамоты у насъ нѣтуть!*). В. И. Борковский определенно полагал, что безличные конструкции в ранних грамотах своим происхождением связаны с речевыми формулами расширенной вставкой слов: *не надобъ никому же, было народу, трѣбъ должно* и др.

Безличные развивались в связи с утратой старой сложной системы времен и по мере развития категории залога, а также из-за «поблечения» категории среднего рода.

На месте позднейших отрицательных безличных в древнерусских текстах употреблялись еще личные предложения, ср.: Бысть съча зла, *яко же не была въ Руси* (Лавр. под 1019 г. — *какой не бывало*); *Преже бо того не бываль таковь пожарь* (МС XV под 1365 г. — *не бывало таково пожара*) и т. д. до XVII в. при родительном отрицании и родительном части, ср.: *деньги есть* (наличие их в утвердительном двусоставном) — *денег нет* (отсутствие в отрицательном безличном).

Структурно древнейшие безличные конструкции проявляются в трех типах.

Первый тип описывает *состояние, скрыто* вызванное субъектом и на него же обращенное как бы со стороны: *ему не спится, не можется ему*. В древнерусском таких еще мало; в «Повести временных лет» по Лавр. единственное место в начале списка «яко же пишется в летописании» относится к писцу 1377 г., потому что в других списках «*а пишешь*»; в «Слове о полку Игореве» *сеяшеться* и *растяшеть усобицами* и даже в записи писца псковской рукописи 1384 г. *дремлетъ ми ся* безличность еще под сомнением, но с XV в. число безличных глаголов увеличивается. Появляются *мнится, видится, дремлется, зевается*, а с XVII в. *кажется, хочется, можется, помнится* и др.: *а мнѣ ся не можется* (Бер. гр. 124, XV в.) — разделение безличной формы *можется* и местоимения *ся* доказывает наличие безличной конструкции. Так же в древнерусском «Сказании о Борисе и Глебе»

по позднему списку: *Пишеться* бо ся волю его сътворить. В XVI в. они представлены уже широко, у Ивана Грозного много примеров: И то гдѣ *ведетца*, чтоб целовалъ крестъ да порушить его? — Воистину бо Лютор, иже лють *глаголется*: люто бо, люто... и т. д.

Второй тип описывает *действие*, скрыто вызванное предметом, представленным в виде орудия действия: *ветром сорвало крышу*. Обычная форма выражения — безличным глаголом прошедшего времени или несогласуемым причастием. Древнейшие формы представлены в аористе:

В полночи зажжесея и горе мало не до вечера; Загорися и горь до вечера; И повель Ольга яко смерчесея пустити голуби и воробьи; Шеломъ с него слетъ и щить отторжсе; И в небеси погремъ в час 1 ноци; Той же зимы погремъ месяца декабря в 8; Яко месяцъ малъ и мало не смерчесея (Лавр.). — *Озеро морози въ ночь и растърза вѣтръ; И поломи мость 4 городнъ отинудъ бе-знатбе занесе; Загорься на Ильинъ улицы; Загорься на Бояни улкъ и погоръ до половины Рогатици* (Синод.). — *И конечнее невидимую силою поразил его о землю; И тако смерчесея на малъ часецъ* (Пск. II лет.). Ср. в «Слове о полку Игореве»: *Ту кровавого вина не доста*.

Количество безличных ограничено, это глаголы *смерклось, зажглось, загорелось, досталось, занесло, отторгло, погремело, поломало, померзло, поразило*. После утраты аориста с XIV в. безличные конструкции стали использовать перфект, иногда в сочетании с инфинитивом, как в повести XVII в.: *И стало на дворе смеркатца*. В Лавр., которая сохраняет старые формы аориста, в тексте Суздальской летописи уже представлены примеры *по селомъ дубие подрало, судно розбило, стѣну вышибло, ровъ учинило и хоромовъ нѣсколько несло* и т. д.

Типичные примеры:

Убило въ те поры громомъ 3 человекъ (Синод.). — *Нивы инья ледом подрало, а инья водою подмыло* (Пск. II лет.). — *Ино по тому так и не дѣлалось; А грамота что знаетъ? Написано да и минулося; А ему добръ хотелося к вамъ!; Али уже больно надоучило! Иноческое житѣе не игрушка* (Грозн.). — *Да и не стало ево; Егда ж розсвѣтало въ день недѣльныи, посадили меня на тѣльгу; Барку от берега оторвало водою, — людские стоят, а мою ухватило да и понесло! Мимо несло с версту; Занемоглось мне гораздо; К слову мольлось* (Авв.).

Краткие страдательные причастия среднего рода используются при передаче безличных конструкций уже в XII в., ср.: «а за жеребець, оже не въсьдано на нь, то гривна кунъ» в «Русской Правде», «а сицеи рати не слышано» в «Слове о полку Игореве» и «писано бо есть» в

«Молении» Заточника, а также в Лавр. в книжном тексте «и от тѣхъ заповѣдано обновити ветъхий миръ», также «поручено же бысть ему стража морьская» (правда, в поздних списках). Обороты *яко писано*, *яко заповѣдано*, *яко повелѣно*, *яко уставлено* книжного происхождения и встречаются в самых ранних памятниках. Зато в Смоленской грамоте 1229 г. «*приказано будѣте добрымъ людемъ*», «*взято товара*», «*изимано людей*». Особенно активно такие формы проявляются с XV в.:

Медь въ весели дано бысть Богомъ (И 76). — *Даче меду мало варено, а дружины много; Ано тамо измано* вявшие мужи (Синод.). — *А дружины много избьено; Звьрье разноличнии и птицы украшено* Твоимъ промысломъ (Лавр.). — *Оплетено* бо бѣ плетнемъ мѣсто то и *насовано* колия (МС XV). — *Не вѣси ли — 60 лѣтъ угажено* миру и мирьскимъ челоукомъ, княземъ и бояромъ: и въ срѣтенье им *сованося*, и в бесѣде съ ними *маньячено*, и вслѣдъ по нихъ такоже *сованося*, а того и не вѣмъ, чесога ради?! (Иннокентий). — *Всякому челоуку Бога ради давано; И огурци и лимоны и сливы также бы очищено и перебрано; все бы прибрано; По тому чину устроино; Остатки сверчено и связано; Никому ни в чемъ не слыгивано, ни манено, ни просрочено* (Дом. XVI) — *Ино было, Васюшка, без путя среди крымскихъ улусовъ не запѣжати, а уж запѣхано, ино было не по объездному спати; Якоже напреду явлено* будет; Много *отпущено* всякихъ людей: *спрося ихъ уведай!* (Грозн.). — *Кое о чемъ говорено; Худо сделано, не мужественно* (Авв.). — *Нашому Мине начосоно* в спѣне (Посл.).

Особенность страдательно-причастных конструкций в том, что они не лишаются значения пассивности при одновременном присутствии безличного значения.

Третий тип обозначает не состояние и не действие, а процесс: *Светаёт* (ср. *Светало*). *Знобит* (ср. *Знобило*). *Ему везет* (ср. *Ему везло*). Ср. в записях пословиц XVII в.: «Испила баба табáки, да несет что от сабаки». Отличие от неопределенно-личных с формами 3-го лица мн. числа наст. вр. в большей отстраненности субъекта от описываемого процесса.

Типы безличности развивались на протяжении всего Средневековья из-за необходимости передать неизвестные состояние, действие или процесс, относительно которых существовала неуверенность в их достоверности или точности. Все формы безличности представляют собой сокращение предметно-личного (реального) субъекта, тогда как грамматически скрытый субъект (идеальный) присутствует, сохраняя ту же самую идею субъектности при ясно выраженном предикате. За этим можно видеть давление реализма, в начале XV в. сменившего древнерусский номинализм.

Инфинитивные безличные предложения выделялись выразительной модальностью неизбежности действия, усиленной модальными словами:

Мстити брату брата (Русская Правда). — *Быти грому великому, ити дождю стрѣлами... О, стонати Русьской земли!* (Сл. плк.Иг.). — *А то Богови судити!* (Синод.). — *Не бяше лъзь коня напоити; Не надобь потягнути къ граду; Ту ти ему прити, да негли ту покоритися; Мощно видѣти челоуькомъ...* (Лавр.). — *Хорошо мне жить с собаками да со свиньями!* (Авв.). — *Не бывать калине малиною!* (Посл.).

Объективная неизбежность или обязательность действия передавалась сочетанием инфинитива со связкой (*быть пойти, быть стать, быть опоздать, князю Игорю не быть!*), ср.:

И бѣ видѣти чудо преславно (Сказ. Борис; ‘было видно, можно видеть’). — *И ту есть гора... видѣти ю есть отвсюду издалеца* (Хождение Даниила).

Другие значения инфинитивных предложений — описательное (Все по морю *ити и видѣти* все въ градѣ), оценочное (Друзии же рекоша: «Княже, *бѣжати* уже!»), символическое (Уже мнѣ мужа моего *не крѣсити!*), формульное (то богови *судити*; а всимъ тамо *быти; суда божия не минути!*) — после XIV в. утрачиваются, кроме оценочных, которые становятся предписывающими: *Быть бычку на веревочке!*; *А тыхъ бы хотя и не постыдѣтися!* (Бер. гр. 317, XIV в.). В «Домострое» три четверти всех безличных предложений составляют инфинитивные, в том числе и предписывающие: «А вино *курити* самому неотступно; А взятое *отдати* назадъ» и т. д.

Особенно активно развиваются инфинитивные предложения в связи с повышением уровня отвлеченности и объективацией повествования; полагают, что увеличение их числа связано с влиянием западнославянских языков, но это вряд ли верно. Все необходимые «заготовки» в виде исходных формул были в древнерусском языке представлены.

По происхождению инфинитив является именем существительным в дат. падеже, он усиливал предикативность и становился глагольной формой. Но происхождение инфинитива дает основание признать инфинитивную конструкцию с дат. субъекта вторым дательным, сходным с дат. самостоятельным:

Идуцю ему въспять = *идти ему въспять*.

Формы типа *ловь дѣяти* более древни, чем *ловити*.

Предикативные наречия также участвовали в образовании безличных конструкций, к их числу относились *годъ, добро, достойно, жаль, льпо, лъзь, мощьно, нужьно, подобьно, трьбь, уне* и некоторые другие. Впоследствии их число увеличивалось за счет слов типа *грустно, раньшее, скучно, слышно, тяжело, страшно* и др., которые и сами по себе стали образовывать безличные предложения (*и скушно и грустно...*).

Номинативные предложения завершают процесс образования односоставных как нового типа предложений; это заключительный этап развития безличности. Как и все типы односоставных, номинативные представлены и в ранних древнерусских памятниках, но окончательно они сложились в связи с утратой обязательной связки в XV в., а в качестве самостоятельного типа предложений вошли в систему в конце XVII в. Именные предложения при отсутствии глагола и связки выражали нечто абсолютное вне действующего лица и времени действия:

Азь рабъ твои. — А се моя печать. — Год и число...

Такие предложения на первый план сознания выносили основное слово (имя), вокруг которого затем и разворачивается мысль как развитие множественных созначений символа или словесного образа. Наибольшей силы эта особенность номинативных предложений достигает в современном литературном тексте:

Ночь. Улица. Фонарь. Аптека (Блок). — Шепот, робкое дыханье, трели соловья... (Фет).

Номинативные предложения встречаются главным образом в тех древнерусских текстах, которые близки к разговорной речи:

Туга и тоска сыну Гльбову (Сл. плк. Иг.). — И стали днье зли: мразь, вьялица, страшно зьло; Зьло страшно бысть: громъ и мълния...; Оле, страшно чудо и дивно, братье! О, горь бяше: по торгу трупие, по улицямъ трупие, по полю трупие; Тепло. Дъжгь; С нимъ въ животь и въ смерть (Синод.). — ѣства имъ с прибавкою столовыхъ останковъ; О добре жене хвала мужу и честь (Дом. XVI). — А ныне ночь, взяти нъгде (свеч) (Грозн.). — О, зависть и нелюбка, сатанино дьло!.. И горе, и смъхъ! Ох, горе! (Авв.). — Грязи и болота великие (Гр. 1595 г.).

Представляя собой эмоционально-оценочные конструкции, такие предложения служат для выражения конкретного чувства в каждый данный момент.

4.3. Развитие односоставных предложений

Русский язык постоянно увеличивал количество слов в составе простого предложения: в деловых текстах от 3,5 слов в XII в. до 14 в XX в. (в XVII в. еще 6 слов), в летописных от 3,5 в XII в. до 6 в XVII в., в художественных от 5 в XII в. до 6,5 в XX в. Особенно активно изменялась структура деловых текстов, связанных с разговорной речью; так, Судебник 1497 г. дает длину предложения в 4 слова, а Улож. 1649 г. уже в 5,5. В XII в. односоставные и двусоставные простые предложения употреблялись почти поровну, затем число двусоставных увеличивалось, отражая все большую строгость логической мысли.

Иногда утверждают, будто с XI до XVII в. широко использовались только определенно-личные и неопределенно-личные предложения. Сплошные подсчеты это опровергают. В действительности оригинально русские деловые и художественные тексты показывают следующее распределение (в процентах от общего числа простых — полных и неполных — односоставных предложений):

	XII–XIII	XIV–XVI	XVII
Определенно-личные	6	7	–
Неопределенно-личные	26	13	4
Безличные	6	6	25
Инфинитивные	61	74	71
Номинативные	1	–	–
Итого	100	100	100

Характер и структура односоставных предложений в динамике показывают рост безличных и инфинитивных конструкций при общем увеличении высказывания и сокращение типичных для древнерусского языка определенно-личных и неопределенно-личных. Первые употреблялись в непосредственном диалоге, вторые — в повествовательной речи, функционально они не пересекались.

Развитие субъект-объектных отношений, способы их выражения в языке привели к созданию градуальной системы односоставных простых предложений — к их с и с т е м е. «Субъективная» точка зрения может быть выражена семью различными типами высказываний:

я считаю цыплят — идеально логическое суждение (двусоставное);

считаю цыплят — определенно-личное (конкретное 1-е л.);

считаешь, считаешь цыплят... — обобщенно-личное (2-е л.);

цыплят по осени считают — неопределенно-личное (абстрактное 3-е л.);

считается (что цыплята не поддаются счету) — безличное;
считать цыплят — не легкое дело — объективная модальность;
цыплята — круто! — признак представлен как абсолютный.
 (обобщенно-личное и неопределенно-личное можно поменять местами).

Безличное предложение реалистично представляет то, что реально само по себе не существует, — именно таков признак, отвлеченный от субстанции и от говорящего субъекта. А новый признак и есть основное в понимании сущности вещи.

У бессубъектных предложений заметна последовательность в их появлении; они различаются лексическим составом глаголов.

Внутреннее развитие типов безличности подтверждается и историей других языков (латинского и древненемецкого).

Выводимость форм безличности друг из друга и помысленное развитие их «парадигмы» — факт культурной истории славян, подтверждающий, между прочим, что именно на глагольных формах строилось актуальное сообщение. Усиление безличности достигает предела в современном использовании наречия или даже частицы: *слышит* → *слышится* → *слышно* → *слышь*.

Строгая с и с т е м а простых предложений современного русского языка, которую создавало для нас Средневековье с XII по XVII в., — это разные способы выражать суждение, а совокупность всех таких предложений предстает парадигмой, моделью, наводящей на реальность идеальных признаков мысли. Односоставное личное передает степень объективности по-знания, а безличные предложения всех видов уточняют оценку качеств и меру истинности уже полученного знания. Предикативность и модальность разведены; говорящий может соотносить высказывание с идеей-мыслью (по-знание) и с предметом-вещью (знание), как бы подводя суждение к согласованию идеи и вещи в совместном их отношении к слову. И тогда вступает в дело двусоставное предложение, в котором связь идеи и вещи выражается уже словесно. В системе высказываний постоянно воссоздается, непременно учитываясь, «мера объективности в неизбежности действия», а нехарактерное для русского выражения выпячивание субъекта «замещается субъективностью» идеи.

5. СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

5.1. Исходные синтаксические конструкции

Историки языка полагают, что сложноподчиненные предложения (*гипотаксис* — ‘подчинение’) создавались на основе сложносочиненных (*паратаксис* — ‘выстраивание рядом’) в результате развития новых форм мышления. До того, как стали формироваться сложные предложения, в древнерусском языке существовало (и до конца XV в. сохранялось) свободное присоединение простых предложений, так называемое «цепочечное нанизывание предложений» с помощью сочинительных союзов *а, и, да* и частицы *же*. Это был текст без синтаксической перспективы, ровный, ритмичный, который легко удлинялся. Последовательность описываемых событий здесь соответствовала их реальному течению, но, в отличие от сложных предложений, такое «нанизывание» могло использовать самые разные глагольные формы и по существу не имело конечных границ:

*Изъгнаша варяги за море · и не даша имъ дани · и почаша сами в собѣ
володѣти · и не бѣ в нихъ правды · и въста родъ на родъ · и быша в нихъ
усобищъ · и воевати почаша сами на ся...*

*И ста Володимеръ на сей сторонь · а печенъзи на оной · и не смѣяху
си на оную страну · ни они на сю страну... (Лавр.)*

Первый пример показывает исходный принцип построения сложного целого, второй уже ближе к сложносочиненному предложению с противительным значением. Различие между ними минимальное, но выразительное: здесь использованы два разных союза. Летописец точками четко членит фразы на мельчайшие фрагменты, похожие на формулы речи, которые и создают текст. «Нанизывание» представлено с обязательным глаголом, сложное целое — не всегда. В случае подчинительной связи деление на формулы может еще больше дробиться, следуя уже за логикой повествования:

И помяну Олегъ конь свои · *иже* бѣ поставилъ кормити · *и* не всегда на нь · бѣ *бо* въпрошал волхвовъ и кудесникъ · *от чего* ми естъ умрети?.. *И* укори кудесника · река · *то* ти неправо глаголють волсьви · *но* вся ложь естъ · конь умерлъ естъ · *а* я живь... (Лавр.)

И наставши веснь · приде Володаръ и Василько на Давыда · *и* придоста ко Всеволожю... · *и* взяста копьем град *и* зажгоста огнем · *и* бегоша людье огня · *и* повель Василько истьчи всех · *и* створи мценье на людех неповинныхъ · *и* прольа кровь неповинну... · *а* на Гльба посла... (Лавр.)

Во втором случае союз *и* создает цепочку предложений, присоединяемых благодаря грамматической связи с предшествующим предложением (*зажгли огонь — бежали от огня* и т. д.), а союз *а* вместо *и* переключает регистр повествования, в первом — союзами *иже*, *от чего* включается новая синтаксическая связь — относительное подчинение.

Так незаметно происходило усложнение типов высказывания от речевых формул, которые присоединительным усилием слеплялись в грамматическую связь однородного нанизывания, давая начало сложносочиненным, а затем и сложноподчиненным предложениям, сначала в виде древнейших — с относительным подчинением. Параллельно союзным сложным предложениям стали развиваться бессоюзные, в которых неопределенность выражения грамматической связи не имела большого значения, потому что бессоюзие представляло собой нейтрализацию противопоставления сочинительных и подчинительных отношений.

Цепочечное нанизывание всегда осуществлялось с помощью сочинительных союзов, их обогащение синтаксическими частицами переводило высказывание в подчинительные, ср. *бо* как частица объяснительная, *же* как выражение тождества—различия, *ли* как выражение условия, ср.:

И вынесоша ему брашно и вино · *и* не прия его · бѣ *бо* устроено съ отравою —

мысль о грамматической связи заложена в тексте, частица только подчеркивает ее объяснением, это своего рода причинная связь (общая причинность, впоследствии конкретизированная союзами *або*, *ибо*, *убо* и др.).

Когда в повествовании изменяется субъект действия или предмет речи, включение частицы *же* создает излом синтаксической связи:

Начата же дружи несмыслени глаголати: «Поиди, княже!» Смыслени *же* глаголаху ⟨...⟩, Святополкъ *же* посла Володимеру. ⟨...⟩ Володимеръ *же* ⟨...⟩ и т. д. (Лавр.)

Синтаксическая связь общего условия представлена частицей *ли*, которая передает значение незавершенности:

Цесаря ли князя ли ва проглаголю? (Лавр.)

Ср. сочетание всех частиц в одном тексте, создающих иллюзию подчинительной связи:

Не вьмы бо доколь животъ наш протянется, умилосердит ли ся владыка и даст ли нам та же чаша пить, ея же сам пиль (Авв.).

Место частицы в предложении постоянно: она всегда стоит на втором месте, выделяя предшествующее слово. Исходный синкретизм значения определяется тем, с каким первым словом частица соединялась, поскольку сами по себе частицы однозначны. Употребление их не изменяет смысл и форму высказывания.

Хронологически появление сложных конструкций можно представить таким образом.

В древнерусском языке XI–XIV вв. — эпоха *номинализма* — описываются реальные (или принимаемые за реальные) события на основе сочинительных союзов и частиц с большим числом различных вариантов, которые представляли семантически нерасчлененное значение; в частности, относительное подчинение оформлялось союзами *аже, что, кто, яко*, выступавшими во всех возможных грамматических значениях; следование предложений соответствует последовательности событий.

В старорусском языке XV–XVII вв. — эпоха *реализма* — на столкновении различных модальных слов в результате перестройки системы времен и на основе строевых глагольных единиц (*есть ли, буде-ть* и т. д.) уже без опоры на сочинительные союзы развивается абсолютное подчинение с параллельным бессоюзием в разговорной речи; развиваются односоставные предложения и различные обороты (например, причастные); следование предложений не всегда соответствует последовательности событий.

С конца XVII в. и до начала XIX в., особенно в XVIII в. — эпоха *концептуализма*, происходило соединение в высказывании различных модальных планов, происходила специализация союзов по значению, синтаксические конструкции усложнялись или сокращались (*эллипс*), возникали сложные союзы типа *потому что, по той причине что* и т. д.

5.2. Сложносочиненные предложения

Союзы вовсе не создают сложных предложений, это только скрепы мысли, необходимые для соединения высказываний, и неважно, вводят ли они сочинительную или подчинительную связь — поскольку

ку они абстрактны и этимологически не мотивированы, ср. *а, и, но, или, что, яко* и т. д.; в древнерусском языке такие союзы были многозначными.

В отличие от союзов, союзные слова *местоименного* происхождения сохраняли свое исходное значение и по своему употреблению были равны знаменательным словам: *потому что, чтобы, который, где, когда* и др.; в старорусском языке такие слова развивали свое специальное значение.

Самым распространенным в древнерусском языке был союз *и*; например, в «Изборнике 1076 г.» он отмечен 1655 раз при 106 употреблениях союза *а*, 145 — союза *да* и 265 союза *но*.

Союзы неодинаково использовались различными жанрами. В «Хождениях» и в деловых текстах преобладал начинательно-противительный союз *а*, в летописных и в художественных — начинательно-соединительный союз *и*, в разговорной речи, попавшей на страницы рукописей, — присоединительный союз *да*.

Благодаря начинательным союзам *а, и* иногда невозможно установить начало предложения, и переход от простого предложения к сложному оказывается незаметным. Различие между этими союзами состояло в том, что *и* соединял родственные и близкие понятия, а *а* — неоднородные и противоположные. Союз *и* показывал одновременные события, а союз *а* — обычно их последовательность. В «Слове о полку Игореве» союз *а* использован как соединительно-противительный: *Княземъ слава а дружинуъ аминь*.

Кроме приведенных уже примеров, дадим еще несколько иллюстраций употребления сочинительных союзов:

— сочинительной связи с помощью *и, а, да*: *Приде князь Ярославъ въ Новгородъ, и ради быша новгородци* (Синод.). — *Уныша бо градомъ забралы, а веселие пониче; А всядемъ, братие, на свои бръзгыя комони да позримъ синего Дону* (Сл. плк. Иг.);

— противительной связи с помощью *и, а, да, но*: *Земля наша крепчена, и нѣсть у насъ учителя* (Лавр.). — *А егоже не умѣеть, а тому ся не учить* (Мономах). — *Святии бо по вѣрь умроша, да живи суть о Христь* (Феодосий). — *Не бяше мира межи ими, нѣ рать большю въздвигнуть* (Синод.);

— разделительной связи с помощью *ли, позже либо, или*: *И не бы вести, где Ярославъ, въ Торожку ли, въ Тъхвѣри ли* (Синод.). — *И съде думати съ дружиною или люди оправливати или на ловъ ѣхати или поздити, или льчи спати* (Мономах).

Сложные союзы появляются в рукописях после XV в., в Лавр. находим преимущественно *ли*, а в списках «Повести временных лет» XV в. уже *или, либо*.

Кроме того, повторение союзов или их усложнение придавало предложению дополнительные оттенки. Так, следование

— *a... a* выражало сопоставительные отношения: *...a друзии чеси нарекошас, a се ти же словъни, хорвате бълши и серебъ* (Лавр.).

— *и... и* — изъяснительные, даже усилительно модальные: (Игорь) *въвержесе на бръзь комонь, и полеть соколмъ подь мъглами, и потече къ лугу Донца, и полеть соколмъ подь мъглами* (Сл. плк. Иг.)

— *и еще (же)* — присоединительные: *Не буди ми възяти руки на брата своего и еще же на старъиша мене; Видя мѣсто скръбно суще и тѣсно и еще же и скудно при вѣтъмъ* (УС XII).

5.3. Относительное подчинение

5.3.1. Общие замечания

При двух главных членах двусоставного предложения — подлежащем и сказуемом — односоставное характеризуется только одним, который, при отсутствии противопоставления, не является ни подлежащим, ни сказуемым в полном смысле слова. Обратным образом, двусоставные выделяются как типичные предложения языка и как таковые начинают развертываться в своих дополнительных признаках, выражаемых придаточными предложениями.

Придаточное может характеризовать подлежащее (подлежащные), сказуемое (сказуемостные), а также распространять их признаки в виде определительных и изъяснительных придаточных предложений — это распространение определений и дополнений, т. е. именных частей двусоставного предложения. Способ сочетания двух предложений посредством относительных слов называется *относительным подчинением*.

Подобно тому как соединительный союз *и* был универсальным выражением сочинительной связи, так и относительные союзы *къто* и *что* стали общим выражением относительной связи двух предложений. Поскольку взаимное отношение двух предложений строилось на скрытом или явном сравнении, то дополнительно в значении относительного употреблялся указательный союз *яко*, также выступавший основой сочинения на правах сравнения. В древности использовались также его фонетические варианты *яче*, *ако*, *акы* и др. Книжными вариантами относительных слов были союзы *иже*, *яже*, *еже*, составленные из указательного местоимения *и*, *я*, *е* в сочетании с частицей *же*, которая усиливала значение относительности.

Развитие степеней относительного подчинения можно понять из сопоставления следующих речений:

Имѣя уши слышати да слышитъ...

Иже иматъ уши слышати да слышитъ...

А кто имѣеть уши пусть слышитъ...

Таково оформление подлежащих предложений — в придаточном выражено значение подлежащего.

Относительное подчинение представляет собой совокупность древнейших форм подчинительной связи, данной для уточнения признаков вещей или лиц в последовательности: подлежащие > определительные > дополнительные (изъяснительные). Первые местоимением или частицей (например, *и*) указывали на предмет или лицо; вторые союзным словом (например, *иже*) уточняли признак различения; третьи посредством союза (например, *еже что*) совмещали признак и предмет в одном общем движении мысли. Подлежащие были древним типом относительности и довольно быстро исчезли из оборота, в памятниках XI–XIV вв. их насчитали не более сорока. Зато определительные и дополнительные развивались, но уже как самостоятельные придаточные, потому что накопление союзов и союзных слов в речевом потоке грозило непониманием, ср. в одном житии XVI в.:

Никако же преступити ему слово святого старца еже аще что рече ему — к дополнению *слово* относятся определительное *еже*, дополнительное *что* и условное *аще*.

5.3.2. Подлежащие и сказуемые придаточные

Выделение таких предложений составляет спорный вопрос, некоторые ученые относят их (соответственно) к определительным или изъяснительным придаточным. Однако особенность древнего мышления, при уяснении сходств и различий сопрягавшего цельные предметы, а не их случайные признаки, заставляет выделять указанные типы придаточных предложений.

Иже бо ся о зльь радуеть то ть ненавидеть добра (И 76).

А что пошло князю а то княже (Новг. гр. 1264 г.).

Что първои жены ть то възмутъ дъти матери своей (Русская Правда).

Соотносительные слова главного предложения (*то*, *а*) связывают смысл высказывания с союзом придаточного (*иже*, *а что*), скрепляя их подчинительной связью. Варианты возможны:

Кто вы добръ, того любите, а зльыхъ казните (Синод.).

А хто не станет (на поединок) тот без суда виновать (Гр. 1463 г.).

Кто из нее пь(ет) тому на здоровье (Надпись на чаре ок. 1151 г.).

Что ся дъеть по вьрмьнемь то отидето по вьрмьнемь (Гр. 1229 г.).

Берестяные грамоты подтверждают наличие таких конструкций:

Цето еси прислале дова человека, те побегли (Бер. гр. 582).

Сказуемых придаточных в древнерусских памятниках еще меньше, они единичны, но их число увеличивается к концу XVII в., ср. у Котошихина:

И чинь у нихъ таковъ же, что и у кормового двора людей.

Союз *что* использован в сравнительном значении, именно такое значение и характерно для сказуемых придаточных с союзом *яко*:

Толикъ бо бѣ гладъ, яко и конемъ хотящимъ ясти уже (Лавр.).

Таковъ бо бе глад, яко мнози своего брата режуще ядяху (МС XV под 1230 г.).

Придаточные сравнительные развиваются в XV–XVII вв. как продолжение сказуемых, отчасти и определительных. Основано это на общности союза *яко*, ср.:

Обнаживъше яко мати родила и съверже ѿ съ моста (Синод.).

Сравнение могло быть разного типа:

— сближающего: *Яко же тело алчущее желяет пити, так и душа... брашна духовного желяет; Живите так, как мать и тетка жили* (Авв.);

— сопоставительного: *О них болезнуйте, яко же они о васъ* (Дом. XVI); *Живите как хотите* (Авв.);

— сравнения: *Назвал от висока сам себя будто он выше всех земных царей!* (Пов. Азов);

— сравнения в противопоставлении: *Досажают Богу паче нежели оный разоритель трапезы!* (Авв.).

Два последних типа использовали уже и новые союзы (*ровно, даже, как будто, так же как, поскольку... постольку, вроде того как, все равно что*, позже еще *словно, точно* и др.), следовательно, появились позже XV в.

5.3.3. Определительные предложения

Это самый древний и весьма распространенный тип придаточных, в Ипатьевском списке летописи 1425 г. их более 400 самых разных вариантов, но больше всего с книжными союзами *иже, яже, еже*.

Новгородские берестяные грамоты по преимуществу только и знают определительные с союзами *что, кто*.

Древнейшие определительные предложения паратаксичны, «ряды их подобны рисунку без перспективы»: *И увидѣль Бова старца на улицѣ щепы гребетъ* (А. А. Потебня). Такие конструкции доживают до XVII в.:

Преставися епископъ, пасъ церковь божию лет 21 (МС XV). — *Варное солнце, человека съжжеть* (Аф. Никит.). — *Льды тольсты намерзають, блиско челоуька тольщины* (Авв.).

Затем определительные отношения стали передаваться повторением имени:

Трапеза Христова, на той трапезѣ... вечеряти (обычно в «Хождениях»).

Такое повторение даже при наличии союза сохранялось до XVII в. в важных документах, ср. розыскные дела этого времени:

А что грамотки послал, и ты те грамотки сама розвези.

В древнерусских текстах повторение обычно, ср. берестяные грамоты: *А что земля... а ту землю* (270); *Цо прилбица* ‘подшлемник’ у тебе Ондръева, *прилбица дай Ондръю* (383); *Цто было в Пудогѣ пражда, ту пражгу Сьргий взяле* (131; речь об арендной плате).

Столь же паратаксичны придаточные типа *А числьные люди, а те вьдают сынове мои собча* (Моск. гр. 1328 г.) — первое предложение соотносится с дополнением, выраженным сочетанием *а те*.

Наоборот, переход от сочинения к подчинению находят в примерах типа *Поиде на снемъ с половци, и с ними миръ створи*.

Параллельно определительные отношения стали формироваться с помощью указательных местоимений *и, я, е* в самых разных формах:

И призри на церковь сию, юже създах рабъ твои (Синод.).

Повель женамъ створити цъжь, въ немъ же варять кисель (Лавр.).

Относительное местоимение *что* как типичная форма относительного подчинения широко представлено в русских говорах и известно с XI в. Книжным синонимом ему был составной союз *иже, яже, еже*. Рассмотрим последовательность обоих союзных рядов.

А что на дъцкахъ, а то князю оставиша (Синод.) — придаточное соотносится еще с именем, а не с глаголом. Наоборот, связь с глаголом

представлена позже: *А што бояре подавали дому Святой Богородици, того хочю боронити, а не обидети* (Гр. 1356).

Заключительным этапом развития определительных было чисто синтаксическое свойство: в середине XIV в. придаточные стали употребляться после главного предложения:

А возми у Григории полорубля, што Сидору сулить (Бер. гр. 260).

Отець мои... отимаеть у мене города, што ми былъ даль (Ип. 1425).

И товаръ ихъ поотдати, што будетъ держали для моего дела (Новг. гр. 1521).

Придаточные с *иже*, *яже*, *еже* уже в Новгородской (Синод.) и в Лаврентьевской — самых древних — летописях не согласуются с соответствующим словом главного предложения, ср. в Лавр.:

А наши князи добри суть, иже распасли суть Деревьску землю — ед. число при множественном в главном предложении (вместо *ихъ же*).

Призову ины люди, иже мене послушают — так же.

И возмутъ землю нашу, иже бѣша стяжали отци ваши — муж. род при женском в главном.

И помяну Олегъ конь свои, иже бе поставитъ кормити — им. падеж вместо вин. (ср. правильную форму в прямой речи князя: *Кдѣ есть конь мои, егоже бѣхъ поставитъ кормити?*).

Таким образом, книжные союзы *и* употреблялись в постпозиции к главному предложению, следовательно, с самого начала выступали в роли выразителей определительных отношений.

Синонимичным средством таких отношений служили вопросительные местоимения *который*, *каковъ*, *кои*. Редкие в древнерусском языке, с конца XIV в. они появляются в роли относительных союзов и к XVII в. уже развивают надежные конструкции. Неопределенность их значения стала основанием относительности. Все эти союзы проходили тот же путь развития, что и относительные с союзом *что*.

Исходный тип связан с нанизыванием предложений:

А кой долженъ, а тотъ пошелъ (Аф. Никит.).

Употребляясь в препозиции, такие конструкции используют повторение имен:

А который грамоты буду подавалъ, а те ми грамоты отоимати (Моск. гр. 1362). — *Въ которой любо земля аще будетъ знамение, то та земля и видить* (Ип. 1425). — *А которой крестьянинъ сваритъ пиво не явьясь, и на томъ крестьянине имати пѣни* (Гр. 1602).

В принципе, это еще два не связанные друг с другом предложения, и всякое отступление от подобной формулы приводит определительное придаточное к усилению условно-временного значения. Ср. в той же грамоте: *А которой крестьянинъ сварит пиво, и явки имати с пива — по денгъ.*

Промежуточный этап развития относительного подчинения связан с обязательным употреблением соединительных слов (*коррелятов*), связывающих главное предложение с придаточным; ср. летописные тексты:

*Которы же гражань выидоша из града... то тыи избыша плъна.
Которого же дни не убьяшетъ кого, печаловашетъ тогда.*

Ср. такие примеры в «Домострое», которых много:

*А которая женьщина или дѣвка рукодѣльна, и той дѣла указати.
А которое попортилося, того починити — и т. д.*

Заключительный этап (придаточное в постпозиции) развивается в середине XVI в.:

Опречь сехъ дель, которые в сей перемирной грамоте писано (Моск. гр. 1531).

Выделительно-определятельное придаточное могло употребляться в постпозиции и раньше, ср.:

Яко велику честь приялъ от царя, при которомъ приходивъ цари (Лавр.); А пологанъ пустиша, которыхъ изымали с княземъ ихъ (Синод.).

Таким образом, логически определятельная структура вырабатывалась одинаково при любом союзе, но на разных стилистических уровнях, видимо под влиянием сложных книжных союзов *иже, яже, еже*.

5.3.4. Изъяснительные предложения

Изъяснительные предложения использовались в значении объекта по отношению к главному глаголу, обычно после глаголов чувства, мысли и речи:

*И увидит мужь, что не порядливо у жены (Дом. XVI).
То вѣси, яко намъ жаль отня стола (Ип. 1425).*

По функции дополнения впоследствии такие предложения стали называть *дополнительными*, хотя основное содержание высказывания содержится именно в нем, а не в главном предложении. Это весьма продуктивный тип (более пятисот употреблений в старых текстах), который образовывался с помощью союзов *что* и *ажже* (*ажь*), также *ожже* в деловых и летописных памятниках (в разговорной речи) и *яко* в книжных текстах. В летописях и в церковных текстах (до XVII в.) используется также изъяснительный союз *ижже* (*яже*, *еже*). Усиление высказывания до побудительной модальности вызвало усложнение союзов до *еже бы*, *како бы* и развитие союзов *абы*, *дабы*, *чтобы* уже с целевым значением. На первых порах значение цели находилось в подтексте изъяснительного высказывания, главным образом благодаря незавершенности новых союзов или многозначности традиционных:

*А псковичи ему многа биша челомъ **что бы** ся осталъ* (Пск. I лет.).
*И приде на Устюгъ грамота... **что** татар бити* (Устюжская летопись; = *чтобы*).
*Даниль видивъ **люди своя яко** исполнилися* ('пленены': Ип. 1425).

В третьем случае возможно определительное значение. После XV в. уже вполне целевое значение:

*Бил челом, **чтобы** его свободить из тюрьмы* (1619 г.)

Самые древние придаточные относятся к XI в., они образовались из второго винительного:

Печенизь же мнѣша князя пришедша (Ип. 1425) = Печенеги же полагали, что князь пришел.

В XV в. еще возможны случаи совмещения второго вин. с относительным подчинением:

Видѣхъ, яко князя идуща (МС XV).

Типичные изъяснительные:

*Се слышу, **оже** идетъ... на Давыда* (Лавр.). — *Повѣда ему, **яко** пришесть на него ратью* (МС XV) — *Никто же не вѣсть, **кто** суть... **и что** языкъ ихъ, **и** которого племени суть, **и что** въра ихъ* (Синод. под 1224 г.).

Структурно изъяснительные были сильными, поскольку всегда находились в постпозиции к главному предложению и с самого нача-

ла — почти без соотносительных слов типа *то вам сказал, что хотел*.

Однако указательные местоимения и другие соотносительные слова более четко оформляли изъяснительные конструкции, ср. в сочинениях Аввакума:

О семь разумь: безъ креста храмъ — изба; А нам то любо — Христа ради пострадать! Одново желаю — предъ Богомъ стати!

Часто такие предложения представляли собой предъявление однообразных действий, связанных с главным предложением:

Обычай же таковой есть: предъ обьдомъ велять выходить къ гостямъ челомъ ударить... (и т. д.) (Котошихин).

Этим обеспечивалась необратимость конструкции, которая впоследствии стала сложноподчиненным предложением.

5.4. Бессоюзные предложения

«Союзы не что иное суть, как средства, которыми идеи соединяются; итак, подобны они гвоздям или клею, которыми части... сплочены или склеены бывают», так что без союзов «весьма лучший вид имеют» (М. В. Ломоносов). Таково оправдание бессоюзной связи двух «идей».

В древнерусском языке бессоюзные предложения распространены гораздо шире, чем в современном; на это указывают пословицы, дошедшие от тех времен. В устной речи союзы излишни, замедляют речь, утяжеляют смысл. Интонация, ритм, паузы и жесты заменяют союзы, делая речь лаконичной и ясной. Повествование вообще требует преобладания бессоюзной и сочинительной связи над подчинительной, с обилием неполных предложений, с опущением подлежащего, ясного из контекста, с постоянным изменением порядка слов. Таков и характер древнерусского текста.

Бессоюзное сложное предложение обычно передает одновременные действия или действия, следующие одно за другим. Так в «Слове о полку Игореве», так и в летописях. Семантическая многозначность бессоюзных конструкций соответствует символическому мышлению средневековой Руси. Иначе в деловых текстах, для которых связь неоднородных событий приобретает самостоятельное значение. Достаточно прочитать Русскую Правду — памятник XI в. Даже в новгородских берестяных грамотах бессоюзие чрезвычайно редко, ср. Гра-

моту 131 XIV в.: *И ныне сязозерци в городъ говоръ с нѣми саме 'и ныне самозерцы в городе, говори с ними сам'*. Не случайно бессоюзные предложения в древнерусских текстах отражают прямую речь, реальную или поданную художественно.

Относительно бессоюзных сложных предложений существует два устойчивых убеждения, которые явно ошибочны.

Первое касается их распространенности только после XV в., что якобы связано с параллельным развитием сложноподчиненных предложений. В связи с этим событием, действительно, бессоюзные получили новое качество: в противопоставлении сложносочиненных предложений сложноподчиненным они нейтрализовали их семантическую оппозицию и в результате стали осознаваться как бессоюзные с сочинением или с подчинением. В результате возникло второе ошибочное заключение, что бессоюзные предложения искони содержали в себе разного типа придаточные, например:

Сватба пристроена, меды изварены, невѣста приведена, князи позвани (Синод. под 1233 г.). — *Игорь спитъ, Игорь бдитъ, Игорь мыслию поля мѣритъ* (Сл. плк. Иг.) —

как сложносочиненные предложения.

И ту зло велико, убиша посадника Михаила (Синод.; пояснение). — *Азь знаю, грѣхъ мой предо мною* (Авв.; дополнение). — *Не ходи, княже, убьютъ тя* (Лавр.; причина). — *Земля готова, надобъ семена* (Бер. гр. 17; следствие). — *Обличихъ безумного, поречеть тя* (Лавр.; условие). — *Посли к нему дары, искусимъ ѿ* (Лавр.; цель) —

как сложноподчиненные предложения.

В действительности же все представленные примеры могут быть интерпретированы иначе, например не причина, а объяснение, не следствие, а уточнение, не цель, а то же пояснение. Подобные древнерусские предложения А. А. Потебня справедливо называл *паратактическими* придаточными предложениями.

Подлежащее или дополнение главного предложения связано с подлежащим или дополнением придаточного (*на сосну на сырую, на соснѣ грань старая*), имя существительное главного предложения повторяется в придаточном (*есть пещера, из тоя пещеры исходитъ источникъ*) или уточняется указательным местоимением и т. д. — таковы условия в образовании древнейших типов бессоюзных предложений. Вдобавок они могли употребляться с глаголами в разном времени: *Дрогнет матушка земля, с дерев вершины попадали* — изменение времени показывает взаимную связь действий без помощи союза.

Даже после XV в. бессоюзные сложные предложения сохраняли свойственное им пояснительное значение:

А ходить на гору день по одному человеку, дорога тьсна, пойти нельзя (Аф. Никит.). — Брюхо у меня велико, ходить не могу, и глаза у меня малы, далече не вижу... Все на брюхе лежал, спина гнила (Авв.).

Общая атмосфера скрытого сравнения одного высказывания с другим присутствует во всех таких конструкциях, как бы их ни называли в параллель к сложноподчиненным предложениям:

Меду... положите да и меня поминайте — я люблю мед-от; Не станешь писать — я петь осержусь! Двери не отворялись — а ево не стало! Сынъ Иванъ невелик был — прибрел ко мне побывать. — Лошадка напиталася — опять поехалъ путем (Авв.).

Такое же состояние сохраняют и старые пословицы (*Помолчи боле — проживешь доле*) и вообще разговорная речь. Не все бессоюзные могут быть заменены предложениями с союзами, особенно изъяснительные, по значению как раз близкие к пояснительным:

Стязи глаголють половци идуть отъ Дона и отъ моря (Сл. плк. Иг.).

Внесение союза *что* изменяет символическую неопределенность внутренних связей, среди которых и «причинные» (*потому что*), и «целевые» (*чтобы*), и «условные» (*если*), и все остальные значения «зрелых» сложноподчиненных предложений. Впечатление семантической связи с последними определяется тем, что бессоюзные придаточные находятся всегда после главного — а это место и есть положение, истолковывающее смысл главного предложения.

5.5. Сложноподчиненные предложения

5.5.1 Общие положения

Гипотаксис представляет собой *абсолютное* подчинение, поскольку обычно связан с глаголом главного предложения и всегда передает не отношение к возможным признакам (как относительное подчинение), а указывает на обстоятельства производимого действия, в том числе и мысленного.

Активное развитие сложноподчиненных конструкций началось в XV в. в связи с воссозданием новой ментальной парадигмы — реализма. Для предшествовавшего ему номинализма достаточно было описывать видимый мир в его проявлениях, а это оказалось возможным при помощи обычного следования простых предложений. Реализм с его утверждением равной ценности реального и мысленного мира потребовал усложнения высказывания и четкого разграничения реального и идеального (в мысли).

В древнерусском языке главное предложение обычно употреблялось в абсолютном времени, тогда как придаточное — во времени относительном, поскольку действие глагола в нем определялось не моментом речи, а косвенно, через главное предложение; отсюда последовательность времен, согласно которому время придаточного получает свое значение в соответствии с временем главного (имперфект получает значение настоящего времени в прошедшем действии аориста и т. д.).

В принципе, подчинительные связи существовали в языке всегда, трудно представить человека, который не различает пространства и времени, условия и следствия и не ставит перед собой целей. Кроме того, такие отношения могли изменяться; например, причина и цель (конечная причина) в древности — это условие и следствие. Вдобавок эти отношения выражались различным образом (*видово*) первоначально неполно (только вещественные связи: место, время, основание и объект) и синкретично, прежде всего в предложно-падежных формулах. Такие формулы посредством частиц и местоимений могли сцепляться в предикативные единицы, создавая единство сложного высказывания и представляя в абстрактных типах, т. е. *рбдо*.

Все придаточные сгущались на основе известной модальности, предикативности и определенности. Как только эти три категории текста сходились вместе — на фоне исходных речевых формул образовывалось сложное целое подчинительного состава. Их совокупность создавала необходимую для логического мышления синтаксическую перспективу.

Последовательность появления сложных предложений хорошо описана.

Цепочечное «нанизывание» простых предложений отличалось тем, что при нем возможны были несовпадения частей в модальности, времени и лице.

Сложносочиненное предложение представляет собой ряд простых предложений с общей модальностью и выражено в одном времени при возможном различии в лицах.

Сложноподчиненное предложение объединяет главное и придаточное, которое союзными словами соотносится с формами выражения главного.

Одни историки языка развитие подчинения связывают с цепочечным «нанизыванием», другие — с попарным объединением предложений из однородного (по смыслу) следования, когда придаточное становилось предложением косвенной модальности, зависимой от главного предложения.

Мы уже заметили, что все древнейшие типы сложных предложений основаны на сравнении (или уподоблении) и представляют собой уточнение главного высказывания путем его изъяснения. Они и обслуживались сравнительными союзами типа *яко*, которые могли употребляться в любом подчинительном значении, выступая простым знаком подчиненности. Затем сравнительные конструкции с синкретичным *яко* распались на два возможных типа сложного единства: образовались настоящие сложноподчиненные предложения путем распространения союзных слов, при сохранении личных форм глагола (русский тип) — или происходило дальнейшее развитие второстепенных сказуемых в виде причастных оборотов, деепричастий и т. д. Второй путь — книжного происхождения, он давал возможность сразу же выразить неравноправность двух входивших в общее сложное предложений. Первый путь для этого требовал изменений, т. е. развивал самостоятельные синтаксические структуры. Другими словами, образуя синтаксическую перспективу, книжный язык сжимал сложное целое, а народная речь сохраняла это сложное целое, привлекая строевые единицы предложения и вырабатывая на их основе союзы и союзные слова. Современный литературный язык как наследник средневекового русского языка сохранил обе эти тенденции. Русский выбор увеличивал возможности и силу мышления, тогда как книжный (церковнославянский) представлял собой застывшую в четкой иерархии «освященную» речь.

5.5.2. Союзы и союзные слова

Замечено, что сочинительные союзы дают обратимые отношения (возможно перемещение частей целого), тогда как подчинительные такого отношения не представляют: порядок следования должен быть постоянным.

Первым типом подчинительных связей было расширение сочинительных союзов за счет присоединения неопределенно подчинительных, например *а яко, да иже, и что* и т. д. Примеры приведены в предыдущих разделах. Древние союзы были именно союзами без определенного собственного значения: *яко, иже, еже, что*. Основное значение составных союзов, включающих частицы (*яко же, что же*), было связано со сравнительным, относительным или изъяснительным значением придаточных. В конструкциях типа:

А что моихъ поясовъ серебряныхъ, а то роздать по поьямъ (Моск. гр. 1327 г.) —

сочетание *а что* является союзным (соединительным) словом, к числу которых относилось 29 единиц: *где, как, какой, когда, который, кто, куда, откуда, сколько, чей, что* и новые *зачем, почему, каков* и др. Некоторые из них могли выступать и в качестве союза (*как, когда, коли, нежели, покамест, хотя, что, чтобы* и др.). Всего союзов в старорусском языке насчитывают около 50 (сохранилось десять), но без фонетических вариантов, которые увеличивают их число. В древнерусском языке придаточные места и времени обслуживались 12 союзами, столько же было у определительных предложений, причинные связи обозначались 11 союзами, условные и целевые — 8, дополнительные — 6. К концу XVII в. количество союзов возросло, например придаточные условия использовали 22 союза. На основе разговорного синтаксиса возникает градуальная цепь синонимичных союзов, обслуживающих разные жанры и различные ситуации общения.

Вопросительные и относительные местоимения легли в основу новых союзов. Интересно положение с самым частотным союзом (и союзным словом) *что*. На его базе сформировались такие союзы, как *чтобы, потому что, для того что, затем что, за то что, от того что* и др. с самым разным значением придаточных предложений.

Итак, последовательность в производстве союзов такова.

Первые из них образовались соединением предлогов и частиц: *за-не-же, по-не-же-ли, е-же-ли, не-же-ли* и др. Затем с добавлением уточняющих местоимений возникли союзы типа *по-что, по-чему, за-чем*, т. е. все еще согласно наводящему смыслу предлогов, прежде передававших подчинительные отношения в пределах речевых формул. После всего стали образовываться союзы из остатков утративших свое грамматическое значение глагольных форм: *а-бы, буде-ть, да-бы, есть ли, хотя* и др. Союз *аще (яче)* того же происхождения.

Последовательность в появлении союзных слов показывает путь, каким шла в своем развитии мысль: сначала соединялись свободные формулы речи, затем уточнялись отношения между их частями, наконец, сложное единство скреплялось предикативностью, на основе природной сочинительной связи развивая сложные типы придаточных подчинительных. Все эти процессы происходили почти одновременно в древнерусский период, и с конца XV в. они создали богатую систему синтаксических структур, с помощью которых в конце XVII в. можно было выразить любую самую отвлеченную мысль.

Происходило это поначалу с помощью союзных (соединительных) слов, или *коррелятов* (от *correlatio*). Наличие союзных слов-коррелятов является переходным моментом в формировании настоящего подчинения. Ср.:

Занеже слышахомъ, яко к вамъ много зла створиша, того же дѣля и мы биємъ ту (Синод.).

Здесь союзное слово со значением причины *занеже* соотносится с неопределенным по значению союзом *яко* и одновременно с союзным словом в значении следствия *того же дѣля*. Впоследствии корреляты *того дѣля (дѣля того)*, *ради того* переменили свое значение на целевое и стали союзами. До XV в. каждая предикативная единица текста вполне самостоятельна, и только с XVI в. они попарно соединяются в общую по смыслу единицу — сложноподчиненное предложение.

Усиление предложения, которое становится главным, может идти только за счет ослабления другого, становящегося придаточным. Такое ослабление возможно лишь снижением выразительности сказуемого, поэтому процесс ослабления части высказывания в придаточное и есть вместе с тем процесс создания подчинительной связи. Это происходило, между прочим, за счет увеличения типов связей разного рода; например, появлялись связки *хочешь, станешь, будешь*:

Слушай же, что говорю: не станешь писать — я петь осержусь (Авв.) —

при возможных вариантах *не хочешь писать, не будешь писать, не имеешь писать* и др., тогда как «побледнение» связки *а буде (не станешь служить)* уже переводит ее в разряд союзных слов. Всякое условное предложение включено в понятие будущего, поэтому так важны все вспомогательные глаголы, образующие сложное будущее время. Но союзным словом становится глагольная форма, наиболее общая по идее будущего и наиболее отвлеченная по идее лица — *будет > буде*:

А буде которой человекъ своровалъ, ино тому человеку казнь.

5.5.3. Типы подчинения в их развитии

Современная теория аргументации предполагает развитие доказательства мысли от данн о г о факта *Ф* к количественной мере *n* а д е ж н о с т и его предъявления *K* и основаниям выбора этого факта *B* с необходимыми оговорками *O*; затем все представленные обстоятельства обосновываются надежными а н а л о г и я м и *A* с переходом к з а к л ю ч е н и ю *З*, определяющему цель всего рассуждения. В данной цепочке только *данное* реально, тогда как вся последовательность заключений представляет собой помысленное действие определенных связей: в пункте *K* определяется место и время, в пункте *B* причинные,

в пункте *О* условные, в пункте *А* следственные связи, а в пункте *З* — целевые отношения. Именно в такой последовательности и развивались в русском языке сложноподчиненные предложения абсолютной связи (кроме той особенности, что в роли причинных долго действовали условные структуры). В XI–XIV вв. в древнерусском языке представлены, кроме придаточных относительного подчинения, только локальные (места), временные, следственные и выраженные заимствованными союзами условные придаточные. Одновременно развивались уступительные на основе условных, причинные на основе локально-временных и сравнительных и совершенствовались временные на основе локальных отношений.

В реальной речи обе части сложноподчиненного предложения еще представляли собой самостоятельные, не связанные друг с другом части:

Тая бо обида николи же была нашей братьи какъ ся тогды удьяло (Гр. 1300 г.).

В высказывании пересекаются определительное, дополнительное и скрыто временное значения, представляя собой не части общего, а самостоятельные предложения. Части могут не согласовываться друг с другом:

Иже не въруеть къ Богу нашему... мучени будутъ в огни (Лавр.).

Союзное слово стоит не на своем месте:

А хто ся чимъ користоваль в Серпоховь, а то ны по исправъ вельти отдати (Гр. 1390 г.) —

союзным словом *чимъ* следовало предложение начинать. Характерно прикрепление к сочинительным союзам, с которых обычно такие конструкции начинаются.

Некоторая разорванность частей целого замечается и позже, ср.:

Потому их и обложили оброком, что они яровава хлеба не сеяли (Гр. 1659 г.) —

разрыв причинного союза *потому что* делает два предложения равноправными, а не сложным целым, как в случае:

И за увече на нем раненому ничего не указывати, потому что тот раненой сам не правъ (Улож. 1649) —

уже сложноподчиненного предложения.

Придаточные предложения возникали путем своеобразного «излома» модальностей в следовании двух соседних высказываний об одном событии. Особенно часто подчинение возникало из сочетания вопроса и ответа, а также на основе восклицательных и отрицательных предложений; ср. у Афанасия Никитина:

А кто у них умреть — ино тех жгутъ — из вопросительного предложения.

А салтан великий 20 лет, а то содержат бояре — из ответной реплики.

И Булатъбег послал скорохода к Ширванишбегу, что судно русское розбило — из изъяснения в прямой речи.

Главное предложение семантически настолько самостоятельно, что придаточное оказывается простым присоединением:

И он нам не дал ничего, ано нас много.

Возможно было смещение грамматических категорий, не совпадавших в соседних предложениях, ср.:

Предайтесь, и бо князь вашъ ятъ бысть! — смещение времен.

Посласта по Лвови, а бы похаль к нимъ — смещение наклонений.

Раньше всего это происходило при главных членах предложения:

Кто сядеть Къевъ, то нашъ князь — смещение времен (подлежащее).

Толикъ бо бѣ гладъ, яко и конемъ хотящимъ ясти уже — смещение конструкций (дат. самостоятельный; сказуемое предложение).

Таким образом, переход от паратаксиса к гипотаксису происходит следующими этапами.

Упор мысли на соединительные или сравнительные союзы сочинительного характера: *И как к тебе наша грамота придет, и ты бы...*

Развитие соотносительных слов: *а будетъ того челоуѣка... ино...*

Выделение новых союзов из глагольных форм (*буде, хотя, есть-ли*).

Изменение места придаточного в отношении к главному — всегда в постпозиции.

Попутно снимался исходный синкретизм значений, а именно пространственно-временной (*егда — тут, егда — ано, до тех мест пока*),

условно-уступительный (общего значения союзы *аще, ли*) и т. д. Совершенствование временных связей происходило в переборе типичных союзов: заимствованный *егда* > *как* (с XV в.) > *коли* (с XVI в.) > *покамест* (с XVI в.) > *когда* (с XVII в.). *Естьли* с конца XVI в., у Пересветова, но первые примеры у Курбского (у Ивана Грозного этого союза нет).

Иногда полагают, что типы сложных предложений передают только логические связи или определенный смысл высказывания; в таком случае верно, что гипотаксис отражает развитие интеллектуальной силы народа. Однако логика системы языка также важна в процессе «мужания мысли», последовательность преобразований направлена общей идеей совершенствования самой системы. Развитие гипотаксиса создает все более абстрактные типы высказываний с более высокой четкостью выражения мысли. На это указывает история отдельных типов придаточных предложений. В XVI в. наметилась тенденция к образованию специальных средств подчинения, снимавших исконный синкретизм древних союзов в пользу одного гиперонима (союза общего родового смысла), а к концу XVII в. язык, по существу, уже создал современный синтаксис.

5.5.4. Придаточные предложения места и времени

Придаточные места обозначали место действия (*идеже, тамо, кдь*), направление движения (*аможе, камо, куды, куда*) и пространственный предел осуществления действия (*докуда и откуда, по коя мьста* ходила соха и топорь); последнее значение развивается с конца XVI в.

Кде имъ любо, ту же себе князя поймають (Синод). — *Гдь ково обыцут... тутъ его казнять* (Пересветов). — *Идеже чево несть, отинуде превозят* (Авв.). — *Кирпичемъ полатитъ гдь выломалося* (Дом. XVI).

Два первые следования с препозицией придаточного предстают самостоятельными предложениями, но их связь скреплена союзом при корреляте *ту, тутъ* в главном предложении; последний пример показывает законченное придаточное места.

Придаточные времени указывают начало или конец действия (*егда, яко, коли, как, когда*) или его продолжительность (*доколе, покамест, пока* и архаичные *дондеже, донележе, докамест*). Переходные от сочинения к подчинению конструкции образовывались с помощью славянского союза *егда*, выражавшего неопределенное значение начала–конца действия, ср. в текстах Аввакума в соединении с начальными *а, и*:

А егда бо лев спит, то едином оком спит, а другим бдит. — И егда в трапезу вошел, тут иная бесовская игра. — А егда в полах был, тогда имел у себя детей духовных много...

Во всех сочетаниях присутствует оттенок следствия из неявной причины; индивидуальной подробностью авторской речи писателя является чередование союзных слов (коррелятов) в главном предложении: *то, тут, тогда*. Неопределенность значения союза *егда* с XV в. восполнялась уточнением *когда*: *егда когда*. До того эти союзы употреблялись независимо друг от друга, ср.:

Когда бяше брани быти на поганья, тъгда ся начати бити межю собою (Синод. под 1219 г.).

Вариации союзов типа *докамест — покамест*, совмещавшие в себе временные значения ‘до тех пор’ и ‘в то время (как)’ (*докамест* также ‘раньше, до того’), закончились в XVII в., когда остался только союз *покамест* (> *пока*). Оба они образованы предлогами *до, по*, имевшими то же значение времени.

Ия вамъ укажу покамѣста есми пахаль (Гр. 1462 г.) — еще значение места.

Докамест сходятся крылошаня, а я поговорю в те поры (Авв.) — уже время.

В конце XVII в. союзы обрели соответствующую стилистическую окраску: *дондеже* — высокий, *покамест* — средний, *доколе* — низкий стиль.

Модальные значения союзов образуют самые разные оттенки значения на фоне разрушения старой системы времен и в связи с отношением к корреляту, в роли которого издавна выступало союзное слово *тъгда* (*тогда*), ср.:

И яко же вси снидошась к нему, тогда вѣмъ възвѣщаетъ мысль свою (МС XV). — *И как придуть наши посадники и ты служи* (Пск. I лет.). — *А коли хльбы пекуть, тогда и платья моють* (Дом. XVI). — *Когда обедню пою, тогда опасно сплю* (Авв.).

От модально-ограничительных частиц стали образовываться союзы *едва, только, лишь, еще* в значении близкого следования действий:

Едва въ град вниде... всю ночь молитву створиши (Лавр.). — *Толико явит стягы — и мы отступимъ* (Ип. 1425). — *Лишо голову появил — оне и выдернули!* (Авв.).

5.5.5. Условные придаточные предложения

Самой древней логической связью абсолютного подчинения можно было бы признать связь условную.

В самом деле, все древние союзы — союзы изъяснительного значения, например *что* и *яко*. Следует продолжительное высказывание о чем-то, изредка перебиваемое относительным местоимением *что*:

- 1) *что их люди на торгу, тьмъ людемъ дати дань...*
- 2) *что их люди на торгу разошлись, ино имъ не надобъ дань*
- 3) *и тьмъ людемъ дати, рече, что их люди разошлись...*
- 4) *а что их люди разошлись, ино имъ не надобъ мои дань...*
- 5) *ихъ люди разошлись, что имъ не надобъ мои дань...*

Последовательно усложняющаяся форма, которая развивается в соответствии с развитием типов мышления. Первоначально неопределенные, не к месту брошенные, неудачно использованные вспомогательные слова *что*, *тьмъ*, *а что*... Возникает и случайно проявляет себя идея «чистой подчинительности», сознание того, что одна часть высказывания зависит от другой, определяется ею, служит ей. Из простого высказывания, и з ъ я с н е н я сути дела, пробивается росток идеи подчинения, как в третьем примере: *и тем людям дать*, — *сказал*, — *которые их люди разошлись*. Которые? что? — неясно, но это и неважно, поскольку смысл изложения не выходит за рамки простой изъяснительности (сообщения).

В 4-м и 5-м речении соединительных скреп мысли уже больше: *а что... ино...* Соединение двух вспомогательных слов неожиданно дает начало качественно новому смыслу всего высказывания, близкого к нашему условному. На самом деле это еще не условие, а всего лишь внешний повод для действия, причем действия предполагаемого. Тем не менее на современный язык 4-е предложение можно перевести и так: *Так как их люди разошлись, то им не нужно мое даяние*.

Но насколько непрочна конструкция, словно слепленная только для данного случая. Стоит перевернуть ее, поменять местами «главное» и «придаточное» или просто убрать союзное слово, и условие превращается в свою противоположность, в следствие: *Их люди разошлись, так что им не нужно мое даяние*.

В потоке сознания, еще не охваченном сетью грамматических конструкций, просвечивают отношения повода — и результата, условия — и следствия; конкретного и определенного, годного только для данного высказывания, но не о причине и цели.

Мы взяли один пример из древнерусского текста и видоизменяли его в соответствии с теми конструкциями, которые были обычны тогда.

Из изъяснительных сочетаний на основе универсальной характеристики всякого высказывания — времени — постепенно выявляется

идея условия, а затем и следствия. Ведь если время осознано как векторная цепь событий, через настоящее идущая из прошлого в будущее, понятно, что предшествующее может быть условием будущего, а будущее станет следствием прошедшего. Время, расколовшись на части, влечет за собой разделение событий, вплавленных в течение времен.

Самыми древними типами придаточных предложений в славянских языках являются условные и связанные с ними уступительные.

Древнейшие типы придаточных условия сохранились в русских былинных текстах:

И как выпьет все, а сам на них рыкнет. — Бude жив не буду, и ждать неково.

Основная особенность таких конструкций в том, что условие содержится в идее будущего времени, представленном глаголом совершенного вида, который предполагает законченность действия (почему и воспринимается как будущее время): это значение предположительной возможности. Форма *будеть* сама по себе имела условное значение, поскольку входила в *Futurum exactum*: *Аще ли взять будеть...* (Русская Правда) — неясно, что именно выражает идею условия: вопросительное *ли*, союз *аще* или глагольная форма.

Приведенные примеры показывают слабое сцепление двух частей, сочинительные союзы *а*, *и* главного предложения необходимы при препозиции придаточного; условное стоит перед главным, поскольку условие возникает из вопроса:

Не идиши ли, а повежь ны (Синод. под 1215 г.), т. е. «Не идешь ли? Так скажи нам!»

Будеть ли сталь на разбои... то за разбойника людье не платять (Русская Правда).

А ли хоцещи того убити, а то ти еста (Мономах).

Или не прислетиши, а мнь ти стати (Бер. гр. 155, XII в.).

А лучитя ли смерть, и им поминати мою душу (Моск. гр. 1392 г.).

С начала XV в. возникала несогласованность в лице и числе:

А кто будеть... разошлись, а придуть опять (Гр. 1418 г.).

Условная связь возникает лишь тогда, когда временная связь становится многократной или длительной, представлена в будущем времени и мыслится как желательная или возможная. Поэтому старые временные союзы сохранились в значении условных (*как, егда, когда, коли*), но только в памятниках после XVI в., когда язык искал новых

средств выражения синтаксических отношений, и прежде всего условных. Временные союзы в роли условных имеют более наглядные значения, чем отвлеченно условные.

Типичный союз для выражения условных отношений — церковнославянский *аще* или древнерусский *яче*; оба происходят от сочетания повелительной частицы *ать* и указательного местоимения *ѣ* (*je*). Отсюда и исконное значение союзного слова *аще* как ‘а (за)хочет’, ‘а станет’ или, как в представлении теоремы: «пусть дано...». Поскольку всякое условие включено в идею буд. вр., оно представлено как предположительное или желательное. В «Лаврентьевской летописи» под 1097 г. о Владимире Мономахе: *Аще кого видяше ли шюмна, ли в коем зазорь, не осудяше, но вся на любовь прекладаше* — ‘любого приводил в спокойствие’. Время действия прошедшее, но его условие представлено вне времени, как обычное, оно сохраняет свое значение как возможное.

Или невозможное, когда условие заведомо не состоится: *Аще бо былъ перевозникъ Кий, то не бы ходилъ Царюгороду*, — укоризненно говорит летописец, опровергая расскази о том, будто основатель Киева был не князем, а простым перевозчиком на Днепре. Употребление сослагательного наклонения переносит мысль в новую плоскость нереального, однако само условие остается. Судя по универсальности употребления условных союзов, они уже имеют некий общий смысл, не связанный с конкретным контекстом. Они отражают категориальное представление о реально существующих связях.

В роли условного (и следствия) выступал временной союз *олна*:

Олна насъ всъхъ не будеть, то же все то ваше будеть (Синод. под 1238 г.) — когда. — *И нелзь бяше орати по селамъ и нъчимъ, олна вда Ярославъ сына своего опять* (Синод. под 1240 г.) — так что.

Самым распространенным был союз *аже* (в XVII в. *ажьбы*), который соединял утвердительный вопрос и последующее повеление:

Аже не будете поруки, то у желъза усадить (Гр. 1229). — *Брате, аже того убиете, убитте мене переже!* (Синод. под 1255 г.). — *Аже будешь на Москвь, тобъ судити* (Моск. гр. 1341 г.). — *Аже не буде кунъ у Рашка, купи своими кунами* (Бер. гр. 479, XIV в.). — *Аже не будеть остатка детей моихъ, ино мой участокъ святому Николе* (Бер. гр. 519, конец XIV в.).

На севере активно употреблялся союз *оже* (вариант славянского *еже*):

Ожь ты приедя вьрьшь, а водаи ро(жь) ‘если ты привезешь зерно, то выдай рожь’ (Бер. гр. 82, XI–XII вв.). — *Оже князь поиде, присъли*

Ивана (Бер. гр. 332, XIII в.). — *Нъ оже Богъ по насъ, кто на ны?* (Синод. под 1229 г.). Ср.: *Еже ми отьць даял... а то за нимъ* (Бер. гр. 9, XI в.) —

условная связь завязывается на относительном союзе *еже-оже* (все высказывания можно перевести с союзом *который*) через промежуточный этап временного отношения (их же можно перевести и с помощью союза *когда*). Все ранние примеры сомнительны как выражающие чисто условную связь. *Оже* мог передавать изъяснительное значение:

Оже то еси казале Неседѣ въверичь тихъ дѣля? (Бер. гр. 105, XII в.)
‘что ты сказал Неседе о тех веверицах? (бѣлках)’.

В сложных сочетаниях трудно установить, какой именно союз несет условное значение, ср.:

А оже кто подь другомъ копаеть яму, самъ впадется в ню (Синод. под 1337 г.).

Тем не менее в тексте «Домостроя» XVI в. встречаются только придаточные условия и следствия, в зависимости от самого текста с разными союзами: в традиционно книжной части это союзы *аще*, *донележе*, *понеже*, *убо*, *яко*, в разговорной второй — *коли* и *только*. В это время развиваются новые союзы, извлеченные из состава самого предложения, именно *буде(т)*, *есть ли*, *ежели*, *только*:

Еже ли не поидеши с нами, то мы собѣ будем, ты собѣ (Лавр.). — *А будет простой человекъ, ино судъ* (Судебник 1497 г.). — *Толко так скажеть как показано, то добро* (Дом. XVI). — *А есть ли хто даромъ возметъ, ино таковому смертная казнь* (Пересветов). — *А еже разлежится, и ему кнут на спину* (Авв.).

Союз *если* связывают с влиянием польского языка, в котором он появился в XIV в.; 15 случаев его употребления в русском языке XVI в. относятся к текстам Курбского и Пересветова. Польское влияние сомнительно: *jeśli* переводили словами *только*, *будет*; поначалу это всего лишь частица косвенного вопроса. Ср. в «Повести об Азовском сидении»:

А есть ли толко из Азова города не выйдѣте... не можетъ гневъ быти.

В то же время русские памятники дают форму *есть ли*, а *если* представлено только в самом конце XVII в. Даже в записях Лудольфа этого времени находим:

Смотри, *есть* ли портной мастер *здѣлалъ* мою шубу? —

обычная форма полного перфекта с вопросительным *ли*. Сочетание *есть ли* становится союзом лишь тогда, когда обязательная связь с перфектом утрачивается:

А есть ли, де, поиску не учинять, и они, де, пойдуть...

Нереальность условия передавалась союзом *как бы* (*кабы*):

А как бы не спрашивали, я бы молчал болше (Авв.).

Соотносительные слова в главном предложении указывают на непрочность подчинительной связи, которая еще только устанавливается, выходя из синкретизма прежних синтаксических отношений.

Условные предложения возникали в диалоге. Чужое условие — мое следствие. В разговорной речи рождается вопрос, за ним следует ответ, как это выражено в одной северной грамотке:

— *Есть ли у тебе, Никитка, пиво?*

— *Исьем да и простимся...*

‘Есть пиво — выпьем да разойдемся’. Подручными средствами, обычно простыми союзами или местоимениями, выделяется главное предложение, как это и водится в разговорной речи, с разными вариантами выражения мысли:

У тебе, Никитка, пиво, то исьем да и простимся...

Исьем, есть ли у тебе пиво... и т. д.

В течение всего Средневековья продолжалось накопление условных и уступительных союзов, которые извлекались прямо из конкретных текстов, обычно выражаясь совместно с идеей буд. вр.:

а буде(ть) который человек вышель... с середины XVI в.

а есть ли которой человек... с конца XVI в.

а ежели которой...

т. е. *буде, если, ежели*.

В результате прежние ряды предложений, подобно рисунку без перспективы, постепенно такую перспективу выявляют, навязывают ее языковому мышлению во все более строгих синтаксических формах. При этом прежде всего выявляется и грамматически прорабатывает-

ся исходная часть логического умозаключения, то, что было или должно было быть в начале событийного ряда, в прошлом или настоящем, но без выхода в будущее. Это подтверждает, что условные связи возникли и оформились очень давно, до того, как категория будущего вышла из туманных модальностей.

На примере условных видно, что именно значение требует оформления смысла в определенной синтаксической конструкции; логическая форма осознается и используется много раньше, чем язык оказывается способным удовлетворить потребности мышления однозначной и безукоризненной формой ее выражения.

Однако как всеобщая категория, как предел отвлеченного мышления все такие категории еще не выработаны сознанием во всех тонкостях. В языках Европы причинные связи вообще вырабатывались довольно поздно; их формирование обусловило развитие современного научного мышления. Еще в XIX в. причину понимали, исходя из последовательности событий как факт, имеющий свое начало.

Для Средневековья это и есть условие, выраженное в слове.

5.5.6. Уступительные придаточные предложения

Столь же развиты, не получив еще окончательного оформления, уступительные придаточные предложения, которые обозначают отсутствие ожидаемого следствия при выполнении условия, так что условно-ограничительные конструкции подводят к уступительным. В принципе, уступительные придаточные утверждают постоянство (реальность) причинной связи при ее отсутствии в данном высказывании и являются переходом к законченно причинным связям.

Древнейшие примеры уступительных отношений сохранились в речитативных попевках Бояна, представленных «Словом о полку Игореве»; здесь лексически представлено простое соотношение противоположностей, объединенных скрытой причинной связью:

*Тяжкѡ ти гѡловѣ **кромѣ** плечю, злѡ ти и тѣду **кромѣ** головы!*

Уже в Русской Правде XI в. и в грамотах XIII в. встречаются примеры, своим противительным смыслом напоминающие уступительные отношения (постпозиция препятствует признанию законченно уступительных отношений):

*А за кормилца 12 гривень, **хотя** си буди холопъ или роба. — Заплатити немчину первее, **хотя бы** иному кому виноват был русину (Гр. 1229 г.).*

Значение уступки содержится уже в смысле самих глаголов *хотети*, *желати* (ограничение воли); а соединение с союзом *аще* усиливало уступительно-разделительное значение всей конструкции, ср. в И 73 *аште хошти*; *аще* и сам выступал в уступительном значении:

Сберъте аче и по горсти овса (Лавр.) ‘хотя бы по горсти’. — *Аще не нынь, умремъ же всяко*. — *Аще и яра зима, но сладокъ рай* (Авв.).

Противительная модальность в метонимическом следовании простых предложений также несет в себе возможность уступительного значения: [*Хотя*] *другой на вас Селивестр наскочил, а однако его...* (Грозн.).

Почти все представленные примеры воспроизводят естественный ход мысли, когда логически предшествующее предложение стоит в препозиции. Это синтаксис, в котором развитие мысли ведет набор слов (лексемный синтаксис), тогда как законченность синтаксической модели определяется общей предикацией с выражением точки зрения говорящего.

На позднее развитие уступительных предложений указывает то, что они первоначально использовали союзы условных предложений. Структурную модель с уступительной связью признают за риторическую формулу возражения против известных положений, отчего особенно часто они использовались в полемических сочинениях (Андрей Курбский против Ивана Грозного).

Союз *хотя* возникал из сокращенной формы повелительного наклонения (*хоти* > *хоть*) или на основе желательного наклонения (*хотя бы*):

И хотя *будет сыновеи гневъ, и ты бы* *не прикословен был* (Моск. гр. 1572 г.)

Хотя бы *одному кобелю голову-ту назадъ рожою заворотил да пускай бы* *по Москвь-той такъ ходилъ!* (Авв.).

В пословицах записи XVII в. уступительный союз *хотя* употребляется вполне верно:

Хоть и гол да не воръ! — *Хотя нагъ да правъ!*

На примере развития условных и уступительных предложений можно видеть характер средневековых суждений. Это уже не бесформенное присоединение двух близких по мысли предложений, но еще и не абстрактно-отвлеченная форма выражения синтаксических отношений: обязательное наличие союзных слов и различных союзных форм придают конкретность и живость выражения уже обозначив-

шимся структурным связям. Ранние союзы в момент их возникновения выражали не только логические связи, но и оценку говорящим своих сообщений.

5.5.7. Придаточные предложения следствия

Кроме того, лишь выражение действия может стать материальным субстратом логической операции. Только из остатков некогда самостоятельных глагольных форм формируются новые союзные слова. Потому что только глагол способен передать идею времени, на основе которой осознаются, выделяясь в языке, и условие, и его следствие.

Придаточные с л е д с т в и я также хорошо известны в древнерусском языке. Конечно, и здесь много остатков древних конструкций с нерасчлененной последовательностью со-значений, но кое-какие попытки выразить определенный смысл имеются. Вот несколько примеров из летописных текстов; ряд событий, из описания которых становятся ясными их последствия:

и бысть дымъ силенъ зъло, [так что] не бѣ видѣти человека в дымъ;

— при усилении специальным словом следствие актуализируется:

толь лють бяше пожарь, [что] с вихремъ огнь по водь горя хожаше;

— общая мера подчинительности усиливается перед союзом *яко*:

и потомъ науде дождь, яко не видихомъ ясна дни,

а соединение двух последних конструкций уточняет представление о следствии:

толь велика мгла была, яко за двѣ сажени пред собою не видѣти человека в лице.

Яко заменяет собой множество союзов, в том числе и отсутствующий *так что*.

Общим для предложений условия и следствия было то, что в древнерусском языке они скреплялись скорее смысловыми отношениями, не имели отработанных формальных скреп языка. В течение всего Средневековья именно такие формальные скрепы и создавались.

«Отношения причины и следствия возникают... из отношения сходства» (А. А. Потебня), и самый распространенный союз следствия первоначально сравнительного значения (*так что*).

Придаточное следствия относится не к отдельному члену предложения, а ко всему главному в целом; отсюда слабость конкретного подчинения, а различие между сочинением и подчинением особенно слабо при союзе *ино*:

*Запер их в пустую избу, **ино** никому приступу нет к ним* (Авв.).
*Правды не помнят и Бога прогнѣваютъ, **ино** имъ мука вѣчная* (Пересветов).

Такие сложные предложения еще напоминают сочинение:

*А на леднике полное питие и еству держати, **ино** не портится* (Дом. XVI).

До XVII в. активен неопределенный по смыслу союз *яко*:

*Тма бысть по всеи земль, **яко же** дивитися всѣмъ челоувкомъ* (Ип. 1425). — *(Птица) песни поет сладки, **яко** не восхоцет челоуек ясти, слышавшее ея гласы* (Авв.).

Эта конструкция представлена с инфинитивом в модальности объективной обусловленности, т. е. связана с условием протекания действия. В других случаях значение следствия представлено яснее:

*Потом поиде дожгъ, **яко** не видехом ясна дни до зимы* (Синод.).

Изредка (на севере) употребляется союз *оже*:

*Нъ лють бяше путь, **оже** купляху по ногате хлебъ* (Синод.).

Все эти придаточные можно перевести с помощью союза *так что*, поскольку они действительно передают значение следствия.

В XVII в. для выражения этого значения используется новый союз — *такъ что*:

*Так горько ему, **что** не говорю: «Поцади!»* (Авв.).

В этом примере разведенные по разным предложениям части союза выражают скорее меру и степень действия, хотя значение вывода также присутствует.

В середине этого века в полном виде является союз *так что*, ср. в переводе книги «Учение и хитрость ратного строения людей» (1647):

*И всякое насилство чинять, неволять и грозять и истоцать **так что** бѣдныя люди всего своего имъния отбудуть.*

5.5.8. Придаточные предложения причины

О древнегреческом синтаксисе историки говорят, что в нем была представлена «бесконечно последовательная причинность», т. е. следование одного из другого в каузальном (причинном) отношении. Ни причины, ни цели в современном смысле средневековый человек не знал. Не причина интересовала его в цепи событий, а те условия, в которых исходное со-бытие про-ис-ходило, т. е. зарождалось. Такая «причина» представлена в глагольной форме перфекта, который отмечал результат совершенного в прошлом действия, важный для настоящего. Причина оказывалась важной не сама по себе, а как сопутствующее условиям будущих действий, данных в настоящем. Именно настоящее перекрывало значимость прошлого, готовя будущее, т. е. ставя определенные цели.

Условие и следствие в их взаимной связи являются внешней (вещной) стороной идеальных причинно-следственных отношений. Вся эта последовательность: условие-причина и следствие-цель — в широком смысле и образует «бесконечную последовательность причинности», т. е. мысленно отражает текучесть и подвижность звеньев причинной цепи, которые следовало еще остановить сознанием, отметить в мысли и выразить словом. Слово всегда запаздывает, являясь заключительным этапом постижения мира. Предложно-падежные формы тоже выражают причинные отношения, но как-то неопределенно при всей их конкретности:

От их воровства жить невозможно. — За тою ссорою дѣла вѣдати невозможно. — За ту краденую свинью били батоги. — Такое слово з глупости молвилось.

Как индивидуальное свойство сознания, причина понималась механистически в виде случайного движения мысли, это была *притка*, которая поприitchилась-показалась.

Условие есть словесно выраженная причина на основе их сходства, так что «следствие является лишь видоизмененным подобием причины» (А. А. Потебня). Хорошо сказано: «Когда люди приняли видимость за сущность, следствие выступило как причина». Причины и следствия могут меняться местами, потому что, в сущности, это одно и то же проявление связей. «Разумное удивление» людей Нового времени в XVIII в. породило идею причинности, т. е. связи всего со всем.

Философы находят, что каузальная картина мира есть пространственно-временная картина в движении, когда векторное (необратимое) время выделилось из пространства и оформилось в понятии, сменившем языческий образ и христианский символ. Причина — вневчув-

ственная категория максимальной отвлеченности, тогда как в предметном мире средневекового человека никаких причинных связей нет, есть только метонимическая смежность вещей и событий, совершаемых в пространстве и времени.

Древнерусский период развития мысли — время выявления «поводов» и «начал», сохраненных памятью о прошлом: проблема того, «откуда есть пошла Русская земля», символически указывает на такую ориентацию средневековой мысли.

Среднерусский период с XV в. — время оформления «условий», представленных в настоящем. Только в XVII в. благодаря формированию категории «будущего» стало возможным проникновение в идеальную сущность «причин» как осуществленных «целей» (конечных причин). От внешних явлений вещного мира к внутренней идеальной сущности — таков путь рассудочного мышления европейских языков.

Ни причины, ни цели в философском смысле как категории Средневековье не знало. Причина и цель существуют в совместном движении воли к своему предмету. Причина от-меч-ена, цель на-меч-ена. Неопределенность значений старого слова *вина* предполагает и причину, и конечную причину — цель. Именно поэтому довольно рано слово получает христиански этические со-значения. Что бы ни случилось — во всем есть в и н а, восходящая к прошлому. Семантическая история слова показывает, что речь идет не об объективной причине, а о степени ответственности за причиненный вред. Этическое, подавляя реальное, снимает в слове представление о начале начал.

Именно в церковнославянском языке слово *вина* выступает в значении 'причина'. Отчасти это связано со смыслом переведенных текстов, в которых *вина* соответствует греческому слову *αἰτία* — 'вина' и 'причина'. В бытовых и деловых текстах говорить о причине нельзя. В Русской Правде XI в.: *Аже господинъ бьетъ закупа про дѣло (поделом), то безъ вины есть* — причина понятна, а вины нет. Но болгарские переводчики уже в X в. писали, что Бог *есть начало и вина бытѣю*. Вина определяется началом и несет оттенок виновности. В древнерусском языке *вина* — ошибка, заблуждение, грех, требующий расплаты — неизбежных своих последствий. Слово того же корня, что и литовское *vaina* 'ошибка', и русское *война*.

И в летописи «нет времен» потому именно, что не выражены причинно-следственные связи между событиями и лицами, о которых идет речь. Столь частое *бо* не только *и бо (ибо)*, но еще и *у бо (убо)* и другие соединения с различными оттенками смысла, не всегда понятными сегодня. Это система обозначений, для которой сочинение мыслей важнее их со-под-чинения, а сходства существеннее различий.

Причина и цель — конечные категории мысли, они окончательно выделены и определены термином только в XVIII в.

Появляются термины: *причина* и *цель*. *Причина* понимается как результат причинения согласно определенному *чину*, порядку. *Цель* — польское слово, притом еще и заимствованное у германцев. Но конкретное и органическое представление о причине и цели у восточных славян существовало и на бытовом уровне. Это можно не только предполагать как естественную необходимость практической деятельности, но и реконструировать, основываясь на некоторых допущениях.

Первое употребление слова *причина* относится к 1479 г. и встречается в грамоте, отражающей сношения с поляками: *отъ Ивашка причина была* — ‘начало’, ‘почин’, а не причина.

В том же значении употреблялось и другое слово: *при-тък-а*. *Причина* — «приткнутое» объяснение случившегося, то, что *попритчи-лось*, показалось. Если *вина* предстает как субъективное ощущение источника событий, то *притьча* — их оправдание и объяснение.

Притка и причина стали помысленной *причиной* только после того, как в языке сформировались четкие логические соотношения между субъектом и объектом действия, а идея времени предстала как векторная последовательность событий. Если судить по истории русского языка, это случилось не ранее XVII в.

По мнению А. А. Потебни, русская *причина* есть причиняющее (имя действующего лица), причинение (совершение этим лицом действия) и причиненное (совершено, т. е. результат): «Отражение действия на предмете имеет причиную действие субъекта». Пока все это слито в общем деянии и представлено в слове *притька*, мы имеем не термин, а описание ощущения. Но ощущение верное. Другие факты языка подтверждают это впечатление.

Вопрос, который мы задаем, постигая причину, — тоже позднего происхождения. Союзы *почто* и *почему* возникают как раз в XV в.: в Русской Правде их еще нет, а в «Псковской судной грамоте» XV в. сочетание *по тому* известно (‘по этой причине’).

Однако, чтобы причина была понята осознанно как категория и выделена в ряду других гиперонимов как термин, нужно было осознать не только связанное с причиной условие, но и *ц е л ь*.

В последовательности предъявления слов, имеющих отношение к выражению категории «причина»:

вина > *при-тък-а* > *при-чин-а* —

можно видеть синтез первых двух — отвлеченно книжного и конкретного разговорного — в третьем. При этом *вина* противопоставлена двум другим как «причина» недействительная, субъективно внутренняя, к действительным причинам событий отношения не имеющая. *Притка* субъективна, но является внешней, приходит извне; *причина* — и внешняя, и действительная, и притом объективная. В смене слов для

выражения категории заметно стремление объективировать смысл причин, возникающих помимо воли людей.

Самым первым средством выражения причинных отношений были заимствованные из старославянского языка греческие кальки *зане*, *поне*, основанные на славянских предложных сочетаниях, с русским распространением частицей *же*: *за-не-же* (*за* в причинном значении и вин. ед. указательного местоимения *е*), *по-не-же* (*по* в том же значении и то же местоимение). Еще и в XVII в. такие союзы в ходу:

Да кождо изымавши москвич было бы чимъ вязати, понеже суть слабы и страшливы (МС XV). — *Присылали нужную пищу, понеже жены милостивы быша* (Авв.).

Неопределенность связей представлена бессоюзными предложениями:

Предайтесь, князь ваш ять бысть! ‘сдавайтесь, ваш князь в плену’. — *А наши князи добри суть, роспали суть деревьскую землю.*

Предпосылкой будущего выражения причины стало употребление типичных средств обоснования — союзов *бо* и *яко*, которые не выявляют, а только подчеркивают причину действия:

Сию бо хвалить руские сынове аки началницу, и бо по смерти моляше Бога за Русь (Лавр.). — *Дворе ваши пустое будутъ, яко вы зли есте и лукаве* (Ип. 1425). — *Взяша меду лукно, бѣ бо погребено в княжи медуши* (Лавр.).

В «Успенском сборнике» XII–XIII вв. более 1200 раз использован союз *яко*, около 700 — *бо* и только 60 — *понеже*; такое же (процентное) соотношение в «Изборнике 1076 г.».

Причина вытекает из модальности высказывания, выраженной в сказуемом и союзе, или из побуждения к действию. Причинного значения предлоги *от*, *для* (ср. *а от тѣхъ ляховъ прозвашася поляне* — Лавр.) после XV в. пополнили состав союзов сложными образованиями на основе сравнения (*потому как*, *для того как*, *так как*), в конце концов представивших новые союзы типа *потому что*:

Ис холопства не взяти, потому что отец его и мати сами в холопех (Судебник 1550 г.).

Невозможно стало ехать, потому что путь нужной (Авв.) — ‘трудный’.

Переходными случаями богаты тексты XVII в.:

*Вельць у них ходити о всемь **по тому**, как в сеи грамоте писано* (Гр. 1584 г.).

*Нам де ты отдаи **за то, что** брат твои на лошедь променял книгу* (Авв.) —

причинное отношение вытекает из изъяснительного; здесь *за то, по тому* корреляты к союзам *как* и *что*. В ранних текстах изъяснительное значение выражено определеннее:

*И не нача **по тому** чинити, яко же люди хотяху* (МС XV под 1146 г.).

Переход от старых (книжных) к новым союзам был не так прост, часто старые и новые средства выражения причинных связей дублировались в одном тексте:

*Князь великий не поехал в город, **того дья** понеже бо морь бь у нихь* — три союза общего смысла.

В сложении *потому* указательное местоимение определяет все предшествующее предложение в целом, обосновывая его смысл как выводное следствие:

*А когда коронуютъ, **въ то время** бываетъ ему помазание елеомъ, и **потому** имянуется помазанникъ* (Котошихин).

В сущности, это еще сочинительная связь, которая сменяется подчинительной включением союза *что*. В таком случае местоименное наречие *потому* передает с м ы с л причинного соединения частей высказывания, а союз *что* — характер связи между ними (подчинение):

*А войны де великие у папы с королевною мало же бывало, **потому что** Английская земля от Римской земли удалена* (Посл. послов., 1582 г.).

Таким образом, в XVI в. развитие причинных союзов подготовило осознанное восприятие категории причинности. Многообразие значений и свобода употребления, вариантность форм и их написаний в это время показывают неупорядоченность в представлении причинных связей, их связь с предшествующим изъяснительным значением следствия. Эта несобранность объясняется тем, что в различных жанрах и в самых разных ситуациях люди пользовались всем наличным составом союзов и союзных слов. Обилие союзных слов связано с кон-

текстом формул, в которые они были введены при их составлении, и их соединение с соответствующими союзами происходило только в письменной речи.

5.5.9. Придаточные предложения цели

Придаточные цели развиваются с XV в.; сочетание *чтобы* впервые отмечено в Московском летописном своде этого времени в составе сослагательного наклонения: *да что бы...*

Человек, полагал Гегель, не может определить цель своего действия, пока он не действовал. Поэтому в ранних представлениях возникающая в сознании категория «цель» слита с «образом действия». В древнеславянском языке цель представлена в частных проявлениях, связанных с определенными формулами речи; например, супин — обстоятельство цели: *иде рыбы ловить*.

В грамотах и бытовых текстах вместо послелогов употреблялись предлоги с пространственным значением, такие, как *за, по, от, про* и др. Причина, условие или цель описываются как пространственные последовательности расположения *за, перед, около* или недалеко от предмета описания: *за наши грѣхы, по нашимъ грѣхомъ, за обиду* и т. д. В МС XV для выражения одной и той же связи служат разные грамматические средства: *се же все бысть за грѣхы наши, по грѣхомъ нашимъ подведоша Литва, бѣсте бо отягчали от многаго грѣха* — обычные книжные сочетания с послелогом *ради* в литературных формулах. Возможное значение цели здесь описывается с помощью послелога *дѣля*: *отѣя от него волость сына дѣля своего*. Более ранние летописные тексты в целевом значении используют еще русские пространственные предлоги; так, в Ипатьевской летописи *умираемъ за Русскую землю, помогутъ ти про Киевъ* ‘взять Киев’ и др.

Соотношение модальных планов главного и придаточного вызывает необходимость связи определенным союзом. Древнейшие отношения связывают изъявительное наклонение главного и повелительное — придаточного, введенного в контекст повелительными частицами (союзами) *ать* и *да*; ср. в Ипатьевской летописи 1425 г.:

*А поѣди ниже к городу, ать мы ся бѣемъ сами съ Изяславомъ.
Уже есмь переши Днѣпръ, да не ударить на насъ Изяславъ.
Пождѣте, да же вы куны сберут.*

Цель и следствие связаны друг с другом и первоначально представлены в изъявительных и определительных предложениях; это не чистая цель, а объектно-целевое (1), атрибутивно-целевое (2) или процессуально-целевое (3) значение:

1. **И начата** думати, **яко же** заутра рано поьхати биться к рьци (Ип. 1425).

2. **Бъ бо** Святополкъ с Володимером рядь имьет, **яко** Новгороду быти Святополцю (Лавр.).

3. Всеволодь нача достъвати, **яко** взяти городъ (Ип. 1425).

Все три предложения можно перевести с помощью целевого союза *чтобы*.

Модальность сослагательного наклонения вызывала наибольшую близость к целевым связям. «*Бы*, присоединяясь к другому союзу, вместе с ним сообщает неопределенному значению цели» (А. А. Потебня). Долгое время «русская форма» сослагательного наклонения, утратившего изменение по числам и лицам, сама по себе выступала в значении целевом:

Жену учи всякому рукодълью... умъла бы сама и печи, и варити (Дом. XVI).

В таком виде высказывание по-прежнему воспринимается в модальности благого пожелания, дано в ирреальности неопределенной возможности осуществления.

В древности целевые отношения передавались «неопределенными» союзами *абы*, *дабы*, восходящими к сочинению с сослагательным наклонением:

Възлелей, господине, мою ладу ко мнѣ, а быхъ не слала к нему слезь... (Сл. плк. Иг.)

И посласта ко Лвови, **а бы** поьхаль к нимъ (Ип. 1425).

А сноху мою послати ко мнѣ... **да быхъ** обуимъ (обняв) оплакаль мужа ея (Лавр.).

И почаша греци мира просити, **да бы** не воевалъ грецкые земли (Лавр.).

Союз *дабы* известен с XIV в. только русскому языку. Все примеры относительного подчинения, т. е. придаточные, связаны с одним из главных членов основного предложения, а не со всем предложением в целом.

Дополнительное изъяснительное значение представлено и при союзе *что*:

Не игрушка душа, **что** плотскимъ покоем ея подавлять! (Авв.).

Именно этот союз прибавлением модальной частицы *бы* составил основное средство выражения цели: *бы* являлась нейтральным формантом целевого значения, как *бо* — условного:

Было бы все в счете, было бы што господарю сказать (Дом. XVI).

Поначалу союз *чтобы* употреблялся в условном или причинном значении:

А што бы сын отца убил — ино князю продажа (Пск. судн. гр.) — (= если бы).

Вели привести тех жеребят к Москве для того, что тое цены не сулят, и чтобы на меня гньва не держаль (Моск. гр.) — (= потому что и чтобы).

Первое надежное употребление союза *чтобы* встречается в Московской грамоте 1353 г.:

А пишу вамъ се слово того дьяля, чтобы не перестала память родителю нашихъ, и свеча бы не угасла.

В Комиссионном списке Новгородской летописи XV в. под 1388 и 1397 гг.:

И много молиша ѿ весь Новградъ, что бы побыль в дому святой Софьи.

Что бы господинъ нашъ великый Новъгородъ нелюбья бы отдалъ —

с формами сослагательного наклонения.

Модальность желательности долго присутствует благодаря связи с сослагательным наклонением, но наличие союзного слова *того дьяля* доказывает, что перед нами целевой союз *чтобы*. Ср. другие примеры разного времени, в том числе и с союзным словом:

Землю хльбомъ посягль насильствомъ для того, чтобы ему тою землею завладѣти (Улож. 1649 г.), — *Городища и монастыри отнимати, чтобы не пожьгли* (МС XV).

Для того их близко у себя держит, чтоб ему в его землях вдруг не явился (Пересветов).

Сделай шапку, чтоб и рожу-ту всю закрыла! (Авв.).

Предлоги *дьяля* и *ради* первоначально связаны с обозначением и причины, и цели: цель рождается в причинности, потому что конечная причина и есть цель.

Движение н а ч а л и пространство у с л о в и ѿ окончательно подчинилось в р е м е н и всеобщих внутренних п р и ч и н.

Как причина исходит из начала, определяясь истоком дела, так и ц е л ь находится в конце движения, но уже никак не связана с началом. Цели добиваются в активном действии.

Но подобно тому, как *конь* — это и начало, и конец одновременно, так и *для* первоначально и причина, и цель. Причина и цель вместе, неслиянно слиты.

Выражением *причинно-целевых* отношений в русском языке становились предлоги *для* и *ради*.

Ради — падежная форма от слова, родственного глаголу *радь-ти* ‘заботиться’, *для* — от *дълати*. И забота, и свершение одинаково *причиняют* какое-то начало.

Причина — идеальный род, в состав которого входят повод, условие, начало и прочие виды проявлений *причинности*, включая и основополагающий вид «пространство». Причинное *для* от *дълати* и пространственное *для* от *дълити* одинаково дали современное *для* (ср. латинскую параллель в слове *causa* ‘для’ и *causa* ‘дело’). Но исходное значение словесного его образа ощущается и в современных выражениях: *чего ради?* — с какой радости; *для чего?* — ради какого дела.

Для и *ради* (архаичные формы *дълма* и *радъма*) были не предлогами, а послелогами, стояли после основного слова; значение «причины» или «цели» содержалось в целом сочетании, один предлог-послелог такого значения не имел. Распространены сочетания типа *сега ради*, *того ради*, *чего ради*, *чего для* или более конкретные *грѣхъ ради нашихъ*, *обиды для* и т. д. Все они являются переводом греческих формул и по своему происхождению книжные, а с точки зрения славянской формулы типа *обиды для* содержат одновременно и следствие, и условие, и причину.

Преимущество послелогов очевидно. Они полностью утратили связь с конкретными пространственными обозначениями, идея «ряда» стала смыслом «порядка». В передаче логических отношений они более строго отражают новый уровень утвержденных сознанием связей. Правда, до конца XVII в. они сохраняют свою многозначность, соединяют значение причины, цели и условия.

Распределение прежних послелогов соотносится с происходившим в то же время развитием категории одушевленности и все большим разграничением между активным субъектом и пассивным объектом действия, выраженного в суждении-предложении. Развитие мысли в сторону причинно-целевых отношений происходило в границах предложения, в контексте, отражающем реальную ситуацию действия.

Одновременно послелоги становятся предлогами. В новом сочетании типа *тупости ради умные* — *ради* уже не послелог, но еще и не предлог, как бы переход от одного к другому, указание на будущее свойство: *ради умственной тупости*.

За этим скрывается движение мысли, выстраивающей следование событий в определенный порядок, укладывающей их в *ряды*. Влияние со стороны народно-разговорного языка тут несомненно. В про-

стой речи послелогов не было, только предлоги, а значат они то же самое: *гостя дѣля* — *про гость*, т. е. 'для гостя, ради него'. Еще в «Домострое» XVI в. *грузди готовь про гость*, т. е. 'для гостей', которые могут явиться вдруг.

Кроме того, развивается категория буд. вр., и теперь совмещенности причины и следствия, а также цели и условия только в прошлом (в начале) уже нет. Цель свободно отчуждается от причины, переносясь в будущее как смысл и оправдание этого будущего. Цель размещается в будущем, поскольку теперь она осознается как конечная причина. *Того дѣля* 'потому' — причина, лежащая в прошлом, *дѣля того* 'ради того' — причина в будущем, т. е. цель.

И разговорные сочетания, подчиняясь общей линии мыслительного процесса, тоже складывались в словесные блоки, способные выражать причинно-следственные отношения:

за то: я зато и говорю... — в просторечии

по тому: я потому и говорю... — в разговорной речи

от того: я оттого и говорю... — устаревшее

Союзами цели разговорные формы не стали, но они помогли книжным сочетаниям развиваться в целевые союзы.

Таким образом, после XIV в. из обобщенной (собирательной) идеи причины постепенно вычленились самостоятельные категории, из которых категория цель оказалась наиболее важной. Положение объекта в пространстве приводило к мысли о причине и о связанных с его существованием условиях — с тем, чтобы в конце концов поставить вопрос и о цели такого существования.

5.5.10. Причастные структуры

Развитие синтаксических структур на основе причастных форм происходило параллельно с формированием сложноподчиненных предложений. Прежде всего были устранены те синтаксические позиции, которые для древнерусского языка не были органичны, например синтаксические грецизмы и даже семитизмы типа *шедь спроси, могу ли дошед рая видѣти, что ища пришесть еси?* или *бѣ учя*. В «Повести временных лет», в «Киево-Печерском патерике», вообще в ранних текстах таких формул много; ср.: *Болеславъ же бѣ Киевѣ сядя; Азь же присно буду моля о спасении твоємъ; Аще и постникъ еси... и досажения не трѣпя* и т. д. Преобразуя заимствованную форму, древнерусские авторы создавали противоречие между временными значениями формул (в данном случае — прошедшее, будущее и настоящее) и причастных форм (во всех случаях наст. вр.); вместе с

тем обозначилось выделение формы им. п. как такой, которая пока еще согласуется с подлежащим, но только в составе сказуемого (зависит от связки). Указывается не готовый признак, а описывается процесс выделения такого признака. Усиливается глагольность причастной формы.

Из области сказуемого постепенно вытеснялись причастия неопределенного действия наст. вр. и прош. вр. типа *бысть крѣстя, есть съдя, есть стоящи* и т. д., хотя в качестве книжного архаизма такие сочетания можно встретить и в текстах XIV в.; ср. в «Сказании о Мамаевом побоище»: *николиже Литва отъ Рязани учима бѣ* — с единственным отрицанием, что выдает книжный характер конструкции. Деепричастие никогда не возникает из причастия в составе сложного сказуемого (*и прозрь и бысть видя* — ‘стал зрячим’), поскольку это грецизм.

Возможность употребить одну и ту же конструкцию со связкой и без нее давала различие в грамматическом смысле сочетания. Например, собственное значение страдательного причастия прош. вр. (перфектное) в сочетании со связкой сохранялось, а без связки изменялось в аористное: *быль присланъ* — *присланъ*. При уточнении датой аористное значение усиливалось: *а дана грамота в лѣто...* Свободное перемещение перфектного значения на аористное отмечается и в замене действительных причастий прош. вр. на аорист. Страдательное причастие могло сочетаться и со связкой буд. вр. (*аже будетъ расъчена земля...*), но никогда не используется в значении имперфекта. Все это показывает, что имперфект уже не актуален как самостоятельная временная категория и что происходит активное сближение аориста с перфектом; последний постепенно заменяет аорист во многих синтаксических позициях.

Категорией, посредством которой этот процесс развивался, была «промежуточная» категория кратких причастий. В точке их преобразований в XV в. сходятся все изменения категорий вида, времени и залога. Причастия исчезали из системы в связи с образованием корреляций по виду и залогу, отдавая личным формам глагола свои функциональные ресурсы. К концу древнерусского периода причастия наст. вр. стали выражать идею неопределенности с о с т о я н и я, а причастия прош. вр. — определенность д е й с т в и я. Такова исходная для дальнейших изменений эквиолентная оппозиция причастий, согласованная как с различием по виду, так и с противопоставлением по залогу.

Возникает вопрос: почему только к XV в. формируется новый грамматический класс деепричастий? Ответ прост:

— Нет еще последовательного противопоставления кратких причастий полным, которые употребляются редко, но все еще как причастия. В традиционных по типу текстах, например во всех списках

«Задонщины», отношение кратких форм к полным составляло 3:1. Естественно, что еще не состоялась и субстантивация кратких причастий, известных современному языку (*рева, разиня, пройда*).

— Еще не полностью разрушены старые синтаксические конструкции, в составе которых краткие причастия выступали в качестве «второстепенного сказуемого» (А. А. Шахматов). Например, в обороте «второй именительный» (*вси придоша неврежени ничимже* — Синод.), в сочетании с аористом (*заутра въставъ и рече к сущимъ с нимъ ученикомъ* — Лавр.) и особенно при соединительном союзе (*родися таковь и исполненъ грѣхъ*).

— Препозиция к основному глаголу в личной форме сохранялась, лишь постепенно заменяясь на постпозицию, которая способствовала образованию деепричастия; ср. в южнорусских грамотах XVI в.: *погибаю на правези стоя* (в наст. вр. причастия) или: *племяника били и грабили и, убивъ-ограбив, покинули замертва* (в прош. вр.). В постпозиции краткое причастие в им. п. относится ко всему предложению в целом, показывая зависимое по смыслу действие.

— Отсутствие фонетически русских форм в данной синтаксической функции показывает незавершенность процесса. Только к XVII в., когда в функции деепричастия появляются формы типа *приезжаючи, приведчи*, можно говорить, что процесс выделения деепричастий как самостоятельной категории завершен. Эти деепричастия употреблены Котошихиным, у которого, кроме того, появляются образования от основ на гласный типа *взявъ, снявъ, принявъ, съвъ, пьвъ и пѣтчи* и др. вместо старых основ на согласный *въземъ, сънемъ, приимъ, съдъ, пѣдъ*. Ср. современные формы *проклявший, начавший* вместо исконных *прокленши, начень*.

— Древнерусские и церковнославянские формы совпадают по функции и отчасти препятствуют развитию деепричастий, хотя, например, формы *ида* и *иды* уже совместились в обобщенной и потому получившей законченное грамматическое значение форме *идя*. В Лавр. форм типа *иды* 1,4% всех действительных причастий мужского рода им. п. ед. ч., а в Синод. чуть больше — 5,8%.

Таким образом, деепричастие образуется из кратких причастий в форме им. п., согласуемой с подлежащим. Выделению этой формы способствовали разложения речевых формул и новые принципы организации текста — предложения (чисто синтаксические основания). Краткое причастие стало деепричастием, т. е. причастием, указывающим на действие, в постпозиции по отношению к основному сказуемому; при этом оно осложнялось пояснительными словами наречного характера, часто употреблялось в предложных конструкциях, что повышало степень его «наречности», как и возможность создавать предложения при опущенном подлежащем.

Формирование деепричастий, по согласному мнению историков,

происходило в XIII–XIV вв., к концу XIV в. уже завершилось как образование категории, но еще долго вырабатывало универсальные формы своего выражения. Деепричастие представляет собой собственное русское (великорусское) грамматическое явление и отличается от деепричастных форм других славянских языков.

Общее усиление предикативности кратких причастий в форме им. п. приводило к явному указанию на второе степенное действие в высказывании.

— Причастная форма распространяется вспомогательными словами, с помощью которых выделялся новый предикативный центр в высказывании: *и приѣхавъ князь ис Переяславля изима пльсковици* (Синод.).

Порядок слов изменяется, причем в препозиции могут оставаться только глаголы перфективного значения. Старые формулы *въставъ и рече* сменились составными сказуемыми типа *встал сказать, встав сказал* и под.; ср. в «Повести о Василии Кориотском» (XVII в.): *выслушав же отец его и даде ему благословение, отпусти от себе, и взяв король оную персону к себе, а ему объявил таким образом...* Старая (даде) и новая форма прош. вр. (объявил) одинаково соединяются с деепричастием, показывая предшествующее главному действию событие.

— Из примеров видно, что усиление предикативности обеспечивается включением союзов, а в некоторых формулах речи способствует выделению в самостоятельные синтаксические единицы: *а прокъ ихъ разбежеса, куды кто видя* (Синод.).

— Развивается согласование по смыслу выражения, а не по его форме: *и шедъше весь народъ пояша ѿ из монастыря* — деепричастие в форме мн. ч. при имени ед. ч. (народъ).

— Наконец, причастная форма получает самостоятельное подлежащее и тем самым окончательно становится деепричастием: *той же ноци просивъше мира (он) и не да имъ посадникъ съ ладожань* (Синод.).

Довольно долго сохранявшееся соотношение причастия наст. вр. с наст. вр. и имперфектом, а причастия прош. вр. с аористом теперь разрушается, что также способствует освобождению причастной формы от зависимости к главному сказуемому в личной форме глагола.

Дифференцируя различные виды уподобления, развивающаяся сложносочиненная конструкция могла дать два возможных типа структур: одно из сочиненных предложений включало в себя союз (*яко* и его заместители), в результате чего развивалось сложноподчиненное предложение путем распространения союзов и сохранения личных форм глагола. Таков русский тип развития структуры. Вторая возможность возникала в книжном тексте: в главном предложении сказуемое

выражалось личной формой глагола, а в придаточных — причастием или деепричастием. Так, предложение с однородными сказуемыми типа и *скопнша вое и выслаша из города къ воеводь* могло дать такие сложноподчиненные: (1) и яко *скопнша вое и выслаша из города къ воеводь* и (2) и *скопнвъ вое и выслаша из города къ воеводь*.

В обоих случаях выстраивалась синтаксическая перспектива высказывания, осуществлялась характерная для Средневековья иерархическая последовательность компонентов предложения. Но в русском варианте равноценность исходных синтагм сохранялась, а в книжном — нет. В русском литературном языке основным стал первый тип, второй развивал лишь подсобные средства — причастные и деепричастные конструкции, тогда как «первый путь развития давал возможность посредством постановки союзов с их дальнейшей дифференциацией и специализацией выразить самые разнообразные оттенки зависимости придаточных предложений. Второй путь не давал этой возможности. Он давал возможность выразить неравноправность двух частей, входящих в одно сложное предложение, показывал, какое из этих предложений оказывается зависимым (то, в котором сказуемое выражено причастием), но исключал возможность уточнить характер этой зависимости» (Л. П. Якубинский).

Таким образом, как раз в русском варианте синтаксические отношения развивались яснее, чем в церковно-книжном, причем во втором случае наблюдалось уменьшение выразительности текста — путем ослабления зависимых компонентов синтаксического целого; русский вариант, напротив, приводил к усилению выразительной и одновременно логической цельности текста — путем увеличения силы зависимых предложений, дифференциации средств их присоединения и т. д. В церковнославянском приглушается звучание побочных линий изложения, в русском, наоборот, они усиливаются путем фиксации внимания на них. Создается иерархически организованная перспектива предложения, которая в известном смысле заменяет исчезающую систему глагольных текстообразующих элементов (сложную систему временных форм). Отсюда понятно широкое развитие конструкций самого разного типа в церковнославянском языке XV–XVII вв. Все они были искусственными даже по отношению к предполагаемому источнику, откуда были заимствованы — к греческому языку. У каждого своя конкретная функция, восполнявшая отсутствие глагольных форм и новых структур с русскими союзными словами. Одновременно они удерживали «на плаву» архаические формы, используя их как стилистическое средство. Ясно, что развитие сложноподчиненных структур — это путь интеллектуальной прозы, а развитие причастных оборотов сохраняет в застывшем виде сложившуюся иерархию в границах традиционных текстов, задерживая при этом развитие морфологической системы языка. Кажется важным совпадение момента

в раздвоении жанров и в аналогичном удвоении всех грамматически важных средств организации свободного текста.

Второстепенным, но формально важным указанием на состоявшееся изменение кратких причастий им. п. в деепричастие являются ударения.

Ударение кратких форм парадигмы **a** сохраняется на корне: *ви́дя, глаго́ля, мо́лвя, мы́сля, смѣ́тя, па́ря* (в бане), *пла́ча, сла́вя*; ударение причастий старой парадигмы **b** сохраняется окончанием (*води́я, возя́, гоня́, да́я, держа́, жения́сь, идя́, ходя́* и мн. др.), но уже в ЧЗ XIV находим исключения вроде *дожда́ дая́, подая́ мирь, разда́я*, а в XVII в. (в том числе у Аввакума) *мало дѣ́ша, и́ща, друг друга́ любя́ жили, воду́ но́ся, на кони́ ска́ча, слѹ́жа, на нь смѹ́тря, на колоколь смѹ́тря, по дачи смѹ́тря, те́ря, хва́ля, хѹ́дя по земли, мимо двора́ моего́ хѹ́дя* и др. В старой парадигме с ударением этой формы было окончанием, оно сохраняется в случаях *блю́дя, браня́, бродя́, варя́, лежа́, молча́, стоя́, е́дя* и т. д., но и здесь обозначена тенденция к стабилизации ударения на корне, уже в ЧЗ XIV *тебе́ блю́дя, зѹ́ва, кри́ча, хѹ́тя, щѹ́дя* и др., а позже и больше: *кра́дя, ле́жа, мо́лча, сто́я, си́дя, у́ча, хра́ня* и т. д. Обычно это корни с результатами палатализации или с изменившимся корнем (*сѹ́дя, но си́дя*).

Полная неопределенность и даже непредсказуемость ударения независимо от происхождения формы, ее исходного ударения или синтаксических особенностей текста доказывает функциональное безразличие к новой грамматической форме деепричастия. Общая тенденция заключается в оттяжке ударения на корень, как это и свойственно было выпавшим из парадигмы частям речи, но тенденция в современном литературном языке не доведена до конца; в нем нормирован тот вариант старорусского ударения, в соответствии с которым ударение на первом слоге имеют слова с ударением на корне, тогда как подвижно-конечноударные распределены между этими двумя типами (*ле́жа, мо́лча, си́дя — зѹ́вя, кри́ча, творя́*). Вполне возможно, что основная причина такого распределения лежит в сфере, направившей все вообще грамматические изменения глагольных форм, начиная с древнейших времен: противопоставление *с о с т о я н и я* в *ле́жа д е й с т в и ю* в *творя́*. Однако, в отличие от других внепарадигменных категорий, деепричастие не утратило ударения вообще.

Это значит, что категория деепричастия стала базовой категорией русской глагольной системы.

5.5.11. Прямая и косвенная речь

Прямая и косвенная речь представляют собой типы сложного предложения. Прямая речь дана от лица говорящего с сохранением формы и содержания высказывания:

Деревляни же рекоша: ради быхомъ, ся яли по дань, но хоцещи мьцати мужа своего (Лавр.). — И я закричалъ: постой, не бейте! (Авв.).

Косвенная речь также дается от лица говорящего с сохранением содержания, но с изменением формы — обычно вводится союзами *яко, что*:

Они же рѣша, яко ходихомъ въ болгары, смотрихомъ, како ся поклоняют (Лавр.). — Рече старецъ бесу, что яко дивлюся вашему величеству: овогда велики есте, овогда мали есте? (из житийных текстов).

Косвенная речь с союзом *яко* называется *скрытой* речью — это подчинительная прямая речь на основе сравнения (*как*).

Третий возможный тип косвенной речи — свободная косвенная (несобственно-прямая) речь появилась только в XVIII в. под влиянием французского языка:

Мазепа в горести притворной К царю возносит глас покорный, И знает Бог, и видит свет: Он, бедный гетман, двадцать лет Царю служил душою верной...

Прямая речь представляет собой сложносочиненное, косвенная — сложноподчиненное предложение; косвенная речь развивается позже прямой одновременно с развитием гипотаксиса. Авторский текст обязательно в начале высказывания, в постпозиции он стал возможным с XVII в.:

Посидите вы, а я полежу, — говорю имъ (Авв.).

Косвенная речь представлена древнейшим типом подчинения — относительным, в результате чего возникало внутреннее противоречие: прямая речь употребляется после переходных глаголов речи или мысли (это изъяснительное высказывание), однако она сравнивается со сказанным реально — следовательно, это сравнительное придаточное, которое можно сопоставить с *как бы*. Сравнительное развивается содержательно, а изъяснительное формально. Здесь присутствует различие между мотивом (содержание) и ситуацией высказывания (форма).

В Древней Руси были убеждены в том, что прямая речь передает точно: *рече сице, рече тако* — форма среднего рода передает уверенность в той же точности речи. Сравнительный союз *точно* (из *тъчно* ‘до точки’) в значении ‘подобно’ известен с XI в. и только в XVI в. сменяется союзом *будто, бытто*, а в конце XVII в. — союзом *словно* ‘как говорят’ (приблизительно точно).

Ввод чужой речи осуществлялся самыми разными средствами. Книжным было употребление *рече* и других форм аориста этого гла-

гола как кальки греческого λέγει ‘говорю’ (в наст. времени). Поясняющими были формы *рекше* ‘то есть’ и *сирьчь* ‘так сказать’. Вводные модальные слова также принимали участие во включении чужой речи: *рцы* ‘скажи’ (как бы), *де* из *дѣи* ‘говори’, *де-скасть* и *мол* (от *молвити*), *бутто*, *сказывают*, а также древнейший из них старославянский *сять* ‘говорит’ от *сяти* ‘говорить’. Заметно, что модальные частицы чужой речи развиваются на основе глаголов говорения. Уточненная передача «простых разговоров» осуществлялась с помощью удвоенных вводных слов: *спроста рещи*, *рече глаголя*, *отвьща река*, *глагола ркучи* и т. д. между концом XI и началом XIII в. Мастером таких выражений был Аввакум, в сочинениях которого встречаются *просто рещи*, *просто молить*, *вкупь рещи*, *едино рещи* и т. д. Именно у этого автора встречаем новую форму от глагола *говорить*:

А я говорю: «Коли баба лиха, живи же себе одна!»

5.5.12. Порядок следования придаточных предложений

Порядок размещения составных частей сложного целого в большинстве случаев исторически изменялся, хотя общая сумма придаточных в препозиции и в постпозиции постоянно оставалась стабильной: в препозиции около 40 процентов, в постпозиции ближе к 60 процентам.

Определительные придаточные чаще встречаются в постпозиции, изъяснительные только в постпозиции. Целевые, причинные и следствия в постпозиции (препозиция развивается с XVI в.), а временные, условные и уступительные, наоборот, в препозиции; соблюдается связь с реальным действием — то, что происходит раньше, описывается впереди. Только придаточные места и образа действия могли свободно размещаться одинаково как перед, так и после главного предложения. До XV в. и причинные, еще не устоявшиеся окончательно, могли употребляться свободно:

Игорь плѣкы заворочаетъ, жаль бо ему мила брата Всеволода (Сл. плк. Иг).

Понеже неволею кдѣ бѣ в нас въздыхание, нонѣ же плачь протрапсия (Лавр.).

Слитные причинно-следственные бессоюзные определяют порядок частей реальным действием в последовательности времени:

Се князя убихомъ русского (причина), поимемъ жену его Вольгу за князь свои (следствие) (Лавр.). — Не можем с тобою быти здѣ (следствие в настоящем), приведеши пакы на ны половци (причина в будущем) (Лавр.).

С увеличением подчинительных союзов порядок расположения становился все более свободным, и связанные взаимной связью предложения могли меняться местами. Логические отношения покоряли реальные, подчиняя их себе.

5.6. Последовательность синтаксических преобразований

В истории русского языка важное место занимает XV век, когда происходили самые существенные его изменения. Именно в это время на основе развивающегося умственного течения — реализма — началось сложение новых грамматических парадигм и слово, освободившись из средневековых речевых формул, в свободном движении мысли стало выстраивать синтаксическую перспективу высказывания о новом авторском смысле. Отныне слово предстает не просто частью традиционной формулы с неопределенным (синкретичным) значением, оно обретает двоичную суть как *идеальная* часть речи, выражающая известное *понятие* с усилением *модальности*, и как реальный член предложения, создающий *суждение* в усилении *предикативности*.

Из трех этапов развертывания синтаксических структур первый — древнерусский — важен как момент начавшегося перехода от партаксиса к гипотаксису, осуществляемого в активном диалоге:

Аще ли вдарить мечемь? — Да вдасть гривну!
Аще ли вдарить мечемь, то вдасть гривну.

На втором — старорусском — этапе в процессе усложнения мысли происходило семантическое преобразование союзных слов в союзы с последующей спецификацией их функций путем отбора общерусских гиперонимов. Именно в это время стали складываться основы национального русского литературного языка.

На третьем этапе — в XVII в. — в процессе усиления абстрактности была выработана синтаксическая перспектива высказывания в соответствии с иерархией языковых средств: были окончательно устранены архаические двойные падежи, изменен порядок слов и предложений, выработаны все сложные структуры речи, помогающие мысли совершать творческую работу над текстом. Постепенно устранялся стилистический разноречивый, а сами тексты обретали понятный и четкий смысл.

Основные категории и формы национального русского языка сложились к концу XVII в.; теперь оставалось лишь отточить и облагородить его в классических текстах русских писателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая изложение исторических изменений русского языка до-национального периода, следует сделать основной вывод.

История есть развитие заложенных в исходной системе категорий, грамматических форм и речевых структур, определяемых особенностями становления народности, народа, нации. Все изменения древнерусского и старорусского языков как этапов в развитии русского языка проходили в сторону утверждения и усиления *системности*, т. е. выработки минимального количества различительных признаков для различения максимального числа форм данной категории. Так было в области фонетики (корреляция гласных по лабиализации и согласных по мягкости/твердости и глухости/звонкости), так и в грамматике, где положение было сложнее (различение имен по роду, глаголов — по виду и времени), и т. д.

Исходный *синкретизм* категорий и форм определялся цельностью отраженного в них предметно-вещного мира, данного в движении. Это питательная среда для образования символов, которые и появлялись в литературных текстах в результате *ментализации* христианских понятий.

Старорусский язык своим стремлением к специализации качеств, признаков, свойств предметного мира приводил к выделению таких признаков, формально создав особую часть речи — имена прилагательные (*идеация*).

Серединой XVIII в. заканчивается историческая грамматика русского языка как научная дисциплина, изучающая историю разговорного (устного) языка. С этого времени история русского языка становится преимущественно историей русского литературного языка на национальной основе, выработанной всем предшествующим его развитием. Национальный литературный язык не узко язык литературы, а средство интеллектуального действия нации в момент ее окончательного формирования. Внешние границы перехода к новому качеству общенационального языка легко определимы по результатам научной рефлексии — трудам лексикологов и грамматистов: лексически между 1704 и 1731 г. (соответственно это «Лексикон трехязычный» Федора Поликарпова и Вейсманнов «Лексикон»), грам-

матически между 1648 и 1755 гг. (соответственно это «Грамматика славенская» — грамматика Мелетия Смотрицкого в московском издании и «Российская грамматика» Ломоносова).

Древнерусский и старорусский развивались на фоне церковно-славянского литературного языка; теперь литературный язык стал собственно русским, пропитанным многими элементами церковно-славянского, особенно в структурном отношении, и прежде всего в словообразовании и синтаксисе. Наряду с этим продолжали развиваться народные говоры, которые по-прежнему доставляли литературному языку образные элементы речи.

Принципиальное отличие от древнерусской ментализации (заимствования христианских символов) и старорусской идеации (установление типичных признаков символов в определении-эпитете) состоит в том, что в Новое время стала развиваться *идентификация*, т. е. в предикативном усилии мысли (в свободном суждении) началось обобщение полученных в результате идеации признаков в понятие. XVIII век — рациональный век Просвещения — отработывал в языке принципы создания новых понятий на основе предикации образов-признаков (содержание понятия) к определенным предметам (объем понятия). *Домъ* как символ (род) — *белый дом, большой дом, желтый дом, торговый дом* и т. д. как понятия (виды).

То, что исторически развивалось последовательно, сменой принципов преобразования: ментализация путем калькирования — идеация путем выделения типичных признаков — в новых условиях идентификации могло совпадать во времени.

Последовательное изложение происходивших в русском языке изменений дает возможность схематично представить все три этапа преобразований:

	I	II	III
Идеология	номинализм язычества	реализм христианства	концептуализм науки
Эпоха	древнерусская	старорусская	современная
Основные представления	в образе	в символе	в понятии
Принцип познания	эквиполентный	градуальный	привативный
Главное изменение	ментализация	идеация	идентификация
Ведущий модальный предикатив	быть	хотеть	знать
Грамматическая система строится	на фонетической основе (внешняя форма)	на категориях рода и лица (мыслимая форма)	на абстрактной категории (мыслимая цельность «вещи»)
Основная единица	формула речи в образцах	слово в парадигме	морфема в системе соответствий

	I	II	III
Представление личности	неопределенность лика	определенность лица	одушевленность личности
Представление действия	Определенность	предельность	глагольный в и д
Представление действующего лица	возвратность (на себя)	переходность (на другого)	з а л о г (взаимность)
Сакральное число	двоичность	троичность	н у л ь
Синтаксис	сочинение и согласование при метонимии	управление и подчинение при метафоре	развитие и совершенствование всех типов связи

Изменения в каждом типе соответствий, от первого до последнего, происходили одновременно, «волнами», постепенно охватывая все стороны отмеченных соответствий, они накапливались в культуре как результат пройденного развития. Зависимость одного изменения от других, соседних, создавала динамическую системность языка в его отношении к мышлению и реальной действительности. Ментальность как способ существования в языке развивалась непрерывно и в конечном счете привела к современному состоянию мысли и деятельности. Это видно на схеме, которая показывает неуклонное развитие мыслящей индивидуальности, входящей в диалог с другими личностями — с тем, чтобы не только *быть* и *хотеть*, но и *знать*. Такой же путь прошли все европейские языки — какие раньше, какие с небольшим запозданием, как русский, несколько задержавшийся в моменте «быть».

Нужно помнить, что в схеме представлены именно *результаты* законченных изменений, происходивших в течение ряда веков. Если бы мы попали «внутрь» процесса, мы вряд ли заметили бы его течение. Каждый человек становился носителем языка в той его форме — устаревшей, устаревающей или новой, которая в бытовой речи больше всего соответствовала его житейской и профессиональной установке. Именно язык сосредоточивает в себе опыт поколений, отдельный человек живет в атмосфере изменчивой речи, воплощающей этот язык. Так возникает внутреннее напряжение между *ментальностью языка* и *коммуникативностью речи*, которое и определяет системный характер всех вообще языковых изменений. Они даны в законченном виде как совершённые и представлены в идеальной схеме соответствий.

Все, что происходило, осталось в памяти, но осталось в преобразованном виде как несущественный элемент современной системы, который может быть востребован в определенных целях или используется на низших уровнях бытовой речи. Сохранность остатков прошедших преобразований способствует реальности реконструкции и является гарантией ее истинности.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

англ. — английский
араб. — арабский
белорус. — белорусский
болг. — болгарский
буд. вр. — будущее время
венг. — венгерский
вин. п. — винительный падеж
вот. — вотский
в.-сл. — восточнославянский
гот. — готский
греч. — греческий
дат. п. — дательный падеж
двойств. ч. — двойственное число
действ. — действительный
диал. — диалектный
др. — древне-
др.-в.-нем. — древневерхненемецкий
ед. ч. — единственное число
зват. п. — звательный падеж
з.-фин. — западнофинский
им. п. — именительный падеж
изъяснит. п. — изъяснительный падеж
инд. — индийский
карел. — карельский
косв. п. — косвенный падеж
л. — лицо
лат. — латинский
латыш. — латышский
лапл. — лапландский
лит. — литовский
литер. — литературный
макед. — македонский
местн. п. — местный падеж
мн. ч. — множественное число
морд. — мордовский
наст. вр. — настоящее время

отложит. п. — отложительный падеж
перс. — персидский
полоц. — полоцкий
польск. — польский
прус. — прусский
прасл. — праславянский
пр. п. — предложный падеж
прош. вр. — прошедшее время
пск. — псковский
род. п. — родительный падеж
рус. — русский
сев. — северный
серб. — сербский
ск. — скандинавский
сл. — славянский
слов. — словацкий
словен. — словенский
смол. — смоленский
собирад. ч. — собирательное число
сов. — совершенный
совр. — современный
ср. — сравни
страдат. — страдательный
ст.-сл. — старославянский
тв. п. — творительный падеж
укр. — украинский
фин. — финский
ц.-сл. — церковнославянский
чеш. — чешский
эст. — эстонский

a — обозначение буквы
[a] — обозначение звука
<a> — обозначение фонемы
мама — обозначение слова
'мама' — обозначение значения слова
«мама» — обозначение понятия

ИСТОЧНИКИ И ИХ ОБОЗНАЧЕНИЯ¹

- А 1220* — Апостол, 1220 г. — ГИМ², Син., 7.
А 1307 — Апостол, 1307 г. — ГИМ, Син., 722.
А 1309 — Апостол, 1309 г. — ГИМ, Син., 15.
А XIV — Апостол, XIV в. — РНБ, Погод., 14.
Акты XV — Акты социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI в. — Т. 2. — М., 1958; Т. 3. — М., 1964.
Авв. — Житие протопопа Аввакума по автографу (70-е г. XVII в.). — БАН, собр. Дружинина, 746.
АЕ 1092 — Архангельское Евангелие, 1092 г. — РГБ, ф. 178, № 1666.
Аф. Никит. — «Хождение за три моря» Афанасия Никитина (1472 г.)
БГ XII — Беседы папы Григория Великого, XII в. — РНБ, Погод., 70.
Бер. гр. — новгородские берестяные грамоты (время написания грамоты указано по изданиям А. В. Арциховского).
БЗ XVI — Богдановский Златоуст, XVI в. — РНБ, Q. 1.972.
ВЕ XVI — Вологодское Евангелие, XVI в. — ЦГИА, ф. 834, оп. 1, № 58.
Выг. XII — Выголексинский сборник, XII в. — РГБ, ф. 178, № 1832.
Галицк. гр. — Галицкие и другие юго-западные грамоты — по кн.: *Розов В.* Южнорусские грамоты. — Т. 1. — Киев, 1917.
ГБ XI — 13 слов Григория Богослова, XI в. — РНБ, Q. п. 1,16.
ГЕ 1144 — Галицкое Евангелие, 1144 г. — ГИМ, Син., 404.
ГЕ 1266 — Галицкое Евангелие, 1266 (или 1301) г. — РНБ, Ф. п. 1.64.
ГЕ 1357 — Галицкое Евангелие, 1357 г. — ГИМ, Син., 68.
Гр. — древнерусская грамота с указанием датировки.
Грозн. — Творения Ивана Грозного
Двинские грамоты — по кн.: *Шахматов А. А.* Исследование о двинских грамотах XV в. СПб., 1903.
ДЕ 1164 — Добрилово Евангелие, 1164 г. — РГБ, ф. 256, № 103.

¹ Основные издания памятников описаны в кн.: *Дурново Н. Н.* Введение в историю русского языка. — 2-е изд. — М., 1969.

² Сокращения в наименовании хранилищ: БАН — Библиотека Российской АН, СПб.; ГИМ — Гос. исторический музей, Москва; РГБ — Российская государственная библиотека, Москва; РНБ — Российская национальная библиотека, СПб.; ЦГАДА — Центральный гос. архив древних актов, Москва; ЦГИА — Центральный гос. исторический архив, Москва.

- ДК 1270* — Духовная грамота новгородца Климента — ГИМ, собр. Уварова, № 41/265.
- Дом. XVI* — Домострой по списку XVI в. — РНБ, Q. п. XVII, 149.
- Е 1283* — Евсевиево Евангелие, 1283 г. — РГБ, ф. 178, № 3168.
- Е 1307* — Евангелие, 1307 г. — ГИМ, Син., 740.
- Е 1355* — Евангелие, 1355 г. — РНБ, Син., 70.
- Е 1362* — Евангелие, 1362 г. — РНБ, Соф., 3.
- Е 1393* — Евангелие, 1393 г. — ГПБ, Ф. п. I. 18.
- Е XII* — Евангелие, XII в. — ЦГАДА, Типогр., 6.
- Е XIV* — Евангелие, XIV в. — РНБ, Ф. п. I. 17.
- Ев. 1409* — псковское Лукино Евангелие 1409 г. — ГИМ, Син., 71.
- Ев. С.* — Евангелие, XIV в. — РНБ, Ф. п. I. 16.
- ЕП XI* — Евгениевская псалтырь, XI в. — РНБ, Погод., 9 (БАН, 4.5.7).
- ЕК XII* — Ефремовская кормчая, XII в. — ГИМ, Син., 227.
- ЕП XIII* — Житие Епифания Кипрского — РНБ, Соф., 1326.
- ЕС 1377* — Поучения Ефрема Сирина, 1377 г. — БАН, 31.7.2.
- ЖАН XVI* — Житие Александра Невского // ТОДРЛ. Т. 5. Л., 1947. С. 188–193.
- ЖЕН XI* — Житие Епифания Кипрского, XII–XIII вв. — РНБ, Соф., 1326.
- ЖК XI* — Житие Кодрага, XI в. — РНБ, Погод., 64.
- ЖН 1219* — Житие Нифонта, 1219 г. — РГБ, ф. 304, оп. 1, № 35.
- ЖС XIII* — Житие Саввы Освященного, XIII в. — РНБ, ОЛДП, № 106.
- З XII* — Златогруй, XII в. — РНБ, Ф. п. I. 46.
- Зак. судн.* — Закон судный людемь по Кормчей XV в. — РНБ, Соф., 1173.
- Записи Константина Багрянородного* — записи славянских слов в трудах византийского императора Константина, сер. X в. — по кн.: *Дурново Н. Н.* Введение в историю русского языка. — М., 1969.
- И 73* — Изборник Святослава, 1073 г. — ГИМ, Син., 31-д.
- И 76* — Изборник Святослава, 1076 г. — РНБ, Эрмитаж., 20.
- Иннокентий* — рассказ о смерти Пафнутия Боровского (1478)
- Ип. 1425* — Ипатьевский список летописи, ок. 1425 г. — БАН, 16.4.4.
- Кирик* — Вопрошание Кириково // Русская историческая библиотека. 1880. Т. 6. С. 21–62.
- КН I Л* — Комиссионный список I Новгородской летописи, XV в. — Ленинградское отделение Института истории АН СССР, Археографическая комиссия, 240.
- Кн. Ратн. строя 1647* — Книга Ратного строения (старопечатная книга; М., 1647).
- Котошихин* — Современное сочинение Григория Котошихина о России. — СПб., 1906.
- Курб.* — Сочинения Андрея Курбского.
- Лавр.* — Лаврентьевский список летописи, 1377 г. — РНБ, Ф. п. IV.2.
- ЛЕ XIV* — Лаврашевское Евангелие, XIV в. — Краков, Библиотека Чарторыйских, 2097.
- ЛЕ 1409* — Лукино Евангелие, 1409 г. — ГИМ, Син., 71.
- Леств. XII* — Лествица Иоанна Лествичника XII в. — РГБ, ф. 256, № 198.
- Леств. 1334* — Лествица Иоанна Лествичника, 1334 г. — РГБ., Тр.-Серг., № 10.

- Лудольф* — «Русская грамматика» Г. В. Лудольфа (1696)
Луцк. XIV — Луцкое Евангелие, XIV в. — РГБ, ф. 256, № 112.
M 95 — Минея, 1095 г. — ЦГАДА, Типогр., 84.
M 96 — Минея, 1096 г. — ЦГАДА, Типогр., 89.
M 97 — Минея, 1097 г. — ЦГАДА, Типогр., 91.
М XI — Минея, конец XI в. — ЦГАДА, Типогр., 99.
М XII — Минея, XII в. — РНБ, Соф., 206.
М XIV — Минея, XIV в. — ЦГАДА, Типогр., 120.
МД XI — Минея Дубровского, XI в. — РНБ, Ф. п. 1.36.
МЕ 1117 — Мстиславово Евангелие, 1115–1117 гг. — ГИМ, Син., 1203.
МЕ 1215 — Милятино Евангелие, ок. 1215 г. — РНБ, Ф. п. 1.7.
МЕ 1358 — Московское Евангелие, 1358 г. — ГИМ, Син., 69.
Мин. XII — Минея, XII в. — ЦГАДА, Типогр., 98.
Моление Даниила Заточника XII в. — по изд. *Зарубин Н. Н.* Слово Даниила Заточника по редакциям XII и XIII вв. — Л., 1932.
Мономах — Поучения Владимира Мономаха (1117 г.)
МС XV — Московский летописный свод конца XV в. // ПСРЛ. Т. XXV. — М.; Л., 1949.
Моск. гр. — московские грамоты — по кн.: *Котков С. И.* Московская речь в начальный период становления русского национального языка. — М., 1974.
МП XIV — Мерило праведное, XIV в. — РГБ, ф. 304,1, № 15.
Мстисл. гр. ок. 1130 г. — грамота Мстислава Володимировича и его сына Всеволода, ок. 1130 г. — по кн.: *Обнорский С. П., Бархударов С. Г.* Хрестоматия по истории русского языка. М., 1952. Т. 1.
Мудр. XVII — Повесть о семи мудрецах, XVII в. — БАН, 45, 9.13.
Муз. XII — Евангелие, XII в. — РГБ, ф. 256, № 104.
Н IV Л — Новороссийский список IV Новгородской летописи, XV в. — БАН, тек. пост., 1107.
Надпись 1068 г. — Тмутараканская надпись на камне, 1068 г. — Гос. Эрмитаж.
Надпись 1151 г. — надпись на чаре князя Володимера Давидовича, 1130–1151 гг. — Гос. Эрмитаж.
Надпись 1161 г. — надпись на кресте Евфросинии Полоцкой, 1161 г. — по кн.: *Обнорский С. П., Бархударов С. Г.* Хрестоматия по истории русского языка. — М., 1952. — Т. 1.
Назиратель — Книга, глаголемая Назиратель, сирѣчь уряд домовных дѣль (рукопись XVI в.) // Назиратель. М., 1973.
НЕ 1270 — Евангелие (новгородское), 1270 г. — РГБ, ф. 256, № 105.
Никон. лет. XVI в. — Никоновская летопись XVI в. // ПСРЛ. Т. 13.
НК 1282 — Новгородская кормчая, 1282 г. — ГИМ, Син., 132.
НЛ XI — Новгородские листки — Евангелие, XI в. — РНБ, Ф. п. 1.58.
Новг. гр. — новгородские грамоты — по кн.: Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.; Л., 1949.
ОБ 1581 — Библия, сирѣчь книги Ветхаго и Новаго Заѣта по языку словенску. Фототипическое издание Библии 1581 г. — М., 1988.
ОЕ 1056 — Остромирово Евангелие, 1056–1057 гг. — РНБ, Ф. п. 1.5.
ПА XI — Пандекты Антиоха, XI в. — ГИМ, Воскр., 30.
ПА 1307 — Пандекты Антиоха, 1307 г. — Львовский гор. музей, № 275.

- Пал. 1494* — псковская Палея толковая, 1494 г. — РГБ, ф. 256, № 453.
- Пант. XII* — Пантелеймоново Евангелие, XII в. — РНБ, Соф., 1.
- Пант. 1317* — Пантелеймоново Евангелие, 1317 г. — БАН, 34.5.22.
- Пар. 1271* — Паремейник, 1271 г. — РНБ, Q. п. I. 13.
- ПВЛ* — Повесть временных лет, по Лаврентьевскому списку (1377 г.) — РНБ, F. IV.2.
- ПЕ XII* — Полоцкое Евангелие, XII в. — РНБ, Погод., 11.
- ПЕ XIII* — Полоцкое Евангелие, XIII в. — РНБ, Погод., 12.
- ПЕ 1307* — Поликарпове Евангелие, 1307 г. — ГИМ, Син., 740.
- ПЕ 1354* — Переяславское Евангелие, 1354 г. — ГИМ, Син., 67.
- Пересветов* — Сочинения И. Пересветова. М.; Л., 1956.
- Пов. о Кулик. битве* — Повести о Куликовской битве (XIV–XV вв.)
- Поуч. 1274* — Определение Владимирского собора в грамоте митрополита Кирилла (1274 г.) // Русская историческая библиотека. — СПб., 1880. — Т. 6.
- ПМ XI* — Путятина минея, XI в. — РНБ, Соф., 202.
- ПН 1296* — Пандекты Никона Черногорца, 1296 г. — ГИМ, Син., 836.
- ПН XIV* — Пандекты Никона Черногорца, XIV в. — РНБ, Погод., 267.
- Пов. Азов* — Повесть об осаде Азова (конец XVII в.) // Орлов А. С. Исторические и поэтические повести об Азове. — М., 1906.
- Посл.* — Пословицы XVII в. // Старинные сборники русских пословиц. — СПб., 1899.
- Посл. послов* — Путешествия русских послов XVI–XVII вв. — М.; Л., 1954.
- ПП 1406* — Киево-Печерский патерик, 1406 г. — РНБ, Q. п. I.31.
- Пр. 1262* — Пролог (новгородский), 1262 г. — ГИМ, Хлудовск., 187.
- Пр. 1356* — Пролог, 1356 г. — ЦГАДА, Типогр., 163.
- Пр. 1383* — Пролог, 1383 г. — ЦГАДА, Типогр., 172.
- Русская Правда* — Карский Е. Ф. Русская Правда по древнейшему списку (1282 г.). Л., 1930.
- Пс. 1296* — Псалтырь, 1296 г. — ГИМ, Син., 235.
- ПС XIV* — Паисиевский сборник, XIV в. — РНБ, Кир.-Белозерск., № 297/1081.
- ПС XVI* — Псковский сборник, XV–XVI вв. — ГИМ, Син., 154.
- Пск. I лет.* — Псковская I летопись, XVI в. — РНБ, Погод., 1413.
- Пск. II лет.* — Псковская II летопись — по кн.: Псковские летописи. — П. М., 1955.
- Пск. судн. гр.* — Псковская судная грамота XV в.
- Пут. XIII* — Путенское Евангелие, XIII в. — хранится в Румынии.
- Пч. 1623* — Пчела, 1623 г. — ГИМ, Син., 854.
- РК 1284* — Рязанская кормчая, 1284 г. — РНБ., F. п. 1.11.
- Радз. XV* — Радзивилловский список летописи конца XV в. // Радзивилловская, или Кенигсбергская, летопись, I. СПб., 1902 (фототипическое издание рукописи).
- С 1156* — Стихирарь, 1156–1163 гг. — РНБ., Соф., 384.
- СЕ XII* — Евангелие (Саввина книга), XI–XII вв., русская часть XII и XIV вв. — ЦГАДА, Типогр., 14.
- СЕ 1340* — Сийское Евангелие, ок. 1340 г. — БАН, Археограф; 189.
- Сл. плк. Иг.* — Слово о полку Игореве.
- Синод.* — Синодальный список Новгородской I летописи, XIII–XIV вв. — ГИМ, Син., 786.

- Сказ. Борис* — Сказание о Борисе и Глебе (XI в.)
Смол. гр. 1229 г. — Смоленская грамота 1229 г.
СП XI — Синайский патерик, XI в. — ГИМ, Син., 551.
Судебники XVI в. // Судебники XV–XVI вв. — М.; Л., 1952.
ТЕ XIII — Евангелие, XIII в. — ЦГАДА, Типогр., 8.
ТН I Л — Троицкий список Новгородской I летописи, XVI в. — РГБ, МДА, № 69.
ТС XII — Толстовский сборник, XII в. — РНБ, Ф. п. I. 39.
У 1047 — Копии XV в. с книг, переписанных в 1047 г. Упирем Лихим в Новгороде — по кн.: *Туницкий Н. Л.* Книги 12 малых пророков. Т. 1. Сергиев Посад, 1918.
УК XIII — Устюжская кормчая, XIII в. — РГБ, ф. 256, № 230.
Улож. 1649 г. — Соборное уложение 1649 г. — Л., 1987.
УС XI — Устав Студийский — ГИМ, Син. 330.
УС XII — Успенский сборник, XII–XIII вв. — ГИМ, Усп., 4-п.
Феодосий — Поучения Феодосия Печерского (XI в.)
Х 1192 — Вкладная грамота Варлаама Хутынскому монастырю, 1192 г. — Новгородский краеведческий музей.
ХА XII — Христинопольский Апостол, XII в. — по кн.: *Kaluźniacki A.* Actus epistolaeque apostolorum palaeoslovenice. Ad fidem codicis Christinopoliterarum Academiae. Vindobonae, 1896.
ХГА — Хроника Георгия Амартола сер. XI в. // *Истрин В. М.* Хроника Георгия Амартола в славянском переводе. — Пг., 1920. — Т. 1.
Хождение Афанасия Никитина — по Троицкому списку конца XV в. — РГБ, ф. 178, № 8665.
Хождение Даниила — Хождение игумена Даниила в Святую землю ок. 1106 г. — по кн.: Православный палестинский сборник. — Вып. 3, 9. — СПб., 1885.
ЧЗ XIV — Чудовский Новый Завет, ок. 1355 г. — по кн.: Новый Завет... — М., 1892.
ЧП XI — Чудовская псалтырь, XI в. — ГИМ, Чуд., 7.
ЧС XII — Чудовский сборник, XII в. — ГИМ, Чуд., 12.
ЧС XVI — Чудовский сборник, XVI в. — ГИМ, Чуд., 264.
ЮЕ 1120 — Юрьевское Евангелие, ок. 1120 г. — ГИМ, Син., 1003.
ЯП XII — Ярославский список Пандектов Никона Черногорца, XII в. — Ярославский музей, № 15583.

ЛИТЕРАТУРА

Учебная литература

- Борковский В. И., Кузнецов П. С.* Историческая грамматика русского языка. — М., 1963.
- Буслав Ф. И.* Историческая грамматика русского языка. — М., 1959.
- Горшкова К. В., Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. — М., 1981.
- Дурново Н. Н.* Очерк истории русского языка. — М., 1924 (переиздание: *Дурново Н. Н.* Избранные работы по истории русского языка. — М., 2000).
- Иванов В. В.* Историческая грамматика русского языка. — М., 1968.
- Колесов В. В.* Древнерусский литературный язык. — Л., 1989 (переиздание: 2008).
- Коневицкий А. К.* Историческая грамматика русского языка. — Вильнюс, 1989.
- Ломтев Т. П.* Сравнительно-историческая грамматика восточнославянских языков. — М., 1981.
- Марков В. М.* Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. — М., 1974.
- Соболевский А. М.* Лекции по истории русского языка. — М., 1907.
- Шахматов А. А.* Историческая морфология русского языка. — М., 1957.
- Якубинский Л. П.* История древнерусского языка. — М., 1953.
- Янович Е. И.* Историческая грамматика русского языка. — Минск., 1986.

Рекомендуемая литература

- Древнерусская грамматика XII–XIII веков. — М., 1995.
- Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. — М., 1982.
- Крысько В. Б.* Развитие категории одушевленности в истории русского языка. — М., 1994.
- Крысько В. Б.* Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. — М., 1997.
- Марков В. М.* К истории редуцированных гласных в русском языке. — Казань, 1964.

- Обнорский С. П.* Очерки по истории русского литературного языка. — М.; Л., 1946.
- Осипов Б. И.* История русской орфографии и пунктуации. Новосибирск, 1992.
- Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. М., 1958 — Т. 1–2; М., 1968 — Т. 3; М., 1977 — Т. 4. Вып. 2.
- Стеценко А. Н.* Исторический синтаксис русского языка. — М., 1977.
- Тарланов З. К.* Становление типологии русского предложения в ее отношении к этнофилософии. — Петрозаводск, 1999.
- Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. — Л., 1972.
- Хабургаев Г. А.* Очерки исторической морфологии русского языка. Имена. — М., 1990.

Дополнительная литература

- Баранов В. А.* Формирование определительных категорий в истории русского языка. — Казань, 2003.
- Ваулина С. С.* Эволюция средств выражения модальности в русском языке (XI–XVII вв.). — Л., 1988.
- Георгиева В. Л.* История синтаксических явлений русского языка. — М., 1968.
- Дровникова Л. Н.* История числительных в русском языке. — Владивосток, 1985.
- Еселевич И. Э.* Из истории категории собирательности в русском языке. — Казань, 1979.
- Жолобов О. Ф., Крысько В. Б.* Историческая грамматика древнерусского языка. М., 2001 — Т. 2: Двойственное число.
- Жолобов О. Ф.* Историческая грамматика древнерусского языка: Числительные. — М., 2006.
- Зализняк А. А.* Древненовгородский диалект. — М., 1995.
- Иванов В. В.* Историческая фонология русского языка. — М., 1968.
- Иорданиди С. И., Крысько В. Б.* Историческая грамматика древнерусского языка. Т. 1. Множественное число именного склонения. — М., 2000.
- Колесов В. В.* Философия русского слова. — СПб., 2002.
- Коротаева Э. И.* Союзное подчинение в русском литературном языке XVII в. — М.; Л., 1964.
- Мадоян В. В.* Субстантивное склонение в древнерусском языке. — Ереван, 1988.
- Ремнева М. Л.* История русского литературного языка. — М., 1995 (переиздание: 2003).
- Шульга М. В.* Развитие морфологической системы имен в русском языке. — М., 2003.
- Янович Е. И.* Наречие в истории русского языка. — Минск, 1978.

Оглавление

Введение	3
1. Значение исторической грамматики	—
2. Изучение исторической грамматики.....	4
3. Предмет и объект исторической грамматики.....	7
4. Периодизация истории русского языка.....	8
5. Принципы познания	9
6. Идеология познания	11
7. Метод и методика.....	13
8. Формирование русского языка	15
9. Источники.....	16
10. Основные понятия, термины и определения.....	19

ФОНОЛОГИЯ

1. Исходная система фонем восточнославянского диалекта в составе праславянского языка	23
1.1. Основные принципы строения слога.....	—
1.2. Состав гласных фонем	26
1.3. Система гласных фонем	30
1.4. Распределение гласных фонем	32
1.5. Состав и распределение согласных фонем	39
1.6. Палатализации	44
1.7. Система согласных фонем	49
1.8. Просодические признаки исходной системы.....	51
2. Завершение динамических тенденций праславянского языка в древнерусском (середина X — конец XI в.).....	56
2.1. Завершение тенденции к открытому слогу. Русское полногласие	—
2.2. Упрощение системы гласных фонем. Утрата ринезма.....	61
2.3. Завершение тенденции к слоговому сингармонизму. Вторичное смягчение полумягких согласных	66
2.4. Развитие межслового сингармонизма	70
3. Утрата редуцированных гласных в древнерусском языке	75
3.1. Причины и предпосылки изменения	—
3.2. Утрата слабых редуцированных.....	77
3.3. Прояснение сильных редуцированных.....	81
3.4. Изменение редуцированных в сочетании с полугласными	86
3.5. Фонологические следствия утраты редуцированных	90
4. Преобразование системы согласных фонем	95
4.1. Корреляция согласных по твердости–мягкости.....	—
4.1.1. Фонологизация «мягкости».....	—
4.1.2. Ассимиляция по мягкости–твердости	96

4.1.3. Образование корреляции	100
4.2. Корреляция согласных по звонкости–глухости	106
4.2.1. Фонетические ассимиляции	–
4.2.2. Образование корреляции	110
4.2.3. Пополнение системы	114
5. Преобразование системы гласных фонем	117
5.1. Изменение гласных ⟨e⟩ и ⟨o⟩.....	–
5.2. Изменение гласных ⟨ê⟩ и ⟨ô⟩.....	122
5.2.1. История фонемы ⟨ê⟩	–
5.2.2. История фонемы ⟨ô⟩	128
5.2.3. Фонетические варианты фонемы ⟨ê⟩	130
5.3. Изменение безударных гласных	131
5.3.1. Изменения после твердых согласных.....	–
5.3.2. Изменения после мягких согласных.....	134
6. Следствия фонемных преобразований	139
6.1. Общие принципы изменения.....	–
6.2. Развитие графики и орфографии.....	141

МОРФОЛОГИЯ

1. Предпосылки морфологических изменений	147
1.1. Исходная неопределенность системы.....	–
1.2. Формальные ограничения.....	149
1.3. Распределение имен в составе парадигм.....	150
1.4. Древнейшее перераспределение имен по типам основ.....	152
1.5. Фонетические предпосылки совпадения именных основ	153
2. Имя существительное: преобразование форм единственного числа.....	156
2.1. Категория падежа.....	–
2.3. Преобразование консонантных основ	158
2.3. Унификация имен мужского рода.....	162
2.4. Взаимодействие основ женского типа склонения	167
3. Имя существительное: преобразование форм множественного числа.....	170
3.1. Именительный падеж	–
3.2. Соотношение именительного и винительного падежей	173
3.3. Родительный падеж	176
3.4. Дательный и местный падежи	178
3.5. Творительный падеж	180
4. Формирование именных парадигм	183
4.1. Результаты изменений	–
4.2. Акцентное распределение парадигм.....	188
4.3. Статистическое распределение парадигм	191
5. Категории имени существительного.....	194
5.1. Категория рода	–
5.2. Категория одушевленности.....	199
5.3. Категория числа	204
5.4. Собирательные имена	207
5.5. Двойственное число	211
6. Имена прилагательные.....	218
6.1. Типы имен прилагательных.....	–
6.2. Краткие прилагательные.....	219
6.3. Полные прилагательные.....	220
6.4. Изменения полных прилагательных	222

6.5. Притяжательные прилагательные	225
6.6. Семантика имен прилагательных	226
6.7. Степени сравнения прилагательных	228
6.8. Функции имен прилагательных	229
7. Имена числительные	233
7.1. Особенности счетных имен	—
7.2. Имена <i>два, оба</i>	235
7.3. Склонение счетных имен	236
7.4. Изменения счетных имен	239
7.5. Порядковые счетные имена	242
7.6. Имена числительные	243
8. Местоимение	245
8.1. Местоимение и наречие	—
8.2. Личные местоимения	246
8.3. Указательные местоимения	248
8.4. Определительные местоимения	250
8.5. Вопросительно-относительные местоимения	—
8.6. Полные местоимения	251
8.7. Функции местоимений	252
8.8. Ударение	253
9. Наречие	254
9.1. Типы наречий	—
9.2. Наречия образа и способа действия	255
9.3. Отыменные наречия	257
9.4. Изменение наречий	258
9.5. Ударение	259
10. Глагол	261
10.1. Исходная система глагола	—
10.1.1. Категории глагола	—
10.1.2. Основы и классы глагола	263
10.1.3. Семантические группы глагола	266
10.1.4. Состав атематического класса	268
10.1.5. Характер древних основ	270
10.2. Состав и распределение глагольных времен	271
10.2.1. Настоящее время	—
10.2.2. Значения формы настоящего времени	276
10.2.3. Сложное будущее время	279
10.2.4. Простые прошедшие времена	280
<i>Имперфект</i>	—
<i>Аорист</i>	283
10.2.5. Перфектные времена	287
10.3. Исходная система времен	290
10.3.1. Соотношение времен	—
10.3.2. Система времен	293
10.3.3. Изменение системы	296
10.3.4. Статистическое распределение форм грамматического времени	300
10.3.5. Парадигмы глагольных времен	302
10.3.6. Терминология	304
10.4. Изменения в системе времен	306
10.4.1. Общее направление изменений	—
10.4.2. Имперфект	307
10.4.3. Аорист	309

10.4.4. Перфектные времена.....	312
10.4.5. Будущее время	317
10.4.6. Простое будущее время	319
10.4.7. Сложное будущее время	321
10.4.8. Второе сложное будущее время.....	325
10.4.9. Развитие системы времен.....	326
10.5. Категория вида	327
10.5.1. Вид и аспектуальность.....	328
10.5.2. Этапы формирования видовых противопоставлений.....	331
10.5.3. Определенность и неопределенность.....	332
10.5.4. Предельность и непредельность.....	334
10.5.5. Формирование категории вида.....	341
10.5.6. Развитие приставочных образований.....	344
10.6. Категория залога	348
10.6.1. Понятие о залоге.....	–
10.6.2. Развитие категории залога	350
10.6.3. Возвратность.....	354
10.6.4. Переходность	359
10.6.5. Залог	365
10.6.6. Формирование залоговых отношений.....	369
10.7. Внеличные категории глагола.....	371
10.7.1. Общие принципы разграничения	–
10.7.2. Наклонение	372
10.7.3. Причастия.....	379

СИНТАКСИС

1. Вводные замечания.....	391
1.1. Общие положения.....	–
1.2. Признаки предложения	393
1.3. Синтаксические заимствования	397
1.4. Основные закономерности исторического синтаксиса.....	400
2. Особенности синтаксических преобразований	402
2.1. Предлоги.....	–
2.2. Частицы	406
2.3. Союзные слова	409
2.4. Развитие подчинительных союзов	410
3. Особенности синтаксических конструкций.....	414
3.1. Типы простых предложений.....	–
3.2. Части речи и члены предложения	416
3.3. Порядок слов	421
3.4. Синтаксис падежных форм.....	423
3.5. Развитие исходных формул речи.....	425
3.6. Вторые косвенные падежи.....	428
3.7. Древнейшие формулы речи	431
3.8. Метонимия и метафора	434
4. Простые предложения.....	437
4.1. Двусоставные предложения.....	–
4.2. Односоставные предложения	438
4.3. Развитие односоставных предложений	446
5. Сложные предложения.....	448
5.1. Исходные синтаксические конструкции.....	–
5.2. Сложносочиненные предложения.....	450

5.3. Относительное подчинение	452
5.3.1. Общие замечания	—
5.3.2. Подлежащие и сказуемые придаточные	453
5.3.3. Определительные предложения	454
5.3.4. Изъяснительные предложения	457
5.4. Бессоюзные предложения	459
5.5. Сложноподчиненные предложения	461
5.5.1. Общие положения	—
5.5.2. Союзы и союзные слова	463
5.5.3. Типы подчинения в их развитии	465
5.5.4. Придаточные предложения места и времени	468
5.5.5. Условные придаточные предложения	470
5.5.6. Уступительные придаточные предложения	475
5.5.7. Придаточные предложения следствия	477
5.5.8. Придаточные предложения причины	479
5.5.9. Придаточные предложения цели	484
5.5.10. Причастные структуры	488
5.5.11. Прямая и косвенная речь	493
5.5.12. Порядок следования придаточных предложений	495
5.6. Последовательность синтаксических преобразований	496
Заключение	497
Условные сокращения и обозначения	500
Источники и их обозначения	501
Литература	506
Учебная литература	—
Рекомендуемая литература	—
Дополнительная литература	507

Учебное издание

Колесов Владимир Викторович
ИСТОРИЧЕСКАЯ ГРАММАТИКА
РУССКОГО ЯЗЫКА

*Учебник для высших учебных заведений
Российской Федерации*

Ответственный редактор *В. С. Кизило*
Редактор *В. С. Волкова*
Корректор *В. О. Кондратьева*
Технический редактор *С. В. Кузнецов*
Художественное оформление *О. В. Рудневой*

Лицензия ЛП № 000156 от 27.04.99. Подписано в печать 16.09.2010.

Формат 60×90^{1/16}. Усл. печ. л. 32. Тираж экз. Заказ № .

Оригинал-макет подготовлен на Филологическом факультете
Санкт-Петербургского государственного университета